
МАРИЭТТА
ШАГИНЯН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

РАССКАЗЫ

СВОЯ СУДЬБА
(Роман)

ПЕРЕМЕНА
(Роман)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Вступительная статья
и примечания
Л. И. СКОРИНО



М. С. ШАГИНЯН

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

1

Мариэтта Сергеевна Шагинян принадлежит к старшему поколению советских писателей: она начала свой творческий путь в первые годы двадцатого столетия, в тот период, когда русское общество жило приближением революции 1905 года, когда разгоралось зарево грядущего восстания и шла упорная подготовка к решающим схваткам с самодержавием.

Мариэтта Шагинян родилась в Москве 21 марта 1888 года. Отец писательницы, Сергей Давыдович Шагинян, был талантливым врачом. Он выдвинулся своими оригинальными исследованиями и еще молодым человеком получил доцентуру в Московском университете. Мать, Пепронэ Яковлевна, происходила из примечательной армянской семьи Хлытчиевых, давшей несколько талантливых музыкантов и математиков. Будущая писательница росла в среде той прогрессивной интеллигенции, которая видела свой долг в служении народу.

В семье Шагинян хорошо знали и любили русскую классическую литературу. «Мы выросли на русских песнях и сказках...» — говорит Мариэтта Шагинян. Своими учителями, приобщившими будущую писательницу к сокровищнице русского национального гения, Шагинян называет Пушкина — «которого я люблю благоговейно»,— и Гончарова. «С драматической сцены усваивалась нами литературная классика — сочная, чарующая русская речь Островского, оттачивавшая нам чутье родного языка; со сцены оперной входила в нашу духовную культуру классическая музыка».

Подлинным откровением для Мариэтты Шагинян явилось еще в гимназии знакомство с творчеством революционных демократов, произведения которых удавалось тайком доставать.

Революционные веяния проникали и в семью и в школу. Рос интерес учащейся молодежи к политике, к газете, к общественной жизни страны. «Революция подкатывалась под самые стены гимназии,— вспоминает М. Шагинян,— стучалась к нам со всех сторон». В раннем детстве она была свидетельницей «Ходынки». Позднее, уже в школьные годы, врезалось в память известие о новом преступлении царизма, о Цусиме — бессмысленной гибели русской эскадры. События наслаивались, становились все более грозными — народ подымался на борьбу. «Своими глазами видела я и московские баррикады»,— говорит М. Шагинян. И это было одним из самых сильных жизненных впечатлений, сыгравших заметную роль в духовном формировании будущей писательницы.

Осенью 1902 года умер отец Мариэтты Сергеевны. Семья осталась без средств к существованию. Необходимость начать трудовую жизнь возникла для Шагинян еще в гимназические годы. В поисках заработка она не только готовила отстающих учеников, брала всякого рода переписку, но и начала писать для газет — стихи, фельетоны, статьи.

«Профессиональную работу, печатание, я датирую с пятнадцати лет и горжусь тем, что начала свою трудовую биографию в том же возрасте, в каком ее начинает большая часть производственных рабочих».

Первое ее произведение — стихотворный фельетон «Геленджикские мотивы» — было опубликовано 27 июля 1903 года в газете «Черноморское побережье». В последующие годы М. Шагинян систематически печатается в московских рабочих изданиях, в «Ремесленном голосе», а позднее, когда он был закрыт, в газете «Трудовая речь».

Тематика этих первых произведений носила на себе отпечаток тех общественных настроений, которые господствовали в период революционного подъема. Об этом убедительно говорят сами заголовки рассказов: «Забастовщиков сын», «Жена рабочего», «Как я стал политическим»; и стихов — «В подвале», «Цензура», «На заре», «Песнь рабочего». В последнем стихотворении молодая поэтесса воспевает нарастание революционной бури, рисует поднявшийся на борьбу народ: «Эта сила сметет и оковы, и гнет, пролагая тропу для святого труда».

Таким образом, первые шаги молодой писательницы были связаны с рабочими газетами 1905—1906 годов. Идейная сторона этой связи носила еще стихийный, неосознанный характер. Но бесспорно другое — именно здесь у Мариэтты Шагинян возникло и начало формироваться «ощущение профессионализма», сущностью которого, по ее определению, является «представление о труде, как о долге не только перед собой, но и перед обществом».

Поражение первой русской революции наложило отпечаток на сознание известной части тогдашней русской интеллигенции, породив в ней настроения неверия и глубокого пессимизма. В эти годы наступление реакции шло по всем направлениям. Самодержавие учиняло жестокие расправы над революционным студенчеством и прогрессивной профессурой. В печати свирепствовала цензура. «Уже и газеты были другие,— вспоминает М. Шагинян.— Вместо редакторов, охотно бравших стихи о революции и воспитывавших в начинающих писателях общественников, начались резкие выговоры за «ненужную политику», требования «легких, занимательных фельетонов», стихов о любви и природе, разговоров «обо всем и ни о чем».

М. Шагинян сотрудничает в «Приазовском крае» (Ростов-на-Дону), «Баку», «Кавказском слове» (Тифлис), снабжая редакции целым потоком «Литературных дневников», «Маленьких бесед», «Писем с Севера». На смену стихам и рассказам «с направлением» приходят «туманные стихи о волшебных замках, пустопорожние описания подхваченных из чужих книг мистических встреч и настроений...»

М. Шагинян подпадает под влияние идеалистических и даже религиозных воззрений. В 1908 году она поступает на наиболее реакционный из факультетов Высших женских курсов в Москве — историко-философский. Здесь подвизались, наряду с неокантианцами, и прямые проповедники православия и самодержавия, богословы и мистики.

Писательница сближается со «старшими символистами» (Мережковский, Зинаида Гиппиус, Философов) и уезжает к ним в Петербург для совместного «искания церкви», «богостроительства».

Правда, «новообращенная» М. Шагинян была далеко не безопасна для декадентского окружения, в ней бурлили взрывчатые силы, еще неведомые, быть может, и ей самой.

Первая книга стихов Мариэтты Шагинян («Первые встречи», 1909) отражает противоречия идейного развития писательницы. Символистская мистичность, отвлеченность, порыв в потусторонний мир, характерные для стихов этого сборника, то и дело нарушаются громким и требовательным голосом поэта, ставящего прямые вопросы бытия: что же такое человек, в чем смысл его жизни, чем эту жизнь можно оправдать? «Первые встречи» — это лирика мысли напряженной, ищущей, хотя во многом еще противоречивой и неясной.

Противоречива была также и публицистическая деятельность М. Шагинян в эти годы. Однако здесь здоровая тенденция проявляется более явственно, чем в стихах. Если в 1909 году писательница еще испытывает сильное влияние символизма, то через два года она уже обрушивается на декадентов в ряде статей, направленных против теории «чистого искусства» («Чистое искусство»), против праздного эстетизма модного в те годы итальянского писателя Г. д'Аннунцио («Эстетическая скука»), против футуристов («Истощение языка») и главарей декадентского движения («Говорящая пустота», «Соблазн пустого места») и громит квасной православно-монархический роман Н. Русова «Отчий дом» («Пироги сапожника»).

Постепенно перед М. Шагинян раскрывались пустота и обреченность ее наставников, их «декадентская политическая гурмандия», реакционное содержание их «проповедей». И когда Зинаида Гиппиус опубликовала злобный клеветнический роман «Чертова кукла», направленный против марксизма и большевиков, Мариэтта Шагинян «не вытерпела» и выступила против него с резкой статьей «Театр марионеток». «Статья моя,— вспоминает М. Шагинян,— была расценена Мережковским как «предательство», и в том же году произошел у нас разрыв». Он был отнюдь не случаен. Период безвременья шел уже к концу. Жизнь звала Мариэтту Шагинян, а ее бывшие друзья и наставники оставались в стане мертвых, среди тех, кого жизнь уже отбросила со своего пути.

В эти годы Мариэтта Шагинян напряженно ищет «действенную философию», такую, которая «должна быть практикой поведения». «Если ты философ, то дай такую философию, которая бы указывала, как надо жить». Так начинается увлечение молодой

писательницы гетеанством, образом Гете. Культ поэта для нее — это обращение к действенной философии, к философии просветительства. Гете для Мариэтты Шагинян — не только историческая личность и великий поэт, но и воплощение определенного жизненного принципа. В судьбе Гете, в его образе для молодой писательницы была особенно дорога сила диалектической мысли, смело вступившей в борьбу с современной поэту метафизикой. Мариэтта Шагинян видела в великом поэте передового мыслителя, который превращает немецкое захолустье, маленький косный Веймар в центр духовной жизни и в Мекку для Европы.

М. Шагинян задумывается над судьбами русской интеллигенции. «Все мы разбросаны по безвестным русским Веймарам»,— говорит она себе. Начинать надо «не с унылых жалоб», а «с повышенно требовательной работы».

Однако присущая М. Шагинян жажда настоящего, то есть нужного обществу, дела не находила подлинного удовлетворения. Позднее, в зрелые годы, писательница сама дала непримиримо беспощадную оценку этому «веймарскому» периоду: «...трудоемкие годы, прошедшие под знаком Гете, были и самыми реакционными в моей жизни. Реакцией был уход от всяких общественно-политических исканий, реакцией было углубление в книгу, в кабинетную работу, реакционным было и идолопоклонство перед культурой...»

Полностью согласиться с приведенной оценкой, конечно, нельзя. «Гетеанство» писательницы в тот период было прогрессивным этапом в ее идейном и творческом развитии. Оно знаменовало отход от реакционного «богоискательства» мережковских к жизнелюбию и материализму великих гуманистов прошлого. Молодая писательница стихийно тянулась к прогрессивному лагерю, но ясно определить свое место в разгоравшейся общественной борьбе не могла. Выход из противоречий реальной действительности она искала в упорном творческом труде. В ту пору, помимо газет, она работает в издательстве «Мусагет», сотрудничает в журнале «Труды и дни», в петербургских «Северных записках». Ей довелось участвовать в ряде схваток прогрессивной интеллигенции с реакцией, происходивших на идеологическом фронте. Так в споре, возникшем по поводу протеста М. Горького против инсценировки МХАТом «Бесов» Достоевского, М. Шагинян заняла позицию защиты пролетарского писателя и поддержки его выступ-

ления, объявив горьковскую статью «О карамазовщине» «замечательным явлением в жизни России» [1].

Столь же боевым и прогрессивным было выступление Мариэтты Шагинян в полемике, завязавшейся вокруг творчества замечательного русского композитора Сергея Рахманинова.

Модернистские критики подвергали творчество С. Рахманинова яростным нападкам. Они упрекали композитора в старомодности, в эклектизме.

В защиту Рахманинова выступила передовая критика того времени. В ожесточенной схватке двух лагерей Мариэтта Шагинян, как публицист, стала на сторону тех, кто отстаивал и утверждал классические традиции русской музыки. В статье «С. В. Рахманинов» (1912) писательница решительно противопоставила творчество композитора антиреалистическим и антигуманистическим произведениям модернистов. Говоря о последних, она пишет: «...приходишь к печальному выводу, что нынешняя музыка все более и более откалывается от человека» [2].

Творческая дружба связывает в эти годы Мариэтту Шагинян с Рахманиновым. Писательница знакомит композитора с современной поэзией, подбирает тексты для его музыкальных произведений. Общение с большим художником плодотворно и для самой писательницы.

Новая книга стихов, «Orientalia» (написанная с февраля по октябрь 1912 г., изданная в 1913 г.) — книга, принесшая ее автору известность,— связана с именем Рахманинова и посвящена композитору. «Orientalia» — это спор поэта со своими собственными настроениями, чувствами и мыслями, выраженными в книге «Первые встречи». Стихи «Orientalia» ясно делятся на две группы. В одной из них — количественно небольшой — еще слышны отзвуки мистических мотивов, характерных для первой книги М. Шагинян. Любовь лирической героини окрашена и здесь религиозными настроениями, стремлением к самоотреченью, философскими раздумьями.

Любовь и грусть одним теченьем
Смывает времени волна...
Молчу. И странным обреченьем
Душа холодная полна.

(«Не надо больше»)

---

[1] «Приазовский край», 13 октября 1913 г.
[2] «Труды и дни», 1912, № 4—5.

Но религиозная окраска стихов М. Шагинян все же весьма условна. Образ «творца», бога зачастую приобретает у нее философское, а не религиозно-мистическое наполнение и сливается с понятиями вечности, природы, в стихи врываются мотивы земной страсти.

Основу книги составляет вторая группа стихов, воспевающих плотскую, языческую радость бытия. Пафос «Orientalia» в том, что жизнь бросает вызов человеческим горестям. Яркий мир реальности встает в ней во всем богатстве своих красок, чувств, ощущений. Вопреки декадентским поэтам, соединявшим эротику с мистическими переживаниями, воспевавшим любовь как проклятье и взаимное мучительство, Мариэтта Шагинян прославляет простую, ясную, земную любовь и материнство.

Экзотика, ориентализм книги не случайны. Они вызваны и обращением Шагинян к Армении и стремлением оттенить, подчеркнуть плотскую реальность событий, сочность и яркость материального мира.

Поиски путей к реализму у поэтессы шли через освоение литературного наследия восточной поэзии, через преодоление традиционно романтических приемов описания. Стихи «Orientalia» еще полны таких деталей, как ложе, покрытое «золотистой шкурой леопарда», как кувшины, что таят «драгоценный сок, желтей топаза», как руки, пахнущие «чебрецом и тмином» («Полнолуние»).

Живое ощущение радости бытия, наполняющее стихи «Orientalia», еще не находит у поэтессы той формы, какая позволила бы выразить всю его реальность, земную материальную силу. Но поиски этой формы у Мариэтты Шагинян шли неустанно и напряженно, сопровождаясь большой ломкой эстетических представлений и убеждений. Здоровое, реалистическое начало постепенно побеждало в творчестве М. Шагинян, вытесняя все наносные наслоения. Процесс этот оказался далеко не прямолинейным: писательница ошибалась, отступала, но все же не оставляла борьбы и все дальше уходила от настроений эпохи «безвременья», от ее эстетических канонов.

В 1914 году, в канун первой империалистической войны, Мариэтта Шагинян, закончившая к тому времени Высшие женские курсы и отправленная для подготовки магистерской диссертации в Гейдельберг, предпринимает паломничество в Веймар. Из старого Гейдельберга с мешком за плечами она пешком пускается в путь. Маршрут, выбранный ею, ведет через Вормс, хранящий память о Лютере, на родину Гете — Франкфурт-на-Майне — и затем в

Веймар. Это было накануне объявления первой мировой войны. Шагинян видит новый, звериный лик империалистской Германии. Не лицо Гете, а ликующая маска немецкого филистера предстала ее глазам. «Это путешествие за десять дней до 1 августа 1914 года,— пишет М. Шагинян,— было последним этапом культурнического идолопоклонства: в него неожиданно ворвалась политика».

Веймарское путешествие положило начало идейному возмужанию Мариэтты Шагинян. Она не ищет больше поддержки у теней прошлого, она обращается к будущему.

Основным произведением предоктябрьского периода в творчестве Мариэтты Шагинян, произведением, завершившим этот этап идейного и художественного развития писательницы, явился роман «Своя судьба». В нем писательница подводила итоги всему передуманному, перечувствованному, отвечала на основной волновавший ее вопрос о том, как и для чего жить.

Написана «Своя судьба» в 1915 году. Печатался роман в 1918 году в журнале «Вестник Европы», редактором которого в то время был Дм. Овсянико-Куликовский, высоко оценивший это произведение. Появились, правда, лишь первые главы романа [1], так как журнал вскоре перестал существовать. Полностью «Своя судьба» была опубликована в 1923 году.

В центре романа стоит проблема философская, мировоззренческая — о судьбе человека, точнее, о его праве управлять своей судьбой. На страницах книги идет напряженный идейный спор, в противоборстве, столкновении взглядов ее героев выявляется основная мысль автора — отказ от идеализма как жизненной философии.

Действие романа происходит в глубине Ичхорского ущелья на Кавказе, в санатории талантливого психопатолога профессора Фёрстера. Он резко выступает против теорий Фрейда, который перед первой мировой войной уже начинал входить в моду. Профессор Фёрстер считает главенствующим во внутренней духовной жизни человека сознательное начало. На этом построена вся теория лечения больных в его санатории. Повествование ведется от лица рассказчика — молодого ассистента Батюшкова, приезжающего на работу в ичхорский санаторий.

---

[1] «Вестник Европы», 1918, №№ 1—4.

Фёрстера окружает группа преданных ему людей. Это и его близкие — жена Варвара Ильинична и дочь Маро, и сотрудники: энергичный, деятельный человек, убежденный материалист доктор Зарубин и фельдшер Семенов. К ним и присоединяется Сергей Иванович Батюшков.

Другая группа героев — больные, лечащиеся в горном санатории. Описание их недугов носит у Мариэтты Шагинян явно сатирическую окраску: это болезни буржуазной интеллигенции. Так, например, желчная старуха Меркулова больна «ненавистью к неожиданному». Она сносно себя чувствует, когда жизнь ее идет по раз заведенному порядку, но едва в ней что-либо хотя бы слегка нарушается, как старуха приходит в отчаяние, доходит до неистовства и душевно заболевает. Студент-путеец «болен ожиданьем несчастья». Адвокат Ткаченко страдает «диалектической болезнью»: на любое явление, событие у него всегда имеется сразу две точки зрения; он воспринимает и оценивает явления одновременно и с собственных позиций и с позиций противника, теряя при этом различие между ними. Развитие недуга привело к тому, что герой стал «совершенно нечувствительным к отличию правды от лжи». Писатель Черепенников потерял ощущение действительности. «Он не умеет воспринимать события иначе, как через литературную обработку». Реальные несчастья или несправедливости оставляют его равнодушным. В описании заболевания Черепенникова М. Шагинян раскрывает идейное разложение декадентствующей интеллигенции, вскрывает всю порочность ее идеалистических воззрений. Черепенников, «видите ли, отзывается на высшую реальность, а потому живет искусством, а не жизнью», так как для него жизнь — это лишь «хаос, лишенный настоящей реальности».

Сатирическое разоблачение эстетских идеалистических теорий не случайно в мировоззренческом романе Мариэтты Шагинян. Писательница в одной из глав романа рассказывает, как фёрстеровские больные создают самодеятельный спектакль в модернистском духе, в стиле пьес Леонида Андреева. Страницы, посвященные этому спектаклю, являются беспощадной сатирой на драматургию символистов, полную мистических предчувствий, настроений обреченности, страха. Таким образом, разоблачение недугов буржуазной интеллигенции у писательницы имеет два плана: и острой социальной сатиры и мировоззренческой, философской полемики.

Наиболее полемичен образ одного из основных героев «Своей судьбы» — Ястребцова. Он страдает «раздвоением души», «отделением ее от воли», от разума. «Я боюсь своей души»,— признается Ястребцов. Он строит целую теорию о власти над душой цепи случайных импульсов, которые постоянно возникают извне и определяют поведение человека в случайном направлении, пробуждая к жизни такие инстинкты, о существовании которых он до «импульса» и не подозревал.

Свою философию Ястребцов противопоставляет идеям Фёрстера. Теория «импульса» является полемически раскрываемым Мариэттой Шагинян «фрейдизмом в действии», логическим его развитием. Она преломляется в «Своей судьбе» в острых жизненных ситуациях. На протяжении всего романа идет спор между двумя ведущими персонажами — Ястребцовым и Фёрстером. Метод лечения Фёрстера в корне противоположен фрейдовскому: «Мы не развязываем, а пытаемся завязать распустившиеся в человеке узлы». Не углубление в область подсознательного, не поиски истоков древних инстинктов, а подчинение стихии переживаний, чувств, настроений человеческой воле и разуму — вот что отстаивает Фёрстер. Человек — хозяин своей судьбы, а не слепое игралище случайных «импульсов». Он обязан формировать собственный характер, управлять им. «...Мы подымаем самоуважение в больном (самый могучий фактор выздоровления!),— говорит Фёрстер.— А вместе с ростом самоуважения помогаем процессу борьбы больного со своими слабостями».

Мариэтта Шагинян отрицает идеалистический взгляд на внутренний духовный мир человека как на сферу, где действует лишь слепое иррациональное начало.

Важнейшим фактором процесса «налаживания» души, сознательного руководства процессами внутренней жизни, собственными чувствами, желаниями, а следовательно, и поступками автор романа считает труд. Тема труда, формирующего личность, возникает в одном из эпизодов романа «Своя судьба». Фёрстер видит в труде средство «сцепления интересов» различных людей. В романе, наряду с этой социальной стороной темы, намечается раскрытие ее эстетической стороны — правда, пока еще беглое, в одной из боковых линий сюжета.

Когда Мариэтта Шагинян посвящает целые страницы поэтическому рассказу о работе гравера, технологии его чудесного мастерства, рождению рисунка, это описание не является самоцелью, оно лишь повод к тому, чтобы раскрыть нравственное воз-

рождение одного из героев романа, маленького ничтожного человека — Лапушкина, по-ястребцовски охваченного боязнью «первого импульса». Прошлое Лапушкина — это цепь нравственных падений, безвольное подчинение порокам, господствовавшим над его волей.

Вдохновляющая сила творчества облагораживает его, вселяет уважение к себе, к своему мастерству.

Но здесь в споре с Фёрстером, казалось бы, все же побеждает Ястребцов, он успевает уловить в Лапушкине еще не изжитый страх «первого импульса» — поддерживает его, раздувает, что и приводит Лапушкина к самоубийству. И тем не менее все же читатель ясно ощущает, что конец этот незакономерен, что у героя уже накопилось достаточно внутренних сил, чтобы победить свою душевную слабость и спасти себя. Правда, Лапушкин не воспользовался тем, что́ уже завоевал. Но он и не поддался старым порокам, устоял перед ними, хотя и расплатился за это слишком дорогой ценой — жизнью. Таким образом, именно Ястребцов терпит здесь поражение. По существу Лапушкин отрицает его теорию власти над человеком слепых инстинктов, несмотря на то, что в сложных жизненных обстоятельствах избирает неправильный выход. Трагизм в том, что этот выход показался Лапушкину единственым и наилучшим.

Мариэтта Шагинян поднимает в «Своей судьбе» и этические проблемы. Одно из основных требований ее героя Фёрстера — требование воспитывать в человеке чувство ответственности перед другими людьми, чувство долга, нравственного идеала. Раскрывается эта тема в романтической линии любви Маро — дочери Фёрстера — и рабочего Хансена, которые могут быть счастливы лишь решившись преступить через страдания другого человека — жены Хансена.

Филипп Хансен — поэтическая натура, человек из народа, обладающий тонкой, чистой душой. Все, что его окружает в семье, представляется Маро пошлым и убогим, принижающим его. Жена, маленькая мещаночка, теща, похожая на куклу из папье-маше «бумажная ведьма», тесть, стеснительно кашляющий в ладошку ничтожный старичок. Маро не верит в то, что Хансен может быть счастлив в семье, которая, как ей кажется, является для него лишь тяжким жизненным грузом. И в этом девушка ищет оправдания своему чувству к Хансену.

Образ Хансена подчеркнуто идеализирован и выступает в романе как условно-романтическая фигура. О его внутренней

утонченности должны свидетельствовать и символически заброшенная на чердаке старая скрипка, к игре на которой в его мещанской среде относятся враждебно, и горькая страсть к Маро, несбыточная мечта о «невозможном счастье».

Знаменательно, что и пейзаж в романе «Своя судьба», тесно связанный с сюжетной линией любви Маро и Хансена, так же условно-романтичен. Снеговые вершины гор, альпийские луга, причудливо-сказочные ущелья, заросшие диким кустарником, своевольные горные речушки, вековые деревья, склоняющиеся над холодными озерами,— все это составляет декоративный фон для развертывающихся событий.

В пейзаже у М. Шагинян есть и своеобразное преломление руссоистских идей. Прекрасна природа, прекрасен и человек,— утверждает писательница,— его лишь сковывают уродливые общественные отношения. Именно потому лучшие стороны Хансена раскрываются на лоне природы, среди величественных гор.

Хансен испытывает глубокую любовь к Маро. Но он сдерживает, сковывает свое чувство, так как его останавливает понимание ответственности и перед Маро и перед близкими, которых не легко оставить даже ради сильного нового чувства.

Хансен цельная натура, он сильнее мятущейся Маро, которая «любила и боролась между любовью и ее недолжностью». Вокруг Маро разгорается борьба, идет спор о долге и чувстве, о праве одного человека преступить через счастье, а быть может и жизнь другого. И вновь в жестоком столкновении предстают здесь два основных идейных противника — Фёрстер и Ястребцов.

Последний следит за развитием чувства Маро и поддерживает разгорающееся пламя. Он даже подводит под переживания девушки своеобразное «теоретическое» обоснование.

Фёрстер ястребцовскому нигилизму противопоставляет заботу о будущем семьи, принцип созидания прочного семейного союза. Основы общественной морали, отвергаемые Ястребцовым, якобы во имя «подлинных чувств», являются для Фёрстера организующим, цементирующим началом, воспитывающим в человеке «ответственность перед собой, перед близкими, перед обществом». Сам Фёрстер в своих отношениях с женой и дочерью придерживается этого высокого морального принципа.

Он не предлагает дочери просто смирить свои чувства, подавить их, он ждет большего: чтобы она оценила собственные поступки с позиции высокого морального идеала, высокой требовательности к себе и окружающим людям: «Суди себя высоким

судом, девочка»,— завещает ей Фёрстер. С его «высокой мерой» человеческих поступков и переживаний, с его верой в сознание и волю человека Фёрстер побеждает и в этом споре с Ястребцовым.

В романе мощно звучит мотив веры в силу разума, сознательно направленной воли: ведь «человек — не пыль дорожная, чтоб летать вместе с ветром». Все его поступки должны определяться высоким нравственным долгом, долгом перед обществом.

В первом варианте романа «Своя судьба», относящемся к 1915 году, внутреннее содержание этого долга определялось для Мариэтты Шагинян христианским идеалом, самоотречением в пользу ближнего, самосовершенствованием. Именно здесь она надеялась найти «действенную философию». Правда, «христианство» М. Шагинян было весьма своеобразным. В романе носителем этического начала являлся священник — отец Леонид,— еретик и нарушитель догматических церковных установлений. Он выражал не официальную церковную религиозность, а якобы истинно нравственный христианский идеал, подлинную человечность. Отца Леонида в конце концов отлучили от церкви. Налет христианского смирения содержался и в благостности Фёрстера, в его проповеднических речах и, наконец, в отношениях с женой.

Но эти рассуждения о красоте самопожертвования и праведничестве, весь этот христианский налет, который был свойствен ряду эпизодов романа, противоречил его духу, его здоровому реалистическому направлению. Естественно, что при последующих переработках «Своей судьбы» Мариэтта Шагинян пошла по линии очищения романа от всего наносного, от всего, что затуманивало его лейтмотив — мотив «высокой меры», ответственности личности перед обществом за все поступки, мысли и чувства, за управление собственной жизнью, полновластным хозяином которой обязан быть человек.

2

Октябрь 1917 года явился великим историческим рубежом, положившим начало коренному переустройству всей жизни народов бывшей Российской империи. Героическая романтика разрушения старого и созидания нового общественного порядка захватила писательницу, потрясенную грандиозным размахом и мощью начавшихся перемен.

Революция застала ее на Дону, где с 1915 по 1920 год жила М. Шагинян, став свидетельницей отчаянного сопротивления реакции и ее тщетных попыток расправиться с молодой советской республикой.

После победы революции Мариэтта Шагинян включается в созидательную деятельность родного народа. Вместе с партийными работниками писательница ездит по станицам на митинги, участвует в организации профессиональных школ, читает лекции рабочим на курсах по повышению квалификации. Обо всем этом она расскажет позднее в очерке «Как я была инструктором ткацкого дела» (1922).

В начале ноября 1920 года Мариэтта Шагинян уезжает в Москву, а затем в Ленинград, где начинает активно сотрудничать в газетах, а также журналах «Петербург», «Летопись дома литераторов», в еженедельнике «Жизнь искусства». Писатели Ленинграда объединялись в это время вокруг А. М. Горького, который основал издательство «Всемирная литература» и привлекал к участию в нем широкие круги интеллигенции. В литературной среде происходило в ту пору резкое размежевание. Часть писателей перешла в лагерь революции, другие, как вспоминает М. Шагинян, «существовали благодаря всевозможным синекурам (должностям в разных Пролеткультах и отделах искусств, сочетавшим мнимую работу с небольшим жалованием и получением карточек на хлеб), а по существу отсиживались от революции в раздраженном безделье». С первых же шагов своей литературной деятельности в Ленинграде Мариэтта Шагинян определяет собственную позицию, опубликовав 9 декабря 1920 года в «Известиях Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов» статью «Кое-что о русской интеллигенции», где она резко выступает против саботажа, разоблачает мнимый «нейтралитет» некоторых деятелей культуры, обличая его реакционную сущность.

Двадцатые годы — период наиболее интенсивной творческой деятельности Мариэтты Шагинян. Не оставляя напряженной газетной работы (М. Шагинян, начиная с 1922 года, много и упорно разъезжает по стране с мандатами московских и ленинградских органов печати), писательница создает ряд романов и повестей, которые по праву вошли в историю советской литературы.

В эти годы Мариэтта Шагинян ведет подробнейшие дневниковые записи, часть которых послужила основным материалом для романов «Перемена», «Приключение дамы из общества» и рас-

цикла «Агитвагон» — произведений, написанных почти одновременно и, можно сказать, связанных между собой как идейно, так и тематически.

Основное произведение цикла — роман «Перемена» — это «быль о гражданской войне на юге страны», написанная, как свидетельствует автор, «по свежнм следам пережитого, по дневнику и газетам». Здесь использованы подлинные факты и события. М. Шагинян указывает: «...Записи всего пережитого на Дону с 1917 по 1921 год, сохранившие мрачные подробности разгула деникинщины, переменные этапы гражданской войны на Дону и, наконец, победу революции, а с нею свежесть утреннего ощущения мира, незабвенную для переживших ее радость начала новой жизни, «зари утренней»,— почти целиком вошли позднее в мою первую большую послереволюцнонную вещь — «Перемену».

Это произведение явилось одной из первых книг молодой советской литературы, с поэтическим волнением рассказавшей о разрыве со старым ненавистным миром и о счастье борьбы за создание нового строя. «Перемена» была прочитана В. И. Лениным и заслужила его высокую оценку.

Роман «Перемена» состоит из четырех частей, рисующих различные этапы гражданской войны на Дону. Он открывается главой о февральской революции. С убийственной иронией осмеивает М. Шагинян бурную деятельность буржуазии, жаждущей [illegible] революции, спокойной и не несущей никаких перемен». Крикливые манифесты, лживые обещания, бесчисленные митннги, [illegible]», «поэзо-концерты» Игоря Северянина, воспевавшего «шампанскую кровь революции», профессорские лекции, предостерегающие гимназистов, курсисток, земгусаров и дам от «углубления революции»,— все это ярко и остро разоблачается писательницей.

Но наряду с этим читатель видит, как начинаются первые схватки революции с реакцией на юге страны, как переходит власть из рук в руки, от буржуазии к Советам, а затем к контрреволюционному казачеству.

«Мы в начале гражданской войны: октябрьский переворот прошел повсеместно,— говорнт большевнк Васильев.— Нет логики в том, чтобы на Дону удержалось казачество». На протяжении всего романа автор раскрывает «логнку революции», то есть историческую неизбежность победы советской власти над старым миром.

Вторая часть романа рассказывает о захвате юга России немецкими оккупантами. Наступило лихолетье, слетелось хищное воронье, интервенты, гетманы, монархисты, белогвардейцы, стремясь расхитить, растаскать богатства страны. Здесь возникает в романе тема бессилия умирающих классов, их полной неспособности создавать жизнь, новое в жизни: реакция может лишь разрушать и разорять.

В третьей и четвертой частях «Перемены» дается картина разложения лагеря реакции, противоречий между казачеством и образовавшимся белогвардейским деникинским правительством, провал очередного похода «на Москву». Книга заканчивается главой «Судный день» — полным разгромом сил контрреволюции. С суровым пафосом рисует М. Шагинян неотвратимую гибель правящих классов.

Сцены, отображающие вступление Красной Армии в город,— гимн всепобеждающей жизни, счастью бытия, утренней заре человечества. «Словно распахнуты двери в необъятную ширь горизонта, словно начата песня звонким голосом запевалы — и не предвидится ей конца,— входит в душу сознание наступающей жизни».

Две стилевые струи переплетаются в «романическом эпосе» Мариэтты Шагинян. Это, с одной стороны, беспощадная сатира, обращенная на обличение старого, умирающего, неподвижного «эвклидова мира», и с другой — взволнованная романтика, помогающая художнику воплотить величие и поэзию «перемены», передать победное шествие революции.

Изображая вражеский лагерь, писательница создает целую галерею обобщенных сатирических образов. Средства их обрисовки в романе весьма многообразны. Мариэтта Шагинян зачастую использует полную сарказма характеристику лагеря реакции. Выводя представителей Антанты, поддерживающих Деникина, писательница иронически замечает, что англичане и французы, «как кредиторы», разъезжают по различным странам: «К одному — любезно, как в гости, лишь изредка залезая в карман за счетною книжкой. К другому — без разговоров, с хорошим взводом колониального войска».

Острый политический подтекст имеют и сатирические портретные зарисовки. Писательница беспощадно раскрывает типические черты корниловцев, «мрачных, приученных к смерти», и гайдамаков с их нарочитой внешней архаичностью, с их опереточным под-

ряженым запорожцам: «усы отпустили такой закорюкой, что совсем иллюстрация к Гоголю, и треплются по весенней степной мокроте шаровары, как юбки, на бойких плясучих лошадках». В иронических характеристиках подчеркивается «ненастоящесть» этих людей, их историческая никчемность и обреченность.

Мариэтта Шагинян не ограничивается сатирическими портретными зарисовками, она создает сатирические типы.

Лагерь реакции опирается на «деятелей» двух видов, говорит писательница: первый — это «крендельковые люди», второй — «отчаянные» или «доблестные защитники чести казачества от заразы большевиков».

Сатирически раскрывая сущность этих двух социальных типов, составляющих опору реакции, Мариэтта Шагинян подчеркивает непрочность самих основ старого общественного порядка, бессмысленность и заведомую обреченность попыток реставрации прошлого.

У «отчаянных» нет «ни бога, ни черта, ни завтра и ни вчера, а только сегодня». Пьют они и распутничают, ибо ничего иного не остается тем, кто «потерял Родину и сражается за... роковую ошибку в важнейшую минуту столетия...» Образ этих опустошенных, [illegible] «защитников» старого, умирающего мира проходит от начала до конца книги. Как лейтмотив, звучат слова об утерянном прошлом и будущем «отчаянного»; ведь «укорачивается его сегодня», — повторяет он, «загнанный в пустоту, — и не на чем [illegible] от судорожной краткосрочности».

Гротескный образ «крендельковых людей» по-щедрински раскрывает другую сторону — призрачность «порядка», восстановленного реакцией. Это — деникинские деятели тыла, государственного управления: «Иваны Ивановичи» и «Петры Петровичи», которые в дни февральской революции поиграли было в парламентаризм, а теперь твердо опираются на белогвардейские штыки, на интервенцию: «Мы некультурны, нам нужно твердую власть, хотя бы иноземную...»

«Иваны Ивановичи» тесно объединены друг с другом многочисленными «родственными связями». Все это люди «одной семьи», а точнее одного класса, готовые — говоря словами Фамусова — «порадеть родному человечку». Так на реальной жизненной основе возникает развернутый, многогранный гротескный образ: «И выходит, что город окутывается, как телефонной сетью, незримою нитью, именуемой «связью»...» Деятельность этих людишек бессмысленна и пустопорожня. Они умели «ручки, ножки держать

наготове», «торсом гнуться, куда надлежало». Но главное, в чем выражалась их сущность,— «не было никого их вернее для неподвижного дела».

«Крендельковые людишки» — воплощение «эвклидова мира», застывшего, неизменяющегося, неподвижного. Писательница, создавая этот сатирико-философский образ уходящего старого общества, подчеркивает характерное для него противоречие: «трещину меж прямизною сознанья и ложью и кривью действительности...» Она прибегает к политической сатире, гротеску, вскрывая иллюзорность, призрачность «неподвижного» мира реакции, способиого порождать только «отчаянных» или «крендельковых людишек».

Сатира у М. Шагинян перерастает в обличение, полное трагедийного пафоса, когда писательница рисует паническое бегство белых, картину ночной переправы через Дон и конец «крендельковых людишек». Это не только гибель беглецов на переправе, но и символ гибели целого класса — класса собственников, конец неподвижного «эвклидова мира».

Сатирико-философскому образу косной, исторически обреченной общественной системы в романе Мариэтты Шагинян противостоит героико-романтический образ бурно развивающейся, вечно живой революции — «перемены». Образ этот — отрицание «эвклидова мира», залог его разрушения и гибели. «Дыша смертоносным дыханием.. многоочитая, как вызвездивший небосклон, чреватая новым, подошла — Перемена. Неотвратима, как смерть: ее если хочешь, прими, если хочешь, отвергни,— все равно не избегнешь».

Оба образа дают ту широту философского и поэтического обобщения, какая характерна для народной, былинной и сказочной образности. Подобно тому, как в сказке в качестве героев зачастую выступают такие абстрактные величины, как Правда и Кривда, в романе Мариэтты Шагинян находят поэтическое воплощение две противоборствующие идеи, две мировоззренческие системы, два непримиримых взгляда на жизнь: в образе «эвклидова мира» — утверждение косности, неподвижности действительности, в образе «перемены», главной «героини» романа — поэзия вечного движения, развития и созидания жизни.

Эти образы определили и изменения в характере пейзажа у Мариэтты Шагинян. В «Перемене» уже нет условно-романтических картин природы, как в «Своей судьбе»: пейзаж вводится писательницей скупо, двумя-тремя штрихами, и стоит ближе к

графическому рисунку, к гравюре, чем в живописи. Он реалистичен, плотно вплетен в ткань повествования и всегда исторически конкретен, включает жанровые детали, несущие в себе характерные черты времени.

Вообще пейзаж выполняет у М. Шагинян многообразные функции. Он служит сатирическому обличению, когда речь идет об «эвклидовом мире». Так, рассказывая о временном утверждении на Дону власти «крендельковых людей», М. Шагинян подчеркивает ощущение ее непрочности пейзажными зарисовками: картины осеннего увядания природы приобретают символическое значение.

Характерно, что поэзия весеннего обновления и расцвета природы, радость бытия неизменно пронизывает пейзаж, когда М. Шагинян говорит о революции. Даже рисуя зимние дни, в течение которых советская власть окончательно укрепилась в городе, и утро, когда народ вышел на улицы, чтобы почтить павших в боях, писательница все же подчеркивает приметы грядущей весны, возрождения жизни: «Серое утро ослепительным днем заменилось. Пачками пальмовых листьев засияли ледяные сосульки. И, спаяны снегом, гладко смеясь под полозьями, во все стороны, как провода, понеслись первопутки».

Основное внимание писательница уделяет героям Перемены-революции. Сатирическим образам — типам старого реакционного мира — противостоят образы романтические — новых людей. Часть из них пробуждена революцией и страстно приобщается к великим идеям коммунизма. Таковы в романе молодежь: Куся, Лиля, а также местные интеллигенты типа философа и мечтателя Якова Львовича. Другие — это герои и труженики революции, коммунисты, ее сознательное начало, ее душа и разум.

С образами коммунистов у Мариэтты Шагинян связана в романе тема великой жертвенности, характерная для многих произведений двадцатых годов.

Герой «Перемены» товарищ Васильев, «слесарь царицынского завода и большевик», является одним из тружеников революции. Одним из тех, кто подвигом жизни утверждает и осуществляет великие перемены на земле. Это — воин и созидатель, отдающий свою жизнь в жертву революции. Жертвенность его обусловлена жестокой исторической необходимостью, которую он принимает, сознавая, что иного пути нет. Внутренний мир Васильева М. Шагинян раскрывает в спорах и столкновениях его с мечтателем Яковом Львовичем.

Яков Львович, «пролетарий духа», живет замкнутой внутренней жизнью. «Я люблю мысль революции,— говорит он,— я за нее умру не поморщившись». А Васильев отдан делу революции — грубому, прозаическому, земному.

Писательница показывает, как после ожесточенных боев, едва вышвырнув из города белых или интервентов, советская власть каждый раз тотчас же приступает к созидательной деятельности. О ее героике и трудностях в условиях все еще бурлящей вокруг гражданской войны и говорит герой «Перемены» коммунист Васильев: «...Мы наступаем, реорганизуя. Мы должны перестраивать на скорую руку, без людей, с мошенниками и саботажниками, на завоеванном месте, на клочке, который, может быть, завтра от нас будет вырван!»

В образе коммуниста Васильева писательница воспевает героическую самоотверженную деятельность тысяч и тысяч тружеников революции, отдававших свои силы и самую жизнь созиданию нового общества. Васильев гибнет в преддверии победы, и его убивает не пуля врага, а повседневные лишения походной жизни.

О беззаветном служении коммунистов народному делу, о их героической жертвенности говорит Мариэтта Шагинян и в рассказе «Агитвагон», который не только дополняет и развивает эту тематическую линию романа «Перемена», но и делает ее главной, решающей.

Герой рассказа, скромный, «худенький, в синей рубашке» партийный работник «из центра», перед лицом смертельной опасности проявляет подлинную силу и мужество. Он бесстрашно идет на мучительную казнь и, самое главное,— смерть свою обращает в пламенную агитацию. Писательница подчеркивает новое качество в духовном облике своего героя: его мужество порождено великими идеалами коммунизма, преданностью делу революции.

Односторонность и даже ошибочность подобной трактовки темы заключалась в том, что М. Шагинян трагическую жертвенность возводила в высший принцип деятельности своих героев. «Живите тысячу лет и еще тысячу, а сильнее не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле нет ничего».

Не удовлетворившись романтическим изображением коммунистов в романе «Перемена», тогда еще не законченном, и рассказе «Агитвагон», Мариэтта Шагинян тут же ищет новых путей их изображения уже в реалистической манере. Одновре-

менно с продолжением работы над «Переменой» она начинает роман «Приключение дамы из общества».

Один из основных героев повести — большевик Сергей Безменов, который показан писательницей уже в иной исторический период: не во время гражданской войны, как Васильев, а после победы над контрреволюцией, после окончательного установления советской власти.

Безменов, как и коммунисты «Перемены», целиком отдан делу революции: «Я не свой человек, не свой собственный,— говорит он о себе,—а принадлежу своему делу». Подобно Васильеву, он занят повседневной, черной работой великого строительства новой жизни. Писательница усиливает именно эту сторону повествования, но ищет поэзию действительности уже не в трагедийности, а в пафосе утверждения.

Безменов хорошо понимает значение той изнурительной, черной работы, из которой складывается самый процесс повседневного строительства нового общества. В споре с Алиной Зворыкиной — главной героиней повести — Безменов определяет свои взгляды на созидательную деятельность: она состоит не только из взлетов и парений духа; она требует тяжелого и, зачастую, жертвенного труда.

Алина Зворыкина говорит ему: «Вы человек с умом, сердцем и волей, и разве вам не страшно день и ночь кипеть в этих нудных мелочах? Вы все равно что трамвайный кондуктор. Разве интересно тратить жизнь на беспрерывное обрывание билетиков?» Безменов спокойно отвечает: «Вы ничего не понимаете. Этот кабинет — рулевая будка. Мы правим курс. А если б мы засели за научные диссертации или игру на виолончели, Россия пошла бы ко дну».

Сергей Безменов — чернорабочий революции. Но именно поэтому он и руководит процессом жизни.

Мотив жертвенности полностью еще не исчезает в повести, но уже отступает на задний план. Здесь звучит радостная тема созидания, тема будущего.

Поэзия грубого, тяжкого земного труда, повседневной работы революции — вот новая и уже не трагедийная, а жизнеутверждающая сторона романтики, характеризующей цикл первых послереволюционных произведений Мариэтты Шагинян. И основой этой романтики явилась тема творческого труда коммунистов, которая прозвучала впервые на страницах «Перемены».

Но материал романа не позволял еще развить наметившуюся тему. Романтический пафос «Перемены» составляла героика борьбы, великих жертв во имя будущего.

Однако во всем цикле на первый план выступает романтика революции — творящей, созидающей новую жизнь.

В лагере революции Мариэтта Шагинян видит и образы тех юных людей, которых на заре их жизни захватила героика революции, ее гуманизм и величие. Автор «Перемены» показывает, как в буре гражданской войны растет и мужает целое поколение. Юные герои проходят подлинную школу революции. Стихийная, детская еще «любовь к событиям», увлечение романтикой перемен, чтение большевистской литературы, хождение на митинги, первые подпольные сходки, первые агитационные выступления, сопряженные со смертельным риском, начало сознательной борьбы против уходящего «эвклидова мира».

Так растет девочка Куся, формируется, взрослеет, становится беззаветно преданным работником партии. Ей еще присуща безудержная романтичность, восприятие революции как величественного праздника. «Ах, как прекрасно, как радостно! — восклицает она в задушевном разговоре с подругой.— ...Музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, а я стану тогда барабанщиком и пойду отбивать перемену: трам-тарарам, просыпайтесь! Играю тебе зорю утреннюю, Человечество!»

Пройдя через ряд жестоких испытаний, девушка не утрачивает поэтического восприятия революции, но теперь видит уже и суровую, мужественную романтику революционной борьбы, осуществляемой старшим поколением большевиков.

Судьба другой героини романа — Ревекки — сплетается с судьбой Куси, дополняет ее, показывая тот героический путь, каким шла революционная молодежь.

Ревекка жизнью расплачивается за революционное выступление на студенческой сходке. Ее отдают на расправу дикой дивизии. Трагическая сцена гибели девушки написана Мариэттой Шагинян с огромной силой презрения к страшному миру прошлого, тщетно старающемуся кровью залить революцию! «Не страшно Ревекке, не больно: мать последнего мужества, великая ненависть, кормит ее своей спасительной силой». Девушка проклинает своих палачей, предвещает им близкую, неотвратимую

гибель: «Сгинете, как собаки, сотрется с лица земли след ваш...» В гибели Ревекки вновь воплощена характерная для М. Шагинян тема агитации деянием, подвигом.

Своеобразие творческой манеры писательницы заключается здесь в том, что она не стремится давать развернутые психологические характеристики своим героям. Ее интересуют судьбы целых социальных групп старого общества в период, когда произошел его раскол на два лагеря — революционный и реакционный.

Представителем этого старшего поколения героев в романе является «пролетарий духа» Яков Львович, гуманист и мечтатель. Он сразу же оказывается вовлеченным в борьбу с реакцией: прячет у себя коммуниста Васильева, скрывающегося от белых, а затем, отдав ему собственные документы, помогает бежать. Но сознание его отстает от событий, в которых он сам принимает непосредственное участие.

В образе Якова Львовича писательница наметила важный процесс внутренней переделки людей, формировавшихся еще в старом мире, ломки их привычных представлений, жизненных навыков, абстрактно-гуманистических иллюзий. Содержание «Перемены», рамки изображенных здесь событий ограничивали художницы. Значительно подробнее эта тема разработана во второй части цикла, в повести «Приключение дамы из общества», где действие происходит в основном уже после установления советской власти, когда коммунисты полностью перешли к созидательной деятельности.

Алина Зворыкина — героиня повести — принадлежит к правящим классам старого мира, к его «высшему обществу». Но Алина — человек цельной души, прямо и честно смотрящий на жизнь. Уже в предреволюционные годы она инстинктивно ощущает ложь и лицемерие той среды, в которой выросла, видит, что тут только «подделка под реальную жизнь». Революция оторвала Алину от родного ей класса. Белых вышвырнули из Крыма, и муж героини, деникинский министр, бросив ее, бежал за границу. Алина оказывается вне своей среды, без родственных, семейных связей, без средств к существованию, одна — лицом к лицу с «великой Переменой». Перед молодой женщиной задача — войти в новую жизнь, завоевать в ней свое место. Решить такую задачу нелегко. Писательница показывает, что единственный путь, который открывается Алине Зворыкиной,— это участие в героическом труде народа. «Я выброшена из своего класса,— говорит Алина.— И я начинаю медленно прирастать к другому, новому классу,

прирастать вот этими, еще не зажившими ладонями». Руками, натруженными тяжкой работой, завоевывает Алина право стать гражданином нового мира, она познает радость труда, счастье созидания, то, о чем еще только мечтает герой «Перемены», Яков Львович.

Характерной особенностью описанного цикла произведений является стремление художника подчеркнуть сознательное, а не стихийное начало революции, ее созидательные, а не разрушительные силы. «Жить, чтоб делать, чтоб познавать, чтоб бороться. Жить, чтоб взошли на земле семена окрыленной мечты человечества о справедливости. Жить, чтоб своими руками, из камня и стали, строить то, что мерещилось в думах, записано в книгах»,— так говорит об этом М. Шагинян в заключительных строках романа «Перемена».

В цикле произведений о гражданской войне Мариэтта Шагинян идейно завершила поиски «действенной философии». Писательница воспела животворящую мощь коммунизма, его идей. В творчество М. Шагинян, раздвигая рамки традиционного романа, могучим потоком хлынул новый жизненный материал. И новое содержание властно потребовало новой формы.

Активный интерес к форме всегда был присущ писательнице. В «Введении в эстетику» (1918—1919) она пробует найти математически точные законы построения художественного произведения. В последующие годы М. Шагинян неоднократно обращается к поискам такой формы, которая была бы способна наиболее полно выразить жизненные процессы эпохи великих перемен. Однако Шагинян вступает на неверный путь формального экспериментирования, что незамедлительно сказалось на ее последующих работах, на новой трилогии романов, которые явились известным отходом от реалистического письма в сторону литературной условности.

В октябре 1923 года М. Шагинян был задуман цикл антифашистских «агитационно-авантюрных» романов, задачей которых являлось воспитание в массах «сознания своей силы и непреодолимой охоты к борьбе». Так родилась трилогия «Месс-Менд», состоящая из следующих произведений: «Янки в Петрограде», «Лори Лен, металлист», «Международный вагон» (позднее «Дорога в Багдад»).

М. Шагинян прибегла к литературной мистификации. Автором «Месс-Менд» был объявлен американский рабочий Джим Доллар. Это обосновывало плакатную условность романа, его гротескную фантастику. Роман имел огромный успех. Его перевели на несколько языков за границей, он «подвалами» публиковался в ряде коммунистических газет. Литературная Москва терялась в догадках: подозревали в авторстве Алексея Толстого, Илью Эренбурга и ряд других известных советских литераторов. Возникла легенда о некоем «коллективе молодых» писателей, якобы дебютирующих этой книгой. За «коллективом-невидимкой» начали охотиться издатели.

Мариэтта Шагинян стремилась создать своей серией новый тип сатирико-авантюрного романа. «Месс-Менд» — это один из первых у нас антифашистских романов. Герой его — рабочий класс.

Книга начинается с литературной полемики: «Ребята, Эптон Синклер — прекрасный писатель, но не для нас! Пусть он портит печень фабриканту и служит справочником для агитаторов. Нам подавай такую литературу, чтобы мы могли почувствовать себя хозяевами жизни». Мариэтта Шагинян в шутливом, пародийном вступлении к роману подчеркивает важную для ее творческой мысли — о могуществе труда, об уважении к людям-творцам. «Подумайте-ка, — восклицает главный герой романа Микаэл Тингсмастер, — никому еще не пришло в голову, что мы сильнее всех, богаче всех, веселее всех: дома городов, мебель жилищ, одежду людей, печатную книгу, утварь, оружие, инструменты, корабли, пушки, сосиски, пиво, пирожное, сапоги, каналы, железные рельсы — делаем мы и никто другой. Стоит нам опустить руки — и вещи исчезнут, станут антикварной редкостью».

Но рабочие не только создатели вещей. Они для писательницы еще и создатели жизни, они приносят с собой в мир дух творчества, оптимизма, жизнеутверждения. Вот об этом и говорит веселая фантастика событий, развертывающихся в трилогии Мариэтты Шагинян.

Союз рабочих противостоит международному заговору фашистов, направленному против Советского Союза. Две группы героев, два классовых лагеря противопоставлены Мариэттой Шагинян в «Месс-Менд». Эксплуататорский мир она рисует с остротой сатирического гротеска. Мир этот уродлив, и потому фашисты, как наиболее полное выражение его гнусности и зла,

представлены в виде кучки вырождающихся злодеев. Их главарь — Грегорио Чиче — болен страшной болезнью позвоночника. Он из человека деформируется в зверя, в животное.

Новый мир — мир рабочих, осознавших свою власть, свою созидательную мощь,— писательница рисует, прибегая к романтической фантастике. «Широкоплечий, русобородый» великан в рабочей блузе, «с веселыми голубыми глазами из-под пушистых бровей» — Мик Тингсмастер — «отец вещей»; рабочие Лори Лен, Виллингс, Нэд, Биск, Том, Ван Гоп и изобретатель техник Сорроу — все это простые, смелые люди, объединившиеся для борьбы за «справедливость на земле и светлую жизнь для каждого человека от первого до последнего». Они наделены сказочной силой — властью над вещами. Последние, будучи сделаны руками рабочих, обладают секретными свойствами, которые известны только их творцам и служат не тем, кто купил их, а тем, кто их создал.

Фантастика приключений — это лишь романтическая оболочка. В основе — реальность: показ того, как люди становятся могущественными, когда объединяют свои разрозненные усилия, как созидательная мощь делает их хозяевами жизни.

В авантюрно-фантастический роман у Шагинян органически вплетаются элементы романа производственного и романа утопического. Главы, посвященные СССР, рисуют страну социализма, увиденную глазами Джима Доллара — американского рабочего, мечтателя и романтика. Это сказочная страна будущего, где уже изобретен регулятор электроклимата, а мирные города защищены от нападения с воздуха зоной высокого напряжения.

Но в романтическо-утопической форме М. Шагинян высказывает весьма важные мысли о новом типе хозяйствования, присущем социализму, мысли, к которым она позднее обратится на страницах своего реалистического романа — «Гидроцентраль».

Герои «Месс-Менд» — большевики, товарищи Ребров и Энно,— раскрывают путешественнику, прибывшему в Советский Союз из капиталистического «мира прошлого», в чем сущность этой новизны. Прежде всего в «торжестве единого метода хозяйства», выражающегося в соединении в целостный комплекс всех отраслей промышленности: «Мы нащупали круговорот хозяйственной механики, зависимость производств друг от друга»,— говорит Энно.

И вторая черта — это «симфонизм» труда. Герои романа — большевики — говорят: «Счастье дают лишь две вещи: созидание

и познание». Но «в старом мире те, кто созидал, ничего не знали, и те, кто познавал, ничего не созидали». Это повело к страшному разрыву между людьми мысли и людьми труда. Его должна устранить новая система хозяйствования: «Мы твердо решили сделать производство познавательным, а познание — производственным». Каждый рабочий отныне видит и знает свое место в общем хозяйственном комплексе: «Иными словами, мой друг, мы рассадили наше производство по системе оркестра. От барабанщика до скрипки каждый выполняет свою партитуру в общей симфонии; но каждый слышит именно эту общую симфонию, а не свою партитуру. Поняли?»

Реальное вплетается здесь в фантастику. Роман Мариэтты Шагинян был опубликован в 1924—1925 годах, когда еще только начиналось восстановление отечественной промышленности, разоренной двумя войнами, разрухой и голодом. И в это время мысли о едином хозяйственном комплексе могли показаться утопическими. Но в действительности в фантастико-приключенческом романе М. Шагинян был загляд в будущее, мечта о едином хозяйственном плане.

Одновременно с работой над второй и третьей частью трилогии «Месс-Менд» писательница задумывает новый, столь же полемический и «экспериментальный» роман, «роман-комплекс» «Кик» или «Колдунья и коммунист». Работает над ним Мариэтта Шагинян с сентября 1924 до конца 1928 года. В 1929 году роман вышел отдельным изданием.

«Роман-комплекс» интересен своей полемической заостренностью. Здесь М. Шагинян пародирует и стремится разрушить старую форму традиционного романа тайн. Во время охоты в Алданерской пуще таинственно исчезает товарищ Львов, один из политических руководителей края. Подозревают, что он погиб. Герои романа по-разному пытаются объяснить это исчезновение. Объединить пестрый, разнообразный материал романа может только новая форма,— считает писательница. Поэтому-то «вся книга должна быть написана в форме газеты... Глав нет. Чередование различных статей». По замыслу Мариэтты Шагинян, ее роман формируется из эпизодов, поданных как политическая передовица, фельетон, хроника, телеграммы, научная статья, заметки селькора и т. д.

Писательница мастерски раскрывает разнообразные возможности подачи материала. Она умело им владеет, поворачивая его все новыми и новыми сторонами. Однако увлечение эксперимен-

таторством, поиски необычных сюжетных и стилевых построений привели М. Шагинян к литературному трюку, к формальной игре. Герои, поставленные в условные рамки «романа-комплекса», утратили жизненные черты, и главы, связанные с каждым из них, оказались литературно стилизованными. Писательница вскоре поняла, что новая действительность требует не просто «обновленной» формы (хотя бы и с помощью изощреннейшего литературного приема), она требует своей собственной формы — единственной и неповторимой. М. Шагинян признается, что в этот период она «впервые поняла, что такое натура и что такое работа над настоящей натурой. Именно пройдя школу своего «Кика», я почувствовала необходимость засесть за «Гидроцентраль», почувствовала, как к ней нужно подойти, и в ней я уже стала изживать то условное, что было основным для меня при создании «Кика»[1].

После нескольких лет экспериментаторства в области литературной формы Мариэтта Шагинян возвращается на тот путь связи с жизнью, проникновения в сущность процессов ее развития, который был уже намечен в цикле о гражданской войне, и приступает к работе над «Гидроцентралью». «Нас окружает новый материал, который готовым в руки не дается никому,— писала М. Шагинян,— ...получить его, не познав его,— нельзя, а познать его, не участвуя в его делании,— невозможно».

8

Переход революционного народа к мирной созидательной работе знаменовал начало коренного экономического переустройства всей жизни советского общества. Началось восстановление, а затем и реконструкция промышленных предприятий, стали возникать новостройки. Шла разработка первого пятилетнего плана. На XIV съезде разгорелась ожесточенная борьба с оппозицией, борьба за индустриализацию страны.

Мариэтта Шагинян, как публицист и художник, страстно откликнулась на исторические перемены, назревавшие в советском государстве. Идея плановой реорганизации всего хозяйства захватывает ее своей грандиозностью, размахом, смелостью. Она

---

[1] Мариэтта Шагинян, Литература и план, «Московское товарищество писателей», 1934, стр. 147.

внимательно следит за спорами, происходящими вокруг вопроса о путях, какими должно пойти дальнейшее развитие страны. В декабре 1925 года она записывает в дневнике: «Читаю... главным образом, газеты, где сейчас печатается материал XIV партийного съезда, драматический, захватывающе интересный».

Мироощущение Мариэтты Шагинян — художника слова — окрашено, как и у многих ее современников в те годы, романтикой бурно развертывающегося социалистического строительства.

К созданию «Гидроцентрали» М. Шагинян ведет большой подготовительный путь изучения и разработки нового для писательницы жизненного материала. Два этапа созревания темы обрисовываются в ее дневниковых записях, высказываниях, в очерках и рассказах, предшествовавших этому роману.

Первый этап — работа в 1925—1926 годах над «Текстильными рассказами» (сюда входили и очерки). Затем второй — поездки по Закавказью с 1926 по 1929 год, изучение горнорудной промышленности и создание нескольких больших циклов очерков: «Нагорный Карабах», «Зангезурская медь», «Восхождение на Алагез» и «Ткварчельский уголь».

В очерках первого, ленинградского цикла — «Невская нитка» и «Фабрика Торнтон» — Мариэтта Шагинян обнажает хищнический характер буржуазного «хозяйствования» и неустанно подчеркивает мысль о превосходстве советского общества над капитализмом.

Пафос текстильных очерков Мариэтты Шагинян — в показе того, как рождается молодая социалистическая промышленность, как начинает она теснить дряхлеющие, плохо организованные предприятия, оставшиеся в наследие от капитализма, как изменяются сами условия труда. В этой связи в ее очерках закономерно возник новый мотив — красоты трудового процесса. М. Шагинян слышит «незабвенную, невозможную» музыку производства, голоса машин.

В двух рассказах того же ленинградского цикла — «Три станка» и «Качество продукции» — писательница задолго до начала стахановского движения подметила и зарисовала рождение нового отношения к труду. Последний имел в начале знаменательный подзаголовок «рассказ о незаметных, но важных вещах». Герои рассказа — чистильщик сапог, зубной врач и ткач. Казалось бы, какую творческую радость может принести чистильщику его непритязательный труд? Но он так ловко и вдохновенно

работает, что заражает своим увлечением врача, который до этого «считал себя в праве презирать и свое дело, и своих пациентов, и свои щипчики за то, что получает гроши». Мальчуган-чистильщик неожиданно открыл ему новую сторону труда — радость, порождаемую самим его ритмом, целесообразностью движений, ощущением собственной умелости. Открыв в этот день вполне прозаический ящичек с винтиками для бормашины, врач испытывает подлинное наслаждение от этого заурядного поступка: «Было приятно поискать, пощуриться, прикинуть, найти самое подходящее». Он работает творчески, с упоением и в свою очередь захватывает, увлекает пациента — ткача, который, возвратившись на фабрику, «долго злился, неизвестно почему», неосознанно завидуя «вкусной» работе врача, пока сам весь не ушел «в стрекочущую, бодрую, знакомую музыку» ткацкого станка, и работал «так жадно», что мальчишки, «наверное, сочинили бы, глядя на его аппетитные действия, особую игру в ткачи».

В этом «рассказе о незаметных, но важных вещах» М. Шагинян уже ставит себе задачей «показать труд заразительным и требовать от всякого труда творческого подъема», то есть дает первый, правда пока еще беглый, набросок важнейшей темы «Гидроцентрали».

Вторая сторона этой темы, также еще лишь в первоначальной наметке, выступает в рассказе «Три станка», написанном несколько позднее, в 1926 году. Родился рассказ из дневниковой записи от 17 февраля 1925 года о делегатском собрании на фабрике «Рабочий», где решался вопрос о переходе на три станка. И хотя в принципе перейти уже было решено и «частично перешли и работают», но все же на собрании происходит острое столкновение. Рабочие еще привыкли гнуть спину на хозяина-капиталиста, с трудом отвоевывать, вырывать у него самые минимальные права. Старое отношение к фабрике, к своим обязанностям перед рабочим коллективом еще давит на их сознание, и они восстают на собрании против «трех станков».

М. Шагинян показывает, как коммунист-руководитель создает перелом, заставляет рабочих почувствовать, что они-то и являются хозяевами фабрик, заводов, хозяевами жизни. «...Вы говорите — вам туго, мы на вас нажимаем... Совершенно верно. А вы что же думаете?.. Что ж, вы воображаете, ваше хозяйство будут налаживать капиталисты?»

Значение «Текстильных рассказов» заключается в том, что здесь впервые писательница наметила основные проблемы, впо-

следствии с большой художественной силой разработанные ею в романе «Гидроцентраль» — романе об исторических переменах, связанных с победоносным воплощением в жизнь первого пятилетнего плана.

Огромное значение для творчества Мариэтты Шагинян имела работа в газете, она позволила писательнице окунуться в гущу самой жизни. В неустанных разъездах по командировкам от центральных органов печати М. Шагинян копила запас конкретных наблюдений, изучала те новые процессы, которые происходили в экономике, быту и в сознании людей. Писательница продолжала вести документальные записи (дневники, статьи, очерки), боясь, как бы хоть какой-либо «кусочек эпохи бесследно не исчез бы из памяти». Она ставила перед собой важное творческое требование: «Задача художественного произведения — постичь и развернуть правду, а правда есть прежде всего результат целостного охвата явлений».

Огромное значение для формирования писательницы имели ее поездки по Закавказью и особенно Армении.

«Поездка в Армению повторяется у меня несколько раз на протяжении пятнадцати лет и служит своеобразной единицей меры: с каждым разом уже не та страна, и уже не те приемы восприятия материала, и уже не та степень участия в действительности». В 1917 году Мариэтта Шагинян приезжает в Армению как «гостья-поэтесса», в 1922 году она еще только «любознательная журналистка», в 1925 году — уже страстный публицист, активный участник социалистического строительства.

Главной формой литературной деятельности для писательницы во второй половине двадцатых годов был газетный очерк. Работа над ним неизменно оказывалась сопряженной с решением конкретных хозяйственных и политических задач. Именно оперативность очерка и влекла к себе Мариэтту Шагинян, ибо давала «широкую свободу не только самостоятельного исследования темы и суждения о ней, но и срочного вмешательства в жизнь».

Весной 1926 года М. Шагинян едет в Закавказье, на Чиатурские месторождения богатейших запасов марганцевой руды. Здесь концессионеры, не выполняя договора с советской властью, хищнически вели разработку марганца. Мариэтта Шагинян собрала

обширный фактический материал большой обличительной силы и представила подробный доклад о положении дел на каждом руднике. Затем она напечатала в «Заре Востока» серию острых очерков, которую считает своим «боевым крещением» как очеркиста.

По командировке от «Известий» в августе того же 1926 года М. Шагинян отправляется в Зангезур на медные рудники. Писательница была первой женщиной, спустившейся в недра этих рудников. Прямым практическим следствием ее работы явилось улучшение условий труда рабочих.

Летом 1928 года М. Шагинян подымается на первую по высоте вершину Советской Армении — Алагез. Она выступает убежденной сторонницей разработки местного строительного материала — артикского туфа. В сентябре того же 1928 года М. Шагинян уезжает в Абхазию, изучает положение с ткварчельским углем и пишет для «Известий» серию очерков, во многом определивших дальнейшую судьбу этого месторождения.

Поездки по Закавказью — не только географические перемещения, но и собственно путешествия вглубь хозяйственных проблем. В своих очерково-публицистических циклах Мариэтта Шагинян стремится дать «философию хозяйства».

«Философия хозяйства» — это для писательницы есть раскрытие правды целого, а не единичного, это творческое осмысление, философское обобщение основных тенденций развития советской действительности.

Именно в этих поездках и рождается замысел нового романа. Весной 1927 года писательница вместе с правительственной комиссией едет в один из глухих уголков Армении, где на реке Дзорагет, в глубоком ущелье, должно начаться строительство гидростанции. Мариэтта Шагинян остается на строительном участке, изучая материал для своего романа «Гидроцентраль».

Внутренний пафос романа, его замысел — остро полемичны. Художественным словом, всей логикой образов, развитием событий «Гидроцентраль» служит делу активной, убежденной агитации за первый пятилетний план, за плановое построение социализма.

Основные произведения Мариэтты Шагинян дают как бы непрерывную линию развития единой темы. Романический эпос «Перемена» рисует тяжкое, в муках и крови, рождение нового мира. В «Гидроцентрали» писательница показала бурное становление этого мира, пафос революционного созидания.

«Гидроцентраль» — роман не только производственный, но, как это характерно для всего творчества Мариэтты Шагинян, и роман философский.

Сюжет «Гидроцентрали» охватывает лишь начало строительства Мизингэса. Первые главы романа повествуют о развертывании стройки, смета и проект которой еще только рассматриваются в центре. В середине романа приходит сообщение о том, что проект не утвержден, он будет переделываться. Стройка должна быть свернута, хотя приказано «сохранить рабочую готовность участка...», а рабочую силу «держать под парами». Естественно, что это создает чрезвычайно напряженную обстановку на строительстве. Но, кроме того, здесь происходят события, еще более усложняющие положение. Мост, построенный через реку Мизинку, снесен паводком. С этим тесно связан основной узел конфликтов и столкновений «Гидроцентрали», борьба взглядов, мнений, кипение страстей.

Роман завершается выработкой нового проекта Мизингэса, проекта уже не обособленной гидростанции в горах, а новостройки, вливающейся в единый план пятилетки.

Драматизм действия, напряженность событий подчинены задаче показать столкновение двух резко противоположных, более того, враждебных и взаимоисключающих взглядов на жизнь: творческого, революционного и старого, косного, собственнического. Герои делятся на два лагеря уже не только на основе их отношения к революции, но и к революционному созиданию.

Знаменательно, что содержание романа «Гидроцентраль», самая его композиция, соотношение и характер героев подчеркивали основную типическую черту нового времени — старый мир отступает по всей линии фронта. Герои этого старого мира идейно и социально мельчают, и в творчестве Шагинян они переходят во второстепенные персонажи. На первый план в романе «Гидроцентраль» вышли новые силы — строители социализма.

В центре романа поставлена группа энтузиастов пятилетнего плана. Так, главный инженер живет «воздухом XV съезда партии, воздухом наступающих великих работ...» Для него работа над проектом Мизингэса — лишь одно из звеньев начинающегося строительства социализма. «Мыслить большими масштабами! Дожить, дожить — чтоб увидеть воочию, как покроется вся необъ-

ятная земля советская сотнями, тысячами строительных объектов, увязанных воедино...»

Писательница показывает, как захватывает и вдохновляет строителей размах революционного созидания, величие планов коммунистической партии. Новая общественная система дает выход благородной потребности трудового человека творить, украшать родную землю.

Труженики-созидатели поставлены художником в центре нового романа. Важно отметить, что образ рабочего претерпевает в творчестве М. Шагинян существенную эволюцию в связи с идейным развитием самой писательницы. В романе «Своя судьба» техник Хансен условно-романтичен. Уважение к человеку труда, характерное для всех произведений писательницы, в раннем ее романе еще носило идиллическую окраску.

Однако М. Шагинян настойчиво искала такой метод изображения героев, который позволил бы ей выразить в реалистической форме свое поэтическое восприятие человека-созидателя.

Реальнее, сильнее, мужественнее обрисован рабочий-большевик Васильев в романе «Перемена». Он показан подлинным тружеником революции, в простых повседневных делах, но сами эти дела овеяны грозовой романтикой жестокого столкновения двух миров. Поэтичность образа Васильева — в беззаветном служении революции, которой он отдает все свои силы, свою жизнь.

Если в романе «Месс-Менд», написанном уже после «Перемены», Мариэтта Шагинян снова пробует возвратиться к условно-романтической трактовке образа рабочего, стремясь открыть здесь еще не использованные возможности, то в «Гидроцентрали» она использует творческий опыт работы над романом «Перемена». Образ Васильева — рабочего-революционера, в котором ей удалось наметить типические черты человека нового времени, положил начало целой плеяде героев «Гидроцентрали». Дальнейшее развитие этого образа, в частности, представляет Фокин, «бывший слесарь, потом красноармеец, а теперь вузовец», страстно влюбленный в новостройку, где ему довелось работать. Писательница раскрывает внутренний мир молодого рабочего, показывает, как поэтически дано ему было чувствовать красоту и радость труда. «Его восхищало простое остроумие техники, жизни казалось мало, чтобы строить». У Фокина это отнюдь не любовь к труду «вообще», а глубокое понимание того, что «качество труда измени-

лось в нашей стране», так как народ стал хозяином своей отчизны.

В романе имеется персонаж внутренне, идейно противостоящий Фокину, хотя оба эти героя друг с другом и не встречаются. Это — кучер Пайлак, натура поэтическая, человек, понимающий и любящий природу. Речка Мизинка для него живое, реальное существо: своенравная девушка, капризная, непостоянная, в которую он влюблен, как Фокин в стройку Мизингэса, в технику. «Тощей девчушечкой, распустив зеленые волосы, мчалась она, осторожно дыша, навстречу Пайлаку. Ножка ее, оскользнувшись, пробовала там и сям дорогу. Волосы, цепляясь за встречные камни, оставляли зеленый блеск между песчаных отмелей. Где пробежать нельзя, она серебристо скалила зубки и вгрызалась в землю,— кто мог остановить ее? Над камнями, подпрыгивая вихрем серебра и золота, бегунья проскакивала,— ай, ай, что [illegible] девушка, милая девушка... была длинноволосая красоточка!»

Поэтический образ Мизинки-девушки проходит через весь роман и связывает двух никогда не сталкивающихся героев — кучера Пайлака и практиканта Фокина. Первый из них не только влюблен в природу, но и порабощен ею. Он в стане врагов Гидростроя, внутренне протестуя против попыток пришельцев сковать, подчинить себе вольную, своенравную Мизинку.

Фокин тоже видит и поэтически воспринимает красоту дикой Мизинки. [illegible] речкой, вглядываясь в [illegible] «из-под вороха свер[illegible] совсем другие чувства, чем Пайлак, и прежде всего стремление обуздать непокорную Мизинку, подчинить ее человеческой воле. Во время паводка Фокин вступает с речкой в единоборство и спасает отводной туннель, проведя вместе с рабочими несколько дней и ночей на перемычке и сражаясь с «осатаневшей» Мизинкой.

В отношении к этой «героине романа», как ее называет Мариэтта Шагинян, проявляются два миропонимания — оба по-своему поэтичных, но качественно резко отличных: пассивное у крестьянина Пайлака и активное у рабочего, коммуниста Фокина. Будущее за последним,— он человек нового побеждающего, действенного отношения к жизни.

В романе «Гидроцентраль» пейзажные зарисовки обогащены качественно новыми чертами. Как и в «Перемене», писательница вплетает в них бытовые детали, характеризующие жизнь народа.

Изображая, например, богатое армянское село, которое разрослось и «метило в город» своей главной улицей с «двухэтажными зданиями, фабрикой, сыроварнями, обилием вывесок, парикмахерской, аптекой, почтовым двором», Мариэтта Шагинян вместе с тем заставляет читателя заглянуть «в первый же пролет деревенской площади», где за новыми зданиями можно было увидеть уголок пока еще не исчезнувшей «древней армянской деревни, где рядом с каменными домами еще встает земля кротовым бугорком допотопного жилья и дым вылезает из невидимой дыры в потолке, тощий и одичалый, как кот из чердачного окна». И в этой картине обрисована не только сама деревня, но и два различных уклада жизни армянского крестьянина в преддверии первой пятилетки.

Новые черты пейзажа, проявившиеся в «Гидроцентрали», заключаются в том, что в него теперь активно входит не только бытовая, но и производственная деталь. М. Шагинян показывает, как развитие социалистической промышленности изменяет самый облик страны, характер ее пейзажа. «Вообще я все острее чувствую красоту промышленных мест,— записывает она в дневнике 18 марта 1926 года и полемически добавляет:— ...по своей живописности, на мой взгляд, вполне заменяющих красоту средневековых замков...»

Повествуя о строительстве гидростанции на реке Мизинке, писательница показывает те перемены, которые при этом произошли в пейзаже горного края. Раньше «станция в глубине каньона краснела горстью нескольких черепичных крыш», бока каньона были исчерчены «зигзагом деревенских тропок», по которым «семенили сухие ноги осла». А по шоссе «катились шары малоканских возов с силуэтом воткнутого в них кнутовища, словно ложки в воздушный пирог...» Но вот пришел сюда Гидрострой «суматохой сотен приезжих», «завалами накладных, грузом десятков вагонов...», и все сразу изменилось. Маленькая глухая станция «заразилась лихорадкой больших строек». Она превратилась в важный узел нового строительства и начала расти сама, «черепичные крыши побежали наверх по склону», станция «внушительно обросла новыми для нее зданиями, расширилась, умножила рельсовые колеи».

Большое идейное значение имеет картина самого строительства, вписавшего в горный пейзаж могучий кряж дамбы, «тонкорукие взлеты ферм», силуэт «остроугольных, линейных, обнажен-

ных» металлических форм. Всеми деталями описаний Мариэтта Шагинян неустанно подчеркивает «умную, целесообразную» красоту этого нового пейзажа, красоту, создаваемую руками, мыслью и вдохновением строителей социализма. Этот пейзаж неразрывно связан с новым героем современности — советским человеком, творцом и созидателем.

Главиая тема «Гидроцентрали» — счастье раскрепощенного труда — раскрывается в такнх образах, как партийный работник Марджана, коммуинст Фокин, философ и романтик Арно Арэвьян, учительница Ануш Малхазян. Каждый из них стягивает к себе целые группы героев этого плотно населенного романа н является выразителем особой стороны общей темы.

Все частн романа связывает романтический образ Арно Арэвьяна — философа и гуманиста, мечтателя и деятеля одновременно. На стройке Арно иаходит путь к настоящему делу. Это только начало большой судьбы, подобно тому как и события в романе находятся лишь в преддверии грандиозного размаха созидательных работ.

Следует заметить, что в «Гидроцентрали» романтизм Мариэтты Шагинян обрела иную окраску. В «Перемене» романтика [illegible] была [illegible] глубоким трагизмом, ибо героическая [illegible] врагом требовала титанических [illegible] будущее, ощущение грядущего [illegible] порождало оптимистические жиз[illegible] мотивы, [illegible] подчас звучавшие приглушенно, [illegible] путь в подтексте романа.

В «Гидроцентрали» эти мотивы окрепли, вышли иа поверхность, заняли главенствующее положенне и окрасили все повествование в радостные, солнечные тона. Носителем мотивов жизнеутверждения и является Арно Арэвьян. «Как до сладости хорошо бытие, и почему так редко чувствует человек величайшее счастье быть!» — восклицает этот герой М. Шагинян. Радость бытия для него воплощена в труде — от высших его форм до самых простых.

Писательница подчеркнуто раскрывает всю поэтичность этого образа не в героических деяниях, а в грубых, прозаичных, но реально необходимых делах.

Мещане типа Володи-конторщика или начканца Захара Петровича яростно восстают против «вкусной», умелой работы, какую

воплощает во всех своих действиях «рыжий». Они видят в ней «злонамеренный умысел». И он действительно имеется: все поведение Арно Арэвьяна — это отрицание обветшалых норм жизни, старого отношения к труду.

Радость труда естественна и законна там, где народ стал хозяином своей судьбы. Арно Арэвьян говорит о себе: «Вот сейчас, при советской системе, я на месте, я вправе трудиться счастливо, я не стыжусь страстно любить труд, я смею расточать себя сколько сил хватит. И во мне все шлюзы подняты, потоком бьет сила».

Действительно, характернейшей чертой Арно Арэвьяна является не только любовь к труду, но щедрость, с какой он «расточает себя», всегда делая все лучше и больше, чем требовалось, чем от него ждали. Начканц Захар Петрович как-то его спрашивает: «Тут у нас люди из-за куска хлеба работают... Ну, а ты, брат, с чего стараешься? Зачем за норму заскакиваешь?» Но дело-то в том,— и это убедительно показывает Мариэтта Шагинян,— что изменилась сама жизненная «норма». Арно Арэвьян отнюдь за нее «не заскакивает», а, наоборот, ее выражает. В его поведении, взглядах, чувствах как бы реализуется та высокая мера требований, какую новое общество предъявило к человеку.

Важно отметить, что автор «Гидроцентрали», поэтизируя Арно Арэвьяна, выделяя его как основного героя романа, однако не делает его одиноким. В образах множества других героев, в их делах раскрывается новое мировоззрение, присущее подлинным хозяевам жизни, это арэвьяновское стремление «расточать себя сколько сил хватит».

Поэтичен образ старой учительницы Ануш Малхазян. В ней бурлит «разбуженная энергия». В своей работе она, так же как и Арно Арэвьян, выходит за пределы старой, привычной «нормы» и непрерывно изобретает, придумывая все новые и новые способы проникновения в души юных людей. Увлекательные уроки-игра в хозяйственные зоны: скотоводческую, хлебопашескую и городскую; экскурсия на строительство настоящей электростанции и многие другие «выдумки» Ануш Малхазян раскрывают внутреннее богатство этой скромной, пожилой женщины.

Вместе с десятником Арно Арэвьяном, с «беспокойнейшим» инженером-рационализатором и многими другими персонажами романа старая учительница относится к тем, кто своим творческим трудом устанавливает новые нормы жизни. Все эти

люди ясно ощущают, что живут в мире, «где все перестраивается, где тысячи дел ждут очереди, где самое драгоценное — наша с вами энергия». И эту энергию они полностью отдают своей родине.

Мариэтта Шагинян показывает, что активной силой на Мизинстрое являются коммунисты. Писательница рисует группу подлинных тружеников революции: инструктора ЦК Марджану Малхазян, председателя месткома Агабека и секретаря партийной ячейки на стройке, чигдымского судью — красавицу Арсяк, завжен Гино, коммунистов — Косаренко, Фокина, Гургена и Вартана, Степаноса. Она показывает их не в революционной борьбе за утверждение советской власти, как большевика-рабочего Васильева, студентов Ревекку и Десницына и других в романе «Перемена», а в повседневной работе, на строительстве новой жизни.

Создавая образы коммунистов, Мариэтта Шагинян подчеркивает величие и благородство их труда.

Коммунистам приходится расти и самим, перестраивать собственное сознание. Это раскрывается наиболее полно в конфликте между секретарем партийной организации стройки и председателем месткома Агабеком, когда последний оказался бессильным разобраться в сложной обстановке, создавшейся на стройке.

Сила партийной мысли, отметая все мешающее, вредное, делает отчетливым путь дальнейшего развития. «Я понял, что такое линия партии в этом хаосе событий и настроений»,— говорит Арно Арэвьян Марджане, рассказывая ей о положении на участке. «Только ясная мысль коммуниста-большевика, мысль партии, пробираясь сквозь заторы, отметая, ломая, пронизывая их, указывает человеческой совести дорогу к истине».

Образы коммунистов в «Гидроцентрали» написаны с большой реалистической простотой. И здесь, как и в других произведениях М. Шагинян, они овеяны поэзией великих перемен и предстают активной силой, выкорчевывающей корни старого миропорядка. Пафос «Гидроцентрали» — это пафос коренного переустройства не только материального мира, но и внутреннего мира человека.

В романе «Гидроцентраль» писательница стремилась раскрыть те сдвиги, которые начались не только в экономике, быту, но и в сознании людей в эпоху зачина грандиозных работ социалистического строительства. Каждая новостройка становилась маяком социализма, путеводной звездой для тысяч и тысяч людей. «...От-

дельная стройка-пионер,— говорит Мариэтта Шагинян,— во всем несовершенстве тогдашней техники и организационных недочетах в работе,— словно качающийся кораблик в море,— вопреки, наперекор всему выражала взятый курс, показывала направление, идя к назначенной великой исторической цели и с каждым своим продвиженьем вперед укрепляла не только себя, но и лучших людей вокруг, учила, растила, одаряла опытом».

В тридцатых годах главенствующей темой советской литературы стала тема переделки сознания миллионов людей. Об этом рассказали в своих романах Леонид Леонов, Александр Малышкин, Илья Эренбург, Валентин Катаев, Петр Павленко и др. Особое место в этой плеяде писателей занимает Мариэтта Шагинян; наиболее близки ей Катаев и Павленко, так как, подобно им, писательница выдвигает на первый план «Гидроцентрали» именно тех героев, которые сразу приняли Октябрьскую революцию и чье сознание было подготовлено для восприятия новых идей. Эти герои предстают в процессе их роста, дальнейшего духовного обогащения. Отрицательные персонажи «Гидроцентрали» отодвинуты на второй план, занимают в композиции романа подчиненное место.

Мариэтта Шагинян показывает, что старый мир вынужден отступать под бурным натиском нового, вынужден маскироваться и приспособляться, в то время как в романе «Перемена» представители старого мира еще были сильны и активны в своей ненависти к революции.

Отрицательные герои в романе «Гидроцентраль» отчетливо делятся на три группы.

Первая — это остатки эксплуататорских классов: лорийский кулак Агаси-ага, который, называя себя «аккуратным хозяином», ищет любых путей, чтобы врасти в новое общество, и виноторговец Гнуни, один из последних частников.

Писательница, как и в «Перемене», прибегает к сатирическому гротеску. Она обостряет, гиперболизирует характерные черты отрицательных героев. Виноторговец обрисован в восприятии художника-лефовца, приглашенного к нему на серебряную свадьбу. Художник, для которого Гнуни — олицетворение собственничества, духа наживы, с ненавистью созерцает «знакомый треугольник с бородкой перышком, с запавшими к вискам козлиными глазами, и этот пологий, расплюснутый лоб ростовщика

в бородавках...» Образ Гнуни приобретает в глазах художника, пьянеющего на пиру, все более фантастические, уродливые формы. В помраченном его взоре «мещанин двоился, троился». Художник видит «этакую лестницу из апокалипсиса, лестницу из баранов и козлов в сюртуках... блеяние их было хрипловато».

Всей логикой событий Мариэтта Шагинян показывает, как революционная новь вытесняет из жизни Агаси-ага, частников-предпринимателей типа Гнуни и им подобных. Они уже не у дел, все, что им остается,— отсиживаться в укромных уголках, пока их не сметут окончательно с лица земли.

Вторая группа отрицательных персонажей — это те «крендельковые люди», которые еще остались от бывших «хозяев жизни», их слуги и прихлебатели, которые также пытаются приспособиться к новой действительности.

Таковы воинствующие мещаие — начканц строительного участка Захар Петрович Малько, его жена Клавочка, и все их окружение — сослуживцы: красавчик Володя, телефонистка, жена [illegible] Маркарьяна и другне.

К ним по духу примыкают и «перерожденцы» из начальствующих лиц, такие, как Манук Покриков — глава Мизинстроя, болтун и очковтиратель, мещанин в быту; или бывший крупный [illegible] «мужчииа, ничем особенным не примечательный», кроме разве того, что в его наружности было нечто напомииавшее [illegible].

Наиболее полным воплощением «крендельковых» является начканц Захар Петрович Малько. У него — «законченная идеология и непогрешимая практика»: он был убежденным противнником перемен, не любил волнений, какого-либо напряжения, «твердо верил в среднюю линию миропорядка» и формулировал свои взгляды кратко: «выше головы не перескочат».

Отрицательные персонажи также раскрываются в их отношении к труду. Радость созидания, поэтом которого является Арэвьян, недоступна начканцу Малько — равнодушному мещанину. Он не понимает «рыжего», готового ухватиться «за любую работу и делать ее с увлечением». «Рыжий» раздражает и пугает Захара Петровича. Начканц внутренне отказывается принять жизненную позицию Арэвьяна, отвергает ее, так как она по самой своей сути ему глубоко враждебна. И это понятно — сам Захар Петрович с его системой склок, «консолидации сил», подсиживания и подхалимажа — это уже вчерашний день.

Победа новых общественных принципов видна и в крахе карьеры начканца Малько — фигуры гротескно-символической, и в позорной ошибке Левона Давыдовича, начальника строительного участка Мизингэса.

Крупный инженер-строитель Левон Давыдович принадлежит к третьей, наиболее сложной группе героев романа, представляющих собой остатки старого общества. Он один из тех, кто, по сути не имея прочных связей с эксплуататорскими классами, являясь у них лишь наемной силой, все же после революции упрямо продолжает оставаться в плену у прошлого. «Забыв про скупость и меркантильность своих хозяев, плативших гроши рабочим, забыв про стачки, которыми отвечали доведенные до отчаяния горняки, забыв про собственное зависимое и унизительное положение на службе у акционерной фирмы... Левон Давыдович видел сейчас прошлое в розовом свете».

Мариэтта Шагинян, рисуя этого героя «Гидроцентрали», уже не прибегает к сатире, к гротеску, а стремится раскрыть внутренние психологические пружины его поведения. Она характеризует Левона Давыдовича с помощью неподвижного быта, который его окружает. Вещи становятся застывшим выражением целой системы человеческих отношений.

Левон Давыдович долго работал в Бельгии. Он вывез оттуда житейские и трудовые навыки, жену-бельгийку, «первую даму» участка, с рубинами на тонких пальцах и ревнивыми «мигренями»,— а также размеренный распорядок буржуазного семейного дома.

Это тот самый «средний миропорядок», о котором тоскует начканц Малько. И принципы этого «порядка» Левон Давыдович переносит в свою работу. Провал с постройкой моста — не только позорная профессиональная неудача; она знаменует и духовное крушение героя. Мост через Мизинку строился по «скупым» буржуазным стандартам,— Левон Давыдович был «педантичнейшим человеком буквы», а расчеты из академического учебника не предусматривали своеобразия своенравной Мизинки. За ними для Левона Давыдовича возникали «тишайшие долины Фландрии и меланхоличные реки Фландрии с их ровною и постоянною водной массой». Прошлое для него заслоняло реальную жизнь. Левон Давыдович работал не творчески, а механически, перенося старые схемы в сегодняшний день. Он, опытный строитель, не увидел того, что легко поняла старая учительница Ануш Малхазян: «До чего все-таки своеобразна республика наша,— вздохнула она,— Еги-

пет — не Египет, Голландия — не Голландия, а так, смесь огня и воды...»

Жизненная ошибка Левона Давыдовича в том, что он не принял великой Перемены-революции, не почувствовал себя хозяином нового мира, а остался, как и многие буржуазные инженеры, «просто наемною силой, ландскнехтом», одним из тех, кто «десятки лет работал на самых разных хозяев: концессионеров, капиталистов, чиновников департамента, а нынче на советскую власть», а новая общественная система ломала старые представления о жизни, предъявляла высокие требования к человеческой личности.

Очерки сороковых и пятидесятых годов, последовавшие за романом «Гидроцентраль», продолжают развивать эту же тему великих созидательных работ социализма, но уже на материале нового исторического этапа.

В годы Великой Отечественной войны Мариэтта Шагинян снова взялась за перо публициста. В первые же дни фашистского нашествия она подает заявление в партию и в июле 1942 года, по истечении кандидатского стажа, становится членом КПСС. Вместе с другими писателями М. Шагинян целиком отдается агитационно-пропагандистской работе. Она выступает «в затемненной, затихшей Москве — между сеансами в кино, на митингах в Политехническом музее, на заводах, в залах метро в часы бомбежек».

В качестве корреспондента центральных газет М. Шагинян едет на Урал, в Сибирь, на Алтай — изучает героический тыл страны. Здесь она продолжает трудиться над своей «летописью современности». Писательница создает циклы очерков, представляющие своеобразный лирико-философский дневник современника великих событий.

В 1942—1943 годах печатается ее книга «Урал в обороне». В ней М. Шагинян показывает силу новой общественной системы, силу социализма, который не только выстоял, но и окреп в суровых испытаниях войны.

С окончанием войны Мариэтта Шагинян садится за книгу очерков об Армении. Это своего рода энциклопедия жизни и быта армянского народа в прошлом и особенно в настоящем, в Советской Армении. «Я хочу, чтобы всякий армянин, где бы он ни был, прочитав эту книгу, захотел приехать в Армению, увидеть ее, дышать ее воздухом, ощутить под ногами ее землю. Если удастся

моей книге так взволновать сердце армянина, буду считать, что я не даром прожила свою жизнь».

В 1947 году появилась новая книга очерков — «По дорогам пятилетки», возникшая в результате поездки М. Шагинян с вагоном газеты «Гудок» по новым, строящимся дорогам: Южно-Сибирской магистрали, Кант — Рыбачье, Чу — Моинты и др.

Основное в очерках сороковых и пятидесятых годов — это пафос первой послевоенной пятилетки, «социалистического труда — умелого, упорного, настойчивого, перспективного». Грандиозное строительство на Урале, в Сибири, Казахстане и Армении, в которое вовлечены миллионы людей, открывается читателю в очерках М. Шагинян.

Некогда в дневниках Шагинян начала двадцатых годов вставал страшный призрак опустошенного национальной резней, разрушенного города Шуша — кладбище домов, пустыри, поросшие бурьяном.

В сороковых и пятидесятых годах Мариэтта Шагинян делает иные записи. Она рисует созидательную мощь социализма: расцвет городов, промышленности, расцвет нашей земли.

Старый город Стерлитамак, возникший в 1781 году, и юный, шестилетний город, родившийся в 1940 году — Ишимбаево,— имеют перед собой светлое будущее, они через несколько лет превратятся: один в крупный железнодорожный узел, другой — в мощный индустриальный центр. Вот Уруссу — маленькая станция, «пограничная между Татарией и Башкирией, вчера еще мало кому была известна. А завтра о ней узнает весь Союз, и послезавтра будет она в учебниках географии».

Своеобразие очерков Мариэтты Шагинян, характерные черты, отличающие их от произведений других советских очеркистов, заключаются в том, что писательница выступает в них как ученый, как исследователь. Мариэтта Шагинян не столько описывает, сколько всегда анализирует. Материалом для анализа ей служат разнообразные факты, пестрые явления жизни, которые писательница осмысляет в их взаимосвязи. Неутомимо разъезжая по самым отдаленным уголкам Советского Союза, Мариэтта Шагинян выслушивает и записывает рассказы тысяч людей о повседневной жизни страны. Дневниковые записи Шагинян — основа ее художественных очерков, но они и сами по себе представляют любопытный документ нашего времени.

Вторая черта очерков Шагинян— их комплексность. Мариэтта Шагинян никогда не изображает какой-либо участок жизни огра-

ненным от всего, что происходит вокруг, замкнутым в самом себе. Любое явление, как бы конкретно оно ни было, всегда предстает у Шагинян выходящим за рамки единичного. Явление дается писательницей во множестве разнообразных связей, в сложном переплетении с другими явлениями. Так, например, рисуя «Дороги четвертой пятилетки», Мариэтта Шагинян показывает не тот или иной объект строительства, а все «явление в целом» — самое движение и направление строительных работ. Она раскрывает «общий смысл» и значение для всего пятилетнего плана того, что происходит на самых рядовых, незаметных участках стройки. Мариэтта Шагинян рисует не только сегодняшний день стройки, а будущее в сегодняшнем дне, не только то конкретное положение дел, какое она застала на строительстве, но их устремленность, направленность. Недаром первую главу «По дорогам пятилетки» М. Шагинян программно озаглавила «Путешествие в будущее».

И третья характерная черта Шагинян-очеркистки заключается в том, что она показывает не столько отдельных людей, сколько типы, не только конкретные формы, но и принципы новых человеческих взаимоотношений.

В очерках Шагинян возникает обобщенный образ нового, советского человека-деятеля. В органической связи с его созидательным трудом раскрывается его духовная сила, «которой не измерить и не учесть и которая заражает, держит в волнении...» («Дела и люди Урала»). Действительность предстает как единое целое, где все явления важны и достойны изучения.

На протяжении всего творческого пути М. Шагинян неизменно выступает как критик и литературовед. Перу Шагинян принадлежат интересные монографии о творчестве Гете, Шевченко, Низами, Налбандяна, а также ряд критических статей и литературоведческих этюдов, посвященных конкретным явлениям классической и современной литератур.

В 1944 году М. Шагинян защитила докторскую диссертацию о Тарасе Шевченко, подготовка которой осуществлялась писательницей параллельно с работой над книгой о великом украинском поэте. В 1950 году М. Шагинян была избрана членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР.

Творчество М. Шагинян неразрывно связано с жизнью нашей страны, с величественным трудом советских людей. Писательница во всех своих работах неизменно выступает как деятельный исследователь и летописец современности. Романический эпос «Пере-

мена» рисует решающий перелом в истории, то, как Октябрьская революция разрушала основы эксплуататорского общества. В последующих произведениях и особенно в «Гидроцентрали» М. Шагинян стремилась запечатлеть процесс развития советского общества от первого в истории человечества пятилетнего плана до героических послевоенных пятилеток, подымавших страну из руин. Писательница показала, как изменялся, вырастал новый человек — мечтатель и деятель, труженик революции.

В нашу богатую литературу М. Шагинян вошла как певец революционного созидания, отразив в своем творчестве своеобразные черты величественной эпохи построения социалистического общества.

Л. Скорино

ДВА СЛОВА ОТ АВТОРА

Собрание сочинений — большой и серьезный экзамен для писателя, вступившего в великую эпоху социалистического преобразования мира уже зрелым человеком и написавшего за свой век больше книг, чем прожито им до сих пор лет,— то есть около семидесяти.

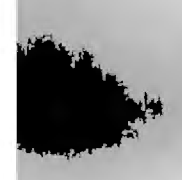
Оборачиваешься на весь пройденный тобою путь с остро критическим чувством всех его ошибок и несовершенств. Что выбрать из написанного? Я взяла меньше четвертой его части. И можно ли, выбрав, печатать выбранное без всяких изменений, с кусками устаревшего, отжившего, неверного?

Особенность нашей повседневной советской практики в том, что мы не можем, пока живем и дышим, не совершенствовать, не улучшать всего того, что сделали и делаем. Советского автора не нужно понуждать к работе над старыми вещами,— он сам тянется к этой работе. Почти все, что вошло в настоящее собрание, подверглось существенной авторской переработке, за исключением очень ранних вещей — стихов и рассказов. Но, исправляя, я старалась не модернизировать текста, не приближать его искусственно к нашему времени. Метод мой был таков: ярче и сильнее выявить именно те положительные и жизненные элементы в книгах, которые в них уже имелись.

Мариэтта Шагинян.

IX 1954.
Москва

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ



Стихотворения

(1906—1921)

ПУТЕМ ЗЕРНА

Мой дом был построен в ущелье лесном,—
И людям с улыбкой я отдал свой дом.

Как вихрь, быстроногий был конь у меня,
Но, встретив больного, я отдал коня.

И той же дорогой, в предутренний час,
Пошел я, одетый в парчу и в атлас.

Но вот, на пути повстречавшись с другим,
Я отдал парчу и остался нагим.

Глубоко в душе я хранил огонек,
Но день не рождался и путь был далек,—

И песнь об огне, убивающем ночь,
Я спел, чтоб усталым в дороге помочь.

Настала заря долгожданного дня.
Стою — без коня, без плаща, без огня.

На солнце, на лес оглянулся, любя,—
И, все потеряв — приобрел я себя.

1906

ГАЛКА

Дождь. Туман. Кого-то жалко;
Песня в сердце оборвалась.
Вся взъерошенная, галка
Под окном моим прижалась.

Грудью к дереву припала,
Шелестят седые крылья:
«Я пропала, я пропала»,—
Злобно каркает в бессилье.

В это мертвое мгновенье
Эта пасмурная нота
Жутко будит в нас смятенье
И предчувствие чего-то.

1906

ГРИБЫ

В воздухе бодрящем
Холодно и звонко.
Детка, посмотри-ка,
Вон глядит опенка,

А под этой веткой,
Словно именинник,
Радостно смеется
Стройный подосинник.

Батюшки, сам белый
Прячется в овраге!..
Тихо дышат сосны,
Воздух полон влаги,

Словно меж стволами
Леший-невидимка
Бродит и вздыхает...
Сядем, посидим-ка.

Дай сюда корзину,
И сочтем грибы мы,
Этим ясным утром
От него хранимы.

Леший нас не тронет,
Он не тронет мухи.
Бедный, в эту пору
Сильно он не в духе!

1906

МОРОЗНО

Ой, да как он щиплется, дедушка-мороз!
Мечет искры алые солнце ледяное,
Хвалится, красуется маскою стальною,
Огненными маками и гирляндой роз.

В небе ткани зимние, розовые, синие.
Дым ложится пятнами, бледными, как тень.
Весь в броне сверкающей, весь в оковах
инея —
О, как я люблю тебя, лучезарный день!

1906

ПОЛНОЛУНИЕ

Кто б ты ни был — заходи, прохожий.
Смутен вечер, сладок запах нарда...
Для тебя давно покрыто ложе
Золотистой шкурой леопарда.
Для тебя давно таят кувшины
Драгоценный сок, желтей топаза,
Что добыт из солнечной долины,
Из садов горячего Шираза.
Розовеют тусклые гранаты,
Ломти дыни ароматно вялы;
Нежный персик, смуглый и усатый,
Притаился в вазе, запоздалый.
Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс...
Ах, давно глаза читать устали,
Лжет Коран, лукавит Аверроэс!
Поспеши... круглится лик Селены;
Кто б ты ни был — будешь господином.
Жарок рот мой, грудь белее пены,
Пахнут руки чебрецом и тмином.
Днем чебрец на солнце я сушила,
Тмин сбирала, в час поднявшись ранний...
В эту ночь — от Каспия до Нила —
Девы нет меня благоуханней!

1911

ЧЕЧЕНКА

I

По тропинке в час, когда
Муэдзин зовет аллаха,
Вороного карабаха
Я веду за повода.

Конь, как юноша, красивый,
Шумно дышит на меня
И косит, играя гривой,
Очи, полные огня.

По протоптанным гранитам,
Меж кустами кизила,
Он скользит, звеня копытом
И кусая удила.

Перед ним с тоскою тайной
Пробираюсь я по мху.
«Гость желанный, гость случайный,
Что ты медлишь наверху?

Трудно горною тропою...
Конь не слушает меня...
Помоги мне к водопою
Твоего свести коня!»

II

Он только спросил, далеко ль до чужого аула;
Сказал, что спешит и что жажда его велика.
Он только просил, чтобы я для него зачерпнула
В дорожную чашу холодной воды родника.
Над чашей с водою тряхнула я розою пышной,—
И розовой пеной до края покрылась она.
И чашу подавши, я так прошептала неслышно:
«Пей, путник, да будет вода тебе слаще вина!»
Из чаши напился он, сдунувши к самому краю
С воды, словно бабочек, сдунув мои лепестки...
Вот только и было, и как он коснулся,— не знаю,
Ах, право, не знаю,— моей загорелой руки.

III

Последний луч на минарете
Крылом тяжелым стерла ночь.
Вот зов муллы, другой и третий...
От родника иду я прочь.
Тревожен звук шагов неверных,
Гляжу на месяца дугу.
Аллах, защитник правоверных,
Что знаю я и что могу?
Ах, сладок сон ночной порою...
Что горе брата, гнев отца?
От них не спрячу под чадрою
Я побледневшего лица!

1911

ЛОДОЧНИК

Песня



Вкруг весла волна расплескивает
Ровные воронки.
В тучках золотом поблескивает
Полумесяц тонкий...

У меня фелюга видывала
Все морские тропы,
Верный якорь свой закидывала
В Смирне, у Синопа...

У меня фелюга дареная,
Дарена не даром:
Повозил на ней татарина я
С краденым товаром!

А уж как к нам в лодку хаживала
Смуглая татарка,—
Все глядела, да уваживала,
Да вздыхала жарко.

А уж как, чадрою шалевою
Повязав голубку,
Во весь дух я гнал, отчаливая,
Парусную шлюпку...

Над бортом канат натягивая,
Чуя силу вражью,
Белый парус вздулся, вздрагивая,
Словно грудь лебяжья.

Я гребу, весло вытаскиваю
Да кричу татарам:
«Ой, не дам, не дам вам ласковую,
Ей не жить со старым!»

А за мной, волну растрескивая,
Свищет ветер звонкий,
Да висит вверху, поблескивая,
Полумесяц тонкий...

1912



М. С. ШАГИНЯН
Портрет работы художника
Татьяны Гиппиус
1911 г.

НА ПОДОКОННИКЕ

У земли для любви не найдется
Сладких слов, возносящих любовь...
То, что к сердцу из сердца пробьется,—
Немотою любви славословь.
Верь, не тщетно над миром возносит
Нас святого безмолвия час:
Ведь сама тишина произносит
Это слово любви вместо нас.
...Ночь. Допела последняя птица.
Ходит ветер в саду, бормоча.
Ах, как сладко плечу приютиться
У навеки родного плеча!

6 июня 1912

ФЛЕЙТА

Попрежнему сладостны вёсны,
А осень тиха и пуста...
И грустной сыростью росной
Душа, как цветы, налита.
Краснеет в полях кукуруза,
Давно в янтаре виноград.
От сладкого спелого груза
Погнулся желтеющий сад.
На башне старинной куранты
Зари совершают обход.
С балкона следят музыканты,
Когда подойдет пароход.
То смолкнут, то, жалобой чьей-то,
Как грустная горлица, вновь
Воркует унылая флейта
Про осень, про боль, про любовь...

1912

К АРМЕНИИ

С какой отрадой неустанной,
Молясь, припоминаю я
Твоих церквей напев гортанный,
Отчизна дальняя моя!
Припоминаю в боли жгучей,
Как очерк милого лица,
Твои поля, ручьи и кручи
И сладкий запах чебреца...
Веленью тайному послушный,
Мой слух доныне не отвык
Любить твой грустно-простодушный,
Всегда торжественный язык.
И в час тоски невыразимой,
Приют последний обретя,
Твое несчастное дитя
Идет прилечь к тебе, к родимой...
Я знаю, мудрый зверь лесной
Ползет домой, когда он ранен,—
Ту боль, что дал мне северянин,
О, залечи мне, край родной!

1912

ЗАВЯЗЬ

Тот трижды лжив, кто тороплив,
В ком сердце жадно и забвенно!
Ни знойных лоз, ни сладких слив
Весна не золотит мгновенно,
Но медленно по стеблю сок
Благоуханной влагой бродит,
И время вяжет узелок
Его янтарной тайны — в плоде.
Пусть корню спать в земле темно.
Что нужды? День, лучами всеми,
Поит в цветке и кормит семя,
Где прошлое — сбережено.

1914

ОДА ВРЕМЕНИ

I

Тебе, кому миры подвластны,
Кто чередует свет и мглу,
Мой скромный стих, мой слабогласный,
Споет ли должную хвалу?
Блуждает память в миллионе
Лет, отмелькавших, словно сон.
А там, в твоем несчетном лоне,
Роится новый миллион.
За голубым его теченьем,
Подобным Млечному Пути,
Суди грядущим поколеньям
Опять грядущее найти!

II

До той поры, пока могильный
Приносит сумрак забытье,
Твой лепет ласково-умильный
Сопровождает бытие.
Не перенесть любви и боли,
Ни гнева, ни высоких дум,
Когда б не пел над нами боле
Твоих могучих крыльев шум;

Когда б не плавный лет, скользящий
Из мига в миг, из часа в час,
Таинственней мечты и слаще
Забвения баюкал нас!

III

И в соке лозы виноградной
И в песне, что пропел поэт,
Твой легкий шаг, твой шаг отрадный —
Почетный оставляет след.
Ты тленный прах даруешь тленью.
Но формы, где рождался бог,
Животворит прикосновенье
Твоих легкокрылатых ног.
Творец, не жди мгновенной дани
И тьмы забвенья не страшись!
Что время сжало в мощной длани —
Оно, летя, возносит ввысь.

IV

Нам душу грозный мир явлений
Смятенным хаосом обстал.
Но ввел в него ряды делений
Твой разлагающий кристалл,—
И то, пред чем душа молчала,
То непостижное, что есть,
Конец продолжив от начала,
Ты по частям даешь прочесть.
Ты миру судишь материнство...
И с первых дней земной чете
Лишь суждено дробить единство
В слиянья роковой мечте.

V

Ты — цепь души неутоленной!
Чем от тебя я отделю
Свой смертный разум, прикрепленный
К тебе, как пламя к фитилю?..

Но на стебле твоем растущем
Хранит незримая ладонь
Взвиваемый к небесным кущам
Познанья медленный огонь.
И, может быть, в преддверье света,
Остебеленный кончив путь,
Вспорхнет, как голубь, пламя это
Бессмертной истине на грудь.

VI

Как подойти к последней сени?
Как сердцу примириться, чтоб
Не быть, не слышать шум весенний
Земли, спадающей на гроб?
Но тяжкой ношей наши плечи
Обременяет ход времен,—
И вот уже не страшно встречи,
Упокоительной, как сон.
И вот насыщенный, изжитый,
Вкусивший от добра и зла,
Дух сам собой возводит плиты
Над жизнью — хладной, как зола.

VII

Так обрастай же все мгновенья,
О время — длиннорунный мох!
Да не замрут тебе хваленья,
Доколь в груди не замер вздох.
Пусть с примиряющим лобзаньем
От нас твои отходят дни,
И ты спокойным указаньям
Волненья сердца подчини.
Судья людей в любви и гневе!
Всем взмахам твоего крыла,
Тебе, кормящее во чреве
Мечту о вечности,— хвала!

1915

КОМЕТА

В вихре ветра и света,
Истекая огнем,
Пролетала комета
Межпланетным путем.
Вкруг нее, вечно юны,
Соблюдая черед,
Вьют созвездья и луны
Мировой хоровод.
Орион в небе ходит,
Повторен троекрат,
И медведица водит
За собой медвежат.
Ей же — путь неизбытый
И разлука в удел,
Чуть заденет орбиты
Пролетающих тел...
Муке тысячелетий
Разрешения нет!
Что ж, душа, ты комете
Загляделась вослед?
Беспокойством томима,
И одна, как она,
Тоже мимо, все мимо,
Пролетать ты должна!

Звезд согласно теченье,
Сердцу сердце — звено,
А тебе — отреченье,
Отреченье одно!..

1916

MEMENTO MORI

В юности я вожделел и вина и женщин.
К зрелым годам не пьянят ни вино, ни ласка.
Медлен мой день, и только бокал мой пенит
Вечный напиток — сладостный сон-целитель.
В сон, как в мечеть, у порога оставив туфли,
Каждую ночь, забыв про себя, вступаю.
Все, что не я, опять нахожу на месте:
«Здравствуйте, им говорю, синий сон и дорожка!»
«Здравствуй,— и мне в ответ синий сон
и дорожка,—
Мы тут стоим, а ты?» — «А я сокращаюсь.
Вот и опять я стал короче, чем прежде.
Завтра буду короче, чем был сегодня.
Вы собирайте меня, синий сон и дорожка!
Запоминайте, сколько меня тут было!
Стонет дух мой о протяженном покое:
Синим сном и дорожкой пора протянуться...»

1921

Переводы

(1940—1941)

Ованес Туманян

СКОРБЬ СОЛОВЬЯ

(Народное)

Залетная птица глядит — меж ветвей
Плачет кровавой слезой соловей.
Молвит: «Скажи, почему меж ветвей
Ты плачешь кровавой слезой, соловей?
Зачем ты, нахохлясь на ветке сухой,
Поешь, трепеща, о печали одной?
Любит весь мир певуна своего
И щебетание песен его;
Ты же, соловушка, день-деньской,
Вздыхая и охая, сам не свой,
Утра прохладного в сладкий час
Кровавые слезы струишь из глаз!»

«О чем говоришь ты, чужак-сумасброд? —
Ответную речь соловей ведет.—
Не видишь — осела зима на горах,
Воду она сковала в ручьях,
Запах она отняла у цветов,
Щебет моих отняла птенцов,—
Как же не лить мне кровавых слез?»

Залетный гость в ответ произнес:
«Полно тебе, соловей дорогой,
Полно кровавой рыдать слезой!

Снова придет для тебя весна,
Солнцем зальется твоя страна,
Снежный покров с наших гор сойдет,
Во́ды в ручьях поломают лед,
И, окруженный птенцами, опять
Будешь навстречу цветам щебетать!»

Низами Гянджеви

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

(Отрывки)

Певец этой розы, в чертоге твоем
Поющим я стал о тебе соловьем.
Дорогой любви к тебе — песню пою,
У двери обители — в колокол бью.
Я слов по чужим образцам не вязал,
Что сердце велело, лишь то и сказал.
Заветное дело задумал начать —
Стал новые формы из глины ваять.
Учась у зари поведенью души,
Завесу волшебного вечера сшил.
Путь царский и нищий — тождественны в ней,
«Сокровищница тайн» божественных в ней.
На сахар к ней — рой чужих мух не летал,
На мух ее — сахар чужой не пристал.
Ведь речь, что нежней, чем цветов кружева,
Не жиром чужим, как светильник, жива!
Хотя во дворцах, что прочнее стоят,
Поэты-хвалители так и кишат,
Но чтится высоко меж них Низами,
Иной он, а эти иные — за ним.
Оставя стоять их, где стали,— вперед
Коня я угнал на большой переход.
Из слова-алмаза свой выковал меч,
Пришедшим вослед — стал он головы сечь.
И этот меча рассекающий взмах —
Состарившись, не притупится в веках.

* * *

В начальном движенье пера — «калям» —
Дано очертание слова нам.
Предвечного уединенья покров
Отброшен был — для откровенья слов.
Пока не услышала в слове душа
Весть сердца — не начала глина дышать.
Движенья «каляма» вперед и назад
Нам с помощью слова расширили взгляд.
Без слов о себе — этот мир безголос.
Рассказывать начал — и слово нашлось.
Любовное слово — как душу приму,
Мы — слово, а мир — это портик к нему.
Черты каждой мысли собрав в букет,
К крылу птицы слов привязал поэт.
Мир, вечно-творящий,— острей, чем речь,
Что выдумал, чтоб волосок рассечь?
У мысли нача́ла, у счета конца
Есть слово,— его береги, как отца.
Венцом — венценосец назвать его рад.
Другой — на другой обратит его лад.
Знамёнами провозглашают его,
«Калямами» — изображают его.
Но в битве — победнее стяга оно,
И лучший боец, чем бумага, оно.
Хотя не раскроет своей полноты
Любителю горсти пустой мечты,
Но мы, устремившие взор на него,—
И умерли в слове, и словом живем.
Озябший — огонь от него разожжет,
Вспотевший — воды из него зачерпнет,
Людского устроенней рода оно,
Свежей и первей небосвода оно,
Без цвета и свойства земных вещей,—
И стараться его описать — вотще.
Где царствует слово, обычай таков:
Букв много и множество там языков.
Когда б не плело оно душ наших нить,—
Могла ли б душа его кончик схватить?
Владений захваты — при помощи слов,

Печать шариата — при помощи слов.
Рудник, нашим словом и златом богат,
Менялу когда-то спросил наугад:
«Вот свежее слово, а вот золотой,—
Что лучше?»—«О, слово, друг, слово раз в сто!»
Глашатаю слова открыты пути.
Где слову есть доступ, ноге не пройти.
Ты слово чекань,— ведь дирхэм — его прах,
Не звонкое ль злато в газели стихах?
На месте почетнейшем слово сидит,
Держава его — лишь из слов состоит.
Без сердца — ты в нем не поймешь ничего,
Раскрытье его — многословней его.
Доколь оно есть, ему честь меж людьми.
Да быть ему свежим в устах Низами!

* * *

Слова́ необдуманные, без оков —
Считаются перлами у знатоков.
Взгляни же, знаток, их цена какова,
Коль взвесить и стиснуть в оковы слова.
Весы — это рифмы, поднявшие речь,
Они в ней сцепляют два мира для встреч,
Ключи к тем сокровищам, что под замком,—
Хранятся у мастера под языком.
Он, речь положивший на рифмы-весы,
Счастливцев в своем мастерстве искусил.
Поэт, ты девятых небес соловей,
Кто здесь уподобится славе твоей?
Смятенного и в размышленья огне,
Причесть тебя к ангельской можно родне.
В завесе, таящей поэзии весть,—
Тень тайн от завесы пророчества есть.
И в строе рядов, что вокруг божества,—
Поэты — в конце, а пророки — сперва.
Ведь оба — единого друга стопы,
Ядро они в мире пустой скорлупы.
И финик с их пиршества если упал,—
Не слово,— в нем сердца живого накал.
И душу в нем клювом вытесывал прах,

И мысль перемолота в сердца зубах.
Но речи родник, порожденный добром,—
Пустая вода под продажным пером.
Кто стал хоть одной только песни творцом,
Роскошней мирского владеет дворцом.
Кто мыслью подняться до истины мог,—
Главы не положит на каждый порог.
Но если к добру прикоснется разбой —
Высокому — низость придаст он собой.
От вас свое слово беру я назад,
Льстецы, что достоинство слова мертвят.
Плод сердца, за душу даруемый,— где б
Водою мог стать, обменённой на хлеб?
Мздоимцы! За золото б вам умереть,
За золото жадно вы приняли медь.
Кто жертвует золоту светочем дня,—
Сверкающий перл на голыш променял.
Продажная братия ваша,— она
Вне чести, хоть почестью — вознесена.
Но царской парчой обмотавший висок
Всё ж съел напоследок железа кусок.
А тот, кто пред златом, как ртуть,
не дрожал,—
Железных Санджара кусков избежал.
Дай речи медовой — ценителя слух.
Мед речи — не делай рассадником мух.
Коль верность — чего не дано, не бери.
Молитву — не внемлющим не говори.
Познанья закона пока не достиг,—
Помолвки с поэзией не допусти.
В эмирство — поэзии вводит рука,
Затем, что поэт — он «эмир языка».
Уместно ль, скажи мне, на корточки сесть,
Чтоб речь высоты небосвода обресть?
Поникнув главой, будь — подобье свечи —
Мертвеющей днем и живущей в ночи́.
Пусть взлет твоих мыслей до пыла дойдет,
Тогда колесо плавный ход обретет.
Слова не спеша облюбовывай ты —
Получишь их с бо́льшей зато высоты.
Из песен, тебе принесенных на суд,

Не выбрал,— так лучших тебе принесут.
Полученный жемчуг не вешай на грудь,
Прекрасней носимого в сердце добудь.
Кто этой дорогой свой стяг понесет,—
У месяца бег, шар у солнца сорвет,
Хоть в выборе не торопился легко,
Зато и дыхание не коротко.
Чтó в дереве, полном инжира, скажи,—
Когда бы все птицы клевали инжир?
Хоть в этой манере я грани достиг,
Хочу, чтоб узрели, сколь странен мой стих.
Придал вдохновенью я — кельи закал,
Поэзию вывел я из кабака.
О новых речах, что принес я с собой,—
Слух грянет «восстанья из мертвых» трубой.
Ведь в старом и в новом, что было и есть,—
Стихи мои смуту могли б произвесть.

* * *

Проси себе друга из глуби души,
Найти разделяющих горе спеши!
Нашел — и печаль разорвала свой круг,
Свернули ей шею, коль найден был друг.
Чуть дышащего и от скорби без сил,—
Друг с помощью дружбы тебя воскресил.
Коль вздох меж двумя, согреваясь, горит,—
И сотню печалей тот вздох испарит.
Задышит лишь первое утро в ночи,—
Тотчас и второе на звезды кричит.
И первому смерть, если, в дружбы обет,
Второе не вышлет на помощь рассвет.
Ты сам от себя — не зачнешь ничего.
А друга нашел — и дела от него.
Какой-нибудь друг неизбежен везде,
Но лучший,— когда он помощник в труде.

* * *

От счастья курильщика — плачет смола!
В покое седельщика — стоны осла.
Таков неизбежного действия круг,

Тебе ж предназначена милость, мой друг.
О ты, чье сужденье — живущих закон,
Под чьею пятою — владетелей трон,
Земля, что лежит,— под посевы годна,
А с ветром взлетев, станет пылью она.
Стань войску и городу добрым отцом —
И войско и город ответят добром.
Насильник, кто дом подчиненных крушит;
Держава прочна, коль обид не чинит.
Дай людям спокойствие — ведь от обид
Одно лишь в исходе останется: стыд!
Весь мир подчинить себе силой — нельзя.
Законность — вот к власти над миром стезя,
Какую ты прибыль в неправде нашел?
С судом беззаконным — останешься гол.
Законность — вот вестник, кто не обманул,
Рабочий, кто благоустроил страну.
Одним правосудьем держава крепка —
Да ищет опору в нем шаха рука!

* * *

Раз смысл бытия нам постигнуть дано,
Мы знаем, вельможа и нищий — одно.
Что ищешь богатств Соломона след?
Они пред тобой, Соломона ж — нет!
Вот свадебный, Азрою убранный зал,
Вот пир, за которым Вамик пировал.
И зал не разрушен, и пир не затих,
Но нет ни Вамика, ни Азры в живых.
Хоть много над миром веков пронеслось,
Ни на волос меньше у мира волос.
Все тот же земли крепковыйной гнет,
Все тот же над нею палач-небосвод,
Общения с миром искать ли кому?
Кто им не обманут, чтоб верить ему?
Землею стал тот, кто ее попирал,
А знает ли прах, что в себе он собрал?
Лист каждый здесь — был человека лицом,
И след под ногой твоей — царским венцом.
Мы молодость мира в земле погребли,

И тем старики мы, что дети земли.
Небесный тот купол в извечной ходьбе,—
Лишь противодействовать склонен тебе.
То царство подарит нам неба игра,
То сделает глиной в руках гончара.
И кто на двуцветный ковер ни ступил,
Одно лишь стесненье в делах получил.
Завистливо жители суши твердят:
Как счастливы те, кто моря бороздят!
Моряк же, от бури заклятья творя,
Готов у пустыни отдать якоря.
Нигде человеку спасенья от бед,
Ни в месте безводном, ни на море нет.
Закон непреложный живущему дан:
Поклажу оставя, уйдет караван.
И всех, кто пощаду получит в пути,—
Перст небытия не замедлит найти.
Брось царство — что, кроме тщеславия, в нем?
Потемки той сени — не сделаешь днем!
Жизнь стала забавой тебе на пиру,
Довел до чрезмерности эту игру.
Но неба игра хоть с волчком и сходна,
В ней взору — широко, а мысль — стеснена.
До первого знания в людях была
Беспечность,— о, как та беспечность мила!
Но только лишь разум до грани дорос,—
С беспечности царством проститься
пришлось.
Не мудростью эта беспечность дана,
Сплошных безрассудств порожденье она.
Царапай хоть лист, но безделье гони.
Не пишешь — так перья чужие чини.
Так всякий, кто с добрым дружить
предпочтет,
Когда-нибудь пользу в той дружбе найдет.
Но добрый давно уж из мира ушел,
Стол с медом — стал ульем, гудящим от пчел,
Из бесчеловечности этой в наш век,
Как зла, человека бежит человек.
Познанья для них не оставлен и след,
Свели существо человека на нет.

Соломоново время — ушло от нас,
Кто мудр — словно «пери» таится от глаз.
И с кем ни мешал я дыханий своих,
В одном убеждался — подальше от них!

* * *

О ты, кто при мужестве щит положил,—
Надменности демон тебя закружил!
Горд царством, а верности в нем —
не найдешь,
И жизнь, где нет вечности, вечно ведешь.
Бредешь за глотком винопийцы вослед,
Покоряешься пестрой игре планет!
Не благословенно людей обижать
И честь свою с кровью людскою ронять.
В ответ притязаньям твоим над страной —
Два-три мыслью смелых — сольются в одной.
Страшись их суда, правосудье верши
И бойся на гнет свой стрел жалоб в тиши!
Высокие мысли — внушеньем сильны,
Их действие ведь не пустяк для страны!
В дыхании многих — слит помысл один.
Смотри,— он не стал бы тебе господин!
Законность — вот власти условье земной,
А ты угнетеньем царишь над страной.
Кто в здешнем дому правый суд наведет,—
Дом завтрашний пышноцветущим найдет.

* * *

Во всем, где хоть капелька жизни видна,—
Души — в соответствии с телом — цена.
Пусть жемчуг их меньше, чем море твое,
Но все ж ведь жемчужина — их бытие.
К суду привлекай ты больших и меньших,
Лишь выкуп отдав за страданье их.
И добрый и злой в государстве твоем —
Твое отраженье и в добром и в злом.
Ты дашь башмаки,— так папаху они,
Ударишь слегка,— так с размаху они.

В тюрьме человек обретает честь.
В темницу дано было Иосифу сесть.
И ценность и высшую степень души
Подвижничеством приобресть поспеши!
Знай, дружба природы и разума в нас —
Про кузницу и москательню рассказ.
В одной обретешь ты — ожог на лицо,
В другой — попадешь в аромата кольцо.
Жизнь — в противоречиях этой борьбы,
Но счастье — вожак каравана судьбы.
Смиряющий страсть — как правитель, высок.
В бесстрастии — черпает силу пророк.
Коль душу свою обуздал хоть на миг,—
Обуйся,— ты к раю дороги достиг.

* * *

Мир тесен и стар. И таится обман
Под мнимою свежестью этих румян!..
Продажа и купля — вот мира оплот,
Одно отдает он, другое берет.
Хоть есть в нем червяк, порождающий шелк,
Но есть в нем и червь, поедающий шелк...
На голову золота стань же ногой,
Чтоб золота не был сочтен ты слугой.
Лишь цель придает ему ценности знак,
Без цели — что золото, то и мышьяк.
Раз золото ценишь за видимый блеск,—
Так перьев павлиньих — радужнее плеск!
Железом лишь — золото можно добыть,
Царям — кузнецами приходится быть.
Карун себе шапку из злата отлил,
И груз тот в колодце его утопил,
Кто злато вознес над своей головой,
Тем — груз оно; бросившим — конь верховой.
Им жертвовать — вечно задача его.
Не брать его — лучше отдачи его!
Берущему — алчность удвоить легко,
Отдавший — себе обеспечит покой.
Взять золото и раздарить его всем —
Не лучше, чем не прикоснуться совсем.

Как жир нам на желчь — накопленье
богатств,
Как фрукты на желчь — раздаренье богатств.
И помни: крупицу рука утаит
И меньшей по весу ее заменит,—
Крупица свое сохранит бытие,—
В день судный представят по списку ее.
Сокрытое встанет, как в свете костра:
Даянья зерно и взиманья гора!
Смотри же, весов языка не качай,
Иль меньше бери и побольше давай.
Шипами увенчана роз кривизна,
Но сахар несет тростника прямизна...
Как лев, поедай и носи лишь одно,
Что в руки день каждый добыть суждено.
Есть хлеб на обед и воды — на глоток,—
Не лезь же, как ложка, в чужой котелок.
Пусть голод от этих кусков не затих,—
Зато и охотников нету на них.
Чем грезить о хлебе чужом наяву,—
Ешь лучше, как ослик Исуса, траву...
Ешь землю,— но только не хлеб у скупых,
Не прах ты, чтоб лечь на попрание их!
Колючкою во-время руки стегни,
Чтоб брались за дело без лени они.
Ведь легче руке труд, какой он ни будь,
Чем за подаяньем ее протянуть.
...Ты «я» говоришь, но, поверь, это «я»
Исчезнет с концом твоего бытия...
Других обездолим, излишек забрав,
Ты долей доволен и, значит — ты прав...
Один безбородый, ропща на судьбу,
Увидел двух длиннобородых борьбу:
«Э,— думает,— гол, как у беса, мой рот,—
Зато не грозит мне тасканье бород!»
Уж лучше быть нищим в добре и в еде,
Чем тыквой пустою стоять на воде...
Лев славится малой своею едой,—
Огня ненасытность грозит нам бедой.
Шар солнца — вот все пропитание дня,
А светом стал день для тебя и меня.

Как пьяница, ночь потребляет питье,
И лик ей чернит полнокровье ее.
Чем пища обильней, тем разум скудней,
Печали щитом встало сердце пред ней.
Твой разум — есть дух, ты — ларец для него,
Твой дух — это перл, ты — венец для него.
Как сможешь ты взять этот перл для венца
Из плоти своей, не разбивши ларца?..

* * *

Вино ль виновато, что пьет человек?
Ты сделал проступок — при чем тут твой век?
Нет, век не брани за свои же дела,—
Ни мне, ни тебе им не сделано зла!
Немало, поверь мне, труда он кладет,
Чтоб сделать из нас с тобой важных господ.
Но если мы оба ничтожны — к чему
Пенять за таких деревенщин ему?..
Жасмин и колючка равно для нас злак,
Но первый — врачует, вторая — сорняк,
Пусть розовый куст из ручья не поят —
У роз все равно не отнять аромат,
Но самою мягкою струйкою гор
Не сделать жасмином колючку и сор...

* * *

Прекраснее грубых — нет в мире одежд.
Сужденье по платью — сужденье невежд.
Жестка кожа лани,— но тем и ценна,—
Пергамент дает под любви письмена.
Сохранность для мускуса — грубость мешка,—
Рассыплется он, переложен в шелка.
Коль сахар ты,— вьюка дыханье терпи.
Коль жемчуг ты,— в каменной ракушке спи.
Свой тяжкий неси в ночь бездонную труд,—
Чем он тяжелей, тем полней воздадут.
Тот верный, кто цели высокой достиг,—
Трудом заработал бессмертия миг!
Сошествием бед — здоровеет мудрец,

Здоровье — к беде нас приводит вконец.
Удары — нас от себялюбья целят,
И в горечи винной — основа услад.
На страже сокровищ — поставлен дракон,
Забота хранит беззаботный наш сон.
О, стань кипарисом своей прямизной,
Свечой, что довольна, питаясь собой.
В бессонной заботе — крикливости нет,
Великий покой наступает ей вслед...
Для мудрых, кто в царство свободы проник,—
И шахский тюремщик — к нему проводник!

* * *

Спускается старость — за юности днем,
Прах борется с ветром и влага — с огнем.
Светает,— а ты погружаешься в сны,
А солнце восходит над краем стены!
Оставь покорения мира мечты,
Не мучься, как в юности,— стар уже ты.
Ведь сердце, которым любил и грустил,
Иссохло, лишенное мощи и сил.
И ум замутился, и мысль не строга,
И руки в узлах, и ослабла нога.
Земля состраданием к старым полна,
Приляг, чтоб твоя отдохнула спина.
Во всей этой славе и скверне людской
Нет слаще для нас, чем покой, покой!

РАССКАЗ
О БАКАЛЕЙЩИКЕ И ЛИСЕ

Один бакалейщик, что в Йемене жил,
Лисенка завел, чтоб товар сторожил.
Глядит на дорогу лис ночью и днем,
Сидит — сторожит бакалейщика дом.
Вор всячески пробовал — раз и другой,
Но лис был недаром хорошим слугой.
Устав от стараний, воришка прилег,

Вздремнул,— и в дремоту лисенка увлек.
Лис видит — зажмурясь, лежит этот волк,
И сам, потянувшись, в дремоте примолк.
А вор, как увидел, что сторожа нет,
Добычу схватил — и простыл его след!
И всякий, кто ляжет поспать на пути —
Скажи голове или шапке «прости».
Вставай, Низами, пробудиться пора,—
Иль все, что имеешь, уйдет со двора!

РАССКАЗ
О ДВУХ МУДРЕЦАХ-СПОРЩИКАХ

В жилище одном жили два мудреца,
И спор отчужденье вселил в их сердца.
«Мое» там царило, с «твоим» не сживясь,
Двойное с единым утратило связь.
Нет правды двоякой, а есть лишь одна!
Из двух голов чья-то быть снятой должна.
Ведь в ножны одни двум мечам не пролезть,
Главой на пиру — двум Джемшидам не сесть.
И каждый из них, себялюбьем влеком,
Владеть этим домом хотел целиком.
И каждый тянул в слепоте за свое,
Чтоб только собою украсить жилье.
Вот как-то, проспорив всю ночь напролет,
Придали раздору такой оборот:
Забыв несогласье, шербету сварить,
Чтоб каждому — чашу другого испить,
И вызнать — чья крепче пред ядом душа,
Чей яд смертоносней изводит, круша;
Две мысли в единое знание слить,
Два сердца — в одну оболочку вселить.
Тут первый мудрец, изготовивши яд,
Чьим мог бы зловоньем быть камень разъят,
Напиток подносит: «Попробуй вино,—
Не яд оно,— слаще, чем сахар, оно!»
Сосед его, дар смертоносный узрев,—
В честь сахара — выпил отраву, как лев.

И внутренним противоядием вмиг
Он действию яда преграду воздвиг.
Сгорел мотыльком — и как прежде крылат.
Свечой поспешил на собранье назад,
Дорогою — розу срывает в саду,
Заклятье прочел и на розу подул,
И подал врагу ради взгляда его
Ту розу, что действенней яда его.
И, страхом пред этим цветком обуян,
Противник от розы упал бездыхан.
Так, мужество яда исторгнуло шип,
А схваченный страхом — от розы погиб!

РАССКАЗ
О ХОДЖЕ И СУФИИ

Замыслив святым поклониться местам,
Ходжа, по обычаю, деньги достал,
Чем нужно, сполна обеспечил он цель,
И видит — еще остается кошель.
«Ну, думает, суфий — святой человек,
Вдали от греха доживает он век.
Ему поручу, чтоб кошель уберег,
Искать у кого мне надежней порог?»
И суфия в дом свой тайком пригласил,
Кошель ему, полный динаров, вручил.
И просит: «Ты в тайне его сохрани,
Когда ж возвращусь, мне обратно верни».
В пустыню стопы направляет ходжа,
А суфий глядит на динары, дрожа.
Аллах, сколько времени,— о, пощади,—
Пристрастье к богатству таил он в груди!
Шепнул про себя: «Украшенье жилья!
Мечта моих дней, наконец ты моя!
Скорей же! Никто не помехою мне
В добре, что поручено — наедине».
Он узел на том кошельке разорвал,
Безудержу много ночей пировал.

Все золото, что получил от ходжи,
Во чрево, обросшее жиром, вложил.
Так жил он, динаром в ладони звеня,
Кудрями красавцев зуннар[1] заменя,
Пока не повисла в отрепьях хыркэ[2]
И сам не остался в стыде и тоске.
Дичь так обглодал, что тавра не видать,
И жира в светильню с нее не собрать!
Меж тем, из Каабы дорогу держа,
Как тюрк пред индийцем, явился ходжа.
«А ну-ка, сказал, возврати мне, о шейх!»
«Чего тебе надо?» — «С деньгами кошель».
«Эх,— суфий в ответ,— убери свою длань!
Кто с нищего города требует дань?
Динары истрачены, в воздух ушли,
От них до меня — как от звезд до земли!
Кто станет на сильных набег затевать?
Воришке — чужое добро поручать?
Столб чести моей твой динар подкопал,
Разбил на куски меня, с пылью смешал».
И душу на милость, как дом на разбой,
Раскрыв, он с рыданьем упал пред ходжой.
«Прости! Стал раскаяньем раненным я,
Неверным был — стал мусульманином я!
Ущерб человеку сродни, как луне,
Ущерб причинил я, и грех мой — на мне!»
Смирил свою злобу ходжа, сколько мог:
«Встань, шейху не должно валяться у ног!»
И вспомнил аллаха, и сердцем остыл,
И мысленно шейху кошель подарил.
Сказал, как советчик, себе самому:
«Он гол, ну а что с голыша я возьму?
Ячменного нет у бедняги зерна,
Залог у него — только вера одна.
И если б искал, все добро перерыв, —
В пожитках его только «мим» да «алиф»[3].
Всего насмотревшись, я в жизни прочел,
Что сладость — причина несчастия пчел.

---

[1] *Зуннар* — верхняя одежда.
[2] *Хыркэ* — рубаха дервиша.
[3] *Мим* и *алиф* — буквы арабского алфавита.

А львиное мясо горчит — оттого
И хищный и кроткий обходят его.
Свеча оседает, стремясь к высоте,
Луну ущербляет любовь к полноте.
И ветер, по-волчьи с землею дружа,
Лишь тем, что он легок,— обвала бежал.
А знает ли утка, трудясь над волной,
Что бедствие рыбы — в чешуйке цветной?

РАССКАЗ
О ПИРЕ И МЮРИДЕ

Учитель, из дельных в стране стариков,
Вел как-то, беседуя, учеников.
И вдруг,— хоть его караван провожал,—
Нечаянно ветра в себе не сдержал.
И все, кто с ним были,— рассеялись вмиг.
Остался со старцем один ученик.
Старик говорит: «Все ушли, почему
Лишь ты один верен пути моему?»
Ответил: «Да буду я кровом твоим,
Венец мой — лишь пыль перед словом твоим,—
Ведь я не за ветром решился идти,
Чтоб следом за ветром убраться с пути!» —
Лишь ждущий получки,— уйдет, получа,
И с ветром примчавшихся — ветер умчал.
Пыль быстро взлетит и быстрее падет,
А прочного дома нигде не найдет.
Но медленно встала на место гора —
Зато и у гор долговечна пора!

РАССКАЗ
О СОЛОВЬЕ И СОКОЛЕ

Певун соловей в час цветения роз
Безмолвному соколу задал вопрос:
«Ты всех молчаливей из птичьей семьи,—
Так чем же ты взял, расскажи, не таи!

С тех пор как живешь,— замыкаешь ты рот,
Ни разу не радовал песней народ,
И замок Санджара — жилище тебе,
И жирные курочки — пища тебе!
А я, кто из россыпей сказочных руд
То перлом блесну, то взметну изумруд,—
Питаться я должен простым червяком
И сам из колючек свиваю свой дом».
Сказал ему сокол: «Попробуй молчать,
Как я, наложи на язык свой печать!
В делах кой-какое мне знанье дано,
Но, сделав сто дел, не воспел ни одно.
А ты,— да не свел ли с ума тебя век,—
В безделье разлился, как тысячи рек!
Охота — вот промысл мой в чем состоит.
Он грудь куропатки, перст шаха дарит.
Твой промысл — по воздуху бить языком —
Сиди ж на колючке, кормясь червяком».
Когда возгласят Феридуну хутбу [1],
Кто станет базарную слушать трубу?
Что утро? Лишь крик петушиный — и всё,
Улыбка в дороге пустынной — и всё.
Дошел ли твой крик до небес голубых?
А кто, здесь живущий,— не узник у них?
Про славу высоких стихов не шуми,
Чтоб в плен не попасть, как попал Низами.

[1] В данном случае — славословие царю.

РАССКАЗЫ

ГОЛОВА МЕДУЗЫ

I

Два товарища жили вместе в одной комнате. Одного из них звали Андрей, а другого — Игнатий. Оба были студентами, только Андрей учился медицине, а Игнатий —архитектуре. Их сблизил совершенно случайно третий общий знакомый, который, впрочем, не дружил ни с Андреем, ни с Игнатием и в рассказе нашем не играет никакой роли. Обоим студентам нужен был «сожитель», и, когда случай свел их вместе, они наняли подходящую комнату, отвели друг другу по углу для занятий и сделали все, что от них зависело, чтоб приспособиться к совместной жизни.

Это удалось им очень скоро. Их характеры казались созданными для прочного и складного общения. Андрей был юноша нежный, с любовью к аккуратности и труду, даже не к самому труду, а к процессу его; он очень любил составлять расписания занятий, чинить карандаши, переплетать книги, и хотя часто ему не удавалось исполнить то, чего хотелось, однако он чувствовал продуктивность своего образа жизни и ею гордился. В нем, кроме того, была одна приятная черта: он любил уступать и приносить жертвы; в глубине души ему хотелось, чтоб эти жертвы были оценены, но когда их совсем не замечали, Андрей находил утешение в мыслях о своем бескорыстии.

Совсем другого склада человек был Игнатий; он ни в чем не знал меры, не отнекивался, когда ему что-нибудь предлагалось, мало задумывался над движениями своей души и никогда не чувствовал, что он кому-нибудь в тягость. Оттого и на самом деле Игнатий редко кому мешал, а если даже и мешал, то обиженный невольно был благодарен ему за то, что он этого не замечает. Роста Игнатий был высокого, крупный, волосатый, но с очень тонкими конечностями, изобличавшими в нем породу; маленький Андрей, в противоположность ему, имел руки грубые, а ноги короткие. В первый же день их сожительства выяснилось, что оба они хотят как следует работать, чтобы наверстать потерянный год, и потому станут удерживать друг друга от непроизводительной траты времени.

— Товарищ, почему вы избрали медицину?— спросил Игнатий, когда они в первый раз улеглись спать — один возле печки, другой между окнами.

Андрей с готовностью ответил:

— А это, видите ли, имеет отношение к моему внутреннему «я». Мне всегда хотелось взять упорную, ответственную работу, чтобы она меня воспитала. Сама по себе медицина, конечно, скучнее филологии, но она дисциплинирует.

— Да, конечно!— согласился Игнатий.— А я вот никогда не думал о дисциплине, но зато влюблен в принципы соотношения частей. Для меня архитектура — мать всех наук. Глядишь на какую-нибудь джоттовскую кампаниллу и понимаешь, как сотворен мир.

— Что за кампанилла?

— Вы не знаете? Колокольня во Флоренции. Она вся состоит из числа семь, из нечета, заметьте себе, и так построена, что каждая часть — страдательная по отношению к другой; все как бы уступают главенство друг другу и не распадаются ни в одиночку, ни на пару. Эта колокольня — просто шедевр архитектуры.

— Ну, а мир, по-моему, совсем не так сотворен,— подумав, ответил Андрей,— если один страдает, так другой главенствует.

На том они и покончили разговор, пожелали друг другу спокойной ночи и заснули. На другое утро Андрей проснулся первый, сделал гимнастику, сварил на спиртовке кофе и стал просить своего товарища не валяться в постели.

— Смотрите на меня, коллега,— уговаривал он,— я работаю, и вы тоже принимайтесь. Мы будем соревноваться, и у нас создастся необходимая трудовая атмосфера!

Но при виде энергии и хлопотливости своего сожителя Игнатий позволил себе полениться дольше обыкновенного. Так оно и пошло с тех пор: все мелкие обязанности по хозяйству принял на себя Андрей; он вскакивал раньше товарища и, умываясь, подшучивал над ним. Иной раз он даже подавал ему в постель кофе и чертежи.

Андрей очень полюбил Игнатия. Он считал его человеком талантливым, но непрактичным, за которым нужны глаз и любящий уход. Когда им приносили из трактира обед, он лучшие куски отодвигал товарищу и умилялся на его аппетит. Поздно вечером, когда Игнатий продолжал в своем углу заниматься и керосиновая лампа съедала в комнате остатки воздуха, он не делал ему никакого замечания. Даже привычку Игнатия зудить лекции вслух он терпеливо сносил и только закладывал уши ватой.

В свою очередь Игнатий был в восторге от Андрея: он считал его идеальным товарищем. Чаще, чем раньше, стал он задумываться над свойствами своего характера и страдал, сравнивая себя с Андреем. В то время как тот всегда бодрился, был в отличном настроении и много работал,— он стал хандрить, сомневаться в самом себе и почти ничего не делать.

II

Однажды Андрей, вернувшись домой из университета, застал Игнатия еще в постели.

— Товарищ, как вам не стыдно! — накинулся он на своего сожителя.— Вы бы хоть солнца постыдились!

Посмотрите в окно, что за погода. Я нарочно дал крюку, чтоб прогуляться, а вот сейчас у меня и голова свежая и аппетит хороший.

— Ну и радуйтесь, а меня оставьте в покое,— огрызнулся Игнатий.

У него было потемневшее, напряженное лицо и злые глаза. Когда Андрей хотел пощупать его лоб, он с ненавистью отвернулся к стене и натянул одеяло по самые брови.

Андрей огорченно пожал плечами, вынул из портфеля книги, разложил их аккуратно на столе, сел к другому концу, накрытому салфеткой, и принялся было есть простывший борщ. Но тут он заметил возле прибора грубый синий конверт: такие письма получал он из дому; почерк на конверте был отцовский. Он бросил еду и принялся читать письмо. Прошло несколько минит в молчании; но вдруг Игнатий услыхал растерянные всхлипыванья и высунул голову из-под одеяла: его товарищ сидел, согнувшись, возле стола и плакал, прикрывая лицо руками. Игнатий вскочил с постели, подбежал к сожителю и участливо дотронулся до его руки.

— Ма... мамаша умерла,— заговорил сквозь слезы Андрей, кусая себе губы.— Отец не хотел писать, думал — обойдется. И на похороны не вызвали, чтоб не... не нарушать моего академического года. Очень тяжело, что все это так... сразу. Она у нас была бодренькая такая старушка!

Игнатий побежал за водой, напоил товарища, в одну секунду оделся и проявил так много душевного сочувствия, что Андрей расстроился пуще прежнего и со смягченной душой пустился рассказывать о своем прошлом. При воспоминании о письмах матери, о варенье, которое она для него варила, о варежках, которые она вязала, слезы так и сыпались у него по щекам. Потом оба друга, сближенные этой бедой, пошли вместе бродить по городу; поздно вечером Игнатий уложил своего товарища и хотя сам спать не хотел, но все-таки потушил лампу и лег, чтобы не прогонять сна у Андрея. На душе у него было очень хорошо и удовлетворенно; он подумал мельком:

«Я — вовсе не такой плохой и никуда негодный, каким кажусь самому себе».

На другое утро Игнатий проснулся раньше Андрея, тихонько оделся, чтоб его не разбудить, сбегал за калачами и успел, пока не встал его сожитель, прочитать двадцать страниц по истории искусства. Весь день он старался занимать Андрея, пошел с ним в кинематограф, рассказывал о своих путешествиях, и чувство довольства собою его не покидало.

Бедный Андрей выбился из колеи. Он обладал крайней склонностью задерживать горестные впечатления; рассеивать свою боль казалось ему святотатством. И вот порядок дня его был нарушен. Товарищ по утрам вскакивал раньше него, заваривал кофе и успевал сделать за день гораздо больше, чем он. Андрей в глубине души жестоко огорчался: экзамены приближались, а к ним еще ничего не было приготовлено. Вдобавок Игнатий постоянно его подбодрял и ему сочувствовал, и это мешало Андрею разделаться со своим унынием.

Как-то утром оба товарища вскочили с кровати в одно время, и оба сразу оделись. Перед умывальником они немножко поспорили, уступая друг другу очередь мыться, перед кофейником повторилась та же история, но обоим было весело и приятно соревноваться. Хотя это соревнованье и отняло у них лишние полчаса на бесплодные разговоры, однако оба товарища были довольны. До обеда они позанялись, потом прогулялись, а за обедом стали рассуждать о своих работах.

— Гляньте, как мы разлагаем художественное произведение,— сказал Игнатий, кладя перед своим другом чертежи собора Петра в Риме.— Вот по этой геометрии должны мы изучить все достоинства и недочеты здания, отделить мысли Браманте от Бернини и вообще понять структуру. Чем это хуже вашей лягушки?

Андрей взглянул на чертежи, как на китайскую азбуку, но с готовностью подхватил мысль Игнатия.

— Да, правда! Недаром древние говорили: «раздели и победи». Мы ведь тоже не столько понимаем, сколько побеждаем предмет! Заметьте, товарищ, что

даже в нашем научном познании лежнт борьба, а вовсе не согласованность.

Игнатий засмеялся и про себя с любовью подумал, как ему легко с таким умным и тонко мыслящим человеком, каков Андрей.

III

Одинаковое усердие двух друзей продолжалось недолго. Начать с того, что они мешали друг другу то возле умывальника, то возле спиртовки, за столом, за прогулкой, за лекциями. Повышенное настроение каждого из них не находило себе опоры в другом, не встречало ни противодействия, ни противочувствия и оттого не приносило внутреннего удовлетворения. Первым заметил это Игнатий. Сперва он забавлялся такой странностью, потом задумался и кончил тем, что вернулся к прежним привычкам — лежал по утрам, не убирал своего стола, киснул и ленился. Однако в лени его была какая-то предумышленность: он все приглядывался к чему-то, да выжидал, да думал так упорно, что молчание начинало тяготить Андрея.

Уже приблизились экзамены, снег стаял, назначили сессию для медиков. Бодрый, порозовевший, подтянувшийся Андрей успевал бегать в университет, учиться и ходить за Игнатием. Он, как женщина, приспособлялся к его слабостям, сносил их и приводил в систему. И характер его шлифовался о неровности в поведении товарища. Первый экзамен наступил и сошел блистательно. Рассказывая об этом Игнатию, Андрей вдруг заметил перемену в своем сожителе: тот казался обрюзгшим, постаревшим лет на пять и осунувшимся: лицо его не выражало ни сочувствия, ни зависти, а словно окаменело.

— Игнатий, да что с вами? — со страхом воскликнул он, забывая о себе.

— Нет, так, ничего. Продолжайте, пожалуйста!

— Голубчик, вы больны? Как это я раньше не заметил! — не слушая его, беспокоился Андрей.

Он чувствовал что-то похожее на стыд или страх.

Тогда Игнатий прошелся раза два по комнате, стал перед товарищем и заговорил:

— Андрей, только вы не слишком огорчайтесь. Мне кажется, есть вещи, которые нельзя человеку узнавать. А мы с вами подошли к одной такой вещи чересчур близко, и я ее узнал.

— Господи, да какая вещь? Уж не наговорил ли вам чего-нибудь этот дурак Филимонов? Вы — непростительно нервный человек, Игнатий!

— Никакого Филимонова я не видел. Но только я знаю теперь, что в мире нет даровщины. Все существует за счет другого. Понимаете вы, Андрей: все, что мы получаем,— это не из воздуха, не из материи, не из кассы, а от такого же существа, как мы. Кассы в мире не существует. Это мы друг друга обрабатываем. И когда кто-нибудь из нас получает, это значит, что от кого-то другого отнимается.

— Не понимаю ни бельмеса,— дрожащим голосом проговорил Андрей.

— Ага, не понимаете! Нет, вздор, понимаете, приятель! Понимаете вы, что когда вам плохо, мне хорошо? Чтоб один был счастлив, надо другому быть несчастливым! Когда один слагается в единицу, будьте уверены, что кто-нибудь другой разлагается. Это вы понимаете?

— Вы заразились наивным дарвинизмом, Игнатий. Борьба за существование...

— Мне наплевать, дарвинизмом или вампиризмом, или чем там хотите! — перебил его Игнатий в бешенстве.— Не воображайте, что от таких слов вы поумнеете. Дело в том, что элементы поедают друг друга. Физические, душевные, духовные элементы — всякие. В материи нет сознания, и она от этого не страдает. А мы... мы...

— Игнатий, родной, успокойтесь! Не создавайте себе призраков,— с отчаянием молил Андрей, хватая друга за руки.

— А мы любим друг друга и потому страдаем,— продолжал Игнатий упавшим голосом,— до того любим, что начинаем ненавидеть, чтобы не так страшно было поедать. Вот, будь вы женщиной, я до этого никогда бы не додумался. Женщина как-то так пристрои-

лась к нам с незаметностью: ты ее ешь снаружи, а она тебя внутри. Век проживешь и не заметишь. Но человек с человеком — это невыносимо, этого нельзя не узнать!

Андрей съежился на своем стуле, уронил книжку с только что помеченным в ней профессорским «весьма», подпер кулаком лицо, сразу ставшее маленьким и жалким, и ничего больше не говорил.

IV

Игнатий и Андрей разъехались. Оба вышли в люди: один строит дома, другой лечит больных. Но ни тот, ни другой не забыли последнего разговора и все ищут, каждый на свой лад, тайну людского сожительства, при котором все получали бы и никто ничего не терял.

1915

СТИХОТВОРЕНИЕ

С. В. Рахманинову

I

Дочке Петра Петровича, Русе (или Марусеньке), было четырнадцать лет. Она училась в театральной школе, и интересы ее сильно страдали от болезни отца. Ее отпустили на каникулы; Пономарев, учитель декламации, задал ей ужасно трудный урок; без папы ей ровно ничего не понять, а папа лежит, как египетская мумия, и ни о чем не заботится. Наконец, она не выдержала, пробралась к больному и уселась возле него на кровати.

Руся была до смешного похожа на отца, тоненькая, веснушчатая, длинноногая; только глаза у нее были большие и темные. Она ходила в косице, и на голове у нее красовался голубой бант.

— Папочка,— смиренно начала она, подложив свою руку ему под ладонь.— Дело в том, что Пономарев вздумал меня испытать. Он задал такой стих, такой стих, прямо-таки загадочный! Я пробовала его нараспев, вроде Игоря Северянина, но, наверное, это не годится. Как ты думаешь?

— Читай,— пробурчал Петр Петрович неопределенным голосом.

Руся покопошилась, покашляла и прочла:

В рощах карийских, любезных ловцам, таится пещера.
Стройные сосны кругом склонились ветвями и тенью.

Вход в нее заслонен, сквозь ветви, блестящим в
извивах,
Плющем, любовником скал и расселин. Звонкой дугою
С камня на камень сбегает, пробив глубокое русло,
Резвый ручей...
Тихо по роще густой, веселя ее, он виётся
Сладким журчаньем.

— Что за чушь,— удивился Петр Петрович,— откуда это?

Руся обиделась и покраснела.

— Странно, папа, как может быть чушь у Пушкина!

— Да разве это Пушкин?

— Конечно. Отрывок, написанный в тысяча восемьсот двадцать седьмом году. Пономарев говорит, что главная его прелесть в оборванных гекзаметрах шестой и восьмой строки.

— Ваш Пономарев чудачит, а вы ему в рот смотрите. Принеси сюда книгу, я сам прочитаю.

Руся обрадованно метнулась за книгой и приготовилась слушать отца. Она привыкла считать его чтение образцовым и обычно перенимала его интонацию и жесты. Но на этот раз она казалась разочарованной. Петр Петрович прочел стихи с листа, не задумываясь долго и не считая их достойными особенного усилия; он выскочил из размера, прочитав «плющóм» вместо «плющем» и «руслó» вместо «рýсло», и совсем огорчил дочь, выговорив «вьется» вместо «виётся».

— Папочка,— виновато сказала она, глядя на одеяло,— ты ставь ударенье на первом слоге, а не на втором. Плющем, русло... И потом, ты говоришь «вьется», а Пушкин написал «виётся», и непременно надо на *и* напирать, а то опять не будет размера...

Петр Петрович взбесился и захлопнул книгу.

— Ну, если ты лучше меня знаешь, в чем дело, зачем же приставать ко мне? Иди и зуди, как находишь нужным.

У Руси задрожала нижняя губа, и она вышла в столовую, где получила проборку от Юлии Федоровны за то, что не щадит больного отца. Пушкин остался у Петра Петровича и долгое время лежал в уголке на

кровати. Через час, однако, Петр Петрович раскрыл его, нашел «В рощах карийских», сказал себе «гм» и погрузился в чтение.

II

— Руся, иди скорей, тебя папа зовет, да смотри не противоречь ему! — крикнула Юлия Федоровна в детскую. Руся мигом помчалась к отцу. Петр Петрович был в настроении благодушном. Он насмешливо покосился на дочку и сказал:

— Ну, иди, слушай, профессор.

И, когда Руся уселась на краешек, прочел ей полным голосом, мерно, слегка поднимаясь к цезурам, точно к верхушкам волн:

В рощах карийских...

Прочитано было правильно, но монотонно и напыщенно. Руся поспешно произнесла: «Спасибо, папочка!» Петр Петрович нахохлился и опять уткнулся в книгу.

— Черт знает, что за стихи. Простота хуже воровства! И ведь чувствуется что-то такое, а как за него взяться — неизвестно.

Руся обрадовалась, что пришла минута откровенности:

— Именно, папочка. Я тебе с самого начала сказала. На вид они обыкновенные, а потом, чем дальше, тем трудней. Главное, знаешь, Пономарев сам их не захотел читать, а сказал, чтоб я поняла идею. Можешь ты себе представить, какая тут идея?

— Н-да, идея! Пейзаж и больше ничего. Погоди, давай вместе разберем, что там такое. Сперва выступает пещера. Что она делает? Она таится.

— Да, папочка, таится.— Лоб Руси сморщился, а глаза, не отрываясь, следили за губами отца.

— Так; значит, она неподвижна. Мы ее установим в центре. Что там еще? Сосны. Они что делают?

— «Стройные сосны кругом склонились ветвями и тенью»,— произнесла Руся.

— Сосны тоже спокойны, но они уже выказывают некоторое действие, не для себя только, а по отношению к пещере. Они склонились вокруг нее. Ты понимаешь, что я говорю?

— Отлично, папа! Значит, про сосны надо сказать оживленней, да?

— Вот именно. Теперь на сцену выходит третий герой, плющ. Он уже некоторым образом самостоятелен. Он не только склоняется, а прямо-таки заслоняет пещеру. Прочти, как там про него?

Руся прочла:

Вход в нее заслонен, сквозь ветви, блестящим в извивах,
Плющем, любовником скал и расселин.

— А почему,— спросила она,— «сквозь ветви, блестящим в извивах»?

— Да ведь сосны-то на переднем плане, а плющ обвивается вокруг самой пещеры. Где есть промежуток меж ветками, там он и просвечивает.

— Вижу, папа, вижу! — воскликнула Руся, засияв от удовольствия.— Я про плющ еще оживленней скажу, чем про сосны, и немножко капризным голосом. Ты подумай, ведь пещера не может никуда ни сдвинуться, ни шевельнуться; сосны могут шевелиться, но только верхушками и чуть-чуть; а плющ уже сам может ползать усиками,— куда растет, туда и ползет.

— Да, дитя мое, наши стихи становятся все живее. Движения все прибавляется. Теперь внимание! Кто у нас четвертое действующее лицо?

— Ручей! Он... погоди, я по книге прочту:

Звонкой дугою
С камня на камень сбегает, пробив глубокое русло,
Резвый ручей...
Тихо по роще густой, веселя ее, он виётся
Сладким журчаньем.

— Этот уж прямо выскакивает на нас. Тут надо так прочесть, точно он у тебя из рук вырвался и побежал.

— Так-то так, папа,— задумчиво ответила Руся,— да зачем сперва написано «звонкой дугой», а потом

«тихо по роще густой». Одно другому противоречит. Разве можно зараз и звонко и тихо?

Петр Петрович посмотрел в книгу, но потом, захлопнув ее, сказал дочке:

— Хорошенького понемножку. У меня уже затылок болит, а тебя мама обедать зовет. Приходи завтра утром.

Руся вздохнула, покорно поцеловала папу в небритую щеку и отправилась обедать.

III

— Ну-с,— сказал на другой день Петр Петрович, опершись на подушку,— где мы остановились?

— У ручья, папа,— ответила дочка. Она была в великом нетерпении, дрыгала ножками и, когда в спальню глянула мама, замахала на нее руками: уходи, мол, у нас с папой секреты. Мама сделала вид, что обиделась, и ушла.

— Ты спрашивала, почему сперва «звонко», а потом «тихо»? — начал Петр Петрович.— А дело-то просто. Откуда к нам сбегает ручей? По Пушкину выходит, что сверху. «Звонкой дугою с камня на камень сбегает»... Если б это по ровному месту, так чего ему сбегать с камня на камень?

— Да, папочка, тогда он бежал бы не с камня на камень, а по камешкам.

— Совершенно верно. Значит, ты выпусти его на слушателя с высоты,— с высоты твоего голоса, разумеется. Начни высоко, а потом все понижай:

Звонкой дугою
С камня на камень сбегает, пробив глубокое русло,
Резвый ручей.

Руся повторила стихи вслед за отцом, и вышло очень красиво. Потом она повторила еще раз, от себя, и взяла медленные, низкие ноты на словах «пробив глубокое русло».

— Это я, знаешь, почему? — объяснила она отцу.— Ручей так сильно с высоты бросился, что пробил себе сам глубокое русло. Это надо подчеркнуть!

— Подчеркивай,— согласился Петр Петрович.— Теперь заметь себе: звон был, когда он струйками сбегал сверху. Но вот он прибегает вниз, и звон прекращается:

Тихо по роще густой, веселя ее, он виётся
Сладким журчаньем.

— Ах, как хорошо, папа,— блаженно вздохнула Руся,— ты только обрати внимание на слова «веселя ее, он виётся». Это выходит, будто «её — виё», и мне представляется в виде восьмерки или завертушки. Как будто ручеек течет по ровному месту зигзагами, правда?

Петр Петрович кивнул, улыбаясь.

— И нужно тут понизить голос, но сделать его полней... Так. Больше удовлетворенности! Ну, повтори теперь все стихотворение сначала.

Руся встала, сложила руки и наизусть прочитала:

В рощах карийских, любезных ловцам, таится пещера.
Стройные сосны кругом склонились ветвями и тенью.
Вход в нее заслонен, сквозь ветви, блестящим в извивах,
Плющем, любовником скал и расселин. Звонкой дугою
С камня на камень сбегает, пробив глубокое русло,
Резвый ручей...
Тихо по роще густой, веселя ее, он виётся
Сладким журчаньем.

— Хорошо,— похвалил Петр Петрович, когда она кончила.

Но у Руси было, видимо, еще что-то на душе. Она подошла к кровати, худенькой рукой обняла своего тощего папу и погладила его по спине.

— Ну? — спросил он, позволяя себя гладить.

— А... идея? — тихонько сказала девочка, посматривая на него умоляюще.

— Посади свинюшку за стол...— многозначительно раздалось ей в ответ, и она смолкла.

— Ну, ладно,— решила Руся спустя некоторое время,— пусть про идею ты думай один, и я буду думать одна, а завтра мы друг другу признаемся, у кого лучше.

IV

Но оказалось, что врозь они оба ничего «про идею» выдумать не могли. Сперва открылся в этом Петр Петрович, а вслед за ним и Руся.

— Странное дело, папа,— сказала девочка,— без тебя я и так и сяк поворачиваю все слова, а ничего не выходит. А когда ты начинаешь говорить, и у меня являются свои мысли.

— Да ведь и мне без тебя туго,— признался отец,— разве это я один выдумываю? Это мы с тобой оба выдумываем, оттого оно и выходит. Лучшее, мой друг, чем наградил бог людей,— это способность брать и давать. Впрочем, тебе оно еще непонятно.

— Очень даже понятно! Напрасно ты так думаешь. Это как мы летом хотели с Сережей залезть на дерево и не могли. Тогда он мне подставил спину, и сперва я влезла, а потом я ему оттуда руку протянула — и он влез.

Петр Петрович улыбнулся умненькой своей дочке и велел принести Пушкина. Книга была раскрыта на «Рощах карийских», и оба приступили к извлечению идеи.

— Вернемся для начала к четырем главным персонам,— сказал Русе отец,— мы их с тобой маловато разобрали. Вот ты мне их и опиши по пальцам.

— Во-первых (Руся загнула указательный палец), пещера: она неподвижна и таится. Во-вторых (Руся загнула средний палец), сосны: они склонились кругом пещеры. В-третьих (Руся загнула четвертый палец), плющ: он обвился снаружи пещеры и заслоняет ее. В-четвертых (Руся загнула мизинчик), ручей: он сперва звонко сбегает сверху, а потом разливается по всей роще и успокаивается.

— Гм. Ну, а кто из них тебе больше нравится?

Руся думала некоторое время.

— Знаешь, папа, мне они все нравятся. Мне нравится, что плющ закрывает пещеру, сосны наклоняются, а пещера таится. Мне ручей тоже нравится, потому что он сперва нашумел, сделал себе русло, а

потом угомонился и потек. Сказать даже по правде, так больше всего нравится пещера.

— Иными словами, тебе нравятся действия наших героев. И ты, мой дружок, права, потому что в действии открывается связь. Ежели оно есть, значит, и связь есть. А найдем связь, найдем и целое. Пещера же тебе потому нравится, что в ней-то, может быть, наша идея и зарыта.

— Почему ж именно в ней зарыта?

— А потому, что всех остальных мы видим и знаем, что они делают. А про пещеру ничего не знаем, кроме того, что она таится.

— Фу, папа, замолчи, ты мне на нервы действуешь! — Руся схватила отца за шею, делая испуганные глаза.

Но Петр Петрович был охвачен охотничьей горячкой. Он укоризненно поглядел на Русю и задал ей новый вопрос:

— А чем, по-твоему, пещера отличается от ручейка, сосны и плюща? Почему, например, ручью не таиться, или сосне, или плющу?

— Дай подумать,— ответила Руся.— Почему ручью нельзя таиться? Потому что он должен выбежать! А сосны должны расти! А плющ должен обвиваться. Как же их спрятать, когда ихняя обязанность вылезти!

— Правильно! Цель пещеры — сохранить глубину, оттого она и таится; цель сосен и плюща — вырасти, оттого они и разворачиваются. Если мы развернем пещеру, это будет уже не пещера, а плоскость; если мы свернем сосны и плющ, мы их лишим жизни. Видишь ли, у них не одинаковая жизненная задача. Сила одного в сворачиванье, сила другого в разворачиванье.

Петр Петрович взял кусок одеяла и наглядно продемонстрировал это Русе.

— Ну, положим,— неохотно согласилась Руся,— тогда зачем же Пушкин их вместе посадил, какая связь?

— Значит, они друг другу необходимы. Ведь тебе, например, нужна душа, но руки и язычок тоже нужны, и пятки нужны. И будет весьма печально, если твоя

душа в пятки уйдет или станет болтаться на кончике языка...

— Смейся, смейся,— торжественно произнесла Руся,— а я тебя сейчас осрамлю.

— Сделай милость, осрами.

— И осрамлю! Ты забыл про ручей! По-моему, пещера — это глубина, сосны и плющ — это снаружи, а ручей — это жизнь, и в нем-то и зарыта идея!

— Скажите на милость, как мы зафилософствовали.

— А ты выслушай. Откуда ручей сбегает?

— Сверху.

— Сверху-то сверху, но и из глубины, потому что мы не видим, откуда. И он устремляется изо всех сил к н а р у ж и. Он долбит, долбит и пробивает себе г л у б о к о е русло...

Тут Руся запнулась, а Петр Петрович докончил за нее:

— И, «пробив глубокое русло, тихо по роще густой, веселя ее, он виётся». Ты хочешь сказать, он опять создает глубину, свою глубину, и в этом и заключается цель жизни?

— Нет, не то, а я хотела сказать, что он связывает и «внутри» и «снаружи». Понимаешь,— пещера таится, сосны вылезают, а ручей сразу и то и другое, он и вылезает и вместе с тем роет себе глубину.

Петр Петрович провел по щеке Руси тонкой рукою:

— Вот видишь, мой друг, три ясных образа, да еще идея о жизни в придачу. Довольно с тебя?

— А ты, папа, сказал, что «чушь». Помнишь? — Руся прикорнула к отцу и задержала его руку своею.

— Да,— ответил Петр Петрович,— это потому, что тогда у нас с тобой еще не было главного, без чего и стихотворение темно, и жизнь темна, и собственные дела — потемки.

— А чего?

— Опыта, мой дружок. Только не так, как понимают его кумушки и ученые!

1915

КОРИНФСКИЙ КАНАЛ

I

Что такое небольшой греческий пароход, об этом многие русские получили наглядное представление, когда первая мировая война загнала их на самый кончик изящного итальянского башмачка — в Бриндизи. Подобно извозчичьей кляче доживает он свой час в постоянных рейсах туда и сюда, заползая чуть ли не в каждую гавань, чтоб отдышаться и отхаркаться. Скрипящий, прокопченный, грязный, с гниющими половицами, с расшатанными ступеньками в каюту, с капитаном, ревущим, как матрос, с запахом дегтя и бараньего сала (нестерпимая смесь) и, наконец, с неизменным намерением буфетчика звонить к табльдоту в часы самой отчаянной качки,— ждет такой пароход своих мучеников и медленно волочит их через Архипелаг.

Спустя три месяца по возникновении войны точь-в-точь такой пароход ранним утром полз вдоль пустынных берегов Греции, немилосердно чадя и горячо дыша в пронзительной, почти морозной прозрачности утра. Время действия — обостряло чувство современности; место действия — заставляло вспоминать античные учебники; над пассажирами висела война, перед ними уходили в облака смутные облыселые очертания Олимпа; а тем не менее никто из собравшихся на палубе не

думал ни о современном, ни о прошлом. Каждый продолжал думать только о своем собственном,— в этом-то и заключается главная особенность людей, именуемых обывателями.

Капитан, толстый и краснолицый, беседовал с новым палубным пассажиром, принятым на пароход ночью. Палубный пассажир сидел в эффектной позе на связке каната, прикрытой брезентом, и позволял со стороны наблюдать прямую линию своего лба и носа. Это был греческий князь, возвращавшийся с охоты в Афины. Два его рослых помощника резвешивали на проходе подстреленную князем дичь: козулю, десятка два глухарей, да еще какую-то серо-бурую зверюшку, отдаленно похожую на нашего зайца. Князь был в грязи с головы до ног; охотничий костюм сидел на нем не без грации. Но, когда он встал и снял фуражку, очарование исчезло: маленькая фигура с ногами, далеко не длинными, чтобы не сказать короткими, и мирная плешь на небольшой овальной голове — вот все, что осталось от сидевшего Антиноя.

Наблюдение со стороны (в лорнетку и парой невооруженных серо-голубых глаз) тотчас же прекратилось. Рука, державшая лорнетку, упала на колени; серо-голубые глаза устремились с князя на эту руку (справедливость требует отметить — очень красивую).

— Вы тоже не хотите смотреть? — спросил обладатель серо-голубых глаз, мужчина с загорелым бритым лицом того счастливого типа, что придает людям во всяком возрасте мальчишескую моложавость.

— Не хочу,— улыбаясь, ответила девушка с лорнеткой.

Нам с вами, читатель, оба собеседника, сколько их ни описывай, кажутся самыми обыкновенными людьми. Но счастливый взгляд, каким они сопровождают каждое свое слово, расцветающая улыбка, похожая на незакатное внутреннее сиянье и не переходящая никогда в смех, делают их необычайными друг для друга. Любовь коснулась их кончиком волшебной палочки, и обыденная шелуха засияла чистейшим золотом. Бог знает, наколдовывает ли любовь это золото, или она обнаруживает в людях его несомненное присутствие,

но только оба сидящие сейчас на палубе человека очень резко отличаются от всех своих соседей. Они тихи и углублены в себя. Движения их скованы тончайшей и заразительной негой. Взгляд выказывает то удесятеренное, проникновенное внимание, которое достается в удел только гению да влюбленности.

— Хотел бы я знать, куда делась эта раса,— произнес мужчина, снова поглядывая на князя,—неужели они воплотили формальный идеал a contrario[1], исходя из таких вот низкорослых уродцев? Впрочем, я говорю вздор.

— Разумеется, вздор. Разве мог быть Гектор или Ахилл чем-нибудь вроде этого? — ответила девушка, быстро усваивая направление мыслей мужчины и тотчас же хватаясь за него, как за свое собственное. Он ответил ей благодарным взглядом.

Но сказка сказывалась бы очень скоро, если б все дело заключалось только в двух влюбленных и в их болтовне. На самом деле, кроме них, на палубе были еще люди: три дамы и два мальчика-подростка, с синими от холода носами и синими голыми коленками, обнаженными благодаря английской системе воспитанья. Все они, сбившись в кучу, делали вид, что рассматривают пустынные и дикие в своем помертвелом одиночестве горы Греции, а на самом деле, разумеется, только «соглядатайствовали».

Самая старая, горбоносая, с бородавками на щеках, произнесла:

— Бесподобно красиво! Как подумать, бедная Елизавета Павловна спит, когда мы проезжаем Парнас или как его, где живут грецкие боги?

— Мама, греческие боги,— с негодованием поправил один из подростков.

— Разве? Не понимаю, говорят же: грецкие орехи. Ну, все равно, Стасик, иди сию минуту вниз и разбуди Елизавету Павловну. Скажи, чтобы она непременно, непременно пришла полюбоваться!

Подросток с шумом повернулся и загромыхал вниз по лестнице, неистово стуча башмаками, подбитыми

---

[1] в виде контраста, как противоположность (*лат.*).

юнцами. Все три дамы переглянулись, безмолвно предвкушая удовольствие. Второй подросток, усмотрев некоторое послабление себе в смягченном выражении их лиц, бочком отошел от них и присоединился к группе матросов, усердно плевавших и куривших на самом грязном конце палубы.

Постороннему человеку при взгляде на наших трех дам показалось бы, что они собираются сделать доброе дело, так мягко сияли их пожилые лица, обтянутые морщинами и уютно припудренные. Губы их, молчаливо выражавшие что-то общее, видимо представлявшееся им мысленно, собрались в добродушные, улыбчивые бантики. Глаза смотрели задушевно.

Доброе дело, которое они собирались сделать, требовало, однако, затраты еще некоторой дозы их драгоценной энергии. Стасик пришел один и, запыхавшись, донес:

— Мамочка, Елизавета Павловна кормит маленького. Она говорит, что маленький наверху может простудиться. Она говорит, что если только тетя Катя даст свою шаль...

Тетя Катя была младшей из трех дам, принадлежавших к тому возрасту, когда искренно сожалеешь всех замужних женщин и любишь утверждать, что не вышла замуж «из принципа». Она тотчас же сбросила шаль с плеч и протянула ее Стасику.

Эти маневры остались незамеченными двумя собеседниками. Шум парохода заглушал слова, а свежий морской ветер, «моряк», как любовно называют его матросы, дул прямо в рот разговаривающим. Оттого они слегка наклонились друг к другу, и мужчина положил руку на скамейку рядом со стройной спиною девушки, впрочем сидевшей очень прямо, не касаясь этой руки. Но все же она чувствовала эту руку и исходившую из нее нежность. Щеки ее, овеянные трепещущими, развившимися прядями темных волос, слегка побледнели. Он говорил: «посмотрите на это» или: «посмотрите-ка сюда», но в тоне его неизменно слышалось: «милая». Они были близки к той стадии бессмысленности, когда человек готов говорить, что взбредет на язык, ибо чувство уже делает свое дело за него,

независимо ни от каких внешних пособников — речи или взгляда. Две кошки, одновременно без спросу лакающие из молочной крынки, должны были бы по молчаливому соглашению чувствовать нечто подобное, если б только умели сознавать свои чувства.

Как раз в это время доброе дело трех дам вознаградилось полным успехом. Из трюма сперва выглянула озабоченная голова Стасика, тотчас же заметившего своего брата вдалеке с матросами и юркнувшего немедленно туда же. Вслед за ним — тяжело закутанная немолодая женщина, с нервическим и довольно неприятным лицом, державшая на руках грудного ребенка.

— В чем дело? — спросила она далеко не ласково.

— Голубушка моя,— ответила горбоносая дама, прибавив к этому обращению, вместо главного и придаточного предложения, только один взгляд, исполненный торжественности. Взгляд этот направлен был на разговаривающих мужчину и девушку.

Те сидели спиной к ним. Ни слышать, ни видеть происходившего они не могли. Тем не менее, по какому-то нервному предчувствию, мужчина обернулся, и девушка почувствовала, как рука, источавшая на нее тепло и нежность, вдруг стала совсем безразличной. Она вскинула на своего соседа два фиалковых, углубленных синевою, глаза и тотчас же опустила ресницы. Сосед ее с видом натянутой беспечности и неосознанного еще, но сильного внутреннего протеста, достал свой портсигар и выискивал в нем чересчур внимательно папиросу. Женщина с ребенком неторопливо подходила к ним обоим, подошла и села на ту же скамейку. Группа наблюдающих дам придвинулась ближе.

Молчание первым нарушил мужчина:

— Ты так крепко спала, Лиза, что я тебя постеснялся будить.

— Ну еще бы,— ответила женщина.

Она не сказала ничего больше, и в тоне, каким были произнесены эти слова, не слышалось ни вызова, ни насмешки. Тем не менее никто не рискнул больше произнести ни слова. Всем троим было отвратительно на душе: точно естественное течение их воли коснулось,

как луч солнечный, чужой среды, в которой волей-неволей преломилось и должно было идти в другую сторону. Первой сдалась девушка; она пробормотала что-то вроде:

— Пойду оденусь потеплее,— и, медленно встав со скамейки, поплелась к лестнице. Ей казалось, что движение ног, складки юбки, разжатые ладони — все выдает трехчасовое, утомительно нежное пребывание с любимым человеком. Она испытывала почти невыносимый стыд. Проходя мимо трех наблюдающих дам, она инстинктивно сжала пальцы в кулаки.

— Куда это вы, Верочка? — крикнула ей преувеличенно громко тетя Катя.

— В каюту за пледом,— ответила девушка. Она спустилась вниз, в пустую каюту, заперла дверь на задвижку, села на постель, покачала головой и вдруг уткнулась лицом в подушку.

Вера была не умная и не глупая, а просто девушка, подобная миллиону других. Она влюбилась, как влюбляются, когда приходит пора влюбиться. Это было естественно и просто, подобно вскипанью пены на вот этих зеленых волнах, бьющих в окно каюты.

Влюбленность девичья — совсем безобидная вещь. Верочка не испытывала ни боли, ни страсти, а просто, как губка, вбирала в себя чужую нежность и расцветала в ней. Она старалась быть ближе к ее источнику. Удаляясь, она звала на помощь воспоминанье и, закрывая глаза, мечтала — в тысячу .первый раз — о том, что и как произошло во время встречи. Он посмотрел, он сказал, он улыбнулся, у него дрогнули губы, она посмотрела, она ответила — и так до бесконечности. Несложные действия всегда прицепляли к себе кусочек ландшафта — синее, волнистое, долгое, как волны гекзаметра, море, пустынные берега Греции, рыжая труба парохода, острый соленый запах, мягкий говор матросов-греков, лай чаек, гуденье парового котла внизу, словно неумолчные перебои чьего-то сердца,— все примешивалось к воспоминанию, индивидуализировало его и делало особенным. Вера была убеждена, что это — ее судьба, выдуманная специально для нее.

Но, если так,— почему все останавливается поперек горла? Приходит гнусное чувство виноватости, потаенности, укрывательства, она теряет мечту и внезапно окунается в пошлость, каждая тварь на пароходе гнусно вмешивается в ее переживанье, ей не дают ни чувствовать, ни мечтать... Разве влюбляются по заказу? Кто виноват в том, что оба они полюбили друг друга? Естественное переходит в постыдное только потому, что между ними стоит недобрая чужая женщина, Елизавета Павловна, его жена.

II

Тот, кого она полюбила, Константин Михайлович, думал наверху не менее унылые думы. Как мужчина, он склонен был прежде всего обобщать, и потому ход его мыслей очень скоро оторвался от биографических частностей и перешел на социальную почву.

«У мусульман,— думал он с пылом реформатора,— у мусульман самый чистый взгляд на брак. Я не могу всю жизнь загораться от одной и той же женщины. Это... это нелепость. Это, честное слово, требует каждый раз новой женщины, как новой спички. Почему же меня, свободное существо, заставляют изо дня в день чиркать обгорелой спичкой, когда это все равно бесполезно? И почему, если я снова загорелся, я чувствую себя идиотски виноватым и считаю долгом притворяться? Фу, какая глупость!»

Чувство собственной правоты возбудило его до такой степени, что он расхрабрился. Он посмотрел на невзрачную женщину возле (ибо разлюбленная женщина всегда невзрачна) и угрожающим шепотом произнес

— Не дури, Лиза. Тебя никто не просит расстраиваться. Что происходит, то происходит, и в этом, милая моя, я столько же виноват, сколько вот эти горы.

— По крайней мере не оправдывайся,— с ненавистью ответила жена.

— Не к чему оправдываться, я и без того прав,— почти весело сказал муж Он вдруг почувствовал себя перед открытой лазейкой· говорить все напрямик и де-

...по-своему,— чего там еще! Естественное направление воли снова победило в нем, и все на свете представилось очень легким.— Я прав! — повторил он еще убежденней.— Я тебя лично ни в чем не насилую и открываю свои карты: ну вот, гляди. Влюблен, влюблен и влюблен. Успокоилась?

— Отлично. А дальше что?

— Дальше пока ничего. Сделай милость, не порти себе молоко и не вмешивайся. (Он смягчился от облегчения и захотел сделать уступку.) Я тебя, милая, настолько уважаю и ценю...

— Мерзавец! — вскрикнула она.— Мерзавец, ты даже сам себе не представляешь, до чего ты противен. Лучше молчи и не изворачивайся. По крайней мере за тебя не так стыдно будет.

Ребенок, разбуженный криком матери, проснулся и залился скрипучим, пронзительным плачем. Она машинально расстегнула жакетку, потом блузку и лифчик и спустила с плеча разорванную, обшитую шитьем рубашку. Муж увидел, как она выбросила поверх нее худую, обвислую грудь, без малейшего стыда и кокетства, и принялась кормить ребенка. Ему почудилось в этом сознание непреодолимой силы.

Так мог поступать только человек, за которым стояли закон, право и нравственность. Он почувствовал себя снова сбитым с пути, жалким, виноватым. Легкость исчезла, и все опять сделалось дьявольски трудным. Придется удрать куда-нибудь в сторону, лгать, притворяться, ко всякой радости примешивать искажающее ее чувство вины...

Точно отвечая на его мысли, жена произнесла уже спокойным и тихим голосом:

— Я тебя вижу насквозь. Тебе мало пакостить, ты еще хочешь чувствовать себя правым. Ошибаешься, этого ты не дождешься, пока я не умру и не умрет наш Толя. Слышишь?

Константин Михайлович слышал. Он чувствовал в голосе жены, матовом от наружного спокойствия, отчетливую и прочную ненависть. Странно, что человек, искренно его ненавидевший, всеми силами цеплялся за связь с ним и отстаивал ее, как нечто необходимое и

священное. Еще страннее, что он в конце концов этому подчиняется или подчинится. Ему захотелось сбежать с этого парохода на шлюпке куда-нибудь в опустелые греческие рощи и начать жить сначала.

Три дамы, прекрасно слышавшие последствие своего доброго дела (ветер донес до них даже «мерзавца»), успокоились. Но вдруг тетя Катя, только что занимавшаяся сучком в глазу ближнего своего, взвизгнула и вопросила:

— Милые мои, где же Стасик и Казик?

Оба подростка сидели на грязных бочонках рядом с матросами и объяснялись с ними на международно-корабельном языке. Считая, должно быть, всякую неправильность речи основною грамматикой этого языка, они говорили им с воодушевлением:

— Твой не будет воевать, а мой будет!

Один из матросов счел долгом засмеяться, повертеть в воздухе рукой и щелкнуть пальцами. В эту минуту раздались угрожающие крики:

— Казик! Стасик!

Мальчики подошли один за другим к матери.

— Как вы смели без позволенья?

— Мама,— вступился Стасик,— если б ты видела,— они татуированные. А что они рассказывают!

— Сейчас будет Коринфский канал! Тут на постройке сорок тысяч рабочих погибло! — закричал Казик, поддерживая брата и делая самое «наивное» свое лицо.

— Что за канал? — умиротворяясь, спросила мать.

— Коринфский, мамочка!

Подошел толстый, красный капитан и на ломаном французском языке объяснил, что действительно сейчас будет Коринфский канал, замечательнейшее сооружение Греции,— «энорм э жигантеск» [1]. Весь перешеек прорыт с одного конца до другого. Стены почти вертикальны. Множество рабочих погибло. Укоротило путь намного. Настоящее золото для пароходного сообщения!..

---

[1] *Энорм э жигантеск (énorme et gigantesque)* — грандиозное и гигантское *(франц.)*.

Дамы вооружили глаза кто чем мог. Из каюты появилась бледная Верочка с пледом на плечах и с несомненными следами пудры возле носа. Подростки забегали по палубе, как безумные, крича по адресу неосведомленных: «Коринфский канал! Коринфский канал!» Греческий князь, снова принявший пластическую позу, с улыбкой хозяина поглядывал вперед.

Пароход пошел тише; биение его сердца под палубой как будто замедлилось. Узенькие каменные ворота, с голубым просветом вдали, открылись перед ним, и вот он поплыл по аллее, справа и слева окаймленной почти отвесными каменными стенами. Внизу вода была тише, темней и молчаливей, как в заводи. Чайки исчезли. Наверху синело безоблачное небо. Все примолкли и с интересом разглядывали отвесные бока канала.

— Ай, человек! — закричал вдруг Стасик.

И в самом деле, на головокружительной высоте, над ними, прямо на стене, как муха, висел человек и орудовал молотком.

— Он держится особыми железными клешнями,— объяснил капитан и показал рукой на ноги. Пассажиры увидели в сплошной высокой стене отверстия, похожие на звериные норки, а на ногах рабочего железные острия, которые он втыкал в эти отверстия; за кожаный ремень его держала цепь, свисавшая откуда-то сверху.

— Новейший Прометей,— произнес Константин Михайлович.

— Скажите, капитан, он не может свалиться? — спросила Верочка.

— Если только цепь снимет. Но он этого не сделает.

...Тихо-тихо прошел пароход мимо работающего человека. А там дальше висели еще две мухи и ремонтировали каменные ребра канала. Минуты текли, аллея сузилась сзади, как и спереди, и все еще казалась бесконечной, но уже с двух сторон. Вот над ними, с одной стены канала на другую, вознесся мостик. Воздушный контур его сперва показался в профиль, а потом сник. На мосту стоял человек с флагом и отсалютовал им в знак благополучия. Они двигались и двигались.

— Глядите,— раздался вдруг взволнованный голос Казика,— вон стоит новый человек и без цепи!

Действительно, вдалеке держался на стене работник, откинув голову кверху. Цепи на нем не было.

— Что-нибудь понадобилось ему сверху. Сейчас ее спустят,— сказал капитан.

— Он зашевелился. Глядите, глядите, он сейчас свалится!..— не без восторга информировал Казик. Капитан улыбнулся. Дамы глядели. И вдруг случилось непонятное и недопустимое событие: рабочий, как тяжелая капля, сорвался с места своего притяжения и капнул в канал. Это длилось секунду. Падая, он не задел за стену. Видно было, как в падении он очертил дугу, сперва пролетев головой, а потом грузно свиснув вниз ногами.

— Клешни! Отцепи клешни! — заревел капитан по-гречески. Дамы начали кричать на полсекунды позже, заглушив его голос своим визгом.

— Он погиб, если не догадается сбросить железо,— глухо сказал капитан по-французски и добавил по-гречески матросам: — Спустите шлюпку!

Те уже делали свое дело, не дожидаясь его приказа. Дюжина рук молчаливо работала. Видеть, как по сумрачной глади канала пошли круги от канувшего в нее человека, и бездействовать,— было мучительно. Верочка с ужасом, отчасти преувеличенным ее собственным переживанием, схватилась за виски. Константин Михайлович между тем был обуреваем мыслями и чувствами, столь молниеносно-торопливыми, что он не успевал отдать себе в них отчета. Ни одна не доходила до ясности, не додумывалась, но в смутном и неопределенном наплыве их Константину Михайловичу мерещился все же только один смысл. Прежде чем спустили лодку, он вдруг сбросил пальто и пиджак, подбежал к борту и перекинул через него ногу.

Тут, мой читатель, вы, разумеется, подумаете, что герой этого рассказа спасет рабочего, или погибнет с влюбленной Верочкой, или по крайней мере хлебнет темнозеленой воды канала. Но... в том-то и дело, что читатель ошибется по всем пунктам.

Мы оставили Константина Михайловича с ногой, перекинутой через борт. Что же делали в это время другие действующие лица? Елизавета Павловна продол-

чала кормить маленького. Она видела падение рабочего и жест своего мужа, но, зная свое бессилие, осталась спокойной: ей надо было сделать свое дело — накормить ребенка, и она кормила его, закрыв глаза. Верочка мельком убедилась в этом чудовищном спокойствии, и оно погубило ее. В глубине души она не испытывала особенного ужаса; любовь не была ощутительна так, как утром, когда за любовь говорила эмоция; ничто не могло бы толкнуть ее на слишком возбужденный поступок, если б некоторая взвинченность, присущая людям именно в те минуты, когда они чувствуют слабее и бледнее прежнего, не охватила ее воображения. Слабо вскрикнув, с оттенком театральности, она бросилась к Константину Михайловичу и судорожно уцепилась за его плечо.

В ту же минуту ей стало ясно, что она совершила ошибку. И оттого она вскрикнула вторично, на этот раз уже с неподдельным отчаянием.

— Не беспокойтесь,— сказал капитан, подходя к ним и показывая куда-то пальцем,— он сбросил железо и уже фыркает, как собака. Вон он плывет,— сейчас его подберут в лодку.

Константин Михайлович и Верочка остались вдвоем у борта и поглядели друг на друга. Каждый из них испытывал такое чувство, как если б, имея только целковый, съел в ресторане на пять рублей. Это была унизительнейшая минута расплаты. Оба они перехватили! Он перехватил, когда ринулся за борт. Она перехватила, когда бросилась к нему. То и другое унижало их своей неестественностью. Они рылись, рылись из всех сил, если не по карманам, то в сердцах, чтоб найти, наскрести там еще немного любви, чтобы набрать хоть необходимой мелочи. Но эмоция спряталась, нежности не было, и между ними повеяло холодком незнания друг друга. В сущности кто он ей и кто она ему? В ее крике почудился ему совсем чужой и неизвестный человек.

Но ни тот, ни другая не имели мужества сознаться в своих чувствах. Они продолжали лгать.

— Милая, вы так испугались за меня?

— О, как вы могли!

Это звучало в полном соответствии с минутой и обстановкой. Но последняя лишняя трата окончательно перегрузила их маленькую наличность, и любовь,— еще утром казавшаяся стихийной,— объявила банкротство. Ей уже было неловко, ему уже хотелось быть поближе к спокойной Елизавете Павловне,— и вся история начинала казаться отяготительной.

Здесь и конец моей сказке. Пароход вышел из Коринфского канала и задымил дальше, везя наших героев к далекой родине, к событиям, газетным и действительным, к тому, что принято называть «мировым» и что на самом деле, если поглядеть в корень,— не так уж далеко ушло от описанной мною маленькой «частности».

1919

ТЕМНАЯ КОМНАТА

На местах случайных ночевок, где-нибудь в гостинице, в столовой у знакомых, на вокзале между двумя поездами,— вы даже не оборачиваетесь вокруг своей оси, и, закрыв глаза, вряд ли смогли бы в точности представить себе окружающую вас комнату.

Точь-в-точь так поступил и господин с чемоданом, только что вошедший в помещение, именуемое номером.

Это был именно только «номер», воспроизводивший, без вдохновенья и новизны, бесчисленных своих соседей: то же длинное стенное зеркало, диван и два кресла вокруг нелепого стола; те же ширмочка, отделяющая кровать, умывальник и рваный коврик на полу. В окно, раскрытое на юг, лились лучи солнца, и узкие, в трубку свернутые листья миндального дерева качались над самым подоконником. В пролете окна синело такое синее, такое густое небо, словно его раз двадцать просушивали и снова покрывали краской. Господин с чемоданом бросил шляпу на диван, а чемодан, казавшийся подозрительно легким,— на стол. Сам же с видом человека, вовсе не заинтересованного окружающей обстановкой, ни на что не глядя, опустился в кресло.

День за окном потухал, и небо постепенно разжижалось. Наступил час, когда ветер в приморских городах на миг затихает и деревья делаются неподвижными. Слабое колыхание миндальных веток остановилось, солнечные лучи пошли косыми, красноватыми полосами

куда-то в сторону, а новый постоялец все сидел, не поднимая взгляда. Наконец, он достал из внутреннего кармана уже распечатанный конверт, вынул бумажку и перечитал ее необыкновенно медленно, буква за буквой, несколько раз.

Пока он читает, мы его разглядим. Это — сильный и крупный мужчина с немного плоским затылком, какие бывают у младенцев, «отлеживающих» себе голову. Все его лицевые конечности сильно развиты в профиль: нос, губы, подбородок, надбровные холмики — резко выдвинуты вперед; белые, безволосые руки розовеют и расплющиваются к ладоням, подобно телу ползущей улитки. Во всем его облике смесь чувственности и стремительности; только грустный большой лоб с ясными и строгими линиями облагораживает, подобно фронтону, эту слишком массивную постройку.

Человек, остающийся наедине, выражением лица всегда выдает себя. Господин, сидящий в кресле, кажется похудевшим от охватившей его на свободе влюбленности. Рот принял немного нецеломудренное выражение: нижняя губа выпятилась, верхняя приподнялась, обнажая здоровые красные десна. В серых глазах, устремленных на бумагу, тот пепельный, белесоватый налет, какой характеризует собою уже забывшегося человека.

Внезапный скрип двери — и охваченное страстью лицо превратилось в маску. Подобрав губы и скомкав письмо, он вскочил с места.

— Что такое? Кто там?

В комнату заглянул растрепанный коридорный мальчик.

— Барин, это вы звонили?

— И не думал,— раздраженно ответил мужчина.— Впрочем, постой, я сейчас ухожу и вернусь поздно. Ключ кому оставить?

— Внизу, у барышни, только наперед пожалуйте паспорт.

Господин тотчас же вынул паспорт, из того самого кармана, где было письмо, отдал его мальчику, а сам, надев шляпу глубоко на глаза, вышел из номера и вплоть до конторки, где восседала барышня, шел очень

быстро и как будто даже с предосторожностями, чтоб никого по дороге не встретить.

Он вернулся в двенадцатом часу ночи, получил обратно свой ключ и поднялся к себе наверх с не меньшею осторожностью, нежели прежде. Дыхание его выдавало, что он плотно поел пряных местных блюд, сдобренных помидором и перцем, и запил их вином. Войдя к себе, он зажег электричество, вынул часы с цепочкой и положил их на стул, циферблатом наружу. Они показывали четверть двенадцатого. Затем он прошелся раза два по комнате и заглянул в умывальник,— воды там оказалось на самом донышке. Тогда незнакомец принялся искать звонок, но, не найдя его, вышел в коридор.

По мудрой провинциальной манере, еще не совсем исчезнувшей, звонок в гостинице устроен был с наружной стороны, в коридоре, и должен был обслуживать несколько номеров. Господин позвонил и на пороге своего номера стал ждать появления мальчишки. Босые ноги мягко затопали по лестнице.

— Послушай, принеси мне побольше воды в умывальник,— сказал он из своего прикрытия.

Вода была принесена, и умывальник наполнен доверху. Тогда наш незнакомец старательно запер дверь на ключ, снова взглянул на часы и подошел к окну.

Ночь была чернее воды в колодце. Дул с перерывами сухой, горячий норд-ост, засыпая подоконник пылью и нагоняя на крутое небо, кой-где еще поблескивавшее звездами, сплошные черные тучи. Клубы их расползались, как дым, и от их заволакивания внизу, на земле, становилось еще темнее и душнее. Господин захлопнул окно, закрыл его плотными ставнями и задернул ковровою шторой с поспешностью человека, имеющего перед собой определенное дело.

Чемодан стоял на столе. Это был крохотный чемодан русского изделия, брюхатый, с непрочной жестяной застежкой, видимо купленный на скорую руку. Господин щелкнул замком, приподнял ремни, и обе его половинки легко, словно чешуйки лопнувшего боба, упали направо и налево, обнажив почти пустую сердцевину. Там лежала свернутая в трубку смена белья, бутылка

одеколона, просочившегося на дно и запачкавшего белье желтыми, остро пахнущими пятнами, мыло, зубная щетка и кое-какие нехитрые принадлежности мужского туалета.

Все время поглядывая на часы, мигавшие ему своими ресницами-стрелками, господин стал раздеваться. Мы наблюдаем за его туалетом, не вдаваясь в слишком большую нескромность. Скажем только, что, когда очередь дошла до мытья, незнакомец не удовольствовался тоненькой, ежеминутно прядавшей струйкой, а, закрыв проточное отверстие, напустил в таз целое ведро воды и полоскался в нем, как утка, фыркая, чмокая и отдуваясь с наслаждением возбужденного человека. Потом он вытер лицо и грудь мохнатым полотенцем и, налив на ладони одеколону, растер им все тело. Потом он сполоснул и вычистил зубы, обвел ногти костяной щеточкой, пригладил мокрые волосы и, расстегнув белье, спустил с себя все на пол. Наблюдая за ним и теперь, по обязанности автора, я не могу не отметить, что это мужчина поджарый и крепкий, из беклиновской [1] породы волосатых существ, с цепкими, но совершенно безволосыми конечностями, странно противоречащими мохнатой груди. Он со вкусом и очень медленно начал одеванье, сперва пустив в ход чистые носки, потом достав, вместо запыленных дорожных башмаков, щегольские ночные туфли на мягкой подошве.

Нет нужды прослеживать за ним далее. Скажу только, что, когда стрелки на часах приблизились к без четверти двенадцать, незнакомец накидывал на себя мягкий фланелевый халат. И как раз в это время скверная электрическая лампочка, слабо горевшая наверху с красноватым оттенком, вдруг начала медленно-медленно угасать.

Незнакомец только что собрался поглядеть на себя в зеркало. Он был в несомненном волнении,— черты лица обтянулись у него, как в лихорадке, мускулы напряглись, глаза углубились и удивительно похорошели. Увядание света на потолке раздосадовало его. Он поднял голову наверх и нетерпеливо уставился на лам-

[1] Имеется в виду немецкий художник Беклин.

почку. Свет, дошедший было до тусклой красноты, снова стал разгораться и уже достиг прежней яркости, как опять невидимая спазма сократила его, на этот раз гораздо скорее прежнего, и не успел господин оглянуться, как лампочка наверху потухла. Таков уж был экономный обычай приморского городка: станция, предупредив жителей, к полуночи отнимала свет.

— Черт возьми! — сказал господин, очутившись в полной темноте. Он не курил, спичек у него не было. Взволнованный, чисто вымытый, надушенный, в чистейшем белье, в элегантном халате, стоял он посредине комнаты, слегка растерявшись. Ему надо было в точности знать время. Но как это сделать? Самое разумное — выбраться в коридор и позвонить номерному мальчишке. Он решительно двинулся с места.

Но, глядя наверх, незнакомец утратил правильное представление о четырех стенах своей комнаты. Он шагнул туда, где, как ему казалось, была дверь, и наткнулся на кровать, пребольно разбив себе коленную чашечку. Охая и потирая ушибленное место, двинулся он в противоположную сторону от кровати и уперся в мягкую обшивку дивана. Тогда, шаря по ней обеими руками, он, наконец, добрался до стены и решил: не отступать от нее, пока не нащупает двери. Но самые простые вещи иной раз становятся непреодолимыми. Номер, по капризу неведомого строителя, был весь обделан филенками, повторявшими вдоль стен характерные прямоугольные плоскости, с ребрами вокруг, как это делают обычно на дверях. Скользя рукой по этим филенкам, незнакомец принимал их за двери: он водил ладонями по выемкам, поднимал их до карнизов, нагибался к самому полу — и нигде не находил ни дверной ручки, ни замочной скважины, ни ключа. Тогда, на мгновение остановившись, он стал соображать, где может быть дверь, и припоминать расположение мебели. Ему вспомнилось, что прямо против двери висело стенное зеркало. Он решил отыскать его и уже от него, по прямой линии, пересечь комнату. Но по пути к зеркалу он сделал еще одну попытку: наткнулся на ковровую занавеску, проник к окну, приоткрыл ставню — ничего, нигде ни единого клочка света: окно выходило в тупик;

разыгрывался ужасный осенний норд-ост; с треском и свистом гнулись внизу деревья, пыль обдала его душным запахом, небо чернело, сплошь забросанное волокнами туч. Не было ни луча, ни мерцанья, ни перехода к иной степени темноты, которые могли бы помочь глазу. Ничего, та же безнадежная тьма.

Вздохнув, он задернул окно и добрался ощупью до зеркала. Стал, прислонившись к нему спиной, вытянул вперед руки и зашагал, как ему казалось, по перпендикуляру. Но не тут-то было! Он, неизвестно каким образом, наткнулся на ширму, за которой должна была стоять кровать. Вернувшись к зеркалу, он повторил свою попытку и на этот раз поскользнулся на груде грязного белья, упал и расшиб себе лоб. Им овладела вспышка безумной раздражительности, свойственной нетерпеливым и властным людям. С бешенством рванулся он по диагонали, вцепился в стену и стал бегать вокруг комнаты, ощупывая однообразную обивку стен. В этом бесконечном кружении он натыкался на кровать, стол, стенное зеркало, занавеску и умывальник, потом опять на те же предметы и опять. Но стенные филенки всюду походили на дверь, и в этой бесконечной двери нельзя было найти ни замка, ни скважины. Тогда он остановился в своем сумасшедшем беге, хрустнул пальцами и стиснул челюсти с такой силой, что они заскрипели.

В нескольких шагах от него, в той же гостинице, ровно в половине первого, его ждала женщина, которую он любил безнадежно три года; с которой провел целый месяц в опасной и раздражающей близости, когда прикосновеиье любимой руки начинает причинять не наслажденье, а муку; от которой был насильственно удален и которая позвала его, позвала сама, несколькими страстными словами, написанными карандашом на клочке бумаги, вырванной из мужниного блокнота. Он преодолел тысячу верст, исполнил все с той легкостью и удачливостью, что дается лишь Эросом, и когда весь план, казалось, должен завершиться сладчайшей наградой, он заблудился в четырех стенах своей собственной комнаты! Что-то похожее на рычанье вырвалось у нашего героя. Нелепость этой маленькой, детской пре-

грозы, после того как он сломил ее упорство, обманул ревнивого мужа, одолел огромное пространство, показалась ему чудовищной. Потом, когда он сообразил свое положение, ему вдруг кинулась в глаза комическая сторона: человек не смеет, не должен быть смешным в самые напряженные минуты своей жизни; а он был смешон! Густые волны крови поднялись к его лицу и залили ему щеки, шею, уши; он почувствовал себя униженным. Тотчас же энергия его взбунтовалась. Глупости! Ну, можно ли падать духом от чепухи! Твердыми шагами прошелся он по комнате, отодвинул с дороги стул, шагнул к стене и нащупал дверь.

Да, это была дверь, с обычною дверной скобой. Он потянул ее к себе, она не поддалась. Ну еще бы! Ведь он запер дверь, когда начал мыться. Пальцы его скользнули туда, где должен был быть ключ, и попали в скважину. Только в скважине этой, дышавшей на него приятным холодком, ключа почему-то не оказалось. Должно быть, он свалил его на пол, когда метался по комнате. Странно все-таки, что не было слышно звука... Нагнувшись, он стал шарить по полу. Пальцы его запылились, на ладонь села паутина, но никакого подобия ключа на полу не было. Тогда он встал на колени возле двери и поглядел в скважину — темно, совершенно так же темно, как и вокруг. Он сел на пол, не боясь уже запачкать белье и халат. Отчаяние, злоба, смертная ноющая тоска охватили его. Кричать бы и бить кулаками в эту проклятую дверь, но даже и этого сейчас нельзя. А завтра все будет кончено,— она уезжает с мужем.

Он прислонил лицо к двери и представил ее себе на пороге соседней комнаты, полураздетую, с распущенными волосами... До сих пор его чувство к ней, даже в самые страстные минуты, было чисто. Сейчас чистота замутилась. Один, обезумевший от круженья по комнате, взвинченный дорогой, тряской в поезде и на пароходе, бесконечными перечитываньями зовущих, ласковых слов, мечтою о встрече, подготовкой к ней, уверенностью в том, что она состоится, наконец — силою своих желаний, все время поощрявшихся этой уверенностью,— он потерял голову. Сейчас, в эти минуты, он

мог бы, наконец, иметь ее всю. Какая она? Он представил себе белую пену кружева, тихонько сползающую с плеча. Руки его судорожно вытянулись и коснулись холодного ребра филенки. Ласкать ее... Он провел ладонями по всем изгибам двери, кусая себе до крови губы, задыхаясь и перевоплощая свою милую в эту извилистую дверную обивку. И душа возлюбленной отлетела из этой комнаты. И душа его самого, спрятавшись, ушла в самый дальний угол этой комнаты. Ни любви, ни страсти больше не было. С обезумевшим человеком осталась одна только похоть.

...Человек, оставленный нами у двери, раскрыл глаза все в той же непроницаемой темноте. Рядом с ним не было никого. С ужасом и отвращением снял он потную руку с двери.

Узенькие, как жидкая водица, лучики серого, слабого, нарождающегося света потекли, просачиваясь, сквозь все клетки тяжелой занавески, и в комнате стали возникать предметы. Сперва неуловимо и безжизненно, как серые изваяния, потом теплея и материализуясь, вынырнули из темноты стулья, стол, диван, деревянная рамка зеркала, умывальник, кровать и, наконец, стены. Выступила, как раз напротив сидевшего человека, и спокойная белая дверь с торчавшим в ней ключом. Невольно вздрогнув, он перевел глаза на свою дверь, у которой просидел всю ночь,— это была глухая, замкнутая, ведущая в соседний номер и наполовину заставленная краем кровати. Он встал, содрогаясь от тошноты, уткнулся лицом в подушки.

Любовь, удача, неудача, возлюбленная — все отошло в далекое прошлое. Главное же теперь для него было в том, что он ощутил себя за все, за всю свою жизнь, виноватым.

1919

ЕДИНСТВЕННЫЙ

I

Бывают сны, где ваше восприятие так остро и точно, что все земное перед этими сонными образами кажется вам недостаточно реальным. Снится ли вам кусочек земной поверхности, или пустой дом, или незнакомый человек,— все это в освещении сумрачном, косом, словно источник света неизменно стоит у вас за спиною,— и как недостижимо близки духу вашему видимые образы! Кажется, будто вы расколдовываете от обычного оцепенения все ваши чувства; глаз начинает по-настоящему видеть, ухо по-настоящему слышать. Грубых, мозолистых, нечувствительных прикосновений к вашим органам восприятия больше не существует. Все касается и отдается в мозг, как электрический укол. И самое странное из переживаемых вами во сне ощущений — это неизменное припоминание, будто вы здесь уже раньше неоднократно бывали.

Очень красивой молодой женщине, Любови Адриановне Жемчужниковой, приснился под утро такой сон: ей снилось, будто она идет вдоль овражка, поросшего очень крупными лиловыми цветами на высоких обнаженных стебельках. Небо впереди освещено неподвижными полосами того света, источник которого прячется за нею и никогда не вступает в поле зрения. Она идет босиком и чувствует под ногам бархатистую мягкость

дорожки, словно кротовую шкурку. Особенно же приятно ей идти потому, что она не одна: рядом с нею идет человек, любимый ею больше всех людей на свете. В лицо его она не видит и даже не знает, каков он собой. Но все же она его знает и узнала бы среди миллиона других, подобно тому, как слепая собака признала бы своего хозяина. Иначе говоря, она его чувствует. Особенная, вяжущая сладость связывает все ее помыслы на одном: на том милом и единственном, кто шагает возле нее. Но, кроме сладости, есть и боль: дело в том, что они должны дойти вместе до придорожной липки, а там и разлучиться. Неведомые ей обязательства призывают его на неведомую службу Она подчиняется этому без всякого бунта. Все, что исходит от него, для нее свято и неоспоримо. Но все же они должны разлучиться, и боль прикипает к горлу сладкими, неутолимыми, как жажда, слезами. Вот впереди показался пригорочек, а на нем и липка. Они дошли до него молча, и тот, кто шел рядом, взял ее за руку. Прикосновение было так блаженно, что сладкий трепет охватил ее всю.

— Люба моя, теперь я ухожу, но мы встретимся. Так надо,— сказал он и, наклонившись, поцеловал ей руку Она тотчас же проснулась от боли, от неописуемой нежности и еще от того, что горничная Дуня открыла ставни и при этом безжалостно ими хлопнула. Ей было приказано разбудить барыню к девяти часам утра.

Можете вы себе представить, как рассердилась Любовь Адриановна! Томная сила и важность сна витали еще над нею, а потому она не посмела раскричаться и только выслала Дуню вон из комнаты. Когда Дуня вышла, она зарылась с головой в одеяло — чтобы доспать еще кусочек и, может быть, снова увидеть то же самое. Но сон больше не приходил, осталось только неизъяснимое счастье от чьего-то присутствия, да рука хранила нежность полученного ею поцелуя.

Любовь Адриановна задумчиво спустила ножки с постели и принялась натягивать на них чулки.

«Кто бы это мог быть? — думала она, как истая дочь Евы немедленно переводя свой сон из четвертого изме-

рения мечты в три измерения жизни.— Это был знакомый, самый близкий знакомый... Но кто он, милый мой, милый?»

Что возлюбленный ее сна существовал и в действительности, она не могла сомневаться. Тысячи мелочей доказывали это. Шаг незнакомца, так ровно совпадающий с ее собственным, был ей давно известен. Прикосновение руки зажгло ее воспоминанием чего-то родного и знакомого. Наклон головы напоминал... но кого? Тут-то вот и начиналась загадка.

Она мысленно перебирала всех своих знакомых, одного за другим. Василий Васильевич как будто походил по фигуре, но она давно уже к нему охладела, да и характер его ничуть не напоминает незнакомца. У Петра Александровича точь-в-точь такая походка и что-то в глазах грустное и похожее. Но особенно похож на него Андрей Фохт, скрипач симфонического оркестра, последний, кто поцеловал ей вчера руку. Странно было только одно: ни один из них не зажигал ее никогда таким особенным волнением, ни к кому из них она никогда не чувствовала такой нежности, как во сне.

Время было одеваться и ехать к портнихе, а тут Любовь Адриановна не позволяла себе опаздывать. Она быстро вскочила, подсела к туалетному столику. Подвитые на шпильках локоны в одну минуту собраны в пушистую прядку, и головка дважды обмотана черной лентой, наподобие античных римлянок. Любовь Адриановна проделывала все это ловко, но рассеянно,— ей думалось о сне. Она загадала: кого первого встречу в дороге, тот и есть милый моего сна.

Город, где она жила, шумно-провинциальный, переживал медовые месяцы свободы. Правда, на улицах все чаще и чаще встречались деникинские офицеры; уже поговаривали шепотком о чьих-то там недовольствах; уже какие-то станции начинали время от времени не давать паровозов и вывешивать красный железнодорожный флаг совсем не на месте,— но это не касалось ни города, ни городских дам, ни дамских портних.

Торопливо перебежала Любовь Адриановна площадь и стала в трамвайную очередь, озабоченно начиная свой трудовой день. Она казалась сейчас моложе своих

лет: ей нужно было заехать за деньгами к мужу, а женщины просят деньги не иначе, как с детским личиком.

Муж нашей героини, Михаил Семенович Жемчужников, восседал в правлении своего кооператива «Каждый за себя». Быстро пройдя через лавку, где возвышались груды пустых жестянок, пустые ящики, опрокинутый бочонок и два ряда пустых коробок, а мрачного вида приказчик нехотя продавал единственные имевшиеся в магазине товары — морской канат и подержанную мышеловку,— Любовь Адриановна прошла в управление. Там за двумя письменными столами чинно сидели члены правления, секретарь и помощник секретаря и переписывали что-то из одной тетради в другую. По стенам висели заманчивые плакаты. На одном был нарисован измученный и ободранный обыватель, не состоявший членом кооператива, а на другом — обыватель чистенький, в калошах, с зубною щеткой в руке и членскою потребительскою книжкой в другой руке. Надпись над ними гласила: «Гражданин, только в кооперативе спасение от разрухи!» Повыше имелся еще один плакат, изображавший две протянутые друг к дружке руки, с целью рукопожатия, как думали кроткие потребители, а может быть и с целью омовения друг дружки, как утверждали потребители-критиканы. Под ними была подпись: «Граждане, объединяйтесь».

— Миша,— капризно произнесла Любовь Адриановна, метнув взор на белокурого секретаря, имевшего вид «вечного студента», не кончающего «по независящим обстоятельствам».

— Ну? — недовольно спросил Михаил Семенович, мужчина очень мохнатый и молчаливый,— качества, приобретенные им только в браке.

— Я, право, не знаю, как это вышло,— беспомощно произнесла Любовь Адриановна, подняв на мужа кроткие красивые глазки,— ты, кажется, мне вчера что-то дал, а я забыла попросить еще на портниху.

— Сколько тебе нужно?

— Какой ты странный, Миша,— укоризненно протянула Любовь Адриановна.— Что за тон! Откуда я знаю, сколько мне нужно.

По долгому семейному стажу, выстраданному борением за кооперативы, у Михаила Семеновича составилось особое мнение о тех обстоятельствах, когда женщина сама не знает, сколько ей нужно. Это мнение, судя по выражению его лица, было далеко не из утешительных. Он порылся в кошельке, вздохнул, достал кожаный бумажник, вздохнул еще раз — и удовлетворенная Любовь Адриановна упорхнула, оставив в правлении запах герленовских духов [1].

«Кого я встречу? — думала она, идя пешком к портнихе.— Может быть, я тоже ему приснилась? Это, наверно, был Фохт. А может быть, и Петр Александрович...»

— Ах! Доброе утро!

Перед нею, вынырнув из переулка прямо-таки с мистической неожиданностью, стоял Василий Васильевич, очень тонкий высокий офицер в темных очках (у него болели глаза), в брюках галифе и светлорыжих сапогах в обтяжку. У Любови Адриановны забилось сердце. Ей показалось, что приснившийся незнакомец был именно такой — высокий, сутулый и грустный.

— Разрешите составить компанию,— произнес офицер тонким грудным тенорком, препротивно шепелявя на букву *с*. Очарование исчезло. Разве можно говорить так вульгарно! И быть так непроходимо глупым, как этот несчастный юнец, ходивший слегка растопырив ноги, из боязни испачкать свои заморские сапоги и смять галифе. Она вспомнила, что сапогам этим уже больше году, и ей стало досадно, почему они до сих пор новые. Василий Васильевич был тотчас забракован.

— Идите, если вам делать нечего,— разрешила она и, когда он зашагал рядом, убедилась, что между ним и видением ее сна не было ни малейшего сходства.

У портнихи ее расстроили. Платье, на первой примерке очень ей шедшее, теперь сидело отвратительно. Девочка, в ответ на ее замечание, дерзко пожала плечами. Счет лежал на столе и содержал вдвое большие цифры, нежели она думала; а сама портниха, с которой

[1] *Герленовские духи* — французские духи модной в то время фабрики Герлен.

можно было поторговаться, уехала к умирающей матери. В сильнейшей досаде Любовь Адриановна велела уложить платье, подождала, покуда дерзкая девочка выводила свою подпись на счете, скомкала его и бросила в сумочку, а потом отправилась к гимназической подруге.

Есть особый сорт женщин, который можно назвать «сочувственным». К нему принадлежат некрасивые девушки, очень счастливые в браке жены и пожилые вдовы. У каждой из них есть легкомысленная подруга, которой они сочувствуют, дают советы, гадают на картах и даже относят с предосторожностями письма, доставленные по их адресу. Основным часом для сочувствия, по молчаливому соглашению обеих сторон, выбрано время «кофе», что дает возможность сочувствующей даме принять, правда с небольшими возражениями и даже упреками, от дамы чувствующей — либо несколько сладких пирожных, либо небольшой кекс, либо фунт сдобных сухарей.

Гимназическая подруга Любови Адриановны, нашедшая свое призвание в изучении новых языков и преимущественно английского, из пяти комнат своей квартиры занимала только одну, и в эту единственную комнату проникла сейчас взволнованная Любовь Адриановна. Подруги поцеловались.

— Он ушел? — спросила наша героиня, показывая пальцем на стену. Он — означало Петра Александровича, журналиста, снимавшего одну из пяти комнат.

— Пишет,— ответила подруга многозначительно.

У Любови Адриановны тотчас же изменились манеры и голос; она грациозно стащила перчатки, сгибая локти никак не у́же тупого угла, подняла вуаль над глазами и провела себе по губам таинственной волшебной палочкой, после чего надлежало их облизать и потереть друг о дружку. Подруга смотрела на нее с истинным наслаждением: она радовалась, что Любовь Адриановна мажется, что это ее портит и что мазаться неприлично с точки зрения уважаемых ею людей. Не удержавшись, она выдала свою радость:

— Люба, Петр Александрович терпеть не может, когда красятся.

Милая моя, они все на словах терпеть не могут. А на деле им только с теми и интересно, кто красится.

Это была печальная правда, и ответа на нее не последовало. Раздалось позвякивание посуды, приготовленной к кофейному священнодействию, и подруга Любови Адриановны отправилась с кофейником на кухню. Тотчас же кукольное лицо моей героини стало осмысленней и серьезней. Она вытянулась в кресле с усталым и нежным видом и чуть хрустнула пальцами. Это произошло потому, что в коридоре хлопнула дверь и кто-то прошел мимо. Не знаю, лежит ли в основе этой метаморфозы какой-нибудь химический закон, но только женская сущность в соприкосновении с мужскою обнаруживает ряд таких тонких и задушевных свойств, о которых и не подозревают ближайшие к ней особы женского пола. Дверь приотворилась, и в нее заглянул Петр Александрович.

— Ага, это вы, сударыня,— произнес он шутливо и поглядел на нее прищуренными глазами, грустными от хронического несварения желудка, что, впрочем, осталось неизвестным моей героине.

— Здравствуйте, милый,— сказала она мягким тоном и протянула ему руку,— вы опять строчите?

— Строчу,— разнеживаясь, ответил Петр Александрович. Он вошел в комнату, поцеловал протянутую ему руку и сел верхом на свободный стул. Это был уже немолодой человек из породы «славных»: славно торчала у него мягкая, но поределая шевелюра, славно выпячивались чувственные губы, славно морщились складочки вокруг глаз при улыбке. Присутствие его было приятно Любови Адриановне и наполняло особенной жизнерадостностью,— но тотчас же она почувствовала, что вторжение этого человека изгоняет ощущение ночной, сонной сладости и образ приснившегося незнакомца. Опять не тот! И Петр Александрович не походил на ее нежного возлюбленного.

Пришла с кофейником подруга, и все уселись пить кофе. Потом пошло гадание на червонного, на бубнового и трефового королей, причем Любови Андриановне падали все какие-то странные карты: ночная

прогулка, траурное письмо, потеря друга и марьяжный интерес.

Совсем расстроенная и сбитая с толку, ехала Любовь Адриановна восвояси. Впечатление от сна не только не изгладилось, а с каждой минутой становилось сильней и реальней. Томление по единственному, по настоящему, охватило ее всю с могучей нежностью. Ей казалось, что до сих пор она не жила, что вся жизнь ее походила на случайную накипь, которую нужно собрать с себя ложечкой и сбросить. Только бы найти того, кто ей приснился,— и она переродится, очистится, начнет жизнь сначала. Но как его найти? Тут, внутри, он сидит и чувствуется как живой человек. Она безошибочно знает его присутствие и с закрытыми глазами могла бы угадать его прикосновение. А снаружи между живыми людьми она бродит, словно в потемках, и нет ей возможности отыскать его.

— Ты, милая моя, выглядишь, словно у тебя сорок градусов,— сказал Михаил Семенович за обедом, поглядывая на жену с неудовольствием.— Весь день мотаешься по городу, не отдавая себе отчета в своих действиях, а дома хоть бы раз в кухню заглянула. Это что такое? Разве это макароны? Вчера у Саркисовых на ужине были белые, а эти черт знает что — лошадиного цвета.

— Вы, может быть, надеетесь, что я сделаюсь для вас кухаркой?

— Ни на что я, матушка, больше не надеюсь. Дуня! Скажи, пожалуйста, что это за макароны?

Дуня нагнулась над блюдом с видом опытного эксперта и тотчас же произнесла:

— Хорошие, барин. В купиративе по книжке взяли.

— А-а, в кооперативе,— протянул Михаил Семенович,— значит, у нас и макароны в продаже. Великолепно! Давай-ка, Дуня, еще тарелочку. Дети, кто хочет макарон? Толя, Воля, не зевайте по сторонам, а кушайте.

«Господи, как он глуп,— с отчаянием подумала Любовь Адриановна, глядя на прояснившуюся физиономию своего мужа,— если бы только он сам мог заметить, как он ужасно глуп!»

Она нервничала весь вечер, не пошла никуда и долго на ночь раскладывала пасьянсы. А потом приготовилась ко сну, словно шла на свидание,— в сотый раз припоминая, как незнакомец шел с нею, как взял ее за руку и что сказал. Она впитывала воспоминание, словно надушенный платок, и долго ворочалась, не переходя из яви в сон. А когда, наконец, заснула, ей ничего не снилось в образах. Было только томительно-больно на душе, как от потери близкого человека, и та же пережитая в прошлую ночь нежность захлестывала ее временами, но уже не прояснялась в форме видения.

II

К утру она окончательно решила, что виденный ею незнакомец был не кто иной, как Андрей Фохт. Недаром ведь последняя реальность, пережитая ею перед сном, был поцелуй руки, проделанный им так нежно и так многозначительно у дверей клуба, где они расстались. Признать его за незнакомца ей было тем легче, что его еще окружал заманчивый ореол новизны и неизведанности. Встав поутру, розовая и томная, она потребовала от Дуни растрепанную телефонную книжку.

Края этой книжки и замасленные углы ее загнулись в бесчисленные «ослиные уши». На полях нарисованы были лошадиные головы в уздечках и человеки без туловища, из-под огромных, бородатых профилей которых выходили пары быстро шагающих ног в сапогах. Любовь Адриановна кисло улыбнулась на эти первые художественные опыты своих малышей и не без некоторой, чуждой всего материнского, брезгливости перелистала книжку. Вот и буква *ф*. Но, к несчастью, тут были фамилии Фофанова, Фохвинкеля и Фоцеркуса, и не было Фохта. Она позвонила в справочную и не получила ответа Позвонила в клуб, где шла репетиция симфонического оркестра, и там никого не оказалось. Позвонила в театр и, наконец, после многочисленных переспрашиваний и досад, занесла на поля телефонной книжки роковой адрес: «Новослободская, 187».

Теперь ей оставалось только одеться, пройтись по губам волшебной палочкой и ехать разыскивать Новослободскую, о существовании которой она до сих пор даже не подозревала. Препятствия зажгли ее особенной, не свойственной ей настойчивостью. Она уже уверилась, что сейчас все объяснится, они посмотрят друг другу в глаза,— и между ними повторится то сонное, сладкое счастье. Болезненное нетерпение охватило ее. Только бы не опоздать. А трамвай, как назло, тащился с хрипотою и взвизгиванием, словно в агонии. На остановках множество молчаливых людей напирало в него, давясь друг о друга, и кондуктор безнадежно кричал:

— Местов нет! Слазьте, пожалуйста, больше нет местов.

От нетерпения она не могла дождаться своей остановки, слезла и взяла извозчика. Руки у нее похолодели, губы слегка дрожали. Что она скажет Фохту, если застанет его дома, ей не приходило в голову. А если не застанет, сядет на пороге и будет сидеть, пока он не вернется. Извозчик вез по скверной, захолустной улице, мощеной только на середине. Справа и слева ютились деревянные домики с крышей треугольничком и с окошками, мутными, как глаза новорожденных. Было бы странно и приятно, если б Фохт жил в одном из таких домиков. Но он жил вовсе не в нем. Номер 187 стоял на углу улицы, с открытыми широкими воротами,— за ними находился извозчичий двор. Это был каменный двухъэтажный дом с бакалейной торговлей внизу. Улица перед ним чернела в конских помоях, а на крыльце густо пахло кошками. Расспросы установили пребывание Фохта на втором этаже слева. Медленно поднялась Любовь Адриановна по лестнице, чувствуя, как колотится у нее сердце.

На площадке второго этажа, возле самой входной двери, маленький полуголый мальчик сидел на горшке и с серьезным видом исполнял единственное по возрасту дело, которое вменялось ему в обязанность. Из передней виден был уголок кухни, откуда неслись чад и запах жареного сала. Кто-то стоял там и громко разговаривал, видимо через стену, с другим человеком.

— Я ему говорю: ты, говорю, не смеешь запрашивать, когда при свидетелях назначил сорок... Что? Конечно, при свидетелях, божиться тебе стану, что ли!

Через стену выражено было сомнение, но тут мальчик, сидевший на горшке, громко закричал:

— Папа, папа, чужая тетя пришла!

И вот из облаков чада и кухонного запаха к Любови Адриановне вышел невысокий человек в парусиновом пиджаке, в грязной, не застегнутой на груди рубашке, растрепанный, с острым запахом лука изо рта. Этот человек был Андрей Фохт.

Любовь Адриановна в совершенном ужасе смотрела, как он подходил. Фохт, наконец, разглядел ее и узнал. Он побагровел так, что даже плешивая часть головы налилась у него кровью. Как и все люди, чье обаяние заключается не в них самих, а в известных аксессуарах, которыми они время от времени пользуются,— он почувствовал себя навеки погибшим в глазах Любови Адриановны. И от этого, от стыда и нежелания показать свой стыд, он суетливо кинулся к ней, поцеловал ей руку и начал униженно извиняться — не как свободный художник Андрей Фохт у флиртовавшей с ним дамы, а как плебей у сытого и выхоленного человека из другого мира.

Любовь Адриановна двигала губами, но они не издавали звука. На ее счастье из кухни вышла жена Фохта — высокая, худая, немолодая женщина с довольно интеллигентным лицом и совершенно гнилыми зубами.

— Вы к Андрюше? — произнесла она очень приветливо.— Тут у нас беспорядок, пройдите в гостиную. Андрюша, что ж ты стоишь?

— Вы, должно быть, относительно уроков? — с интересом продолжала допытываться супруга Фохта.— Теперь он как раз свободнее.

— Да, я хотела... Я собираюсь просить Андрея Альбертовича заниматься с моим старшим сыном,— запинаясь, произнесла Любовь Адриановна, благословляя в глубине души свою спасительницу.

Через несколько минут все было улажено и договорено. Простившись с семейством Фохт, Любовь Адриановна сошла по лестнице и снова увидела улицу с черной лужей и бакалейной торговлей. Не могу в точности описать вам ее душевное состояние. В последнем взгляде Фохта, проводившем ее, ей почудилось что-то жалкое и устыженное, что-то похожее на прежнего задумчивого скрипача с чолкой на лбу, прикрывавшей плешь, и с такими тонкими, нежными пальцами. Ведь был же он все-таки интересен с эстрады под белым, прямым электрическим светом. Бедный Фохт!..

В насильственной жалости к нему она кое-как заглушала свой собственный стыд и ощущение глупейшей ошибки. Ей не хотелось идти домой к обеду и переносить вопросительные взгляды Михаила Семеновича, но все же она шла, правда как можно медленней. Надежда найти сонного незнакомца в земном человеке померкла.

Грустная, утомленная и пристыженная, пришла, наконец, Любовь Адриановна домой, опоздав часа на полтора к обеду. Еще за несколько шагов до дому она остановилась, удивленная. Парадная дверь, обычно запертая на ключ, была сейчас настежь открыта, вместо швейцара на крыльце торчала Дуня, простоволосая, без платка, и, вытянув шею, глядела то на один конец улицы, то на другой. Увидя Любовь Адриановну, она всплеснула руками и бросилась к ней навстречу. Ее широкое лицо было растерянно, глаза заплаканы.

— Где же вы были, барыня! Пожалуйте скорее домой.

— Что-нибудь случилось?

— Несчастье, барыня-голубушка! Я без вас голову потеряла... Барина трамваем задавило, теперь, слава богу, в себя пришли, а то никого не узнавали.

Я рассказываю сущую правду, читатель, а потому должна сообщить здесь о маленькой подробности, убийственной для моей героини. Услышав Дунькины слова, она в первую минуту подумала с облегчением: вот и предлог, чтоб отказаться от ненужных и очень

накладных уроков Фохта. Мысль промелькнула сама собой, и уже затем Любовь Адриановна представила себе вполне положение вещей: с мужем несчастье, он может еще остаться инвалидом... Она заторопилась, вошла в переднюю, а оттуда, не снимая пальто, в столовую. Там она заметила в углу Толю и Волю. Они тихонько плакали. Сердце у нее сжалось. Когда она двинулась дальше, навстречу ей вышел незнакомый доктор, посмотрел на нее и остановился.

Было что-то в его лице, сразу объяснившее ей серьезность положения.

— Доктор,— сказала она и испугалась.

— Вы его жена? — спросил он отрывисто.— Поспешите к нему.

— Но, боже мой, доктор, что такое с ним? — беспомощно воскликнула Любовь Адриановна.

Тихо и очень мягко он ответил ей:

— Ваш муж в сознании и не очень страдает. Проститесь с ним.

Вскрикнув, бросилась Любовь Адриановна в спальню.

Муж лежал не на своей, а на ее кровати, должно быть потому, что она была ближе к дверям. На первый взгляд он казался таким же, как и всегда, только до странности темным. Возле него сидел знакомый доктор; при виде Любови Адриановны он тотчас же встал и уступил ей место, а сам двинулся к дверям. Но она уцепилась за него, стараясь удержать в комнате этого чужого человека, более близкого ей сейчас, чем тот темный, на кровати. Доктор снял ее руки и сочувственно сжал их.

— Люба,— явственно, но очень тихо раздалось с кровати.

Тогда доктор указал ей на мужа и вышел тихонько из комнаты, притворив за собою дверь. Она опустилась на колени возле кровати и растерянно произнесла:

— Что ты, Миша, голубчик! Как это случилось?

Слез у нее не было. Муж глядел на нее до странности изменившимся, необыкновенным взглядом. Это

был все тот же Михаил Семенович Жемчужников, еще вчера так смешно поедавший макароны. Но ни смешного, ни всегдашнего в нем уже не осталось. Большое тело, разбитое и изломанное, лежало неподвижно, и жизнь уходила из него с каждой минутой. Вся сила сознания собралась сейчас в глазах, и эти глаза глядели на нее знакомым, родным взглядом. Человек, бок о бок живший с нею десяток лет, умирал Она вдруг ощутила до глубины своего существа утрату.

— Пальто, пальто сними,— произнес он еле слышно.

Она сбросила пальто прямо на пол, опустила голову к нему на одеяло и вдруг зарыдала. Ей показалось, что, сняв пальто, она сразу очутилась здесь, дома, у себя, у этой кровати, с этим человеком — навеки. Она рыдала, рыдала отчаянно, стараясь все-таки глядеть на него, чтобы видеть его последний взгляд. Глаза смотрели ласково, примиренно, утешительно, любяще. Он в самом деле не очень страдал, и жизнь отходила от него тихо, без судорог. Губы его шевелились беспрестанно, но звука уже не было слышно. Любовь Адриановна осторожно обвила рукой его голову и приложила уши к его губам.

— Люба, умираю, не плачь, увидимся,— услышала она, или ей показалось, что услышала. Огромная, сладчайшая любовь переполнила ее и в ту же минуту обратилась в боль, как вспыхнувшее пламя в пепел. Она вспомнила свой сон. Нежный ночной спутник глядел сейчас из умирающих глаз истерзанного человека, знакомыми были его шепчущие губы, его пальцы, лежавшие поверх одеяла.

— Милый мой, милый, не умирай! — с отчаянием рыдала Любовь Адриановна, хватаясь руками за его руки. Но час Михаила Семеновича уже пробил. Неслышно жизнь отошла от него, огромное тело начало холодеть, а веки затяжелели над стеклеющими глазами. Михаил Семенович умер.

Когда все так странно и так скоро кончилось, Любовь Адриановна, замолкнув, медленно вытянулась

над постелью и остановилась, глядя потемневшими глазами на мертвого мужа. Вот она нашла его, в самую последнюю минуту. Вот это чувство нежнейшей, крепчайшей близости и боли от утраты, которое ни с чем не перепутаешь. Он жил десять лет рядом с нею,— и она не видела его. Кто он был?

А это был все тот же — единственный и самый нужный, живущий в каждом человеке и всегда упускаемый, размениваемый, предаваемый, невозвратно теряемый — *ближний*.

1919

АГИТВАГОН

I

— Он появился у нас...— постойте-ка, дайте припомнить. Я пошел на репетицию при зеленых третьего июня прошлого года. Концерт мы ставили пятого июня при налете казаков, а повторили его десятого,— уже при красных. Так вот прибавьте еще две недели... Совершенно правильно, день в день. Он и появился у нас двадцать второго июня в десять часов утра, можете быть уверены в этом, как в собственном дне рождения.

Рассказчик сделал перерыв, чтоб налить себе в кружку, где на донышке осел выжатый ломтик лимона; откусив изрядную порцию ситного, усеянного, как мухами, жирным черным изюмом, он, не спеша, глотнул горячего чая и снова утвердил кружку на ритмически подрагивающем откидном столике.

Время было летнее, окна открыты справа и слева. В коридоре юго-восточные люди дымили густым сухумским табаком. Ветер, гулявший между окнами, заносил с собой запах нагретой степи и сладкого клевера.

Поезд летел на юг.

— Гражданин, что же дальше?

Рассказчика, худого мужчину в пиджаке из альпага, потного от жары и чая, обсели слушатели. Все глядели ему в рот, одни из любопытства, другие с бес-

...нательным аппетитом соглядатаев,— уж очень поджарый мужчина вкусно ел и пил. Ни одной крошки не уронит, все соберет с пиджака, встряхнет на ладони, посмотрит, да и отправит себе в рот. А неровные места ситного, обкусанного зубами, выровняет тотчас же острым перочинным ножом, отрезанный ломтик направляя все в ту же аккуратную глотку, как топливо в печку. И добро бы резал сыр-пармезан или чарджуйскую дыню,— а и всего-то ситный не первой свежести. Слюнки закипали во рту у соседей. Впрочем, он не только вкусно ел, он и говорил очень вкусно. В его лице, изрезанном бесчисленными морщинами, было что-то, напоминавшее хорошую топографическую карту, складывавшуюся квадратиками. Глаза, как озера, поросли полуседым кустарником бровей. Подглазные пятна вклинивались глубоко в худые щеки. Подбородок хранил следы бесчисленных бритвенных порезов. Верхняя губа то и дело приподымалась, как у кролика над зеленями. И усы над ней, будто выкорчеванные корни деревьев на лужайке, отмечались только глубокими точками впадин и бугорков.

Внимательному человеку стало бы ясно, что перед ним опытный притворщик по профессии. Стрелки, избороздившие кожу, точно показывали привычное направление его улыбок, гримас и мимики. Складное лицо превратилось бы в маску, если б не грустные и прямые глаза, всякий раз встречавшиеся с вашими непринужденно и внимательно. Эти глаза говорили о высокой интеллигентности незнакомца. Было ясно, что он понял, взвесил и разместил каждого своего слушателя в строгом иерархическом порядке, вывел среднюю равнодействующую и весь применился к ней, ассимилировавшись со средою ровно настолько, чтобы не быть ни на иоту ни выше, ни ниже ее. Эта внутренняя «аккомодация» стала бы заметна, повторяю, только очень внимательному наблюдателю, но его сейчас не было. Единственный тонкий пассажир, горбун-коммунист, с лицом насмешливым и значительным, был сейчас невозмутимо равнодушен и спокоен. Убаюканный поездом, он просто-напросто спал, обращая столько же внимания на все происходящее, сколько на мух,

ползавших у него по лицу. Остальные — поддевки и русские рубашки, красноармеец, две женщины в шляпах, да коридорные брюнеты коммерческого вида, как я уже сказала, с восхищеньем глядели говорившему в рот и чувствовали себя с ним в одной тарелке.

— Некуда спешить,— наставительно заметил рассказчик нетерпеливому слушателю,— рассказ, как монпасьешку, только дурак грызет, а умный на языке держит да исподволь посасывает. Вот, значит, он и появился у нас ровно двадцать второго июня в десять часов утра.

— Гражданин, да разъясните, кто появился-то,— не терпелось соседу, вихрастому юноше из железнодорожных служащих.

— А вам бы, молодой человек, самую чуточку обождать, тогда бы и вопрос свой не задавали неправильно. Не «кто», а «что»... Ибо я рассказываю о необыкновенном вагоне. Но прежде разрешите вам сказать, что перед вами знаменитый артист труппы Раздувай-Печурина, двадцать восемь лет кряду не покидавший сцены. Собственно я даже тенор. Я пел Фауста. Но по мере надобности пришлось и актерствовать и режиссерствовать, а последние пять лет, благодаря оживлению политики, заниматься куплетами. Бывало, спою куплет на каждый образ правления, он и ходит по городу. А в междуцарствие у нас особая песня пелась, «Васькой» звали. Домовая охрана при охотничьих ружьях, уголовная тюрьма вся поразбежалась, а у нас зала приказчицкого собрания полным-полна, и публика с меня требует «Ваську». Ну, выйдешь, споешь им:

Васька Тертый говорит·
Что такое колорит?
Это, брат, такое дело:
Слева красно, справа бело.
У Деникина черно,
А у Махно — зелено.
Отвечает Васька Тертый:
Очевидный мелешь вздор ты.
Колорит, брат,— в спирта литре
Слить все краски на палитре...

Рассказчик спел это приятным тенорком и продолжал дальше, покосившись на спавшего горбуна.

Так вот, двадцать второго июня по новому стилю, после переворота, ранним утром бегут ко мне мальчишки с нашего двора и кричат во весь голос: «Дяденька, дяденька, за вами солдаты пришли». Вышел, в чем был,— на пороге два красноармейца с винтовками: «Так и так, товарищ, нам нужны сознательные силы для борьбы с деревенской темнотой. Устраиваем летучий митинг в образцовом вагоне и, как мы наслышаны, что вы очень хорошо куплеты говорите, то за вами из исполкома присылают, и хоть без бумажки, а явка обязательна».

Я взял фуражку и пошел. Исполком помещался у нас в бывшей городской управе, на площади, прямо против городского сада. И что же я вижу? Стоит перед самым крыльцом огромнейший, длинный вагон на колесах, запряженный четверкой лошадей. Вагон покрашен в красную краску, совсем как в прежнее время странствующие театры ездили. По обе стороны окошечки с занавесками, а между окошечками выведены желтой краской эмблемы республики, агитационные надписи и лозунги. И все это сделано не как-нибудь, а чисто, нарядно, с хитростью. Куда ни посмотри, отовсюду действует. Особенно сзади был хороший рисунок — звал рабочий, поднимая тяжелый молот над старым миром, к будущему, сиявшему над ним пламенной пятиконечной звездой; и так он заразительно звал, что смотреть нельзя было без подъема. Вокруг вагона столпилось множество мальчишек; кто ни проходил по площади, остановится и смотрит.

Поднимаюсь по лестнице в исполком. Навстречу молодой человек в гимнастерке и с револьвером у пояса, красивенький, как ангелы художника Перуджино. Назвался секретарем.

— Вы,— говорит,— гражданин такой-то, куплетист нашего города?

— Именно,— отвечаю.

— Так вот, не возьмете ли вы на себя задачу выступать на наших летучих митингах с импровизированными куплетами? Тему мы вам заблаговременно

укажем, условия назначьте сами. Вагон направляется по всем окрестным деревням и в первую очередь в казачью станицу Молчановку.

Я подумал минуты две и согласился. Хотел было уж и домой повернуть, но секретарь останавливает:

— Нет, товарищ, не успеете. Если кого предупредить надо из домашних, пошлите записку. А только в десять часов соберутся сюда все участники митинга, и мы должны выехать.

— Чаю,— говорю,— не пил.

— В дороге напоим...

— Почему же,— говорю,— в такой ударной поспешности?

Он мне рассказывает, что у них все уже давно было устроено и разработано, а только ночью заболела их концертная певица, и было решено заменить ее кем-нибудь из городских. А уж тут им про меня столько наговорили, что загорелось им непременно везти с собой куплетиста, да и только. Этаким образом мне осталось лишь закупить поблизости четвертку табаку и усесться в ожидании на площадку вагона.

Проходит с полчаса, и, наконец, собираются мои попутчики. Я наблюдаю со стороны и вижу, что они сами-то не знают друг друга. Одни — шапочно, а иные — совсем никак. Первым подходит высокий такой, ростом с добрую подворотню, весь в парусине, штаны широкие, пояс ремешком, лицо не наше,— оказался грузином. Этот и еще другой, худенький, в синей рубашке, были партийные ораторы с мандатами от парткома. Поздоровались они молча и — в вагон. Как я потом узнал, синенький был из очень важных, прикомандированный к нам с войском, а грузин — местный работник, до переворота в тюрьме сидел. За ними машинистка, девочка молоденькая и хорошенькая; пятеро человек музыкантов и секретарь исполкома с лицом Перуджинова ангела. На переднюю площадку взгромоздился казак с винтовкой, взял в обе руки вожжи, цокнул на лошадей, и мы поехали. Покуда ехали, весь город, кто ни попадался, смотрел на нас, выпуча глаза.

II

В вагоне же было на первый взгляд, как в читальном зале. Чистенько, пол крашеный, будто на квартире, стены в портретах, картах и плакатах. А посередине, на столе, множество брошюрок и книжек, одно и то же название по двадцати — тридцати экземпляров; тут же в ящиках листовки и газеты.

Едем мы, подзакусили, курим. Занавесочки на окнах колыхаются, как паруса. Выехали из города, махнула нам в окна степь. Летом в наших кубанских степях хорошо, как в американской прерии: трава по пояс, кругом глаз не охватит простору, дорогу меж волнами ковыля не разглядишь, ни людей, ни животных, дергается иной раз в траве перепел, да свистит иволга, и таким манером не верста и не две, десятки верст. Станицы затеряны, до хуторов не докричишься. А встретится хуторянин в широкой шляпе-осетинке из белого войлока — издалека ни дать ни взять сомбреро. Компания моя в фургоне, видно, давненько за городом не была. Худенький в синей рубашке посмотрел в окошко, скинул пенсне на шнурочке, оглянулся на нас, и лицо у него сразу другое стало; барышня-машинистка до того развеселилась, что непременно пожелала за фургоном босиком бежать, а грузин, как уселся, ворот расстегнул, ноги на другую скамейку перед собой положил и давай тянуть грузинские песни, одна другой заунывней. Музыканты ему на духовых инструментах подыгрывали.

Разговор у нас как-то вначале не клеился. Только мы с секретарем условились насчет темы для куплетов, и я тут же набросал несколько стишков, прочел ему и получил одобренье... А жара все распаривает, земля сладким соком исходит, дышать тяжело от благовония. Скинули тужурки, сапоги... Лица начали загорать ярко-розовой краской. Барышня обожгла себе спину и руки до локтя так, что они пузырями покрылись. Свернули мы с верстовой дороги на проселочную, сделали привал и к вечеру должны были подъехать к станице Молчановке. Только к самому закату, когда вся степь клубилась в огне и рыжие пятна плыли перед глазами у того,

кто глядел на небо, вдруг вдалеке послышалась частая трескотня. Сыпалась она, как горох через сито, без умолку. Кони наши остановились, казак слез с козел и подошел к нашему окошку, откуда выглядывал худенький в синей рубашке.

— Пожалуй, лучше нам будет поворачивать.

— А что такое? Выстрелы из Молчановки?

— Да, больше неоткуда. Я эти места наскрозь знаю. Тут не приведи бог застрять, окружат со всех сторон, как в мышеловке. Может, белые отбили Молчановку.

— Как это может быть, если мы утром ничего не слышали? Местность была очищена до самой Тихорецкой.

— Всяко случается, о чем вперед не услышишь,— философски заметил казак и взял пристяжную под уздцы, чтоб повернуть вагон обратно.

Нам стало как-то досадно. Что за дурацкое положение: едем честь-честью в агитвагоне, разубраны, как на свадьбу, а тут здравствуйте: поворачивай оглобли перед самой целью. Не сговариваясь, переглянулись мы, и у каждого одна и та же мысль в глазах.

— Эй, послушайте,— крикнул грузин казаку в окно,— не лучше ли будет нам здесь устроиться на ночь, а наутро можно разведку сделать. Может быть, белые к утру очистят Молчановку, вот тогда мы и въедем.

Казак в сомнении покачал головой. Он был из надежных красноармейцев, родом неподалеку, из маленькой станицы. Не так давно бился с родным отцом, зарубившим младшего сына-большевика. Родичи его воевали под Врангелем. Он знал, что нарваться на белых в этих холмистых степях, где каждый клочок земли еще ослежен проходившими войсками, где в оврагах не подобраны раненые, в кустах засели партизаны и бандиты,— дело возможное и далеко не пустяковое. Он ковырнул кнутовищем землю и нехотя ответил:

— Тут за Молчановкой наши в прошедший год, уходя, хутора поразоряли. Лютей здешних хуторян вы не найдете по всей Кубани. Чуть что — они наших в полоску исполосуют. Бабы на Молчановке, говорят, красноармейцев в банях душили: казаков-то ведь на Молча-

ловке, кроме стариков и ребят, не осталось никого, Врангель всех угнал с собой.

Видите, товарищ,— пробасил грузин,— никого, кроме баб, не осталось, а вы Молчановки боитесь. Баб мы с вами так распропагандируем, что они и мужей обратно не примут. Распрягайте лошадей, обождем до утра, тут кстати же и хворост есть для огня.

Действительно, мы стояли возле крутого глинистого овражка, голого с нашей стороны и поросшего с противоположной сухим кустарником... Выстрелы смолкли. Оставаться на ночь в благословенной степи, развести костер, дышать запахом мяты, молочая и тмина, было куда приятней, чем возвращаться. Барышня-машинистка спрыгнула наземь и легонько ударила казака в спину:

— Бросьте вы ваши страхи! Ишь какой зловещий! Посмотрите вокруг, тут курица не испугается.

Казак все так же нехотя и видимо неодобрительно распряг лошадей, опутал им ноги и пустил на лужайку. Потом он сходил за версту на родничок, собрал хворосту, и мы, развеселившись, как дети, принялись зажигать костер, из предосторожности на самом дне овражка. Вагон пламенел в последних лучах заката, надписи и плакаты выделялись, как огненные. Должно быть, его видно было издали. Это опять не понравилось нашему красноармейцу. Он снял с козел рваную рогожу и накинул ее на самый яркий угол вагона.

Около костра мы, можно сказать, в первый раз нащупали друг друга и перезнакомились между собой. Очень много значит в таких случаях уютность человеческая, уменье наладить, во-время подать, во-время сказать. Обычно это дело женское, но наша единственная дама оказалась из тех, что, кроме своей службы, ничего не умеют. Она бегала, приставала с вопросами, веночки нам на голову плела и умножала беспорядок. За хозяйство же взялись грузин и один из пятерых музыкантов, кларнетист, удивительный человек. Как сейчас его вижу: лицо у него было круглое, губы враскидку, бровей ни следа, глаза смотрели из двух щелок весело-превесело, и все у него под руками размещалось на свое место. Он нам и кашу сварил, и кофеек приго-

товил, и все это с прибауточками, со стишками. Грузин был тоже мастер на всякое дело, только он не умел шутить и лицом отпугивал — очень суровое, рябое лицо, нос кривой — кем-то переломлен был и сросся, руки жилистые, огромные, корявые. Маленький товарищ в синем первое время никак не проявлялся. Он только недавно приехал к нам из Москвы и юг знал, как он выражался, «больше теоретически». Улыбка выходила у него робкая, слабая, и весь он казался щуплым и слабоватым. Никто не знал среди нас ни силы, ни значительности этого тощего человека; узнать пришлось попозже. А покудова он молчал, на шутки улыбался, ел рассеянно и понемножку, объяснив, что после двухлетней голодовки от пищи поотвык и есть в полную меру остерегается. Если б не почтительность, с какой обращался к нему херувимчик-секретарь, мы бы вовсе забыли этого щуплого человека, а вместе с ним и всякую политику. Остальные четыре музыканта бесхитростно, как говорится, поддерживали «ансамбль».

Так вот, сидим мы у костра, спать не тянет, никому неохота со свежего воздуха в фургон лезть. Выстрелы утихли, казак тоже поуспокоился, достал кисет, свернул себе кручонку и подсел к огоньку.

— Скажите, товарищ, на какую аудиторию вы рассчитываете в Молчановке? — спросил грузин у худенького человечка.— Имейте в виду, что казаки народ ехидный, они менее всего побеждаются красноречием. Они привыкли к нему со дня рожденья, у них даже между собою в разговоре патетический тон. Разные там аллегории, метафоры, гиперболы в обиходе у последнего безграмотного, а грамотей до такой степени витиеват, что я, признаться, сам их не всегда понимал.

— Что правда, то правда,— вмешался казак,— они разговаривать умеют Казачья речь гуще поповской. Вы их разговорами не прошибете.

— В агитации на словах никогда ничего и не строится,— ответил худенький человек,— надо зацепить и увлечь, а это всякий раз достигается новыми средствами. Вразумлять людей — дело затяжное, долгое; тут же надобно заставить их захотеть быть с вами, сразу, без раздумья, и если это удалось, начало положено.

Как под музыку вприсядку пуститься,— вставил кларнетист,— слова тут самое последнее дело.

Вы так понимаете агитацию, будто это магнетизм или истерика,— продолжал грузин,— если на этом стоять, так самые лучшие агитаторши — наемные бабы-плакальщицы или эпилептики.

А что вы думаете? — серьезно заметил худенький, обведя нас взглядом,— эпилептики агитируют с потрясающей силой. Я такого действия, такого возбуждения, такого скопления нигде не наблюдал, как вокруг упавшего эпилептика. Будем говорить начистоту, без книжного шаблона. Учить может знающий, а возбуждать — чувствующий. Высший тип агитатора — лицо страдательное. Ваш пример с эпилептиком великолепен. Тут ничего не осталось преднамеренного, человек весь ушел в напряжение, и окружающие этому поддаются, заражаются.

— Я, как агитатор, всегда пытаюсь действовать на интеллект,— возразил грузин,— и считаю странным, товарищ, что именно от вас слышу такие немарксистские речи. Я никогда не забываю основной цели: разогнать туман в головах, убедить логикой или очевидностью. Конечно, с мужиком я балагурю, зубоскалю, к нему совсем иной подход, нежели к рабочему, но цель одна: убедить, привести к умственному суждению и сознательному выбору.

— Все это так, но это не агитация. Нельзя путать разных задач. Мы с вами получили задание агитаторское, а не пропагандистское. Для пропаганды к вашим услугам время, грамота, интеллект, даже дискуссия. Для агитации ничего этого нет и не требуется. Вы промелькнули, как метеор, и зажгли. У вас нет времени на разбор, на ответ, на логику. Вы поставлены в положение электрического провода, и вам необходимо найти отрицательное электричество, чтоб образовать положительное и зажечь. В этом вся штука. Мы, товарищ, наделали много ошибок, путая обе задачи. Мы шли с пропагандой туда, где нужна была агитация, и, наоборот, насаждали хроническую агитацию там, где уже надобилась пропаганда. Нельзя, товарищ, на митинге

ставить проблему, а в книге или в фельетоне преподносить голый лозунг.

Говоря так, худенький весь оживился, черты лица у него стали сильней и выразительней, голос окреп. Мы все подумали, что он должен быть превосходным оратором. Но грузин никак не хотел угомониться и, поспорив еще с полчаса, ушел спать. На меня меж тем речь худенького агитатора произвела большое впечатленье. Как куплетист, я часто сталкивался с толпой, и задачей моей было возбудить ее. Я отлично понимал все, что он сказал о положительном и отрицательном электричестве. Материалом для агитации, магннтным полем всегда в таких случаях становишься ты сам и твоя нервная система, и чем это полнее, безостаточней, тем лучше удается увлечь толпу. Я даже не раз думал, что мы все — мелкие агитаторы сцены, паяцы, клоуны, комики, трагики,— мы все сплошь постоянные жертвы в прямом значении слова; наше дело—жертвоприношение, мы каждый вечер идем на заклание. Вся нервная сила уходит на это, а для жизни мы обезличиваемся, стираемся, обмякаем, тускнеем, ходим с ослабшими мускулами.

С такими мыслями, разбередившими мне мое прошлое, скоро пошел и я спать. Мы устроили барышню за перегородкой, а сами улеглись на лавках, не раздеваясь. В окна глядели большие, острые звезды, такие острые, что впрямь казалось, будто они прокалывают усиками занавеску. Из долины несло ночной сыростью, кони наши, выйдя из зарослей, шевелились возле вагона, вскидывая завязанными ногами и дергая головой, отчего по земле прыгали огромнейшие тени. Возница и не думал спать. Закутавшись в бурку и взяв ружье, он ходил взад и вперед вдоль овражка, время от времени скручивая папироску

Я долго ворочался, потом свежий воздух свалил меня, и я заснул.

III

Как вдруг, среди самого крепкого сна, чувствую,— бьет меня кто-то кулаком по уху, раз, два, три, четыре... Вскочил я, как безумный — оказывается, бьет в ухо треск перестрелки. Да какой еще! Не поймешь от-

кудони, с какой стороны. Вокруг меня бегали, проснувшись, музыканты, не решаясь выскочить из вагона, выглянуть из окошка.

Я, однакоже, отдернул занавеску. Мне представилось ужасное зрелище. Возле самой стены, вздыбившись от выстрела, стояла наша лошадь. Она казалась в этой позе огромной. За ее спиной отстреливался казак, ухватившись за ее гриву. Внизу валялась другая лошадь, должно быть убитая. А вокруг, справа, слева, со дна овражка, лезли на нас страшные существа, космытые, как черти, в смутном предутреннем свете казавшиеся призраками. Они орали неистово. Они стреляли без умолку. Их еще сдерживали меткие выстрелы нашего возницы, прятавшегося за раненую лошадь. Но вот пуля попала ей в брюхо. Тяжко захрипев, она содрогнулась, выпрямилась, как человек, и обеими передними ногами подмяла под себя казака, рухнув с ним вместе наземь. Я слышал, как у казака хрустнули кости. Потом в стенку вагона застучали, как град, пули, и, прежде чем я опомнился, чья-то рука за шиворот оттащила меня от окна.

— На пол! — крикнул мне хриплый голос грузина.— Товарищи, у кого есть оружие — к дверям.

Оружие — револьвер — оказалось только у него одного. Он выхватил его из-за пояса и бросился к дверям.

Музыканты сбились на полу в обезумевшую кучку. Кто-то залез под скамейку. Барышня-машинистка в одной рубашке стояла у стены, белая, как полотно, зажав уши руками. Она не кричала, только беспрерывно шептала что-то. Почти бессознательно водя глазами по комнате, я встретился с еще одной парой глаз, спокойных до жуткости. Это был худенький человек в синем. Он сидел в углу вагона, где лежали его портфель и подушка, и занимался необычайным делом: он натягивал сапоги. Каждая мелочь врезалась мне с этой минуты в память. Я увидел, что носки у него были розовые в полоску; что вокруг пальцев и на пятке они потемнели от пота и облегали ногу плотнее, чем на щиколотке. Заметив, что я смотрю на него, он сказал совершенно просто:

— Казак был прав, а мы безрассудны. На нас на-

ехал разъезд белых. Постарайтесь спастись, если уцелеете в первую минуту. Скажите, что вы, музыканты и барышня, были насильно мобилизованы для участия в митинге.

В эту минуту грузин, отстреливавшийся в дверях, упал. За мной протяжно охнул кларнетист. Барышня закричала отчаянно, истерически, каким-то чужим голосом:

— Спасите! Спасите! Не трогайте!

В двери раздался залп, мы услышали крики:

— Сдавайся!

Один из музыкантов был ранен. Мы крикнули в ответ:

— Сдаемся! Среди нас женщина.

— Комиссара! — продолжали реветь снаружи.— Выходи поодиночке, руки вверх, комиссара вперед!

Тогда худенький человек взял в одну руку портфель, в другую фуражку, пошел, как ни в чем не бывало, к двери, и я услышал отчетливый голос, упругий, как мячик, ясный, пронзительно-спокойный:

— Я — комиссар.

Много довелось мне читать всяких романов. Я испортил себе глаза над описанием разных героических подвигов. И скажу вам, что в ту минуту, как при свете молнии, увидел, насколько лгут книги. Ничего не доводилось мне читать подобного тому, что я увидел. Вы понимаете, в голосе, в позе, в лице худенького человека была, как бы это сказать, экзальтация совершающегося, при полной наружной трезвости. Впечатление было настолько сильно, что покрыло нас, отодвинуло нас от самих себя, мы на несколько мгновений позабыли о всякой опасности. Нет, мало того, скажу больше, мы все, по крайней мере я, ощутили вдруг, на это самое мгновение, ч у в с т в о п о л н е й ш е й б е з о п а с н о с т и. Вот что я называю теперь героизмом, и это нельзя понять, не пережив...

На секунду воцарилась тишина. Худенький человек стоял. Солнце начинало заниматься и лизнуло крышу нашего вагона, бросив розовый отсвет на лицо человека с портфелем. Вдруг, сразу, как со дна пропасти, завизжало, заорало, захрипело десятками нутряных голосов:

— Сука!

— Жид!

— На кол его! Ребята, бей в морду!

К стенке! На кол!

В ту же секунду мохнатая лава людей серым комком облепила нашего комиссара, сорвала его с порога и увлекла вниз. Я слышал команду:

— Назад! Не добивать прежде времени! Допросить и на кол!

Потом те же мохнатые люди (они казались нам такими, потому что носили высокие мохнатые шапки,— это был один из именных полков деникинской армии), так вот, эти мохначи ринулись на нас, связали и выволокли поодиночке на воздух. Я не мог в ту минуту простить грузину, что он позабыл о девушке и не застрелил ее заблаговременно. Несчастная так и осталась в рубашке. Ее оголили и, схватив поперек тела, потащили в кусты.

Нас стали допрашивать. Тут вылез вперед кларнетист и, как он неподражаемо умел, развел им целое слезное море; по его словам, нас мобилизовали под угрозой смерти, держали под прицелом. На вопросы о положении в городе врал без зазрения совести: будто бы там чуть ли не бунт, белых ждали как избавителей; словом, не прошло и десяти минут, как офицер угостил его папиросой. Каюсь, в эту минуту он был мне противен, между тем он спас нам жизнь. Кто-нибудь из нас должен был проделать всю эту дипломатию; есть люди, которые добровольно берут на себя худшие роли,— все им обязаны, а вместо благодарности чувствуют брезгливость.

Одним словом, нас арестовали, но не тронули. Пока допрашивали, солдаты выволокли из вагона тело нашего херувимчика-секретаря: он был раньше всех, еще во сне, убит первою пулею.

Потом началось допрашивание комиссара. Впрочем, нельзя было назвать издевательство допрашиванием. С лица его лилась кровь. Верхние зубы во рту были выбиты. Отвечая, он плевал кровью. На вопросы офицера он отвечал ясно, коротко, почти весело. Близорукие глаза (пенсне было сорвано и разбито) смотрели необыч-

ным взором, усиливая то впечатление экзальтации, о котором я говорил. Видно было, что по близорукости он не различает ни лиц, ни направления чужих взглядов и смотрит прямо перед собой на какую-то умственную, одному ему видимую, точку.

— Пытать,— кричали солдаты,— чего с ним канителиться!

Худенький человек выпрямился, поднял руки, как оратор, и воскликнул звенящим голосом:

— Товарищи, близок час, когда вы поймете, что вы делаете! Разве не ради вас, жен и детей ваших борется Красная Армия? Подумайте, за кого вы стоите? Подумайте, где обещанная вам земля?

— Молчать, собака! — крикнул офицер.— Сажайте его на кол!

Знаете вы, что такое кол? Это деревянный обрубок, самый настоящий. Вот такую дубинку вгоняют человеку в задний проход. Я видел, как его посадили на кол, вогнав с силой так, что хрястнули раздираемые внутренности. И человек корчился, пригвожденный, а с востока взошло большое, белое, горячее солнце, зачирикали птицы, занялась вся степь и ослепительно засиял наверху наш агитвагон всеми своими лозунгами и плакатами. Он стоял к нам как раз той стороной, где веселый рабочий размахивал огненным молотком, зовя к сияющей пятиконечной звезде.

Корчившийся на колу увидел эту звезду, он протянул руки к вагону. И... содрогаюсь до сих пор, как вспомню. Вдруг сильным, нечеловеческим голосом, будто не рвало ему внутренности, стал говорить. Это была его агитационная речь. Он успел сказать:

— Да здравствует рабоче-крестьянская республика! Вы все поймете, вы будете с нами. В вагоне приготовлена для вас ли-те-ра-тура. Берите себе вагон!

Слово «вагон» резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла. Действие было нечеловеческое, потрясающее. Солдаты буквально оцепенели, многие попятились от него. Офицер с проклятием выстрелил в лицо тому, кто агитировал с кола. Он был вне себя, когда заорал, чтоб жгли вагон.

Тут-то я и увидел самое необычайное во всей моей

жизни. Да, милые вы мои, солдаты ринулись к вагону, набились в него и — пусть я провалюсь, если вру,— делали вид, что разрушают вагон, совали себе, кто во что успел, нашу литературу. Один за голенища, другой за пазуху, третий в рукав, под шапку. Я видел в окошко их лихорадочные движения — это казалось полусознательным, сомнамбулическим. Должен сказать вам, что и я сохранил на память, подобрав тихонько, обгорелую щепку от нашего вагона и сохраню ее до самой своей смерти.

Шесть месяцев после этого весь юг был окончательно очищен от белых. Я встретился случайно с одним из тогдашних наших мохначей,— он был уже красноармейцем.

— Почитай, целиком перешли мы в Красную,— сказал он мне между прочим.— С того дня и задумались.

Вот что я считаю образцовой агитацией. Живите тысячу лет и еще тысячу, а бо́льшего не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле нет ничего.

Кажись, станция. Пойду возьму свежего кипяточку.

Рассказчик встал, взял большой медный чайник и двинулся к выходу. Спящий в углу пассажир-коммунист внезапно открыл глаза, вскочил и, взяв фуражку, вышел за ним. На лесенке он слегка ударил его по плечу. Рассказчик живо обернулся и, казалось, ничуть не удивился.

— Вот что, товарищ,— сказал пассажир,— рассказ хорош, хотя и есть некоторая скрытая тенденция... Вы меня понимаете, насчет жертвы. Только одно плохо: постепенно сбились с тона. Вели вначале соответственно аудитории, а потом вдруг перешли на высокий стиль и засерьезничали, словно для более тонкого слушателя рассказываете. Эта неровность — единственный недостаток.

— Разве вы не догадались, что это — для вас? — усмехнувшись, ответил рассказчик.— Я заметил, что вы не спите. И тенденция, может быть, вам не повредит.

И, прежде чем тот успел опомниться, он взмахнул чайником и исчез в толпе.

1923

ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ

I

В маленьком провинциальном городке, каких много, жил-был маленький человек, каких тоже много. Звали его Оскар Штучка. Он служил на заводе Гулье-Бланшард, исправно делал свое дело, выслужился, обжился, стал гражданином города. Знал его вдоль и поперек,— где какая улица, где чей дом, кто на ком женился, кто к кому приехал. Сам он не женился по незначительности своего оклада. Оскар Штучка, человек европейский, увеличивать оклада посторонними поступлениями никак не умел. Когда же другие советовали и намекали, обижался. Это была положительная сторона Оскара Штучки.

Но зато он имел и свою отрицательную сторону. Маленький человек не любил политики. Он не мог понять, для чего люди покупают газету, когда на эти же деньги можно купить фунт хлеба, вдобавок завернутого в бумагу. Хлеб и бумага в придачу,— согласитесь, что это все-таки больше, чем одна бумага. Он доказывал это арифметически. Каждый день в свое время вставал и в свое время ложился. Сам чистил себе сапоги и платье. Досуг посвящал игре на фисгармонии и на органе.

Оскар Штучка был недурным органистом, и дважды в местной кирхе с большим успехом прошли его концерты. Маленького человечка снизу не было видно. Вместо него рычало гигантским зевом громоутробное чудовище, то щелкая мелкими нотами, словно прыгая челюстью, то затягивая их в один сплошной узел, откуда вырывались кверху, борясь друг с другом, то один, то другой звук, покуда в хриплой коченеющей спазме чудовище не зевало всею своею челюстью на тонике. Оскар Штучка играл чисто, франтовато, не задумываясь долго. Чувствительные места он проводил бегло и конфузясь за автора. Таких вещей, по его мнению, никогда не следовало говорить вслух ни в искусстве, ни в жизни.

Когда в маленьком городке настали тревожные дни, Оскар Штучка продолжал ходить на завод. Он пожимал плечами. Он никому не советовал волноваться. Жизнь не стоит волнений,— все равно каждая вещь остается сама собою, с какого конца ни переложи ее; и жизнь, сумму этих неизменных вещей, не перехитришь, не переделаешь. Живи хоть миллион лет, а доживешь только до одной заповеди: будь честен. Больше этого человек не может и не должен... И Оскар Штучка честно ходил на завод, даже когда на нем не осталось никого, кроме сторожа. Четыре дня артиллерийского обстрела он провел в сторожевой будке. На пятый день уличной перестрелки он вооружился бумажкой, отпечатанной на ремингтоне, и защищал завод от бродячих посягательств. Он не разбирал цвета шинели и цвета флага тех, кто к нему врывался, и каждого усовещивал одинаково:

— Извините, вы ошиблись. Это завод Гулье-Бланшарда. Соха и борона. Вы не туда попали.

Когда же, наконец, рабочие с шумом и песнями вернулись на свой завод и возле сторожевой будки прочно утвердили огромный флаг из красного кумача, Оскар Штучка передал свою бумажку в канцелярию и пошел домой спать,— он не спал пять суток.

II

И вот в одно прекрасное утро, когда Оскар Штучка чистил перед входной дверью свои брюки, ему тоже принесли бумажку. На бумажке было написано:

«Организационное бюро Сорабиса приглашает тов. Штучку участвовать в первом собрании, имеющем состояться сегодня, такого-то и такого-то, в доме, по такой-то улице, под номером 14. Инициативная группа».

У сослуживцев Оскар Штучка осведомился, что означает слово «Сорабис». Ему объяснили. Он отнесся к делу с обычной флегмой и европейской аккуратностью. Пригладил волосы, положил в карман чистый носовой платок и пошел.

Зима была на исходе, утром таяло, вечером подмерзало. Воздух резал щеки холодком, как бритвой,— это кидался из-за угла шальной северо-восточный ветер, предвестник весны и гриппа. Надо было смотреть в оба, чтобы не поскользнуться на ледяных языках, протянутых по тротуару от каждой водосточной трубы. Новый снежок, скудный, как изюминка в куличе, изредка слетал на лед. Но ветер тотчас же его подхватывал, крутил на перекрестках и загонял Оскару Штучке в ноздри.

Оттого, может быть, и не успел сообразить Штучка, кому это принадлежит дом номер четырнадцать, куда его призывали на собрание. Он думал, шагая, лишь о ближайшем: куда шагнуть, чтоб не поскользнуться. Также следовало думать об ушах, прикрываемых рукою в перчатке всякий раз с той стороны, откуда начинал дуть ветер. Извинительна была рассеянность Штучки, тем более что квартал, куда он шел, был аристократический. Тут жили именитые граждане, пайщики предприятий, директора, члены акционерных обществ, домовладельцы. Тихая улица темнела от двойной рамки густых сучковатых акаций, подстриженных в ряд. Каждое дерево росло не просто из ямки, а стояло в собственном футляре из деревянного окружения в виде решетки. Справа и слева, на большом расстоянии друг от друга, возвышались величественные особняки. Были

они построены по одному типу: над первым этажом монументальной каменной кладки, из суровых полированных плит, возносился второй этаж, оштукатуренный, с лепными выступами, затейливыми украшениями по фронтону, полуколонными нишами вокруг широких, покрытых зелеными жалюзи окон, и над ним, свисая узорным карнизом, полого лежала черепичная крыша. Подъезды у домов были большие, как рты у голодных галок. Часто по-модному над дверью свисала накрышка, придерживаемая толстой железной цепью. Дверные ручки сверкали от фонарного луча; на дверях блестели медные дощечки с надписями, а перед подъездами, справа и слева, шевелили голыми сучьями по ветру выскребленные, симметричные палисадники. Шли с улицы в ворота каждого особняка асфальтовые дорожки. Ворота распахивались в положенные часы, и, мягко ползя по асфальту, выплывал тогда из ворот собственный автомобиль домовладельца или выезд на лихих полозьях, в лакированных санках, с кучерским задом, приподнятым над сиденьем, совсем как восходящая на дрожжах опара. Умели жить именитые граждане в провинциальных городах.

Борясь с озорным ветром, дошел, наконец, Оскар Штучка до номера четырнадцатого. Фонарь был зажжен перед самым домом. Подъезд не заперт. Ослепительные волны электричества, бившего сверху, заливали блестящую лестницу, устланную нежноголубой ковровой дорожкой. Внизу, возле двери, на месте швейцара сидел человек в военной шинели и что-то писал карандашом на мелких бумажках.

Он поднял голову и спросил:

— Вы к коменданту?

Оскар Штучка молча показал свою бумажку.

— Сорабис. Это наверху. Первая дверь направо, не заперто. Вы рано пришли, еще никого нет.

Человек в шинели замолчал и уткнулся в бумажки. Необычно стало на душе у Оскара Штучки. Маленький человек никогда не подымался по таким лестницам иначе, как взглядом сквозь стеклянные двери подъезда. Ноги его неуверенно ступили на голубую дорожку и тотчас же погрузились в ее пушистую глубину. Как во

сне, он стал подниматься со ступени на ступень,— а внизу уже раздались голоса и шаги, там кто-то шумно проходил к коменданту.

III

Дверь направо тотчас же поддалась, как только Штучка налег на нее рукой. Кто-то наскоро прицепил к ней бумажку:

БЮРО СОРАБИСА

Бумажка висела криво, буквы были большие, подделанные под печатные. Дверь же — дорогого темного дуба, похожего на шоколад пасхального яйца, отделанная филенками, массивная. Особняк предназначался для одной семьи. И перед дверью на мягкой площадке, залитой светом, стояли круглый стол и венские стулья, с пальмами в кадках, а за нею шла прямо комната вместо передней. В эту комнату, где сейчас никого не было, и вошел Оскар Штучка.

Она была слабо освещена розовым китайским фонариком; пол затянут золотистым плюшем; единственное окно закрыто широкими складками атласа, падавшего из-под самого потолка и похожего на чайиую розу; ребра складок розовели, а в углублениях лежали густые багровые отсветы. Наш герой прошелся раза два по плюшу в полном недоумении и опустился на маленький пуф, похожий на присевшую модницу в кринолине. Он так и осел мягко под тяжестью Оскара Штучки, разметав вокруг китайский нежнейший шелк своей оборки. Вдоль стены стояло большое трюмо с ползучими орхидеями внизу в кадках, обделанных корою деревьев. Неподалеку от него, в углу, розового дерева с инкрустацией туалетный столик расправлял направо и налево зеркальные крылья, отражая сверкание граненых флакончиков, баночек, щеточек, ножниц. В зеркалах трепетали те же отсветы чайной розы — золотисто-розовые, с переходом в густой багрянец. От мебели и занавесей пахло едва слышным вкрадчивым запахом хороших французских духов и пряною сухостью надушенной пудры.

Надоело сидеть на пуфе неизвестно для чего в неизвестно чьей комнате. Штучке стало казаться, что все это сон. Он встал и отворил дверь в другую комнату. Эта была солидней, с огромным кожаным диваном английского типа, с книжными шкапами, письменным столом и персидским ковром внизу. На столе лежала белая бумага всех сортов, от больших четвертушек верже[1] до тоненьких эластичных листиков «Margaret Mill»[2]. А возле квадратной чернильницы, в хрустальном бокале, несметное число карандашей — очиненных и нетронутых, красных, зеленых, желтых, всех существующих фабрик и номеров.

Оскар Штучка был неравнодушен к карандашам. Такое богатство! Он вынул несколько штук, поиграл с ними, попробовал, как пишут, и один, самый хороший, беспечно сунул себе в боковой кармашек. Потом, все более и более переходя из обычной действительности в чудесное царство сна, он перешел из этой комнаты в другую и третью, все осмотрел, перетрогал, вышел в коридор, нашел ванную, уборную, мраморный умывальник, где лежало еще не высохшее глицериновое душистое мыло и кем-то брошенная на стул мохнатая простыня. Он с удовольствием помыл руки и пошел назад. Все было безмолвно. Нигде ни шороха, ни человеческого дыханья. Дом был ничей. Дом был волшебный.

Маленький человек ощутил прилив какого-то незнакомого ему приятного волненья. Он тоже почувствовал себя заколдованным. Ему захотелось что-то такое проделать, необычное, непохожее на себя, очарованное. Он пробежал по всем комнатам мелкой рысцой, попрыгал, повертелся на одной ножке, забубнил на губах баховскую фугу. Потом зажег всюду новые лампочки и только что потянулся к штепселю в китайской гостиной, как дверь распахнулась и в нее начали входить люди.

Это были тоже необычайные люди. Нельзя было усомниться в их заколдоваиности. Иначе как же очутились бы они вместе?

---

[1] *Верже* — сорт бумаги.

[2] *Margaret Mill* — старая английская почтовая бумага.

Оскар Штучка, органист, тотчас же узнал их. Первой вошла знаменитая певица, приехавшая в их город на гастроль и застрявшая в нем. Вся Россия знала ее по портретам. За ней шел актер городского театра, в полушубке, всегда полупьяный. Дальше — дирижер летнего сада; первая скрипка; учительница пения; Вася Щукин, куплетист; местный художник-футурист, ходивший зимой босиком. Он и сейчас вошел босой и принялся вытирать красные, распухшие ноги о розовый плюш. Потом молчаливо посыпались еще разные люди, и среди них незнакомые, в военных шинелях.

— Войдите, войдите,— приветствовал всех Штучка, —я тут уже около часу. Согревайтесь. Центральное отопление. Топят вовсю. Кто хочет помыть руки, третья дверь по коридору.

— Куда повесить шубу? — осведомилась у него знаменитость доверчивым и немного жалобным голосом.

Он тотчас же принял ее под свое покровительство, помог раздеться, отыскал вешалку, спрятал изящные меховые ботинки под туалетный стол.

Начались выборы президиума, и как-то само собой вышло, что за круглым столом очутились Вася-куплетист, человек в шинели и Оскар Штучка. С той же приятной самозабвенностью Штучка сбегал в соседний кабинет, принес бумаги и пачку карандашей и принялся оделять ими присутствующих.

— Товарищи, с приходом советской власти нам необходимо сорганизоваться по примеру Великороссии. Вот инструкция.

— Читайте вслух инструкцию!

Прочитали инструкцию. Знаменитость вмешалась, немного робея, но с интересом:

— Это уже устарело. Я неделю тому назад из Москвы, там уже художники и литераторы выделились в свой профсоюз.

Вася-куплетист энергично призвал ее к порядку:

— Товарищ, то в Москве, где работников искусства тьма-тьмущая, а мы здесь наперечет, нам нельзя распыляться, иначе мы проморгаем наши профессиональные интересы.

— Все, сударыня, должно развиваться органически, утешил покрасневшую знаменитость Оскар Штучка,— мы начнем с того, с чего начали и вы. Полагаю, обсуждать здесь инструкцию излишне?

Сказал — и сам себя заслушался. Откуда такая звучность в голосе, такая сила! Откуда это сознанье важности, обязательности, всеобщности происходящего? И эта нить, связавшая заколдованных людей военною тесною связью, выделив и обозначив каждого, как бы повернув его в профиль ко всему окружающему, одного в чем-то уменьшив, другого в чем-то возвысив?

Знаменитость сидела на полукруглом диванчике, вытянув ножки. Лицо у нее было сейчас старое, с проступившими сквозь пудру морщинами; на шее висели складки, глаза подрисованы. Но сквозь подрисовку они стали смотреть на вас простонародным, умным взглядом без фальши, без выработанной наивности. И ручки со следами маникюра, холеные, яркорозовые вдоль ногтя, ручки, зацелованные пьяными, пошлыми, коронованными, титулованными, купецкими и разными другими губами, вдруг, словно хозяйка их забыла многолетнюю выучку и наносный стиль знатной барыни, легли на складки платья так просто одна на другую, так вульгарно, со смертной усталостью и хорошей прямотой, что костяк их выпрямился, подушки под ногтями стали заметны, широкая кость открылась из рукава, и знаток бы сказал, посмотрев:

«Эге, мать моя, происхожденья не скроешь, недаром ходят россказни, что отец твой был портовым рабочим!»

А Вася-куплетист, уместившийся за круглым столом, вел себя как заправский председатель. Куда делось широкое, скуластое, рябое лицо с улыбкой, поднимавшей заячью губу высоко над деснами! Речь лилась у него толковая, слова были правильные, каждое на своем месте. И лицо словно сузилось и вытянулось, смахнув рябины вместе с наигранной куплетной улыбкой.

Даже футурист казался другим. Никого не смешили голые ноги, спокойно лежавшие на плюше.

— Хорошо нам тут,— вырвалось вдруг у Оскара Штучки.— Давайте устроим три секции: одну для актеров, другую для музыкантов, а третью для художников и писателей. Тут как раз приспособлено помещение. И там есть библиотека по художественным вопросам, я видел.

— Все будет,— ответил Вася.

— Есть хочется,— протянула жалобно знаменитость, посмотрев на золотую браслетку с часами.

Тотчас же, откуда ни возьмись, наскреблось по карманам несколько баранок, большой черный пряник с миндалем посередине, кусок пирога, хлеб, подсолнухи, горсть сырых каштанов. В хрустальную подставку, очищенную от карандашей, принесли из умывальника воды и пили по очереди. Гул стоял от разговоров, синий дым от куренья. Кое-кто, боясь ночной улицы, решил тут же и заночевать. В шуме и многолюдии никто не заметил вертевшегося в дверях подростка. Это был мальчик, словно вынырнувший из-под пола, в короткой матроске, с голыми коленями, несмотря на свои четырнадцать лет. Восточное лицо его было подвижно, прыщаво и хитро. Глаза окружены синяками. Иссиня черные волосы, приглаженные пробором, вились круто к затылку. Он вертелся в дверях, неотрывно разглядывая знаменитость. Потом так же внезапно исчез, как и появился.

Шел двенадцатый час. Только что, откинув голову на подушку, хрустнула скулами знаменитость в сочной простонародной зевоте, как почувствовала на себе чей-то чужой взгляд. Она подняла голову. В дверях стояла красивая девушка-брюнетка, с пестрой шелковой шалью на белой блузке, в миниатюрных туфельках, выхоленная, мягкая. Гортанным голосом, грасируя, она произнесла почтительно и по-светски зараз:

— Мама очень просит вас к ужину... Мы только сейчас узнали, что вы случайно под нашей кровлей. И... и ваших знакомых тоже.

Она запнулась, оглядев комнату.

IV

Шум оборвался. Разговоры смолкли. Что-то прошло по вещам, по стенам, по лицам, как неуловимый гримировальщик. Голые ноги футуриста сами собой подвинулись под кресло. Плюш на портьерах обвис, обои выступили и забили в глаза крикливой пышностью нарисованных павлинов, клевавших корзинки с цветами. Открылись вдоль стен какие-то глупые тумбочки с золочеными разводами, невидимые раньше.

По лицу знаменитости пробежала снисходительная улыбка. Она встала, взглянув было в зеркало, выпрямилась, повела плечами.

— Что ж, воспользуемся вашим гостеприимством. Я кстати проголодалась.

— Наш дом реквизирован,— продолжала болтать девушка,— но столовую и спальни мы отстояли. Вот в эту дверь...

Она подняла занавесь, дверь распахнулась, и перед ними открылась длинная столовая. Стол посередине был сервирован на двадцать человек. Меж приборами стояли бутылки, блюда с холодной закуской, вазы с фруктами. У края стола, выжидательно улыбаясь, две толстых фигуры, мужская и женская,— он в вечерней паре, она припудрена и затянута,— глядели навстречу гостям. За ними вертелся подросток.

— Милости просим. Такие тяжелые времена, и, знаете, вдруг Жоржик нам говорит, что вы под нашей кровлей. Молодежь взволновалась... Позвольте представиться,— Мавроколиди, ваш старый поклонник...

Знаменитость оглянулась озабоченно и, поискав глазами, уперлась в учительницу пения:

— Милая моя, пойдемте.

Слегка опершись на руку бесцветной старухи, она вместе с нею поплыла в столовую, навстречу табачному фабриканту и его жене. Уже задвигались стулья, послышался смех... А «инициативная группа», беспомощно путаясь ногами в ковре, несчастная, сбитая с толку, потерянная, не знала, как перешагнуть через порог.

— Идите, чего топчетесь? — грубо толкнул оробе лого Васю пьяный актер.— А ты, босоногий, шел бы сапоги надеть. Публика!

Футурист вызывающе толкнул актера и первый пе реступил порог. Вася, краснея и нервно оглядываясь, пробрался за ним к концу стола, подальше от хозяев и знаменитости. Оттуда уже неслось:

— Божественная, откушайте. Да, знаете, не успели выехать. Но ведь положение непрочно. Не сегодня завтра...

Оскар Штучка один остался в дверях, сдвинув брови. Он смотрел, смотрел и вдруг круто повернулся. Вот прежняя комната с китайским фонариком — будуар купчихи Мавроколиди. Безвкусные пуфы, помятые, приподнятые, как юбочки на обезьяньих задках, цинично торчали на плюшевом полу. Туалетный стол походил на аптекарский прилавок. К запаху духов и пудры остро прилип запах пыли, садился на язык, першил в горле. Со стены глядела мутнозеленая картина в позолоченной раме — копия с Айвазовского.

Оскар Штучка почувствовал прилив тошноты. Он помотал головой, в знак отрицания, чему-то очень невкусному, тяжкому, стыдному, что ползло ему в память, и резким движением сунул руку в карман. Там лежал карандаш. Он вытянул его и, швырнув на стол, бросился со всех ног по лестнице.

1923

ПРЫЖОК

I

Известно, что злоязычие — самая заразительная болезнь.

В одной дачной местности под Москвой она была распространена настолько, насколько ей способствовали местные условия: наличие восьми жен нэпманов, супруги спеца, десятка служащих Наркомпроса и возмутительной близости крупного партийца, из тех, что подходят под категорию «вождей». Он поселился в этом тараканьем гнезде так же неосмотрительно, как иной раз голенькие дети садятся на муравьиную кучу.

Партиец был вдов и имел сына. Нэпманшам в глубине души было очень лестно, что их дети играют с сыном «вождя». Они зазывали его к себе, расспрашивали о кремлевских обитателях, приглашали из города добрых знакомых и в разговоре небрежным тоном осведомлялись у Вити:

— Не знаешь ли ты, когда твоему папе звонили сегодня из Кремля?

Когда мальчики убегали, нэпманша пожимала плечами и картавила гостье, зеленеющей от зависти, что «этот несчастный ребенок» положительно не может жить без ее Грегуара и что в городе, должно быть, придется продолжать такое непредвиденное знакомство. Гостья, возвращаясь в Москву, не упускала

случая поговорить о семейных обстоятельствах «вожд с видом человека, знающего все это как свои пять па. цев. Так начала плестись вокруг партийца тоненьк претоненькая паучья паутиночка. Сам «вождь» не : мечал ее даже в свои круглые заграничные очки. (был занят с утра до ночи. Но Витенька, сын «вожд мало-помалу ощутил на себе ее действие.

II

Витя был подросток с ломающимся голосом, всп хивающими ушами и длинными ногами. Товари приучили его к особому обращению они говорили е грубости, выказывали пренебреженье, заставляли полнять просьбы, бегать на побегушках, но в то время оглядывались по сторонам, есть ли кто-нибу, чтобы это не пропало даром, а было увидено и поста лено им в особую честь. Витя уже заметил, что с н никто не поступает просто. Если что-нибудь говорит то с задней мыслью, если ходят в обнимку, так непр менно с особенными лицами и ломаньями, какие лю выкручивают перед фотографическим аппарат Сперва это мучило мальчика. Он считал себя некрас вым, неинтересным, ненужным. Потом истина осени его: он вдруг сообразил, что это он, Витя, центр в ленной и что все выкрутасы и хитрости его товарищ сводятся к одному — завоевать его, Витино, пристр стие, вторгнуться в его, Витину, сферу, стать ему, Ви своим братом. Тогда мальчику стало приятно посеща дачниц и отвечать на их вопросы о Кремле.

В награду он начал требовать удовольствия и д себя: сперва это выражалось в невинном поглощен мороженого, оплачиваемого дачницами, потом в пр имущественном пользовании чужими качелями, гам ком, лодкой, крокетом. И, наконец, в частом повтор нии фразы: «Это мне нравится», влекшей за собой г реход в его собственность ружья Грегуара, открыт Ниночки, альбома Дусика, удочки Лелика и т. д. бесконечности.

III

Чем больше портился Витя, тем ехиднее становились дачницы. По утрам, когда советские служащие уезжали в город, на балконе у спецдамы благоухал кофейник с мокко и слезился кусочек льда на янтарном деревенском масле. Сюда собирались нэпманши, и тоже служащая наркомпроса, в отпуску, большая, гладкая, выстриженная, со слюнявыми губами, похожая на английского дога, шумно поднималась по ступеням, двигала стульями, садилась, простирала руки к салфеточкам с бахромой, блюдечкам, сахарнице, молочнику, и все это делала так, будто за ней была погоня на автомобилях. Спецдама перетирала мытые чашки, щипчиками накладывала в них сахар, и когда из кофейника лилась душистая струйка, от сахара кверху ползли тончайшие вьющиеся дорожки и расходились наверху сладкими веерами. Найдите-ка теперь домá, где все это случается, где сахар пахнет в саксонской чашке, где бахрома у салфеточек выглажена и отливает синевой.

— Да, знаете ли, такого кофе, как у вас...— неизменно начинала служащая, разрезая пополам поджаристый калач и густо намазывая его маслом.— Нужна культура, чтоб подать такое кофе.

Вслед за маслом на калач посыпалась соль, потом обе стороны складывались вместе и подносились ко рту, в то время как перед гостьей ставилась чашка с густыми сливками на коричневом фоне мокко.

Нэпманши косились на спецдаму завистливо. Тайна этой кофейной культуры щемила их самолюбие. Они уставляли по утрам стол икрой, ветчиной, редиской, паштетом, пирожками, маслинами, всяким сдобным печеньем. Но все это меркло, не возбуждало аппетита, казалось мещанским перед белоснежной сервировкой спецдамы и перед ее кофе, к которому подавалось одно только масло, калачи и соль.

— Не думайте, что наша власть этого не понимает,— улыбнулась хозяйка,— что бы там ни говорили, а хорошее всем нравится. Возьмите воспитание детей. Они могут сколько угодно ругать Европу, но,

как только доходит до дела, Европа у них на первом месте. Как бы назвали нас, грешных, если бы мы осмелились послать своих детей учиться за границу? А знаете ли, душечка, что такой-то (взгляд по сторонам, понижение голоса, губы складываются сердечком и приближаются к уху соседки)... воспитывает своего сына в колледже?

— Да что вы! Какой позор! — служащая Наркомпроса всплескивает руками.

— Ничего не позор, а наоборот, очень умно. А такой-то (новый шепот) обоих детей держит в Германии, а такой-то — в Швейцарии, а такой-то... Ну, право же, это лучше, чем растить подобное ужасное, ужасное чудовище, лишенное малейшего воспитания. Посмотрите, как он отвратителен. Витенька Витенька, иди сюда, голубчик, мы по тебе соскучились!

IV

Мальчик с вымазанными в глине коленями, растрепанный, гогоча беспричинно, медленно подошел к балкону. За ним прибежали щеголеватые, модно одетые, чистенькие дети нэпманш и хозяйки: девочки в узких вязаных платьицах, с вышитыми кармашками — подарок belle soeur из Парижа, мальчики в белых полотняных костюмах из частного магазина на Петровке.

— Мама, Витя говорит, что умеет делать шахты, и у него есть динамит!

— Нет, Витенька, нет! — в испуге вскрикнула спецдама,— мы знаем, что ты умеешь. Но этого ни в каком случае нельзя. Покажи нам что-нибудь другое! Знаете, милая (она многозначительно повернулась к служащей наркомпроса), Витя — замечательный мальчик. Он умеет стрелять, плавать, усмирять быков. Конечно, мы не позволяем ему подвергаться опасности, а то бы он показал вам такие чудеса...

— Я умею прыгать с третьего этажа! — хрипло произнес Витенька, ни на кого не глядя. Он знал, что от него ждут этих слов. Он перехвастался уже всеми

подвигами, какие вычитал из своей детской библиотеки. Хвастаться можно было безнаказанно: все боятся его папы и ни за что не дадут ему сделать себе хотя бы царапину. Он поднял голову, посмотрел на крышу дачи,— как раз три этажа, выход из чердачного окна, нижний карниз, на котором можно геройски вытянуться, задрать обе руки кверху, ухнуть.

Я прыгну с крыши! — воинственно крикнул Витя, повернулся и побежал к кухне, откуда можно было пробраться на чердак.

Проследите, милая, за его манерами,— не громко, но брезгливо и ясно проговорила спецдама,— это какой-то ярмарочный шут: ни самолюбия, ни правдивости, ни достоинства. Я прямо иной раз со смеху надрываюсь.

Она поглядела наверх и сделала самое серьезное лицо:

— Витенька, ах, какой мальчик! Ты опять! Ну, верим, верим, сейчас же уходи с крыши!

Но, прежде чем она кончила фразу, прежде чем Витенька проделал свой геройский взмах и ушел с крыши, прежде чем служащая Наркомпроса успела создать подходящее выражение лица, перед балконом появился небольшой человек с круглым ясным лбом, с курчавыми волосами и в заграничных очках — отец Вити, человек из Кремля.

V

Он вернулся на дачу в автомобиле, поискал мальчика, не нашел, через боковую калитку, мимо огородов спустился к соседям и хотел кликнуть сына, как невольно остановился. Он стал нечаянным свидетелем разыгравшейся сцены и выслушал весь разговор за кофе от первого до последнего слова. Подняв голову, он посмотрел на сына и увидел его лицо.

Витя стоял на крыше ни жив ни мертв. Коленки его тряслись. Скуластое детское лицо с узкими глазами хранило снаружи все усвоенные пороки, как держат на тарелке орехи,— бесхитростно и с полным неумением попрятать их: тут были тщеславие, трусость, наивность,

хвастливость, растерянность, готовность сделать, как требуют, простоватость сбитого с толку существа.

— Ну,— выразительно произнес отец, не спуская глаз с сына,— п р ы г а й!

— Витенька, папа шутит! — обворожительно крикнула спецдама.— Беги скорей, беги с крыши!

Человек из Кремля не повел и бровью. Витя на крыше не шевельнулся. Оба — отец и сын — неотступно глядели друг на друга.

— Ну,— медленно повторил отец,— прыгай! Раз, два, тр...

Мальчик взмахнул руками и отчаянно прыгнул с крыши. Он упал на круглый газон. Визжащие дамы столпились вокруг него.

На серой, пыльной траве лежала круглая голова с лицом, повернутым кверху,— лицом, похожим на тарелку, с которой одним взмахом смахнули, как орехи сбросили, все его детские пороки, и, вместо тщеславия, хвастовства, трусости, тупости, на скуластой мордочке расцвели два глаза, виновато, но с хитринкой удовольствия скользнувшие в отцовские глаза. Но губы Витины были бледны и плачущи. У Вити была вывихнута нога.

Человек в очках нагнулся над своим мальчиком и положил ему руку на лобик. Потом поднял его нескладное тело, прижал к себе и унес.

1926

О СОБАКЕ, НЕ УЗНАВШЕЙ ХОЗЯИНА

I

В армянском селе Ошакан живут садоводы. Зайдите в жилье: от темноты вы сперва ослепнете, потом увидите бледную струю света, текущую из дыры на потолке. Дыра служит входом и выходом,— вхoдом для света, выходом для дыма. На земляном полу вас обступят дети с красными глазами, хилые от лихорадки. Но если вы захотите по русской привычке дать им «на пряник», вы прогадаете. Хозяин земляного жилья мог бы скупить все пряники на сто верст в окружности. А вот и он сам.

Черный, как жук, человек с висячим носом подходит, не торопясь. В руке у него тесемка,— подобрал на улице. Пригодится для виноградника, подвязать лозу. Ноги обмотаны тряпками, самодельные сандалии из буйволовой кожи с продетыми в дырочки ремешками. Рубаха грязная от пота. На голове мохнатая шапка — несмотря на шестьдесят градусов жары. Старик знает себе цену. Это о нем председсовета на вопрос приезжего из центра товарища: «А какие у вас отношения со старым бытом»,— хвастливо ответил:

— Отношения у нас со старым бытом очень хорошие.

Старик не удостаивает открыть рот. Он знает, что хозяйка выскочит сама, как только услышит его шаги.

Если он стар в сорок пять лет и кожа его походит на змеиную по множеству пятен и точек, то жена, показавшаяся в дверях, кажется его бабушкой. Голова ее туго обмотана; от уха к уху, закрывая рот и подбородок, повязан белый платок — знак молчания, обязательного для замужней женщины. Не говоря ни слова, она собирает обед. Из кладовой, где лежат горы приготовленного впрок лаваша (длинного, как лепешка, тонкого, как бумага, хлеба), берутся два первых высохших листа, окропляются водой из ведра для мягкости, складываются вчетверо и кладутся на стол. Кроме хлеба — миска с белым, прохладным супом, «спасом», изготовленным из молочной сыворотки. Таков обед человека, получающего тысячный доход.

II

Хотя у соседа и у соседа соседа есть такие же десятины под виноградом, обнесенные каменными стенами, а кроме лоз, в них желтеют абрикосы, синеют сливы, лопаются и умирают от собственного аромата ренглоты, алеют фиги, но дети соседа и соседа соседа предпочитают те же самые плоды, сорванные с чужого дерева.

Много значит поэтому в хозяйстве садовода собака. Собачьи роды здесь имеют свои неписаные родословные. Овчарки покупаются у пастухов, знающих главное искусство,— как «назлить» собаку. Чем щенок злее, тем он ценнее. Есть особая порода круглоголовых овчарок,— они вырастают тощими, поджарыми, росту среднего, хвост палкой, а морда круглая, огромная, львиная, с прищуренными в бахроме глазами, и такая цапастая, что от нее не спасет никакая дубина. Пешеходы по армянским лугам и кочевьям запасаются револьверами не от бандитов — от овчарок. Встретиться с такой один на один — значит быть растерзанным. А убьешь ее, и долго потом убийцу будет преследовать судорожный рев пастуха над мохнатой грудой, вывалившей мертвый язык в песок: убитому псу цены нет, не то что какому-нибудь барану.

Когда нашему садоводу понадобилась собака, он

. . . куму на дальний яйлак (кочевье) и привез от... щенка. Его молчаливая жена, и та улыбнулась. Щенок походил на двигатель Дизеля: в нем ни на се... не прекращалась внутренняя работа, от которой ...желые лапы, мясистый хвост, складки на брюхе непрерывно трепетали судорожным трепетом. Иначе ...ть, щенок не переставал рычать. Кум на яйлаке ... хорошим пастухом и так здорово назлил собаку, ... пружинка действовала, как у хороших часов, заво... раз в месяц.

Соседи приходили любоваться на щенка, одобри...но крякали и непременно накладывали на него руки — действует ли. Р-рр,— рычал круглоголовый. Дети ...гали его с хвоста, со спины, незаметно; однакоже ...спина и хвост были полны такого же рыка.

Собаку назвали Тулаж. Она стала расти.

По обычаю, пищу и питье ей давала только хозяйка. На ночь с цепи ее спускали только хозяин или хозяй...ский сын. Весь день она сидела на цепи, глядя на свои ...ы. Каждый приходящий был новой дозой ненави..., Тулаж начинал трястись от рычанья. Но шер...ный язык лизал хозяйкины руки, а хозяйский кнут или его буйволовая сандалия были божеством, перед которым пес покорно валился на спину, визжал от блаженства, колотил хвостом землю и двигал бедрами не хуже негритянской танцовщицы. Через три года во всем Ошакане не было собаки преданнее Тулажа. Садовод и его жена спали спокойно. Фиги падали на землю и гнили, истекая сладостью, их никто не крал. Абрикосы желтели и сморщивались, помидоры трескались от полнокровия, длинные огурцы становились вялыми, как ...почки, персики таяли,— весь избыток мог уйти испарениями, сладостью, пряностью в воздух и в землю, — никто не решился бы его украсть.

III

Летом садовод и его жена перебрались от мошек на крышу верхнего жилья, упиравшуюся в скалы. К ней вела лестница с перекладинами, как у нас делают на

сеновале. Однажды ночью, при полной луне, в духоте, которая и сейчас не стала легче, хозяин заворочался на постели, встал и полез с лестницы. По старой привычке с ним вместе проснулась и жена. Лежа на спине и глядя в сверкающее лунное небо, она зевнула. Луна казалась горячей, точь-в-точь как электрическая лампочка, когда она нагревается. Из сада не доносилось ни шороха. Старик что-то замешкался.

Как вдруг в этой тишине раздался такой дикий вопль, что женщина кубарем скатилась с постели и принялась неистово крестить себе рот. Крик шел снизу, прерывался спазмами, выскакивал из чьей-то глотки, словно брызги из пульверизатора от прерывистого нажима рукой.

— Спасите! Жена!

Тут только армянка узнала голос мужа. Она испустила крик и, поминая всех святых, полезла с лестницы. В саду водились змеи. Гюрза — самая страшная змея Армении — выползала по ночам. Первая ее мысль была, что муж кричит от укуса гюрзы, от которого нет спасенья. Перемахнув с лестницы в траву, она кинулась в ту сторону, откуда шел крик, и увидела мужа. Он стоял, растопырив руки и закинув голову. На животе его сидел зверь. Зверь вцепился ему прямо в нутро и рвал его, упираясь огромными мохнатыми лапами в землю.

— Тулаж! — крикнула армянка пронзительным голосом, подняла с земли камень и с размаху заколотила зверя по голове.

Собака дрогнула, оторвалась от жертвы, оглянулась. Садовод со стоном побрел к жене. Рубаха его была разодрана в клочья и окровавлена. Между тем пес, сделав два шага в сторону, внезапно вернулся, поднял оскаленную морду, принюхался, и шерсть начала вставать на нем дыбом от хвоста до головы. Он только теперь узнал хозяина.

— Понимаешь,— рассказывал армянин жене, когда они улеглись снова,— сошел вниз за нуждой, иду, не спешу, вдруг эта проклятая, вот уж собака, сукина дочь,— как подпрыгнет прямо на меня. Не подоспей ты, в клочья бы изодрала.

Он не мог успокоиться до утра, а внизу лежал Тулаж, привязанный к будке, и, положив голову на лапы, глядел, не мигая, прямо перед собой.

IV

— Что же было дальше? — спросила я у хозяина Тулажа, рассказывавшего это действительное происшествие за бутылкой молодого вина, маджар, на веселой армянской свадьбе.

— Дальше — пустяки были,— ответил армянин,— если желаешь, слушай. Утром вся деревня узнала, что взбесилась собака, не учуявшая хозяина. Народ повалил. Все приходили и глядели на него. А он лежит, и морда в лапы. Портить пса мне расчета не было, за него не гроши заплачены. Налил ему, как обыкновенно, воды, колотить не стал, позвал, конечно, ветеринара, не от бешенства ли. Ветеринар слюну забрал, пса долго смотрел, щупал, тыкал, глаза выворачивал, никакой, говорит, болезни, здоров ваш Тулаж. Письменную бумажку выдал, что свободен от бешенства. Но только собака ни до воды, ни до еды. Семь дней провалялась, на восьмой подохла. Денег на леченье не пожалел, только напрасно. Ветеринар головой качал и руками водил: ничего, говорит, не в моей власти, за визит, если желаете, могу взять, но от результата отказываюсь.

— Отчего же все-таки умерла собака?

— Не понимаешь? — переспросил хозяин изумленно, поставив стакан на стол.

— Не понимаете? — сельский учитель смотрел на меня черными, как вишни, наставительными глазами.

— Не понимаете? — весь стол уставился на меня, музыканты отняли от губ дудуки, кяманчист остановил смычок, невеста, женщины, дети уперлись в мои глаза блестящим черным взглядом. А старый певец, ашуг, только что мяукавший под звук сазандарей заунывную персидскую песню про любовь, вытер губы, покраснел и сказал:

— От стыда.

1926

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Зубной врач Тарасенко, шедший на амбулаторный прием,— а кто станет спешить на амбулаторный прием? — ноги передвигал медленно, глядел вокруг внимательно, энергию расходовал экономно. Взглянув себе на сапоги, он заметил, что они грязны.

«Надо почистить»,— подумал он, главным образом, потому, что это отодвигало на десять минут амбулаторию:

— Ну-ка, восточный человек, зарабатывай гривенник!

Восточный человек молча указал на деревянную подставку. Зубной врач поставил на нее сапог и от нечего делать стал наблюдать. Черномазый чистильщик сидел на скамеечке, имея возле себя шкафчик и вешалку. На вешалке было аккуратио развешано множество шнурков разного цвета; в шкафчике, вдоль по полкам, стояли банки с кремом, вакса, резиновые кружки, стельки, инструменты. Чистильщик не спеша открыл ящик и вынул из него метелку. Обчистил сапог, сковырнул, где грязь затвердела, поднял носок и заглянул даже на подошву. Потом поискал между баночками, открыл одну-две-три,— выбрал из них самую подходящую, мазнул в нее щеточкой и принялся смазывать сапог с таким вниманием, словно от этого зависело спасение его жизни

«Ишь орудует,— завистливо подумал Тарасенко,— должно быть, гривенник для него огромные деньги; небось мази промажет не меньше чем на пятачок».

Чистильщик и впрямь мазал не жалеючи, но, однако, не зря. Он со вкусом покрыл ваксой весь сапог, вплоть до голенища, и с тем же удовольствием принялся орудовать над вторым сапогом. Потом пошла в дело первой пары щеток, потом второй, более мягкой, для особого глянцу.

— Кончай скорее!

Но чистильщик покачал головой. Из ящика показался кусок красного плюша. Ловко схватив его за концы, мальчик стал отполировывать сапог, да так быстро, что любо-дорого было смотреть.

Неизвестно почему, но зубной врач разозлился. Он едва дождался, покуда черномазый свернет свой плюш, и быстро отошел от чистильщика. Пройдя шагов двадцать, он вдруг вспомнил, что забыл заплатить, и повернул обратно.

Чистильщик был погружен в уборку. Выдвинул ящики, рассовывал туда баночки, обтирал щетки, смывал спиртом ваксу. Заметив своего клиента, он сперва поглядел ему на сапоги, потом на лицо и только потом — на протянутую ладонь, где блестел гривеник,

— Га,— пробормотал мальчуган не без конфуза, взял деньги и бросил их в коробочку на медяки...

Чистильщик позабыл об этом гривеннике!

Зубной врач отошел от него в полном бешенстве.

— Болван! Забыл заработанные деньги. Мазал, точно массажистка. Идиот! С какой стати... С какой стати можно было так стараться за гривенник и вдобавок забыть его получить?

Это было выше разумения Тарасенки, шедшего сейчас в амбулаторию, где он принимал двадцать человек в день за девяносто рублей в месяц и считал себя в праве презирать и свое дело, и своих пациентов, и свои щипчики за то, что получает гроши. Скинув пальто, он с шумом хлопнул дверью, прошел в свою приемную, надел фартук, повязался... Странное дело. Из памяти его не выходили ловкие, искусные, уверенные движения чистильщика. Невольно и не без удовольствия он

выдвинул ящик и перебрал свои винтики точь-в-точь т
ким жестом, каким мальчуган искал баночку. Это бы
приятно. Было приятно поискать, прищуриться, прик
нуть, найти самое подходящее. Между тем первый г
циент Тарасенки вошел в комнату и бочком сел
кресло, пряча руки в карманы штанов.

«Настоящий сапог»,— мелькнуло в голове у вра

И действительно, ткач Вахромеев, посланный сю
из-за невыносимой зубной боли, как был, с фабри
напоминал своим видом, взъерошенной щетиной, изм
ченным лицом, грязной тряпкой вокруг щеки, гнилы
зубами, заплатанной курткой — ни дать ни взять — з
мурзанный сапог.

Тарасенко почувствовал небывалое удовольствие
этого сходства. Он снял аккуратным движением, б
всякой брезгливости, грязную тряпку. Осмотрел зуб
Промыл и прочистил больному рот. Потом, все боле
более увлекаясь не своим привычным делом, а бес
знательным процессом подражания, заимствованным
чистильщика, стал обдуманно орудовать винтиками
щипцами.

«Ишь как зудит в ём,— сердито думал ткач, смот
на стеклянную пластинку, где Тарасенко что-то ап
титно растирал палочкой,— и чего старается, коли т
бесплатно. Может, думает, я пятак за усердие прики
Эх ты, лекариха».

Но зубной врач так увлекся, что не видел вахро
евых злобных глаз. Зацепив на ватку крохотный ку
чек полученного лекарства, он осторожно закрыл бо
ной зуб, сказал «через два дня в это же время» и жи
собрал с груди пациента обмоточки марли, вату, кр
шинки мази.

Ткач Вахромеев встал, чувствуя себя обчищенн
выпотрошенным, укрощенным. Зуб больше не болел.
угрюмо шагнул к двери, нарочно не сказал «спасиб
и вышел, оставив зубного врача в совершенном уд
вольствии перемывающим свои щипцы.

Придя на фабрику, Вахромеев долго злился, неиз
стно почему. Наступил на ногу проходившей пропы
щице, нагрубил мастеру, не ответил соседу. Станок е

[illegible] исправленный. Амбулатория отняла у рабочего [illegible] дня с четвертью часа.

«Истина,— подумал ткач, глядя на своего соседа Егорку, медленно втыкавшего в челнок шпулю,— оста[...]ят почем зря и мух в небе считает. А пусти его работать по сдельной, так такой даст кусок, что потом штопальщицы чинить отказываются. А скажешь ему [...], — мол, ассортимент виноват».

Егорка заправил челнок, пустил машину и отошел в сторону.

«Эх, ты,— продолжал про себя Вахромеев,— темнота твоя деревенская. В сторону отошел. Дело-то глаз требует. Там люди образованные задарма стараются, а ты...»

Егорка поворотил голову и встретил сердитый взгляд вахромеевых глаз. Но, как только ткач заметил, что привлек Егоркино внимание, он нажал рукоятку, пустил станок и весь ушел в стрекочущую, бодрую, знакомую музыку старого добкросса. Странное дело. Сходства хоть и не было, а музыка эта, челкочившая взад и вперед челноком, бившая батаном, гудевшая вверху проводами, напоминала ему чем-то жужжание сверлильного аппарата, стоявшего в приемной у зубного врача. И незаметно для себя, любовным жестом, точь-в-точь как зубной врач, нажавший ногою педаль, и рукою осторожно поднявший сверлильный винтик,— ткач Вахромеев положил пальцы на бегущую полосу ткани, любовно и ловко выравнивая ее напор. Щелк! — автоматически остановился стан. Запыхавшийся челнок замер на месте: оборвалась нитка. Сколько раз у Вахромеева обрывалась нитка в основе, и он ее... гм... гм. Штопальщицы-то ведь тоже не зря деньги получают. Разве можно сдать кусок без брака? Но сегодня Вахромеев, под удивленным взглядом Егорки, так вкусно, так жадно исправил беду, так скоро пустил стан, что мальчишки уличные, наверное, сочинили бы, глядя на его аппетитные действия, особую игру в ткачи. У Егорки появилось в глазах что-то вроде зависти. А дядя Вахромей распалялся чем дальше, тем больше. И немного прошло, а уж он ушел с головой в поставленную себе самому задачу: сдать кусок без брака.

Мутный серый день тоже доделал свое дело, поворотя к вечеру. Подождал, пока люди зажгут фонари, и сполз на покой за горизонты. Зубной врач Тарасенко возвращался домой веселый, как никогда раньше. Если бы его остановить и спросить: «Чем ты, братец, доволен?», и если бы он мог разобраться в самом себе так же аккуратно, как в своих винтиках и щипчиках, он ответил бы:

— Чем я доволен? А тем, братец ты мой, что я устал...— и добавил бы: — Устал не зря.

1926

ТРИ СТАНКА

I

Было это в Ленинграде, в самый разгар кампании по поднятию производительности труда. Губсоюз текстильщиков переживал тревожные дни. Дано задание: перевести работниц хлопчатобумажных ткацких фабрик с двух станков на три. А чтоб понять всю сложность этого задания и всю его деликатную сторону, надлежало только побывать в самом штабе ленинградской армии текстильщиков — в губсоюзе, где вы могли на каждом заседании видеть легендарнейших людей, когда-то делавших чудеса в подпольях Иваново-Вознесенска, Ярославля, Костромы, Орехово-Зуева и других текстильных районов. Почетным председателем союза был товарищ Тюшин, патриарх с головой Льва Толстого, с застенчивой детской улыбкой, большой, мягкий,— в высоких валенках,— старый рабочий, чье прошлое похоже на сказку. Вы могли встретить на этих заседаниях старых текстилей, борцов двух революций, прошедших через тюрьмы, этапы, ссылки. Их биографии в архиве союза могли бы наполнить вас детским благоговением, и сам хранитель архива, товарищ Перазич, чья благородная седая голова и лицо, опрозрачненное тюрьмой, от утра и до вечера, изо дня в день склоняется над историческими документами союза, он мог бы тихим голосом, поблескивая голубым глазом, дополнить эти сухие

письмена рассказами, врастающими в память. Так вот, эти легендарные люди когда-то подняли забастовку и зажгли рабочих как раз против того же самого задания: перевода с двух станков на три. Только задание это ставилось труду капиталом. А сейчас они же должны проводить собрания по ткацким фабрикам и убеждать рабочих идти на то, что оценивалось ими много лет назад как «гнусная эксплуатация, каторжный труд и новая петля, закинутая на шею трудящемуся». Понятно теперь, что положение было из рук вон трудно и что многим оно внушало тяжелые опасения.

II

Но что же это за штука — переход на три станка? Дело в том, что на ткацких фабриках обычная опытная ткачиха работает на двух станках, стоящих впереди и сзади нее так, что, оборотясь, она может от одного переходить к другому. Станок заправляется мастером, а чистится особой работницей-пропыльщицей. Ткачиха же работает между заправкой и прочисткой, и труд ее сводится к слежке, чтоб не порвалась в основе нитка, к выправлению напора ткани, к затыканию в челнок новой шпули. На американских фабриках техника стоит так высоко, что одна ткачиха справляется (если не ошибаюсь) с семью станками. У нас же за норму было принято два станка, и на них ставились работницы опытные, а новая ткачиха, пока не наловчится, справлялась только с одним станком.

Фабриканты давно задумывались над переходом к трем станкам. Это должно было принести огромную выгоду, сокращая рабочую силу на одну треть. А так как прибавка работницам обещалась самая ничтожная, то барыш оказывался тоже чуть ли не в целую треть. Но когда фабриканты вздумали вводить это новшество, оно вызвало целую бурю, революционизировало рабочих и было широко использовано подпольными работниками для агитации.

Пришла революция, выставила фабрикантов, отдала фабрику рабочим. И теперь советская власть просит

рабочий класс: помоги государству! переходи на три станка!

Союзу предстояло теперь говорить с ленинградским пролетариатом — самой крепкой армией ткачей в мире.

На одной из фабрик (имени Ногина) было назначено делегатское собрание. Туда-то и поехали председатель союза, председатель треста, представители районного комитета, разные другие люди — словом, общественность и власть. Время было вечернее, зимнее, и сумрачный город в белесых тонах снега, на далекой окраине по Шлиссельбургскому тракту, в пустырях, параллельно с белой спящей Невой, вставал окончательным призраком. Автомобиль катился, как мячик, и казалось, будто он собирается комочком для прыжка в темноту, неизвестность и небытие. Справа и слева неслись мимо едущих исторические корпуса фабрик с цветным ожерельем огоньков,— фабрик, где вспыхивали бунты в самое глухое время реакции, где слышали осторожный говорок и видели родного Ильича еще задолго до того, как он поколебал мир. Вот, наконец, приземистые, старые, глазастые стены фабрики Паля, теперь ставшей имени Ногина. Автомобиль остановился. Приехавшие молча слезли.

III

Был очень холодный вечер, с морозом и лютым ветром. Но не успели озябшие приезжие вступить в залу, где назначено было собрание, как мгновенно согрелись и даже больше того — почувствовали испарину.

В зале было множество работниц, набившихся в нее так, что сидеть никто не мог,— все стояли, дыша друг другу в затылок. Воздух был невыносимо сперт. Жара стояла, как в бане. Для президиума, куда мы пробирались, не осталось ни единого стула, хочешь не хочешь, надо было стоять. Но прежде чем стать на место, следовало до него добраться, а это было трудненько.

Толпа работниц казалась разъяренной. Лица были красны, глаза сверкали. Нас встретили градом таких ругательств, что моя интеллигентская душа поджалась

зайчиком. Невольно краешком глаз я глянула на члена райкома: тот шел как ни в чем не бывало, прислушиваясь на обе стороны и точно вбирая в себя ругательства, подобно тому, как барометр принимает давление атмосферы. Хуже всех было плотному председателю треста. И его и его трестовскую енотовую шубу крыли без всякого сострађанья.

Нас встретил смущенный молодой человек с лицом, видимо, обмытым седьмым потом,— красный директор фабрики. Кое-как он протащил нас к зеленому столу, раздобыл и стулья, по одному на двух, и заседание началось, точнее, ругань в зале несколько ослабела.

Ясно было как дважды два, что рабочие взбешены, что они не желают переходить на три станка, что они не очень-то тронутся красноречивыми доводами, что, наконец, все они единым фронтом будут голосовать против. Спрашивается, какими же словами, какими посулами, смягчениями, уступками можно было убедить эту возбужденную, насторожившуюся и твердо спаянную массу?

IV

Собрание началось партизанской перестрелкой. Но вот заслушан длинный и растерянный доклад красного директора на тему о том, что «поднять производительность необходимо». Красный директор родился тут же, при фабрике, в артельном доме, вырос на глазах рабочих, своего рода потомственный фабричный, свой человек. Его выслушали с усмешкой, часто перебивали, делали ехидные замечания. Он едва дотянул, махнув рукой: дескать, все равно их не убедишь, они теперь закусили удила. И тут-то выступил на сцену председатель треста, самый непопулярный человек в эту минуту в зале. Он постоял неподвижно, пережидая крики, потом спокойно и без малейшего красноречия начал говорить...

Вы думаете — посулы, смягчения, уступки, прибавки,— словом, то, что преподносит противник противнику, одна сторона другой стороне в надежде добиться победы? Как бы не так. Он сказал:

Ребята, вы говорите,— вам туго, мы на вас нажимаем, дерем с вас три шкуры? Совершенно верно. А вы что же думаете, на кого нам нажимать, кроме вас? Кто нас вывезет, кроме вас? Что ж, вы воображаете, ваше хозяйство будут налаживать капиталисты? Наше дело будут спасать купцы или иностранцы? Кто отбил Питер от Юденича? Вы. Кто голодал и холодал около фабрик? Вы. Кто пустил эти фабрики в ход? Вы. И если вы сейчас не сдерете с себя четвертую шкуру, пятую шкуру, шестую шкуру, мы хозяйства не наладим, новых фабрик не пустим, безработных не устроим, рынки товарами не наполним, крестьянина не удовольствуем, мы без вашей помощи ни черта не сделаем. Натужьтесь-ка, ничего не поделаешь.

Последняя фраза прозвучала весело и с полным доверием. Было так, как если бы мы все превратились в детей и жаловались, что не можем выучить урока. А нуте-ка, вместо одной страницы, выучите-ка две, посмотрю я, как вы не сможете! — не знаю, как называется такой прием в педагогике. Его часто пускают в ход великие полководцы, и солдаты их обожают. За что? За веру в то, что человек может сделать чудо. Человек любит высокую меру своих сил, как любит покупатель, чтобы торговец чуточку перевесил ему товар, а не недовесил.

В зале сразу стало очень тихо.

V

И в тишине вдруг прозвучали сухие, шаркающие, слабые старушечьи шаги. К зеленому столу приблизилась худенькая старушенция, морщинистая, безбровая, с губами в обтяжку, повязанная чистым белым платком,— героиня труда, ткачиха с сорокалетним стажем на ткацкой у Паля.

Старуха обеими руками взялась за концы своего платка, подкинула его повыше, чинно повязалась. Потом кашлянула. И прошамкала деловым тоном:

— Что ж, девушки, попробоваем. На трех станках работать можно. Я хоть и старая, а работать на трех

станках могу. Не чижало работать, только пряжу дайте хорошую, а работать не чижало.

И тотчас же точно прорвало делегаток,— хохот, аплодисменты, крики: «Ай да старая!» Настроение сотни людей невидимой рукой перевернуто, встряхнуто, брошено в новое русло. На самом-то деле работать можно, да и плевое, может, это дело, если захотеть. Важно же в эту минуту, что делегатки захотели,— захотели смочь так, как хочет добиться успеха каждый человек в своем деле, понимающий, что это дело — его собственное.

Секунда — и судьба перехода на три станка была решена.

1926

ВАХО

Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались...
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые...

Пушкин. Кавказский пленник.

I

Тонкий мальчик стоял без улыбки, чуть согнув ноги в коленях,— не потому, что дрожал, а потому, что привык карабкаться и гнуть ноги в горах,— отведя плечи и локти за спину, бледный и неподвижный, в куче крестьян.

Все они, парни и седобородые, старались для него целый месяц, от души старались, а сейчас, когда дело удалось, в глазах их, вместе с преувеличенным доброжелательством, светилась зависть. И голоса выходили из глоток тонкими, как ниточки.

Особенно егозил один парень. Вся честь подвига выпала на его долю. Это был тощий красноармеец-отпускник. Долго он ходил по деревне, мешая в работе и приставая к соседям. Виноват ли человек, что его сделали отпускником? Много твердили ему, о чем говорить с крестьянами и как учить их. А поучишь, когда сама

старая майрик[1] Закарьян, та, что живет на кладбище, в пещерной дыре, ударила его по руке выше кисти и пробормотала нехорошее слово,— за то, что он хотел показать ей, как по ученым книжкам доят корову! И вот, наконец, работа по плечу отпускника. Вот пришла минута, когда покажет он, отпускник, все свое городское знание и силу.

Сняв шапку и колотя по ней кулаком, словно по барабану, он обводил толпу красноватыми, плохо пригнанными глазками — одним коренным, другим — пристяжкой. «Ну-ну-ну,— сверлил один глаз,— кто захочет это отрицать? Разве я плохо сделал, разве не тащу на себе деревню?» — «Так, так»,— подмигивал другой сбоку, поглядывая на майрик Закарьян, стоявшую поодаль, скрестив руки и угрюмо выставив над платком, обмотанным вокруг рта, два тронутых трахомой глаза.

— Тогда я вышел вперед, старики! — вопил парень, то наступая на толпу, то отступая.— Вышел и говорю,— обрати, товарищ, вниманье. Ты, говорю, пролетаешь по деревням на машине, ты сидишь в городе, ты свою смену за глазами держишь, а я есть живая сила на местах. Двинь, товарищ, нашего парня.

— Это псаломщик сказал,— нетвердо возразил старик,— псаломщик сказал и вынес бумагу. Уж ты не сердись, Вахо, твои бумаги мы скрали. Без них ничего бы не вышло.

— Последнее дело бумага! — взвился парень и снова заколотил по шапке, собирая в нее вниманье.— Факт есть тот, что я подтвердил этого селькора. Псаломщик ничего не сказал про селькора. Тогда товарищ с машины взял бумагу, начал читать и удивился. Соседу передал, и сосед посмотрел на нас. «Где он? — спрашивает товарищ.— Это поразительный случай». Я говорю: борьба с темными силами деревни, культурный фронт. А псаломщик опять портит. «Вахо,— говорит,— пастух, его сейчас нет,— говорит он,— а песни он поет еще лучше, чем пишет». Я ему сделал знак, чтоб молчал. Опиум не должен перед народом говорить.

[1] *Майрик* — по-армянски матушка.

— То-то ты и поговорил,— иронически вмешался другой паломщик с зубами такими редкими, как лес после рубки,— ты ему фронт да фронт, а он тебе: знаешь, товарищ, в стихах никакого классового сознания, и только одна отсталая природа и беспартийность.

— В городе из него природу выведут! — разозлился парень.— Природа — не моя вина! На ваших местах буйвол не поворотится, не то что трактор. Вот шоссе недавно машинкой катали вроде танка. Пой про нее! Отчего не поешь?

Нахо страдальчески двигал веками. Он боялся понять, что случилось. А случилось такое дело:

Секретарь укома, в пропыленном автомобиле, шибко катясь к перевалу, вдруг возле самой деревни застопорил. Черный шофер полез под машину, долго лежал под ней на спине, дергая и ползая ногами во все стороны, как сороконожка в щели, а крестьяне не торопясь обступили дорогу. Шли они, густо наползая из землянок, молчаливые, сосредоточенные, с неподвижными лицами, и остановились невдалеке темными кучами, одного защитного цвета с кизяком, что стоит пирамидками возле земляного жилья. Новому человеку показалось бы: нет глупее этих безмолвных и безразличных лиц, безответней этих поджатых губ, бессмысленней этих больных красноватых глаз. Но секретарь укома знал, с кем имеет дело. И когда попросил у ближайшей молодухи напиться, та вынесла городской стакан с белой, как известь, жидкостью,— прохладную кислоту мадзуна [1], разбавленного родниковой водой,— и равнодушно сказала:

— Зачем не сходишь? Сойди! Хлеб есть, сыр есть.

Это было началом. Каждый, слегка отделяясь от кучки и теряя защитный цвет, стал двигаться прямо к нему, из прорезей бронзового лица устремляя на него внезапно ожившие острые жучки-глаза. Словно облачка от выстрелов, поднимаясь там и сям, вспыхнули отдельные возгласы, а потом, перекинувшись мостиками, загудели вокруг него сразу все:

---

[1] *Мадзун* — кислое молоко.

— Мальчик-грузин... пастух. Складные песни поет, очень складные. Возьми мальчика в город, учи его. Пропадет у нас ни за что!

Недаром Вахо пел песни деревне. Мать и отец его умерли в один день, уйдя на отхожий промысел в Борчалу. А кто из горных деревушек уходит в проклятую Борчалу, непременно подхватит малярию и погибнет с фельдшером или без фельдшера,— это все знают. Вахо застрял в армянской деревушке и вырос в ней. Он стал петь песни, сперва на родном языке, потом на армянском. Псаломщик учил его писать. Он остерегал Вахо от новых слов. Но у Вахо были собственные слова — не старые и не новые, и всякий раз, как он находил их, псаломщик думал про себя «Есть, непременно есть такое слово в старом грабаре[1], быть не может, чтоб не было». Складные песни помогали свадьбам и похоронам. Парни заказывали Вахо стишки, чтоб покорить девушек.

Секретарь укома держал перед собой тетрадку, где острым и нежным почерком, дешевым бескровным карандашом, умевшим только царапать и не давать крови,— бледно стояли такие необычайные записи, что даже он почувствовал холод в позвоночнике.

— Взгляни сюда!

Молчаливый спутник секретаря высунул нос из-под платка, куда спасся от солнца и мух. Тетрадь была в желтых пятнах. Толстые, заросшие волосами пальцы потянулись к ней нерешительно, с брезгливостью. Но не успел молчаливый человек прочитать первую страницу, как зажевал собственный ус и побледнел от волненья:

— Это гениально, гениально,— голос его охрип, как бывает от слишком большой неожиданности. Багровый нос, обожженный солнцем, сердито уставился на секретаря.— Что ж ты мне ничего не говорил! Нельзя его здесь оставлять!

Волненье, охватившее их, перекинулось в толпу. Ни секретарь, ни его спутник не были знатоками поэзии. Родной язык в жеваных передовицах газеты казался им

---

[1] *Грабар* — древний армянский язык; он уступил место разговорному языку современности, ашхарабару.

плоским и маленьким, как искусственный пруд. Но тут грозно смерч встал, закрутя воду в столбы, и пошли гулять саженные волны, а пруд превратился в море. Будто от веянья сильного ветра, несущего влагу, волосы на них зашевелились и встали,— вот оно настоящее искусство, большое искусство! Сознанье может ошибиться, но не ошибается кожа, холодная от волненья. Они переглянулись, ничего не говоря друг другу, а крестьяне мгновенно почувствовали знакомую и неприятную мужицкую досаду: так бывало с ними, когда, откопав в земле тусклые кувшины и зелено-красные браслетки, они задешево продавали их городскому человеку в очках, и тот бледнел и поджимал рот совсем как секретарь укома. Вот он, каков Вахо; продешевили паренька!

Мужики, недовольные, уже отодвинулись от машины со смутным чувством обиды.

Но сейчас, когда Вахо стоял перед ними, подогнув коленки, и горячими, испуганными глазами газели водил по толпе, он был такой маленький, он так чистосердечно не знал своей ценности, так мало мог сделать сам для себя...

— Они сказали, ты — большой человек, Вахо,— медленно заговорил седобородый, отстраняя рукой тощего отпускника,— за всех нас запоешь перед людьми, прославишь деревню. Тебя осенью возьмут в город на все готовое: пища, одежда, жилье. Учить будут. Они оставили бумагу,— возьми прочитай, она лежит в сельсовете и за тебя сам председатель положил подпись!

II

Майрик Закарьян одна ничего не сказала. Она пошла впереди толпы к пещерной дыре на кладбище, где ночевал у нее, за куль хлеба от деревни, пастух Вахо.

Когда входишь в земляное жилье со свету, не сразу увидишь, что там есть. Столбы подпирают крышу; утоптан пол, как чугун, земля лоснится от твердости,— пролитая вода стоит, не впитывается. Дыма под

крышей! Сгрудились серые клубы у круглой дыры на потолке; горьковатый запах пропитает вам волосы, одежду. К запаху дыма примешался сухой запах глины и земли. Он прочернил кожу на людях: точно песком натерты лица, руки; вдоль мельчайших морщинок и пор, во все углубленья, лег пепел, делая кожу выразительной и разрисованной, как дубовый лист.

Старуха, качая головой, прошла из большого жилья в чуланчик поменьше. Здесь, сквозь дыру в потолке, падал вниз солнечный луч, одинокий и прямой, как палка, и в нем носились, рдея от нерожденной радуги, сотни пылинок. А внизу, в солнечном кругу, под самый луч подобралась жидкая армянская курица с беспёрыми лапками, рыла напрасно жесткую землю и бормотала круглым, пестрым цыплятам, катившимся, как шарики, ей под ноги.

Неся перед собой старые руки, словно две сухие ветки, майрик Закарьян нетвердо нашарила остродонный кувшин в углу. Из него пахло острым: здесь хранилась молочная сыворотка для супа. Ходя из угла в угол и готовя обед, майрик не переставала бормотать что-то себе в платок. Вахо сел у тондыра [1].

— Ешь, сынок.

Сама она есть не стала, а коричневыми и сучковатыми руками, несоизмеримо большими для худенького старушечьего тела, взяла острое веретено, дала ему щипок, и когда, жужжа и вертясь, оно полетело к полу, стала неторопливо прясть, горстью выхватывая серую шерсть из мохнатой кудельки.

— Пустое говорят в деревне, сынок,— бормотанье слилось с гуденьем веретена,— кёса [2] ходит, дурной глаз ходит. Одна я знаю, как отвести дурной глаз. Пусть называют меня мальчишки дэви-майр [3]. Старые люди обошли жизнь по кругу. Старые знают, где начинается, где кончается. Ешь, сынок, отчего не ешь?

---

[1] *Тондыр* — земляной очаг в Армении, где пекут плоский хлеб, лаваш.

[2] *Кёса* — бритый, светлоглазый, гермафродит. Встреча с ним предвещает беду.

[3] *Дэви-майр* — образ из древнеармянской мифологии: «мать дэва» (дэв — особый демон); в ходу как ругательство.

Вахо сидел на земле, глядя перед собой неподвижными глазами.

— Суп засыпан пшеницей,— глотни раз, само за-[illegible]. Ты еще был крошкой, когда мой покойник [illegible] выкопал в поле горшок с монетами. Он принес [illegible] на животе, держа руками и подгибаясь. Я [illegible] монету землей, она заблестела, Вахо, как солнышко. Тут мы оба точно ополоумели. Всю ночь сидели, сунув ноги в тондыр, и чесали с ним языки, что купим, что продадим что заведем, что посадим. Люди советовали: зарежь барана, сделай матах[1], по-[illegible] богу кровью. Нет, отвел кёса наш ум,— был тут человек плешивый и с нехорошим водяным глазом, [illegible] у нас горшок, а наутро ни человека, ни горшка, ни золота.

Вахо тихо доел суп и встал с земли. Он плеснул в [illegible]ку водой и вышел помыть. Притолока земляного жилья,— деревянная доска, вбитая в глину,— доходила ему до мохнатой шапки. Остановясь под ней, словно в рамке, он в тысячный раз взглянул на убогий и странный мир, курившийся перед ним десятком сизых дымочков над бугорками рыжей и голой земли; [illegible]вший черными пирамидками кизяку; перебегавший дорогу от канавы к канаве длинной блестящей водяной крысой, голубовато-черной в извивах пугливого, мокрого тела; чмокавший внизу сонной струей родника, от которого шли вверх женщины, шурша по камням сухими ногами в длинных белых штанах и сутулясь под остродонным кувшином на плече.

III

— Вахо!

Осторожный кашель обдал его запахом жеваного табака. Из-за угла подходили двое: тот, что поближе, насупил густые с прожелтью, жесткие, распетушенные брови. Крючковатый нос уходил под шею. Рот пропа-

---

[1] *Матах* — жертвоприношение; в армянских деревнях был распространен обычай резать барана и варить его ночью в ограде какого-нибудь монастыря, чтимого деревней.

дал под носом, тонкими остриями полумесяца поднимаясь к углам. В руках мужика был кнут — ремешок с сухой оленьей ножкой вместо кнутовища. Следом за ним, отдуваясь, двигался толстенный Минас, не мужик — блин на сковороде, зарумяненный по краям и распузыренный на середине.

— Войди в жилье, Вахо! — осторожно сказал первый, выставив из-под носа желтый, одинокий клык.— Иди и ты, Минас, не бойся! Майрик Закарьян не такая женщина, чтоб потерять куль хлеба. Что ты будешь есть тогда, майрик? А ну-ка иди, и чтоб тебя не было на шапку от дома, слышала?

Он сделал движенье, будто швырнул от себя шапку. Перекинув с руки на руку длинную пряжу, майрик Закарьян подхватила веретено и вышла.

— Садись, Вахо. Садись, Минас! — И сам сел первый возле тондыра. Это был самый бедный мужик на деревне, кривой Оник. Но и самый нахальный мужик на деревне был кривой Оник. Никому в голову не приходило, что он мог выдумать. Если кто говорил «три», он отвечал «четыре», говорили «четыре» — отвечал «пять». Ни одно дело не делалось без кривого Оника, и даже сам районный ветеринар, товарищ Домоклетов, называл Оника деревенской чумой.

Толстый Минас сел, растерянно отдуваясь.

— Вот что, Вахо,— начал Оник, брызгая слюной,— деревня поила, кормила тебя, сделала важным барином. Поедешь в город, учиться будешь, сапоги носить будешь. Нехорошо уходить так, без благодарности.

— Я благодарен, Оник,— потупясь, ответил Вахо.

— Из этого муки не смолоть, парень. А вот что ты можешь сделать. Минас, сам знаешь, добрый мужик. Ты пировал на свадьбе Минасовой дочери, ты сочинил стишки для Лукаша, Минасова зятя. Двор у Минаса — так себе двор. Что такое двор мужика против городского дома? Стадо Минаса, конечно, большое стадо. Сады Минаса, конечно, сады — как полагается. Но за что обложили Минаса таким налогом? От него нам всем корм и пропитанье. Так я говорю, Минас?

Толстый Минас мотнул головой вниз.

— Зарезать Минаса — деревню зарезать. Нехорошо, неправильно сосчитали налог. Трудно мужику добиться правды. Когда в субботу приедут к тебе из города, ты садись, Вахо, с ними на машину, катайся с ними, пой им песни, говори им складно, расскажи про деревню и про Минаса. Помни, что надо сказать: Минас не такой богатый мужик, у Минаса весь мир кормится, на Минаса батраки не работают, родня работает. Слышишь меня?

Вахо кивнул, и краска хлынула у него от шеи к голубоватым векам, опущенным над широко расставленными большими глазами.

— Запомни!

Внушительно ударив его по плечу, кривой Оник поднялся, взял с земли кнутовище и сунул в штаны. Минас, неповоротливо дуя себе в усы, поднялся тоже.

Сошла ночь, ущелье стало черно, как колодец. Отвязали на крышах густогривых собак, и тени их шарахнулись по земле. Высыпали звезды.

С непонятным стесненьем в душе худенький мальчик прошел к себе на ночлег — старую крышу над кладбищем, где майрик Закарьян насыпала сена. Отсюда, если направо взглянуть, виден стройный профиль полуразрушенной колокольни, построенной у входа в ущелье, и камни под ней старые, днем красные от железистой окиси, грубые, с высеченными крестами и древним орнаментом. А поглядишь налево, и внизу лежит вся деревня, с темными башнями кизяку и соломы, с тонкой деревянной колоннадой перед жильем, с черными дырами дворов, с лавками, мельницей, садами богача Минаса, с круглой резьбой карниза под его крышей, такой же плоской и пыльной, как у других.

Вахо поворочался на соломе и хотел заснуть. Но вставала луна. Трудно заснуть, когда подожгли солому за краем земли и она горит красным светом. Горит и трещит — в беспрерывном цыканье ночных неспящих сверчков. Но вот выкатилась сияющая, полная, зыбкая и остановилась повыше гор...

Лежа, рука под затылком, подняв колени, глядел Вахо прямо на луну.

А внизу кралась тихими шагами, с монетами на богатой головной повязке, молодая жена Лукаша, Минасова дочка. Сегодня весь день соседки выколачивали у них на дворе жирные мягкие зерна подсолнухов и водянистых чашек. Сидя в кружке и колотя палками, они хохотали и переговаривались. Та, что вынесла секретарю укома стакан с мадзуном, говорила о Вахо, и крестьянкам казалось, что никогда они до сих пор не видели и не слышали мальчика-пастуха. Был пастух — стал гордость деревни! Каждая вспоминала про стишок или песенку, пропетые женихом или просто молодчиком. Мать вспоминала, как пели детишки. Все эти песенки легко, словно сдувая пыльцу с одуванчика, пел в воздух Вахо, не считая и не запоминая их,— и песни носились бабочкой в воздухе, от одного к другому.

— Он сладко говорит,— сказала самая старая, мать восьмерых детей,—так сладко,—и дети повторяют своим ротиком его слова. Никогда я не слышала от Вахо грубого слова. Бывало, ругаешься, обколотишь в работе руки, устанешь,— а как пройдет мимо Вахо с песенкой, странно станет и зубы оскалишь. Скучно будет деревне без мальчика!

Одна только хозяйка, жена Лукаша, ничего не говорила и глядела в сторону длинными, как миндалины, глазами. Ей вспоминался воловий затылок Лукаша, его мохнатый рот, тупые глаза — не песенками ли Вахо он заставил ее выйти за него замуж и принять в дом свекровь, злую, как медведица? И вот Вахо стал героем, гордостью, чудом деревни! Вахо повезут в город, станут учить, он вернется оттуда с очками и золотыми зубами, как у городских учителей, и кто знает, повернет ли он голову, если все дочери Минаса позовут его в дом?

— Вахо-джан,— зашептала жена Лукаша, наползая на мальчика и загораживая огромную рыжую луну,— не дрожи, я тебе ничего не сделаю, только поцелую разок, крепко поцелую за песенки, что ты подарил глупому черту, Лукашу!

Она вытянула красные губы, нашла рот мальчика и, хотя он отталкивал ее что было мочи худой, как

[illegible] рукой, поцеловала со всей силой, втянув его губами и укусив ему губы. Потом, как пьяная, пошла с крыши, звеня монетками на лбу и путаясь в складках юбки.

Мальчик бросил ей вслед горстью сена. Дрожащий от обиды и гнева, он не придумал ничего другого. Горсть не долетела даже до лестницы, а, постояв в воздухе, лишенная жизни и тяжести, вместе с ветром вернулась ему, бессильной щепоткой, в лицо.

IV

Утром на пастушью дудку со всех дворов, в полумраке, начинают выходить, шурша по земле копытами и почесываясь спинами о стены, темные тени. Поднимут рогатую голову, постоят, опять идут. Сипло сопят буйволы, коровы дожевывают ночную жвачку. Ноздри у коров розовые, опухшие, дышать им трудно. За ними трясется мелкота, козы и овцы; на приподнятых задках пыльное, как войлок, руно, ударишь — пыль столбом и рука уйдет в шерсть.

Вахо проследил, все ли в сборе. Последней пришла черная корова Оника. Слившись в стадо на повороте, животные густо пошли вверх по ущелью. Справа и слева, опустив хвосты, носом в землю, бежали собаки. Вахо, легкий и длинный, вскидывая коленки, носился наперерез козлятам, перепрыгивавшим канаву. Огромная баранья шапка еле держится у него на затылке, ноги в обмотках, сандалии из буйволовой кожи тянула и острым шилом буравила по краям майрик Закарьян.

Миновали ущелье, внизу в последний раз мелькнула деревенская колокольня. По углам ее были ниши, сберегавшие в себе, как в раковинах, глубокие тени ночи. Но наверху земля начала выкуривать росу, жарко стало, застрекотали десятки ручьев, продираясь через кусты и колючки острыми локоточками.

Вся деревня шла перед Вахо. Жирные буйволы Минаса с ослюнявленными мордами били себя хвостом по бокам. Черная корова Оника гипнотизировала белыми кругами вокруг глаз. Маленькая желтушка

псаломщика не шла — бежала. Тигранян, председатель, так и кивал бородой в собственном козле, желтоглазо и начальственно пучась на семенивших за ним коз. Ягненок майрик Закарьян, непомерно длинноногий, скакал, как собачка, возле Вахо.

Пастбище, куда они шли, было верстах в десяти над деревней, у самого истока реки. В узком ложе, среди насыпанных серо-белых кругляков и оторвавшихся обломков скал, крутилась горная речушка, застаивая зеленую влагу в глубоких ямах. Внизу меж камнями чернела лазейка. Длинная, белесоватая, похожая на восковую, лежала тут шелуха, словно футляр от смычка,— змеиная шкура. Вахо часто находил их перед острыми щелями в горах. Он любил змей. В песнях он пел о том, как стареет змея, разносив свою шкуру, как ей становится не по себе тонким телом в разношенной оболочке. И вот она начинает тревожиться, свернется и развернется, ляжет в кольцах на траву, подпрыгнет из нее в воздух, и вдруг свистя поползет змеиной дорогой, исхоженной предками, пахнущей змеями, с бледными знаками длинных следов, пока не очутится перед щелью. Вахо видел глаза змеи и судорогу, взвивавшую ее тело. Змея не хотела лезть в щель. И все-таки лезла, сцарапывая с себя доношенную шкуру, пока не цеплялась шкура, лопнув, словно бычачий пузырь, за каменный выступ, и змея выходила из щели бледнорозовая, сияющая молодостью, вздрагивая от остроты ощущенья жизни...

День все жарче. Стадо разбрелось, обшаривая мокрыми губами пахучие травки. Бараны быстро стригут траву мордочками, похожими на машинку для стрижки волос, и курдюки их колышатся медленно, от каждого шага. Черная корова легла на траву, не подогнув, а выпятив ноги, торжественным сфинксом, и подняла черную морду с белыми пятнами вокруг глаз. Она тяжело дышала. Солнце вызвало в ней сердцебиенье. Копыта ее чесались.

Вахо знал, что в коровьем теле экстаз. Пора было гнать стадо на водопой. С гортанным криком, прищелкивая кнутом, он носился взад и вперед, пока не согнал

стадо в ущелье; оно спустилось по крутизне, тяжело ступило в речные ямы, замутило воду и оцепенело.

Тогда, сев на камешек, он вынул свою драгоценность — тонкий и темный кухонный ножик, одно лезвие без ручки, и стал мастерить себе новую дудку.

Между тем белая с бурым туча остановилась над ущельем. Белые хлопья стали сворачиваться, а бурые разматываться и падать длинными, тяжелыми дорожками вниз. Солнце исчезло. На секунду остановился ветер. И вдруг с высоты налетела пыль, и посыпался вниз мелкий камень. Вахо поднял голову,— быстро, выпученными кругляками, языком тигра, катился на ущелье буро-черный вихрь. Мальчик вскочил и выронил дудку. Шапка слетела у него от прыжка с затылка. Собаки заскулили, уткнув морды между лапами. Шла смертоносная буря с горы Ляльвар[1], редкая буря, о которой говорили деды. Он знал, что в такую бурю деревья несутся в воздухе гусиным пухом, град бьет виноградники, лужи вздуваются реками, реки водопадами. Но прежде чем сообразил, что ему делать, круглая туча, исчерканная сотней желтых зигзагов, опрокинулась над ущельем ливнем.

Отчаянным криком Вахо стал гнать стадо из речки на берег и, забегая в воду, толкал изо всех сил горячие тела животных. Но стадо испуганно сбилось и все глубже наседало под ливнем в ямы, где не так било течение. Тогда, содрогаясь от ужаса, он побежал, маленький, тощий, намокший, к берегу, таща черную корову за хвост. Но корова не двигалась. И Вахо бежал, не двигаясь с места. И волны бежали, не двигаясь. Двигался только берег, шипя, удаляясь, становясь все уже и уже. Речка густела, точно била фонтаном из-под земли. Вода уже дошла коровам до ребер. Блеяли бараны безумным блеяньем, их уносило вниз по течению с перебитыми ногами, вывороченными копытцами, розовой пеной у морд, мутным ужасом в стеклянных зрачках. Бессмысленные толстые буйволы падали на колени, разбиваясь о камни. Стадо предсмертным

[1] *Ляльвар* — гора в Лорийском уезде. Ежегодно от бурь здесь бывают страшные опустошения. Град губит посевы.

мычаньем взывало к Вахо, весь мир наполнился круглыми, мертвыми градинами — зрачками животных, с бледной мукой крутившимися в воздухе. Стадо погибло, деревня погибла, добро богачей и бедняков, их хлеб и хлеб их детей в минуту, меньше чем в минуту, крутясь, унеслось в бездну. Вахо закачался от боли из стороны в сторону, как на похоронах. Страшная острота сознанья пронзила его: он видел сейчас спиной, как будто в спине был глаз, необыкновенно длинного на песке от вытянутых ног и мокрого руна, мертвого ягненка, поднявшего в кровавом оскале губу над кротчайшими мелкими зубочками. Видел вытянутым пальцем рук перед собой, в кромешной тьме, ревущий огромный поток, где неслись вниз темные тела, то оттягиваясь волной вниз за ноги, то всплывая наверх вздутым белесым брюхом...

— О-а! — закричал Вахо и прыгнул лицом в бездну, с волосами, подъятыми от неистовой силы крика.

Его нашли утром, когда стало тихо, на щебне.

Он лежал с подкинутыми коленками, как при беге, с разметанными руками, ладонями вверх, с головой, свернутой набок, потому что при паденье ему перекрутило шею. И только волосы стояли один от другого торчком на голове, точно вздыбившая их сила не хотела разжать мускулов даже в смерти.

1927

КАК Я БЫЛА ИНСТРУКТОРОМ ТКАЦКОГО ДЕЛА

Очерки

I

Часть интеллигенции, принявшая Октябрьскую революцию, никогда не перестанет считать ее первые три года — благословенными. Этого не понять эмигрантам; но это вряд ли понятно и партийным работникам.

Дело в том, что мы, принявшие, были поставлены в исключительные условия. Отвергая политику и ничего не смысля в марксизме, менее всего могли мы смотреть на грозную октябрьскую действительность под углом зрения «социального опыта».

Но все же это был опыт для нас. Только не социально-экономический,— а совестный. Каждый из нас видел и знал, что крайняя линия революции — по совести самая правильная; лозунги ее совпадали с тем абсолютизмом требований, который выставляет наперекор жизни «утопическая» людская совесть. И потому для нас октябрьский абсолютизм был вовсе не пробой, не экспериментом, не другим мудреным делом, как называют его враги и друзья,— а единственным всамделишным делом на земле, быть может первым и последним, для которого стоит человеку жить на свете. Чем лучшие бредили, что во сне виделось, в

молитве молилось,— искупление,— час жертвы за нашу вину перед мучениками жизни, вдруг пробило на часах у каждого из нас, вошло и стало. Надо было понять это именно как искупление и обратить все дальнейшее в радость исполненного долга Или не узнать пробившего часа и отвертеться от него в упрямом нравственном саботаже, превратив для себя все дальнейшее в пытку.

Часть интеллигенции избрала первое. Я горжусь тем, что принадлежала и принадлежу к этой части. И надо сказать, нас было вовсе не так мало, как это мерещилось за рубежом.

Из сказанного ясно, что мы восприняли октябрьский переворот как нравственный переворот. Этот последний требовал от нас необычайного образа действий, того полного и фанатического самозабвения, которое по-разному в разных случаях жизни осуществляется, но всегда знаменует собою волевое чудо: инвалид берет постель свою и идет; богач раздает все свое имущество; убийца кается... Словом, налицо должно было быть нравственное перерождение.

Но конкретные условия беллетристики или притчи — это одно. Конкретные условия жизни — это другое. В конкретных условиях революционной действительности наше нравственное перерождение принимало много черт забавного, трагикомического, возвышенно-нелепого, донкихотского. Это, конечно, ничуть не умаляет его природы и не делает нашу деятельность тщетной.

II

Для тех, кто встретил Октябрь на юге России, он пришел с запозданием. Задержка вышла чуть ли не на полтора года и в осином гнезде русской «контрреволюции», в Ростове-на-Дону. В то время как центральная Россия уже усвоила советскую терминологию, обзавелась канцеляриями, стилем, трафаретом, организационными навыками, даже особым жаргоном, мы все еще питались только двумя источниками: чистыми лозунгами, которые принимали на совесть, и скверными

анекдотами, которые поставляла печать и которым мы не могли и не хотели верить. Разумеется, когда час для нас пробил, мы встретили его «наивными провинциалами».

В четырнадцатый раз выползли отсиживающиеся от артиллерийского огня из своих подвалов. Пересчитали опять друг друга и опять не досчитались. Простучали по развороченным гранатами улицам копыта буденновцев. Взвилось красное знамя повсюду, где болталось трехцветное. Запестрели по стенам плакаты. Мы вступили в страну чудес из-под кабацкой одури и нагайки Врангеля.

Над самым Доном, в многоэтажном доме Ретцлера, немедленно образовался тогда губернский наробраз — слово, прозвучавшее для нас в первинку чем-то вроде дикобраза. И вот туда-то потекли за чудом радостные и помолодевшие интеллигенты, хотевшие искупить свою вину перед чернорабочим, перед неимущим, перед невеждой. Приходили и предлагали: берите нас, мы можем то-то и то-то, мы хотим послужить, поменяться местами...

Один из парадоксов Октября (а может быть, так и нужно в необыкновенные минуты?) — это неуменье использовать человека в том, что он всегда делал, то есть в его профессиональной практике; но наряду с этим — уменье заставить того же человека работать, и превосходно работать, на чужом для него деле. Быть может, здесь и кроется кое-что от пережитого интеллигенцией нравственного «чуда»?

Как бы то ни было, в самом начале приходившие старались послужить, *чем могли*. Но рано или поздно оказывалось, что они *никак не могли дать что-либо революции тем, что они могли дать ей*. И тогда приходилось служить ей как раз тем, чего раньше не мог, чего никак от себя не ожидал и не предвидел. Зарубежные критики и в этом усмотрели гибель культуры. Поэт заведовал бараками, инженер редактировал газету, актриса шла в политкомы, профессор секретарствовал во Всеобуче, дантист читал лекции о... Данте. Это все было, но вместо «гибели культуры» это несло зародыши ее обновления,

возврата к органическому ходу вещей от помертвелого профессионального автоматизма. Свежел человек на новом месте, и личное освежение помогало ему делать новое дело оригинально, смелее и вдохновенней, чем он делал свое собственное. То был медовый месяц Октябрьской революции, время так называемой «организационной работы». Эпоха привлечения «спеца» пришла позднее.

III

Вместе с другими двинулась и я на искупление. И вместе с другими «поэтесса Мариэтта Шагинян» не нужна была революционной России как поэтесса. Писатели центра и представить себе не могут, сколько статей написала я с моими единомышленниками и друзьями в южные советские газеты и сколько из этих статей было возвращено — за ненадобностью — обратно. Смиренно обивали мы пороги редакций со стихами и прозой; временный военный редактор газеты — председатель комитета учащихся четвертого класса местного Коммерческого училища, допризывного возраста — твердо отвечал мне, что я пишу буржуазно и неподходяще. И был прав. Все, что писалось тогда в газетах этими допризывниками, выдвинутыми по естественному отбору революции,— даже смешное, даже безграмотное,— было по-своему величественнее, проще и нужнее самых обдуманных наших писаний. Мы не умели нащупать насущное; а для проблем время еще не созрело. И нас неизбежно отстраняли.

Тщетно предлагала я свой консерваторский курс по истории искусства рабочим клубам, пролеткультам, партшколам. Он не годился. Он был взят в ином темпе, нежели происходившее за стенами; было несовпадение в такте, и потому наше, интеллигентское, вмешательство в строй жизни оказывалось «нетактичным».

Но как же попасть в такт и чем послужить? Спешу прибавить, что в ту пору шкурного вопроса еще не народилось. Задача «служить, чтобы жить», еще не обозначилась, гражданская война приучила нас к особому,

бивуачному modus'y vivendi, к беспрерывным постоям, которые, кормясь у нас, кормили и нас. Поиски «служения» могли поэтому быть беспримесно-этическими.

За ненадобностью профессиональной — пошла трагическая полоса проектов и докладных записок. Проекты подавались тщательно обработанные, с цитатами, библиографией, с высокою эрудицией,— не проекты, а магистерские сочинения! Докладные записки разрабатывали социологию, психологию и даже гносеологию предмета,— и все это в эпоху, когда не нужно было ни гносеологии, ни социологии, а просто, может быть, стукнуть на стол и крикнуть в двух словах, что тебе нужно.

Ненадобны оказались и наши проекты.

И вот, когда я уже совсем отчаялась в возможности чем-нибудь послужить революции, меня призывают и назначают инструктором текстильного дела при только что образовавшемся Донпрофобре[1].

Инструктор текстильного дела — это не от слова «текст» и к литературе отношения не имеет. На курорте, мимоходом, радуясь новому роду знания, поступила я как-то в прядильно-ткацкую школу и кончила ее квалифицированной пряхой. Где-то в анкете упомянула об этом,— и вот я понадобилась.

Помню, как я пришла в первый раз в Донпрофобр. Служащие еще не знали друг друга по имени-отчеству, не все помнили заведующего в лицо, никого не помнил заведующий, и никто не знал в точности расположения комнат. Инструктора назначались с лихорадочной поспешностью. Им предоставлялись широчайшие возможности выдумывать самим себе какие угодно инструкции и выполнять их с мандатами в руках, но без денег. То было время безденежья и полновластия мандатов.

Заведующий деловито предложил мне подумать, что можно сделать в роли инструктора. Я обещала подумать и первый свой визит сделала к Брокгаузу и Ефрону.

---

[1] *Донпрофобр* — Донской отдел профессионального образования.

Для специалиста Брокгауз и Ефрон не нужен. Специалист знает, что словарь местами неверен, что библиография в нем устарела и что вообще справляться ученому в словаре—моветонно [1]. Зато дилетанту (а все инструктора были в ту пору вдохновенными дилетантами) Брокгауз открывал широчайшее поле зрения. Надо было только уметь выбирать. В один день я узнала историю ткачества, историю овцеводства, историю Донобласти, обработку льна, обработку конопли, науку о шерстоведении и уже не помню, что еще. Пять лет жизни стоило мне, чтоб кончить историко-философский, два года беспрерывной работы, чтоб осилить кристаллографию. Но я никогда не знала ни истории философии, ни кристаллографии с тою исчерпывающей ясностью, с какой обрисовалась передо мною возможность текстильного дела на Дону в итоге однодневного чтения. Уже я знала, какое у нас сырье и куда мы его продавали; знала, что ткачество неведомо донским городам даже в кустарном виде, что станичники не прядут, не обрабатывают конопли. От Брокгауза я отправилась к городскому агроному и прибавила к своим познаниям статистику: сколько уничтожено овец войною, где и какой сорт остался. И пусть читатель не смеется: когда спустя месяц мне пришлось столкнуться со специалистами по каждой отрасли, открывшейся мне по Брокгаузу,— я оказалась вооруженной столь синтетичным и не затемненным знанием всего самого главного, что могла говорить и спорить с каждым из них,— настолько, чтобы от них учиться. Вот незаменимая польза такого общего представления о предмете: оно подготовляет вас к приобретению правильного знания. Специалист же частенько не видит за лесом дома.

План, вставший передо мною к закату первого дня, был увлекательно прост. Надо только открыть в Ростове основную прядильно-ткацкую школу для срочной подготовки учителей. А по станицам разбросать отделения областной школы, где обучались бы элементарному прядению и ткачеству. Я уже узнала, что ткацкое

[1] *Mauvais ton* — дурной тон *(франц.)*.

кустарничество предшествует фабричному производству и далеко не убивается этим последним; так, в бывших Эстонской и Лодзинской губерниях, поблизости от производственных центров, продолжали работать и кустари, не убиваемые фабрикой. Оттого-то мне померещилось начало кустарничества в Донобласти, наряду с широчайшими планами конопляного и льняного промысла,— как зарождение будущего производственного центра. На следующее утро я проснулась в той напряженной устремленности к цели, какая, должно быть, бывает у стрелы, пущенной с тетивы. Уже не от меня зависело не быть «инструктором текстильного дела». С того утра целый год и два месяца я жила только одною мыслью и в реализации ее не знала ни отдыха, ни усталости.

IV

Надо защитить свой план — а с тобой спорят принципиально (мы были в полосе борьбы с кустарями).

Надо оборудовать школу, а где взять станки, помещение, прялки, сырье?

Надо открывать филиалы, а с кем?

Начало всему положил мандат. Этот мандат я сохраняю как реликвию: никогда ни одна бумага в моей жизни не была более потенциальна.

Мандатом мне давалась широкая власть делать все, что можно сделать доброй волей и голыми руками. Надо сказать, что до сих пор я была человеком антиобщественным. Глуховатость мешала мне общаться с людьми, близорукость делала неуверенной; я тыкалась носом наудачу и во всех личных предприятиях терпела поражение. Теперь мне суждено было радоваться глухоте и близорукости, как двойному кольцу вокруг моей мании, оградившему меня от добросовестного благоразумия чужих советов, от скепсиса, от недоверия, от излишнего знания людей и обстоятельств, от всего, что могло бы обéссилить и охладить. Наступило «безумие».

Метод «реквизиции» был всесилен в провинции тотчас после переворота. Не всегда он применялся пра-

вильно. Отобрать и переставить с места на место — дело пустое; однако оно давало иллюзию строительства.

Я очень скоро поняла, что реквизировать значит разрушать; составила даже табличку, что можно и чего нельзя; можно реквизировать пустое помещение, можно реквизировать сырье, если тотчас же пустишь его в обработку, но никогда нельзя реквизировать машину, орудие производства, там, где оно уже действует,— так гласила моя начальная этика. Между тем машина-то и была мне наиболее нужна. В Ростове несколько ткацких станков было в ремесленном училище да у немногих кустарей, возникших только с начала войны. Реквизировать их — значило разрушить готовое дело. И вот я отыскала инженера, изготовившего эти станки, и волшебный мандат мой, как Аладинова лампа из «Тысячи и одной ночи», снабдил инженера заказом. За все время моей деятельности открыв областную и ряд сельских школ, я ни разу не реквизировала ни одного инструмента, ни одной прялки, хотя инвентарь теперешней областной школы весьма внушителен.

С совнархозом мне пришлось вести дамскую политику. В совнархозе сидели спецы и люди воспитанные; они еще целовали руку и почитывали книжки. Около них я смутно вспомнила, что когда-то была поэтом, и пользовалась этим. Зачем автору «Orientalia» сырье? Мандат можно обойти, можно заканителить ордера до полной неразберихи, но не стоит обижать даму и поэтессу,— и сырье со вздохом было отпущено.

Я воевала с «Чусоснабармом», «Райкомводом», Реввоенсоветом, штабами всех дивизий, проходивших через Ростов, с телефонно-телеграфной командой, с Ревтрибуналом, с курсантами, со всеми, кому не лень было въехать в мое помещение, занятое и отремонтированное под школу. Товарищи-организаторы знают, что это значит! Сколько раз приходилось бросать налаженное место, сколько прошений исписывалось, куда только ни ездилось; сотни расписок от принятых Рабкрином жалоб угрожающе, но бесполезно скоплялись на дне портфеля. Донисполком, и окрисполком, и горисполком

повторялись сотни и тысячи раз, и когда возникал, как в карточной игре в «пьяницы», бесконечный спор между двумя учреждениями, он решался в присутствии какого-нибудь «члена президиума» (члены коллегии еще не вошли у нас в моду). Каких трудов стоило добиться решения — и часто торжественная выписка из протокола, потрясаемая в воздухе перед лицом какого-нибудь заведующего хозяйственной частью штаба Н-й дивизии, пренебрежительным фырканьем выдувалась у нас из рук и шла на цыгарку, а штаб жил себе и жил у нас в школе, разводя насекомых и сквозняки.

Но и это было еще только началом.

За городом — стояли станицы.

В Донской станице остались одни бабы (всех казаков угнали сперва Деникин, потом Врангель), старики заседали в исполкомах, а ребята шли за секретарей. Раз в неделю партийный комитет посылал туда ораторов, на митинг. Я было пустилась в путь одна, с могущественным мандатом. Но меня чуть не избили на глазах у исполкома. Агитаторше, посланной от парткома, спастись не удалось,— ее избили. С тех пор я ездила по станицам всегда в компании и наслушалась деревенских митингов, в конце которых ораторы выпускали меня как наглядное доказательство забот города о деревне. Я садилась на возвышении, в огромной зале бывшего волостного управления, с весами посреди нее (шла разверстка, и здесь производили ссыпку). Мне приносили с телеги прялку, чесалку, узелок с мытою шерстью. Я показывала, как надо чесать шерсть, делала кудель, садилась прясть и час-другой пряла под сердитыми, наблюдающими глазами казачек. Потом они подходили, трогали прялку, шерсть, нитку и меня заодно. Я невинно привирала, что платье мое (льняное) выткано мною самой. И тут же говорила о том, как можно и на Дону вырастить лен, годный для пряжи. Эти «сеансы» всегда были самыми интересными частями митинга. Иной раз они курьезно кончались; слушают, слушают казачки, одна скажет: «А ведь у нас тамбовцы есть, беженцы, ширинку ткать умеют и красить умеют, и прядут-то чище тебя».

— Зови тамбовцев!

И являются благообразные расейские, в лаптях, с тонкой усмешечкой. Оглядит прялку, покритикует. Беженцев я тотчас же мобилизовывала, делала преподавателями, вносила в ведомости губнаробраза и на месте, запротоколив это собственноручно в заседании исполкома, открывала филиальное отделение.

Однажды, в армянском селе, с помощью таких беженцев мы инсценировали сбор, мочку, трепку и ческу дикой конопли; это было так показательно, что вся деревня ходила за нами, и к следующей осени мужики уже делали мешки и веревки.

Возвращаться приходилось чаще всего ночами, при холодной степной луне. Телега прыгает на рытвинах, рядом — усталые митинговые ораторы, бледные городские люди. Смотрят на степь, на бегущие волны ковыля, под луной оживающие, как море, и пускаются иной раз в беседу со стариком-возницей. Он хитрый — молчит, в бороду смотрит, вожжой пошевеливает: н-но! Старые крестьяне и казаки — консерваторы и оппозиционеры; но, не в пример молодым, они умеют и любят слушать и отлично разбирают поверхностные речи и глубокие. Проезжаем бахчой, лошаденка остановится, казак слезет, сорвет арбуз, угощает заезжих горожан. Мы режем перочинными ножами, но холодно есть холодноватую сладость арбуза в степные ночи: словно купаться вздумал.

Я перевидала и переслушала в эти поездки множество людей и бесед. Это еще не отстоялось во мне,— но стоит каким-то душистым, прохладным комом, близкое, как вчера, и ждет своей очереди. Мне жалко осознавать его, хочется длить вкус этого близкого и глубокого воспоминания, чтоб никогда не забылись ни его нежность, ни острота.

А «Первая советская прядильно-ткацкая школа» возникла, как реальнейшее дело, с шестью станками и чулочными машинами, с пятьюдесятью прялками. Спецы — лектора; молодой и толковый строгановец — заведующий. Учениц и учеников столько, что одних кандидатов составились две очереди. В первые же три месяца мы дали наробразу сукно...

Теперь и она ушла в воспоминанье. Я сделала свое дело, соскучилась по перу, вернулась на север. Но все написанные мной книги и те, что, может быть, еще напишу, кажутся мне ничтожными по сравнению с годом и двумя месяцами, когда я была «инструктором текстильного дела на Дону». То, что я делала и сделала, кажется мне сейчас, при осязании собственной интеллигентской косности и бестолковости,— необъяснимым, но несомненным чудом.

Dixi.

1922

СВОЯ СУДЬБА

Роман

«Who chooseth me must give and hazard all he hath».

Shakespeare, «The Merchant of Venice» [1].

Глава первая

АССИСТЕНТ ПРОФЕССОРА ФЁРСТЕРА НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ

Шел второй год войны с Германией. На фронт я не попал по причине крайней моей близорукости; и благодаря связям и хлопотам моей матушки получил приглашение занять место старшего помощника у Фёрстера. Для молодого человека двадцати пяти лет, только что окончившего курс и не имевшего опыта и практики, такое место было большим счастьем. Фёрстера я знал как выдающегося психопатолога, а его санатория считалась у нас образцовой. В начале мая товарищи дали мне прощальный обед, и на следующий день я выехал к месту моей службы.

Дорога была дальняя и трудная. Санатория находилась в глубине Ичхорского ущелья на далеком Кавказе. Из Царского Села, где постоянно жила моя мать, я в три дня доехал до станции Новонагаевской, в просторечии Нагаевки, а затем перебрался из вагона в почтовую колымагу. Мне предстояло еще три дня пути вдоль реки Кубанки, мимо казачьих станиц, горских аулов и пастушьих кошей. Я захватил из дому так много всяких пожитков, что, разместив их в колымаге, едва нашел место для самого себя. Однако еще в Нагаевке кучер посадил в колымагу толстого волосатого человека

---

[1] «Кто выбрал меня, должен отдать все и рискнуть всем, что имеет». *Шекспир*, «Венецианский купец».

с красным платком вокруг шеи. Несмотря на мои протесты, толстяк уселся прямехонько на ящик с книгами, толкнул ногою ботаническую жестянку, придавил каблуком английское седло и водрузил мне на колени картонку с дамскими нарядами.

— У меня, извините за выражение, жена,— сказал он, снимая фуражку и вытирая платком голову.— Мы по торговой части. Лавку Мартироса знаешь? Я сам и есть Мартирос.

Он оказался армянином, держащим лавку возле санатории. Я примирился с ним, когда он извлек дюжину подушек и устроил на сиденье нечто вроде тахты. Мы ехали по пыльным улицам, кой-где обсаженным чахлыми деревцами. Медленные куры переходили нам дорогу. Был ранний час, но солнце уже припекало. Глиняные домики с зелеными плотно закрытыми ставнями начали редеть, пошли кривые изгороди садов и огородов и, наконец, за последней пивной, переделанной в «чайное заведение», потянулись бесконечные зеленые холмы. Слева от нас встала, как легкое белое облако, шапка Эльбруса. Возница, рябой малый лет осьмнадцати, то и дело вынимал из-за голенища кнут, помахивал им и снова втыкал его обратно, давая понять о полной своей добросовестности. Я вытащил из чемодана книгу, притворился читающим, а сам стал тихо думать о том, что оставил в прошлом и что надеялся приобрести в будущем.

Молодость моя прошла в ученье; особых событий у меня в жизни не было, да, пожалуй, и не будет. Я склонен думать, что всякий человек носит свою судьбу в себе самом, а содержание жизни формируется по свойствам его характера; народ называет это «на роду написано». А я от роду тихий, болезненный человек с маленькими ежедневными целями. Характер огораживает меня от всего, что можно назвать случайным; я сознательно продвигаюсь вперед не более как на шаг с каждым разом и знаю, куда поставлю свою ногу. Большой, далекой цели у меня нет. Каждый шаг учит следующему, но и только: дальше него я не гляжу. Матушка называет это мещанством.

Мать моя не совсем обыкновенная женщина. Мы мало любим друг друга и мало жили вместе. Она сухая,

средственная и страстная; в ней так много полноты жизни, и она до сих пор так страстно умеет желать чего-нибудь, что я иной раз завидую ей и кажусь сам себе старичком; но зато она и скучать умеет, скучать не часами, а днями и неделями, в каком-то унылом и озлобленном безделье, чего я решительно не умею и не умел. У нее было много привязанностей после смерти отца, но ни одна не перешла в прочную. Были у нее и занятия, от сдачи комнат внаймы до разведения хлопка где-то в Херсонской губернии; но все кончалось либо ссорой, либо прежней скукой. Читать она страшно любит и читает без разбору все, что попадет под руку, а при чтении неизменно томится. Матушкин друг и приживалка, Раиса Антоновна, называет это «томлением по чужому». И действительно, у матушки странная нелюбовь ко всему своему и любовь, даже больше того, зависть к чужому, начиная с чужого платья и кончая чужою судьбой. Должно быть, поэтому и меня она невзлюбила с самого детства—соседские мальчики казались ей и красивей и умнее, нежели я. Воспитывался я в старомодном учебном заведении, а жил на квартире у директора, вместе с его сыновьями. Издавна привык к дисциплине и к особенному чувству нелюбимых детей,— чувству, что никто за тебя ничего не сделает и никто на тебя не любуется. Форсить, кокетничать или просто поламываться на глазах у старших было для меня совершенной невозможностью.

Матушка, если рассердится, ругает меня «мещанином». Она часто дивится, как мало во мне артистизма и цыганства; оседлые инстинкты претят ей, а я не представляю себе жизнь иначе, как на своем месте; быть может, это и есть мещанство. Свое место — вот единственная понятная мне большая цель; сперва найти его, потом занять его и, наконец, сохранить его за собою. Мое природное спокойствие внушило мне мысль избрать медицинский факультет; я специализировался по нервным болезням. Работа у Фёрстера кажется мне пределом самых честолюбивых замыслов и будет (если бог даст,— как я всегда про себя добавляю) таким «своим местом» для моей маленькой жизни.

Так я раздумывал, пока мы тряслись вдоль однообразных холмов. Купец Мартирос сладко подремывал, закрыв лицо платком и расстегнув на жилете три пуговицы. Полуденные облака заволокли Эльбрус. Часам к двум показались белые хатки большой казачьей станицы, поднялась густая пыль, залились собаки с обеих сторон нашей тележки, и мы въехали в грязный, шумный «заезжий двор». Мартирос мигом проснулся, взял свой мешок и спрыгнул на землю.

— Айда чаевать,— пригласил он меня за собою.

Мы вошли в чистенькую горницу. Казачка побежала ставить самовар, а я осмотрелся вокруг. Казачьи гостиницы — жилое помещение самих хозяев. Две-три выбеленные комнатки с кроватями и деревянными лежанками, кривое зеркальце, комод, а по стенам фотографии, усиженные мухами. Ставни закрыты, и в комнате душистый холодок. Изредка забредет курица, клюнет раза два крашеный пол и неуклюже выпорхнет за дверь.

Мой спутник развязал мешок и стал вынимать оттуда разные припасы. Все было завернуто в чистенькую бумагу и распределялось по тарелкам. У него оказались консервы, огурцы, жареный барашек, варенье и сыр. Я заказал себе яиц и молока. Наш рыжий возница давно уже выпряг лошадей, похлебал щей и спал на бурке под телегой. Мы «почаевали» с Мартиросом и вышли на крылечко покурить. Я стал расспрашивать его о Фёрстере.

— Знаем,— ответил купец,— хороший господин. У нас товар забирает на всю больницу. Большой барин. Хозяйка у него — наша армянка. И дочка есть, красавец-девушка.

— А больных у него в санатории много?

— Сейчас полно. Автомобиль ходил каждые три дня в Нагаевку и назад. Теперь коляска ходит, автомобиль реквизировали. А ты что, лечиться будешь?

Я объяснил ему, кто я такой. Тогда Мартирос стал разговорчивей. Он сообщил мне, что знал, о порядках санаторской жизни, о характере моего будущего патрона, о красоте Ичхора.

После полудня мы снова двинулись в путь. Перед нами проплывали необозримые степи, уже сухие от жары, наполненные звоном кузнечиков. Едешь час и другой, а впереди ни жилья, ни клочка обработанной земли. Редко-редко проскрипит на волах старик-осетин или протрусит рысцой кабардинец.

Заночевали мы в городке Буйске, отличавшемся от других разве тем, что грязь в нем не сохнет ни в жару, ни в холод. Гостиница «Африка» с бильярдом и граммофоном, где мы остановились на ночь, была переполнена. Нам отвели чуланчик с двумя койками, и не успели мы лечь и задуть свечу, как по стенам зашуршали тараканы. Я совсем было задремал под их шелест, но в соседней комнате закашляли, и чей-то сухой и капризный голос произнес:

— Семенов, вы спите?

— Нет, Павел Петрович,— ответил приятный басок.

— Так чего ж вы, черт возьми, замолчали? Рассказывайте дальше.

— Соседей потревожим, Павел Петрович, да и вставать завтра на рассвете...

— Я вам русским языком сказал, что на рассвете не встану. Полагаю, этого с вас достаточно?

— Поздненько до́ дому будем, если не встанете.

— Ну и пусть поздненько. Да и все равно еще одна ночевка. На чем, бишь, вы остановились? Как этот, как его, Уздимбей, что ли, решился его отыскивать?

— Да. Ну, а Уздимбей, надо ж сказать, лучший наш проводник до самого Сухума. Про него известно, что он и с абреками знается, и очень они его боятся. Ихняя супруга, значит, зовет его...

— Чья супруга?

— Барина, который свалился. Зовет, значит, и говорит: я тебе, Уздимбей, дам три тысячи в руки, а если жив не вернешься, так твоей хозяйке, только достань мне мужа из пропасти. И сама плачет; страшно она плакала, этак часами; мы, бывало, на нее глядя, слез не сдерживали. Уздимбей шапку помял и домой. А у него жена молоденькая и четверо деток. Старший сын, Азамат, уж бегает, шустрый такой мальчишка. Поднял он Азамата на руки да и передал хозяйке. Если, говорит,

не вернусь,— вот тебе господин. А вернусь, хату новую построим, обновки куплю, машину с музыкой выпишу,— это он у нашего урядника видел. Только поздним вечером услышал про это наш профессор и зовет его к себе.

— А профессору какое дело?

— Как же, ведь он у них в большом почете. Горцы его обо всех делах спрашивают, и какой он совет даст, так они и поступят.

Мартирос подошел ко мне в темноте и шепнул:

— Слышишь, кто говорит? Фельдшер, должно быть, больного везет. Он хороший старик, завтра познакомлю.

Я отстранил тихонько Мартироса, чтоб не мешал разговору наших соседей. Мне хотелось дослушать про Уздимбея. Приятный басок тем временем продолжал:

— Пришел Уздимбей к профессору, а тот посмотрел на него, да и говорит: «Послушай, друг, один не ходи, а возьми с собой товарища».— «Это почему, коли я лучший ходок?» — «Именно потому и не ходи один». Уздимбей обиделся на него и не захотел больше слушать. Тогда профессор снова стал его просить, чтоб один не ходил, а взял с собой помощника. Но Уздимбей покачал головой, мол — и один справлюсь, а денег делить не хочется. «Ты не деньги, ты славу разделить не хочешь,— говорит ему опять профессор,— но смотри, это штука нелегкая, как бы она тебя не задавила!»

— Скажите, каков сердцевед! — проскрипел сухой голос насмешливо.

— Ему и по занятию своему надлежит сердца ведать,— скромно ответил басок.— Он и ваше изведает, коли вы у него лечиться будете.

— Да не тяните же, чтоб вас!

— На другой день взял Уздимбей веревок, палку и пошел. Место, где барин провалился, у нас называется Чертовым Зубом. Совсем отвесная скала, наверху трезубье, а по бокам две трещины, сажен по двадцати каждая. В такую трещину он и свалился тогда, по следу видно,— где на уступе веревка, а где платок его, портсигар, ну и еще разная мелочь из карманов повывалилась. Уздимбей намотал веревку на камни и, взявшись за нее, полез вниз. Короче говоря, все это он чи-

...л. На самое дно спустился, барина нашел — ...ти перебиты, а мясо ровно каша; останки ... мешок, на спину себе увязал да таким манером ... выполз на свет божий. Сказать это вам легко, ... был это действительно подвиг, за который, ... границей приз бы выдали и фотографию сня... Пришел он к нам не то чтобы веселый, а даже осуе... какой-то.

Осутелый?

Ну да, все суетится и суетится. Его поздравляют, ... высыпали из саклей, отдыхающие к себе зовут и ... не в двадцатый раз просят, чтоб рассказал, как ... произошло. А ему все мало. Ему все кажется, будто ... не дивится. Жене кричит: ты чего не ахаешь? А ... просто рада, на седьмом небе, что жив вернулся, ... про эту страсть и вспоминать не хочет От Аза... от малолетнего, требует к себе удивленья. Бараш... зарезал кунакам на шашлык, кинжал свой серебря... самому бедному горцу подарил, и все, чтоб шуму ...круг было больше. И все от величия, захотелось ему ...ичия побольше. Первые три дня горцы пировали, ... тоже было это довольно любопытно, но потом — ...ете — ко всему привыкаешь, и стала эта история от ... заслоняться разными другими происшествиями. Хо... Уздимбей по аулу, а уж всяк сидит на своем месте ... никакого особенного почтения ему не воздает. Начнет ... бывало, рассказывать, как над пропастью висел, а ... все это знают, и всем это скучно. Кто из вежливо... дослушает,— потому что горец — он народ вежли...,— а кто отойдет. Нашлись такие из наших, из слу...щих, которые уж и посмеивались. Ты, говорят, Уз...димбей, за то уж свою мзду получил, ты нам теперь что-...нибудь новое покажи. И затосковал Уздимбей, да так, ... ни скот не пасет, ни поста не соблюдает, ни намаза ... делает. Сидит у себя на пороге, подперев голову, и ...чается взад-вперед. Дивно ему, что вот он самое ве...ликое совершил, о чем никто другой и помыслить не по...смеет, а все на него глядят, как на обыкновенного че...ловека, и никому до этого подвига больше и дела нет.

Донесли об этом нашему профессору. Он сейчас же ...м отправился в аул и сел на крылечко возле него.

— Уздимбей,— говорит ему,— я тебе сказал, что этот подвиг не по твоим силам. Сделал ты такое, что больше тебя самого, и потому сам беспримерно на себя удивился. Было б такое дело по тебе, так и не вознесся бы ты до такой степени, а снес бы его как обыкновенно.

Уздимбей ему опять все свое: «Я, говорит, в пропасть спускался, покойника доставал, туда тур не ходил, а я ходил, конец мой видал», и все в том же роде.

Оставил его профессор и приходит домой. Мы видим по глазам, как он об чем-то серьезно этак думает. Не в его было правиле, чтоб душе человеческой не помочь, когда ей невмоготу. Прошло дня три, четыре, как вдруг велит он созвать всех горцев да и говорит им: «Братцы, так и так, я по Ичхору ходил, бумажник потерял, там у меня деньги большие, а главное — бумаги важные. Кто мне тот бумажник отыщет, деньги получит, и бурку ему новую подарю». Горцы мои меж собой залопотали и разбрелись по лесу. А лес, надо вам сказать, огромнейший, сами увидите, почитай что до самой конторки, которая возле перевала. Уздимбей тоже с ними пошел, чтоб со стариками да бабами не сидеть. Искали они, искали, а была у них там девчонка-сирота, по имени Саньят, грязная такая и белобрысая. Она возле самой речки, на камушке, и найди этот бумажник. Профессор, как обещал, дал ей деньги и платье новое сшил, а потом позвал к себе девочку и Уздимбея и говорит: «Как же так, Саньят бумажник нашла, а ты не нашел? Что ж она, ловчей тебя, что ли? — Уздимбей замотал головой.— Или ума в ней больше твоего? — Уздимбей насупился и с ноги на ногу переступил.— Или больше твоего силы и старанья приложила?» — «Аллах прислал, вот почему»,— отвечает Уздимбей. Улыбнулся наш профессор — мол, аллах так аллах. «Да ведь и ты при всем своем старанье мог живым не вернуться. Легли б твои кости там, где ты чужие собрал. Скатись, например, камень тебе на голову или сорвался бы он из-под руки твоей, или ветер землей бы осыпал... А тут посчастливилось — ничего такого не случилось. В чем же особенном твой подвиг?» Растерялся наш Уздимбей, а профессор серьезно так говорит, но

...смеются у него глаза: «Вот и воздай честь ал-..., а ты ее всю себе одному взял!» Пошел Уздим-... домой и с того дня стал, как все горцы, своим делом ...ться. Вот вам и весь сказ.

— Фу, как глупо. Семенов, подайте воды, я соды ...

За стеной наступила тишина. Я натянул плед на го-... и долго лежал перед тем как заснуть, думая о ... патроне и только что услышанной истории.

Глава вторая

ГДЕ РАССКАЗЧИК ЗНАКОМИТСЯ СО СТРАННЫМ БОЛЬНЫМ

Ранним утром нас поднял рыжий возница. Мы вышли на грязное крылечко и умылись из рукомойника, подвешенного к деревянной перекладине. Вода была мутная и пахла гнилью. Солнце еще не встало. На дворе потаптывали лошади, впряженные в колымагу. Кроме нее, возле крыльца стоял крытый щегольской фаэтон на рессорах, с выхоленной тройкой лошадей.

— Больничные лошади,— сказал мне Мартирос и поздоровался с кучером.

Я собрался было залезть в свою колымагу, когда на крыльцо вышли два господина. Низенький, крепкий, уже весь седой, с приятным яркорумяным лицом, и очень высокий, европейски выглядевший, с кожаным саквояжем в руках. Маленький оказался фельдшером Семеновым, моим будущим сослуживцем, а высокий — новым санаторским пациентом, Павлом Петровичем Ястребцовым.

Мы познакомились, и добрый фельдшер пришел в крайнее смущение.

— Голубчики мои,— заговорил он растерянно,— как же это вы едете на простой телеге? Мы вас не ранее как через неделю ждали.

— Разве вы не получили моей телеграммы?

Семенов улыбнулся и махнул рукой:

— А вы телеграмму дали? Надо ж вам было. У нас письма шибче депеши ходят, а и те недели две идут.

Он говорил и двигался с военной выправкой. Это был фельдшер старого, уже исчезающего типа, смахивавший на унтер-офицера. На борту его тужурки я увидел две медали. Было что-то в его выпуклых голубых глазах и румяном лице страшно располагающее к себе, наивное и вместе с тем умное. Я почувствовал с первой минуты, что мы будем друзьями.

— Послушайте, Семенов,— сказал больной уже знакомым мне скрипучим голосом,— не проще ли вам сесть в колымагу, а молодому человеку поместиться со мной в коляске? Я полагаю, его медицинские указания могут мне при случае заменить ваши.

— Точно так,— ответил фельдшер, без особенного, впрочем, одушевления. Он внимательно посмотрел на меня, а потом, видимо решившись, кинул в телегу свой узелок и полез в нее с помощью Мартироса. Я сел рядом с Ястребцовым, и молчаливый кучер, нагнувшись, застегнул за мной фартук.

— Трогай, да впереди, чтоб они нам не пылили! — крикнул мой попутчик, и лошади понесли крупной рысью.

Теперь только я разглядел моего соседа вполне. Он был прежде всего страшно худ. Это создавало впечатление, будто на лице его более оконечностей, нежели следует. Все кости вылезали у него кнаружи и двигались, точно были не скреплены, а только всыпаны в кожу. Когда он говорил, мускулы прыгали, нижняя челюсть как-то отпадала вниз, а глаза суживались. Зубы у него были совершенно черные, хотя и крепкие на вид. Но при всем том я солгал бы, если б назвал его уродом. Он был тем, что большинство женщин именует «интересным мужчиной».

Первые пять верст мы ехали почти молча, обмениваясь лишь краткими замечаниями. Дорога вилась по Кубанке; справа и слева вставали далекие очертания гор. Воздух становился все крепче и душистей; мы заметно поднимались. Спутник мой снял шляпу и подставил ветру свои короткие темные волосы. Вдруг он обернулся ко мне:

— Это вы были вчера моим соседом?

— В гостинице? Да.

— Значит, слышали, что рассказывал этот болван о профессоре Фёрстере. Такие россказни доходили до меня и раньше. Я еду в санаторию с пренеприятным чувством.

— Но почему же?

— Почему еду? Потому что некуда. А почему с неприятным чувством? Это длинный разговор. Кажется вам уместным, когда врач делается пастырем?

— Но я не думаю, что профессор Фёрстер делается пастырем. Он просто многое видел и многое знает по опыту,— ответил я сухо.

— Опыт, ха-ха-ха! — рассмеялся больной.— Знаете вы много про опыт, молодой человек! Может быть, вы воображаете, что перевидать людей и переслушать их бредни,— значит, возыметь некоторый психический опыт? Ошибаетесь, опыт не снаружи, не впечатлениями приобретается.

— То есть?

— Чего не носишь в душе, того вовеки не познаешь. Вы бы греха не поняли, если б не изживали его про себя. Опыт — это значит сделать нечто в самом себе, а если не сделать, то наткнуться. Ибо мы входим во владение своею душой очень постепенно, и не во всех комнатах обитаем,— многие стоят пустыми. Вот вы, например, далее прихожей и не заходили.

Я промолчал, вглядываясь в больного. Он заговорил опять:

— По-моему, люди так и разделяются на предметников и на опытных. Предметники — это вот фельдшер Семенов, да и вы, может быть. Они уходят в разные предметики, в дела, в должность, в события, и у них на всякий час свое расписание, а по ночам они спят. И думают такие люди, естественно думают, но непременно прицепившись к какому-нибудь событию, и этак казуально: почему и для чего, и как именно? А опытные люди большею частью ничего не делают. Самые-то опытные люди, какие-нибудь индусы или отцы-пустынники, просто на месте сидят, глядя в одну точку. А внутри у них копится пепел, словно они за десятерых изжи-

вают. И что у них там всходит и заходит, об этом вам никакая астрономия не расскажет. Или возьмите крупных художников, ну, там Шекспира, что ли. Где же это он мог видеть всех этих монстров — Шейлока, Отелло, Макбета, Калибана? Он их просто за волосок из своей души вытянул, как дети тянучки тянут, потому что у него универсальная душа,— вот и весь секрет.

— Но почему же вы отрицаете подобный опыт у профессора Фёрстера? — перебил я.

— Не отрицаю, отнюдь, а не желаю. Доктор должен быть предметником. Ведь я же не в монастырь еду, а в санаторию. Мне, может быть, заранее стыдно моей болезни, а, может быть, я и не хочу ею никого одарять, понимаете? Не хочу вашего доктора в новую комнату вести. Рецепты, режим или там что хотите, обливанья и гулянья, но не более того.

— А мне так именно кажется, что вы горите желанием поделиться своей болезнью,— медленно сказал я. Он быстро покосился на меня, и я запомнил еще несколько подробностей: уши у него хрупко-розовые с неимоверно развитою верхнею раковиной и с очень слабо выраженными, почти отсутствующими, мочками; кажется, будто верхняя часть свисает, как у животного. Лоб низкий, но выпяченный. В общем, что-то противоположное Семенову: смесь огромной хитрости и умственной ограниченности. В ту минуту, когда я делал свои наблюдения, мне стало легко на душе; но после я понял, что слишком недооценивал силы своего будущего пациента.

— Пожалуй, вы правы, хочу поделиться. По крайней мере с вами,— сухо сказал он, уже совершенно другим тоном и откинул голову на подушку.— Я страдаю... я страдаю душебоязнью.

— Что?

— Да, я боюсь своей души.

Я порылся в моей памяти и, не найдя ничего, сходного с состоянием этого больного, решил задать ему несколько вопросов.

— Если вы боитесь ее, значит ощущаете себя как нечто раздельное от нее? — спросил я как мог серьезнее.

У него запрыгали мускулы.

Ну вот, ну вот, с места в карьер готовые схемы: …ение личности, раздвоение сознания... Слышал! И про мистрис Бьюгемп[1] с ее шестью душами слышал! Все это злостная чепуха. Душа у меня одна, и я ее ощущаю как себя самого или как часть меня самого. И потому я так и боюсь ее.

Возникновению этого страха должны были предшествовать какие-нибудь душевные события?

Никаких особенных событий. Должен вам сказать, что по образованию я отчасти даже ваш коллега, хотя профессии у нас разные. Я психолог, доцент экспериментальной психологии в... (он назвал одно из высших учебных заведений), занимался несколько лет у Бинэ. Вы привыкли научно мыслить, молодой человек. Вы поймете, конечно, основную идею, которая казалась мне наиболее привлекательной в психологии: единство экспериментальной среды. Дело в том, что наука возможна лишь там, где ее предмет определен и всегда тождествен; законы можно устанавливать лишь для однородной среды, не правда ли? Ну-с, и душа — вообще душа, психея — представлялась мне такою однородною средою. Исходя из этого, я очень скоро вывел, что души у всех людей одинаковые.

Позвольте, вы видите в душе субстанцию?

На такой ученический вопрос я вам просто не отвечу. Считайте, что мы уговорились с вами называть душой то, что все люди называют душой, и слушайте дальше. Вот с этого самого времени я стал обращать внимание на широкую потенциальность души. Это отвечало моим взглядам, и я всякий раз приветствовал это, в ком бы ни замечал, особливо в себе самом. На протяжении одного дня, иногда одного часа душа смеется, плачет, гневается, любит, ненавидит, алчет, скучает и тому подобное, смотря по характеру реакций. Особенно любопытно, когда она поддается массовым эмоциям. Я любил еще наблюдать в театре, как душа переходит от сочувствия к сочувствию. Ведь в душевном мире все

---

[1] *Мистрис Бьюгемп* — персонаж из старой спиритической и теософской литературы.

инфекционно, все заразительно. Затем я стал наблюдать еще за одним феноменом, у вас в медицине он, кажется, известен: за легкостью первого импульса.

— Не совсем понимаю.

— Ну да, я выражаюсь неточно. Вот вам пример: сидите вы и занимаетесь; вдруг вам приходит в голову: «А что, если я сейчас оденусь и пойду в клуб?»; ни с того ни с сего приходит, ибо до этой минуты вы о клубе не помышляли и даже идти в него не хотите; но первый импульс дан, душа заработала в этом направлении, и сколько бы вы себя после ни останавливали, вы кончите тем, что пойдете в клуб. Мало того, первый импульс случаен, посторонен, свалился как снег на голову, а сила подчинения ему души огромна и с каждым мигом увеличивается. Я знаю людей, у которых мании, страсть и даже преступленье выросли именно из такого первого импульса, который вдобавок был случаен и не соответствовал их природе. Не значит ли это, что душа сама по себе — neutrum...

— Neutrum?

— Ну, подобно электричеству, пару, тепловой энергии, радию. Ведь электричество остается самим собой, возит ли оно вагоны или убивает людей при помощи американских стульчиков для смертной казни,— не правда ли?

— Теперь я понимаю, почему вы забоялись своей души!

— Нет, не понимаете, голубчик, это еще не все. Ведь такие размышления даром не проходят. Представьте вы себе, что все, о чем бы ни говорилось в обществе, в газетах, все, о чем бы ты ни задумался нечаянно,— все это кажется вашей душе возможным. Я не говорю желанным, а вот именно только в о з м о ж н ы м. Читаю я, как пристав старуху избил, жулик нотариуса ограбил, старик девочку изнасиловал,— и чувствую, что все это могу и я тоже. Именно могу, а не то что хочу. Хотеть-то надо изнутри, а возможность связана с импульсом. И понимаю я, что мелькни только первый импульс, так уж мне из него не выкарабкаться.

— Вы, следовательно, не души своей, а первого импульса боитесь?

— Именно, первого импульса боюсь. Не маньяк я; а нахожусь в опасности таковым сделаться. Вот это и есть моя болезнь. И болен я уже третий год. Дни и ночи только тем занимаюсь, что избегаю импульсов. Делаю, что возможно: развлекаюсь, человека около себя держу, морфий впрыскиваю, уши иной раз зажимаю и зубы себе заговариваю, чтоб какой-нибудь импульс не мелькнул. Но ведь легче холерной бациллы остеречься, чем его.

— Может быть, это и есть ваша мания — бояться мании?

— Вы не глупы. Но только не думаю. Просто-напросто я слишком распустил свою душу, дал ей похозяйничать, а теперь она меня домой не пускает...

Он посмотрел на меня с видимой искренностью и добавил:

— Если хотите, расскажите все это вашему профессору, и уж пусть он разбирается как знает.

— Хорошо,— сказал я. Мне и в голову не пришло, почему этот разговорчивый неврастеник так охотно рассказал свою историю мне и поручил именно мне передать ее Фёрстеру. Искренность его подкупила меня, а сиротливая поза, которую он принял, засутулившись в коляске и выпятив нижнюю губу, невольно разжалобила. Мысленно я вспоминал бесчисленные случаи душевных заболеваний и составлял программу клинического лечения моего первого пациента.

День тем временем пошел на убыль. Мы сделали обеденный привал в зажиточной Краснохолмской станице и снова пустились в путь. Дорога становилась все живописней; высокие горы обступили ее со всех сторон, лошади ехали по карнизу, пробитому порохом в отвесном горном боку. Кое-где мелькали первые хвои. А наверху я увидел круглые, плавные взлеты орла.

— Вот Сумы,— сказал, обернувшись к нам, кучер и указал кнутом на что-то белое. Я вынул бинокль и стал смотреть. Внизу вьющейся белой лентой текла река; справа и слева вздымались горы, а совсем вдалеке, куда показывал кучер, белыми точками был разбросан аул с башенкой минарета; легкий дым стлался над саклями,— а еще выше, по другую сторону реки, в

прощальных лучах солнца сверкали маковки Сумского женского монастыря.

Туда мы приехали совсем под вечер. У монастыря своя гостиница для проезжающих. Лошади шагом поднялись по крутой монастырской дороге и въехали в чистый, просторный двор. В темноте я различил несколько хозяйственных построек, узкое здание с кельками для монашек, цветник и конюшню. Мы с Павлом Петровичем поднялись наверх, в комнату, всегда готовую для санаторских больных. Гостиница была, должно быть, недавно выстроена, в ней сильно пахло сосновым деревом. Тихая пожилая монашка быстро, но без суеты, зажгла свечку под стеклянным колпаком. Я подивился чистоте горницы; нигде ни пылинки, никакого намека на непорядок. Занавески по окнам чистенькие, на столе клеенка, возле жестяного рукомойника ведро со свежей водой, прикрытое круглой дощечкой, и тут же самодельный сосновый ковшик, по форме похожий на утку.

Пока не подъехали наши, мы вышли побродить. За двором узкая тропинка вела в собор; вдоль тропинки сильно благоухали выхоленные цветники, с настурциями и резедой — любимым монастырским цветком. Я заметил прелюбопытное явление — множество летучих светлячков. Весь воздух был пронизан их подвижными искорками. Один налетел на меня и сел мне на пуговицу без малейшего страха. Внизу во дворе мы наткнулись на подстилку из мягкого войлока с двумя толстыми спящими щенятами.

— Обратите внимание, какой тут достаток и как тут живую тварь любят,— сказал мне Павел Петрович, взяв меня под руку,— а ведь женская работа, монахини и сеют, и жнут сами, и овец стригут, и даже это чертовское шоссе сами, своими руками проводили,— да не в военное время-то, как сейчас, а задолго до него.

— Да,— ответил я,— не странно ли? Какая-то своя весьма земная, деловитая культура в православии. Оттого-то все наши культурфилософы и империалисты, и националисты из неверующих, от Данилевского до Лескова,— так за него цепляются. Мне иной раз кажется, что у нас в России все аскетично — университет, служ-

ка, революция, литература, любовь, все — за исключением церкви...

— Да вы парадоксалист! — засмеялся Ястребцов.— Но вы и не правы. Не забудьте, что от главного-то, от главного, они все-таки и отказались, от чего никто из нас до последнего вздоха не отказывается.

— От чего же?

— От беспокойства.

— Тогда я давным-давно с ними,— ответил я, засмеявшись,— я с детства очень спокойный человек.

— Не поздравляю вас,— сухо сказал Ястребцов.

Мы вернулись в горницу, где монашка уже накрыла на стол Она принесла миску с форелевым супом и груду пышного темного хлеба, легкого, как вата, и замечательно вкусного. Подъехала и колымага. Фельдшеру с Мартиросом отвели комнату внизу. Но фельдшер настойчиво попросил меня оставить его на ночь с больным, что я и сделал охотнее, нежели следовало.

От крепкого горного воздуха и шепота Али-Берди, протекавшей внизу, под самой монастырской горой, мне удивительно хорошо спалось. Только к утру мне приснился странный сон: будто я сторожил моего пациента, прячась от него за стеною, и не давал ему поймать «импульс»,— а импульс в виде жирного свистящего насекомого, похожего на осу, летал вокруг нас и норовил кого-нибудь укусить.

Весь следующий день мы ехали, почти не останавливаясь и подкрепляясь пищей, взятой с собою из монастыря. Утром Павел Петрович пожаловался на бессонницу и сильную мигрень; он даже как-то осунулся с лица, и фельдшер, с обоюдного нашего согласия, занял свое прежнее место в коляске.

— Сегодня я неприятен и раздражителен, вам со мной трудно будет,— криво усмехнувшись, заметил мне больной капризным голосом.— Вот Семенову это ничем, а вы не привыкли.

Я почувствовал, что краснею, и полез в свою колымагу. Мне было чуть-чуть досадно, что ко мне относились, как к мальчику,— и еще досадней оттого, что и на самом деле я был молод и неопытен. Но дорога заставила меня забыть это минутное чувство. Мы ехали

8*

долиной Али-Берди. На горизонте, в разрезе двух боковых хребтов, сверкали белые ледники Амманауса и Дамбай-Ульгена. Вечные снега главной Кавказской цепи дышали на нас с юга. Огромные деревья, в три-четыре обхвата, попадались нам по пути. К вечеру мы въехали в лес, где пихты, чинары и сосны казались какими-то могучими выходцами иного, не нашего века. А внизу, под шоссе, ревя и грохоча, летел весь белый, содрогающийся, кидавший в нас ледяные брызги, Ичхор.

Тут я впервые увидел горцев, которыми любовался в детстве, на картинках к Лермонтову и Пушкину. Это был красивый и статный народ. Лишь у немногих косые узкие глаза и крупные скулы. Большинство же с прямым разрезом глаз и великолепным лицевым овалом. Они проезжали мимо нас рысью, на маленьких статных лошадках, и вежливо, хотя очень гордо, наклоняли свои головы в ответ на наши поклоны. Снимать шапку у них не в обычае. Купец Мартирос со многими заговаривал по-горски.

— Хороший народ — не надует и гостя любит,— сказал он мне с удовольствием.

Главное впечатление от горцев — их необыкновенная пластичность. Ездят они в длинных черных бурках, свисающих до лошадиного крупа; лошади несут их легко и мягко, распустив по ветру свои длинные пушистые хвосты.

Попадались нам и огромные стада черных барашков, трусцой бежавшие по дороге в облаке пыли. Наконец, солнце село за высокие горы, и почти сразу наступила темнота. Мы свернули с шоссе в сторону. Лошади затопали по твердому, убитому грунту. Купец остановил возницу возле какого-то глиняного домика, белевшего из темноты, вытащил свои пожитки и крепко пожал мне руку:

— Заходи, гостем будешь. Сейчас за углом и больница. Свет увидишь, много электричества...

— Электричества? — удивился я.

— Ну да, река на него работает. У нас и в ауле электричество. Ну, прощай, час добрый!

Лошади тронулись, и я стал напряженно смотреть в темноту. Сердце мое забилось от ожидания. Телега

...но заворотила за угол, и поток ослепляющего
света полился на меня. Вверху над нами, саженях в
...шести, высился целый замок, весь пронизанный
электрическими огнями. Несколько огоньков горело и
...ниже. Я разглядел двухэтажное строение чуть-чуть
в стороне от главного корпуса. Большая пушистая со-
бака, ...икнув, подошла к нам, обнюхала мою ногу и
...ла хвостом. Возница въехал в раскрытые ворота.
Двор был асфальтовый, с квадратным бассейном посе-
редине. У дверей двухэтажного домика, к которому мы
подъехали, стоял величественный белокурый швейцар,
в мундире. Он снял фуражку и помог мне выбраться из
...мяги.

Глава третья

ВОДВОРЯЮЩАЯ РАССКАЗЧИКА НА МЕСТО

— Пожалуйте в столовую. Карл Францевич устраи-
вают нового больного и сию минуту будут обратно,—
с этими словами швейцар раскрыл передо мной дверь и
пропустил меня вперед. Я прошел по длинному кори-
дору, заканчивавшемуся стеклянной дверью, и уже хо-
тел было войти в столовую, как за мною раздались то-
ропливые, могучие шаги, чья-то рука легла мне на
плечо и музыкальный мужской голос проговорил:

— Сергей Иванович Батюшков?

Я повернулся к говорившему. Возле меня стоял не
старый еще мужчина, высокого роста, белокурый и тем-
ноглазый. Большой лоб с поперечной складкой, мель-
чайшие морщинки вокруг смеющихся глаз и нервный
тонкий рот, производивший впечатление строгости и
чувствительности к боли,— вот все, что я заметил с
первого раза. Ничего похожего на пастыря! Передо
мною стоял скорее товарищ, нежели наставник; его
стихией была скорее борьба, чем опека. Он секунды две
поглядел на меня и протянул мне руку:

— Добро пожаловать, коллега! Я Фёрстер.

С невольной симпатией пожал я протянутую мне
руку.

— Вас не очень растрясло в телеге? Мы не ждали вашего приезда на этой неделе, и помещение вам еще не готово. Нынче вы переночуете у меня, а завтра устроитесь.— Он открыл, говоря это, дверь, и мы оба вошли в столовую.

Не знаю, как у вас, читатель, но у меня обостренно внимание к комнатам. Я убежден, что культура — дело комнатное, четырехстенное и что на свежем воздухе можно дышать, расширять свои поры, строить, украшать землю, но не создавать строительные проекты, не исследовать медицинские проблемы, не творить искусство и науку; недаром кочевые народы не создают своей культуры. Оттого я терпеть не могу случайных или неуютных помещений и люблю судить о людях по их комнате. Столовая, куда мы вошли, сразу запомнилась мне во всех ее подробностях, и даже теперь, закрыв глаза, я сумел бы воскресить ее в памяти. Это была необычайная, одушевленная комната, говорившая о том, что ее обитатели привыкли — тайком друг от друга — уступать один другому лучшую долю. Большая, шестиугольная, с итальянским окном на веранду, с широкой печкой у стены, выложенной изразцами. Мебель в ней разношерстная, собранная сюда по частям. Стулья старинные, дубовые, с сиденьем в виде лодочки, скатерть дорогая, голландская, ослепительной белизны; на деревянных жердочках вдоль стен цветы и на стенах тоже сухие букеты цветов. За столом, возле самовара, сидела полная женщина в спущенной блузе, с вязаной накидкой на плечах. Она была почти седая. Фёрстер представил меня ей как своей супруге. Женщина встала в ответ на мой поклон и простонародно, бочком, протянула мне пухлую руку. Она выглядела глуповатой и доброй; обрюзглое лицо восточного типа сохраняло еще следы былой красоты. Фёрстер звал ее «мамочкой» и обращался с ней бережно, как с ребенком.

— А это моя дочка и помощница, Марья Карловна,— сказал Фёрстер, и высокая, тонкая девушка, подойдя ко мне, пожала мою руку. В манерах и внешности ее было много отцовского. Но черты лица и вьющиеся черные волосы — в мать.

— Мамочка! покормите Сергея Ивановича, а я еще

клинику в санаторию,— сказал профессор и, ласково кивнув нам, вышел. В его присутствии я чувствовал непонятное смущение. Когда он удалился, оно прошло. Я сел за стол, между двумя милыми женщинами, и радостное спокойствие сошло мне в душу. Варвара Ильинишна Ферстер тоже посмелела по уходе мужа. Она проводила его благоговейным взглядом и немедленно засуетилась.

— Третий день без горячей пищи... Как же так. Маро, сбегай на кухню, пускай Дуня подает, что готово.

— Ма, я позвоню.— И Марья Карловна позвонила.

— Не люблю я звонков,— словоохотливо продолжала добрая дама,— раз звони, другой звони, и прислуга взад-вперед бегает. А сама пойдешь — и за всем досмотришь. Дуня, собери барину покушать, да супу подай, и пусть повар санаторскую утку отпустит.

— Ради бога, не беспокойтесь,— начал было я.

— Какое это беспокойство, молодой человек, что вы! У нас ужин поздний, когда Карл Францевич освобождается. Да вы до тех пор чаю не откушаете ли? А то пока соберут, да накроют...

— Ма, ведь он не умирает с голоду! — полушутливо перебила девушка. Бедная Варвара Ильинишна покосилась на меня с замешательством и уронила чайную ложку. Я нагнулся ее поднять.

— Гостья будет, ложка упала. А ты, Маро́, матери не дерзи.

Я воспользовался наступившим молчанием и попросил разрешения умыть с дороги руки. Тут опять поднялись аханья; и следовало об этом раньше догадаться, и три дня пути, и «ах, что ж это у меня за голова» в изобилии полилось из уст доброй дамы. На сцену снова вызвана была Дунька, по-горски повязанная платочком, и я был водворен в великолепную мраморную умывальную, с ванной и душем.

Уже в девятом часу я принялся, наконец, за горячий суп с пирожками. Доктора все еще не было. Маро́ подвинула для него кресло (рядом с матерью) и сама накрыла ему прибор. А потом, усевшись на борт этого лодкообразного кресла и скрестив по-мальчишески ноги, стала набивать папиросы.

— Маро́, сядь как следует,— сказала мать больше по привычке и с безнадежным видом существа, которое не верит в свои силы. Марья Карловна встала, поцеловала мать и... села как следует. Я удивился этому не менее самой Варвары Ильинишны. В дочери доктора Фёрстера было что-то, не совсем для меня приятное, что-то, похожее на внутреннюю занятость. Она слушала вас, и говорила с вами, и проделывала все, что полагалось проделать,— но в то же время вы не чувствовали полного ее присутствия именно здесь, с вами. Рот и глаза были у нее фёрстеровские,— прелестный рот, сейчас сжатый с болезненным и нетерпеливым видом. У меня дрогнуло сердце, когда я впервые заметил это горькое выражение. Думая, что приезд мой прервал, быть может, какое-нибудь ее занятие или намерение, я попросил позволения тотчас же после еды пройти в свою комнату. Марья Карловна, словно очнувшись, быстро вскинула на меня глаза,— впервые внимательно за весь вечер,— улыбнулась (улыбка ее была детская и задабривающая) и сказала:

— Погодите, вы привыкнете. Вам Дуня уже накрыла у па в кабинете, там горит электричество. Проводить вас?

Я поблагодарил Варвару Ильинишну за ужин и поцеловал ей руку, чем доставил ей неописуемое удовольствие. А потом пошел вслед за Маро́. Она шла легко, проводя правой рукой по всем предметам, попадавшимся ей по дороге, а если их не было, то по стенам и по воздуху. В кабинете она остановилась, и правая эта рука — узкая, розовая, с ладонью, чувствительной, как у мимозы,— взяла меня за пуговицу тужурки.

— Не сердитесь на меня и спите себе спокойно!

— Да за что же? — спросил я улыбаясь.

— За то, что не обратила на вас внимания,— лукаво сказала она и, прежде чем я мог ответить, выскользнула из комнаты.

Кабинет Фёрстера был старенький, кожаный. Книги лежали на полках, задернутых ситцевыми занавесками. Письменный стол во всю стену, со множеством ящичков. Мне накрыли на широком диване, и только при взгляде на эту уютную постель я почувствовал, как ве-

мои усталость. Потянувшись так, что захрустели кости, я мгновенно разделся, прикрутил свет и заснул.

Проснулся я оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Было уже поздно, солнце заливало мою комнату. Приподнявшись на подушке, я увидел профессора Фёрстера, сидевшего возле меня.

— Милый мальчик, вы так славно спали. Да какой же вы в самом деле еще мальчик! — В его голосе и в прищуренных глазах были доброта и ласка. При дневном свете он выглядел еще моложе и обаятельней. Странное чувство шевельнулось во мне. Сдержанный по природе, я вдруг, неожиданно для себя, обнял этого, чужого мне, человека, а он, наклонившись, поцеловал меня в голову. Потом он встал и весело промолвил:

— Вставайте, голубчик. Нынешний день даю вам на устройство, а с вечера введу вас в санаторскую жизнь и представлю больным.

— Одного я уже знаю, Карл Францевич,— сказал я и вдруг вспомнил все, что говорил мне по дороге Потребцов.

— Вчерашнего?

— Да! Он даже поручил мне передать вам историю своей болезни.

— Вот как? — Фёрстер снова сел на диван и приготовился слушать.

Я рассказал ему, по возможности точно, всю теорию «первого импульса», вспоминая отдельные выражения Потребцова.

— Интересный случай,— сказал доктор задумчиво,— он очень подчеркивал перед вами свою душевную болезнь?

— Да.

— А не приходило ли вам в голову, что импульс, быть может, уже д а н ?

Я невольно вздрогнул и посмотрел на Фёрстера. Он серьезно продолжал:

— Помните, что моя санатория — это нечто большее простой санатории для нервных и меньшее, разумеется, чем сумасшедший дом. У меня нет отдыхающих,— у меня сплошь больные. Ну, а душевнобольные

часто хитрят с целью воображаемой самозащиты, и это вы должны хорошенько запомнить.

— Значит, вы думаете, что этот Ястребцов...

— Пока я ничего не думаю, а лишь предупреждаю вас о характере нашей работы. И вот что заметьте: бывают случаи, когда ко мне едут не столько ради лечения своей мании, сколько ради свободного проявления ее. Истерички, например. Вы себе представить не можете, как люди любят растормаживаться до предела и снимать с себя ответственность, ну хоть на правах больных.

Он встал и, еще раз пожав мне руку, вышел из кабинета. Я быстро оделся, выпил кофе и направился к своим вещам, сложенным кучкой в передней. Швейцар перенес их на ручную тележку, чтоб отвезти в приготовленное мне помещение. Я пошел вслед за ним, дыша чудеснейшим утром и любуясь на сквозные ряды сосен и прозрачную линию гор, осеребренных снегами.

Марья Карловна догнала нас и, запыхавшись, проговорила:

— Сергей Иванович, доброе утро! Я пойду с вами и помогу вам устраиваться.

Она казалась очень оживленной. В стриженых кудрях ее был крупный голубой колокольчик, легкое платье растрепалось от ветра, и тонкие руки были обнажены по плечи. Она немедленно ухватилась за тележку и засмеялась над моими пожитками. Но не успели мы и двадцати шагов отойти от дома, как нас догнала Дуня.

— Барыня спрашивает, куда вы идете, барыня очень просит вас во флигель не иттить, беспременно сказали, чтоб вам, барышня, воротиться,— выпалила она одним духом и перевела дыхание.

Удивленный, я поглядел на мою спутницу. Все оживление Марьи Карловны мгновенно исчезло, лицо побледнело и потухло, губы сложились болезненной складкой, как вчера. Она остановилась, опустив руки, но вдруг снова взялась за тележку и отрывисто произнесла:

— Скажи маме, я иду помогать Сергею Ивановичу, а вовсе не во флигель.

Дуня метнулась назад; мы же молча пошли дальше, под мерный скрип тележки. Минут через пять ходьбы по горной дорожке, усаженной цветами, показался красный деревянный флигелек. Он стоял плотно прижатый к горному боку, на сваях. К нему вела высокая, крутая лестница. Перед флигелем не было ни палисадника, ни деревьев, только внизу, к реке, росли сосны. С горы, на которой мы стояли, виден был шумящий Ичхор, в этом месте довольно широкий, плотина и деревянный верх очень длинного строения.

— Там, внизу, лесопилка и электрическая станция, — сказала мне Маро́, указав рукой на Ичхор.— А ваши окна ваших комнат, прямо на реку и ледники.

Швейцар понес вещи по лестнице, мы с Маро́ вслед за ним. Мне были отведены две светлые комнаты с балконом, ничем не покрашенные, полные запахом смолы и сосны. На полу, только что вымытом, лежали тростниковые цыновки. Я стал раскладывать вещи, а Маро́ вышла на балкон. Она оставалась там минут пятнадцать, прикрыв рукою глаза и глядя куда-то вниз. Потом подошла ко мне.

— Я буду приходить к вам в гости,— рассеянно сказала она, дотрагиваясь до моего рукава,— у вас чудный вид с балкона.

Вид с веранды фёрстеровского дома был в десять раз лучше, так как мой флигель находился значительно ниже. Но я ничего не ответил и посмотрел на «вид». С балкона моего открывался широкий кусок реки, длинная лента деревянного жолоба и электрическая будочка над лесопилкой. В будочке кто-то работал. Я разглядел лишь серую блузу и блестящие стекла очков на фуражке, напоминающей шоферскую.

Маро́ тем временем поправила перед зеркалом свои пушистые локоны, схватила пустой графин, стоявший на столе, и, улыбаясь, поманила меня за собой:

— Пойдемте на родничок, я покажу вам, где брать самую вкусную воду!

Я поставил на место последний чемодан, вымыл руки и, заперев комнату, вышел. Перед домом, на скамеечке, сидела старуха. Когда мы спускались, она зорко поглядела на нас своими красными глазами,

лишенными бровей и ресниц. Вид у нее был пренеприятный — сухонькие и острые черты лица, чистый белый платочек на голове и сухие руки, сильно узловатые и ногтистые. Она имела привычку шевелить ими, словно усиками насекомого, и беззвучно двигать ртом. Выражение ее лица было не злое и не доброе, но упорное, как у ночной птицы.

Маро́ при виде ее вскинула голову и стала мурлыкать песенку. Я поклонился старухе, но она не ответила.

— Охота вам кланяться, это бумажная кукла! — умышленно громко и вызывающе произнесла Маро́, спрыгивая с последних трех ступенек.

— Но, Марья Карловна!..

— Вы думаете, она что-нибудь чувствует! Да поглядите же на ее бумажные глаза. Нет, вы поглядите, оборотитесь. Это ведьма из папье-маше, а не человек.

Она силой заставила меня обернуться. Совершенно смущенный, я мельком увидел лицо старухи, и в самом деле неподвижное, не выражавшее ни мысли, ни чувства. Но «бумажные» глаза ее упорно следили за нами. Я взял Марью Карловну под руку, и мы быстро пошли к реке. Золотистая, голая рука, смирно лежавшая на моей, казалось мне, слегка трепетала. Брови Маро́ были сдвинуты, глаза опущены вниз. Я понял, что вся она, несмотря на вызывающий тон, была полна беспокойства, выводившего ее из сил, и что источник этого смятения — был в ней самой.

На лесопилку вела каменистая тропка. Мы прошли под деревянной, плохо сколоченной крышей, полной сосновых опилок и мельчайшей древесной пыли, мешавшей дышать,— к реке. Через реку были наведены доски. Маро́, согнувшись, прошла под жолобом и легко вступила на этот шаткий мостик. Я последовал за ней. С деревянного жолоба надо мною капали крупные, холодные капли; по нему, шумя, струилась вода. Мы миновали речку и вошли в тень. Здесь росли мелкие папоротники и колючий кустарник. На солнце сверкнуло озеро.

— Тут форели,— сказала Маро́. Она шла вперед, прыгая с камня на камень. Ноги у нее были голые, и

лиях,— такие же тонкие и золотистые, как руки. Наконец, возле могучей заросли, она остановилась и, нагнувшись, произнесла:

— Родничок.

Я заметил в неглубокой яме темную лужицу. Вода выходила из-под земли. Лужица, казалось, была неподвижна, только в середине ее заметно было слабое колыханье: место выхода родничка наружу. С краев родничок тихо стекал в траву, чуть слышно продолжая в ней свое чириканье. Я взял у Маро́ графин и опустил его в воду, но вода вытеснила его на поверхность.

— Не так, не так! — крикнула девушка.— Этак вы и в час ни капли не наберете.— Она вырвала у меня кувшин, боком спустила его вниз, оставив край горлышка на воздухе, и через минуту подняла его с прозрачною, как хрусталь, водой

— Это не простая вода, тут есть радий,— с гордостью объявила она мне.— А теперь идем на вышку, посидим там на ступеньках, хорошо?

У меня не хватило духу отказать ей, хотя я сознавал, что бесцельно трачу свой первый рабочий день. Она словно угадала мои мысли.

— Мы посидим немножко, и потом — я вам буду рассказывать все очень нужные для вас вещи.

Электрическая вышка с площадкой и будочкой была около лесопилки. Мы взошли по крутой лестнице на площадку и сели, свесив ноги над жолобом, полным тусклой зеленой водой. За нами, в будочке, кто-то работал.

— Ничего, это только техник,— беззаботно сказала мне Маро́, проследив мой взгляд.

К нам доносился снизу беспрерывный лязг пил, равномерно пиливших бревна. Площадка под нами вся дрожала, словно палуба парохода, от стука работавшей электрической машины. К двойному шуму примешивался глухой рокот воды, сбегавшей по жолобу. Вокруг были горы, ощетинившиеся в синем небе своими острыми иглами-соснами, да в их складках белели вечные снега. Хорошо было на этой вышке, словно в преддверии большой, едва начатой культуры, где природа еще лицом к лицу с упорной мыслью и мужественным

трудом человека. И когда Маро́, склонив набок голову и заглядывая мне в лицо, стала допытываться, хорошо ли тут, на лесопилке,— я мог лишь кивнуть, улыбаясь, в ответ.

— Ну, вот, слушайте,— начала она, положив мне обе руки на колени и щурясь с нескрываемым кокетством,— я не отнес его, впрочем, к себе.— Слушайте. Вы будете жить во флигеле, рядом с фельдшером Семеновым. Под вами живут младший врач, Валерьян Николаевич Зарубин, и семейство здешнего техника. Служить вам будет горянка Байдемат, ей пятнадцать лет, но у нее уже двое детей. Пожив здесь с неделю, вы, конечно, влюбитесь...

— В горянку?

— Нет, в па,— спокойно ответила Маро́,— тут все влюблены в па, и Семенов, и Валерьян Николаевич, и сиделки, и больные. Вы будете следить за ним нежными глазами и делать больше, чем от вас требуется.

— Но это прекрасно.

— Конечно, прекрасно — для па. И для санатории. Вставать вам придется очень рано, к шести часам. Обхода больных у нас не существует, врач должен проводить время с больными. Па иной раз весь день в санатории, а вы с Зарубиным станете сменяться. Обед санаторский в час дня. За столом я хозяйничаю, и если вы будете все таким же невнимательным ко мне, как сейчас, я вас оставлю без пирожного.

— Наоборот, я очень внимателен к вам, Марья Карловна.

— Неужели? — произнесла она, опустив глаза.

— Да,— ответил я серьезно,— я, например, уже заметил, что все, что вы говорите и делаете, какое-то не настоящее и не прямое.

— Не прямое?

— Ну да, не предназначенное ни для вас, ни для меня.

Маро́ поглядела на меня быстрым, темным взглядом, печальным и укоризненным. Потом, сняв руки с моих колен, она произнесла тихо, изменившимся голосом:

— Вы не знаете, как вы мне сделали больно. Вы думаете, это очень тонко — заметить это. Но ведь тут все это замечают. Мы здесь точно на живую душу колотимся... (Она свесила голову с унылым и скучным видом.) Я иной раз хотела бы жить с папуасами, которым только и видно, когда у них кусок человечины отнимают, а что у кого внутри, им столь же заметно, как чужое пищеварение. Ведь это жить невыносимо с ними... Господи боже, ну разве я больная?

Я страшно и глубоко огорчился от ее слов. Мне вдруг показалось, что я на всех стараюсь глядеть профессиональным взглядом. Смущенно пробормотал я извинение и дотронулся до ее рук. Когда эти руки никто не трогали и не теребили, у них было сиротливое выражение. Более красивых по форме пальцев мне не приходилось видеть ни разу в жизни,— они напоминали стебельки водяной лилии и были гладкие и шелковистые и прохладные, как стебель.

— Хорошо, я извиняю вас,— сказала она прежним тоном,— на чем мы остановились?

— На порядках санаторской жизни.

— Итак, по вечерам больные остаются с сестрами и фельдшером. Вы будете ужинать у нас. После ужина мы с па читаем вслух — это мои любимые часы — и делаем прогулку на ночь. С нами ходят Цезарь и Валерьян Николаевич. Цезарь — это моя собака, вы ее уже знаете. А Валерьян Николаевич очень милый молодой человек, впрочем старше вас... У него только две страсти: па и разговоры о смысле жизни.

Она внезапно замолчала и откинула голову, побледнев. За нами послышались быстрые шаги, и мимо нас, по лестнице, прошел высокий человек в серой рабочей блузе. Я заметил только, что он был в сапогах и, проходя мимо, приложил два пальца к козырьку своей фуражки. Лицо у него было суровое и незнакомого мне типа: тонкое, прямоугольное, с орлиным носом и острым, выдающимся вперед подбородком.

— Это техник.. Эй, техник! — крикнула она вдруг звонким и грубым голосом. Прошедший не обернулся и не ускорил шагов. Я смотрел, как он вошел в лесопилку стройной, немного раскачивающейся походкой и обра-

тился к рабочему. В голосе его мне послышалось что-то чуждое.

— Он не русский?

— Полуполяк, полушвед, беженец из Варшавской губернии. «Полу-подлец, но есть надежда»...— продекламировала она громко и встала: — Идемте, а то опоздаем к санаторскому обеду.

Мы спускались по лестнице, когда техник снова столкнулся с нами, на этот раз лицом к лицу. Маро́, к моему изумлению, протянула ему руку и тихо произнесла:

— Отчего вы не поздоровались со мной, Филипп Филиппович?

— Я поклонился вам,— ответил техник, дотронувшись до ее протянутой руки. У него были совершенно прямые, темные брови, и, когда он поднял ресницы, я увидел два серо-голубых глаза, два очень спокойных глаза, но сейчас отягченных какой-то заботой или тревогой. Целомудренный и красивый рот был плотно сжат и едва раскрылся, чтоб выговорить эти три слова.

— Поклонились, а я думала...— Она как-то жалобно улыбнулась и понурила голову. Мы несколько мгновений стояли все трое на лесенке, пока внизу не послышались скрипучие, легкие шаги: там показалась старуха в белом платочке. Она ковыляла немного дрожащей походкой, неся в руках старенький кувшин с отбитым носом. Поглядев на нас безо всякого выражения своими «бумажными» глазами, она проковыляла под жолоб — вероятно, на родничок. Техник увидел ее первый. Он быстро отвернулся и, снова приложив руку к фуражке, взбежал к себе. Маро́ взяла меня под руку и, понурившись, спустилась вниз.

Мы молча дошли до моего флигеля и молча расстались. Дома ждала меня Дуня, принесшая обед. Я обрадовался, что сегодня не придется идти в санаторию. У меня было смутно на душе, и я чувствовал странное нервное напряжение. Хотелось собраться с мыслями, прежде чем приступить к своей работе.

Глава четвертая

О ДВУХ МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ, НЕ СХОЖИХ ПО ХАРАКТЕРУ

Пообедав и выкурив папироску, я докончил уборку своих вещей. Был пятый час, когда ко мне постучали. Это был доктор Зарубин, мой сосед и сослуживец.

— Здравствуйте, товарищ,— сказал он, входя в мою комнату,— извините, что врываюсь без всяких церемоний... Ай, батенька, сколь у вас комфортабельно. И чего вы тут не понаставили! — Он раздвинул ноги, делая вид, что не может пройти между моими вещами.

Доктору Зарубину было лет за тридцать. Маленького роста, черный, как жук, в бородке и в очках, в синей рубашке, повязанной шнурочком, он ходил куриною присядкой и то и дело поправлял на носу очки. Глаза у него были насмешливые и умные, но невеселые.

— Разрешите сесть, барышня, да снимите вы тужурку, если не собираетесь в ней запечься. Тридцать пять градусов в тени!

Он сел на только что убранную мною постель, вытянул короткие ножки в сапогах и принялся выколачивать трубку прямо на пол.

— Не заводите у меня беспорядка, доктор,— сказал я с неудовольствием, подавая ему пепельницу.

— Значит, вы откровенный приверженец порядка, а не то чтобы про себя его любить да на людях этой любви стыдиться?

Он сказал это с любопытством, сощурив глаза.

— Да, я люблю порядок,— ответил я, улыбнувшись.— По-моему, беспорядочные люди все очень мнительны и злы к самим себе.

— Пожалуй, оно правильно. Вы, значит, предпочитаете быть приятным и невинным... Добро, добро, не сердитесь. Я, собственно, пришел порасспросить вас о Питере, как там и что. У меня два свободных часа в запасе. Газеты мы получаем с душком, на пятнадцатый день,— вот ужо пробудете тут с месяц, да и поймете, что это за штука.

Я сообщил ему все новости последних дней, известные мне самому. Он слушал, покрякивая и покуривая свою трубочку.

— Тэк-с, стало быть, все то же. Воруют, паясничают, а солдат кровь проливает. Эх, Сергей Иванович, уморился я в нашей санаторке. На что мы их лечим, иродцев-то этих? Ведь каждый из них — маленький иродец в собственном царстве. Мы их со всею старательностью этого царства лишаем и выпускаем невесть куда и невесть на какую надобность. Ногу или руку лечить — это еще понятно, а душу... Мне вот всегда кажется, что излеченный псих непременно чем-нибудь пахнет, гуммиарабиком, что ли, или синдетиконом. Вы этого не замечали?

— Да, по-моему, вовсе лечить не надо...

— Как не надо, а что ж, по-вашему, с ними делать?

— То есть, я неверно выразился... Мне думается, им не лечение надобно, а сотрудничество. У них просто неверная или ненужная воля, или они зашли не на свои рельсы, и от нас требуется, чтобы мы им помогли, их же собственной работе над самим собой помогли.

— Те-те-те, какая музыка! Да вы когда-нибудь душевнобольного видели, окромя нашей клиники, где в мою пору на двух-трех кретинах отъезжали? Университетской, то есть?

— Видел.

— И такую чушь порете. Посмотрю я, как вы у нас засотрудничаете. Во-первых, доложу я вам, душевнобольные всё врут. Вы с ними год провозитесь и не узнаете, где у них коготок спрятан. Вот вам пример. Лечил я третьего года барыньку, искренняя такая и во все эти свои зигзаги сама вас пальчиком поведет: я и такая, я и сякая и разэтакая Выходило, по ее словам, будто она истеричка на высоком градусе, родными своими изобиженная, так что уж это у нее до самоистребления дошло. Профессор был на месяц в отпуску — у него там, в Питере, неприятности вышли. Я, значит, на свою голову поставил диагноз и все честь-честью исполняю, как требуется. Лучшую ей сиделку посадили, сестру Катю, беседую с ней часами, ублажаю, полное доверие оказываю (у нас система такая), чувство са-

[illegible]ния в ней подъемлю, ну и прочее. А она, в самый разгар лечения, девочку трехлетнюю,— дочь нашей старшей сестрицы,— к озеру утащила, фартуком завязала и ну топить. Благо, что не сразу,— опустит и смотрит, как булькает. Насилу мы девочку спасли, а ее до приезда профессора в сумасшедший дом отправили. Оказывается, маньячка, да еще какая: всю жизнь мечтала, чтоб своими руками дитя утопить.

— Маньячка или преступница?

— То и другое-с, ибо у них сознанье работает на всех парах и такие программки, каких ни один уголовный не сочинит.

— Что ж, вы меня не разубедили. Просто-напросто вы не сумели взяться у нее за тот самый винтик, за который и она, может быть, остатками своих сил цеплялась, чтоб уйти от соблазна. А вы вместо этого ей все средства облегчили, чтоб выполнить соблазн.

— Чувствительнейше вам благодарен. Вижу, что ваши взгляды под стать фёрстеровским. Что же, пойте в унисон.

— Да неужели вы-то с ним на разные тона поёте? Какая ж тогда работа получится?

Валерьян Николаевич вскочил и затряс бородкой.

— Какая работа? А вот поглядите — увидите. Да как же вы только вообразить могли, что с Карлом Францевичем можно не соглашаться? Да что я такое, чтоб идти против него? Душенька моя, Сергей Иванович, ведь ежели я с вами болтаю, так от низменной привычки посплетничать и при своем мнении побыть. Если хотите знать, для одного Карла Францевича я с иродами этими вожусь, а то бы на войну ушел, ей-богу, ведь я по матери казак. Но Фёрстер обольстил и держит. Ах, что это за врач, коллега! И куда нам всем, грешным, до него!

— Расскажите мне, если вас не затруднит, о фёрстеровской системе лечения.

— Тут рассказывать нечего, это поглядеть надо. А вот не хотите ли, я вам про самого Фёрстера расскажу?

— Если только...

— Не беспокойтесь, нескромностей не допущу.

Он уселся на кровать, запустил пальцы в мохнатую голову и начал:

— Приехал я сюда уже давно, чуть ли не с самого основания санаторки. И приехал скептиком и афеем[1]. Тут служил в то время щупленький такой врачонок из карьеристов, со вздернутыми губками и носиком, а по имени Мстислав Ростиславович, и ябеда, и картежник, а водку хлестал, как акула. Мы с ним на первых порах сошлись. Этого самого Мстислава профессор, видимо, давно уже хотел отстранить, но выжидал деликатного случая. И Мстислав это знал и до того уж перестал стесняться, что сестриц за щеки пощипывать начал. Мне это претило, а в главном я с Мстиславом вполне сошелся. Главное — это против профессора-то. Не любят люди, ежели кто-нибудь явно лучше них. Еще юродивенькому или смиренненькому они простят, ибо тот сам за собой ничего не замечает, а уж полного ума человеку — никоим образом. Профессор же именно такой полного ума человек. Мстислав стал мне нашептывать всякую дрянь, и я поверил. Дрянь номер первый была следующая: как это можно, чтоб красивый мужчина во цвете лет мог своей развалине-жене, вдобавок как будто и ума овечьего, сохранить верность. Вы профессоршу, Варвару Ильинишну, видели? Мстиславка шепчет мне, а я уши развесил. Разве это подруга Фёрстеру? В молодости, может быть, ну там «очи черные, очи жгучие», а сейчас ведь это опара, совершеннейшая опара. Платки вязать или чехирмерекир делать — вкусная этакая штука,— ну это ей по плечу, но только и всего, согласитесь, шепчет, это очень немного. Что бы вы с такой женой предприняли, да еще в глубине Ичхора? Мне Мстиславова логика в ту пору показалась красноречивой. Дрянь номер второй была та, что мы вообразили, будто профессор в богатую пациентку, Анжелину Епанчикову, влюблен. У этой Епанчиковой была черная меланхолия самой сильной степени, ее из петли снимали, а у нас она будто поправляться начала. Кисленькая блондиночка с этаким нюансом на лице и вышитыми кружевными платочками в сумочке,— я потому их знаю,

[1] атеистом.

имела она привычку сеять эти платочки где попало. Влюблена она была в Фёрстера до того, что, думается мне, только им и дышала. Проклятый Мстислав так меня затуманил, что я всему этому поверил и сам еще распространил. Разыграл он это под видом благородного негодования. «Как же, говорит: не коллегиальный образ действий, притеснение служебного персонала, разыгрывание из себя святоши и патриарха, а внутри одно распутство и развращенность». Этаким манером он, зная, что дни его сочтены и в санаторке ему больше не служить, изволил устроить две каверзы. Но без меня, честное слово, я уж потом узнал. Написал он родителям Гнинчиковой за полной своей подписью, что-де так и так, увозите свою дочь, пока не поздно, и еще одно письмо, уже анонимкой, изволил через служащего горца профессорше адресовать. А в письме к профессорше торжественным языком излагал, будто муж ей пренагло изменяет. Слушайте ж, что вышло. Профессорша — мы звали ее меж собой Валаамовой ослицей,— получивши это письмо, вдруг заговорила, да не хуже именно библейской ослицы. Пришли мы с Мстиславом пить чай к ней, как обыкновенно, а самого Фёрстера не было дома. Варвара Ильинишна выслала дочь из комнаты,— Марья Карловна была тогда еще девочкой,— подошла к Мстиславу моему и возвращает ему письмо. «Вы, говорит, подлый человек и высоких вещей не понимаете, и потому я вам ничего объяснять не буду. Но чтоб больше духу вашего в этом доме не было!» Прогнавши Мстислава, она меня удержала у себя, посадила и начала говорить — об чем бы вы думали? Не о себе или Карле Францевиче — о вашем покорном слуге. Да так сердечно, по-матерински, что ли,— не берусь даже словами передать. Суть дела была, что в молодые годы складывается отношенье к женщине, и беда, коль в молодости это отношенье неуважительное, не серьезное, заранее сделанное в голове. С таким расположеньем нельзя идти в доктора, да еще в невропатологи. В больнице, говорит, где людей лечат,— как на поле военных действий, должно быть на первом месте чувство товарищества, а заведется личное, свои мелкие интересы, сплетни, подозренья, наушничество — такую больницу

хоть закрывай. И только одно у нее вырвалось насчет Карла Францевича — как ему нужна здоровая обстановка и как иногда он домой приходит, весь взвинченный, изнервничавшийся, и последнее дело было бы, если б он дома не нашел отдыха. Все это она простыми, обыкновенными словами сказала, без философии, а я сижу перед ней весь красный, стыжусь за себя. И знаете, о чем думаю? Вот, думаю, семья, воздух семьи, материнское, родительское начало — здравый смысл и такое бескорыстие в отношениях, что сразу признаешь старшинство, не по возрасту, а по духу старшинство,— понимаете? Пришел домой убежденный — профессорша-то у нас совсем не овца. И наверное Карл Францевич счастлив в своей семейной жизни...

Зарубин досказал это уже без всякой насмешки в тоне, даже сбавив голос. Рассказ его задел меня как-то очень глубоко.

— Ну, а Мстислав?

— Мстислав Ростиславович сам от службы отказался, как только приехали родители Епанчиковой. Он же с ними и в Питер уехал. Недавно я от товарища узнал, что он — представьте себе — на кисленькой Анжелине сам женился. Сделал-таки, молодчик, карьеру. Сейчас, слышно, большие связи имеет. У нас, слава аллаху, больше такие персоны не служат. Старший врач дивный парень был, на войну взяли, а фельдшер — тот, в своем роде, Сократ, сильная душа. Он из военных, бывший денщик Карла Францевича, тот его и в люди вывел и образование дал. Поглядим теперь на вас, каков вы будете, маменькин сыночек.

— А вот и ошиблись, я менее всего маменькин сыночек,— рассмеялся я.

— Так и поверил! Балованный вы, уж этого отрицать не смеете. Вишь, у вас какие шкатулочки да коробочки.

— И все-таки не балованный. Я сам себе все завел.

— На кой черт?

— Пустого пространства и пустого времени не люблю. Может быть, это вам непонятно, но я с детства так одинок, что мне хотелось стеснить вокруг себя перспективы и быть постоянно чем-нибудь занятым.

— Понимаю. Ну, а мне только бы воздуху было. Куда ногу поставлю, там мне и дом. И признаюсь вам на чистую совесть, Сергей Иванович, по-другому мне и жить было бы несносно, лучше в петлю.

Он встал, прошелся раза два по комнате и взглянул на меня своими невеселыми глазами, из-под очков:

— Век наш короток, Сергей Иванович, а для устройства досуг нужен. И еще вопрос, стоит ли самому устраиваться, когда другие-то все равно не устроены и устроиться не могут. Вот когда об этом подумаешь, так и голытьба мила делается.

— А мне кажется, мы на Руси все еще слишком не простые,— оттого так и рассуждаем. Ведь у кого огонек зажжен, к тому и бездомный на огонек постучится. У нас был один товарищ, медик, он на заработанные деньги все нужные книги покупал, составил себе прекрасную библиотеку. Товарищи его иначе, как буржуем, не называли, однакоже книгами пользовались. Бог знает, все ли бы из нас своевременно кончили, если б не его книжки.

— Ну, однакоже, эта самая библиотечка порядком его связывала? Небось и квартиру менять остерегался, и летом их на хранение отдавал, и прислуге лишнее за уборку платил?

— Хорошо, но почему же вы думаете, что такая связанность приносит лишь худые плоды? Может быть, она и воспитывает?

— Не знаю. Только одно думаю,— как начнется народный суд, позже всех приплетутся те, у кого есть своя собственность. Да еще и приплетутся ли?

— Вы народный суд оставьте в стороне! Ведь кроме революции есть еще культура! Ведь и революции делают, чтоб двигать дальше культуру,— воскликнул я с горячностью. Разговор коснулся больных моих мест — меня в студенческие годы не раз обижали кличкой «тихони»...— Ну хорошо, пусть я по природе не революционер, а работяга, тихоня,— неожиданно произнес я вслух, отвечая самому себе,— а ежели б таких не было? Вы поглядите на наших крестьян. У кого своей земли или лошадки нет, тот пропащий человек, запивало, конокрад или поджигатель. А земля и скотинка труду

учат, чувство долга воспитывают, укрепляют характер. Вы поживите в деревне, чтоб это понять. Я жил и знаю. Наша мужицкая Русь по-своему в десять раз культурнее интеллигентской. И добрее, это заметьте себе. Я с детства запомнил, как, бывало, стукнет оконце в избе — это хозяйка его откроет, чтоб нищему краюху подать, загодя, еще до того, как он попросит. Это я потому сейчас говорю, что ведь не частный случай и не сердечное движение,— а традиция.

— Эка подвели, кулацкий адвокат. Для хрестоматии это еще туда-сюда, а для взрослого человека один леденец. Вы такими карамельками желудка себе не набивайте, проку не будет. Собственность никого праведником не делала и не сделает.

— И делала и сделает! — упрямился я, хотя чувствовал, что мы говорим о разных вещах: он о той собственности, о которой спорили в студенческих кругах наши экономисты и марксисты, а я — о чувстве любви к своему клочку земли, своей книге, своему, собранному по частям музею, словом о том, что должно быть очень дорого человеку, из чего вырастает культура, национальное чувство, патриотизм, желание защитить своей кровью. Сколько раз спорил я об этом в наших студенческих кружках и всегда терпел жестокое поражение. И все же в глубине души думал, что без всего этого не возникало бы и революций...

— Это кого же, не вас ли? — перебил мои мысли Зарубин.

— Не меня, а тех, кто в разное время на костры всходил. За вертящуюся землю, за кусок земли, за обетованную землю — мало ли!

— По части «вертящейся» была допущена слабость характера. А вообще-то, юноша, это у вас в огороде бузина, а в Киеве дядька...

Неизвестно, до чего бы мы доспорили, если б в дверь не постучался фельдшер Семенов. Он вошел, румяный и деловитый, как всегда, с выпученными голубыми глазами, точно от неизбытного удивления на мир божий, и, поздравив меня с «новосельем», подарил мне необычайное луковичное растение красно-бурого цвета.

— Сам вывел,— с гордостью объявил он, водворяя горшок на окошко.— А за сим пожалуйте к профессору чай кушать, он уже с полчаса, как дома.

Я поблагодарил доброго старика за подарок, взял шляпу и, обменявшись с Зарубиным крепким рукопожатием, вышел из флигеля.

Глава пятая

О ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ ПРОФЕССОРА

Уже спускались сумерки, и воздух стал свежее. Профессор с семьей пили чай на балконе. Он сидел в своем кресле, облокотясь на стол, и слушал, как Маро́, сидевшая рядом, что-то читала. Варвара Ильинишна, стараясь не греметь, перемывала чашки.

Я поздоровался и сел к столу. Маро́ дочитала до точки, вложила в книгу закладку и захлопнула ее, поглядев на меня самым независимым образом. Она была весела и спокойна, в уголках ее губ дрожала улыбка; ничто в ней не напоминало утреннюю мою спутницу.

— Читаем «Дон-Кихота»,— сказал мне Фёрстер,— и наслаждаемся. Вот произведение, где от материальных элементов композиции уже ничего не осталось. Все временное, случайное, материальное выветрилось, и налицо одно содержание. И удивительно, что ведь оно с течением времени все глубинеет и глубинеет.

— Мне кажется, это так и должно быть,— ответил я.— В прошлом году летом я был в Милане и видел «Тайную вечерю» Леонардо. Мне и пришла тогда эта мысль. Ведь там физическое тело уже сползло, краски потухли, все элементы картины разрушились, или почти разрушаются, все, чем картина была создана,—умирает естественной материальной смертью, а между тем содержанье картины перед вами, и вы ее видите, хотя ее нет: это ли не бессмертие формы? Я злился, когда возле меня кто-то стал ораторствовать о бренности искусства.

— Что вы называете формой — контуры? — спросила меня Маро́, положившая темную голову на руки и внимательно нас слушавшая.

— Не контуры, а идею целого. Настолько определившуюся, что достаточно одного пластического намека, чтобы усвоить себе ее образ,— ведь содержание и форма — это одно целое.

— Ну, а намек-то все-таки должен быть материальный, красками или рисунком? Ведь если все сползет, значит, ничего не будет видно,— продолжала девушка.

— Надо только, чтоб сперва идея была воплощена самым материальным, самым плотским образом, то есть чтоб картина была нарисована, а книга написана,— а потом, по-моему, ничего не страшно, даже если самый последний намек исчезнет и материя истлеет. Может быть, тогда образ целого перейдет в память, в школу, в традицию, в символ, мало ли.

— Если так рассуждать, значит весь мир уже наполнен бесплотными формами, о которых все люди забыли, что они были прежде воплощены. Ведь наверное погибло множество произведений... Может быть, тут, вокруг нас, колышутся разные формы?! — Маро́ комично повела руками по воздуху и рассмеялась.

— Не смейся,— серьезно ответил Фёрстер, до этих пор молчавший.— Если не пространство, так дух наш во всяком случае насыщен формами. Как знать, может быть, и мифы есть не что иное, как формы материально истлевших художественных произведений? Но что бы там ни было, а Сергей Иванович сказал одну важную вещь: воплощенной-то форма прежде всего должна быть, иначе она не получит образа, как нерожденный зародыш.

Варвара Ильинишна протянула руку за моим стаканом, деликатно напомнив о своем присутствии. Я попросил еще чаю, и она тоже вступила в разговор.

— Наша Маро́ в гимназию не ходила, Сергей Иванович,— сказала она застенчиво,— вот он ее всему сам учил, с детских лет, и до сих пор они вместе занимаются разными науками.— Она кивнула головой на мужа.

— У па свой взгляд на образование,— вставила Марья Карловна, теребя отца за рукав,— он находит, что нас воспитывают слишком исторически, все внимание обращают на перспективу,— где, когда, что случи-

...ь, и насколько одно больше или меньше другого, и какой чему цена,— например, всё читаем учебники или изложения, а оригиналы читать нам некогда... Па с детства меня пичкает оригиналами.

— Я надеюсь, дитя мое, ты на это не жалуешься?— шутливо спросил Фёрстер.

— Как когда! Иной раз у меня такая теснота от твоих оригиналов и чувство беспомощности, словно я не знаю, кого куда поставить, и все они обрушиваются на меня сразу. По-моему, история необходима нам для простора, для укладки.— Она подумала несколько секунд.— Знаешь, па? Вот что я тебе скажу. Я совсем не умею укладывать свои вещи в чемодан, и когда это нужно, мне все кажется, что для них трех сундуков и то мало,— не залезают. А придет мама, и все ровнехонько в один сундук уложит, и на все великолепно хватит места. Вот, по-моему, так поступает историческое образование.

Фёрстер улыбнулся своей прелестной улыбкой и погладил дочь по щеке:

— Ты права, девочка, но научись укладываться на вещах, а не без вещей. В этом ведь все и дело.

Он встал с места, поцеловал у Варвары Ильинишны руку (она тихонько поцеловала его в затылок) и сказал мне на ходу:

— Я буду в кабинете. Кончайте ваш чай и зайдите ко мне, нам нужно кой о чем сговориться.

Я быстро допил чай и хотел было идти за Фёрстером, когда Маро́ отозвала меня в сторону.

— Я буду сидеть в саду на скамеечке,— шепнула она мне потихоньку от Варвары Ильинишны.— Мне непременно, непременно нужно вас проводить. Окликните меня, когда пойдете домой, хорошо?

Скрепя сердце пообещав ей это, я двинулся к профессору

— Только не-епременно! — еще раз шепнула мне вслед девушка. Она выговаривала это слово врастяжку, с детской торжественностью, словно давала зарок или брала его с вас. Мне казалось, не следовало бы ей уступать в этом и не годится начинать с ней секреты, смысла которых я не знаю,— но обещание было уже

дано. Профессор сидел в своем кабинете за столом. На лице его были задумчивость и усталость, прядь посеребренных волос спустилась ему на лоб. Глаза его были устремлены на огонь, и так он смотрел, прищурившись, почти во все время нашего разговора. Такая же безотчетная любовь к огню, я заметил, была и у его дочери; Маро́ невольно поднимала глаза к источнику света и не отводила их, точно привороженная.

— Сядьте, голубчик. С завтрашнего дня начнется ваша работа. Я рад, что случайный мой выбор пал именно на такого, как вы,— мы с вами, уж конечно, сойдемся.— С этими словами Фёрстер указал мне на стул рядом.

— Вы читали брошюрки о моей санатории? Да? Ну так забудьте всю эту ересь. Посторонние люди ровно ничего не понимают в моем методе и когда пишут о нем,— даже с самыми лучшими намерениями,— попадают впросак. Тут вообще не годится теоретизировать, а надо видеть и работать. Зарубин стал у меня чудесным работником, заразившись самым процессом дела, а не принципами. Вы же, насколько это возможно, конечно, могли бы начать и с принципов, вам они будут вполне ясны. Но скажите сперва, чем вам кажется душевная болезнь?

Я изложил Карлу Францевичу все, что думал по этому вопросу. Он не прерывал меня и слушал, склонив голову.

— Вы думаете правильно,— сказал он, когда я кончил,— но не до конца. Вот возьмите эту тетрадку, тут я в разное время набросал то, что можно назвать моим методом. Было бы хорошо, если б вы успели прочесть это до завтра,— там немного! — и приступить к знакомству с санаторией уже вполне сознательно.

Я обещал прочесть тетрадку сегодня же вечером и, взяв ее из рук Фёрстера, простился.

Добрейшая Варвара Ильинишна ни за что не хотела отпускать меня без ужина, а когда я сослался на усталость, снарядила Дуньку ко мне во флигель с горячим судком.

Выйдя из профессорского домика, я зашел в сад. Он был в стороне, по склону горы, весь темный и влаж-

мокрой от росы. Темная, тонкая фигура в платке вышла мне навстречу, и прохладные пальцы легли в мою руку.

— Спасибо, что не обманули! Мама не любит, когда я хожу по вечерам одна. А мне бы только проводить вас до флигеля и обратно.

— Мария Карловна, пожалуйста, не заставляйте меня делать то, что не нравится вашим родителям,— сказал я ей серьезно.

— Сегодня это в последний раз, потому что... уж такой день выдался. Да поднимите вы голову, гляньте на небо!

Вся темная чаща неба над нами сияла крупными, дрожащими звездами. Было их так много, что казалось, они кишат, ползают, жужжат в небе. Дух захватывало глядеть в это сверкание. Вдруг с самого верху огненной каплей покатилась звезда, опоясав все небо. Маро́ вырвала у меня руку и вскрикнула:

— Чтоб... чтоб это не-епременно случилось!..— Она успела докончить фразу, пока звезда не погасла. Надо было видеть, каким счастьем озарилось ее лицо, белевшее из темноты.

— Вы загадали? И верите, что исполнится? — спросил я.

— Да, но я всегда верю, что исполнится. Я твердо верю, что исполнится, потому что иначе... на что бы этого так захотеть?

— А вот представьте, я именно не верю, что исполнится. Если захочешь чего-нибудь особенно, значит, не суждено этому быть; что-нибудь другое будет, а это — никогда.

— У вас разве бывало, чтоб не исполнялось?

— С самого детства.

— Нет, у меня все исполняется. Вот вы увидите!

— Что же я увижу?

Маро́ засмеялась и не ответила. Мы дошли до флигеля. У лестницы сыпались искорки — там, на корточках, сидел техник и раздувал самовар. Одна долетела до нас и потухла у ног Маро́.

— Спокойной ночи, Сергей Иванович,— сказала девушка, остановившись.— Если ваша Байдемат еще не

пришла, вы наймите техника, он вам и самовар поставит и прислужит, разумеется в свободное время. Только пообещайте ему на чай.

Она говорила это спокойным голосом, слегка грассируя и растягивая гласные. Техник продолжал свое занятие, даже не взглянув в нашу сторону. Худое и острое лицо его было озарено красными вспышками самовара, ресницы опущены, под глазами — от худобы или болезни — глубокие, темные впадины.

Я не мог понять грубости Марьи Карловны; раздражение и неприязнь к ней шевельнулись во мне. В эту минуту открылось окошко, показалась освещенная электрическим светом голова молоденькой женщины и тонкий голос произнес:

— Филипп!

Голос показался мне жалобным. Техник, не оборачиваясь, ответил «сейчас» и продолжал возиться у самовара.

— Филипп! — еще раз настойчиво и сердито раздалось из окна. Техник встал, заложив руки в карманы.

— Он очень послушный и будет вам великолепно служить. У него это в крови... холопство! — продолжала Маро́, на этот раз громче прежнего. Окно с треском захлопнулось. Техник сделал несколько шагов к дверям, но вдруг повернулся и подошел к нам. Он подходил спокойно и быстро. По мере его приближения Маро́ отходила в тень, за тропинку, а я оставался стоять, невольным и смущенным зрителем. Лиц их я видеть не мог, но мне были слышны их голоса, теперь очень тихие и заглушенные. Подойдя к Маро́, техник остановился и несколько секунд молчал. Потом он сказал, очень глубоким и мягким голосом, каким говорят с детьми:

— Я не обижаюсь на вас, ни сейчас, ни вообще. Но вы поступаете, не подумавши. Умоляю вас, не мучайте сами себя — право же, это не стоит. Подумайте,— и вы сами увидите, что не сто́ит.

— А вы простили меня?

— Все, всегда! Но простите и вы, что я не могу по-другому.— Дверь скрипнула, по лестнице спустился незнакомый мне седенький старичок, кашляя в руку.

Но прежде чем он дошел до нас, Маро́ и техник расстались. Я видел, как она метнулась в кусты, словно птица, и побежала по тропинке домой. Я не стал, разумеется, преследовать ее. У меня было тягостно и неловко на душе, как это бывает со мной при вмешательстве в чужие секреты. Стараясь забыть все слышанное и — главное — не делать никаких выводов, я поднялся к себе, зажег лампочку и, поужинав, вынул тетрадь Фёрстера.

С первых же строк содержание ее так меня захватило, что я забыл обо всем остальном. Это не было ни очень сложно, ни научно,— ряд заметок, сделанных про себя и, может быть, о себе. Но я чувствовал — от меры моего личного опыта,— что все тут истинная правда, что так оно и есть и не может быть иначе, и что любящая, умная, умелая рука отныне может «залезть нам в душу» и привести ее в порядок так же осмысленно и врачебно, как — ну, скажем, операция в кишечной полости. Для меня это было больше, чем поучение. Это оправдывало избранный мною путь, в пользе которого я временами тягостно сомневался, и давало мне в руки устойчивый метод.

Кое-что из этой тетради я тогда же, за полночь, выписал себе на память и включу это сюда, в мой рассказ, вместо изложения прочитанного своими словами.

Вот что я выписал из тетради профессора Фёрстера:

«Кто составляет основную группу наших больных? Люди, находящиеся у порога настоящего душевного заболевания, но еще не переступившие этого порога, не сделавшиеся психическибольными. Если не выражаться в специальных терминах, это такие люди, которым уже невмоготу жить в нормальных человеческих условиях, в семье, в обществе; ходить на службу; переносить знакомое, обычное напряжение жизни. Сделавшись невротиками, они испытывают непрерывную нужду в присутствии врача, хотят говорить о своем душевном состоянии, слушать разъясненья, на короткое время успокаиваться и потом опять и опять повторять эту основную для них «лечебную процедуру».

Методы обычной терапии для таких людей — это устранение первичных раздражителей, вызвавших исто-

щение или возбуждение нервной системы: перемена обстановки, смена городских условий на деревенские, мозговой отдых, спокойная, размеренная жизнь в санатории. Но у нас, кроме этих обычных методов, применяются еще и другие, выработанные на основе долгого наблюдения за человеческими неврозами. Методы эти я сам для себя коротко называю «налаживанием характеров».

Наш подход к душевной жизни человека резко противоположен учению современных западных психиатров, господ Фрейда и Юнга. Опубликованные работы этих последних говорят об аналитическом распутывании ассоциаций невротика, о проникновении больным вместе с его врачом в ту отдаленнейшую подсознательную область, которую он как бы тщательно скрывает сам от себя, и снятии его болезни путем этого акта самопознания. А так как у Фрейда все сводится к одному фактору, будто бы создающему цепь ассоциаций еще на самой заре жизни человека, в его младенческий период,— к фактору сексуального ощущения «крови», кровного влечения сына-матери, дочери-отца, брата-сестры, чувству ревности к отцу или к матери (так называемый «Эдипов комплекс»), то процесс самопознания, происходящий у больного с помощью собеседований, проводимых с врачом, или самостоятельных его автоанализирований, руководимых врачом, всегда бывает сам по себе окрашен несколько эротически и носит характер как бы нового раздражителя, появления нового «интереса», замыкающего больного на самом себе.

Мы несколько раз выступали против фрейдизма и его последователей на различных конференциях, коечто из этого напечатано, не буду поэтому приводить общих и специальных возражений. В этих записях укажу лишь на человеческие мотивы, оттолкнувшие меня, как человека и врача, от фрейдизма. Допустим, что исходная точка Фрейда верна,— и в том психофизиологическом узле, который он называет «Эдипов комплекс», есть зерно истины. Допускаем мы это потому, что острота сексуального притяжения между ближайшими кровными родственниками — несомненный факт, и он может наблюдаться в животном мире и объяс-

ляется биологически. Но мы знаем также путем тысячелетних наблюдений браков между близкими родственниками (а таковые в древнейшие времена допускались законом и обычаем), что они приводили к вырождению не только отдельных семей, но и целых народов. Что же предпринимало человечество в этом отношении на протяжении тысяч лет? Оно сознательно *уходило* от этого «Эдипова комплекса»: во-первых, огораживаясь от него строжайшими законами, запрещающими браки между близкими родственниками; во-вторых, тягчайшим нравственным осуждением, породившим термин «кровосмешение»; в-третьих — бессознательными мерами, подсказанными инстинктом самосохранения,— мерами, среди которых память и воображенье играют огромную роль. Инстинкт биологического самосохранения все эти истекшие тысячелетия приглушал и приглушает память людей, заставляя их «забыть» об ощущении «Эдипова комплекса», инстинкт биологического самосохранения затормаживает работу человеческого воображения, если оно направляется в эту сторону, ставя перед ним нравственное «табу». И надо сказать, что мы обязаны великой работе этого инстинкта, связавшего для нас понятие *нравственной* чистоты с *физиологическим* стремлением *к здоровью*,— тем, что люди не выродились, тем, что человечество обрело *норму*,— это великое завоеванье культуры. Мы обязаны этой великой работе. Она заложена в нас самих, в нашем факторе человечности. Она исходит не только из необходимости биологического сохранения рода человеческого, создающего торможенья и барьеры в своей психо-физиологической жизни. Она исходит также из того исторического факта, что развитие общества есть движение вперед, удаление от исходных точек ко все большему совершенствованию и человеческой природы и человеческого общества. Можно ли в процессе лечения невротиков употреблять средства, заставляющие их глядеть назад, на тщательно забытое, вырывать из земли тщательно похороненное, снимать загородки, построенные усилием тысяч лет, оживлять в сознании именно то, что из чувства самосохранения человечество сумело нейтрализовать в себе? Нельзя

этого делать, а Фрейд это делает. Временное облегчение, которое он этим как будто доставляет больным, приводит, как я имел возможность проверить на нескольких больных, к отрицательным результатам: к росту безмерного самозамыкания и эгоизма, к потере живого, непосредственного, материалистически-трезвого ощущения окружающего мира, к постоянной акцентировке не на социальном, а на биологическом,— и отсюда к изолированному, лишенному больших общенародных интересов существованию и по сути дела — к переходу из одного невроза, менее вредного,— в другой невроз, более вредный. Я считаю и убежден в том, что законченный эгоизм не свойствен развивающейся природе человека.

Наш подход к лечению невротических и психопатических состояний совершенно противоположен фрейдовскому: мы не развязываем, а пытаемся завязать распустившиеся в человеке узлы. Прежде всего, когда приехавший больной начинает описывать нам свою болезнь или свои тяжелые состояния, мы начинаем тщательное изучение его характера. Часто больной пытается под данными своих переживаний припрятать свой характер, прикрасить его, выставить противоположным тому, каков он есть; прирожденные лгуны непременно начинают с уверенья, что они всегда говорят правду, скупцы выдают себя рыцарски щедрыми; мелочные люди любят ссылаться на непонимание окружающими их широких натур и т. д. Поэтому узнать вполне характер больного сразу не удается, и мы, весь наш персонал, накапливаем свое знание по черточкам, по отдельным фактам, а собираясь на ежедневные у нас конференции, проводимые в мертвый час (от 3-х до 4-х), обмениваемся ими и расширяем наше общее знание. Когда характер больного становится нам ясным, мы приступаем к лечению, направленному на укрепление положительных сторон этого характера; на признание больным — открытое и разумное признание — слабых сторон своего характера; по мере признания больным слабых сторон своего характера, мы поднимаем самоуважение в больном (самый могучий фактор нравственного выздоровления!), а вместе с ростом самоуважения

помогаем процессу борьбы больного со своими слабостями. И это простое лечение, похожее на воспитание, лечит у нас весь персонал, знающий и разделяющий метод «налаживанья характера»; и весь режим и содержание санаторного дня также рассчитаны на него.

Долгий опыт убедил меня в том, что неврозы оформляются обычно (под влиянием какого-нибудь внешнего раздражителя, самого по себе часто неважного и случайного) — в болезненную для самолюбия человека и тайную от окружающих — потерю уважения к себе, то есть в тяжелую и угнетающую ощущаемость своей малоценности или неполноценности, невольно переносимую в порядке самозащиты на ненависть к чему-либо в окружающем мире, который будто бы не ценит и не уважает больного, выключает его. Поэтому оформление неврозов всегда связано, с одной стороны, со слабыми сторонами характера больного, а с другой, оно, как бы гнездясь на этих сторонах, нарастая на них подобно раковой опухоли, отделяет душевную жизнь больного от положительных сторон его характера, способных помочь ему в борьбе с неврозом.

Задача нашего обращения с невротиком состоит в постоянной активизации положительных сторон его характера, что достигается тысячами различных способов, всякий раз подсказываемых обстановкой. Беседы и занятия направлены у нас не в сторону прошлого, а в сторону будущего, заставляют больного глядеть и думать о предстоящем, ставят перед ним цели не только на завтрашний день, но и на предстоящую по выходе из санатории жизнь. Покой, создаваемый нами для нервов,— вот та среда, в которой начинается накопление нервной энергии и рост хорошего самочувствия. Мы давно отказались от мысли, что нервный покой достигается бездействием, точно так же мы убедились, что отдых не возникает от ничегонеделанья. Достижение нервного покоя вещь сугубо индивидуальная. Для одного невротика он начинается с решимости сделать признание, никак не слетавшее с языка; для другого — в снятии ответственности; для третьего — в возможности заниматься любимым делом; для четвертого — в том, что забота снимается с его плеч. По мере возмож-

ности к общему режиму достижения нервного покоя режиму сна, лекарственному, пищевому, устранению раздражителей, устройству по вкусу и прочее,— мы присоединяем заботу по устранению препятствий для нервного покоя в каждом отдельном случае.

Больные у нас живут в коллективе и никогда не бездельничают. В то же время и пребыванье на людях, и деятельность обставляются у нас так незаметно и не нарочито для больного, что ему самому кажется, будто он строит свой режим и свое леченье по собственному желанью. Могучая помощь со стороны фактора времени у нас используется обдуманно, то есть течение времени у нас насыщено событиями и интересами, которые способствуют действию времени и усиливают его,- имею в виду отдаление и забвение тех вещей, которые угнетали больного и которые постепенно начинают отступать, казаться не такими уж важными.

Когда положительные стороны характера невротика приходят в действие и делаются помощниками врача в победе над неврозом,— начинается поворот болезни к исцелению. Вместе с возрождающейся или впервые возникающей возможностью верить в свои силы и уважать себя приходит к человеку и душевное здоровье. Как видите, ничего особенно оригинального, но все это требует большой работы прежде всего от нас самих».

На этом месте я кончил переписывать и лег спать, смертельно усталый, но и духовно обогащенный первым моим днем, проведенным у Фёрстера.

Глава шестая

ГДЕ СОБЫТИЯ НАЧИНАЮТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ

На следующий день, с утра, я отправился в санаторию. Это было большое, светлое здание, строившееся, кажется, не сразу, а по частям, ибо единства стиля в нем не было. Углы и боковой фасад были явно пристроены в позднее время, также мезонин и балкончики. Но такая сборность не производила неприятного впе-

...ления и казалась обжитой и органической. У больных были не комнаты, а целые квартирки: спальня, кабинет и ванна. Им предоставлялось самим обставлять их и убирать.

Внизу были расположены столовая и мастерские ручных работ; во втором этаже музыкальная комната, зала и библиотека; в третьем — жилые помещения больных. При санатории имелась оранжерея с великолепнейшим отделом южной флоры и целой комнатой разнообразных кактусов. Садовнику, маленькому человеку в тюбетейке, помогали больные.

Что до самих больных, то они произвели на меня впечатление, подобное тому, какое получаешь от тетради с эскизами. Все точно готовились быть людьми, а пока находились в состоянии замыслов. Замеченное мною еще раньше у нервнобольных напряженное выражение лица тут усиливалось особой духовной сосредоточенностью, полученной не от болезни, но от лечения. Каждый в отдельности казался вполне здоровым человеком, таким, кого можно встретить на улице, с кем сидишь рядом в трамвае, поезде, театре; но все вместе отличались коренным образом от толпы здоровых людей.

Тут были не совсем больные люди и люди с сильно выраженной болезнью. Были угнетенные и неестественно оживленные, пассивные и деятельные. Одни как-то демонстративно молчали и едва раскрывали рот для ответа, другие отличались говорливостью, иной раз нападавшей на них приступами, подобными приступам смеха.

Предупрежденный записками Фёрстера о необходимости черту за чертой изучать характеры больных и делиться своими наблюдениями на ежедневных совещаниях врачебного персонала, я начал свой первый урок по психологии с самого утра, при обходе больных. Оказывается, это было совсем не простое и не легкое дело. Воспитанная университетом и практикой в клиниках привычка прежде всего подмечать типовое, относящееся к болезни, а не к самому человеку, обнаружилась с первой же моей попытки разглядеть признаки человеческого характера у каждого больного. Невольно

я классифицировал моих будущих пациентов по знакомым типовым рубрикам: острые неврастеники, меланхолики, истерички, алкоголик, эротоман... И тут же ловил себя и задавал вопрос: а какой у него (или у нее) характер, какие особенности этого характера — и убеждался, что не могу ответить на этот вопрос даже приблизительно. Огромное желание узнать моих больных охватило меня. Было странно, что где-нибудь в аудитории на лекции или же в роте на марше, или даже на вечеринке я бы сразу почувствовал всех этих людей именно со стороны их характера и быстро составил бы себе суждение о каждом из них, а вот здесь, где самое важное — узнать характер человека,— сделать это оказалось гораздо труднее.

Почему? Потому ли, что меня, как врача, пять лет приучали смотреть в лицо болезни человека, а не в лицо тому человеку, который болен? Или потому, что болезнь, в данном случае — невроз, закрывает собою это лицо, мешает увидеть человеческий характер? И впервые за всю мою сознательную жизнь врача-психиатра я задал себе вопрос: можно ли успешно лечить психику человека, не зная до совершенства его характера, лечить душу в отрыве от характерных свойств человека, выработанных в его нормальном, здоровом состоянии?

Что до санаторных порядков, то я быстро с ними освоился, сдружился с сестрами, огляделся в своем кабинете, расположенном рядом с фёрстеровским, и начал свою работу. Нам, врачам, приходилось почти все время быть с больными. Лечение не носило никакого специального характера, а походило на какую-то «психическую корректуру»,— если можно так выразиться. Они жили, а мы поправляли их и давали им чувствовать свое присутствие. Режим был у них строгий и содержательный. Никто не оставался в бездействии, причем Фёрстер умел обставить всякую работу интересными мотивами или следствиями, сцеплявшими интересы двух, трех больных воедино. Он не упускал случая для согласования их действий или намерений.

Этот необыкновенный человек поражал меня своею эластичностью. Признаюсь, после двух часов пребыва-

мои с больными у меня от напряжения шумело в ушах и болела голова. Он же, словно ничем не утомленный, веселый, смеющийся, со своим тонким, чувствительным лбом и поперечной морщиной на лбу,— поспевал всюду и был со всеми, без малейшей суетливости. Говорил он мало и ничего лишнего. Его любимой манерой было глядеть на собеседника, склонив слегка голову к правому плечу, долгим взглядом из-под ресниц (Маро́ так же глядит так). Больные любили этот спокойный и ободряющий взгляд.

До обеда мы встречались с ним раза четыре, и я успел мимоходом сказать ему о впечатлении, произведенном на меня его тетрадкой; он кивнул в ответ головой. Только за обедом припомнил я с удивлением, что не видел между больными Павла Петровича Ястребцова. Теперь он оказался рядом со мной.

Санаторский обед был своего рода событием. Мы помещались за тремя столами; больные сидели каждый на своем месте; во главе двух первых столов находились Фёрстер и Зарубин, я же получил третий стол, которым управляла Марья Карловна. Она пришла вместе со звонком, приветливо поздоровалась с больными, пожала мне руку и села по правую сторону от меня. По левую, как я уже сказал, был Ястребцов. Не без удивления глядел я на свою соседку. Маро́ имела свойство казаться различной, меняясь почти до неузнаваемости. Девичье, даже детское — было ее обычным состоянием. Но порою она мужала, становилась эластичной и владеющей собою, как Фёрстер. Так и сейчас. Я видел за столом возле себя постаревшее, спокойное и сильное лицо, ни одно движение которого не выдавало ее мыслей.

Мы говорили между едой о том, что произошло за день. Больные, как я заметил, интересовались местною жизнью; интерес этот поощрялся. Маро́ рассказывала что-то о готовящейся в ауле свадьбе и о наступлении мусульманского поста, «ура́за». Внезапно Павел Петрович, до сих пор молчавший, высунул из-за меня свой костлявый нос, задвигал лицевыми оконечностями и обратился к Маро́:

— Сударыня, а как относятся горцы к культурным новшествам, которые вы у них заводите?

Маро́ скользнула по нему взглядом и спросила:

— Какие же новшества? Они сохраняют свой быт и законы. Их даже судит потомок их собственных владетельных князей, совсем по-допотопному!

— А вот насчет электричества, например. Сколько знаю, вы у них в ауле электричество провели, так что сакли освещаются лампочками?

— Да. А вам не нравится? Когда заработала станция, они, бывало, ходят туда и смотрят, часами. А как поняли в чем дело, стали даже проситься служить. У нас на лесопилке половина рабочих — местные горцы.

— Вот как! Могу я попросить вас показать мне эту лесопилку после обеда?

Бледное лицо Маро́ слегка порозовело:

— Конечно.

Сам не знаю почему, но разговор Ястребцова с Маро́ поселил во мне тревогу. Я не хотел видеть их разговаривающими даже о пустяках. Павел Петрович, болтая, глядел как будто вниз, на костлявые руки, игравшие столовым ножиком, но мне было заметно, как исподтишка он неотступно разглядывал девушку. Еще был один признак, показавшийся мне опасным: я заметил, что худые, словно рваные, ноздри его острого носа слегка трепетали и вытягивались. Решив про себя не пускать их вдвоем на лесопилку, я торопливо доел сладкое и встал из-за стола.

Следя взглядом за Ястребцовым и Маро́, продолжавшими разговаривать, я медленно шел к выходу. Но не успел я дойти до дверей, как меня догнал Фёрстер, продел свою руку через мою и, улыбаясь, сказал:

— Идем на воздух, у нас сейчас обычная конференция.

Я нерешительно последовал за ним. Мы вышли в парк на дорожку, усыпанную сосновыми иглами. Она вела к стеклянной веранде большого служебного павильона, скрытого от главного здания густою растительностью. Мы уселись на веранде, поджидая, пока соберутся остальные. Отсюда видны были причудливые зубцы Бу-Ульгена, похожие на поломанную челюсть.

…был насыщен сосновым запахом. Вокруг нас в …мраке по красно-бурой, песчаной земле …ские корни сосен, сплетаясь и вытягиваясь …рожек. Фёрстер задумчиво покуривал трубку, …свои морщинистые веки. Я мучился мыслью, ска… ему о Ястребцове или просто отпроситься пойти …на лесопилку. Но он спросил меня о своей тет… и когда я ответил, заговорил о больных.

Помните вчерашние рассуждения о форме? Вот …на работа подобна борьбе с формами. С уродли…ми формами, разумеется. Тут есть один маленький …чок, Лапушкин. Был препротивным эротиком, а я …месяц его выпускаю,— вылечился. И знаете, чем? …ировальным искусством. Окажите ему услугу, зай… как-нибудь в мастерские и посмотрите его работы. …сейчас введены два новых занятия для больных— …ировальное и мастерство Бенвенуто Челлини, юве…рное. Только камни, разумеется, не драгоценные и …лы простые.

Мысль о Маро́ и Ястребцове мешала мне слушать Фёрстера.

Вы уже говорили с Ястребцовым, Карл Франце…! — начал я после минутного молчания. Но отве…ить мне он не успел. Раздались шаги — это один за …гим стали подниматься на веранду работники сана…рии. Признаться, я очень удивился составу конфе…ренции. Мне казалось, это дело одних врачей и сестер. Но пришли и расселись по скамьям не только служащие …ловой (подавальщицы, повар), а и няни, уборщицы, …мойки; пришел в своей полинялой тюбетейке садов…ник. Набралось до пятидесяти человек. Новизна об…становки захватила меня и заставила забыть о Ястреб…цове.

С огромным любопытством всматривался и вслуши…вался я во все, что передо мной происходило. Такие …вещания были новостью для меня, в нашей клинике …ни никогда не проводились. Выступавшие говорили очень сжато и не все, а только те, кто со вчерашнего [illegible] мог прибавить какой-нибудь наблюденный факт к …уже собранных. Одна из нянь сказала, например, что больной Ткаченко продолжает кормить живущих

при санатории приблудших собак, унося для этого от обеда и завтрака кусочки недоеденного. Она сделала свое сообщение очень коротко, прибавив, что Ткаченко «с собаками ласково разговаривает, если никого нет вблизи». Садовник неожиданно заметил, что, по его мнению, больная Меркулова «в душе добрая», но доказательств не привел. Я еще никого не знал и не помнил по именам, поэтому в потоке мелких сообщений не мог ничего разобрать, но смотрел, как Фёрстер, выслушивая, все это записывает, ставя на полях число месяца и фамилию сказавшего. Когда совещание кончилось, он вынул из тетради листок и протянул его мне:

— Сергей Иванович, здесь описаны неврозы нескольких больных. Я отобрал для вас всего пять случаев. Вы увидите, что изложение не трафаретное и не в специальных терминах. Познакомьтесь с больными, чья история тут написана, и попробуйте распознать их человеческие характеры — вот вам первая задача. А потом поговорим.

Я взял мелко исписанный листок и спрятал его в грудной карман. Мне не терпелось догнать Маро́ и Ястребцова. Обежав аллеи парка и не найдя их, я спустился вниз, к лесопилке.

Жара стояла нестерпимая, горы были покрыты облаками. Пробежав мимо флигеля, я зашел под деревянную крышу лесопилки, где лязгали машины, но никого не увидел. В будочке тоже никого не было, кроме техника. Я окликнул его и, когда он повернул ко мне свое бледное лицо, спросил:

— Вы не знаете, где Марья Карловна?

Он молча показал рукой на родничок и отвернулся. Маро́ действительно оказалась возле родничка. Она сидела на бревне, опустив руки на колени и глядя прямо перед собою неподвижным взглядом. Ястребцов стоял возле нее со шляпой в руке и что-то говорил ей. Увидя меня, Маро́ порывисто встала, а Ястребцов замолчал. Я подошел, запыхавшись, и в первую минуту не знал, как и чем объяснить свое появление.

— У вас галстук развязался,— сказала Маро́, помогая мне в моем замешательстве,— стойте смирно! — Тонкие руки поднялись к моему подбородку, и покуда

завязывала галстук, я заметил, что они дрожали. Потом она снова села на бревно и посадила меня рядом.

У Ястребцова был рассеянный и элегантный вид. Он обмахивался веткой орешника, время от времени покусывая ее своими черными зубами.

— Что же, вы видели горцев? — спросил я.

— Любезный друг, я видел нечто лучшее,— ответил он с каким-то притворным энтузиазмом, присаживаясь к нам.

Марья Карловна взглянула на меня своим прищуренным — фёрстеровским — взглядом и перебила Ястребцова:

— Павел Петрович говорит о технике. Павел Петрович находит, что у него замечательное лицо, ван-дейковское, или гольбейновское, или что-то в этом роде.

— Как, да неужели Сергей Иванович сам не обратил внимания на это лицо? — Глаза Ястребцова обратились в мою сторону слегка удивленные, но очень вежливые, подчеркнуто вежливые. Я ответил, что техник кажется мне обыкновенным рабочим польского типа и что, вот когда он обрастет бородой, тип получит свою законченность, а лицо потеряет тонкость. Ястребцов снисходительно улыбнулся.

— У вас нет чутья на лица, молодой человек. О, лицо — это мелодия. Она поет вам в уши, если вы умеете слушать, застревает у вас в ушах. Я уверен, что каждое лицо поет по-своему, и есть такие, предназначенные мелодии, поющие раз навсегда кому-нибудь одному. Мы называем их «своим» типом, «роковым» типом и так далее. Хотел бы я видеть этого белокурого юношу в темнокрасном бархатном кафтане и в берете с павлиньим пером!

— Ну, вы увидите его в воскресенье совсем по-другому — в гороховом костюмчике и на велосипеде,— засмеялась Маро́.

— Это ничего не значит,— невозмутимо продолжал Ястребцов, как бы говоря в шутку и только притворяясь заинтересованным темой.— Вы помните, что я говорил вам о зачарованности? Почему не представить себе этого юношу зачарованным? Что знаем мы о себе или

друг о друге? Гороховый костюмчик, велосипед, университетский диплом, фуражка шофера — все это лишь шелуха, шелуха и ничего более. Видимость. А под видимостью — очарованная душа, ждущая своего отгадчика. Стоит только отгадать, и колдовство снимется, и мы проснемся... там.

— Где? — тихо спросила Маро́.

— Там, в мире реальностей. Там, о чем нам только иногда снится,— с непостижимой, впрочем, осязательностью и яркостью. Вы заметили, как наше восприятие утончается во сне? Уверяю вас, мы в десять раз чутче и чувствительней к сонному образу, нежели к житейскому. Это оттого, что нам сны приводят наши образы, нам предназначенные, в нас оживающие, а жизнь ведет нас мимо видимостей, и вдобавок — чужих.

— Знаете, что сказал бы мой отец, если б услышал вас? — спросила Маро́, глядя прямо перед собою и скрестив тонкие пальцы на коленях.— Он сказал бы «нельзя»!

— Нельзя? — переспросил Ястребцов, поднимая брови и улыбаясь так, что все лицевые кости запрыгали и застучали у него под кожей.

— Да. Мой отец находит, что истинная судьба человека — в обществе. Пока мы не выдергиваем ее из судьбы народа, не выдумываем небывальщины, мы живем по-настоящему, а чуть начнем сочинять, она переходит из наших рук... в чужие руки.

— Вот как! Почему же он не скажет просто: в бесовские руки?

— Потому что он не верит в беса.

— Фёрстер не верит в беса! — расхохотался Ястребцов почти радостно и во всяком случае возбужденно.— Не верит в беса! Я считал его более... гм, более искушенным человеком.

— Да, он не верит в беса,— продолжала Маро́ спокойно, все еще не поднимая глаз,— он, например, называет иногда злом психическую энергию человека, действующую в отрыве от его сознания, характера, убеждения. Знаете, когда говорят: прорвало человека, сам себя на помнил, бес попутал... Вот против такого беса он борется в человеке.

— Весьма любопытная теорийка. Но я лично думаю, что отказ от своей настоящей судьбы — значит забвение и потеря. Не бродим ли мы в жизни, стремясь отыскать ее? Не для того ли посланы мы в мир масок, чтобы назвать их масками и найти под ними родное лицо? Отказываться от встречи, от обладания им — какой соблазн, какая ошибка!

Он говорил это проникновенным голосом, даже с грустью и задушевностью. Острый нос его свис к подбородку, и нижняя губа опять сиротливо выпятилась, как тогда, в коляске. Наступило минутное молчание, в продолжение которого, мне кажется, каждый из нас думал о самом себе. Вдруг Ястребцов поднял голову и сказал совсем другим голосом, неприятно-скрипучим и злым:

— А вот идет маска, под которой, должно быть, и вовсе нет лица. Бедная маска, вдобавок она беременна.

Я увидел молодую женщину, осторожно, маленькими шажками спускавшуюся по тропинке. Русая голова ее была повязана чистым белым платочком. Лицо было некрасиво и вытянуто книзу, как у лисицы; маленькие глаза, близко посаженные друг к другу, смотрели на нас исподлобья, с тупым и печальным недоброжелательством. И все-таки в ее движениях и в ней самой было много тихой грации. Она походила на обессиленное робкое животное, которое не смеет злиться, а только боится. Осторожно неся свой живот и ставя ноги, где посуше, молодая женщина дошла до родничка, остановилась, переводя дыхание, поставила на землю голубой чайничек и спустила платок с головы. Великолепные русые косы сверкнули на солнце.

— Какие чудные волосы! — невольно вырвалось у меня.

— Вот вам судьба юноши в темнокрасном кафтане,— глухо сказала Марья Карловна, повернувшись к Ястребцову и глядя на него широкими глазами.— Это жена техника.

Я внимательно поглядел на женщину. Руки у нее были пухлые и белые, с короткими, обкусанными ногтями. Повязав голову, она взяла чайник, нагнулась и, подобрав широкую юбку между ногами, принялась

набирать воду. Ей было трудно, лицо ее налилось кровью, живот ходил из стороны в сторону.

— Это ровно ничего не доказывает,— раздался скрипучий шепот Ястребцова.— И почему бы ей, кстати, не умереть, раз она ведет себя так неосторожно?

Что-то было в этих словах и в тоне, каким они были сказаны, ужасно гадкое и стыдное. Я густо покраснел, не смея взглянуть на Маро́. Но она мгновенно вскочила на ноги, и тут я невольно увидел ее лицо. Оно было бледно и так прекрасно, что я опустил голову. Не нужно было глядеть еще, оно запомнилось мне таким навеки — матово-бледное, со сдвинутыми пушистыми бровями, с пушистой прядкой на лбу и полуоткрытым, нежным ртом, дрожащим от боли Не глядя на нас, Маро́ быстро подошла к женщине.

— Можно мне помочь вам? — сказала она смиренным и виноватым голосом, но с добротой и спокойствием.

Жена техника вырвала чайник из воды, расплескала его, с ненавистью глянула на Маро́ и, отвернувшись, почти побежала в гору, не ответив ни слова. На тропинке стоял техник; он следил за сценой, засунув руки в карманы. Когда жена поровнялась с ним, он вынул руки, поддержал ее, взял у нее чайник и стал говорить ей что-то по-польски. Она отвечала ему быстро-быстро, глотая слова, захлебываясь и мотая головой; платок сполз у нее на плечи, и косы блестели на солнце. Я заметил, какая у нее худая шея, худая и не гнущаяся, словно жердочка; голова болталась на ней, как кукольная. Вдруг техник, улыбнувшись, провел рукою по ее волосам. Она мгновенно умолкла, слезы побежали у нее по щекам, и, взяв его под руку, тяжело ступая, она пошла домой. Техник заботливо вел ее, ни разу не обернувшись в нашу сторону.

Тут только я вспомнил про Марью Карловну и подошел к ней. Она была все так же бледна, но спокойна. Я видел, что она смертельно устала и хочет быть одна.

— Нам пора в санаторию, Павел Петрович,— сказал я как мог решительнее и взял Ястребцова за руку. Он встал, надел шляпу и снова снял ее, изысканно поклонившись Маро́:

— Всего лучшего, Марья Карловна! А нервная бабенка, эта техникова жена. Как она от вас отшатнулась, словно на лягушку наступила, ха-ха-ха! За что такая немилость?

В тоне его было что-то наглое. Я не дал ему продолжить и быстро увел его за собой. Мы шли молча. Только при самом входе в санаторию Ястребцов остановился, взглянул на небо, хихикнул скрипучим хохотком и проговорил:

— Гроза будет!

Запершись в своем служебном кабинете, я вынул листок, данный мне Фёрстером, и углубился в него. Это была «история болезни» Меркуловой, Тихонова, Чере[illegible]кова, Дальской и Ткаченко, но изложенная скорей писателем-психологом, нежели врачом.

Больная Меркулова. Желчная старуха, помещенная в санаторию не по своей воле. Длинноносая, тощая, седая, курит. Ее болезнь — ненависть к неожиданному. Она сносно себя чувствует, пока жизнь идет по заведенному, то есть в доме нет постороннего человека, обед подан во-время, желудок подействовал, почтальон пришел, домашние здоровы и т. д. Чуть обычное течение жизни нарушено, Меркулова выходит из себя и начинает быть недоброжелательной. Недоброжелательство доходит до злости и даже до ярости. Чужой человек, неожиданно пришедший к ней в дом и оставленный обедать, становится ей ненавистным, сперва весь вообще, потом конкретно, по мелочам: ей делаются ненавистны его манеры, нос, улыбка, башмаки, голос. Сперва она сдерживается, но потом ненависть прорывается, и день заканчивается скандалом. Когда заболевает кто-либо из домашних, она первый день ограничивается нетерпением. Ей приятно даже оказать помощь, она входит в комнату, спрашивает о здоровье, рекомендует детям не шуметь, а прислуге быть поблизости. К вечеру нетерпенье усиливается. Она сидит у себя и каждую минуту звонит, а когда к ней приходят, нахмурившись, спрашивает: «Все еще больна? до сих пор не встала?» На другое утро ей кажется, что ее игнорируют. Она придирается, капризничает, плачет, велит укладывать сундук и перевезти ее в гостиницу. На третий день

с ней бывает припадок ярости, и злоба обрушивается уже на своих. Припадки эти не всегда безобидны. Старуха Меркулова бьет детей, и не ударит только, а именно бьет,— подолгу. Живет у замужней дочери.

Студент-путеец, Тихонов. Истощенный, малярийный субъект, желтоглазый и желтогубый. Он болен ожиданием несчастья. Вот уже полтора года, как он изо дня в день предчувствует неестественную смерть; боится есть, не ездит, не гуляет, не читает чужих книг, не дает стирать белья прачке, не спит по ночам, не берет в руки спичек, не выглядывает из окна третьего этажа. Боязнь заразы делает его невменяемым. От страха он покрывается холодным потом и прикусывает свой язык. Я глядел ему в рот — язык выглядит ужасно, весь искусан. У нас всего второй месяц.

Писатель А. И. Черепенников, пожилой, физически довольно здоровый, приятной наружности, в пенсне. Страдает бесчувствием. Он не умеет воспринимать событие иначе, как через литературную обработку. У него умерла жена, и он не мог при этом ничего «почувствовать или пережить», как он сам выражается. А между тем плачет, читая описание чьей-нибудь смерти в романе. Чужое несчастье или несправедливость оставляют его совершенно равнодушным; при нем можно резать курицу, не действуя на его нервы. Но описанная художественно несправедливость возбуждает его так, что он готов идти с ней на борьбу и пожертвовать жизнью за пострадавших. Это состояние с годами прогрессирует. Он не терпит живых людей, и вся его душевная жизнь носит книжный характер.

Артистка Дальская. Очень красивая брюнетка, здоровая, грубоватая, глуповатая. Живет в санатории с мужем, совершенно здоровым психически мужчиной. Больна ревностью, бессмысленность которой она сама сознает. Охотно и с готовностью подчиняется санаторскому режиму, любит лечиться, сама себя останавливает и укоряет, но состояние нервов невыносимое: не отпускает мужа ни на шаг, делает ему дикие сцены, следит за ним неотступно, воображение полно самыми дикими картинами, ненавидит всякую женщину, не

[illegible] и своей матери. Часто плачет и хотела бы умереть.

Адвокат Ткаченко, средних лет, изящный блондин, всегда безукоризненно одетый. Был бы красив, если б не беспрерывное моргание ресниц и подергивание век. Часто вскакивает с места. У него, по его собственному выражению, «диалектическая болезнь». Он сам мысленно отвечает на свои вопросы и опережает всякое обращение к себе, всякое отношение тем, что реконструирует его первоначально в мозгу. Когда ходит с кем-нибудь, то сознает не только за себя, но и за того, кто с ним. Безошибочно чувствует, кто что о нем думает и может думать. Подсказывает другому образ действий, иногда направленный против себя же самого. Редкий лгун,— совершенно нечувствительный к отличию правды от лжи. Глубоко депрессивен...

И вот про эту Меркулову, с которой я предвидел множество трудностей, сказал садовник, ведь не просто из головы, а на основании чего-нибудь: выражений лица, тона голоса, личного ощущенья человека,— что она «в душе добрая». И про этого Ткаченко, словно вывернутого наизнанку, рассказала няня, как он систематически кормит собак и ласково разговаривает с ними. Как я найду ключ к ним, к их человеческому характеру, скрывающему тайну их невроза? Фрейд попытался бы разговорить их до бредовых признаний о каком-нибудь сексуальном ущемлении в грудном возрасте. Но перед нами лежит совсем другой путь — путь к здоровому человеку через нездоровое его обличье,— путь к его будущему, к которому мы, врачи, обязаны вести наших пациентов.

Глава седьмая

ГРОЗА

Быстро прошли послеобеденные часы. Измученный работой, я не стал пить чай у Фёрстера, а ушел к себе. В комнатах было так душно, что я раскрыл все окна и двери. Темные, сизо-бурые тучи с белыми полосками;

похожими на пену, облегли все небо и мало-помалу сползали вниз. Все ущелье незаметно наполнялось их шершавыми хлопьями.

Работать стало немыслимо и читать тоже. Я скинул тужурку и сел на балконе. Мне впервые доводилось видеть грозу в горах. Она падала, как птица,— кружась. Тучи скручивались и суживались, горы меняли очертания, ныряя и снова возникая из серого пепла, деревья стояли, свесив ветви и свернув листья. Внизу бегала Дунька, загоняя кур в сарай. Она кричала тоненьким, обалделым голосом:

— Петушки, курочки, петушки, курочки... Цып цып!

Когда последняя курица, накудахтавшись, влезла в сарайчик, Дунька опрометью кинулась домой. И как раз во-время. Сверкнула синяя молния, и вслед за ней загромыхал гром, все приближаясь и не умолкая целую минуту. Крупный, но редкий дождь скупо брызнул на землю, а молния и гром беспрерывно сменяли друг друга, наполняя горы адским грохотом и блеском. Я побежал в комнаты, зажимая уши. Но удары преследовали меня и здесь. Один был так близок, словно обрушилась стена моего флигеля. И сразу вслед за ним послышался крик. Внизу подо мной кто-то испуганно забегал, застучали двери, потом снова все смешалось с ревом и грохотом грозы.

Когда, наконец, гром затих и полил частый дождь, я снова вышел на балкон. Сумерки наступили раньше обыкновенного, а свету не было. Все вокруг темнело и тускнело со страшной быстротой, и к шести часам я очутился в сплошной темноте.

Как раз в это время ко мне постучали. Стук был робкий и еле слышный. Я крикнул «войдите». Дверь тихонько раскрылась, впуская полоску света. Передо мною стоял седенький, сутулый старичок со свечой в руке. Он был одет в длиннополый пиджак старого покроя и, когда не кланялся, то кашлял в ладошку, а когда не кашлял в ладошку, то кланялся.

— Звините, пан доктор (кашель и поклон)... Вулерьян Николаевича (кашель) не можно найти (поклон).

Просим быть до больного (попытка поклониться и кашлянуть сразу).

Я понял, что меня зовут вниз, и, накинув тужурку, отправился вслед за кашляющим старичком. Он шел боком, вероятно из вежливости, и немилосердно закапывал стеарином свой рукав. Мы спустились в первый этаж, и старик повел меня в большую полутемную комнату, разделенную перегородкой на две части. В первой топилась русская печь и стояла лежанка, во второй я увидел прибранную двуспальную кровать, комод и стенное зеркальце. За столом сидел техник; рукав у него был разодран и рука обнажена до плеча. Подле него со свечой стояла его жена; она не плакала и ничего не говорила, а только покачивала головой. Техник был немного бледен, но спокоен. Он привстал, чтоб протянуть мне правую — здоровую — руку, и сказал отчетливым русским языком, но с чуждым выговором:

— Молния ударила в сосну, а я был на дороге. Сосна поцарапала мне руку, пожалуйста, посмотрите, как теперь быть.

Я поглядел на «царапину»; это был глубокий шрам, с выдернутыми кусками мяса, кое-где висевшими на коже; кровь закапала весь стол и текла на пол. У них не оказалось ни иода, ни ваты, ни марли, и пришлось сбегать наверх. Пока я засветил свечку, разыскал нужные вещи и снова собрался вниз, ко мне вбежала мокрая Дунька с обалделым лицом. Еле переводя дух, она поставила мне на стол лампу (тоже мокрую), достала из кармана спички (тоже мокрые), всплеснула руками и залопотала:

— Ой, чтой-то говорят: молонья техника убила!

— Вздор, Дуня! И боже вас упаси сболтиуть это барышне! — крикнул я ей решительным голосом и побежал вниз. У больного, покуда я перевязывал ему руку, столпилось все его семейство — жена, тесть и теща. Жена теперь плакала, вытирая глаза кончиком шейного платочка. Теща — та самая бумажная ведьма, которую я видел вчера — гладила ее по спине и называла Гулей. Тесть удовлетворился тем, что беспрерывно кашлял в ладошку, ибо причины для поклона были исчерпаны.

— Вот и все, Филипп Филиппович,— сказал я, кончив перевязку,— только уж работать вам с недельку не придется.

Он улыбнулся и поднял здоровую руку — вместо ответа. Он был сейчас в разодранной блузе и в белой рубашке, не особенно чистой. Руки — в ссадинах, с черными ногтями, в металлической, остро пахнувшей пыли. На коленях его стареньких серых брюк были заплаты; и он, привычным жестом рабочего, подтянул их, вставая, за подтяжки. И все-таки этот замурзанный, заплатанный, пропахший железом и опилками рабочий был сейчас обаятелен даже для меня. Я невольно глядел на его прямые брови, на спокойный и добрый взгляд, на тонкий рот и острую линию подбородка — и вспоминал слова Ястребцова о зачарованной душе. Вдоль его худых щек я заметил золотистый пух от растущих бакенбард: на шее тоже золотились волосы. Белокурый и спокойный, он напоминал картину нидерландского мастера. Глаза его сидели очень глубоко, во впадинах, под прямоугольною лобною костью, и оттого казались маленькими. Ему недоставало только трубочки, и он, словно угадав мои мысли, здоровой рукой взял со стола трубку и раскурил ее о свечу.

Тем временем «бумажная ведьма» рылась в комоде. Она достала старый бархатный кошелек, вынула оттуда полтинник и с важностью протянула его мне. Я отказался от денег, собрал свои вещи и хотел было выйти, но старуха загородила мне дорогу.

— Нет, никак нельзя без денег, пан доктор. Мы тоже не простые, мы образованные,— начала она внушительно и даже злобно.— Когда вы полагаете, з нами можно запросту, вы очень нас забижаете. Прошу пану не чиниться!

Она долго еще бормотала что-то про себя, шевеля когтистыми пальцами, пока я не взял у нее деньги и не вышел. Техник проводил меня виноватой и сконфуженной улыбкой. Я шел к себе с неприятным предчувствием, и когда отворил дверь, оно оказалось справедливым: у меня на диване в дождевом макинтоше сидела Марья Карловна.

— Ну так и есть, Дунька наговорила вам вздо-

ру! — с сердцем воскликнул я, бросая на стол лекарства.— И, пожалуйста, снимите плащ, если вы не собираетесь простудиться.

— Да нет же, Сергей Иванович, Дунька, честное слово, мне ничего не сказала! — заторопилась Маро́, снимая дождевой плащ и кладя его на диван.— Я только думала, что сегодня свету не будет, гроза, и вы тут соскучитесь.

— И не подумаю я соскучиться. Ведь надо мне когда-нибудь отдохнуть! — сердито ответил я, шагая из угла в угол.

Она съежилась в своем уголке, следя за мной темным, испуганным взглядом.

— Соскучиться! — продолжал я с какой-то обидой.— За два дня ни минуты спокойствия, ни минуты одиночества, и все какое-то глупое душевное напряжение и суетня, неизвестно для чего.

— Не сердитесь! — тихонько раздалось из угла.

— Соскучиться! — продолжал я, повышая голос с возрастающим негодованием.— Да у меня времени нет почитать, прогуляться, сделать что-нибудь для себя. До сих пор проявить некогда дорожные снимки. Если так будет продолжаться, я... я сам попаду в санаторию.

Маро́ встала и подошла ко мне. Ее пушистые локоны были мокры от дождя, ресницы тоже. Она взяла меня за пуговицу рукой, а другою коснулась моей щеки. Прикосновение было так мягко, вкрадчиво и шелковисто, что я мгновенно умиротворился, но все же мотнул головой в знак неодобрения.

— Когда вы бранитесь, вы выглядите на десять лет моложе,— любезно сказала она, продолжая крутить мою пуговицу.— Скажите мне, что такое случилось с Хансеном, и я сию же минуту удалюсь.

— Не имею чести знать никакого Хансена,— мрачно ответил я.

— Ах, боже мой, это техник,— нетерпеливо вырвалось у Маро́.

— Техник? Техник оцарапал себе руку, а я перевязал ему царапину и получил за это пятьдесят копеек.

— Где оцарапал?

И так как шелковистые пальцы Маро́ перебрались с моей пуговицы на воротник тужурки, я торопливо ответил на все вопросы и дал все справки, какие от меня требовались. После чего я протянул ей руку и решительно произнес:

— А теперь спокойной ночи!

Маро́ взяла протянутую руку, слегка пожала ее и понюхала воздух.

— От вас пахнет... ах! (Она поднесла мою руку к самому носу.) От вас пахнет металлическим запахом. Вы не находите, что это очень приятный запах?

— Ничуть. Спокойной ночи, Марья Карловна!

— Спокойной ночи,— ответила моя гостья рассеянно и, подойдя к дивану, уселась на него самым уютным образом. Я беспомощно поглядел на нее.

— Да, Сергей Иванович, милый, вы еще ничего толком не рассказали.

Я всплеснул руками.

— Не рассказали, честное слово! Ведь надо по порядку. Ну, значит, вы тут сидели в темноте, и вдруг стук в дверь... Или как оно было? Только, пожалуйста, все по порядку.

Я с отчаянием сел возле нее. Она положила подбородок на розовую ладонь и приготовилась меня слушать. Когда я стал рассказывать, она шевелила мне вслед губами и время от времени прерывала меня:

— Погодите, какой старик? А что он сказал? А какая комната? Опишите, что стояло в комнате? И правда ли, что все они живут в одной-единственной комнате? — и т. д.

Наконец, я был выпотрошен, и тогда она снова понюхала мою руку, чтобы убедиться, не исчез ли металлический запах.

— Сергей Иванович, милый, оставьте так руку, не-е-пременно оставьте, до завтрашнего дня!

— Как оставить, не мыть?

— Ну да, я завтра приду и еще раз понюхаю.

Терпенье мое лопнуло.

— Марья Карловна,— сказал я сухо и торжественно,— в иные минуты мне казалось, что вы заслуживаете серьезного отношения. Мне казалось, что вы за-

...оте величайшей деликатности. И я был так ..., что страдал за вас. Но...

— Но? — Она глядела на меня, прикрыв глаза ру... и прижавшись в угол дивана, как зверек.

— Но теперь я убежден, что все это легкомысленный вздор. И, пожалуйста, прошу вас, идите домой, чтоб Варвара Ильинишна не беспокоилась понапрасну...

Я уже взял было мокрый дождевой плащ, с неудовольствием покосившись на отсыревший диван, и намеревался подать его Марье Карловне, когда меня поразила ее поза. Она отняла руку с лица и откинула голову назад. Локоны упали со лба, и передо мною было прежнее не детское лицо,— лицо мужественной женщины, сильное, спокойное и лишенное мягкости.

— Положите плащ на место, Сергей Иванович, и сядьте сюда на минуту,— сказала она мне тихо. Я положил плащ и сел.

— Мне очень вас жалко,— продолжала она,— милый вы мой мальчик, что вы никак не успеваете заняться вашими удочками, и бабочками, и коробочками, но что же делать? Я считала дни и часы до вашего приезда. Я воображала, что у меня будет товарищ — нечто вроде подруги. Знаете ли вы, что у меня никогда не было подруги?

Она говорила, перебирая пальцами кружевную оборку своего платья. Я сидел, чувствуя раскаяние и жалость.

— А если я к вам сразу заприставала в эти дни, так это от тоски. Все равно тут ни от кого ничего не спрячешь. Я подумала, что рано или поздно вы разузнаете обо мне,— может быть, даже неверное или дурно истолкованное что-нибудь,— и тогда будет еще хуже. А потому я не таюсь.

— Вам в тысячу раз хуже и тяжелее оттого, что вы не таитесь! — горячо воскликнул я.— Подумайте, сколько лишних глаз, лишних языков, лишних мыслей примешиваются к вашему душевному переживанию, и, может быть, это его ухудшает или изменяет! Почему вы не удержали его про себя? Ведь даже посторонний человек, Ястребцов, посмел вам глядеть прямо в душу.

Получается что-то нечистое. Мне противно за вас...— я сдержался и умолк.

Она опять подняла руку, словно защищаясь.

— Это правда, и мне самой противно. Но поймите же вы и другое, Сергей Иванович. Поймите, что мне унизительно таиться,— это, может, еще противнее! Я хочу жить, чтобы все было открыто, я хочу, чтоб у меня было чувство, будто я имею право на это.

— На открытость?

— Да. Папа меня с детства учил все делать так, чтоб это могло быть на глазах у всех. И у меня постоянное ощущение людского присутствия, не знаю, понятно ли это вам? А когда я начинаю таиться от людей, то теряется и это ощущение. Точно начинаешь уходить из-под правды.

— Милый друг, но ведь в данном случае ваша откровенность принесла вам только стыд и тяжесть. Значит, вы сами себя осуждаете не за открытость, а за то, что в вас делается. Не проще ли остановиться, пока это еще возможно? — Я говорил тихо и от всего сердца.

— Остановиться? — переспросила она, поднимая на меня глаза.

— Да... отказаться. Потому что это «нельзя», как говорит ваш отец.

— Но почему же нельзя? — с тоскою спросила Маро́, вытягивая ко мне руки.— Почему, почему нельзя, если душа этого хочет, если это благословенно для вас, если это родное, близкое, словно созданное по вашему желанию?

Я встал с места, прошелся раза два и остановился перед ней. Я был сам еще молод, и у меня не было душевного опыта. Я был сам слаб и неуверен в своем будущем. Но все-таки я сказал темноглазому существу, сидевшему против меня на диване с дрожавшим от боли, таким знакомым мне, тонким ртом:

— Потому что вы любите женатого человека. Потому что у них скоро будет ребеночек. Потому что вы становитесь на чужой дороге.

— Тогда от всего света надо отказаться, потому что всегда кого-нибудь обидишь,— ответила Маро́. Она плакала, опустив голову на подушку дивана, но так не-

...но, что я заметил лишь мгновенный блеск слез на ...х, когда она подняла ко мне лицо.

— Может быть,— ответил я, продолжая ходить,— ...такие люди, которые смеют отнять у другого. Но ...мы. Не мы с вами. А нам надо отказываться, отказываться и отказываться... И слава богу, что мы такие!

— Подойдите ко мне, сядьте сюда! — подозвала ...Маро, и когда я сел, горячей рукой взяла мою руку.— Если б вы его знали, как я, вы бы лучше это поняли. Он добрый, ах, какой он добрый, ведь он мучается между нами двумя еще больше, чем мы. Он ни разу, ни разу не сказал мне злого слова, ни единого разу не дал понять, что я ему дорога. А я это все равно знаю. Ведь нельзя не знать, когда сам любишь. Посмотрите, ведь он целый день работает и ведь кормит их всех ... И ничего никогда не делает для себя... Только по воскресеньям, по во-скре-сеньям... (она разрыдалась) надевает этот свой костюмчик... гороховый и катается...

— Милая Марья Карловна, он простой рабочий, и ему нужно немного,— ответил я, гладя ее руку.— Он так устанет за день, что ему бы только поесть горячего да найти дома мир и спокойствие. Если вы его действительно любите, не разоряйте ему жизни. Отойдите от него, и он вас забудет, и все пойдет по-старому.

— Ах, нет, это неверно! — воскликнула она с болью.— Это обман так думать! И вы, и вы тоже хотите сказать, что он рабочий, а я барышня,— и он не похож на нас. Да, может быть, он больше нашего с вами хочет? Может быть, он задыхается от своей жизни? Дуня говорила, у него скрипка есть, да техничка будто бы ненавидит, когда он играет,— чтоб не был похож на барина,— и он эту скрипку ни разу, ни разу за целый год не вынул. Почему вы думаете, что это ему легко? Ведь нашел же он время выучиться?

— И все-таки, я думаю, для него все легче и проще, чем для вас.

— Почему?

— Потому что в нем сильнее сознание долга, чем в нас с вами,— сказал я задумчиво. И мне стало ясно, пока я говорил это, что так легко в сущности уберечься

от всякого соблазна, если только твердо уверовать в его недолжность. Как бы отвечая на мою мысль, Маро́ продолжала тихонько:

— Ну, предположим, я откажусь, ради этой... ради бумажного семейства, и оставлю их сидеть у него на шее. А если окажется, что никакого долга не было? Что я прошла мимо своего счастья, единственного, и он его тоже потерял из-за меня? Ведь может это так быть?

— У совести не бывает условного наклонения, Марья Карловна. Не обманывайте сами себя. И потом что это была бы за жизнь у вас с ним? Пусть он прекрасный и благородный человек, да ведь этого мало. Вы вот «оригиналы» читаете, а ему дай бог письмо суметь написать. С бумажным семейством он живет без натяжки, а с вами стал бы церемониться и стыдиться, и какое уж это счастье!

— Неправда, он никогда со мной не стыдится. И чем я умнее его? И я бы стала и варить, и стирать, и шить, и в платочке ходить, если это нужно, и была бы счастливейшей женщиной на земле.

— Но этого нет и не может быть! — почти с отчаянием крикнул я.— Зачем же вы сами себя мучаете?

— Не могу, не могу, не могу отказаться от него,— глухо произнесла Маро́, побледнев и вставая с места.— Вы даже не подозреваете, сколько сюда вложено. Мне каждый сучок на лесопилке, каждая пылинка в его будке дорога больше, чем вся моя жизнь. Я встаю утром, радуясь, что увижу его, и ложусь спать, чтоб поскорее наступил день. Если только сказать себе, что его нет и все уже кончилось,— тогда мне ну, тогда вниз головой в Ичхор, вот и все.

— А ваш отец, Маро́? — сказал я медленно, впервые называя ее по имени.

Маро́ опустила голову и сжала губы.

— Он и это перенесет,— сказала она с недоброй улыбкой.— Папа умеет отказываться. Но я не хочу и не умею.

Я подал ей плащ и проводил ее до двери, не сказав больше ни слова. И когда она исчезла в темноте, под тяжелыми каплями дождя, я вернулся в свою комнату, сел за стол и опустил голову на руки. Вокруг

меня были знакомые мне и милые предметы, собранные и приобретенные мною самим. Передо мною был долгий ряд лет, которые я мог бы сделать добрыми и содержательными. А я меж тем был страшно опустошен и измучен, и в мою спокойную душу вошло неведомое смятение. Так ли расположился я жить, как нужно?! И тоска по невозможному затомила меня, совсем как в редкие минуты очарования театром или музыкой. Моя собственная судьба понеслась перед моим воображением, как стая облаков, гонимых ветром, принимая самые фантастические, самые невозможные очертания. Сладкая и таинственная грусть зашевелилась во мне, точно от предчувствия обетованной встречи. Совсем чужими и холодными глазами глянул я вокруг, на темноватую комнату, догоревшую свечу и «удочки, бабочки и коробочки», расставленные по полкам.

Но так было только одно мгновение. Я вскочил, стряхивая с себя сладкий соблазн. Пусть это будет трусостью или мещанством, как говорит моя матушка, — но я не хотел бы заглянуть в лицо тому, что спрятано за разумом. И в эту ночь я заснул совсем как маленький мальчик, не тяготясь своим неведением.

Глава восьмая

ДВЕ «ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ»

Проснувшись, я сразу вспомнил полученный от Фёрстера листок и поставленную передо мной задачу. Она не была похожа ни на что, задававшееся нам в университетских клиниках. Смутное ощущение чего-то ненаучного, дилетантского, похожее на внутренний стыд, зашевелилось во мне, когда я снова, очень внимательно, перечитал описание пяти больных. Как разобраться, что же тут, в этом описании, от болезни, а что от характера? И разве тут не описаны именно характеры человеческие, а не их болезни? Но если здесь принято называть «историей болезни» описание скверных и тяжелых характеров, так пусть будет по-ихнему, тем

легче решить задачу! Двое из описанных пациентов заинтересовали меня больше всего — Меркулова и Ткаченко, может быть потому, что о них я слышал на конференции. Подсев к письменному столу, я снова внимательно перечел эти две рубрики, схватил ручку и приписал в графе о Меркуловой: «Ярко выраженный характер законченного эгоиста», а в графе о Ткаченко. «Издерганный, вечно рефлектирующий тип крайнего индивидуалиста, потерявшего всякую природную непосредственность».

В эту минуту в дверь мою постучали. Я взглянул на часы,— было еще слишком рано идти в санаторий, солнце не показалось из-за гор и еще стояла за окном та зеленовато-белёсая муть, какая предшествовала рассвету. В комнату заглянул Зарубин.

— Встали, Сергей Иванович?

Я молча протянул ему листок со своими еще не высохшими пометками. Он скорчил гримасу:

— И вы тоже повторяете, как заводной, наши ранние ошибки. Не так это, батюшка!

— Почему не так?

— Потому что Федот, да не тот. Трудно объяснить новому человеку, еще пропитанному клиникой, в чем тут разница. Но подумайте сами: вот вы сделали вывод, написали его, а какая от него польза? Чем этот ваш вывод может помочь в лечении человека, в том, чтобы этому человеку легче стало? Ничем. А мы ведь тут не бирюльками занимаемся, не просто загадки загадываем и ребусы решаем, мы практическую цель перед собой ставим.

Я был раздосадован его словами. Уж если говорить о практических целях, то надо было, казалось мне, начать с определения, какая же разница между болезненным состоянием психики человека и его характером в данный момент, когда он болен. Ведь заболевает весь он, со всем своим характером, и состояние его определяется именно этими особенностями характера... Вскочив, я сердито зашагал из угла в угол.

Зарубин словно угадал мои мысли. Он сел на мой покинутый стул, вскинул на меня свои маленькие умные глаза и произнес без обычных своих шуток:

— Вот вам пример. Был тут недолго один человек наиновейшей профессии, либреттист синематографа. Прежде чем начать снимать картину, надо, оказывается, написать либретто, и вот это самое либретто он писал. Потом оно переходило в руки другого специалиста, который делал на его либретто сценарий. Две одинаковые тетрадки на одну и ту же тему, с одними и теми же действующими лицами, с одной и той же сюжетной канвой, с одними и теми же событиями. А я их прочитал, как совершенно разные, и научился из каждой совершенно разным вещам. Это самое примерно производим мы, когда по болезненному состоянию человека воссоздаем его характер. Как по одному либретто нельзя снять картину, так по одной истории болезни нельзя лечить человека. Нужен как бы перевод либретто на сценарий,— понятно?

— Да что же можно «перевести» из этой бумажки о Меркуловой, кроме того, что она типичная эгоистка и вредная теща? — в сердцах ответил я, все продолжая шагать.

— Вы не «перевели», друг любезный, а сделали прямой линейный вывод из того, что прочли. Давайте я вам покажу, как о Меркуловой перевел Карл Францович.

Он опять взял листок и стал медленно читать его вслух, фразу за фразой, сопровождая каждую комментариями: «Желчная старуха, помещенная в санаторию не по своей воле». Желчная — значит, в состоянии хронического раздражения от обид. Но все-таки не хочет уезжать из того дома, где ее раздражают,— значит, все-таки к месту или к семье по-своему привязана. С ее желаньем не посчитались, привезли в санаторий — значит, не так уж она своевольна и не хозяйка в доме,— несмотря на старость, с ней поступили вопреки ее желанию. «Длинноносая, чванная, седая, курит». Немного смешно, немного жалко, видишь, что нервная... «Ненависть к неожиданному... сносно себя чувствует без посторонних, когда обед во-время, домашние здоровы... Обычное теченье прервано — выходит из себя... до злости, до ярости...» Мы уже знаем, что в доме не она хозяйка, иначе бы ее против воли из дому не удалили.

Положение старухи матери в доме зараз и своем и не таки не своем, видимо ей не легко; выработала цепь привычных реакций на привычные вещи, и дело как будто идет по заведенному порядку. Но необычные вещи — гость, болезни домашних — требуют от нее необычных реакций, приспособления к новому порядку вещей, и она не умеет, сознавая свою неполноценность в доме, сразу дать естественную на них реакцию. Она говорит себе, что при таких-то обстоятельствах надо вести себя так-то, и заставляет некоторое время вести себя насильственно именно так, как, она знает, в данных случаях требуется. Но долгое насилие над собой тяжко, оно прорывается в озлобленье. «На другое утро ей кажется, что ее игнорируют... плачет, укладывает сундук... велит перевезти в гостиницу...» Сделанное над собою усилие ни к чему не приводит. Она видит, что ее действия скорей мешают и нелепы, чем помогают и нужны, она переживает страшное ощущенье своей ненужности, чувствует себя помехой в том единственном доме, который она может назвать своим. «Чванная», «укладывает вещи» — все это показное, самозащита, никуда она не уедет, и в доме знают, что не уедет, и, может быть, смеются над этим, дети во всяком случае могут дать ей понять, что они в ее отъезд не верят, дети всегда все подмечают, и она их бьет — вымещает свою беспомощность на них. Что можно было бы вынести отсюда? Человек лишен своего дома, нежеланен там, где живет; угловатости своего характера он знает, и они усиливаются оттого, что окружающие не любят этого человека, строят свое отношение к нему на постоянном замечанье этих угловатостей и ощущенье неудобства их в доме. Как, должно быть, самолюбив и несчастен этот человек и как хочется ему быть другим, но окружающие не дают ему стать другим, снова и снова вбрасывают его в те состояния и проявления, какие ему самому в себе тошны и противны. Немножко доброты, привязанности, облегчения тяжелых черт: «мамочка, ты у нас чудак, чудуся», «мамочка, не надо волноваться, мы же тебя любим»,— и все рассасывалось бы, теряло бы зловещие очертанья, и проглянул бы настоящий характер — доброго, привязчивого, очень от

себя самого страдающего, слабого человека. Вот вам портрет ноющей тещи, законченного эгоиста».

Я слушал его, бессознательно открыв рот,— так удивила меня его трактовка, совершенно не похожая на те сухие строки, какие я вычитал в истории болезни. Человеческая жалость к Меркуловой невольно шевельнулась в моем сердце. И вдруг я вспомнил, как садовник на конференции сказал про Меркулову, что она «в душе добрая».

— Боже мой,— только и смог я выговорить, отвечая скорей самому себе, чем Зарубину. А тот, тихо поклонившись, уже вставал и оглядывался, ища фуражку, и тому, шагая к двери, бросил мне через плечо:

— Вот теперь вы начали лечить и найдете — как. Меркуловой уже стало легче, мы помаленьку возвращаем ей простоту и самоуважение.

Он уже ушел, а я еще долго сидел, охваченный чувством сострадания к людям, представляя себе одинокую старушечью судьбу в доме, который постепенно перестает в ней нуждаться, перестает быть ее домом, отодвигается и выдвигает ее самое из той единственной жизни, которая у нее была.

Ну а Ткаченко, этот редкий лгун, «диалектик» с искусственным языком — что можно вычитать из его описаний? Сколько я ни читал и ни перечитывал — ничего, ничего, и чувство естественного отвращения к нему не могло оставить меня. А я уже знал, что с таким чувством лечить нельзя, что надо преодолеть это чувство и преодолеть не показным, не формальным образом, а изнутри, новым сердечным пониманием этого человека. Но понимания не приходило.

Между тем начался наш рабочий день, и мое, направленное Зарубиным, внимание стало подмечать едва заметные черты и черточки обращения с больными всего нашего персонала, полные какого-то внутреннего отличия от привычных мне, даже очень ласковых, приемов медицинских сестер и сиделок. Трудно объяснить одним словом, что́ я подметил в них. Есть такое крестьянское выражение «уважь меня»,— не пожалей, не полюби, а уважь, окажи уваженье. В тоне сестер, врачей, подавальщиц, в их манере подходить к больным

почудился мне этот оттенок уважительного отношения к человеку...

После конференции я напросился к Карлу Францевичу в кабинет. Я знал, что он очень устает за день и этот один коротенький часок любит посидеть у себя или прилечь на диван с книгой, а все-таки не мог удержаться, и он усадил меня возле себя.

Нескладно и беспорядочно рассказал я ему все, что произошло утром между мной и Зарубиным. Смятый листок опять появился на сцену. Меркулова мне стала понятна. Однако лишь после того, как Зарубин по... ему растолковал историю ее болезни. А перед Тищенко я опять в тупике — не вижу, не нахожу ключа. Как быть?

— Это потому,— отозвался тихим голосом Фёрстер,— что вы еще не нащупали ключа, не к истории болезни, не об этом говорю,— а ключа к нашему методу их разъяснять. Думаете, наверное, что мы дилетанты, любители? Ну да, и дилетанты, и любители, если посмотреть с точки зрения учебников. Почти не цитируем ни Корсакова, ни Бехтерева, не говорим ни о «типах», ни о «конституциях», ни о «синдромах»,— но не исключаем их, Сергей Иванович, не думайте, что совершенно обходимся без классической психиатрии, без обычной терапии, без диагноза, опирающегося на материальные показатели, на патологическую основу. Они нам нужны, как всякому врачу. Но перед нами живая цель: помочь человеку, так ведь? А помочь без понимания нельзя. И в понимании нам помогают не казусы, приведенные у Корсакова, а казусы, приведенные у великих художников слова, у поэтов, писателей. С Меркуловой нам знаете кто помог? Глеб Успенский.

Фёрстер как-то медленно, тяжело приподнялся с кресла и достал с полки над столом небольшой томик.

— «Нравы Растеряевой улицы» — читали? Помните?

К стыду моему, я плохо знал Глеба Успенского и не читал названной им книги. И Карл Францевич рассказал мне об одном генерале, державшем в страхе и трепете всю свою семью. Всем было известно про ужас-

[illegible] характер генерала. За обедом одно его присутствие леденило всем кровь; до его прихода смеялись, разговаривали непринужденно, были люди как люди, но едва он вошел — как аршин проглотили, ложка не шла в рот, становились неестественными, натянутыми, [illegible]ными. Каждое его слово, обращенное к члену семьи, казалось оскорблением, обидой, запретом, покушением на чужую волю. А генерал вовсе не хотел ни обидеть, ни запретить. Генерал был несчастнее всех, потому что он страстно хотел, чтоб его любили в семье, не боялись его, вели себя при нем, как в его отсутствие, и все его неуклюжие слова и подходы за обедом были неумелыми попытками создать контакт, завязать отношения. Но никто не понимал этого. Рассказ Глеба Успенского помог нащупать настоящий характер Мерку[illegible], хотя положения действующих лиц были разные и обстоятельства другие.

— Рассказ этот,— сказал в заключение Фёрстер,— открывает внимательному читателю один важнейший в психологии фактор, о котором вы никогда не вычитаете ни в учебниках, ни в историях болезни. Дело ведь в том, что в реальной жизни характер — это всегда совокупность взаимодействий со средой и с окружающими. Нет и не может быть становления, развития, проявления характера, как чего-то абсолютно изолированного, полностью самостоятельного, единичного,— он всегда результат взаимоотношения. И чтоб по-настоящему понять, каковы особенности характера данного человека, нужно посмотреть на него в семье, на службе, в обществе, причем внимание обратить не на то, как в это время ведет себя он сам, а какую усвоили манеру вести себя, обращаться к нему окружающие. Иной раз, по допущенной слабости, человек реагирует на какую-нибудь манеру в отношении его, например — покровительственную или, наоборот, трусливую, льстивую,— именно так, как от него ожидают, но как внутренне он сам вовсе не хочет. Возникает постепенно привычка, внешняя форма, корка. Эта корка с годами твердеет и костенеет, а внутри ее человек все больше и больше протестует и озлобляется, потому что на самом деле он

совсем не хочет реагировать так, как от него ждут, не хочет уступать и казаться, а уже не может,— и отсюда страдание, раздвоение, потеря уважения к себе, ненависть к окружающим. И те тоже в корке по отношению к нему. Такая корка очень, очень часто образуется в семьях. Вот у нас есть чета — актриса Дальская с мужем. И он и она уверены, что ее болезнь от постоянной ревности, а между тем ревновать по-настоящему она давно уже не ревнует, но сидит в корке, которую сама же и создала с помощью мужа, свекрови, друзей мужа и друзей ее собственных. Наше лечение начинается со снятия таких корок, с установления новых взаимоотношений с человеком. Мы, например, уверены, что Дальская вовсе не ревнует, и передаем ей эту уверенность при каждой сцене ревности. Доведем до того, что она захочет и сможет расстаться на время с мужем, а после этого легче будет установить для нее новые взаимодействия.

— Но, Карл Францевич, как же с Ткаченко? По истории болезни, взгляните сами, и намека не найдешь на людей, с которыми он общался. Не видно, как к нему относились окружающие...

— Дайте-ка посмотреть!

Он снова взял смятый листочек, разгладил его и перечитал скупые, уже знакомые мне чуть ли не наизусть, фразы:

«Адвокат Ткаченко, средних лет изящный блондин, всегда безукоризненно одетый. Был бы красив, если б не беспрерывное морганье ресниц и подергивание век. Часто вскакивает с места. У него, по его собственному выражению, «диалектическая болезнь». Он сам мысленно отвечает на свои вопросы и опережает всякое общение, всякое событие тем, что реконструирует его первоначально в мозгу. Когда сидит с кем-нибудь, то сознает не только за себя, но и за того, кто с ним. Безошибочно чувствует, кто что о нем думает и может думать. Подсказывает другому образ действий, иногда направленный против него самого (то есть его, Ткаченко). Редкий лгун, совершенно нечувствительный к отличию правды от лжи. Глубоко депрессивен».

— Видите, тут только в одном месте упоминается о другом человеке,— когда сидит с кем-нибудь,— да и то совершенно безличном,— поторопился я сказать Фёрстеру, прежде чем он начал говорить сам.

— Тут все время говорится о других людях, кроме Ткаченко, милый Сергей Иванович! — ответил мне Фёрстер.— Не надо называть чье-нибудь присутствие, когда оно налицо.

— Но где, где?

— Подумайте с самого начала. Ткаченко — адвокат, и вы должны ясно представить себе профессию адвоката, в его болезни она, как мы думаем, играет решающую роль. Но об этом после. «Всегда безукоризненно одетый»... Иппохондрики, нелюдимы, одинокие люди редко когда одеваются хорошо, да еще безукоризненно. Значит, Ткаченко большую часть своего времени проводит на людях, в обществе, и много кладет на то, чтоб поддерживать свое положение внешним обликом. Но, видимо, это не из тех людей, кому легко в обществе, даже спрятанному под хорошую одежду,— невроз у него развился именно такой, как бывает от длительных напряжений в обществе: морганье, подергиванье лица, то есть острое ощущение чужих взглядов на себе. «Часто вскакивает с места»,— видели вы когда-нибудь, кроме разве на сцене, чтобы человек, сидящий одинешенек у себя в комнате, часто вскакивал с места?

— А если от стука в дверь, от прислушивания к мнимому, показавшемуся ему стуку?

— Даже если так — от вторжения или от предчувствия вторжения чьей-нибудь другой личности... Но мне, Сергей Иванович, кажется тут более правдоподобным вскакивание во время разговора или во время собственной речи, произносимой в обществе,— причем я тут вижу привычку, воспитанную профессией, практикой на суде. А уж манера «отвечать на собственные вопросы», то есть как шахматист, когда он играет сам с собой,— переселяться на миг в своего собеседника и понимать свой вопрос, как понял бы собеседник, манера заранее реконструировать в мозгу, что должно произойти у него с его собеседниками, сознание за двоих, за троих, сознание чужой мысли о себе, подсказывание

другим ответов и образов действий, направленных иной раз против него же, Ткаченко,— явно развились и уродливо выросли из адвокатской практики. У многих юристов, порядком познавших людей, как и у нас, врачей, бывает такой опыт. Страдаем ли мы от него? Надо сознаться, ничуть не страдаем и довольны им, ведь это — профессиональный опыт, он нам помогает в нашей профессии и он для нас естественен, желателен. А для Ткаченко он явно нежелателен, потому что — видите — Ткаченко «глубоко депрессивен». Какой тут напрашивается вывод? Если обычное практическое занятие, избранное тобой в жизни, дает тебе опыт, который обращается не на пользу твоей профессиональной работе, а против тебя самого, то есть переходит в невроз,— значит, ты неправильно выбрал профессию, не по своему характеру, и она тебя разрушает, отсюда — депрессия. Какой же у него настоящий характер, мешающий ему быть адвокатом? Тут вы написали что-то возле его истории болезни. Давайте прочитаем.

И Фёрстер прочитал вслух мой второпях сделанный вывод: «Издерганный, вечно рефлектирующий тип крайнего индивидуалиста, потерявшего всякую природную непосредственность».

Пока он читал, я уже сам понял, как ошибочно мое определение, казавшееся мне таким точным, таким основанным на истории болезни. Кровь начала заливать мне шею и щеки. А Фёрстер между тем без тени улыбки, как-то задумчиво, словно нерешительно и советуясь с самим собой, продолжал:

— Думается мне, Сергей Иванович, это не так. Именно потому, что Ткаченко не рефлектирующий тип, не крайний индивидуалист, он и не смог хорошенько вынести свою профессию. Вы знаете, что такое профессия адвоката в условиях нашего политического режима? Трудное, очень трудное дело, требующее для успешного хода подчас и беспринципности, и безжалостности, и виляния перед своей совестью,— вспомните замечательные штрихи, несколькими словами, у Толстого в «Воскресенье» об адвокатах...

Он опять повернулся к полке и достал потрепанный том «Воскресенья» в женевском издании. Несколько

…очек торчало между страницами. Тонкий палец стр…ёрри скользнул вдоль одной из них, раскрывая ее.

Вот об адвокате, рассказывает один из присяжных, слушайте: «Он рассказывал про тот удивительный оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат и по которому одна из сторон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет ни за что заплатить большие деньги противной стороне. – Гениальный адвокат! — говорил он». А вот о другом, это уже сам Толстой от себя: «...со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке, с широким полукругом белой крахмальной груди, и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову». И, наконец, третий адвокат, Фанарин, из самых знаменитых, приглашает его уже сам Нехлюдов для Катюши. Толстой никак не описывает его наружность. Жена зовет его на французский лад «Анатоль». Он, оказывается, «прелестно читает» и для гостей «читает о Гаршине». Надо иметь хорошие нервы, чтоб после адвокатских дел в обществе читать о Гаршине. Надо иметь большое душевное равнодушие. Такие адвокаты здоровы, как боровы, им профессия легка, по плечу, словесный спорт, приносящий деньги. Они человека хорошо видят, выворачивают любую вещь наизнанку, бессонницей не страдают — привыкли. Теперь посмотрите на изнервничавшегося Ткаченко. Будь он равнодушен, будь он по природе лгун, будь он крайний индивидуалист, будь он, наконец, просто рефлектирующий тип,— дела его пронесли бы, как и здоровье. Я подозреваю, что Ткаченко споткнулся на первом же деле, а бросить — самолюбие не позволило. И сейчас профессия разрушает его, стирает перед ним границы между правдой и ложью, и по природе он тянется к простоте, к непосредственности, к животным от людей тянется...

— Собак кормит! — воскликнул я.

— Да, собак кормит и с ними ласково разговаривает, именно потому, что тут за собеседника думать не приходится. Из всей вашей характеристики — издер-

ганный, да. Но дальше неверно. Вот нам и надо по возможности убедить Ткаченко бросить адвокатуру. В конце лечения, случается, больные у нас сами приходят к правильному выводу.

Он говорил, часто дыша, и губы у него приняли какой-то голубоватый оттенок.

— Ничего, ничего, это сердце,— ответил он на мой испуганный взгляд,— пошаливает временами. Полежу и пройдет. А вы идите, голубчик, идите к больным. Все это проще и легче, все это очень обыкновенно, когда привыкнете.

И он глазами указал мне на дверь, перебираясь со стула на кушетку.

Глава девятая

НЕМНОЖКО ЭТНОГРАФИИ, ВПРОЧЕМ ИМЕЮЩЕЙ СЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВСЕГО ХОДА ПОВЕСТИ

В течение двух недель я свыкся с санаторской работой и уже не страдал от напряжения. Днем я бывал с больными, замещая то Фёрстера, то Валерьяна Николаевича, а по вечерам сидел обыкновенно в уютной профессорской столовой и слушал, как Маро̀ читала вслух.

Она почти не заходила ко мне после того разговора. Я видел ее мельком на родничке, в лесопилке, в санатории, но не говорил с ней ни о чем, кроме санаторских дел. А их было много, и не особенно приятных. Прежний врач, о котором рассказывал мне Зарубин,— Мстислав Ростиславович,— видно, не позабыл Фёрстера, и нас известили из Петербурга о поданном им заявлении, очень похожем на донос.

— Кабы не фамилия Карла Францевича, по нынешнему военному времени предосудительная, нам бы на такие доносы плюнуть и растереть, слава богу, не первый год работаем,— сказал мне фельдшер Семенов с обидой, как только стало известно об этом доносе,— а захотят к имени придраться, так это теперь нет ничего легче.

И мы жили в непрестанном ожидании какой-нибудь беды. Сам Фёрстер, впрочем, думал о ней меньше всех — по правилу не думать о том, чего еще не случилось.

В одно из воскресений я получил отпуск — на целый день. Это был первый свободный день, отданный в полное мое распоряжение, и я решил провести его в горах. С вечера приготовил я папку и ручной мешок и попросил Семенова разбудить меня до солнечного восхода. Но будить меня пришел не фельдшер, а техник.

— Вставайте, Сергей Иванович! — услышал я утром его милый голос, так чуждо выговаривавший русские слова.— День будет без облачка, и я тоже пойду с вами, если вы разрешите.

Мы с Хансеном виделись довольно часто после того памятного вечера и сошлись, насколько это было для нас возможно. Он приходил ко мне делать перевязку, выкуривал трубочку, просил книг или газет для чтения. Разговаривали мы о самых простых вещах, и всякий раз, если он задерживался у меня больше десяти минут, в комнату стучалась его теща, шепелявя своим бесцветным голосом:

— Филлишек!

Оживление Хансена (впрочем, очень слабое,— северное!) мгновенно потухало, и мне казалось, что он побаивается этой старухи, ее упорных, невыразительных глаз и шевелящихся пальцев. Поэтому, услышав его слова, я немного удивился и крикнул ему:

— Конечно, идемте вместе. Но я ведь на целый день.

— И я тоже на целый день,— ответил Хансен.

Я быстро оделся и вышел. Шел пятый час, и небо еще походило на тусклую, чистую, зеленовато-белую медную чашу. Дул слабый ветер, да шумел внизу Ичор — вот и все звуки. Горы казались близкими, и каждая морщинка на них была заметна глазу. Хансен стоял внизу, на этот раз не в знаменитом гороховом костюмчике, а в белой рубахе и высоких кавказских сапогах с мохнатыми голенищами. Он держал узелок, продетый на палку.

Мы поздоровались и зашагали в горы.

— Как это вас отпустили?

— Чего? — переспросил он удивленно.

— Как пустили вас домашние на целый день?

Он густо покраснел. Я глядел, как кровь медленно заливала ему шею и худые щеки, покрытые золотыми волосками,— и, признаться, завидовал. Мы и наполовину не так стыдливы, как рабочий класс, которому мы отказываем в душевной тонкости! Наконец, когда порозовели даже его веки, он сдержанно ответил, глядя себе под ноги:

— Хозяйке моей покойней, когда я на прогулке. Да и больная она у меня, волнуется, ей тоже нужно побыть одной.

— Трудно с женщинами! — молодцевато заметил я.

— Ничего,— улыбнулся он и поглядел на меня сбоку. И, должно быть, смешна ему показалась моя горделивая фигура, увешанная свертками, или безусое лицо и молодецкий тон,— но только он улыбнулся снова и стал посвистывать.

Я счел своим долгом насупиться и, поднявши альпийскую палку, привезенную мною в числе прочих достопримечательностей, принялся сбивать ею листья боярышника, росшего по дороге. Хансен протянул руку и схватил мою палку.

— Не надо, зачем? — сказал он серьезно, глядя на меня своим добрым, углубленным взглядом.— Пусть его растет, никому не мешает. Козы и так пощиплют.

С этой минуты я решительно признал его превосходство, и мы зашагали дальше в полном согласии, через ручьи и овраги, поляны горных колокольчиков и нежноголубых анемон. Мы собирали альпийские цветы, и я прятал их в папку, рассказывая Хансену о своем гербарии и глядя, как он разглаживает сорванный цветок своими длинными, погрубевшими пальцами. Мы ловили удода, лежа на животе и высвистывая по-птичьи, а удод сидел перед нами на бревнышке и подпускал нас как раз настолько, чтобы насмешливо повертеть хохолком и сняться с места. Мы снимали красивые виды и друг друга на фоне красивых видов,— меня со сложенными крест-накрест руками и откинутой головой, а Хансена — сконфуженно смеющимся и не знающим, куда деть длинные руки и ноги. Мы выкупа-

...в горном озере, вскрикивая от холода и показывая друг другу искусство плавать, причем я плыл по всем правилам «систематического метода», а Хансен — безо всякого метода, и он успел переплыть озеро, покуда я только барахтался у берега. Мы сидели голышом на камне, собирая блестящие кусочки гранита, густо пронизанные слюдой. Хансен был страшно худ, и я мог бы сосчитать каждое его ребрышко; грудь у него была впалая и вся заросшая золотистыми волосами. Он сидел, окунув стройные ноги в воду, похожий на северное божество, и поглядывал на меня из-под прямых бровей.

— Отчего вы такой худой, Хансен? — спросил я его, вдруг почувствовав себя врачом.

— А бог его знает. Металлу наглотался.

— Что же вы делаете из металла?

— На оборону работаем.

— Неужто и на лесопилке есть такая работа?

— А как же, обязательно.

Потом мы сбивали маленькие дикие яблоки и ели их, хотя они были препротивные на вкус. И только к полудню, усталые, загоревшие, полуодетые, мы добрались, наконец, до горного коша, где и сделали обеденный привал.

Кош — это пастушье пастбище, где стоят шалаши или даже дощатые хатки, сколоченные на скорую руку, где располагаются на длинные летние месяцы кавказские пастухи. Кош — это то, что тирольцы и швейцарцы называют Alpen,— то есть горные выгоны. Они затеряны в глубине гор, между снегами и ущельями, и вы карабкаетесь час и другой, пока перед вами не откроется их зеленый склон. На кавказском коше можно получить молоко, сыр, айран — вкусный молочный напиток, похожий на кефир. Когда мы подошли к такому кошу, огромные злые собаки обступили нас и не хотели пустить дальше. Я остановился, немного струсив, но Хансен махнул своим узелком и прошел мимо собак. Он знал по-горски и поздоровался с пастухами. Это были высокие, смуглые люди в черкесках и бараньих шапках. Они с важностью сидели на коврике перед хижинкой Мальчик лет двенадцати, совершенно голый,

раздувал костер, на котором, нанизанные на деревянный прут, жарились большие куски барана.

Хансен бросил узелок на землю и подозвал меня к себе. Пастухи поздоровались с нами, внимательно глядя на нас своими острыми глазами из-под нависших бровей и овчины. Они крикнули что-то голому мальчику, и тот взял ведерко, вскочил на пасшуюся рыжую лошадь, ударил ее голыми пятками по животу и был таков.

— Сейчас молока привезет, коровы во-он где,— сказал мне Хансен и показал пальцем на белые точки.

— Откуда вы знаете по-горски?

— Выучился за год. Они лучше любят, когда с ними говоришь по-ихнему.

— Ну, это всякий народ. А вам какой язык роднее, польский или шведский?

— Мне? Польский. Жена у меня полька, и мать была полька.

Пастухи прислушивались к нашему разговору и молча курили. Но вот из хатки выползла еще не старая горянка с красивым, неподвижным лицом и в расстегнутой кофте. Из прорехи свисала длинная желтая грудь с обкусанным соском, а за юбку ее держался мальчуган лет пяти, грязный, кривоногий, с глазами быстрыми, как тараканы.

— Поглядите, кормит,— спокойно сказал Хансен, тоже закуривая трубку.— Высохла вся, а кормит. Чтоб не рожать. У нас так не делается. Уж он бьет ее, целый мужчина, а она... Эй, хозяйка, брось сына!

Горянка не поняла и улыбнулась. Потом она приблизилась к нам, стала быстро-быстро перебирать мои вещи своими черными от солнца пальцами и лопотать что-то по-своему. Хансен отвечал ей, а иногда пожимал плечами. Она пощупала материю моего галстука, порылась в хансеновском узелке и, наконец, удовлетворившись, села на корточки и завздыхала. Джентльмен — ее сын — ударил беднягу по ноге хлыстиком и потянул к себе пальцами ее грудь.

Пастухи дали нам айрану, жареного барашка и молока, а я угостил их шоколадом и фруктами. Голый мальчуган, присев возле нас, с неописуемым интересом глядел, как мы ели.

— Денег не возьмут,— сказал мне Хансен, когда мы, пообедав, улеглись на полянке, под одинокой сосной.— Мальчиков можно отдарить, а самим боже сохрани, обидятся. Мы теперь считаемся их гостями.

Я лежал, глядя в темносинее густое небо и дыша хвойным запахом. Хансену хотелось говорить. Он повернулся возле меня, покашлял. Я видел, что он в том умиленно-довольном настроении, когда деятельному человеку непременно хочется беседовать.

— Ну, ладно, Хансен... А вам тут не скучно жить?

— Скучно? Нет. Какая скука, если работы много. Жалко, что времени мало! Здесь бы дорогу провести, вон по той долине. Видите гору? Там каменный уголь есть, я видел, наружу выходит. И сколько тут под нами всего зря пропадает.

Он сковырнул камешек и понюхал.

— Магнитный железняк.

— Дайте-ка сюда,— ученым тоном произнес я и посадил пенсне на нос.— Гм, да, странно, откуда он взялся?

Хансен поглядел на меня, усмехнувшись. Когда он смеялся, то делался похожим на поляка. В молчании и серьезности его было больше чуждого, не славянского.

Не дождавшись ответа, я спрятал магнитный железняк в свою сумку, уже полную разными камушками, найденными Хансеном. И папка моя была уже полнешенька цветов, сорванных Хансеном. И мозг мой был полон сообщениями, переданными мне Хансеном. Я должен сказать тут, что при всей моей любви к собиранию и нахождению, я был на редкость неудачлив в своих поисках. Стоило мне выйти что-нибудь искать, чтобы уж никак не найти нужного предмета. Даже белого гриба я ни разу не нашел самолично. Наоборот, Хансен никогда ничего не искал, а, казалось, предметы искали его и попадались ему под руку. Он обладал быстрым, находчивым взглядом и замечал характерное. Когда он говорил, то не отдалял словами то, о чем намеревался сказать,— невольная привычка всех нас, получивших литературное образование,— а сразу выговаривал нужное слово и на этом поканчивал.

Спрятав магнитный железняк, я записал место и время его нахождения. И так как было уже за два часа, предложил моему спутнику двигаться.

— Хотите, пойдем на глетчер? Тут недалеко, возле перевала,— сказал он.

И мы зашагали на глетчер, одарив предварительно маленьких горцев, то есть положив им «на ладошку» несколько денежек.

Мы шли вековым сосновым лесом, по крутой и еле заметной тропинке. На каждом шагу попадались нам сгнившие, срубленные деревья, прожженные и почерневшие стволы и пни, пни — без счету.

— Вырубают,— сказал Хансен, нахмурившись.— Без всякой нужды! Срубят и оставляют гнить. А вот поглядите,— он показал мне на вековую сосну; ствол ее был прожжен до самой сердцевины, и она еле держалась половинкой его, уцелевшей от огня. Ветви ее, словно исхудалые, висели книзу, осыпаясь.

— Задумали срубить, прожгли дерево до половины, — они жгут, потому что этак свалить его легче,— а потом раздумали. Дерево оставили и ушли рубить в другое место. А дерево умирает и того и гляди повалится, задавит скотину или человека.

— Кто же это делает?

— А горцы. Плохо понимают, что им нужно и чего не нужно. И объяснить некому. Их ведь несколько десятков тысяч человек, целый народец. И хороший народ был бы, если б учили их да ихний князь не сидел у них на горбу.

— Или если б у них было больше потребностей,— философски ответил я,— только неудовлетворенные создают культуру.

Хансен посмотрел на меня исподлобья, ничего не ответил и перекинул свой узелок с одного плеча на другое. У него была любимая песенка, и он стал ее насвистывать. Мы шагали теперь вдоль белого, вспененного потока, а над нами незаметно и безостановочно сгущались сизые облака. День стал душным и тусклым. И скоро мы подошли к глетчеру.

Он спускался из ущелья вздутым, зеркальным пузырем. От темного неба, затянутого тучами, или от пу-

...ных склонов, здесь уже не покрытых ничем, кроме ...ого лошадиного щавеля, но глетчер показался мне ...лым и сумрачным, непомерно вздутым, как бы дышащим, поднимая свою зеркальную чешую. Нам стало холодно, и мы заторопились домой.

Назад идти было свежее и легче. Мы оба молчали, насыщенные этим длинным днем, и этими красками, и ...ю сменой картин, то ласковых, то величественных. Души наши расширились до краев и бережно несли домой свою расширенность, полученную от целого дня близости с небом и горными волнами. По пути мы миновали аул, и я увидел белые земляные сакли с одним очагом внутри и с огромною дымовою трубой, в которую должен был капать дождь и сыпаться снег. Очаг был на земляном полу и растапливался шишками и хворостом. Красивые горянки в платках, повязанных на затылке, выходили к нам навстречу. Многие из них держали в руках работу — жужжащее веретено с намотанными шерстяными нитками, кусок кожи или овчину. Они сучили нитки, мяли кожу и сами шили ребятам кавказские сапоги.

— Вот байрам будет, вы поглядите, как они веселятся,— сказал Хансен.— Музыка у них смешная, воют, а девушки играют на гармониках. Горцы никогда, только одни горянки. А пляшут они так: станут друг против друга, на одной стороне мужчины, на другой женщины, и подходят друг к другу. Взад — вперед, взад — вперед, и так до бесконечности. Не надоедает. Я по часам следил, иногда больше часу.

Тихий, однообразный ритм у них, видимо, в крови. И лица их неподвижны и кажутся сердитыми или, пожалуй, недоумевающими, пока их не осветит улыбка.

Мы заглянули в лавку Мартироса. Он стоял на табуретке, отдуваясь, и подвешивал к потолку длинные копченые колбасы.

— Ай, молодой человек, милости просим! Заходи, заходи! — крикнул он, как только увидел меня. И не успели мы с Хансеном опомниться, как уже сидели за прилавком и ели халву и варенье из алычи, под жур-

чанье мартиросовой жены, дамы смуглой, статной, горделивой и словоохотливой. А Мартирос поощрял свою жену энергичными кивками головы и поглядывал на нас таким убедительным взглядом, точно хотел сказать: «Видишь жена — хороший жена».

Были уже сумерки, когда мы добрались, наконец, до дому. И странное дело, чем ближе мы подходили, тем яснее становилось мне, как сильно соскучился я за день по своему флигелю, санатории, Фёрстеру и Маро́. Должно быть, Хансен чувствовал то же самое. Он вдруг заторопился, поглядел вокруг себя пристальным, углубленным взглядом, который я так любил в нем, и перестал свистеть. Не доходя до флигеля, он бросил узелок на землю, подтянул за кушак свои брюки и сказал мне:

— Я сперва на лесопилку. Темно, надо свет пустить...

Он каждый вечер пускал электричество. Я кивнул головой в знак согласия и глядел, как он сбежал вниз своей стройной, раскачивающейся походкой.

Через минуту вспыхнула светлая лампочка на крыльце нашего флигеля, засветились огни наверху — и у Фёрстера и в санатории. Эти вспыхивающие каждый вечер огоньки были единственным знаком, подаваемым Хансеном о себе,— и, кто знает, не подавал ли он его, думая о своей милой, и не глядела ли сейчас Маро́ на свет, думая о нем и о своем невозможном счастье? Я почувствовал что-то похожее на грусть и показался сам себе неуклюжим, неловким, никому не нужным. И пошел во флигель, не дожидаясь Хансена.

Но дома ждало меня нечто, сразу рассеявшее и усталость и глупую грусть и почему-то испугавшее меня. Это была записка. Энергичным и тонким почерком Фёрстера было написано на ней:

«Милый С. И., зайдите ко мне по возвращении.

К. Ф.»

Я переоделся, вымыл руки и побежал в профессорский домик.

Глава десятая

ГРАВЕР ЛАПУШКИН

Фёрстер пил чай. Маро́ сидела возле него, но без книги, и Варвара Ильинишна поглядывала на них из-за самовара с тихой заботой. Все трое казались чем-то расстроенными, каждый по-своему. Я с болью увидел, как измучено лицо у профессора и как осунулась Маро́.

— Сергей Иванович, выпейте чайку и пойдемте в кабинет,— сказал мне Фёрстер, вставая. Но я отказался от чая и прошел за ним, чувствуя на себе пристальный взгляд Марьи Карловны.

— Вот что, мой голубчик,— начал Фёрстер, ходя из угла в угол, после того как мы заперли двери,— я замечаю в санаторской жизни что-то неладное. И боюсь, не от Ястребцова ли это исходит.

— Карл Францевич, он смущает больных,— ответил я, обрадовавшись случаю высказаться,— он ухитряется разговаривать с ними за вашей спиной. Он всем рассказывает о своей болезни, и с таким вкусом, точно стихи декламирует. Советую вам без всякой церемонии предложить ему уехать.

— Врач не имеет права выгнать больного,— задумчиво ответил профессор, откидывая со лба посеребренную прядь.

— Да какой же он больной? Он ехидный, а не больной!

— Зарубин выражается точь-в-точь так,— улыбнулся он,— а я все еще не могу разгадать, в чем дело. Случай страшно сложный и своеобразный. Мы можем иметь дело с сумасшедшим или со вполне нормальным человеком.

— Ни то, ни другое, Карл Францевич! Для нормального он слишком бескорыстен и поступки его бесцельны, а для сумасшедшего слишком логичен и рассудителен.

— У сумасшедших своя логика. Но оставим это пока. Я позвал вас не из-за Ястребцова, а из-за Лапушкина. Пожалуйста, милый, будьте с ним внимательнее и побывайте завтра у него в мастерской.

— Да что же случилось? Ведь он еще вчера готовился к отъезду?

— Отъезд отложен. Нынче Лапушкин затосковал, ничего не ест, плачет, запирается в комнате. Бросил работу. Я ума не приложу, что случилось! Это впервые за все время санаторской практики, если с ним рецидив

Фёрстер замолчал и сел к столу. Морщинки на его лице сделались глубже, и веки устало опустились на глаза. Он сидел, опершись на руку. Обшлаг его халата был искусно и почти незаметно заштопан. Я невольно остановил свой взгляд на этом заштопанном кусочке, так трогательно не идущем к его могучей и красивой фигуре.

— И еще вот что. Мне тяжело видеть дружбу Ястребцова с моей дочерью.

— Да разве?..

— О да. Они в последнее время гуляют вместе. Маро́ свободна поступать и выбирать, как ей кажется нужным. Но я был бы вам благодарен, если б вы не оставляли их наедине... Страшно лечить свое дитя. И я этого не умею, к своему горю.

Он склонил голову. Я видел, что ему трудно продолжать говорить, и почтительно простился с ним. Я знал, чем была для Фёрстера его дочь. И как прозвучали эти два слова «свое дитя»! Маро́ была больше чем кровным детенышем Фёрстера,— она была дочерью его мыслей, его желаний, его самых тайных и тонких радостей. Он растил в ней частицу своего духа, и теперь этот чистый дух помутился.

Я возвращался к себе, обеспокоенный и взволнованный. И прежде чем подняться наверх, постучал к Зарубину. Мы очень сдружились с Зарубиным за эти дни. Он продолжал пачкать мою комнату пеплом, окурками и сапогами; продолжал звать меня «барышней»; продолжал спорить о «смысле жизни»,— но за всем тем он полюбил меня, и я это знал и платил ему сердечной привязанностью. На мой стук ответил приятный басок Семенова:

— Войдите, войдите. А, это вы, батюшка Сергей Иванович. Нагулялись? Вы присядьте, обождите, доктора Зарубина техники попросили.

Я сел возле фельдшера и спросил, что такое с техниками.

— Сам не знаю. Зашел к Валерьяну Николаевичу по делу и сижу, жду. Нехорошие дела делаются, Сергей Иванович.

— Где?

— А у нас. Давеча сестра рассказывала, будто Лапушкин кинжал у горцев выпросил. Мы этот кинжал у него из-под тюфяка достали, сегодня ночевать туда иду, с ним. И плачет, бедняга, весь день плакал.

— Не было ли каких-нибудь особенных событий?

— С ним-то? Да никаких. Только, я думаю, тут не без господина Ястребцова. Недаром он все возле Лапушкина за последние дни околачивался, воздух нюхал. Что меня особливо огорчает, так это Лапушкина жалко. Человеком стал, кормить своих сестер начал,— профессор-то ему ведь все заведение подарил, для гравюр этих самых. Уж он, бывало, мне вечерами рассказывает: «Я, говорит, теперь, Семенов, в провинции поселюсь, в обществе бывать стану и никакого для людей вреда не представлю». Щепетильный он, и гордиться начал, что вылечился, гадину в себе задушил, как он выражается. Он ведь со мной откровенно разговаривает обо всем.

— Расскажите мне про него подробнее.

— Что ж рассказать? Из господ, а смиренная душа. Привезли его к нам — гаденький был до невероятности и сам понимал, что гадок, таился от людей. Скверен был очень. Таких скверных евротиков (фельдшер упорно не хотел произнести «эротик») отродясь не видел. Сестры от него поотказывались, Марья Карловна за обедом сидеть перестала, больные обижались. Говорил всякую пакость и охоч был до писания, рисовал разные картинки. А привезли его сюда две сестры, старые девы; они очень бедны и сами кормятся на пенсию и его кормят, а держать у себя, наконец, стало невмоготу. Ну, профессор взял его безвозмездно, потому что тех старых дев лично знал и пожалел.

— Много у нас в санатории бесплатных?

— Почитай половина, только Карлу Францевичу не сказывайте, а то рассердится, зачем болтаю. Он бессребренник, праведная душа, наш Карл Францевич.

Румяное лицо старика осветилось доброй улыбкой.

Я хотел было продолжать его расспрашивать о Лапушкине, но в это время дверь распахнулась, и к нам быстро вошел Зарубин. Он озабоченно кивнул мне головой и, подойдя к умывальнику, наскоро вымыл руки.

— Чего вам, Тихоныч? — спросил он у фельдшера.

— А лекарств отпустите, я в санаторку на ночь.

— К Лапушкину? Ладно. Вот-с, барышня моя, какие дела. Придется и нам с вами нынешнюю ночь пободрствовать, да не у себя на кроватке.

— А что такое?

— Техничка рожать собирается, преждевременные роды.

Я невольно вздрогнул. Мы ни разу не говорили с Зарубиным о технике и Маро́. Я был благодарен ему за эту деликатность, ибо он знал, конечно, все,— знал, как и фельдшер, и сестры, и горцы. И сейчас мне страшно хотелось задать ему вопрос, но я удержался,— из боязни перед ответом. Валерьян Николаевич посмотрел на меня своими проницательными, невеселыми глазками и, словно угадав мои мысли, сказал:

— Бог с вами, друже, чего вы накуксились? Она баба злая, баба нервозная. Целый день дома сидела, даже ставни позатворяла. От собственной нервозности все и случилось.

— Значит, никакого потрясения не было?

Зарубин усмехнулся.

— Натурально не было. Вы себя за щечку ущипните, а то уж очень побледнели, барышня моя.

Кровь бросилась мне в голову, я встал и отворотился к окну. Семенов, не говоря больше ни слова, забрал нужные лекарства и вышел, тихонько притворив за собой дверь. А я все стоял и стоял — до тех пор, пока Зарубин не тронул меня за плечо. Я посмотрел на него сверху вниз,— он был гораздо ниже меня,— и спросил:

— Валериан Николаевич, вы думаете, это опасно?

— Что, преждевременные роды? Нежная дева моя, ведь я не акушер. За акушером в приемный покой послали, да ведь это три версты, туда и сюда шесть верст. Особенной опасности, впрочем, не вижу.

— Друг мой,— воскликнул я горячо, с непонятным мне самому волнением и пафосом,— давайте дадим друг другу слово, что мы ее выходим. Слышите? Ее нужно спасти, во что бы то ни стало спасти.

Я был вне себя, я схватил руку Зарубина и сжал ее, словно беря с него обещание. Он подозрительно прищурился:

— Вы что же это, боитесь техника вдовцом сделать?

Вопрос был груб, но я не обиделся.

— Поймите сами, чего я боюсь,— ответил я все с тем же волнением.

— Укоров совести у нашей барышни?..— Зарубин сказал это тихо и глухо и, как мне показалось, со злобой.— Эх, Сергей Иванович, бросьте вы психологию. Ну ее к шуту-лешему, конному и пешему,— за день намаялись. Оба мы с вами лекари и честные люди, и будем делать, что от нас требуется.

Мне стало стыдно за свое волнение. Но оно не унималось. Не унялось и наверху, когда я разделся и лег, проглотив на ночь теплой бурды вместо чаю. Ворочаясь с боку на бок, я все думал и думал то о свежем горном дне, проведенном с Хансеном, то об осунувшемся лице Маро, то о некрасивой золотоволосой техничке, готовившейся там, внизу, родить нового человека. Уже сквозь дрему возвращались мысли мои к Лапушкину и Ястребцову, а усталость была так сильна, что сон и шел и не шел ко мне. Только к утру я забылся, но ненадолго. В дверь мою раздался громкий стук. Я вскочил с постели и засветил лампочку.

— Вставайте, Сергей Иванович, вниз зовут!

Измученный и еще не очнувшийся, я накинул на себя платье и вышел. На лестнице ждал меня Зарубин, заспанный, полуодетый, иззябший.

— Эта дрянь, акушерка, не изволила быть дома. В станицу к родным укатила! Я бы вас не разбудил, голубчик, если б Семенов или сестрица тут были, а теперь уж ничего не поделаешь, очухайтесь.

Мы сбежали вниз, и я снова попал в знакомую мне комнату, на этот раз ярко освещенную электричеством. У технички начались боли. Старуха и кашляющий старичок суетились вокруг нее беспомощными и мешкот-

ными шажками. Хансен сидел у стола; он был одет и страшно бледен; белокурые волосы его спутались, как у больного. Когда жена принималась стонать, он закусывал губу. Роды были тяжелые и затяжные. Мы с Зарубиным посоветовались и решили — пока не было прямой опасности — сохранить жизнь ребенку. Но он и не собирался явиться на свет,— часы протекали, за рассветом глянул белый день, у технички припадок сменялся припадком, лицо ее потемнело, и белки от закатившихся глаз светились на страшном лице,— а исход был так же далек, как прежде.

Наконец, боли утихли. Больная пришла в себя и передохнула.

— Гуля, Гуля,— зашептал техник, опускаясь на колени перед кроватью.

— Уйди, ненавистный! — ответила она хрипло. И в сознательном взгляде ее, устремленном на мужа, была звериная, лютая обида, удесятеренная болью.

Я взглянул на часы. Шел десятый. Мне нужно было идти в санаторию и навестить Лапушкина. Я простился с Зарубиным, поручив ему оставаться с роженицей до приезда акушерки, проглотил черное кофе без сахару, наскоро вскипяченное «бумажной ведьмой», и, на ходу обдергиваясь, побежал в санаторию. Утомление мое прошло, сменившись необычным нервным подъемом. Я решил «перебивать» свою усталость по-наполеоновски,— до той поры, покуда меня хватит.

В санаторской передней мне встретился Семенов. Он шел спать. На вопрос, как Лапушкин, он ответил, что лучше. И Лапушкину в самом деле было лучше, потому что я застал его в мастерской, за работой.

Это был низенький, сутулый старичок, с очень приподнятыми плечами, придававшими ему вид горбуна. Лысая, розовая головка его страшно зябла, и он ни днем, ни ночью не снимал бумазейной ермолки. Ходил он в засаленном халате со шнурками, расшитом по-венгерски. Птичьи ручки его всегда были холодны и мокры, как холоден и мокр был его вздернутый нос. Он говорил шепелявя.

Лапушкин сидел на табуретке в круглых стеклянных очках и перелистывал старую книгу; в ней были

образцы заставок и виньеток. Углы ее страниц были засалены и помяты, а Лапушкин, листая, слюнявил их кривеньким указательным пальчиком. Он поглядел на меня из-под очков напряженным взглядом и промолчал на мой вопрос о здоровье.

Я сел возле него и сделал вид, что заинтересовался книгой. Комната, где мы находились, была большая, прямоугольная, с зеркальным окном во всю стену. Стол шел вдоль этой стены и был уставлен рабочими принадлежностями — напилками, молоточками, медными листами, стеклянной ванночкой и банками с химическими составами. Запах в комнате был острый и кисленький, и только светлая струя свежего воздуха, втекавшая в верхнюю половину окна, всегда открытую, облегчала дыхание.

— Старомодное это искусство,— сказал я, насмотревшись вместе с Лапушкиным разных виньеток,— вряд ли оно возродится. Да и технически оно уж очень хлопотно!

Я задел старичка за больное место. Бесцветный взгляд его оживился, губы задвигались. Поправив очки, он зашепелявил, сперва неохотно, а потом все горячей и убежденней:

— Вы профан, молодой человек, профан. Надо, чтобы человек уважать себя умел, а иначе не берись ни за какое дело. Если я себя уважаю, стану ли я считать время? Я по качеству своего труда считать стану, не по времени. И, скажу вам, другого такого искусства нет, как гравировальное, чтоб это лучше разъяснить.

— Уж будто бы нет!

— И нет! Тихое оно. Терпеливое. Бескорыстное. Душу налаживает. Почему это на нас старые гравюры так действуют, что мы их на вес золота ценим? Вот же именно по причине, что они достоинство человеческое показывают. Я на гравюру без волнения глядеть не могу. Мне она цельный символ, наивозвышенный: забыл человек течение времени и тихо в своем уголку готовит картинку, да ведь не простую, а немую, такую, что радости она ему не даст до тех пор, пока не кончится работа. Это какое же устремление к цели должно быть, если до самой до последней минуты процесс ва-

шей работы вам не виден! Как на себя-то положиться нужно, чтоб все делать и делать. Художник,— он любуется, музыкант,— он сам себя слушает, стихотворец,— он сам себе голос подает, и у всех-то, у всех, ажно у мастеровых, у плотников — работа видима, каждое достижение само себе цель. А гравер, сколько ни достигай, покуда не окончит, не узнает цены своей работе и не получит от нее радости. Вот оно как!

— Если вам не трудно, дайте мне урок этого искусства,— попросил я, заинтересованный его речью.

Лапушкин встал и, послюнив палец, перелистал книгу.

— Вот возьмите этот рисунок — речка и ветряная мельница. Очень легко, а на гравюре грустно выходит, далеко так, словно вы там в самом раннем детстве побывали и забыли, а теперь вдруг вспоминаете. Задушевный мотивчик. Нравится?

— Нравится.

— Ну и порешим на нем. Только вы, молодой человек, манжетки поснимайте и рукава засучите. Так, а теперь вот этот фартучек на себя накиньте.

Я все сделал по его слову, а сам он скинул с себя халат и остался в одной жилетке и пестрой сорочке с цветными крапинами. Лицо его оживилось детским удовольствием и приняло почти богомольное выражение. Он так любовно завозился у себя на столе, щупая медные листы и выбирая из них подходящий, что я незаметно и сам «вошел во вкус» и серьезно заинтересовался делом. Не знаю, как другим, а мне всегда очень приятно глядеть на ряд последовательных действий, когда уж обязательно что-нибудь выходит и самое простое ремесло кажется магией. Таким детским, мальчишеским взглядом стал я смотреть на Лапушкина и время от времени удостаивался чести оказывать ему небольшие услуги.

Он прежде всего выбрал медный лист, положил его на наковальню и, взяв молоточек с толстым брюшком, стал убивать этот лист приблизительно на целую треть. Потом он отполировал его напильником, обчистил и запер под стекло. Я глядел на его толковые и уверенные движения и заражался его увлечением. Он засве-

спиртовку, достав из кармана спички, и пока синий язычок беззвучно трепетал в воздухе, приготовил сплав из асфальта, магния и воска; я помог ему растопить этот сплав и смотрел за ним, пока Лапушкин доставал тазик и наполнял его холодной водой. Мы бросили кипящий сплав в воду, собрали его оттуда кусочки в тряпочку и тщательно завязали.

Так-то, мои голубчики,— шепелявил Лапушкин, ни к кому не обращаясь и глядя поверх очков в пространство,— теперь мы тебя, каналья, достанем, да смотри, не запылись, а то я тебя, я тебя (он достал отполированный лист и, обдув его, вытер спиртом)! Что, жарко? Ничего, терпи, такова твоя доля (лист прикрепляется над спиртовкой, отполированной стороной кверху). Доктор, где наш сплав? Давайте его сюда. Ну, братец, ничего, спусти-ка лишнего жиру (кладет тряпку на пластинку). А теперь можно и посидеть.

Мы усаживаемся возле спиртовки и глядим, как сквозь тряпочку просачивается тающий сплав и медленно растекается по пластинке. Лапушкин приготовит новую тряпку, с кусочком ваты внутри, и утрамбовывает ею сплав. Я зажигаю лампочку, далеко открутив фитиль. Пластинка снова обдувается, и мы ее густо закапчиваем по сплаву.

— Ну-с, увертюра кончена, а теперь будет опера.— Лапушкин тушит лампу и спиртовку, очищает стол и берет коробочку с иглами. Я держу перед ним нашу виньетку — реку и мельницу.

— Первое правило, молодой человек, чтобы вы предметы видели естественным взглядом. Линий нет, никаких линий! Есть лишь чередование света и тени. Поняли? И так как вы природу запечатлеваете, некоторым образом, наподобие промокашки, то и рисуйте все наоборот. Где у вас черное, там оставляйте не трогая, где у вас белое, там зачерчивайте.— Говоря так, Лапушкин ловко и с быстротою фокусника перенес на копоть рисунок, зачерчивая тоненькими штрихами пустое пространство и оставляя линии рисунка наподобие негатива — незачерченными. Потом он осторожно вырезал зачерченное, вынимая сплав до самой меди. Наступила трудная часть работы.

Лапушкин приготовил ванночку, надел стеклянную маску и налил в ванну соляной кислоты. Я смотрел теперь издалека, так как второй маски (для защиты глаз от кислоты) не было. В ванночку был опущен наш лист с переведенным рисунком.

— Сплав защищает медь от разъедания,— глухо послышалось из-под маски,— а там, где сплав вырезан, медь соединяется с кислотой и превращает ее в медный купорос. Видно вам, как жидкость позеленела? Где у вас вырезано, медь вытравливается и вдоль по обрезам садятся белые пузырьки. Мы их стряхиваем (он осторожно провел щеточкой по листу) и ждем, пока они сядут вторично. Тэк-с. А теперь готово.

Он вынул лист, обчистил и обмыл его, убрал ванну и снял маску. Медный лист был покрыт тончайшим рисунком, подобным негативу.

— Уморились? Видите, сколько работы, а радости-то от нее все еще никакой.— Он накинул свой халатик, взял лист и ушел в другую мастерскую, где были типографские машины. Я ждал его, перелистывая толстую книгу теперь с настоящим, непритворным интересом. Он вернулся, наконец, и подал мне два белых листа с отпечатком. Я увидел простодушно-старомодный рисунок — речку с пологими берегами в кустарнике и широкие крылья ветряной мельницы за рекой. Гравюра была наивная и грустная.

— Вот она где, радость-то,— довольным тоном произнес Лапушкин,— этакую штучку под рассказ или сказочку хорошо поместить. Наша пластинка даст отпечатков двести — триста. Этот вот, самый первый, я вам на память подарю, хотите?

Я, разумеется, хотел. Он сел к столу, взял ручку и написал, забавно оттопыривая мизинчик, изящным бисерным почерком: «Дорогому Сергею Ивановичу Батюшкову,— вспоминать добром гравера Лапушкина».

Мы проканителились с нашей гравюрой до самого обеденного звонка, и я едва успел сбегать домой, умыться и спрятать полученный подарок. Чтобы не опаздывать к санаторскому обеду, я даже не заглянул

технику, — тем более что акушерка, наконец, приехала.

Приятного, сливчатого говорка, под звон ножей и стаканов, нынче не было. Мы сели и встали почти в полном безмолвии, и я увидел сморщенное личико Лягушкина, искаженное какой-то неистовой тревогой. Он покрестился несколько раз после еды, избегая чьего взгляда, и суетливо вышел из столовой. Марья Ларионовна и Ястребцов, обменявшись несколькими словами, продвигались к лестнице; через минуту я был около них.

— Вы в парк? — любезно сощурился Ястребцов.

— Я с вами,— холодно ответил я, беря его под руку. Неизъяснимое отвращение охватило меня, когда я стиснул его костлявый, зыбкий локоть. Мне хотелось сломать его так, чтобы хрустнули кости.

— У вас забавный вид, Сергей Иванович,— спокойно сказала Маро́, поглядев на меня отчужденным взглядом.— Вы похожи... вы похожи на министра, принужденного подать в отставку.

— Я никогда не подам в отставку,— ответил я, шагая с ними рядом и стискивая ненавистный локоть.— И забавный вид у меня только от бессонной ночи.

— Любовь? или клопы? — спросил Ястребцов с усмешкой.

— Ни то, ни другое. У техника рожает жена, и пришлось-таки с ней повозиться.

— Она еще жива?

— Жива? — Я вложил в это слово наивное удивление.— Отчего же ей умереть? Роды, слава богу, благополучные, и техник может утешиться. Он так плакал от ее стонов, точно рожал вместо нее. Бедный юноша!

— Роды еще не кончились, я знаю это от младшего врача,— холодно ответил Ястребцов,— и боюсь быть пророком, но уверен, что она умрет.

Я пожал плечами и засмеялся, в то время как ненависть сжимала мне сердце. Все, что я хотел бы сказать сейчас Маро́, обесценивалось присутствием этого костлявого человека с повисшим носом. Я не мог ни в чем

обвинить его, ни вслух, ни про себя. Но я знал, что он сгущает виновность в девичьем сердце и זароняет ее во всяком, кто становится возле него. Чем? Не знаю.

Словно угадывая мои мысли, Ястребцов поглядел на меня своим умным и снисходительным взглядом.

— Молодой человек, вы принадлежите к числу благонамеренных, но не зрячих. Мы с Марьей Карловной охотно открыли бы вам все, что думаем, но это было бы бесполезно. Впрочем... Да, Марья Карловна? Вы не станете иметь ничего против?

— Говорите,— неохотно произнесла Маро́.

— Я имел в виду мою теорию судьбы. Я нахожу, что нам открывается наша судьба — в виде вопроса и выбора — еще на заре нашей жизни. И в зависимости от того, как мы поступим в этом, роковом для нас, случае, мы станем действовать и в будущем, и наша жизнь расположится по выбранному нами способу. Вот мальчик, который был прибит и в свою очередь избил обидчика; он наметил свою судьбу, и из него выйдет борец; а вот другой мальчик, его били, и он это снес,— будьте уверены, что он и впредь, и всю свою жизнь будет обиженным. Дело в том, что мы привыкаем к известному стилю судьбы и сами его предопределяем для себя... Это понятно?

— Понятно, хотя и неверно,— ответил я.— Люди меняются!

— Нет, кто раз согласится быть несчастным, тот уже всю жизнь будет несчастным, и кто раз согласится быть счастливым, тот уже всю жизнь будет счастливым. Ergo: если б я был воспитателем юношества, я бы твердил изо дня в день: не соглашайтесь быть несчастными ни под каким видом! Ни ради чего не соглашайтесь быть несчастными!

— И это все?

— Нет, не все. Давши согласие, вы пускаете в ход свою судьбу. И она — не вы, заметьте себе, а именно она,— забирает под колесо и раздавливает всякое препятствие; хряск — и готово.

— Даже если это препятствие — живой человек?

— Мы строим свои дома на покойниках, мой милый. Знаете ли вы, что земля под нами полна истлевших ко-

нет! Мертвый человек — всегда только мертвый человек, не больше и не меньше.

— Он оставляет впереди себя — суд, а за собой — память,— ответил я, взглянув на Марő.— Не дай бог никому получить такое наследство!

Я не успел докончить своей фразы, как за мною раздался сухонький кашель. То был отец Гули, в своем длиннополом пиджаке и в рыжей фетровой шляпе, проношенной чуть ли не насквозь. Он отозвал меня в сторону, дрожащей рукой ухватив мою руку, и зашептал:

— Ой, худо, пан доктор, худо, просим, щобы побули у нас.

— Акушерка там?

— Акушерка есть, да мало, мало акушерка.

Я быстро простился с Ястребцовым, поглядел на Марő глубоким, остерегающим взглядом и поспешил за старичком. Он ковылял на своих слабеньких, дугообразных ногах, надрываясь от кашля. И я впервые заметил, что лицо его было вытянуто книзу, совсем как у Гули, а также грустные глазки напоминали ее глаза.

Глава одиннадцатая

ВСЕ О ТОМ ЖЕ ГРАВЕРЕ ЛАПУШКИНЕ

Еще на лестнице я услышал дикий вой Гули. Она не стонала, а именно выла,— голосом, потерявшим уже всякое сходство с человеческим. На крыльце сидел ее муж, опустив всклокоченную голову на колени, с зажатыми ушами и зажмуренными глазами,— весь олицетворение физической боли.

Акушерка, толстая, глуповатая женщина, была бледна и обрадовалась при виде меня.

— Из силеночек выбилась, мати пречистая богородица, уж и ума не приложу! Я и сама-то нерванная! У меня у самой астма. Анисовых бы мне капель выпить, доктор, а не то задышка возьмет.

— Да ну вас с вашими анисовыми каплями! — крикнул я, встряхнув ее за жирное плечо.— Говорите, что такое? Жив ли ребенок?

— Ах, какой вы невоздержный, мати пречистая богородица! — обиженно ответила акушерка.— Я такого обращения с собою никому не позволю. Скажите, какой прыщ! Тоже не мужичка, чтобы за плечо хватать. Языком все, что тебе угодно, а рукам воли не давай.

Я схватился за голову и подбежал к тому страшному темному существу, лаявшему и визжавшему хриплым голосом, которое должно было быть Гулей. Никогда не видел я такой роженицы. По вздутому и страшному телу ее ходили волны, словно его без конца проезжали невидимые для нас колеса. Длинные волосы слиплись от пота и сбились в войлок. Руки хватались за воздух, скрючиваясь от мук.

— Бог с ним, с ребенком! Надо резать, слышите? — крикнул я акушерке.

— И режьте, мати пресвятая богородица. Я обнаковенная повитуха, у меня и диплома нет, чтоб резать.

— Не надо резать, не надо резать,— завопила «бумажная ведьма», сидевшая возле постели и качавшаяся из стороны в сторону, в такт Гулиным стонам.— Гуля, дитя мое, единственное дитя мое, а и кто ж,— чтоб его сухая смерть взяла, красная чума источила,— на твою голову наведьмовал, чтоб тому не глядеть глазами, не ходить ногами... Ох, Гулюшка, Густинька, ох, сердце мое...

Она бормотала, переходя с польского на русский и с русского на польский. Видя, что ни от кого мне помощи не дождаться, я послал кашляющего старичка за Валерьяном Николаевичем и беспомощно заходил из угла в угол.

Зарубин сразу же взял на себя ответственность и так приструнил акушерку, что она только бормотала «мати пречистая богородица», но аккуратно исполняла все от нее требовавшееся.

Хансена я увел-таки к себе, в спальню, убедил его раздеться и лечь. Он лег лицом на подушку, и так я его оставил, прикрыв за ним дверь и дав ему слово тотчас же разбудить его «в случае чего». Меж флигелем и санаторкой был телефон. Я переговорил с Фёрстером и попросил извинения за себя и Зарубина. Его голос показался мне более утомленным, чем прежде; но он ни

ничем не попрекнул меня и обещал прислать сестру на помогу акушерке.

Часов в десять боли затихли. Больная пришла в себя и позвала Хансена; я разбудил его, и не успел он спуститься вниз, как ко мне, без стука и без спроса, вошла Маро́. Я прилег в эту минуту на диван, чтобы хоть немного отдохнуть. Свет некому было пустить, а Хансена мы пожалели трогать, и потому в комнате горела ручная лампа.

— Сергей Иванович,— сказала Маро́, подходя к моему диванчику,— н-не вставайте, ничего.— Она опустила голову и заплакала. Я усадил ее, принес воды. В ушах у меня шумело, и я должен был напрягать весь мой слух, чтоб уловить ее прерывистые слова. И все-таки я не улавливал их и принужден был сесть с нею рядом, на диванчик.

— Про-простите...— услышал я ее шепот, когда наклонился к ее бледному больному лицу,— не думайте, что я, что мне этого хочется... О нет, нет, нет, вовсе... О, как вы только могли подумать! — Она левой рукою прикрыла лицо, а правой полезла в сумочку за платком. Я помог ее беспомощному движению и вложил в ее руку платочек, уже весь мокрый от слез. Она свернула его комочком и вытерла им глаза.

— Даю вам честное слово, что не думал этого,— сказал я,— верю и знаю, что в глубине сердца вы никому не желаете и не можете желать зла.

Она закрыла глаза, вздохнула глубоко, как вздыхают дети во сне, и прислонила голову к моему плечу. Так мы посидели минут пять молча.

— Он очень плакал?

— Очень, да и трудно не плакать. Если б вы только видели, как она мучается! (Маро́ вздохнула.) Это такие страдания, что хочется дать себе клятву не обижать ни одной женщины ни словом, ни делом, ни мысленно и просить у них у всех прощения...

— Хоть бы я умерла теперь вместо нее,— шепотом сказала Маро́, глядя своими широкими глазами в темноту,— хоть бы я умерла, ах, хоть бы я умерла!

— Варвара Ильинишна не беспокоится, что вы тут, Маро́?

— Мама с па, у него сердечный припадок...

— И вам не жалко своего отца! Поглядите, как он извелся за эти дни. Подумайте, как он одинок как раз теперь, когда у него такие неприятности.

— Все теперь погибло,— мрачно сказала Маро́, — ничего не будет попрежнему. Па тоже, как я, он не умеет исправлять, он опускает голову и терпит.

— Так исправьте вы, пойдите к нему, поплачьте с ним.

— Нельзя, нельзя, мы оба одинаковые. Вы знаете, стыдно друг друга, когда так похожи. Точно ты сам с собой.

Она немного помолчала, потом подняла голову и высвободила правую руку, лежавшую в моей руке.

— У меня вот тут болит,— произнесла она тихо, приложив руку к сердцу.— Бывает это с вами? Физическая боль сердца, точно его кто-то кулаком ударил, и оно ноет.

Я знал, что у Маро́, как у Карла Францевича, слабое сердце. Глубокая жалость и нежность охватили меня. Я протянул руки и робко, словно боясь ее разбить, привлек Маро́ назад к своему плечу. Она подчинилась покорно и равнодушно. Я видел темные круги под ее полузакрытыми глазами, пушистую прядку на лбу и сжатый рот, словно пораненный цветок,— весь стиснутый и побледневший от боли.

— Милая Маро́, все заживет и поправится, вот увидите!

— У меня не может зажить.

Я знал теперь, что это правда. И никаких слов для утешения у меня не было. Только один человек нужен был ей в целом мире, и этот человек был сейчас дальше от нее, чем когда-либо прежде.

По лестнице раздались мелкие, шумливые шажки, и Маро́ встала с дивана.

— Это Дуня. Спокойной ночи, Сергей Иванович!

— Спокойной ночи, Маро́!

Я наклонился и поцеловал ей руку. Дунька, шелестя и пыхтя, с открытым, как у испуганного воробья, ртом влетела в комнату.

— Барыня сказали, чтоб беспременно йтить! Ба-

говорят, ужин простынет. А на улице дождик,— выпалила она единым духом и подала безмолвной Маро шаль.

Когда они обе ушли, я спустился вниз в мягком и добром настроении. Даже усталость моя перешла во что-то тихое и теплое, похожее на мечтательность. Гуля лежала неподвижно; боли еще не начинались. Техник сидел у ее ног, озаренный розовым светом свечи. Акулина дремала на единственном мягком стуле; она сложила руки на животе и клонилась головой то в одну, то в другую сторону, легонько посвистывая. Старик и старуха приютились на сундучке, тут же. Вид у них был заморенный и запотелый.

Только к рассвету у Гули опять начались боли. Но меня уже сменил Зарубин, и, не дожидаясь их исхода, я лег к себе на диван и тотчас же заснул — точно в темный колодец упал — крепким глубоким сном. А пока я спал, события шли своим ходом, и мне суждено было пережить странное пробуждение.

Внизу подо мной кто-то ходил, и стучали двери. Слабый свет проникал сквозь ставню. На часах моих было около шести. Я хотел было снова заснуть, когда глаза мои встретились с чужими глазами. Это был Форстер.

Он сидел небрежно одетый возле моего дивана, положив руки на колени и глядя на меня тяжелым, задумчивым взглядом. Лицо у него было больное, но не утомленное, как вчера, а, напротив, оживленное энергией и решимостью. Видя, что я совсем проснулся, он покачал головой и как-то монотонно произнес:

— Вставайте, Сергей Иванович, Лапушкин отравился.

— Умер?

— Умер.

Он не прибавил больше ни слова, а я вскочил и лихорадочно начал одеваться. Все члены мои ныли от прерванного отдыха, веки бессильно падали на глаза, и я должен был беспрестанно тереть их руками, чтобы не впасть в дрему. Через десять минут я был одет и умыт. Мы молча сошли вниз, на холодный воздух, влажный от ночной росы. У дверей нас поджидал Цезарь, пуши-

стый рыжий пес. Он махнул хвостом и пошел рядом с нами.

— Я не успел одеться — сказал мне Фёрстер все тем же монотонным голосом,— а хотел видеть вас непременно. Больные, к сожалению, уже все знают. Будьте как можно спокойней и не выказывайте ни малейшего волнения.

Мы зашли в профессорский домик, и пока Фёрстер переодевался, я передал ему все, что мы делали с Лапушкиным вчера. На мой взгляд, он не походил на самоубийцу. Что же должно было случиться и толкнуть его на этот шаг?

— Вы были с ним до обеда, а Зарубин до половины пятого; в промежуток между пятью и семью он оставался один.

— Марья Карловна уже одета? — спросил я.— Да? Так узнайте у нее, до которого часу она гуляла с Ястребцовым.

— Маро́! — крикнул профессор в открытые двери.

— Да, па! — ответил взволнованный голос, и к нам вошла Марья Карловна.

— Когда ты рассталась вчера с Ястребцовым? — спросил ее Фёрстер. Она перевела глаза с него на меня и обратно.

— Перед чаем, па.

— Значит, около шести. Хорошо, мы допросим сестер.

Он кончил одеваться, вскочил с тою неутомимой эластичностью, которой, казалось, он разучился в последние дни, и позвал меня за собой.

— Сиди дома, дитя мое, и успокой маму. Я скоро приду или пришлю записку,— сказал он Маро́, выходя из комнаты.

Солнце уже встало из-за горы, и все было залито его жарким блеском. Санаторский швейцар встретил нас почтительно и спокойно, как всегда. Но горничные в белых чепчиках столпились в коридоре и шушукались, а в столовой мы застали больных, кое-кого едва одетыми, в приподнятом истерическом возбуждении.

— Профессор, скажите же, в чем дело! — визгливо крикнула одна из пациенток.— О боже мой, как это все

…симо и, главное,— манера делать изо всего …йну. Это даже здорового человека может свести с ума!

Господа, вся моя надежда на вас! — громко и …нно сказал Фёрстер, останавливаясь среди боль… — Успокойте прислугу, поддержите порядок в сана…рии! Я прошу вас сегодня о помощи.

Это был мастерской ход, и он произвел впечатление. …о подхватили дамы, зачинщицы истерик, самые зара…тельные из наших пациенток:

— Да, конечно, Карл Францевич, конечно!

— И не удовлетворяйте любопытства сестер,— до…ил Фёрстер конфиденциальным тоном. Потом он по…дел на бледного Тихонова и озабоченно произнес:

— А вас я очень просил бы взять на себя управле…ние санаторским режимом, покуда я и мои помощники …яты.

Тихонов смущенно поклонился, и мы поднялись по …стнице в третий этаж. Помещение Лапушкина было …йним слева. У дверей его стояла сестра Маргарита, …енная и строгая женщина, известная у нас молчаль…ница, и не пропускала никого внутрь. Фёрстер попросил …пившихся и здесь больных удалиться, а сам, пома…нив меня за собой, вошел в первую комнату; это был ка…бинет; за ним шли спаленка и уборная.

В кабинете на кожаном кресле сидел фельдшер Се…нов. Лицо у него было потерянное, выпуклые глаза …литы слезами. Тело Лапушкина, уже обмытое сестрой Маргаритой, лежало в уборной. Оно должно было быть …ущено в ледник санатории, до вскрытия.

— Вот что, старина,— сказал Фёрстер, опустив руку на плечо Семенова и садясь возле него,— расскажите …м все по порядку, как это случилось.

— Ох, Карл Францевич,— вздохнул бедный старик, …устив голову,— кабы только добраться мне до этого …рнозубого дьявола... Никто, как он. Откушав чаю, Лапушкин прошел вниз на балкончик и туда же прошел и господин Ястребцов. Я к ним, а он меня оглядел и так …жно говорит: «Семенов, принесите мне цитрованиль, …ня мигрень начинается». Я поскорей сбегал к Валерь…ну Николаевичу, возвращаюсь единым духом, это зна-

чит минут десять прошло, никак не больше, а их уж и след простыл. Я туда-сюда, нету. Наконец, к седьмому часу выходят из парка и мирно так разговаривают и хохочут. Ястребцов — ха-ха-ха, и Лапушкин туда же с ним и весь трясется. Слава богу, думаю. А он, этак трясясь, побежал к себе в кабинет, да на диван, да головой об стену, да как начал рыдать. Я послал сестру по телефону вас вызвать, а у вас сердечное нездоровье. Ну, не захотел беспокоить, порешил сам управиться...

— В другой раз, Тихоныч, этого не порешайте,— мягко заметил Фёрстер.

— Да уж в другой раз...— ответил Семенов и безнадежно махнул рукой.— Ну, успокоил его, брому дал, ужин ему наверх подали. Он ни на шаг меня не отпускает, ручки у него ледяные и мокроватые, и дрожь в нем не унимается. «Знаешь ты, говорит, Семенов,— он меня на «ты» звал,— коли собака взбесилась, что с ней делают? Стреляют. Лучше, говорит, собаку умертвить, чем бешенство в ней оставить». Я понимаю, что это он о себе и что к нему болезнь вернулась. «Собака, отвечаю, тварь, и в ней только и есть душа, а вы человек, и дух у вас есть. Духом своим здоровым вы всякое в себе бешенство осилите». Ну и все в этом роде, по-вашему, Карл Францевич, обыкновению. Но вижу, он все тоскует и тоскует. «Кабы я, говорит, прежде не вылечился, у меня бы сил теперь больше было, а сейчас и забыть не могу, что вот совсем был здоров, и вещи уложил, и домой письмо написано». И так протосковал до самой ночи. Я до второго часу не спал. Слышно мне было, как он в свою тетрадку что-то пописал, потом в постели ворочался и вскрикивал, точно будто икал. Наконец же, я заснул. И только проснулся, слышу — хрип, кинулся к нему, а он лежит — кончается...— Семенов понурил голову и пальцем смахнул со щеки слезу.— В жизни себе не прощу, что заснул...

— Полно, старина! — ласково сказал Фёрстер.— Всего нельзя предвидеть, да и если он задумал умереть, мы с вами ничего не могли поделать. Скажите мне, где его тетрадка?

Семенов встал, прошел в спальню и вынес оттуда пачку больших писчих листов, сшитых вместе. Они

...и исписаны изящным бисерным почерком, мне уже ...мым. Фёрстер перелистал их, свернул и положил ... в карман.

Мы вышли втроем, заперев помещение Лапушкина, ... весь день провел в санатории. Больные разнервни... к обеду, и некоторые остались есть у себя в ком..., в их числе был и Ястребцов. Остальные вели ... тихо и угнетенно. Мы употребляли все силы, чтоб ...ить их настроение, но ни прогулка, ни игры, ни ...ика сегодня не действовали. Только присутствие Фёрстера и его привычный взгляд из-под ресниц, и его ...кальный голос, и его уверенные, быстрые движе... действовали, как всегда, но Фёрстер не мог быть ...ый день с нами. Он отлучался то для сношения с ...ственной местной властью, одноглазым урядником ...горцев, то для писания телеграмм, то для разговора ...тюшкой, приехавшим из Сум еще за день до несча... Батюшка был толстый и низенький, он курил соб...нного изделия папироски, слушал и решительно со ... соглашался, но поступал всегда по-своему и для ... неожиданно. Мы боялись, что он откажется хоро...ть Лапушкина.

Удивлял меня и Ястребцов, к чаю сошедший вниз. Он был очень расстроен (или казался таким), кашлял, ...вал во все плевательницы; шея его была обмотана ...ым гарусным шарфом, а уши заткнуты ватой. Он ...рял, что схватил простуду; что горы ему вредны; что ...ти его ломит от сырости. И когда я убедительно по...товал ему переменить санаторию, он покосился на ...ня быстрым, боковым взглядом и грустно промямлил, ...оде «пожалуй, пожалуй». Я немедленно вызвался ...редать об этом Фёрстеру и был — не скрою — сильно ...радован.

Так прошел длинный день и наступил длинный ве...р. Только когда больные разошлись по комнатам, а ...о бедного Лапушкина незаметно перенесли в ледник, ... мог отправиться домой По дороге Карл Францевич ...оворил меня зайти в профессорский домик, выпить ...ю и отужинать. В столовой уже сидел Валерьян Ни...лаевич, за блюдом горячего барашка, и торопливо

12*

обсасывал косточку. Он любил кости, как ребенок, и всегда брал их в руку, чтоб «высосать мозги».

— А, Сергей Иванович, барышня, ведь техничка разродилась! — крикнул он мне, как только я вошел в комнату.— Еще один покойничек — мертвый младенец. И хорошо, что сама жива осталась.

Маро́ сидела на конце стола, потупившись. Она чуть-чуть побледнела при этих словах Зарубина и спросила насильственно спокойным голосом:

— А хорошенький ребенок?

— Очень — уши закорючкой, носик пятачком и на голове шишка, точно его лягнул кто в материнском чреве.

— Фу ты, какие страсти,— недовольно отозвалась Варвара Ильинишна из-за своего самовара,— вы, Валерьян Николаевич, хоть бы за едой не фантазировали. Скажите лучше, не послать ли ей тонкого чего-нибудь? Я им намедни вина послала две бутылки, а завтра хочу корзиночку приготовить, да боюсь, не обидятся ли. Обидчивые они все какие-то.

— Гонор. Что ж, пошлите, я берусь уладить это без малейшей оскорбительности,— словно от себя.

— Вот спасибо,— радостно ответила профессорша.

Я наскоро поужинал, крепко пожал холодные пальчики Маро́ и бросился бегом к себе. Страшная, невыносимая усталость сковывала каждое мое движение. Я поминутно зевал, с риском вывихнуть себе челюсть, и слезы сбегали у меня от утомленья. Дома я в одну секунду разделся, кинулся на кровать, потянулся с блаженством и — заснул.

Глава двенадцатая

«НЕ ГЛЯДИ НА ГРЕХ»

Сумский батюшка, отец Леонид, выкурив неимоверное количество папирос и ни слова не вымолвив в ответ на наши красноречивые упрашивания, наутро велел подать свою рясу и объявил, что отпоет Лапушкина. И не только отпел! Едва шустрый дьякон, по фамилии

Залихвастый, успел снять с него парадную рясу и подать ему всегдашнюю, подбитую пылью, оливковую рясу, как балагурил сам батюшка в веселые минуты,— а уж отец Леонид поднял пухлую ручку и заговорил. Он говорил на «о» и время от времени останавливался, чтоб «набрать слюны»: от говоренья у него пересыхало во рту.

— Время, и болезни, и земная суета разрушают сосуд человеческий. И не токмо они, а различные стихийные силы,— так начал он своим громовым голосом, к концу фразы неизменно переходившим в шепоток.— Что же? Надлежит ли отводить десницу провидения и самому распоряжаться телесным своим жилищем?

— Не надлежит, отец протоиерей, не надлежит! — скороговоркой пробасил Залихвастый и тут же покраснел и переступил с ноги на ногу. Батюшка сердито покосился на него и продолжал:

— Однако не по букве разумей, но по духу. Сказано: аще око твое соблазняет тя, исткни его; добрее ти есть со единым оком внити в царствие божие, нежели оце имущу ввержену быти в геенну огненную. Не то же ли сказано о ноге и о руке? Но бывает соблазн, разошедшийся, наподобие ядовитой болячки, по всему телу. Как вырвать его тогда из тела, не нарушив закона жизни? Смиренный раб божий, которого мы ныне хороним, грех на себя принял, чтоб от другого, страшнейшего, избавиться. Будучи соблазняем, тело свое отсек, чтоб не погрешить душою. Посему не нам надлежит судить сего страстотерпца, но разве поминать его в каждодневной молитве.

Батюшка кончил, пухленькой ручкой наложил на себя крестное знамение и двинулся в переднюю, куда уже просеменил Залихвастый, от излишнего усердия обежавший ему вперед. На больных речь произвела впечатление. Было замечено и втихомолку обсуждалось, что батюшка прежде всех подошел к Карлу Францевичу, а когда черед дошел до Ястребцова, в рассеянности или по нежеланию как-то отвернул лицо и, будто не замечая его, передал крест Залихвастому. Я решительно торжествовал от его речи и внимательней разглядывал этого маленького толстенького человечка с

седенькими бровками и какими-то веселыми, скры ными морщинками по всему лицу.

Валерьян Николаевич догнал меня в дверях.

— Батя-то, батя каков! — шепнул я ему восто женно.

— Да-с, каков, а лучше б каши не заваривал,— о ветил мой коллега с мрачным видом,— вы думаете, так обойдется? Пойдут теперь истории, а с него сни чего доброго, рясу сдерут.

Но я был в таком восхищении, что мог лишь улы нуться в ответ.

Похоронили мы бедного Лапушкина честь честью Устроили ему и поминки, главным образом ради отц Леонида, любившего, чтоб все было по обычаю. Спра лялись они на дому у профессора, а в большой сан торской столовой был восстановлен всегдашний пор док. Председательствовала сама профессорша; дьякон, которого называла она «оголтелым», усердствовал т же у нее под рукой, роняя на пол ножи и вилки и зали вая скатерть.

— Уж хоть бы этот оголтелый мне не помогал, вздохнула бедная Варвара Ильинишна, когда усерди Залихвастого едва не опрокинуло весь стол.

Мы поели блинов, помолчали и собрались было ра ходиться, когда Карл Францевич, удержав нас жестом, встал из-за стола, прошел в кабинет и вынес оттуд уже знакомые мне листы лапушкинской тетради.

— У нас есть свободное время. Не хотите ли, отец Леонид, послушать? Тут целая повесть похороненно вами человека.

— Послушаем,— ответил батюшка, вынимая кру лые серебряные очки с ваткой над переносицей уже н первой чистоты.— Послушаем. А ты, отец дьякон, выд в другую комнату.

— И зачем же, отец Леонид? — обиженно забаси Залихвастый.

— Выдь,— сурово повторил священник.

— Яко оглашенного изгоняете,— с неудовольствием, но покорно ответил дьякон и вышел.

— Суетлив не в меру,— сказал отец Леонид, обра щаясь к нам с маленькой морщинистой улыбочкой,

…ощрять нельзя, он этак через кран зальется. По… …рить можно?

…мы разрешили курить, и толстенькая фигурка …ника немедленно заволоклась дымом. Карл …ицевич передал тетрадь дочери, и Маро́, севши …есло у окошка, стала читать. Голос ее, сперва рав… …шный и монотонный, постепенно оживлялся.

…традка Лапушкина была озаглавлена:

«НЕ ГЛЯДИ НА ГРЕХ»

…от что прочла нам Маро́:

«Когда мне пошел восьмой год, к нам переселился … моей матери, Андрон Иванович. Мы жили в захо… …тном городке средней полосы России, почти на самой …ице, в деревянном доме, окруженном новенькой …еткой с гвоздиками,— тогда еще самое модное нов… …тво. Впрочем, воры у нас бывали неоднократно и …лазили инде, оставляя решетку нетронутой и гвоз… … непомятыми. В саду у нас, кроме рябины и бар… …риса, было когда-то отхожее место, куда с незапамят… … времен никто, кроме куриц, не ходил. Оно превра… … в курганчик, заросло крапивой и цыганкой и по… …не желтело одуванчиками. Я играл там с дворовым …льчиком Максимкой, сыном нашего кучера.

Когда стало известно о приезде дяди Андрона Ива… …ича, меня вымыли, обстригли, одели в красную ру… … и научили шаркать ногой. Дядя приехал из Па… …ка. Он был высокого роста, одутловатый, с перстнем … пальце и с крашеными иссиня-черными усами. Вещи … были уложены в красные чемоданчики и сундучки. … таскали наверх кучер и горничная в продолжение … Я подошел к нему, шаркнул ногой и назвал его, … меня учили, дорогим дядюшкой.

— Ah ça! — воскликнул он не без удивления и щелк… … у меня пальцем под самым моим носом.— Какой я … дядюшка? Вздор. Зови меня mon cousin.

С этих пор я звал его не иначе, как кузеном. Он …иехал не один, а с собачкой — тонкобрюхой черной …кой из породы левреток. Звали ее Инезилья, а по

мнению прислуги,— Заназила. Эта собака с первой ми нуты почувствовала ко мне антипатию. Она тряслась от ненависти, как только я подходил к кузену, и заливалась отчаянным лаем, поднимая то одну, то другую лапку и наклоняя набок морду Невзлюбила она и Максимку. Мы бегали по двору босиком, и Заназила, не решаясь, видимо, куснуть меня, то и дело хватала за пятки бедного Максимку. Я пожаловался папе, папа — маме, а мама — Андрону Ивановичу

— Ah ça! — с неудовольствием ответил кузен — У моей собаки интуиция, вы понимаете — интуиция. Оставьте ее поступать, как она считает нужным.

Собаку оставили из уважения к дяде и, главным образом, к его чину и богатству, а Максимке подарили сапоги, которые отец его, мрачный кучер Евстигней, немедленно же пропил в трактире. Не прошло и недели со дня приезда кузена, как его левретка забежала в сад, юркнула, принюхиваясь, к курганчику, села на него, подняла обе лапки и оглушительно завыла. Ее согнали. Но она снова вскочила на курганчик и снова завыла. Это повторялось раз пять и стало известно всему нашему семейству. Дядя вышел из своих комнат в зеленом чесунчовом шлафроке с бледнорозовыми, еще не покрашенными усами и с парижской тросточкой в руке, снизу доверху покрытой инициалами. Он стукнул тросточкой о курган, поглядел Инезилье в ноздри и важно сказал:

— Ah ça! Тут зарыт покойник. Он требует погребения. Сию же минуту надо распорядиться, чтоб пришли рабочие. Слышите! absolument! [1]

Мать моя пришла домой и разразилась истерикой. Отец, войдя вслед за ней, запер дверь и стал в выжидательную позу. Я, успевший пролезть у него между ногами, заполз под диван.

— Глафира, душа моя,— вежлнво сказал мой отец, когда она перестала плакать и поднесла к носу нашатырный спирт. Он всегда был и при всех обстоятельствах вежлив и часто упоминал, что был лишь прика

[1] Обязательно! *(франц.)*

ником у отца моей матери, пока не удостоился чести стать его зятем.

— Глафира, душа моя, ваш дяденька — старый дурак. Как можете вы придавать значение всем его выдумкам!

— Знаю, знаю, все насквозь знаю, безжалостный человек! — снова зарыдала моя мать и, взвизгнув, пустила в него флаконом.

Отец подхватил флакон на лету, поставил его на стол и деликатно погладил мою мать по руке. Но в ответ на его вежливость, она окончательно вышла из себя

— Изверг! Юбочник! Не смей до меня дотрагиваться! Теперь-то я знаю, почему ты сейчас же рассчитал эту бесстыжую Матрешку...

— Да помилуйте, вы же сами настояли!

— Настояла, а ты-то, ты-то! Мог бы хоть слово сказать за свою Дульцинею... Значит, это она, проклятая, мертвого младенца в моем собственном доме зарыла... О, я глупая! Несчастный мой сын! Петенька, если бы ты знал, что у тебя есть братец!..

Я немедленно разразился ревом, выполз из-под дивана и кинулся к моей матери. Отец постоял возле, иронически, но вежливо покривил губы и вышел из комнаты Если б не эта сценка, курган, вероятно, остался бы нетронутым на все будущие времена, а дядя Андрон Иванович снова удалился бы в свои комнаты за чтение журнала Revue théosophique [1]. Но отец мой был злопамятен и щепетилен; выше всего на свете ставил он свое «честное имя». И потому не прошло и часа, как чужие люди в сизых рубахах раскапывали наш курган, а мы с Максимкой следили за ними из-за рябины. Трупа, конечно, никакого не нашлось, но яму вычистили, выпотрошили, и вместо былого холмика к нашим с Максимкой услугам была теперь круглая черная дыра, страшная на вид и не особенно приятно пахнувшая. Кузен пришел, поглядел на нее, понюхал воздух и задумчиво промолвил:

---

[1] Теософское обозрение *(франц.)*.

— Ah ça!

И ушел к себе, сопровождаемый Инезильей.

Яма стала моим ужасом. Я видел ее во сне. Я видел ее днем всюду, куда бы ни отводил от нее свои испуганные глаза. Из окон моей детской видна была ее правая сторона, с моего стульчика в столовой — левая. Решительно некуда мне было деться от ямы. И странное дело, чем больше я боялся ее, тем сильней мне хотелось заглянуть в нее и посмотреть, что там такое. Не вытерпев, я поделился моей тоской с Максимкой. Оказалось, и Максимка боится ямы. Но точка зрения его была несхожа с моей.

— Нехай ее,— вот все, что он мог пожелать по поводу ямы и при виде нее тотчас же зажмуривался и стискивал зубы. Я попробовал поступить по его совету, но любопытство неудержимо влекло меня к яме.

А надо сказать, нам строжайше запрещено было играть возле нее. Нас стращали падением туда, где нет «ни дна, ни покрышки», по зловещему предостережению няни.

Прошло несколько дней, в продолжение которых мое любопытство окончательно победило страх. Я ждал только удобного случая, и он явился. В пятнадцати верстах от нас находилось имение генерала Сухорукова, доводившегося моей матери тоже чем-то вроде кузена. К нему мы ездили всем домом, дней на пять-шесть, и было это моим великим удовольствием. Но теперь, когда пошли слухи о готовящейся поездке к Сухоруковым, я подошел к матери и смущенным голосом пролепетал, что у меня «кажется, болят гланды».

Гланды были слабым местом моей матери. С тех пор как она прочла о них медицинскую статейку (единственное печатное произведение, прочитанное ею за всю ее жизнь,— кажется, из неравнодушия к его автору, местному модному доктору),— с тех самых пор она твердо уверовала в постоянную роковую опасность, исходящую от гланд,— и в особенности для меня.

— Боже мой, у Петеньки гланды распухли! — тотчас же воскликнула она, потрогав меня под щекой.— Нельзя, нельзя ему ехать при таком ветре!

И не успел я опомниться, как был укутан, смазан

гусиным салом, снабжен большою коробкой конфет и сдан на попечение няни Агаши. Во двор вывезли нашу рессорную коляску, недавно купленную, впрягли в нее двух серых жеребцов; кучер облачился в свой кафтан с непристойно раздутым задом, и родители мои уехали: мама с кузеном на главном месте, папа на передке.

Весь день я пролежал смирно, не возбуждая в няньке никаких подозрений, и слушал ее сказки. Няня Агаша обладала странным свойством, которого в ту пору я еще не мог понять, но уже научился ценить: она спала, зажмурив глаза наполовину и время от времени делая движение головой, походившее не то на отрицательный, не то на укоризненный жест. Проспав полчаса и больше, она вдруг раскрывала глаза во всю их природную ширину и как ни в чем не бывало говорила:

— И вот, миленький ты мой, едут этта они, миленький ты мой, лесом, и откуда ни возьмись, радостный, откуда ни возьмись ведмедь огромадный, огонь из ноздрей, голуба моя, из ноздрей... из ноздрей...

И, словно магически, из собственных ее ноздрей начинал раздаваться тихий посвист, а глаза ее как по волшебству неуклонно сощуривались. Я знал, что как только они сощурятся до половины, я буду в полной безопасности на новые полчаса. Что всего непонятней было для меня, так это полное нянькино неведение о собственном состоянии. Когда я вызывал ее на откровенность, она доказывала, что спал именно я, а не она:

— Задремал, маленький ты мой, задремал, золотое [illegible]омечко!

Но сегодня я уже не интересовался этой проблемой и предоставил вещи их логике. Наевшись конфет, я плохо спал ночью и, едва наступило утро, вскочил с постели. Нянька охотно поверила в излечение моих гланд, тем более что по ее внутреннему убеждению гланд этих никогда и не было и не по-православному было вовсе даже их иметь. А потому, надев свой салопчик, я степенно вышел гулять, никем и ничем не затрудняемый. В саду поджидал меня Максимка, весь белый от страха.

— Веревку достал? — спросил я.

— Достал у тятьки на конюшне,— плачущим голосом ответил Максимка.

Мы покружили по саду для отвода глаз и зашли на рябину. Она была щуплая, ветвистая и росла как раз возле ямы. Я раскрутил, веревку, опоясался и дал конец Максимке. По уговору, ему следовало держать меня, а мне лезть в яму. Но, к моему негодованию, Максимка бросил веревку, сел на корточки и загукал:

— Гу-у.

— Ты чего?

— Боязно! Гу-у.

Гуканье предшествовало реву, это я знал по опыту; каждую субботу, когда Евстигней возвращался из трактира с педагогическим намерением выдрать сына, Максимка садился на корточки и гукал. С минуту я раздумывал, не вернуться ли в комнаты, и, признаться, трусил не меньше своего приятеля, но любопытство взяло верх. Я привязал веревку к самой низенькой веточке рябины, обдернул салопчик, молодцевато потянул носом в себя, утерся и пополз к яме. Максимка замер от ужаса, перестав даже гукать.

Яма была как яма,— наверху круглая, внизу черная. И не было видно ни пятнышка в этой сплошной черноте. Я разочаровался и почувствовал прилив храбрости.

— Го-го-го! — заорал я дико, сбрасывая в яму камень.— Вот тебе! Раз, два!

— Ой, смотри, Петь,— сокрушенно шепнул Максимка, решившийся открыть глаза.

— Чего там смотреть? Вот ей еще! — я кинул новый камень и перегнулся, чтоб посмотреть, куда он упадет. Снизу шел приятный холодок, а меня в моем салопчике солнце здорово припекало. И, нагибаясь все ниже, я свис в яму по пояс. Мне было хорошо. Я был уверен в полной своей безопасности. Я знал, что стоит мне захотеть, и я вылезу обратно на свет божий, оставив яму, где она есть. Бедная, глупая яма,— признаться, я даже трунил над ней с оттенком своего превосходства. Я набрал слюны и плюнул в нее, покачиваясь на веревке, как гусеница. И тут-то произошло со мною нечто негаданное. Ветка рябины хрустнула, я вдруг почувствовал вес своего тела, и, увлекаемый его тяжестью, полетел лицом вниз, прямо на свой плевок.

Максимка отчаянно заорал наверху. Я летел не больше секунды и, ударившись головой об землю, потерял сознание. Когда оно вернулось, я увидел себя на земле, мягкой и липкой; лицо и руки мои были в земле, салопчик промок и разорвался. Наверху, в голубом отверстии, виднелись бледные лица няни Агаши и Максимки. Достать меня оказалось не так-то легко. Веревки не хватало, лестницу няня не умела спустить. Наконец, она догадалась сбегать за сторожем, а пока длилась вся эта каиитель, я сидел в яме.

В чувствах своих тогда я не мог бы дать себе отчета. Но острое воспоминание о них у меня осталось, и я сумею определить их теперь. Стыд преобладал, стыд перед Максимкой, няней и ямой и стыд вообще. Затем было чувство беспомощности, так внезапно сменившее прежнее чувство уверенности. И, наконец, третье, что я ощутил,— это непоправимость. Вынуть-то меня из ямы можно, но сделать так, чтоб не было этого падения и этого теперешнего постыдного сидения в яме — нельзя, так оно навеки при мне и останется. Помню, что когда я, наконец, был извлечен и залился долгим, мокрым плачем, то в горе моем преобладало именно чувство непоправимости.

Вскоре после этого происшествия меня отдали в немецкий пансион Таубе, за пятьдесят верст от нас, в соседний губернский город. Пансион был благородный, и обе его содержательницы, Луиза Таубе и Вильгельмина Таубе, были близкими знакомыми моей матери. Я жил не в комнате с тремя мальчиками, единственными, кроме меня, пансионерами, а у самих девиц Таубе. Там было очень светло и чинно. Окон пять-шесть шло, по-провинциальному, во всю стену; возле них, на жардиньерках, стояли апельсиновые и лимонные деревца, выращенные самими девицами Таубе из косточек. Пол в комнате был паркетный, но очень старый, так что многие квадраты расшатались и норовили вылезти из своих впадин. Когда я проходил по комнате, нарочно стуча ногами, бесчисленные этажерочки и шкафчики звенели, тренькали и сотрясались во всех углах комнаты. Это доставляло мне некоторое удовольствие. Но предметом тайной моей страсти был индус.

Когда меня только что привезли к Таубе, я стоял насупившись и потягивая носом с самым обдуманным намерением разразиться плачем. Старшая Таубе, сухая и белоглазая Вильгельмина, беседовала с моей матерью. Но младшая, Луиза, вероятно проникнув в мои намерения, взяла меня за руку и подвела к шкафу. Этот шкаф был заперт на ключ, но сквозь стеклянную дверцу я тотчас же увидел полочки, а на них разные фарфоровые фигурки. Тут были собачки с отбитыми лапками, пастушка и пастушок, кораблик, ветряная мельница. Но лучше всех и важнее всех был индус. Он сидел на коврике, сложив ноги по-турецки. На нем было белое одеяние и чалма. На коленях его лежала книга с таинственными закорючками, а возле — треножник с такою же, но закрытой книгой.

— Это кто? — спросил я, ткнув в него пальцем.

— Пальцем не надо показывать,— тотчас же ответила Луиза, не объяснив мне, однако, чем показывать надлежит.— Это индус, житель Индии. Он читает индусскую книгу на индусском языке.

— А ты умеешь? — спросил я ее почтительно.

— Не нужно говорить «ты», нужно говорить «вы»,— отозвалась она.— По-индусски я не умею, потому что этого теперь не надо.

Я позволил себе усомниться. Я полюбил индуса с первого мгновения нашей встречи и решил выучиться индусскому языку. Я полагал, что для этого мне, прежде всего, следует добыть индусскую книгу, а с нею, разумеется, и самого индуса.

— Дайте поиграть, я не сломаю, вот вам крест! — взволнованно воскликнул я, крестясь по-широкому, как это делала няня Агаша. Красная рука Луизы поймала мои сложенные пальцы, удержала их, и я услышал Луизин голос:

— По пустякам нехорошо креститься и совсем не надо креститься без молитвы! Надо говорить правду, и все тебе поверят. Минхен, дай ключ от шкафа, мальчик просит поиграть индусом.

Вильгельмина обратила в нашу сторону два глаза с белыми бельмами. Сердце мое забилось от ожидания, но она сказала:

Луизхен, ведь ты же знаешь, чья это память! Дай мальчику раковину с этажерки.

Красное, сильно припудренное лицо Луизы покраснело еще гуще. Она дала мне совсем ненужную раковину и тихонько, извиняющимся голосом, сказала:

— Шкаф остался от покойной мамаши.— Это — память, Andenken. Ну, повтори: Andenken!

Я повторил «антикан», повертел раковину и положил ее на стол. В сердце моем была жестокая обида. С этих пор отношение мое к сестрам Таубе резко определилось. Вильгельмину я ненавидел, но уважал; шелест ее негнущегося черного платья, пахнувшего чем-то вроде осенних листьев и пригорелого масла, внушал мне ужас. От Луизы я отмахивался, как от мухи, дерзил ей, ни капельки не боялся и бежал к ней со всеми моими маленькими огорчениями. Как-то вошло в логику вещей, чтоб Луиза помогала мне и утешала меня, не возбуждая за это ровню никакой благодарности в моем сердце. Каждый вечер, когда я засыпал на диване, за ситцевой ширмой, ограждавшей от меня ложе сестер Таубе, я видел угол стеклянного шкафа и мечтал о таинственном индусе, читавшем индусскую книгу. Я тосковал по нем во время уроков и рисовал бесчисленные его изображения к великому удовольствию и зависти моих товарищей.

Однажды после обеда, когда мы гуляли в цветнике...»

— Стоп! — сказал профессор, вставая и кладя руку на плечо дочери.— Вы меня извините, отец Леонид, если я прерву чтение до вечера. Нужно послать бедного Валерьяна Николаевича проветриться, а нам с ним,— он указал головой на меня,— идти к больным.

Батюшка ничего не имел против. После поминальных блинов его клонило ко сну. Он вызвал Залихватского, подозрительно скоро выскочившего из-за дверей, и проследовал в кабинет профессора на отдых. А мы пошли в санаторию, где застали все в полном порядке, за исключением Ястребцова, готовившегося к отъезду. Он сидел в своей комнате и, как передал нам фельдшер, укладывал сундук.

Глава тринадцатая

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только поздно вечером мы снова сошлись в столовой Карла Францевича. Маро́ с видимым интересом достала рукопись и, подперев обеими руками голову, стала читать:

«Однажды после обеда, когда мы гуляли в цветнике, мой сверстник, Юра, спросил меня:

— А знаешь ли ты, что у Минки на поясе?

— Нет.

— То-то! Ключ у нее на поясе от твоего индуса.

Я помолчал, соображая, что из этого следует. А Юра глядел на меня и хихикал.

— Вот дурак! Ключ, говорю тебе, ключ!

— Сам знаю, что ключ,— обиженно ответил я и насупился,— не украсть же мне его с пояса!

— Можно и не с пояса,— насмешливо ответил Юра.— Ты с ними рядом спишь, погляди, когда она снимет, и возьми.

Я почувствовал себя нехорошо и неловко. Внутреннее чувство это победило страх смалодушествовать, и, подпрыгнув на одной ножке, я свистнул, щелкнул листиком и убежал прочь. За ужином я нарочно не сел рядом с Юрой, а примостился возле Луизы и был очень доволен собой. Но вот наступил вечер, мы прочли «Vater unser» [1], умылись холодной водицей и разошлись по спальням. Я ложился раньше Вильгельмины и Луизы и тотчас же засыпал. А на этот раз сон не идет ко мне да и только. Напрасно я совал голову под подушку и читал таблицу умножения,— мне, вместо сна, лезли в голову странные мысли: о том, что Вильгельмина, раздеваясь, кладет вещи в кресло направо, а Луиза налево; о том, что ключ, должно быть, отвязывается от пояса; о том, куда спрятать индуса, если он, предположим, очутится у меня.

Как тогда, перед ямой, я чувствовал себя в полной безопасности. Я знал, что не украду и что между мной и воровством — ничего общего, никакой связи. И по-

[1] *«Vater unser»* — «Отче наш» *(нем.)*.

чему, когда ты так уверен в себе, не поглядеть, притворившись спящим, на сухую Вильгельмину в папильотках? Она снимает с себя кожаный пояс и вешает его на ширму. Я вижу веревочку с маленьким ключом от шкафа. У меня в кармане перочинный нож, а карман в куртке, а куртка тут же рядом на стуле. Смешно! Если вообразить Юру на моем месте, он вынул бы нож, перерезал веревку, спрятал ключ — и конец всему делу. Я судорожно зеваю и засыпаю на этой приятной мысли.

Много вечеров провел я, подобных этому, лицом к лицу с соблазном. Желание иметь индуса раньше притуплялось невозможностью его иметь и растворялось в тихую мечтательность; сейчас оно стало острым и болезненным, так как все теперь зависело от меня самого. Но чувство уверенности и безопасности меня не покидало, и мало-помалу оно стало толкать меня на разные невинные пробы. Ничего не случится, если заранее вынуть ножик. Какой грех в том, чтобы перетереть веревочку? Она может состариться и разорваться сама по себе. Даже если я отопру шкаф и тихонько, на рассвете, поиграю с индусом, а потом снова запру его и ключ брошу на пол, возле ширмы, то никому от этого не будет худа. Однажды вечером я заснул с таким намерением и проснулся часа в три ночи, когда за окнами едва начал брезжить свет. Острое желание охватило меня. Я спустил на пол босые ноги и прислушался,— сестры в шубе мирно спали. Ключ свисал с пояса на веревочке,— я перетер тупым лезвием веревку, и он тихо упал на мое одеяло. Потом я подошел к шкафу, отпер его; он раскрылся легко и шумно, точно вздохнул на меня. Я дрожащей рукой схватил индуса, прижал его к себе и, оставив шкаф открытым, подкрался к окну.

До сих пор события были в моей власти. Я мог положить индуса обратно и сделать все, как намеревался раньше; мой поступок еще нельзя было назвать воровством. И со спокойной совестью я стал разглядывать индусскую книгу. К моему удивлению, буквы понять было не так-то легко, и все они походили на запятые, расставленные в различных направлениях. Я повертел их туда и сюда, заглянул в книгу и справа и слева, поставил ее вверх ногами и... но дальше мне ничего не

пришлось сделать, так как индус выскользнул у меня из рук, упал на пол и разбился на мелкие кусочки. Я стоял оцепенев и глядел на осколки, когда костлявые пальцы Вильгельмины схватили меня за плечо. Она была в длинной ночной рубашке, с папильотками, сбившимися на затылок; лицо ее было бледно и перекошено.

— O, du, Taugenichts, du, böser Bube, du!..[1] — захлебываясь, прошипела она, таща меня к моей постели.

— Минхен! — жалостно раздалось из-за ширмы.

— Ach, was Минхен!—ответила ей Вильгельмина. Я его не бью. Пусть родители его проучат, гадкий мо-ришка, злое, недоброжелательное существо. Разбил мамашиного индуса! — Она вдруг громко, судорожно заплакала, уже без злобы, а с обидой, и меня снова охватило страшное чувство непоправимости. Зачем я это сделал? Час тому назад я был еще свободен и независим, а сейчас я раздавлен и беспомощен и ничего не могу воротить, не могу сделать индуса целым, а себя прежним. Я сунул голову под подушку и тоже заплакал,— без слез, стараясь, чтоб никому не было слышно.

Какие ужасные пять дней провел я после этого! Меня не наказывали и даже не бранили, но я чувствовал себя отлученным от всех. Через пять дней приехал дядя Андрон Иванович, и я шаркнул перед ним ногой, словно перед исполнительной властью. Он сидел за столом в комнате сестер Таубе, держа на коленях свою шляпу, и усы его были чернее обыкновенного. Вильгельмина последовательно изложила ему всю историю, ни разу не взглянув в мою сторону.

— Ah ça! — ответил кузен, не высказывая ни малейшего удивления и даже с некоторым удовольствием.— Я говорил, что у нее интуиция! Дело идет о собачке, mademoiselle, о левретке чистой воды. Можете вы себе представить, эта собака с первого раза почувствовала в нем предрасположение к воровству!

Я засопел носом. Луиза, сидевшая тут же, подняла голову от работы и тихонько сказала:

— Не следует говорить мальчику, что он вор. Это

---

[1] Ах ты, бездельник, ты, злой мальчишка, ты!.. *(нем.)*

унизит в собственных глазах и он перестанет старается!

Милая, добрая Луиза! Из всех ее поучений это за...илось мне навеки. Но ни Вильгельмина, ни Андрон ...нович не разделили ее взгляда, и кличка «вор» ...пилась за мной. Я носил ее с тупою покорностью ...ладел к своим товарищам, играм и урокам. И стран... дело,— злее всех дразнил меня ею и брезгливей ... избегал моего общества не кто иной, как Юра. Во...тво стало казаться мне вовсе не невозможной ...ью, и я привык к своему новому званию, как люди ...выкают к клопам и грязи.

Два эти события раннего моего детства стали роко...ми для всей моей последующей жизни. Я не стану ...сывать, как медленно, шаг за шагом, на пути моем ...вали соблазны и как я подчинялся им, все больше и больше падая в своих глазах. Путь моего подчинения ... был все такой же: сперва чувство уверенности и вла... над событием, потом желание попробовать,— вку... от древа,— и, наконец, свершение события, демо...ически овладевающего вами и становящегося госпо...ном положения. В юности был у меня товарищ, фи... по образованию. Когда я поделился с ним своим ...альным душевным опытом, он прибег к аналогии из ...ического мира: у всякого соблазна есть своя сфера ...отения, и бродить мыслью возле ее пределов значит ...вергаться опасности подпасть под его тяготение. Но ... перевел это на свой собственный язык; и уже гораздо ...днее, в страшную пору моей жизни, когда у меня ... не было друзей, а родные стыдились родства со ...ою,— я определил это заповедью «не гляди на грех».

— Тут пропуск, па,— сказала Маро́, прерывая чте... и подняв на нас задумчивые глаза,— и несколько ...тов вырвано.

— А ты посмотри в конце,— ответил Фёрстер.

В конце оказалась предсмертная приписка бедного ...пушкина, карандашом:

«Все погибло. Не хочу никого винить, но лучше ...ереть, чем снова поглядеть в ту сторону. Помолитесь ... меня и простите».

Так кончалась рукопись. В продолжение чтения передо мной, как живое, стояло сморщенное, лысое личико Лапушкина в старенькой ермолке, его пугливый настороженный взгляд и его жалобный детский нос пуговицей. И в нем было дитя когда-то,— но невинный ребенок стал гаденьким старикашкой, и никто не взял его за руку, чтоб помочь пройти по жизни, пока он сам не вывел себя из нее.

— Как страшно иметь детей,— сказала после некоторого молчания Марб,— нужно не спускать с них глаз ни на минуту и в каждом пустяке уметь обходиться с ними безошибочно. А сами-то мы только в конце узнаем, что было нужно и что не нужно.

— Ну и мудрить тоже не к чему,— неожиданно вмешалась Варвара Ильинишна,— ребенок не без совести, сам знает, что хорошо, что плохо, а не знает — так узнает. Мы вот тебя никогда на цепочке не держали.

— Мудрое это написание,— задумчиво проговорил отец Леонид, отрываясь от своей папироски и подняв очки на лоб.— Самому на исповеди говорить доводилось: враг силен и коли слабым прикидывается, значит еще сильнее; ты же закрой глаза и не гляди, ничем ты его так не обескуражишь, как неглядением.

— Совершенная правда! — раздалось из угла, где мы неожиданно увидели Залихвастого.— Истинная правда, отец Леонид! И еще лучше, зажмурясь, класть себе крестное знамение между бровей, право слово. Я вам что скажу, отец Леонид. Намедни, как вышли мы с вами...

Но батюшка величественно встал и пухленькой ручкой махнул на Залихвастого. Разговор был окончен. Карл Францевич повел батюшку к себе, где ему приготовлена была постель, а мы с Залихвастым отправились во флигель. Спутник мой был вертлявый, скудоволосый и франтоватый молодой человек, мало похожий на дьякона. Глазки у него были узенькие, монгольские, нос утиный в угрях, а щеки до того поджарые, что казалось, они ушли внутрь из боязни пощечины. Говорил Залихвастый задыхаясь от поспешности и, видимо, сам

себя в эту минуту стыдился. Но молчать он все-таки не мог.

Мы дошли до флигеля и уже хотели подняться во второй этаж, как из комнаты Хансена вышла «бумажная ведьма» и поманила меня за собой. Лицо старухи светилось от важного, спокойного удовольствия. На плечах у нее была шелковая шаль, а на голове белая наколка. Не успел я перешагнуть порог, как Залихвастый юркнул вслед за мною. Комната была чистенько прибрана, стол покрыт белой скатертью. Гуля лежала в постели, и ее длинное лисье личико с двумя близко посаженными глазками и вялым красным ртом, похожим на тряпочку, было залито светом. Страшно худые, костлявые руки лежали на одеяле. Муж сидел возле нее.

Я почти не говорил с Хансеном после нашей прогулки. Я видел его в горе, в страхе, в изнеможении и, признаться, надеялся увидеть его теперь спокойным. Опасность миновала, Гуля осталась жива, но радости и спокойствия в Хансене не было. Он глядел рассеянным взглядом куда-то в сторону, и когда я поймал этот взгляд, мне почудилось в нем недоумение. Но он улыбался и вмешивался в разговор, чаще всего невпопад.

Теща и тесть пригласили меня «откушать кофею» и жеманно познакомились с Залихвастым. Он тотчас же расположился на стуле вблизи Гулиной постели и начал разговор. Мы пили коричневую бурду вприкуску с наколотыми маленькими кусками сахара и волей-неволей слушали его вранье. Залихвастый рассказывал, как одна тульская попадья родила сразу пятерню и как ее за это не хотели допустить к причастию, ибо «не по чину человеческу, но по чину скотску» поступила. Старики смеялись, а Гуля отвечала каким-то нутряным, рассыпчатым хохотком, похожим на кошачье мурлыканье. Несмотря на свою страшную слабость, она старалась говорить, и слова ее были вызывающи и неумны. Иной раз мне казалось, что она думает о Маро́ и дает понять это мужу.

— А где же будет ваше семейство? — спросила у Залихвастого старуха.

— Не обзаведен,— поспешно ответил дьякон,— не весты подходящей нету. Которая ндравится, та уже по законом.

— Здесь есть такие барышни, которые сами предлагаются,— уж очень им скучно без мужа! — задорно послышалось с Гулиной постели. Голосок был слабенький и визгливый.

— Августа, тебе доктор не пускал до разговору!

— Правда, предлагаются. Но, конечно, таких в жены не бéрут.

Она свободно говорила по-русски и только ставила ударения на первых слогах. Хансен поправил ей одеяло и молча положил свою руку на ее руку.

— Я вам могу подтвердить, что одна знаменитого происхождения барышня готова была за меня выйти, но я не взял! — с восторгом кинулся говорить Залихвастый.— Если дамам не скучно, могу во всей подробности!

— Что вы, даже наоборот

— Дело было таким образом, что я при матери жил и еще дьяконского чину не имел. И вот-с стою я возле речки, можете вы себе представить, совершенно в рассеянности и облокотившись. Красота вокруг неописуемая, ивы, ракиты и тому подобное. Ну я был всего шестнадцати лет и, как очень многие знакомые говорили, недурен собой. Стою я и вдруг слышу

Хансен поглядел мне в глаза своим светлым недоумевающим взглядом и потянулся за трубочкой.

— Нельзя, нельзя тут курить! — всполошилась старуха.— Кто курит, тому выйти на лестницу.— Обрадовавшись предлогу, я встал и потянул Хансена за собой. Мы оставили Залихвастого совершенно захлебнувшимся в собственных речах, а дамы и не заметили нашего ухода. Ночь была звездная, но не тихая. Вспышки странного ветра, то холодного, то теплого, возникали вокруг нас, кружа темной листвой дерев. Мы сели внизу на ступеньках и молча курили.

Хансен при бледном свете звезд выглядел еще худее; орлиный нос его заострился, и тонкий, упрямый подбородок выдвинулся вперед. Того совершенного спокойствия, каким он пленял меня прежде, сейчас в

...м не было. Вдруг он порывисто вздохнул, поглядел на меня сбоку и шепнул:

— На скрипке поиграть хочется.

— А я уж давно хотел попросить вас, чтоб вы мне сыграли, Хансен,— ответил я.

— Разве у вас? Хозяйка моя не любит.

— Конечно, у меня! Тащите скорей скрипку, пока там болтают!

Он нерешительно встал, провел рукой по волосам и улыбнулся.

— Скрипка возле вашей комнаты, в чулане. И ключ со мной.

Я невольно засмеялся этой предусмотрительности. Мы поднялись наверх, стараясь ступать потише, достали из чуланчика старый серый футляр и заперлись в моей комнате. Хансен отстегнул ржавые кнопки футляра и поднял крышку. На нас пахнуло пыльным затхлым запахом скрипки, приятным и сладковатым. Желтое тельце скрипки словно вздрогнуло, когда Хансен его поднял

— Хорошая скрипка, из Чехии, от деда,— сказал Хансен, натягивая струны. Он волновался и стиснул губы; глаза его приняли какое-то голодное выражение.

— Долго не играл, тон испортился,— сконфуженно проговорил он, настроив скрипку,— вы строго не судите!

— Да будет вам! — поощрительно перебил я.

И, наконец, он заиграл. Я видел его бледное лицо со стиснутыми и забранными внутрь губами, с подбородком, зажавшим скрипку, с полуопущенными веками. Лицо было взволнованно и прекрасно. Но играл он, как я и ожидал, нехорошо. Это была наивная игра самоучки, правда с природным, правильно чувствующим артистизмом, но без малейшей школы и власти над инструментом; скрипка звучала дурно, смычок присвистывал и цеплялся за все струны зараз, квинта то и дело сползала. Внезапно Хансен встретился с моим взглядом, побледнел и опустил скрипку.

— Плохо играю! Давно не играл,— произнес он изменившимся голосом.— Вы думаете, очень плохо? Слушать нельзя?

— Да нет же, нет, Хансен! — горячо воскликнул я, чувствуя стыд и раскаяние.— Тон неважный, это правда. Сколько времени вы не играли?

— Два года. С тех пор как женился.

— Приходите сюда каждый день и упражняйтесь.

— Э, что там! — с каким-то гордым озлоблением вырвалось у него, и он бросил скрипку в футляр.— Не наше это дело.— Он сел за стол и опустил голову на руки. Ему было тяжело. Он сам не знал причины этой тяжести и, наверное, смутился бы, если б узнал. Тоска по невозможному овладела им, и он не умел ее выразить — ни в творчестве, ни в поступке; он походил на муху с обрезанными лапками, которой неудержимо хотелось ползать. И ко всему этому — его мучил стыд за себя.

Я взял скрипку и принялся ее разглядывать. Она была, правда, хорошая, с клеймом Праги 1907 года. Тон ее был глуховатый и бархатистый.

— И на органе я играл,— тихонько сказал Хансен, приподнимая бледное лицо,— в церкви играл. Бывает так, что волнуешься и теряешь спокойствие, и сам не знаешь, чего тебе надо. Вот тогда играть на органе хорошо, у него голос сильнее твоего; что тебе хочется сказать — он скажет в десять раз громче.

— Почему ж вы пошли в техническое, а не в консерваторию? — довольно-таки глупо спросил я.

— Средств не было. Отец мой умер, а у матери четверо детей, кроме меня. Нам очень помог Ян Казимирович, мой теперешний тесть, всем дали образование, хоть и небольшое. Сестры шьют, одна шляпница. Младшего брата я в гимназию отдал, очень способный мальчик! — Хансен оживился, говоря это.

— Где же он сейчас?

— В Варшаве, с матерью. Он тоже музыкальный, его даром учат.

— Вот видите, Хансен, вы можете дать ему средства учиться музыке, и что не удалось вам, удастся ему. Разве это не утешение?

— Д-да...— протянул он задумчиво,— но не всегда. Пойдемте-ка вниз, покуда за нами не пришли.— Он подошел к скрипке и поглядел на нее. Потом бережно

...укутал фланелью, как маленького ребенка, и за... в футляр. Тихое спокойствие снова было в его дви...ниях, а голубой взгляд светился той углубленной ...ностью, которая так мне нравилась. Это была ...образная резиньяция,— не горькая и не навязанная ...ильственно. Я взял Хансена за руку и пожал ее — ... пути вниз.

А внизу царствовало необычайное оживление. За...вастый сидел верхом на стуле, что совсем противо...ило его званию и особенно его одеянию. Реденькие ...осы растрепались, утиный нос налился кровью, а ...бы его шевелились безостановочно. Было ясно, что ... «залился», по выражению отца Леонида. Впрочем, ...нсва наслаждались его «залитием» не меньше, не...ли он сам. Даже седенький тесть, кашлявший в своем ...у на табуретке, проявлял признаки несомненного ...вольствия. Он достал из кармана засаленную ко...ду карт и дрожащими пальцами тасовал их, поджи... лишь случая, когда пробьет и его час. Залихвастый ...дел колоду.

— А, у вас и картишки. Очень приятное удоволь...вие, особенно в вечернее время. Могу вам рассказать ... презабавный случай, как я поймал церковных во...в исключительно при пособии карт и получил за это ...агодарность от епархиального начальства и сто руб... новенькой бумажкой. Преинтересный случай!

— Нет, вы сперва докончите, как генеральская дочь ...ичалась! — капризно произнесла Гуля. Она сидела на ...душках; худое лицо ее горело, и все черты его были ...кивлены немножко вульгарным звериным удоволь...вием. Ей тяжело дышалось, и она то и дело облизы...ла свой пересохший тряпичный рот.

— С полным своим удовольствием, пани Августа! — ...ветил Залихвастый любезно.— Подходит ко мне сам ...нерал, старик важнейший, вся грудь в медалях. По ...цу, говорит, вижу полное добросердечие и тонкость ...нимания,— это не он один во мне тонкость понимания ...ходил! И потому, говорит, решаюсь объяснить вам ...ой щекотливый казус.

— Пан пулководец?

— Именно полководец, его в газетах всегда печатают, если он из одного города в другой переезжает и где именно останавливается! Я,— вы, натурально, понимаете,— придвинул ему стул и сам сел, и весь внимание. Так и так, говорит, есть у меня дочь, единственное мое рождение, красавица в полном соку. Я ее, говорит, обручил с моим приятелем, ротным командиром, который у меня сейчас гостит, и выпили мы на обручении настоящего французского Соте-Бурбону, от которого мой друг немедленно впал в паралич. Вообразите же мое отцовское чувство! Жених в параличе, дочь в истерике, и вдобавок угроза остаться без пенсии, потому что он с минуты на минуту может преставиться. Одно спасенье — повенчать их, повенчать сию же секунду, без замедления. И я, говорит, сперва хочу просить вашего содействия и согласия насчет его неподвижности, и чтобы вы уж от себя прочих иереев убедили, как есть у вас от бога дар красноречия. Отвечаю ему со скромностью, что действительно таковой дар у меня есть. И убедил, моментально даже убедили двух священников, и устроили мы домашнее венчание на квартире самого генерала.

— Мебель, должно быть, богатая? — спросила Гуля.

— Непременно. Ну-с, приготовились мы к обряду, жениха привезли на кресле, и лицо у него носовым платком закрыто, свету он совершенно по болезни не может перенести. А за ним входит и невеста в белом атласном платье и с гарниром. Рожа, прошу пардона у дам, самая неописуемая. Лет ей под пятьдесят, лицо все в кочках, а из каждой кочки по пучку волос, вообразите вы себе такое совпадение. И сама все вздыхает: «Антиох, ангел мой, лучше ли вам? Антиох, кумир мой, я с вами!» И беспрестанно к креслу нагибается. Повенчали мы их честь честью, генеральская дочка за Антиоха бездействующей его рукой подписалась, заплатили нам гонорарий, и отправились мы восвояси. Что же вы думаете, какая обнаружилась история? На следующий день ихний же денщик, которому заплатить пожалели, по начальству все и докладывает. Никакого такого,

говорит, обручения не было, а жил у них полковник Антиох Орестович Хождипомуки, греческого вероисповедания, жил и помер. И догадались они, значит, с покойником дочь свою обвенчать! Заварилась тут каша. Показания, свидетели, допросы, присяга. Но только высшее начальство по неразборчивости велело все прекратить, а генеральской дочери хождипомукину пенсию выдать. Вот какое было происшествие!

Гуля так и засыпалась своим мелким мурлыкающим шепотком. Старуха смеялась, покачивая головой, смеялся и тесть, сдавший всем карты. Потом сели за стол и играли до поздней ночи, покуда Залихвастый не выиграл полтора рубля. Тут я сумел, наконец, убедить его идти спать, и он расцеловался с тестем, поцеловал даме ручки и хотел было полезть к Хансену, но на пороге раздумал, ограничась рукопожатием. С великим усилием выволок я его на лестницу. У Гули поднялась температура, и она снова, бессильным комочком, откинулась на свои подушки. Валерьян Николаевич, сквозь закрытую дверь крикнул нам сердитым голосом:

— Ну вас к шуту-лешему, конному и пешему! Спать не даете!

Только перед самым рассветом Залихвастый уселся, наконец, на диван, где ему постелили, и начал стаскивать сапоги. Но даже сквозь сон, к утру я слышал его бормотание, похожее на храп,— или храп, похожий на бормотание.

Глава четырнадцатая

АРТИСТКА ДАЛЬСКАЯ ПРОЯВЛЯЕТ БЕСПОКОЙСТВО

После смерти Лапушкина в санаторской жизни наступил кризис. Начать с того, что Ястребцов, уложивший свои пожитки, вдруг отменил намерение и не уехал. Мы установили за ним самое строгое наблюдение, но ничего, кроме угнетенного настроения и готовности глотать лекарство, мы в нем не заметили. Затем некоторые признаки тревоги стали обнаруживать дру-

гие, уже вполне сознательные и поправляющиеся больные. Они стали пассивны: начали уклоняться от санаторского режима, говорить больше обыкновенного и жаловаться на недостаток внимания к ним со стороны врачебного персонала.

Однажды сестра Катя отвела меня в сторону и обиженным тоном заявила:

— Доктор, приставьте к Дальской кого-нибудь другого. А мне в моих летах это слушать нестерпимо.

— В чем же дело, Катя?

— К мужу ревнует. То не так, и это не так, и зачем лишний раз в комнату вхожу. Поедом ест.

В Дальской я сам давно заметил неприятную перемену. Ко времени моего приезда она уже отвыкла от проявлений ревности. Теперь в ней опять появилась грубая мнительность обманутой женщины. Она выслушивала вас с таким видом, будто хотела сказать: «Да уж я знаю, меня не проведете».

— Хоть бы эта амфибия ей и впрямь раз-другой изменила,— говорил Валерьян Николаевич с ненавистью. Из всех «иродцев» он менее всего жаловал бедную артистку.

А муж ее действительно походил на амфибию. По профессии он был свободный художник, но, вероятно, жил на средства жены. Никто никогда не видел, чтоб он чем-нибудь занимался или что-нибудь делал. Ходил он в синей бархатной куртке с белым воротником, волосы отпускал длинные, лицо брил. На этом белом и неподвижном, как мрамор, лице была посажена, неизвестно для какой надобности, пара тусклых водяных глаз, лишенных всякого выражения и даже не согласованных как следует друг с другом, так что, случалось, один склонялся в одну сторону, а другой глядел в другую. Глаза эти и делали его похожим на амфибию, и кличка за ним утвердилась. Он безропотно подчинялся своей супруге; во время сцен ревности его водяные глаза разбегались друг от друга, а зубы старательно грызли мизинец, на котором он отпускал себе длиннейший ноготь. Наиболее употребительные выражения из его лексикона были:

— Клянусь честью, ничего подобного! — Или: — Заклинаю тебя жизнью! — Или, когда дело принимало трагический оборот: — Да, я изверг, да, я клятвопреступник, я тиран, кровосмеситель, Нерон, да, да, ну еще что-нибудь! Откройте еще что-нибудь!

Выслушав Катю, я тотчас отправился к Дальской. Она лежала в качалке с незасохшей полоской слез на щеке, нервная и изнемогающая. Возле нее сидел Ястребцов. Он что-то говорил ей. Но до меня дошла только последняя его фраза: «Неужели вы не тоскуете по кулисам?»

— Ах, очень тоскую, и, конечно, на сцене я совсем другая женщина. Но когда вас год, и другой, и третий убеждают, что у вас эксцессы и аффекты, как вы думаете — что оставалось мне делать?

— На вашем месте я вернулся бы к театру,— медленно произнес Ястребцов.— Или знаете что? Мне пришла в голову блестящая идея. Отчего бы нам тут, в санатории, не поставить любительский спектакль с вашим участием?

Я вмешался в разговор. Мне было известно, что у Фёрстера своеобразный взгляд на театр; среди всех, дозволенных в санатории, удовольствий,— драматического не было. И я высказал сомнение, чтобы Фёрстер разрешил спектакль.

— Было бы дико, если б он не разрешил его! — спокойно ответил Ястребцов, пожав плечами.— Для госпожи Дальской он, во всяком случае, принес бы пользу.

— Ах, я обязательно упрошу Карла Францевича! — воскликнула артистка, оживляясь.— Это нам всем поднимет настроение после смерти того страдальца! Это совершенно, совершенно необходимо, и я сразу почувствовала прилив сил. Павел Петрович, знаете ли, после каждого разговора с вами я испытываю прилив сил, и меня неудержимо тянет высказать вам это.

Ястребцов поклонился. Мы не успели продолжить разговора, как за нами раздались знакомые мне быстрые шаги, и Карл Францевич поднялся на веранду. Он поклонился нам и хотел пройти, но Дальская остановила его умоляющим жестом:

— Профессор! Одно мгновение! Мы обращаемся к вам с глубочайшей просьбой... Нет, нет, профессор, вы должны сесть и выслушать, иначе я прямо стану на колени... Сядьте сюда!

Фёрстер сел, улыбнувшись, и посмотрел на нее своим склоненным, смеющимся взглядом; голос его стал простым и добрым:

— В чем дело, сударыня?

И сейчас, как уже сотню раз, я заметил всю силу действия, производимого его присутствием. Дальская стихла и как бы опомнилась. Легкая краска залила ее щеки. Она неуверенно произнесла:

— Павел Петрович предлагает поставить любительский спектакль.

Фёрстер даже не оглянулся на Ястребцова. Он не выказал признаков ни удивления, ни неудовольствия. Он только потер себе переносицу смешным профессорским жестом и простодушно ответил:

— Да, сударыня, это прекрасная мысль.

— Вы преждевременно всполошились, молодой человек! — насмешливо обратился ко мне Ястребцов. — О, Сергей Иванович очень старателен! Il est plus royaliste que le roi même...[1] Так вы даете свое разрешение?

— Даю, даю! — почти весело ответил Фёрстер. Он встал и глаза его встретились с моими, немножко удивленными и растерянными. И, сделав мне дружеский знак головой, он прошел в комнаты. Я последовал за ним, порядком сконфуженный. Я ждал каких-либо разъяснений, но их не последовало. Весь этот день Карл Францевич работал неутомимо и был со мной ласковей и сердечней, нежели когда-либо; он молчал и уклонялся от вопросов; он делал вид, будто не понимает моего удивления; он хранил полную отчужденность и обособленность во всем, что касалось санаторских тем, и к концу этого дня у меня стало тяжело на душе. Первая мысль моя была та, что я впал в немилость. Но Валерьян Николаевич отклонил ее с презрением:

— Занеслись, барышня! Никто здесь никаких ми-

---

[1] Он более роялист, чем сам король *(франц.)*.

милостей и немилостей не оказывает. Здесь больница, а не двор Пирра Эпирского.

Вторая мысль, что ничего особенного нет и мне только показалось. Но эту мысль отверг я сам. Взгляды свои на театр Фёрстер высказывал мне неоднократно. Он называл его «постоянным изживанием чужих судеб» и лишь в редчайших случаях полезным для острых невротиков. Однажды за чаем, когда мы сидели у него в столовой, он сказал полушутя-полусерьезно:

— Все театральное — немножко магия. Эти лоскутья и обрывки, и костюмы, и картонные перспективы — все это элементы чужих судеб, реальные элементы — и актер входит в них, как в приключение, моральная ответственность за которое с него снята. Вы понимаете, какой тут соблазн?

Эту речь я запомнил. Я знал, что она не случайна. И потому Фёрстер, ничего не делавший по забывчивости или наугад, не должен бы сегодня разрешить спектакль. Теряясь в догадках, я, наконец, решил, что у него выработался свой план. Еще накануне мы говорили о Ястребцове, и Фёрстер пожелал оставить его в больнице, покуда не выяснится окончательно сущность его болезни. Быть может, сегодняшнее решение связано со вчерашним? Мне было больно, что я оставлен в неведении, но не входит ли и это в план Фёрстера? Моей любви и доверия хватило как раз настолько, чтоб подчиниться и замолчать.

Разговоры о спектакле стали у нас злободневными Больные говорили о нем за обедом и за работой, в санатории и в парке. Никакого ограничения Фёрстером не было наложено,— и он невозмутимо поддакивал всем проектам больных. Санатория разделилась на два лагеря: один стоял за классическую, другой за романтическую пьесу. Дальская требовала Ибсена. И, наконец, к невыразимому моему удивлению, пьесу вызвался написать Ястребцов, и больные изъявили полное свое согласие.

Было решено поставить ее ко дню рождения Фёрстера, второго сентября. И так как предполагалось устроить ее сюрпризом, то все дела, с ней связанные, стали вершиться в тайне. Фёрстер и это разрешил.

Маро́ была притянута к участию, за недостатком жен- ских лиц.

Дни шли за днями, в большой санаторской зале устраивались репетиции, и мы были порядком заинтри- гованы пьесой. Ходили слухи, будто она не написана, а лишь законспектирована, и артистам самим надлежит сочинять свою роль. Две местные портнихи усиленно шили костюмы.

Маро́ пришла как-то к чаю, прямо с репетиции, как будто встревоженная. Она очень похудела за последнее время; в манерах ее появилась новая, немного болез- ненная, грация.

— Па,— сказала она, садясь за стол и беря у ма- тери чашку.

— Да, Маро́? — Он поднял глаза от книги и встре- тил ее взгляд.

— Па, мы могли бы сегодня почитать вместе.

— Нет, девочка, это не идет,— спокойно ответил Фёрстер,— ты занимайся своим делом, а я уж начал читать один.

Он сказал это совершенно просто, но Маро́ слегка побледнела. Я знал, что они перестали читать и почти не бывали вместе. Маро́ первая начала избегать отца, но сейчас, когда он так спокойно положил разделитель- ную черту, она встревожилась. Некоторое время мы си- дели молча; она прикусила зубами длинный локон и водила пальцем по своей чашке. Вдруг она встала, об- няла отца за плечи и навертела свой прикушенный ло- кон ему на ухо. Он опять поднял глаза от книги.

— Па, я тебе что-то скажу. Ты разве не интере- суешься, какая у нас пьеса?

— Решительно не интересуюсь, мой друг.

— Тебе, значит, все равно, если...

— Что если?

— Если больные будут играть такую вещь.

— А тебе это все равно?

— Вот я ж и пришла тебе сказать.

— А! Но тем не менее ты играешь. Так продолжай играть, а я посмотрю на эту пьесу.

Маро́ отошла с сердитым и унылым видом. У нее появился теперь новый жест, подхваченный ею у Ян

...ина она небрежно поводила плечом, сперва одним, ...м другим. Так и сейчас, поведя плечами, она села ...подвинула недопитую чашку. В былое время эта ...питая чашка переполошила бы Варвару Ильи...шну и вызвала ряд замечаний: «уж не болит ли у ...ро голова» и не «припекло ли ее на солнце». Но ...час молчаливая профессорша, в непонятной и нена...ной гармонии со своим мужем, только приняла ...шку и стала ее мыть.

— Мамочка, я пойду сейчас в санаторию и там по...шаю,— сказала Маро́, вставая,— вы меня никто не ...дите. Вот пусть Сергей Иванович съест мою порцию! ...н вообще стал проявлять инициативу — сидит на ...м стуле, гуляет с моей собакой. Усыновите его вме...о меня.

Я, как на грех, сидел на ее любимом стульчике и ...ствительно утром гулял с Цезарем. Но вместо того ...обы извиниться, я улыбнулся и попросил еще чаю. ...ро́ вышла из комнаты в самом скверном настроении. ...видел, как покраснели два ее ушка из-под пушистых ...рсей.

Как только она удалилась, Варвара Ильинишна тре...жно поглядела на мужа и пригорюнилась.

— Карл Францевич, голубчик мой!

— Что́, мамочка?

— Ты бы пошел к ним в санаторию сегодня, отужи...л. У них шашлык, а у нас и всего-то обеденная ку...ица. И на сладкое у них вьюнчики с вареньем, кото...ые ты любишь.

Фёрстер улыбнулся.

— А ты, мать, не бойся. Вот дочитаю главу, и ...йдем.

Он спокойно продолжал читать, опустив красивые ...ки. Прошло полчаса, в продолжение которых Вар...ра Ильинишна томилась. Я держал перед собой га...ту, но мысли мои были далеки от нее, и как только ...рстер захлопнул книгу, я вскочил со стула. Профес...рша засуетилась и сама вынесла ему из кабинета вы...щенный пиджак. Он, не торопясь, скинул халат, ...лся, снял с гвоздика шляпу, и мы оба пошли в са...торию.

Еще в передней нам встретилась испуганная сестра Катя, бежавшая за нами.

— Беда, профессор, что у нас в маленькой зале! Идите скорей.

Маленькая зала была уютной комнаткой возле столовой, где больные собирались в ожидании трапезы и куда они ходили отдыхать после нее. Там стояли мягкая мебель и старенькое пианино. Когда мы вошли, в зале никого не было, кроме хорошенькой сестры Любы, артистки с мужем, Ястребцова и Маро́. Люба громко плакала, закрыв лицо руками. Дальская лежала в истерике, а Маро́ испуганно суетилась вокруг нее.

— Что такое? Как вам не стыдно, сию же минуту придите в себя! — грозно крикнул Фёрстер, опустив руку на плечо Дальской.

— Па, дело в том, что...— испуганно начала Маро́, но Фёрстер ее перебил решительным тоном:

— Нет, она сама расскажет, в чем дело.

Дальская, порывисто охая, открыла глаза. Она отпила воды, стуча зубами о стакан. Ей не хотелось успокаиваться. Утрируя свою беспомощность, она выронила стакан из рук и забилась было, но Фёрстер сжимал ей плечо, стоя перед нею и спокойно глядя ей в глаза. Он видел, где кончается аффект и начинается притворство, и больные знали, что он это видит.

— Ах, Карл Францевич, я это предчувствовала! — вскрикнула она страдальчески.— Вот вам и болезнь! А эта... эта... еще смеет тут оставаться!

Сестра Люба плакала в своем уголке.

Фёрстер внезапно засмеялся, снял руку с плеча Дальской и сел возле нее.

— Да говорите же, в чем дело! Экая горячка, опять вам померещилось что-нибудь... Вы себе навеки цвет лица испортите.

Он помог артистке перейти на более проблематическую и менее уверенную почву. Сперва ей казалось, что она должна доказать свою правоту; сейчас ей легче было признать себя погорячившейся.

— Профессор, дайте мне руку, вот так, спасибо. Я, право, не галлюцинировала. Я и в мыслях ничего не имела и совершенно, совершенно спокойная вхожу в

...у комнату... ох... и застаю его с той...— Она опять ...ржалась от определений.— Скажите, пожалуйста, ...ие у них могут быть секреты? Зачем им в потемках ...таться?

— Люба, в чем дело? — серьезно спросил Фёрстер.

— Виновата, Карл Францевич,— тихо ответила се...тра, подходя и вытирая лицо намокшим платочком.— ...отелось мне разузнать насчет пьесы. Я их встретила ...спрашиваю. Они мне начали рассказывать, а...

— Зачем же вы именно у него спросили? Никого ...угого не нашлось? — крикнула Дальская.— А Марья ...рловна, а я сама, наконец?

— Никто не стал бы говорить, у них держалось в ...йне. А господин Дальский не больные, и никакого ...тересу утаивать у них нет.

— Люба, идите к себе, вы совершили оплош...ть! — строго сказал профессор. Потом он повер...улся к Дальскому:

— Это правда, что сказала сестра?

— Клянусь памятью отца, голая правда!

— Ну! — обратился Фёрстер к артистке. Он глядел ...а нее смеющимся, веселым взглядом, словно все про...шедшее было только юмористично.— Видите, дело ...сто. И нельзя же вам запрещать мужу разгова...вать.

— Боже мой,— заплакала артистка,— как это не...ясно! Уж лучше мне умереть. Я знаю, никто из вас ...не не верит, а вот чувствую же я безошибочно, что он ...пособен, способен на все! Пусть нынче была случай...ность, а завтра непременно будет серьезно, и главное, ...икто этого не заметит.

— Но уверяю тебя, ангел мой! — слабо произнесла ...фибия, поднося к губам свой ноготь,— я даже не по...имаю, о чем ты говоришь!

— Отлично понимаете! И если я такая невыноси...ая, что всем отравляю жизнь, и у меня одни галлю...цинации, то оставьте меня, дайте мне умереть! — Она ...нова заплакала.

Фёрстер пожал ей руку и серьезно проговорил:

— Напротив, сударыня. Я должен сказать вам, что ...ы гораздо яснее понимаете свои состояния. Смотрите,

как быстро вы взяли себя в руки. И в минуту край
вспышки два раза сдержались по адресу сестры. Это
большой плюс. Идите теперь к себе, отдохните перед
ужином.

Дальская поглядела на него с недоверием и ра
достью. Потом она быстро встала, кивнула ним и
пошла к себе. Амфибия поплелась вслед за ней,
уныло посасывая ноготь и кой-как сводя глаза в одну
точку.

Я думал, что на том дело и кончится, но оно не кон
чилось. Ястребцов, до сих пор молчавший, вышел на
середину комнаты. Он встал в обычную свою позу, по
ложив руки крест-накрест и всем телом налегая на
одну ногу, а другую слегка согнувши,— позу какой-то
стоящей хромоты.

— И это называется браком,— сказал он сквозь
зубы, с выражением гнева и страдания.— И это осве
щено таинством! Живут две собаки, черная и пегая,
обнюхиваются и кусаются, и у одной почему-то права
на другую. И вот на основании таких случайных, чаще
всего нечистых, реже безразличных и почти всегда не
глубоких союзов возникает этическая проблема, воз
никают жестокие нравственные конфликты! Не пре
любы сотвори — ха-ха-ха! Кого и что защищает эта за
поведь? Когда при мне посягают на благополучие по
добной семьи, я готов протянуть спички, ножик, топор,
все, что надо, лишь бы одной грязной кочкой на земле
стало меньше.

Признаться, в эту минуту я почувствовал правоту
Ястребцова.

— Грязные кочки обычно распадаются сами, они
не долговечны,— спокойно и со вниманием ответил
Фёрстер,— и не их защищает закон. Вон Сергей Ивано
вич,— он вдруг с улыбкой посмотрел на меня,— уж го
тов согласиться с вами, такое это невыгодное дело за
щищать законы или, как вы сказали, «заповеди», от
страстных критиков. А услышь вас тысячи матерей, ты
сячи мужей, любящих своих жен, тысячи подростков,
привязанных к матери и отцу,— и поверьте, вы у них
не нашли бы сочувствия. Закон охраняет будущее чело
веческой семьи. Он обращен к человеку, создающему

...ью. Он воспитывает в нем ответственность перед со... ...ой, перед близкими, перед обществом.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Ястребцов так остро и так пронзительно, что у меня мурашки пробежали по спине.— Семья! Какой-нибудь Иван женился на Фекле и женился ненароком, то ли ему приспичило, то ли время пришло жениться. И вот через пять лет, когда он находит самого себя, узнает свой характер, свои потребности, свои вкусы, свои цели, жизнь сталкивает его с Марьей, отвечающей его характеру, его потребностям, его вкусам и его целям. Иван встречает настоящую свою жену, и откуда ни возьмись — между ними становится заповедь. Она, видите ли, спасает душу Ивана. Она коверкает ему жизнь, озлобляет его, делает его неврастеником и неудачником, заставляет его заесть три века — свой, женин и Марьин, но зато она спасает его душу! Какой вздор, но какой подлый, пагубный, гнилый вздор!

Он хрустнул пальцами, переступил на другую ногу и покосился на нас с ненавистью. Маро́ стояла теперь спиной к окну и напряженно слушала.

— Не знаю, почему вам хочется все время не понимать меня,— ответил Фёрстер.— В тех редких случаях, когда «Иван» находит свою настоящую «Марью» после несчастного брака, вряд ли какой закон остановит его. И еще меньше заповедь. А вот чаще бывает, что большинству «Иванов» их «настоящие Марьи» кажутся то в одной, то в другой, то в третьей, то в четвертой женщине,— и могут казаться в пятой, в десятой. Вот тут, мне кажется, и вырастают «грязные кочки». Между прочим, и в этой области, как во всякой другой, одержанная человеком над самим собой победа всегда ведет к лучшему,— и для характера человека и для его будущей судьбы.

— Мы разные люди и стоим на различных точках зрения,— сухо возразил Ястребцов,— если б вы знали современный брак так, как я, вы сами покраснели бы за свою наивность. Применять нравственный критерий к подобному институту — кощунство. Когда я был студентом, рядом со мной жили муж и жена, оба интеллигентные и оба молодые. Виделись они от девяти вечера

до девяти утра и проводили это время в спанье и
в щекотке. Разговоров между ними никогда не было, я слышал я его бараний хохот на «э» и ее овечье ...нанье на «о», и только. Позвольте спросить, свяще... ли и этот союз? И какая-нибудь другая щекотуха или щекотун должны иметь дело с ними не иначе, как ск... аншлаг закона?

— По земле ходит много подлецов, гадин и кре...нов,— медленно ответил Фёрстер,— но значит ли ...что мы вольны их убивать, когда хотим и где хотим? Не простирается ли и на них суровая охрана закона? И что было бы с человечеством, если б этого закона не было? И разве не сами люди сообща эти законы выработали?

— Вы чудовищный консерватор, профессор,— почти со злобой воскликнул Ястребцов,— и не я, а вы не хотите меня понять...

Они стояли друг перед другом, один с вызовом и пафосом, другой тихо и просто. Ястребцов был выше Карла Францевича и в эту минуту как бы стихийно сильнее его. Но в его неспокойствии было нечто напоминавшее мне воду, когда она хочет переплеснуть выше своего уровня. Фёрстер глядел на него с тишиной и спокойствием. Ему было жаль этого человека и немного стыдно того, что жалость эта сделалась явной. И он улыбнулся.

Глава пятнадцатая

ПИСЬМО ОТ МАТУШКИ

Всякий раз, как я входил в столовую Карла Францевича, меня охватывало сознание своей близости с Фёрстером, своей привязанности к его семье и своей посторонности; сознание радостное и мучительное в одно и то же время. Не то, чтобы я не был им своим человеком,— напротив! Они любили меня, как родного. Но я ревновал их к прошлому, сложившемуся без меня, и к будущему, слагающемуся независимо от меня. Мне хотелось бы более тесной, внешней, узаконенной близо...

«усыновления», как издевалась Маро́. И я со- не знал, кого я люблю больше, но самым идеаль- самым прекрасным на земле соединением каза- мне эта семья,— отец, мать и дочь.

Было еще одно в их близости, переполнявшее меня ищением и благодарностью: они не показывали на их всей силы своей любви друг к другу. Отношения были очень сдержанны. Их ласки в присутствии дру- были всегда корректны и мало интимны, и даже много холодны на вид. Варвара Ильинишна лучшую ю с блюда клала гостю, а не мужу. И если вы были ерхностным наблюдателем, вы даже склонны были подозрить их в холодности. А между тем тут была шая бессознательная деликатность и та степень оче- еченного отношения друг к другу, которую редко ретишь в семьях. Я знал, например, что сердце Вар- ры Ильинишны сжимается в комочек от беспокой- а и страха за дочь, от ежедневной боязни за мужа; нал, что она хотела бы оградить их от всех волнений абот, какие могут им встретиться. Но ни страх, ни нская заботливость не заставляли ее забыть, что они ежде всего — люди, а не только муж и дитя. И по- му она позволяла им переносить случайное неудоб- ю или неприятность так же, как перенесла бы их и ма; и потому она спокойно глядела на их жертвы, риносимые ради удобства постороннего человека, и не училась недопитым стаканом, недоспанной ночью, рным настроением, зубною болью у близкого чело- ка Если и мучилась, то тайком от него. И когда она заметно отдавала ему все свое лучшее, то не мешала ему делать то же самое.

У Фёрстера, напряженно работавшего целый день, ли свои мелкие привычки. Он любил, например, свои арые теплые туфли, свое место за столом; любил, тоб прислуга не трогала его бумаг и книг; любил, чтоб доме не пахло пылью; любил горячие, мелкие суха- ики к чаю. Так мало привычек у такого большого че- овека, но случалось (чего не случается в доме, где семь комнат и одна прислуга!), что и они бывали на- шены. Туфли затащит куда-нибудь кошка Пашка, юбимая кошка Маро́, имевшая доступ в комнаты. На

профессорское место сядет случайный, незнакомый с порядками дома гость. Дунька напылит сухим веником. В доме устроят сквозняк, и бумаги профессора пойдут летать по саду. Тесто плохо взойдет, и сухарики к чаю выйдут невкусными. Но никогда Карл Францевич не выказывал ни досады, ни раздражения. Он бывал терпелив в таких случаях и старался обойтись без привычки. И огорчался искренне, если жена посмотрит на него соболезнующе или виновато. Он говаривал: «Нельзя след человека вечно гладить по шерстке, и особенно, если ты его любишь и уважаешь». Маро́ была избалованней и требовательней отца.

Но и Маро́ я судил слишком строго, как оказалось потом. Она выросла без малейшего представления о городской жизни и к тому же не в помещичьей усадьбе, а в доме профессионально-занятого человека. Это значит, что ей незнакомо было безделье. Каждый час ее жизни был заполнен. Она училась много и серьезно. Помогала отцу; почти все канцелярские дела санатория лежали на ней. Она была птичницей и садовницей; она сама на себя шила. Привычка к труду сочеталась в ней с пленительной способностью получать удовольствие. Никогда я не встречал человека, так радовавшегося подарку, как она; так веселившегося в ожидании прогулки; с таким интересом и волнением ожидавшего появления фруктов и овощей в саду; цыплят, котят и другого звериного потомства. У нее была своя копилка, куда профессор время от времени опускал бумажку на верховую лошадь. И мечты о своей верховой лошади были самыми заветными ее мечтами, если не считать того, о чем мы все вокруг нее молчали и о чем теперь молчала она сама. Такова была эта семья, внушившая мне преданное и немного ревнивое чувство.

Дни шли теплые, ясные; лето повернуло к осени. Иной раз мне казалось, что и дела идут, как дни — ясно и благополучно. Тогда я позволял себе отдых или прогулку. Я забывал готовившийся спектакль, в тайну которого еще никто не проник; забывал отчуждение между Маро́ и Фёрстером, забывал возрастающую болезненность Маро́; забывал и свое скромное положение во всем этом, положение работника, предоставленного

самому себе, музыканта, играющего без дирижера. А так оно и было у нас в санатории.

Однажды, во время такого счастливого забвения, я лежал на диване с поднятыми кверху коленками, курил и читал «благонравную» книжку, по насмешливому определению Зарубина,— «Правду и вымысел» Гёте. Был тот двойной свет сумерек, который англичане называют twilight. Зачитавшись, я не расслышал, а сквозь облачный дым и не заметил, как в дверь мою постучали, а потом открыли ее и вошли. Только когда на книгу мою легла длинная, нежная рука с мимозовой ладонью, я вскочил с дивана.

— Ох, дайте мне отдышаться,— сказала Маро́, садясь и часто дыша,— я уж отвыкла от вашей лестницы, да еще бежала. Вам заказное письмо, вот.

Она достала из-за пояса синий конверт и передала его мне. Письмо было от матушки. Я положил его на подоконник, не распечатав, и повернулся к Маро́. Она сидела в своей синей матроске с широким кушаком, положив обе руки на колени. Лицо ее было задумчиво, но не бледно; она запыхалась от бега и дышала сейчас, как птица, с полуоткрытым ртом. Я сам удивился радости и смущению, какое почувствовал при виде нее. Чтоб она не ушла, я схватил свой фотографический альбомчик.

— Это что у вас?

— А вот поглядите-ка! — торжественно сказал я, открывая альбом. Как раз в эту минуту лампочка над нами расцвела яркожелтым цветком: это Хансен пустил электричество. В моем альбоме было уже до двадцати снимков Особенно удался мне Бу-Ульген, глетчер и Хансен возле глетчера, смеющийся, с узелком на плечах. Маро́ поглядела на снимок, сощурившись. Ей хотелось глядеть на него подольше, но она сделала усилие и перевернула страницу. Мы оба склонили головы над альбомом, и ее волосы коснулись моей щеки.

— Сергей Иванович, вы, значит, подружились с ними?

— Мы закадычные друзья,— прихвастнул я бессовестно.

— Правда ли, что... она до сих пор лежит?

Гуля и на самом деле еще не вставала после родо
У нее развивалась сложная женская болезнь; она по
дела и потемнела, и силы ее падали. Я знал это лучш
Маро́, но ответил спокойно:

— Лежит, пока не поправится.

Маро́ поглядела снимки, и темы для разговора ис
щились. Я чувствовал непонятную неловкость и с уж
сом думал, что вот она сейчас встанет и уйдет. Он
встала, но не ушла, а начала ходить по комнате, вод
ладонью по стульям. Ей не было скучно в этой ком
нате, со своими мыслями. За окнами была темнот
внизу стучали дверью Вдруг она тихонько ахнула и
побежала к комоду.

— Сергей Иванович, голубчик, откуда у вас? Эт
чья?

На комоде лежал серенький футляр со скрипк
Хансена. Вся дрожа, она обернулась ко мне, и когда я
ответил на вопрос,— приникла к скрипке. Никако
слово не скажет того, что сказало ее мгновенное движе
ние. С болью глядел я на эту могучую нежность, обра
щенную не ко мне, на это сострадание, в котором мог
бы растаять любая сердечная боль, на эти пальцы, ле
шие, словно ангелы-утешители, вдоль серенького длин
ного тельца. Она положила на скрипку лицо, вдыха
пыльный запах футляра.

И судьбе было угодно, чтоб в эту минуту ко мне под
нимался Хансен. Ему нездоровилось целый день, но он
перемогался. Он вернулся с лесопилки больной и хму
рый. А дома, с тех пор как Гуле стало хуже, его жда
подозрение, обида и попреки. И как всегда бывает с
обиженным человеком, его потянуло за утешением —
своим собственным, тайным, оживающим в душе сре
боли, как оазис. Он заговорил бы сегодня со мною и
Маро́; но она сама была здесь.

Так я подумал, увидев его лицо, когда он вош
в комнату. Он был в своей рабочей блузе и фураж
и показался мне заморенным и больным Войдя сво
раскачивающейся походкой, он снял фуражку и уда
рил ею по ладони. Маро́ обернулась на этот звук и по
бледнела.

— Добрый вечер,— сказал Хансен.

Я усадил его и предложил папиросу Он отодвинул коробку дрожащими пальцами, провел рукой по волосам, кашлянул. Ему было страшно неловко, но на лице его была, немного застенчивая, радость.

— Как мы давно не виделись,— тихо сказала Маро́. Она все стояла у комода, облокотившись на скрипку.— И как вы похудели с тех пор!

Хансен покраснел и опустил глаза. Я поглядел на него профессиональным взглядом и взял его за руку.

— У вас температура, Хансен. Говорил я вам, чтоб дни два посидели дома; вы что ж, хотите получить инфлюэнцу?

— Я пришел попросить хины,— ответил он, поднимая на нас виноватый взгляд,— зачем высиживать дома? Мы привыкли. Перемогать болезнь лучше, чем лечить.

— Ну вы свои теории оставьте при себе,— проворчал я, доставая хину. Я нарочно мешкал, чтоб посмотреть, как они там управятся без меня. А они управились великолепно. Им доставляло удовольствие видеть друг друга кончиком глаза. Маро́ наблюдала за ним из-под ресниц, и он глядел на нее сбоку. Она тихонько гладила скрипку. Я чувствовал странное волнение, похожее, должно быть, на то, что испытывал рассказчик сказок, когда у него «по усам текло, а в рот не попало».

— Это ваша скрипка? — спросила Маро́.

— Моя.— Он поднял голову, и взгляды их встретились.

— Бедная скрипочка,— тихонько сказала Маро́, нагибая лицо к футляру. Она расстегнула застежки и погладила пальцами коричневую грудку скрипки.— Бедная скрипочка, какая ты старенькая да серенькая! И лежишь ты тут одна-одинешенька, и пахнет от тебя чем-то грустным, как на похоронах.

Она все гладила скрипку, приговаривая это, и в тоне, каким говорились эти детские слова, мне слышалось: «Бедненький мой, какой ты худой да бледненький. И сидишь один-одинешенек!»

Слышал ли эти слова и Хансен? Он сидел, заслонив рукою глаза, и молчал. Я видел лишь руку, прикрыв-

шую глаза, да подбородок с выразительным ртом, та
ким же выразительным, как у Маро́. Этот суровый, тон
кий рот был прикушен сейчас и стиснут.

Внезапно Хансен поднялся с места и отнял от лица руку. Он был бледен, и радость исчезла с его лица вме сте с застенчивостью. Тяжелым взглядом посмотрел он на меня и сказал:

— Мне надо домой. Где хина?

— Вот хина.

— Спасибо. Спокойной ночи.— Он кивнул нам го ловой и направился к двери. Но выйти он не успе Маро́ перебежала ему дорогу и стояла перед ним, за слоняя руками дверь.

— Почему вы хотите уйти, Филипп Филиппович?

— Мне надо домой.

— А если я прошу, чтоб вы остались? — порывисто произнесла она.— Посидите с нами немножко, пол часа, ну четверть часа. Что в этом дурного?

— А зачем это нужно? — тяжелым, больным голо сом сказал он, отстраняя ее от дверей.— Пустите меня, мне нужно домой.

— Хорошо,— холодно произнесла Маро́, отходя от двери. Лицо ее изменилось, и тонкая морщинка легла над бровью.— Идите. Но я никогда не думала раньше, что вы способны нанести мне боль. Вы думаете о себе и только о себе. Пожалуйста, успокойтесь и уходите.

Хансен тяжело дышал, опустив голову. Я видел, как заплатка на его блузе поднималась и опускалась от этого дыхания.

— Может быть, вы и скрипку с собой возьмете? — насмешливо продолжала она.— Почистите ее хоро шенько! Она заражена моим прикосновением. Дайте ей как следует проветриться на воздухе.

Хансен тяжелой походкой, через всю комнату, про шел обратно к столу. Он опустился на стул, подпер голову.

— Боже мой, о, боже мой!—вдруг вырвалось у него глухим стоном, и он уронил голову вниз, на руки.

Я вскочил и вышел в спальню, оставив их одних, и когда через минуту вернулся, Хансена уже не было. Маро́ сидела, забившись в угол дивана и сунув лицо

в подушку. Я хотел заговорить, но она судорожно дрогнула и глубже ушла в подушку.

— Оставьте меня сейчас,— послышался оттуда ее голос.

Так мы просидели несколько минут, потом она поднялась, простилась со мной и ушла. Я остался в одиночестве с самыми мрачными мыслями и с бессвязным ворохом педагогических намерений. Человек не может примириться с неимением роли в чем-нибудь, разыгрывающемся у него под носом. И я сочинил себе роль наставника и благожелателя. Я решил, что Маро́ одинока, что ей не с кем посоветоваться и что моя обязанность — стоять возле нее на страже и давать ей мудрые советы. Мудрые и грустные, разумеется,— с грустью благородного самоотречения. Слегка утешенный этим бескорыстным решением, я снова улегся было на диван, носом в угол, пахнувший духами Маро́, но тут только вспомнил о письме. Матушка писала мне редко, не чаще одного раза в месяц. Письма ее были кратки и обыкновенны. Но тут я с удивлением вынул из конверта несколько листков, исписанных мелким, неровным почерком моей матери.

«Милейший Сергей»,—

так начинались ее письма, и я дорого бы дал, чтоб она хоть раз в жизни написала мне «Милый Сережа!» —

«Милейший Сергей,

очень рада, что ты правильно получаешь мои письма. Что касается твоих, то они доходят до меня как раз через столько времени, сколько идут письма дяди Алексея Константиновича из Бразилии. Во-первых, должна тебе сообщить, что я переменила квартиру. Прежняя окнами на двор, и дуло во все двери. Я заплатила за перемену пятьсот рублей Васеньке Щелкоперову, потому что сейчас все платят за перемену, иначе не найдешь. Васенька Щелкоперов посоветовал мою квартиру каким-то интендантам с Каменноостровского и за это получил еще пятьсот рублей. Ничего не имею против такого заработка, ибо он теперь спокойно сидит и пишет свою книгу, а не бегает по урокам и не меняется

на мелочи. Ты очень удивился бы, если б увидел тепер Васеньку. Помнишь, он ходил заморенный и с хрониче ским насморком? Вообрази, Раиса Антоновна стала ег столовать и вылечила. После обеда он нам читает вслу из своей книги.

Все, что ты пишешь про Фёрстера, очень утеш тельно. Хотя у тебя никогда не было особенной прони цательности, и ты про всех своих знакомых отзывался восторженно, не обращая внимания на мои предупре дения, но все-таки повторяю: для меня это очень у шительно. Если ты чувствуешь себя хорошо, то мн как матери, ничего не остается пожелать. Одного у те прошу: не теряй связи с обществом, выписывай жур налы. Ты страшно легко останавливаешься на одно точке. А между тем мысль идет вперед. Васенька Ще коперов говорил на днях, что ни один научный журн не поспевает за ходом мысли. Он сказал: «Напечатают, например, в феврале о теории Бруммера, а в то время как печатают, мысль ушла дальше, и появилась теори Груммера». Ты подумай, а публика читает и ничего не подозревает! Если научный журнал опаздывает, то что же такое представляет твой Фёрстер, который ни за чем не следит и поселился так далеко, куда никак научная мысль не добирается? Говорю это не в осуж дение, а исключительно для того, чтобы развить в тебе критическое отношение к людям

Теперь изложу тебе подробно одну колоссальную новость. Думаю, что долг матери — предупредить тебя и, главное, ведь это я сама, своими усилиями, тебя ту устроила, ты себе представить не можешь, как я себя за это укоряю! Раиса Антоновна (кстати сказать, она стала очень фамильярная, этих людей стоит только рас пустить. Если б не хозяйство, выгнала б ее немедлен но) — она тоже вообразила, что я во всем этом вино вата и пилит, чтоб тебе написать. Видишь ли, Сергей, в газетах появилась одна очень компетентная статья. Сама я ее не сужу, но Васенька говорит, что мужествен ная, дельная и со знанием предмета. Автор скрылся з тремя точками, и все утверждают, будто это знамени тость. Статья касается твоей санатории и твоего ку мира, Фёрстера. В самом начале говорится о засилии

германских методов, которые проникают глубже, чем огнестрельное оружие. (Васенька утверждает, что сейчас так даже диссертации начинаются и это необходимо для национального самоопределения. Это он называет «борьбой за самость».) Потом несколько строк о колонизации и о заискивании у инородцев. Германцы, будто бы, всех чужих инородцев стараются оттянуть на свою сторону и для этого посылают к нам археологов, этнографов и еще кого-то, кажется, нумизматиков. Эти нумизматики во время войны все поисчезали из Германии, это факт, доказанный публично. Обнаружилось, что все они скопились у чужих инородцев, например в Ирландии, Польше и даже у нас в Бессарабской губернии. Одного нумизматика Раиса Антоновна собственными глазами видела в Царском Селе, вообрази, какая наглость. Васенька тоже говорит, что даже сербский учебник грамматики написан немцами. И вот статья обращает внимание на географическое положение твоей санатории. «Почему, спрашивает автор, санатория не устроена у нас в Луге?» В самом деле, почему? Дальше он очень тонко намекает, что в Луге не имеется горцев, каждый в бурке, папахе, на верховой лошади и вооруженный кинжалом! Это место вызвало сенсацию. У нас говорили на эту тему даже гимназисты! Потом автор скромно отказывается от политики и переходит на узко профессиональную точку зрения. И тут я просто окаменела от ужаса. Оказывается, твой Фёрстер идет вразрез с ходом мысли. Ход мысли давно уже доказал, что вся психопатология — чепуха, за исключением психического анализа. Дело в том, что нужно непременно ложиться и ассоциировать. Больной ложится на диван и начинает ассоциировать вслух, а доктор должен сидеть с карандашом и все точно записывать. Вот тебе и все леченье! Результаты получаются такие, что вся медицина ахнула. Вся физика ахнула. Вся анатомия ахнула! Автор, например, рассказывает: болит у одного нотариуса затылок, болит, болит, он лечит домашними средствами, прибегает к доктору, массажистке, водолечебнице. Не проходит. Случайно он нападает на новое лечение анализом. Его укладывают на диван, и он ассоциирует. Что ж ты думаешь! У него все время идут

ассоциации о том, как в раннем детстве он ревно[вал] свою мать к отцу. Обнаруживается сильнейшая душ[ев]ная болезнь на почве переутомления нотариальной ко[н]торой. Послали его на Иматру, и моментально все про[]шло, и он оглох. (Почему он оглох — я немножко н[е] поняла, но автор все очень научно выводит, Васеньк[а] говорит — нет ни одного необоснованного вывода.) По[]том следует полемика с Фёрстером. Автор статьи гово[]рит: «В то время как ход научной мысли стремит[ся] свести все органические заболевания к психическому лечению, Фёрстер упорно возится со старой психологие[й] и практикует отсталый метод органического лечени[я] психических болезней!» Я нарочно выписала эту бле[]стящую фразу, чтоб ты понял дух статьи. Почему ж[е] ты мне ни разу не написал об отсталости Фёрстера? Я н[е] требую от тебя непременно передовых мыслей, но вед[ь] тебе все-таки не пятьдесят лёт. Очень жалею, что н[е] могу выслать тебе всю статью, эта дура, Раиса Анто[]новна, употребила ее на папильотки, а Васенькин номер, с которого я тебе списываю, он попросил возвратить. Хочет пройтись об этом в своей книге. Говоря строго между нами, Александра Федоровна [1] (ты понимаешь, о ком я пишу!) заинтересовалась методом ассоцииров[а]ния. Васенька сообщил мне под секретом, что во двор[]це были сеансы нового лечения, испробованные н[а] Наследнике!!

Кстати о Васиной книге. Он пишет диссертацию, го[]ворит, что подаст ее honoris causa [2]. Называется он[а] «Образованное меньшинство как политический фак[]тор». Множество глубоких мыслей, и язык совершенн[о] как в «Истории цивилизации» Бокля. Ты ее непременн[о] прочти. Он там утверждает, например, такую ориги[]нальную мысль: историю направляют люди, которы[е] имеют право вслух высказывать свое мнение. Поэтому вся цивилизация, вся культура — создание рук вер[]хушки человечества, завоевавшей право голоса. Врод[е] того как растут лишь верхним слоем коралловые ос[т]рова. Откровенно говоря, я написала тебе такое беско[]

[1] Александра Федоровна Романова, жена последнего цар[я].

[2] Почетное присуждение ученой степени без защиты диссер[]тации (*лат.*).

ное письмо под влиянием его книги. Ведь если я не скажу своего материнского права голоса, пропадет возможность подействовать на тебя, и ты останешься при своей наивной вере в Фёрстера. Ну, до свиданья, будь здоров и пиши обо всем толковей. Тетушка и Раиса Антоновна тебе кланяются. У тетушки чудная новая обстановка фиалкового цвета, я мечтаю точь-в-точь о такой по окончании войны.

Твоя *Поликсена Батюшкова*»

Я прочел письмо, сложил его и задумался. Всякий раз, как во мне закипал гнев, я привык сжимать губы и запираться у себя в комнате. И сейчас я вобрал в себя губы, стиснул их и ждал, покуда мое возмущение уляжется. Так я дождался позднего часа и тогда сошел вниз, к Зарубину. Мой коллега сидел за чаепитием с фельдшером. Оба дули на блюдечки и отгрызали от крохотных кусочков сахара, добытых у Варвары Ильиничны.

— Милости просим! И сахар есть и малиновое варенье! — крикнул мне Зарубин, когда я вошел в комнату. Я молча сел и протянул ему письмо. Он допил свою чашку, опрокинул ее на блюдце и стал читать.

Так он читал минут десять, ни разу не улыбнувшись. Потом отложил письмо, свистнул и забарабанил по столу, глядя мимо меня своими невеселыми глазками. Фельдшер налил мне тем временем чаю и придвинул варенье

— Что, Сергей Иванович, забота объявилась? — спросил он меня добродушно.

— Забота, Тихоныч,— ответил ему Зарубин вместо меня,— нашего профессора германцем объявили. Знаете что? Письмо это весьма и весьма симптоматично. Если не воспоследует каверза, я буду не я.

— Валерьян Николаевич, меня гораздо больше тревожит вторая часть письма. Скажите, пожалуйста, неужели и у нас фрейдизм пошел в гору?

— Как же. Сами видите, двор заинтересовался. Наследника-цесаревича лечат-с!

— Да ведь это лежачее ассоциирование — это душевный разврат!

— Ну не скажите! — усмехнулся он.— Был у меня один неврастеник знакомый, так он за это лежание всей душой уцепился. И бумажки свои записанные хранил и твердо был уверен, что этаким способом он второго Заратустру напишет.

Он помолчал, досасывая кусочек сахару, поглядел на меня и засмеялся:

— Полно вам губки надувать, барышня. Все это вздор, никогда русская медицинская наука, созданная нашими великими врачевателями-мыслителями, Сеченовым, Пироговым, Боткиным, не спустится в эту лужу! Вы своей «маман» отпишите как следует для успокоения души и выбросьте это из головы! Автор статьи, по-моему, Мстиславка, не иной кто, как он, собачий сын. Вот это действительно опасно, над этим следует призадуматься...

— Чем попрекает,— вставил и Семенов,— душу-то отдельно от человека лечить — это значит вроде как винтик отдельно от машины чинить. Не в винтике дело, а в том, как он машине служит.

Я поглядел на них с неожиданной радостью. У меня стало тепло и уверенно на душе. Пусть там хулиганит, кто хочет и как хочет,— не все ли равно? Мы, разные и несхожие люди, мы работаем здесь душа в душу, стоя на верном и так прочно, так глубоко понятом нами пути. Ведь даже простой фельдшер озарен его ясным сознанием и знает, над чем он трудится. Я протянул им руки.

— Друзья мои! Хорошо, что нас трое, и давайте постоим за санаторку, что бы ни случилось.

Зарубин рассмеялся, но взял протянутую руку. Взял ее и Семенов.

— А Карлу Францевичу про письмо ни слова. Нечего его зря расстраивать. Идет?

На том мы и порешили. Я поднялся к себе, успокоенный, сунул письмо в комод и запер его. Будь у меня семь замков, я запер бы его семью замками.

Таково было действие «права голоса», по мудрой политической теории Васеньки Щелкопёрова,— действие, к сожалению, вызываемое им далеко не всякий раз

Глава шестнадцатая

ПЬЕСА, СОЧИНЕННАЯ ЯСТРЕБЦОВЫМ

Горы начали покрываться желтыми пятнышками там, где между хвоями приютились лиственные деревья. Зеленые пастбища облезли от ветра и стад; пастухи все чаще наезжали к нам в аул, и за верховыми лошадками их бежали тонкобрюхие и длинноногие жеребята. Все предвещало близкую осень.

Моя роль благожелателя и советчика начинала мне нравиться. Я выдерживал ее с грустным достоинством. Я давал указания Варваре Ильинишне, когда бедная профессорша беспокоилась или томилась; я исполнял ее поручения и я принимал, в разговорах с Марб и Ханоном, значительный и наставнический вид. Как-то стали доходить до нашего сознания, неизвестно кем и откуда распространяемые, мысли о скорой смерти Гули. Бедная техничка уже не показывалась ни перед флигелем, ни на лесопилке. Я не видел ее лисьего личика, повязанного платочком, над кастрюлями в кухонном окне. Бумажная ведьма и кашляющий старичок тоже не выходили. И чем больше отодвигались они куда-то в сторону, тем несущественней и фантастичней казалось их бытие.

Марб была в приподнятом настроении. Она почти не сидела дома и никогда не заговаривала со мною об отце. Хлопоты и возня с пьесой как будто заслонили от нее все остальное; но в глубине ее фёрстеровских глаз мне чудилось то же смутное неразрешенное беспокойство, каким она была охвачена в первые дни моего приезда сюда. Иной раз оно оседало на дно; иной — поднималось кверху; и чем оживленней и болтливей делалось ее существо, тем заметней была эта муть.

Единственной новостью в санаторской жизни был отъезд амфибии. На этом настоял Карл Францевич, неожиданно для всех нас. Мы проводили его, как подобает, а Дальская поплакала, взяла с мужа клятву писать дневники и успокоилась.

В ясный июльский день кое-кто из больных собрался на дальнюю экскурсию. Марб и мне подали двух верховых лошадей с пугливыми мордами и длинными хво-

стами. Марб ездила по-мужски. Она была в коротких черных штанах, собранных у колен резинками, и туфельках с серебряными пряжками и в камзоле, делавшем ее похожей на шекспировскую Розалинду. Когда она легко вскочила на своего жеребца, ее покрыли кавказской буркой. Я гордо взгромоздился на свое английское седло, обряженный по всем правилам верхового искусства. Но маленький меринок танцевал подо мной, ботфорты дьявольски мне мешали, а руки немедленно намокли в перчатках. Когда мы тронулись в путь,— две линейки и два всадника,— я убедился, что езжу из рук вон плохо.

— Пожалуйста, Марья Карловна, не отворачивайтесь! — проговорил я величественно, подбрасываемый на своем седле.— Все равно мне видно, как вы смеетесь!

— Да я вовсе не над вами... я, ох, не могу! Сергей Иванович, да держите вы поводья выше.

Она расхохоталась, повернула ко мне розовое лицо в рамке пушистых кудрей,— и пока я из всех сил старался не сконфузиться, хлестнула лошадь и была такова. Протрусив с полверсты, я обвык и принял уверенный вид всадника, приобретенный мною в манеже. Мы ехали вдоль по Ичхору; внизу, под шоссе, беленился поток, бешено крутясь вокруг камней, как кошка за своим хвостом. Справа и слева шли густые поросли орешника, а над нами краснели гроздья рябины. Настроение было у всех повышенное и приятное. Марб срывала ветки с гнездами орехов и кидала их Ястребцову, сидевшему на линейке. Она то скакала вперед, то заставляла лошадь скакать через бревна и крутиться по дороге. Стремена были ей длинны, и она почти стояла на них, великолепно управляя лошадью. К нам то и дело доносился ее веселый и наивно-торжествующий голос:

— Вот поглядите, я сейчас перескочу! Видели? Хорошо я езжу?

Я не одобрял такого хвастовства и был очень доволен, когда Дальская во всеуслышание произнесла спору, мол, нет, Марья Карловна скачет, но настоящая кавалерийская посадка все-таки у доктора.

Мы спешились на высокой полянке, возле крохот-

...как чайное блюдце, озера густо-голубого цвета. ...ра пустили лошадей, обмотав им передние ноги ...чкой. А потом развели костер, вынули баранью ... и нанизали ее на вертел. Мы разбрелись по лесу. ... вела себя как мальчишка. Она предложила руку ...нькой меланхоличной барышне, лечившейся у нас ... морфинизма, и, щуря по-фёрстеровски глаза, приня... за ней ухаживать. Наконец, ей надоело это, и она, ...вистывая и заложив руки в карманы своих штани..., направилась ко мне.

Я шел, потея в своих ботфортах, с «доброй миной ... плохую игру». Но Маро́ уже знала цену моим ми.... Она приятельски хлопнула меня по плечу, скло... голову набок и соболезнующе взглянула на меня.

— Жарко, Марья Карловна,— пробормотал я ...ло.

— А вы разуйтесь!

— В чем же я пойду?

— В носках. Или вот, нате вам мои туфли! — она ...хнула ножкой, и маленькая туфля отлетела далеко ...перед. Я бросился ее ловить, а когда вернулся назад, Маро́ сидела на кочке, болезненно охая и заедая вздохи ...рникой. Губы у нее потемнели от ягод. Я сел возле ..., сжимая туфлю.

— Ногу ушибла,— сказала она, глядя на меня рас...янно,— даже чулок порвался. Теперь будет дырочка, ... всем заметно. Нет ли у вас иголки с ниткой?

Я развел руками. Она подняла и положила мне на ...лени прелестную узкую ногу в черном чулке. Пятка ...ла разорвана, и повыше, на лодыжке, тоже белело ...тнышко. Я почувствовал странное волнение, не похо...е ни на что, испытанное мною раньше; испуга в нем ...ло больше, чем сладости. Смутившись и не глядя на ...рную гостью, преспокойно лежавшую у меня на коле...х, я нагнулся в кусты черники и стал ртом откусы...ть ягоды.

— Знаете что? — сказала Маро́, любуясь на свою ...гу и тихонько двигая большим пальцем.— Как рука ... нога похожи, правда? Вот поглядите! — Она протя...нула правую руку и держала ее рядом с ногой. Обе ...ли узкие, длинные, с благородным большим пальцем,

суживающимся к концу, с почти незаметными сочленениями. Я невольно залюбовался этим двойным совершенством форм, и волнение мое улеглось. Но как только оно улеглось, пробудилась моя щепетильность двадцатипятилетнего скромника.

— Уберите ваши конечности! — проворчал я сердито и стряхнул с себя ее ножку. Маро́ сунула ногу в туфлю и замазала дырочку черникой, не обращая на меня больше никакого внимания. Она насвистывала песенку, песенку Хансена. В волосах ее, качаясь, сидела молочно-белая бабочка с голубыми крапинами на крыльях. Когда ветер взметнул ее кудрями, бабочка вспорхнула и, покружившись, села мне на грудь. От нее сладко пахло цветочной пыльцой, а брюшко ее было мохнато, как локон; и пушистость и аромат казались занесенными на мою тужурку с кудрявой головы Маро́. Потом мы встали и вернулись на лужайку, где шашлык уже снимался с вертела деревянными щипчиками, и провизия была вынута из корзин. Хозяйничала Дальская.

Писатель Черепенников следил за снятием шашлыка с грустно-скучающим видом. Потом он обвел нас глазами и кашлянул,— привычка человека, произносившего тосты. Мы перестали разговаривать, и он начал, слегка картавя:

— Представьте себе картину или стихотворение, где мы с вами были бы воспеты! Тяжелый зной полдня, потухающий костер, черкес, снимающий барана с вертела, и мы вокруг,— оживленные и унылые лица! И эта барышня в костюме пажа, и молодой ефрейтор около нее с ревнивым лицом любовника! Боже мой, как все это показалось бы занимательно и как завидовали бы мы, зрители, этому недоступному для нас миру! А сейчас... друзья мои, разве не скучно нам? И во всяком случае обыкновенно.

— Когда я была маленькая,— отозвалась Маро́,— я всегда рисовала картину, а на картине еще картину, а на той картине еще картину, и так до тех пор, пока на картине помещалась одна точка. И воображала, что это очень занимательно; и особенно,— чем все это кончится?

— Ах, я понимаю вас! — перебила ее Дальская, глядя на Черепенникова загоревшимся взором.— Смотреть на себя со стороны! Один раз я участвовала в кинематографической ленте и совсем, совсем холодно играла, чтоб отделаться. Но представьте, какое я получила наслаждение, когда увидела себя на экране. И я, и будто не я! Таинственно и восхитительно.

— Так возьмите же зеркало и кушайте шашлык перед зеркалом, для возбуждения аппетита! — сказал я шутливо, не особенно довольный «ефрейтором с лицом любовника». Странное чувство держало меня возле Маро́. И сейчас мы переглянулись и расхохотались. Этот смех словно отделил нас от общества.

— Зеркала! — сказала Маро́.— Отраженный мир! Это совсем, как пьеса, сочиненная Павлом Петровичем.

Ястребцов бросил на нее быстрый взгляд и приложил палец к губам. Но с меня было довольно. Волнение, вызванное близостью Маро́ в ее костюме мальчика, возбуждение этого дня и солнечная прелесть гор — все мгновенно слетело с меня. Я встал, как бы не расслышав Маро́, потянулся за тарелкой и молча принялся есть. Мысли мои были заняты «отраженным миром» Что за пьеса на такую тему? Я не понимал опасности, но чуял ее и решил немедленно по приезде переговорить обо всем с Фёрстером.

Пикник кончился, как и все пикники, усталостью и небольшой дозой взаимного недовольства. Дальская, разнервничавшись, сделала замечание Маро́ за неприличие ее костюма. Черепенников утверждал, что все и вся ему надоело, а горы раздражают его глазную сетчатку. Барышня-морфинистка повисла на Ястребцове с таким видом, будто он должен защитить ее от нас. Да и я раздражился на отсутствие мыла и на свои пахнувшие бараниной пальцы. Одни только лошади выказали решительное удовольствие, когда их погнали обратно, и побежали по шоссе с веселым похрапыванием.

Было уже темно; Варвара Ильинишна ждала нашего возвращения на садовой скамеечке и тотчас же велела Маро́ переодеться. Но девушка с самым решительным видом поцеловала мать в кончик носа и объявила, что будет ходить так «всю свою жизнь». После

чего она покрутила пальцем около верхней губки и на-
правилась за мной во флигель.

— Сергей Иванович,— лениво начала она, развалившись на моем диване и скрестив ножки,— не правда ли, как ужасно хорошо жить? Сегодня такой день, точно канун праздника. Я кануны больших праздников люблю.

Она поболтала туфлей в воздухе и запустила пальцы в волосы. Кудри ее свисали низко на брови, рот полуоткрылся, а глаза были устремлены на свет. Я глядел на нее из-за дверей моей спальни, куда ушел переодеваться. Она помолчала и вдруг, вздохнув, опустила ресницы.

— И отчего только вы не девочка, а я не мальчик! Сергей Иванович, мне идет мужской костюм?

— Очень... Вы совсем Розалинда! Помните?

All the pictures fairest lined
Are but black to Rosalind [1].

— Вот видите, а мама сердится. Как уверенно себя чувствуешь не в своем костюме. И храбро! Я думаю, стоит любого трусишку переодеть в чужое платье, и он обнаглеет. Это мое открытие.

— Очень старое открытие. Но, Марья Карловна,— сказал я, выходя из спальни и садясь рядом с ней на диван,— вы давеча говорили об отраженном мире. Можно спросить, что это за штука?

— Отраженный мир? Да мы все отражены в тысяче зеркал. Разве пространство и время не зеркала? Весь видимый мир симметричен, а симметрия и есть отражение. Павел Петрович говорит, что симметрия есть даже в мировом процессе и в наших мыслях. Кто-то создал одну точку, и она отразилась, и отражение ее отразилось еще раз, и так оно пошло гулять по миру до этих самых пор.

— Ну, а еще что говорит Павел Петрович? — осторожно спросил я. Маро́ бросила на меня быстрый взгляд и обхватила колени руками.

---

[1] Все самые прекрасные картины только черны перед Розалиндой (Шекспир).

— Еще что? А вы мне что за это подарите, если я скажу?

— Снимок подарю с... с глетчером.

— Ладно. Еще он говорит, что души наши тоскуют по первой своей, неотраженной, сущности. И, тоскуя, они отражаются — в снах. А потому наши сны, отражения отражений, ближе к нашему первоначальному существованию, чем мы сами,— все равно, как промокательная бумага в зеркале.

— Ну?

— Ну и все. Давайте снимок!

Я взял со стола альбомчик и задержал его в руках. Маро́ схватила альбом за корешок и потащила его к себе. Мы несколько секунд боролись, я полушутливо, она изо всех сил. Маро́ запыхалась и, упершись локтем мне в грудь, задышала тяжело и сердито. От нее пахло лесом и смутным запахом ее духов.

— Отдайте, говорят вам: это нечестно! — крикнула она, поднимая ко мне пылающее лицо с пушистой черной прядкой на лбу. Прежде чем я мог сообразить, что со мною, я вдруг наклонил голову и поцеловал ее прямо в губки.

Маро́ выпустила альбом и отшатнулась. Я видел, как лицо ее озарилось недоумением и оскорблением, а рот,— как мимоза,— судорожно сжался от моего поцелуя.

— Вы... Вы...— начала она и не кончила.

Стыд и страдание охватили меня. Я закрыл лицо руками и не мог ничего произнести. Сердце неистово колотилось у меня в груди. Боже мой, что я наделал! Конец всему прежнему, конец моему уважению к себе. Я нарушил доверие лучшего из людей, обидел дочь моего хозяина! Прошла минута в молчании. Наконец, Маро́ произнесла дрожащим голосом, но без гнева:

— Если это шутка, то это гадость и не похоже на вас. Но если... если вы всерьез, то не дай господи, Сергей Иванович, чтоб вы питали ко мне какое-нибудь чувство. Вы же знаете, что это невозможно. Это было бы для вас горем, как для меня мое. Слышите? Поднимите голову, и пусть все забудется.

Каждое ее слово увеличивало мою боль. Она сама сказала «если — если». О, конечно, это не было шуткой. Тогда что же это было? Я сам не знал. Сквозь острую боль я все вспоминал, мгновениями, дрожание ее нежных, влажных губ под моими. И я не мог поднять голову и посмотреть на нее в эту минуту. Неизвестно, до чего бы мы домолчались, если б не раздался легкий стук в дверь и не вошел в комнату Карл Францевич своей уверенной, быстрой походкой. Он бегло, но внимательно поглядел на нас (у нас были довольно-таки растерянные лица), сел и сказал дочери:

— Маруша, ты бы пошла домой, переоделась.

— Сейчас, па.

— Погоди минутку. Только что заходил Шамоян, у него дочь больна.

— Амелит? Что с ней такое? — встревоженно спросила Маро́. Вся растерянность исчезла с ее лица, и теперь она была только испугана. Я знал, что крохотная, красноволосая Амелит была ее любимицей.

— Не знаю, голубчик. Боюсь, что скарлатина. Я послал пока сестру, но завтра придется пойти тебе самой.

Маро́ торопливо вышла, и каблучки ее застучали вниз по лестнице. Я видел, однако, что она не позабыла унести с собою и мой бедный фотографический альбом. Ей до всего было дела больше, чем до меня. То, что по казалось мне ужасным и непоправимым, она через час преспокойно забудет. Я нахохлился от этих мыслей пуще прежнего и сидел, не поднимая глаз.

— Вы чем-то расстроены, Сергей Иванович? Поссорились с моей дочкой?

— Нет, совсем нет,— поспешил я ответить и почувствовал, как краснею.— Я просто очень встревожен пьесой. Не знаю, хотите ли вы говорить со мной об этом. Вы за последние дни дали мне понять...

Фёрстер перебил меня, положив свою руку на мою.

— Пусть вещи идут своим чередом, голубчик. А в санатории опять неприятность, и опять не случайная. Черепенникову стало хуже, я только что от него. Как он вел себя на прогулке?

Я рассказал Фёрстеру о маленькой беседе у костра и, воспользовавшись предлогом, добавил об «отражени

ном мире» все, как мне передала Маро́. Он слушал, улыбаясь кончиком губ, словно знал заранее, что я скажу.

— Да; ну, а сейчас Черепенников разбил об пол стул и кричал мне с полчаса о своем духовном одиночестве. С ним очень трудно. Несчастный Лапушкин был умен, а этот у нас — только умственный или, пожалуй, умствующий. Беда, коли в нем застревают чужие мысли. Сегодня ему пришло в голову, что он вовсе не болен. Он, видите ли, отзывается на высшую реальность, а потому живет искусством, а не жизнью. Жизнь же есть хаос, лишенный настоящей реальности. Нынче он крикнул, что лечить надо меня, а не таких, как он и Ницше.

Я невольно расхохотался, но потом посмотрел на Фёрстера и задумался.

— Не кажется ли вам, Карл Францевич, что в тактике Ястребцова есть какая-то система?

Он кивнул головой, и внимательный взгляд его встретился с моим.

— Напрасно вы молчите и не сопротивляетесь, Карл Францевич! Почему вы даете ему свободу? Он усугубит в каждом больном его личный соблазн. По правде сказать, я сам иной раз, слушая его, начинаю казаться себе обыденным и зевакой. Он так говорит, будто за спиною его истина.

— Милый мой Сергей Иванович, вы все время говорите о борьбе и сопротивлении. Вы ставите вопрос так, будто Ястребцов мой противник. Почему вы забыли, что ведь он мой пациент, и задача моя — не победить его, а вылечить?

Фёрстер сказал это со спокойной добротою и строгостью. От тонких черт его повеяло благородством и силой, и внезапно я понял, что был на ложной дороге. Не оттого ли и замкнулся от меня мой патрон, что увидел во мне эту слабость? Я вооружился против больного! Я готовился выжить его из-под крова, где он, быть может, инстинктивно и наперекор себе, пришел искать помощи! Я увидел врага в том, кто са́м одержим ужасным врагом... Странная, торжественная доброта Фёрстера передалась в эту минуту и мне.

— Боже мой, как мне совестно, Карл Францевич! воскликнул я в волнении.— Кто бы он ни был, ведь в конце концов наше дело — помочь и ему!

— Наконец-то вы дошли до такой простой вещи, улыбнулся он,— вот потому-то мы и дадим ему роль сыграть пьесу своего сочинения. Ну а теперь пройдемте вместе в санаторию и посидите этот вечер с Черепенниковым.

— Разве вы боитесь, что...

— О нет! Черепенников не Лапушкин. Тут нечего бояться, кроме добровольного возвращения в болезнь. Но это, пожалуй, еще хуже.

Он встал, и мы вместе отправились в санаторию.

Черепенников был у себя в комнате, на диване. Он читал книгу (единственное его дело, кроме писания) и, когда я вошел, недовольно загнул страницу. Пальцы у него были корявые и волосатые. Лицо — человека экстатической складки: маленькие, близорукие глаза под пенсне, слегка вздернутый нос, пунцовый рот под светлыми усами и очень светлый пушистый кок на лбу, стоявший подобно петушиному гребню. Он легко впадал в пафос и легко волновался, но исключительно по книжному поводу. Сейчас, когда я подошел к нему, в маленьких глазах его была влага. Он читал второй том «Истории консульства и империи» Тьера.

— Что скажете, доктор? — лениво произнес он, не выпуская из рук книги.— Я наслаждался сейчас могучей логикой событий в наполеоновское время. А бедный Дёсэ![1] Вот обаятельный человек с его длинными волосами и влюбленностью в Наполеона. Я прослезился над его смертью.

Не стоило говорить Черепенникову о тысяче смертей, подобных этой, переживавшихся в наше время. Он ответил бы, что высшее воплощение — в искусстве — еще не сделало их действительными. А потому я просто взял у него книгу и с видом сожаления сказал, что профессор запрещает ему читать. У нас был выработан совсем особый способ его лечения. Мы заставляли Черепенникова как можно больше слушать рассказы дру-

[1] *Дёсэ* — один из наполеоновских генералов, описанных у Тьера.

больных и следили за малейшим возникновением в нем сочувственных переживаний. Ему давались поручения, связанные с повседневной санаторной жизнью. Так, например, он выучился впрыскивать больным мышьяк; ключ от почтового ящика был у него, и раздача больным полученной корреспонденции тоже лежала на его обязанности; ему поручалась и раздача подарков больным в дни именинные и праздничные,— давнишний обычай, утвержденный Фёрстером. И надо сказать — он начал проявлять необычную для него наблюдательность и даже некоторый юмор, связанный с живым чувством действительности. Но сегодня ни одно из сотни занятий, придуманных для него, не встретило в нем сочувствия. Раздраженный, он требовал назад книгу, а когда я отказал, удалился в музыкальную бренчать на рояле. Нот он не читал и слуха не имел; ему доставляло странное удовольствие брать на рояле бессвязные аккорды и нанизывать их один за другим. Это он называл «импровизацией».

Больные до ужина и за ужином говорили только о пьесе. Приближалось время ее постановки, а зала еще не была готова и декорации тоже. Наш рисовальщик, Тихонов, сооружал что-то в мастерской и требовал провода электрических лампочек вдоль всех трех стен залы. Ястребцов спросил у меня, когда мы встали из-за стола, возможно ли будет устроить такое освещение, и я обещал поговорить с техником.

— Пришлите его завтра к нам с утра, благо воскресенье и он свободен! — крикнул он мне вдогонку, когда я уходил из столовой. Я кивнул головой, нашел свою шляпу в передней и вышел. Свежая ночь охватила меня. Звезды блестели холодно, со стеклянным пустым блеском. Они шли друг за другом, валясь в пустоту, и на смену провалившихся выползали все новые и новые. Весь мой флигель был в тумане. Я шел к себе, углубленный своей болью. Теперь я знал, что полюбил Маро́,— или начинаю ее любить,— и что это никогда ничего не даст мне, кроме скорби. Невозможное лежало не снаружи, как у нее с Хансеном, а уже внутри, во мне. Каждым взглядом, устремленным на себя, я видел, что Маро не полюбит и не может меня полюбить, и ничто

этому не мешает больше меня самого. Я видел себя обыкновенным, смешным, некрасивым, не романтиче- ским. Ни одной обаятельной черты! Быть может, для кого-нибудь и я стану желанным, но не для нее; самое дорогое оказалось невозможным.

Идти было холодно. От боли в сердце я чувствовал странную зябкость и утомленность. Поскорей бы уйти в теплоту, в знакомую комнату, к знакомым предметам. И это переживется, как переживается все. Надо только дать сердцу время. Я поднялся, засветил лампу и вы- нул свои коллекции, собранные на Ичхоре. Гербарий был еще не разобран. С жалкой улыбкой — над самим собою — я стал раскладывать бедные цветики и рас- правлять им их невинные зеленые лапочки.

Глава семнадцатая

ЖЕЛАННОЕ И ДОЗВОЛЕННОЕ

Хансен работает в зале. Он стоит на высокой лест- нице в своей серой блузе и прибивает что-то молотком. Фуражка со стеклянными очками сдвинута на лоб, взгляд у него сосредоточенный, губы сжаты.

Внизу, положив руки в карманы и приподняв плечи, прогуливается Ястребцов, время от времени делая ему замечания своим суховатым, похожим на треск дров в камине, голосом.

— Ведите провода горизонтально, вот так. Лам- почки должны сидеть сплошным рядом, под материей. Это возможно?

— Возможно,— философски отвечает Хансен и, рас- качиваясь, лезет на верхнюю ступеньку. Он заработался и посвистывает. Быстрым взглядом меряя длину про- водов, он буравит стену и бормочет: — Отчего не воз- можно? Проведем и этак.

Наконец, со ртом, полным фарфоровыми кнопками и винтиками, с коленями и локтями, замазанными ме- лом, он спускается вниз, чтобы переставить лестницу. Но не успел он спуститься, как Ястребцов трогает меня за руку и восклицает:

Нет, это несравненно! Посмотрите же на него.

Я поднимаю глаза. Хансен стоит на последней ступени, выплюнув кнопки в ладонь. Рыжеватое осеннее солнце заливает его лицо. Худые щеки золотятся от пуха, из щелей, под прямым лбом, блестит спокойный голубой взгляд. Вся его благородная голова с острыми линиями на коричневом фоне лестницы — точно старинная фреска. Он замечает, как мы глядим на него, краснеет и хмурится. Закинув голову, он начинает переставлять лестницу.

— Честное слово, Хансен, вы делаете ошибку,— небрежно проговорил Ястребцов, переводя глаза с него на меня.— Помилуйте, я предложил ему участвовать у нас в живых картинах, а он отказывается. Причина? Нет причины. Жена, видите ли, больна. Как будто к тому времени она не сможет выздороветь.

— Вы хотите ставить живые картины?

— Да, после спектакля. У меня прелестный костюм,— я выписал из дому,— точно созданный для этого юноши. Хансен, не упрямьтесь, примерьте-ка.

— Примерить можно,— усмехнулся Хансен, поглядев на нас исподлобья; тонкие губы его раздвинулись с лукавой снисходительностью. Но он тут же раскаялся и насупился, а когда горничная принесла желтую коробку, весь покраснел. Я хотел было отговорить Ястребцова от этой затеи; я видел, что Хансену неловко и неприятно. Но Ястребцов быстро опустился перед коробкой, снял ремни, сбросил крышку и, прежде чем я успел открыть рот, вытащил двумя пальцами что-то темное, шуршащее и тяжелое. Это был мужской костюм, сшитый во вкусе ван-диковских. Тяжелый, мягко льнущийся шелк, пышные рукава с буфами возле плеч и легкий белый воротничок вокруг шеи, из тончайших кружев. Костюм был дорогой, и кружево старинное. От него пахло крепкими духами. Обшлага были немного потерты, и весь костюм казался уже много раз ношенным.

— Когда-то в дни моей юности...— начал Ястребцов вполголоса и не кончил. Он вдруг разнервничался и засуетился. Велел тащить коробку обратно, к себе в комнату, поманнл Хансена вслед, ушел было, потом

снова вернулся, зашептал мне на ухо: «Никому ни слова! Это сюрпризом!», и опять ушел, почти выбежал с прыгающей челюстью. Все суетилось в ту минуту на его лице. Умный и печальный взгляд заспешил мимо моих глаз куда-то в сторону, улыбка показалась мне лживой и заискивающей.

Я поглядел ему вслед. Что-то мелькнуло в моей памяти. Такой суетливый взгляд... ну да, и эти уклончивые, лгущие губы, и этот внезапный восторг, похожий на отмахивание рукой, и эта внешняя, не ведущая к цели, уже бессильная осторожность,— все это типичные жесты маньяка. Налетел образ или пахнуло духами, напомнившими что-то прежнее,— и человек весь охвачен сухим, мозговым возбуждением. Я больше не сомневался, что Ястребцов дал себя поймать. Он в «мании», и пока он не исчерпал ее мгновенного одержания, он открыт для взгляда врача. Не доверяя себе самому, я притворил тихонько дверь залы и кинулся в фёрстеровский кабинет.

Карла Францевича там не было. Возле мраморной чашки с дезинфекционными мылами возилась Маро. Она мыла руки, скинув фартук на пол. Я никогда не видел ее так скромно одетой: на ней было старое шерстяное платье, по-детски приподнятое спереди и слегка отвисающее сзади, гладко застегнутое до самой шеи. Голова была туго повязана белым шарфом. Она поглядела на меня сперва недоверчиво и сдержанно, потом, против воли, улыбнулась.

— Здравствуйте, вы папу? Его нет, он в мастерских. Погодите минутку, я сейчас пойду с вами.

— Некогда...

— Ну вот! Я сию секунду!

Она вытерла руки и сняла шарф. Кудри ее были сбиты в сторону, лицо озабочено и бледно. Наскоро приглаживая волосы, она сообщила мне, что все утро сидела с Амелит и что у бедняжки скарлатина. «Только, боже сохрани, Тихонову ни звука! А то он от одной мнительности заболеет»,— кончила она, сунув гребень в кудри. Мы быстро вышли из кабинета. Но на пути в мастерские Маро́ остановила меня, взяла за пуговицу и, опустив ресницы, тихонько сказала:

— Только, Сергей Иванович, вы ведь вчера пошутили? Пусть будет, чтоб пошутили, ладно?

Я знал, чего ей хотелось. Она была деятельна и радостна в эту минуту. Деятельные и радостные люди больше всего боятся психических осложнений и неблагополучия какого-нибудь существа возле них. Маро̀ не хотела видеть меня несчастным и не хотела делать внутренних усилий, чтоб применяться к этому новому моему положению. Я сделал самое благополучное лицо и просто ответил ей:

— Ну, конечно, пошутил, и, признаться,— идиотски!

Она поглядела на меня и успокоилась. Мы почти бегом прошли коридор и, наконец, наткнулись на Фёрстера. Я рассказал ему, в чем дело, и, пока говорил, Маро́ стояла возле и слушала. Фёрстер не задал мне ни единого вопроса, оставил фельдшера в мастерских, а сам поспешил со мной в залу. Маро́ шла за нами, опустив голову; рукава шерстяного платья были ей, видимо, коротки и узки: они жали ей в кистях, и прелестные руки, лежавшие в складках платья, покраснели от напряжения; от нее пахло формалином; в эту минуту Маро́ не была красива, ни даже мила; в ее облике было что-то неуклюжее и жалобное.

Наконец, мы поднялись в залу. Там собралась кучка больных, о чем-то оживленно споривших. Навстречу нам встала Дальская.

— Профессор, поглядите, как очаровательно, очаровательно! — воскликнула она в совершенном удовольствии. Завитая, как у пуделя, голова ее театрально откинулась назад; пальцы обеих рук она скрестила под прямым углом, словно на молитве. Больные раздвинулись, пропуская нас, и мы увидели Хансена в тяжелом шелковом костюме. Он сидел на лесенке, заложив руки в карманы и закинув ноги одна на другую, и поглядывал на нас с невозмутимым видом. Белокурая голова его была обнажена; вокруг обнаженной до плеч шеи мельчайшими складками лежало загофрированное белое кружево; на ногах его были узкие туфли с блестящими пряжками. Он усмехался, глядел небрежно вокруг себя, и манеры его, ленивые и спокойные, подходили к костюму

— Можно подумать, он всю жизнь так одевался! взвизгнула Дальская, подходя к нам.

Мы несколько минут любовались Хансеном; он отвечал на наши вопросы, и чуждый акцент в его устах звучал на этот раз особенно мило; Хансен был спокоен и даже насмешлив; он сознавал свою обаятельность и чувствовал себя смело,— под защитой своего платья. И чем увереннеЙ был его голубой взгляд, чем холодней улыбка, тем растерянней и несчастней становилась Маро́. Она потихоньку старалась вытянуть рукава и, когда ей это не удалось, заложила руки за спину. Потом она тряхнула головой, чтоб локон упал ей на ухо, и стала по-птичьи охорашиваться за спиной Фёрстера.

— От вас чем-то пахнет! — недовольно сказала ей Дальская, поводя ноздрями. Хансен поднял склоненную голову и поглядел на Маро́; она кивнула ему, сдвинув брови, и он ответил на этот кивок с улыбкой.

Все это время Ястребцов стоял возле Фёрстера. Лицо его было похоже на маску. Ни следа недавнего волнения и беспокойства! Я с досадой глядел в это серое, сухое лицо с торчащими оконечностями. Он либо притворялся, либо мания погасла. Скучающими глазами следил он за техником, потом вдруг грубо крикнул ему неожиданно для всех нас:

— Эй, вы, разденьтесь!

Хансен вздрогнул и сошел с лесенки. Но когда Ястребцов снова, уже с досадой, стал уговаривать его участвовать в живых картинах, он отказался. Через десять минут все приняло прежний вид. Тяжелый шелковый камзол был уложен в коробку; Хансен, в серой блузе и заплатанных штанах, усердно приколачивал провода; больные разбрелись по санатории. Маленький эпизод с переодеванием, казалось, ни на кого не повлиял и был благополучно забыт.

Весь день до обеда я был занят и не встречался больше ни с Маро́, ни с Хансеном. У меня разболелась голова, и я радовался воскресному послеобеденному отдыху как никогда. Не успели мы встать из-за стола, как пришел аккуратный Валерьян Николаевич, обедавший нынче у профессорши, и сменил меня. Невесело

Глазки его сделались насмешливыми при виде моей стремительности.

— Куда вы, барышня? Хоть бы грибков к ужину насбирали!

Грибов не грибов, а форелей наловить не мешало. День был облачный и ветреный. Передо мной, на дорогу, слетали, крутясь, желтые листья. Но у меня с самого утра были приготовлены удочки и ведерко для форелей, и никакая погода, и никакая головная боль не заставили бы меня отказаться от этого удовольствия. За все пребывание мое на Ичхоре это был первый день, когда я удосужился ловить рыбу. Обмотавшись по-бабьи гарусным шарфом, чтобы не застудить ушей, и захватив все нужные вещи, я направился вниз, за лесопилку, где было озеро с форелями. Тут, внизу, ветра было меньше. Сонно текли воды, нагретые солнцем. Возле озера лежали огромные глыбы гранита, разрыхленного временем и покрытого серыми, сизыми, зелеными пятнами мхов. На одну из таких глыб примостил я свои удочки и уселся сам пониже, прикрытый ее глубокой тенью от солнца и ветра.

Ловилось плохо. Я не следил за поплавком, а, прислонившись к теплому камню, мечтал. Мечты мои были сбивчивы и смутны и обрывались тягостным ощущением боли в голове. Вдруг я услышал шаги и, выглянув из-за глыбы, увидел техника. Он шел от лесопилки, посвистывая песенку. В руках его было ведро. Дойдя до родника, он наполнил ведро, сел на бревнышко и оглянулся. Меня он не мог видеть за камнями и порослью; но я видел каждую морщинку на его тонком лице и слышал его посвистывание. Казалось, он ждал кого-то. Сперва он поднял сучок и стал зубами обчищать его, потом бросил, лег во всю длину на бревно и глядел в небо. Минут через пять кусты барбариса раздвинулись, мелькнуло серое платьице, и к технику подошла Маро́. Итак, они условились встретиться. Я не мог выбраться, не замеченный ими, а вылезать и спугивать их мне было неприятно. Оставалось сидеть и ждать их ухода. Я повернул голову к поплавку, постарался думать о своем, о постороннем, и не слышать их разговора. И все-таки, хотя я проделывал это самым

добросовестным образом, мне было и видно и слышно обоих.

Маро́, очевидно, готовилась идти в аул, к больной. Голова ее снова была повязана, серенькое платье ничем не прикрашено. Она села рядом с Хансеном на бревно и, поникнув головой, водила пальчиком по своим коленям. Он глядел на нее робко, но уже с бессознательным покровительством мужчины. Медленно он сказал:

— Все-таки лучше нам не видаться. Заметят и осудят вас.

— Пусть себе осуждают,— рассеянно ответила Маро́.— Нам непременно, непременно нужно поговорить. Филипп, вы мне ответьте только на один вопрос, но чтоб это была истинная правда.

— Хорошо.

— Давайте будем простыми друг с другом. Не надо никаких рассуждений о том, что годится и не годится и что из этого будет. А скажите совсем искренне, хотите ли вы, чтоб я была с вами, или нет?

Хансен уперся подбородком на свой стиснутый кулак и молчал некоторое время. Маро́ повернула к нему свое побледневшее лицо.

— Если...

— О, нет, только не если! — прервала она его болезненно.— Пожалуйста, прошу вас, не думайте ни о чем, кроме своей воли.

— Ну, тогда я могу ответить только «нет».

— Нет? — упавшим голосом произнесла Маро́.

— Нет,— тихо повторил Хансен.— Когда я работаю тут, на лесопилке, или езжу по шоссе, или сижу дома и даже когда со своими разговариваю, вы все время со мной. Я думаю о вас днем и ночью. Мне всякая мука делается легче, когда я о вас думаю. Но чтоб все перевернуть и вы стали бы мне близкою не внутренно, а в жизни — этого я боюсь и не могу желать. Этого не нужно.

— Хорошо,— сказала Маро́,— вы сделали себе из меня мечту. Но вы забываете, что я не мечта, а живой человек. Если завтра вы возьмете другое место или вернетесь на родину, мы никогда не увидимся. Вам это все равно?

Хансен опустил голову.

— Мы никогда не увидимся, и я останусь одна,— продолжала Маро́ в волнении,— у меня ни к чему больше не будет интереса. Мечтать хорошо, когда есть надежда или когда уже ничего не ждешь в жизни. А мне вместо мечтаний придется ходить сюда и растравлять себе сердце: вот тут он ходил, тут мы вместе сидели, отсюда я видела, как он работает... Всякий раз, как зажжется электричество, я стану чувствовать боль в сердце. Когда что-нибудь облежалось и заняло место, а потом это сдвинули и унесли — какая пустота! Я сойду с ума.

— Время сделает лучше, чем мы думаем. Все заживет.

— Ох! Но лучше умереть, чем дать этому зажить! — вырвалось у Маро́. Она поднесла руку к сердцу и слабо улыбнулась.— Если так, то уж лучше я сейчас пойду в Амелит и заражусь скарлатиной. Хотите?

— Господи, что вы нашли во мне! Ну, посмотрите на меня, Марья Карловна, хорошенько. Подумайте, я простой, бедный человек. Вон у меня руки черные, а у вас беленькие. Это наваждение какое-то! — он поднял свои большие, худые руки с черными пальцами, все в металлической пыли. Эксперимент был опасный. Маро́ покосилась на них темным глазом, наклонила голову и... Хансен сам виноват, что не убрал их во-время. Он отдернул пальцы уже тогда, когда губы Маро́ их коснулись. Должно быть, все мужчины поступают в таких случаях одинаково. Бледное лицо Хансена вспыхнуло. Он схватил обе ручки Маро и прижал их к губам, конечно только в виде компенсации. Но я знал странную власть этих тонких, прохладных, сжимающихся, как листья мимозы, пальчиков. Знала их и Маро́. Ручка повернулась ладонью к целующим ее губам, и пальцы нежно легли вдоль худой щеки Хансена.

— Это нехорошо! — прошептал Хансен, прижимая к губам по очереди каждый пальчик.— Это нехорошо (поцелуй)... нехорошо... Вы так можете заставить меня ответить все, что угодно.

— Кому угодно? — спросила тихонько Маро́. Она глядела на него с неизъяснимой лаской, и ее бледнень-

кое личико стало прелестно под безобразной белой по вязкой.

— Вам угодно!

— И вам и вам тоже, слышите? Посмейте только сказать, что нет.

Он оторвал ее руки от лица, сжал их в своей мощ ной ладони и, тяжело дыша, глядел на нее. Во взгляде его была странная решимость.

— Ну, пусть так, и мне. И все-таки это еще ничего не значит. Не все угодное нам дозволено.

Маро́ соскользнула с опасной темы.

— Филипп, у вас растет борода, вы знаете? Дайте ка я потрогаю! — Она высвободила одну руку из плена и провела по его щеке пальцем. Хансен счастливо рас смеялся.

— Мы опять говорим глупости,— сказал он, помо лодевший, как мальчик, от этого смеха.— Дома ждут воды, а мы так ни до чего и не договорились. Ну?

— Дома! — гневно ответила Маро́.— Во-первых, вы не смеете говорить «дома». Ваш дом вовсе не там и не с ними.

— Но я сам себе сделал этот дом. Куда ж они без меня денутся?

— Милый вы мой... Ни до чего я с вами не могу договориться, кроме того, что умру без вас. Где я найду такого, как вы? Вы самый лучший, самый добрый, са мый умный. Сидите смирно одну минуточку, вот так

Она обвила его шею руками, стянула с головы шарф и прижалась пушистой, растрепанной головкой к его плечу. Ветер шевелил ее локоны и взметал их к самому подбородку Хансена. Он глядел на нее, опустив глаза. На лице его была тихая, сосредоточенная доброта и нежность. Вдруг он наклонился и приник губами к ее лбу. Она сдвинула голову, подняла пушистые ресницы и, тихонько поднимая личико под его губами, подста вила ему свой нежный рот.

Ни я, ни они не слышали приближающихся шагов. Шаги были слабые, качающиеся, кружащиеся. Когда хворост затрещал совсем близко, выяснилось, что они принадлежат тестю Хансена. Старичок, кашляя в ла дошку, вышел из заросли, увидел и был увиден. Маро́

скочила с бревна, подбирая свой шарфик, а Хансен медленно встал, поднял было руки в карманы, но снова свесил их и понурился.

— Пфуй, пфуй! — сказал тесть, набрал слюны и плюнул в сторону. Он поднял дрожащими руками ведерко и, не прибавив больше ни слова, повернулся обратно. Хансен подошел к Маро́ и ласково тронул ее за плечо.

— Бог с ним, не пугайтесь. И, пожалуйста, идите теперь к девочке, только не заболейте сами.

— А вы?

— Мне ничего не будет. Идите же, моя милая!

Они снова тихонько и неумело поцеловались, как двое малых ребят, и Хансен побежал за тестем, а Маро́, повязав шарфик, неуверенными шагами поплелась в аул. Когда они ушли, мне оставалось только собрать удочки, взять ведерко, кинуть прощальный взгляд на озеро, где змеились пятнистые форели, и побрести домой. Голова моя болела пуще прежнего, и ко всему этому у меня разыгрывался насморк. Я сам, впрочем, не мог ответить уверенно, от насморка или от чего другого застилались мои глаза неприятной влагой.

Но мытарствам моим еще не пришел конец. Я брел тихими шагами и хотел проскользнуть мимо двери Хансена, когда заметил сухонькую фигурку в платке, поджидавшую моего прихода. Скользнуть мимо было нельзя. В темноте сухая, шершавая рука схватила меня за руку, и я увидел «бумажную ведьму». На желтом, выцветшем лице ее желтые глаза светились фосфорическим блеском, как у кошки. Она заговорила, обдав меня запахом чеснока и гнилых зубов; слова следовали необычайно быстро друг за другом, а пальцы ее, как когти, сжимали мне руку. Честно ли это? Прилично ли это? Пусть пан доктор сам рассудит. Девушка приличных родителей вешается на шею никому другому, как чужому мужу, да еще подчиненному человеку. Им некуда деваться, у них все отняла война, и дом, и родину, и землю, а то бы они тотчас же отказались от места. Пусть пан доктор передаст это профессору, пока не случилось чего похуже. И если его дочка дорожит волосами своими, лучше бы ей держаться те-

перь подальше... Так, приблизительно, переводил я хриплую речь старухи. Она шипела незнакомыми словами, цеплялась и свистела ими возле моих ушей, и я, чувствуя себя совершенно несчастным и беспомощным, принужден был поставить ведро на пол.

— Дайте ему свободу,— сказал я, наконец, выдергивая свои пальцы из ее рук,— вы видите, он полюбил другую. На что он вам теперь?

— Полюбил другую, а, полюбил другую! Сегодня можно одну подвести к аналою, а завтра полюбить другую, а через неделю — третью? Где такой закон? Человек не пыль дорожная, чтоб летать вместе с ветром. Скажите, пожалуйста, полюбил? Что ж теперь жене делать, на улицу пойти? Да она и этого не может, больна. Она для него рожала, для него муку вытерпела, из-за него здоровья лишилась. Вот теперь бы ему и показать, что есть муж. Не постельник, не кавалер, а друг, первая защита, покров и очаг. Ему бы теперь на руках ее носить, ноги ей целовать за муку, а не шляться с бесстыдными вертихвостками, которым своего мало, на чужое глаза пялят. У-у-у, наглое твое сердце... Филипп, ты куда? Стой, ни с места!

Перед нами был бледный Хансен, с закушенной губой и блестящим, гневным взглядом. Он остановился, притворив за собой дверь.

— Мамаша, не срамитесь, сию минуту войдите в комнату!

— Так ты мне о сраме говоришь, зятек? Ловко сказано, кланяюсь тебе за ловкость. Скажите, каков пан! У своей, у этой, научился. Да я тебя, такого, своими руками по щекам проучу, слышишь ты? Я пойду искать управу, я всему свету про твой позор накричу.

— Успокойтесь и войдите в комнату! — голос его был хриплый.

— Да пошел ты, щенок,— расходившись, взвизгнула «бумажная ведьма»,— сам бы сокрылся от людей! Не рви мне рукав, не тронь. Говорю,— вон, сию минуту вон от меня! — Она подняла руку и со всей силы ударила Хансена по щеке.

— А, так,— медленно произнес Хансен, выпуская ее рукав. Он был смертельно бледен. Я воспользовался

свободным проходом и, бросив ведро внизу, поспешил к себе. Гадко было у меня на душе, гадко и недоуменно. В такие минуты лучше не обсуждать свершившегося. Да и голова болит так, словно ее давят тысячи обручей. Я взял свой пульс и с сокрушением увидел, что у меня поднялась температура. Больной, взбудораженный, с неприятной резью в горле, я забрался на диван, хотел было читать, но смог лишь трястись от порывов страшного, долгого озноба.

Глава восемнадцатая

ХАНСЕН ЗАБЫВАЕТ ДОЛГ

Я болен и лежу у себя наверху, в бумазейном халате. Недоставало, кажется, одного: чтоб я заболел детской болезнью. У меня скарлатина, по счастью в легкой форме. Она проходит, но карантин задерживает меня дома. Возле моей постели сидит Варвара Ильинишна, быстро ворочая крючком. Она вяжет из бесконечного веревочного мотка туфлю. Крючок то и дело исчезает в дырках, извлекая оттуда новую петлю, и веревочная туфля увеличивается, подобная сложному сооружению, вроде Эйфелевой башни.

Окна закрыты, несмотря на яркое солнце. О стекла бьются мухи. Цветок, подаренный мне фельдшером на новоселье, давным-давно завял и скрючился на своем стебле, как гигантский стручок; листья стали ржавыми и вялыми; на солнце края их просвечивают, словно красное кружево.

Как всегда после болезни, у меня страиное жужжание в ушах; закрыв глаза, я могу произвольно менять это жужжание, то повышая его, то понижая; мне даже кажется, что я мог бы чередовать звуки, создавая из них мелодию, но они не гибки, упрямы и неподатливы,— как сонные образы. Утомленный борьбой с ними, я открыл глаза и сделал попытку сесть на постели. Варвара Ильинишна, кинув туфлю в корзинку, подошла ко мне, подсобляя своими мягкими, полными руками моему движению.

— Ишь как похудели, голубчик. Кости да кожа Вот встанете, посажу вас на яичные желтки да на мучное, чтоб растолстели.

— Как дела в санатории, Варвара Ильинишна?

— Ну, какие там дела. Все по-старому.

— А спектакль?

— И спектакль будет. К тому времени вы сами встанете.

Я понял, что Варвара Ильинишна не хочет меня тревожить и не будет ни о чем рассказывать. Мне оставалось лишь сидеть да смотреть, как росла туфля, да следить за полетом пылинок в широком солнечном столбе, падавшем из окна. Минуты тянулись бесконечно.

— Вот и Марушина девочка выздоровела,— тихонько начала Варвара Ильинишна, спуская петлю.— Это ведь она вас заразила. Уж как мы испугались, того описать нельзя. Я вашей маме, конечно, телеграфировала, но, видно, ей некогда было приехать.

Еще бы! Невольная улыбка мелькнула у меня при мысли о приезде матери. Но тотчас же, ее устыдившись, я продолжил разговор:

— Значит, Марья Карловна выходила Амелит?

— Выходила, голубчик. Ох, сколько мне горя с этими болезнями! Я ведь сама мнительная была в молодости, не хуже нашего Тихонова, а Карл Францевич много потрудился над моим характером. Сама и теперь привыкла, даже за холерными хожу, а вот к Марушиному докторству так и не могу привыкнуть. Всякий раз сердце падает — вдруг да заразится! Но милостив бог, покуда бережет ее.

— Сестры могли бы вместо нее ходить.

— Попробуйте, скажите это Карлу Францевичу. Я и заикаться бросила. У него первый долг, чтоб воспитывать ребенка без страха. Никакое ощущение не смеет командовать человеком, это его правило. Так у нас Маро́ и выросла...— Она помолчала некоторое время, над чем-то думая. Лицо ее приняло горькое выражение.— Вырасти-то выросла, а вот теперь все правила вверх ногами полетели. Где бы им помочь, тут-то они и сплоховали, правила наши. Обидно мне, Сергей Ив

нович. Не думала я, что придется на старости лет такое горе пережить. Вы у нас, как родной, вы, должно быть, сами заметили, что затевается? Видит бог, мне это все равно, образованный он или простой. Я сама много ли знала, когда за Карла Францевича выходила? Конечно, не для того мы ее учили и воспитывали, чтоб ей мужичкой делаться, но все-таки это не препятствие. Снести можно и его положение, и звание, и необразованность, но от живой жены отнимать...

— Варвара Ильинишна, ради бога! Разве так далеко зашло?

— Куда ж дальше? Сам Филипп Филиппович теперь точно ополоумел. На все соглашается — разводиться так разводиться. На него не похоже! И радости во всем этом я никакой особенной не вижу ни для него, ни для Маро́. Оба бледные какие-то, ожесточенные, людям в глаза не смотрят. Когда друг с другом,— все хорошо и обо всем забывается, а чуть разошлись — он туча-тучей, она по комнате мечется, ночей не спит, осунулась, с отцом не разговаривает, меня гонит. Воля ваша, страшно так начинать свою жизнь. Не о том я для Маро́ у бога молила!

Она умолкла, а я снова опустился на подушки. Значит, у Маро́ с Хансеном все уже решено. Может быть, это все-таки лучше, чем прежняя неопределенность. Но как решился Хансен на развод? И что чувствует теперь больная, глупенькая женщина с унылым взглядом и вытянутым, как у зверя, лицом? Я не смел спросить у Варвары Ильинишны о Гуле.

Часы между тем проходили, и Дунька принесла мне обед — курицу и кисель. Пока я ел, упираясь локтем в табуретку, Варвара Ильинишна ласково поглядывала на меня да подкладывала мне на тарелку. Она и не знала, бедная, что, приберегая от меня санаторские новости — не замолчала самой страшной. Вечер, наконец, наступил. Электрический цветок наверху был плотно завязан зеленым тюлем, чтоб не раздражать мне глаза Когда он загорелся, разлив по комнате тусклый мертвенный свет, Варвара Ильинишна простилась со мной, поставила возле, на столике, теплого чаю с любимыми фёрстеровскими сухариками, укрыла меня ма-

терински, заткнув одеяло по бокам, и ушла. Я остался один в этом призрачном, колеблющемся свете, заострившем белизну стен, белизну моих вытянутых рук и их худобу. Спать не хотелось, читать не следовало. Я повернулся, снова сбросивши одеяло, и стал думать. Мне было постлано на диване, где мы с Маро́ так часто беседовали. Вот тут уголок, еще смутно пахнущий ее духами.

Милая Маро́, если б вы пришли сейчас ко мне, как прежде! Это невозможная вещь, но если бы, если бы! Вот раздадутся шаги; ручка дверная двигается; входит тоненькая фигурка в матроске, с короткими темными локонами, темной прядью на лбу и этим умным, знающим взглядом больших глаз. Я видел ее всю,— с прелестной линией рта и носа, с манерой смеяться, склонив голову к плечу, с тонкими, всегда взволнованными пальцами; в облике ее было так много хрупкости и готовности к страданию,— какая ошибка не уберечь ее от судьбы! Неожиданно я вспомнил маленькую сцену: Маро́ сидит на корточках во дворе и кидает хлеб птицам; куры и рослые утки рвут его у нее из рук; она несколько раз бросает его хохлатой курице с двумя крохотными цыплятами, но не тут-то было! Сердито гогоча, хлеб вырывают у курицы из-под клюва, и хохлатка двигает маленькой глупой головой во все стороны. Маро́ терпеть не может хохлатки, но из чувства справедливости она возмущена и гонит птиц. Наконец, она вскакивает, делит хлеб поровну и, побросав куски перед утками, ухитряется, незаметно для них, подсунуть остальное хохлатке. Все клюют, и Маро́ хохочет тоненьким, музыкальным смехом, склонив голову к плечу.

Пустяк, но память моя была переполнена такими пустяками. Казалось, они набирались, незаметные, чтоб зажечь меня в эту минуту волнением и болью. И боль стала так невыносима, что я закусил губу и сел на постели.

Голова у меня кружилась. Я обвел взглядом комнату и вытянул руки. О, если бы она пришла! Я ничего не сказал бы ей, а только поглядел бы, как она двигается, трогает вещи на моем столе, задумывается, опу

кает ресницы. Ни разу еще не тосковал я по человеку, как сейчас по Маро́. Безотчетно я назвал ее по имени, сперва тихо, потом громче.

В комнате царствовала тишина. Сверху, из зеленого тюля, струился тусклый, белесоватый свет. И вдруг, в сплошной тишине, возникли звуки. Это были шаги,— кто-то шел по лестнице, поднимался все выше, миновал там, внизу, дверь техника, потом дверь Зарубина, медленно перешел площадку и, наконец, поднялся ко мне Шаги звучали нн громко, ни тихо. Они были спокойные и длились, длились без конца. Я слушал их периодические возникания и говорил себе, что это мне кажется,— так долго не доходили они до двери. Лестница в двадцать четыре ступени как будто вела ко мне из бездонной глубины. Но вот в дверь мою легко постучали. Я ответил дрожащим голосом: «Войдите».

Дверь тихо раскрылась, и вошел человек. Это был Ястребцов. Не знаю, почему, но ужас меня обуял. Я вскрикнул.

— Что с вами? Успокойтесь. Я пришел узнать о вашем здоровье.— Он притворил дверь, взял стул и сел у моих ног. При тусклом мертвенном свете лицо его обернулось ко мне выпуклостями и провалами. Глаз не было видно. Вместо них — две темные ямы, темный провал рта, а между ними длинный острый нос, свисающий книзу; и два широких, вялых уха, как крылья летучей мыши.

— Кто выпустил вас из санатории в этот час? — спросил я, глупо вытаращив на него глаза.

— Да разве санатория — тюрьма? — ответил он, засмеявшись.— Здравствуйте, дайте мне руку! Ничего, я не заражусь. Я давно собирался навестить вас, но вы стали доступны только сегодня.

— Здравствуйте,— тихо ответил я, оставляя свои слабые пальцы в его костлявой руке. Он сильно пожал их и выпустил.

— Не дивитесь, пожалуйста, на меня, точно я привидение. Рад видеть вас почти здоровым. Будем надеяться, что вы встанете к нашему спектаклю.

— И я тоже надеюсь.

К моему удивлению, он не ответил ни слова, и разговор упал. Целую минуту ждал я, искоса поглядывая на него, но Ястребцов молчал. Завозившись, я потянул к себе одеяло, кашлянул, помешал ложечкой в стакане, вынул из футляра часы. Все это время Ястребцов молчал, как и прежде.

Мне становилось нехорошо от его присутствия. И так как молчание его показалось мне преднамеренным, я решил показать ему, что понимаю это, и не возобновлять разговора. Досада брала меня. Не будь я болен, не будь у меня чувства беспомощности и слабости, я постарался бы извлечь что-нибудь из этого молчания.

Протекло пять минут (я глядел на часы); еще пять, и еще три. Наконец, не вытерпев, я коснулся его неподвижных рук и резко произнес:

— Зачем вы это делаете?

Он встрепенулся, точно разбуженный, поднял руку ко лбу и раскрыл, наконец, челюсть. Все запрыгало на его лице от смеха. Две впадины с невидимым взглядом устремились на меня, и он ответил:

— Что делаю, молчу?.. Я... я просто задумался. Со мной это часто. А вы думали, я нарочно? Дело в том, Сергей Иванович, дело в том, что мне адски необходимо с вами переговорить.

— Сейчас?

— Ну да, именно сейчас. И время и обстановка самые подходящие. Скажите мне, Сергей Иванович, не удивлялись ли вы, что я, будучи с первой встречи столь откровенным с вами, ни разу потом не возобновил нашего разговора? Удивлялись, конечно. А не приходило ли вам в голову, например, что-нибудь по поводу «импульса»,— помните?

Я молчал и глядел на него.

— Непременно приходило. По свойственной вам юношеской логике,— ибо все люди в молодости уповают на логику,— вы делали разные выводы. И то, что я прибыл в санаторию с «импульсом», и то, что я оный получил здесь, и то, что мания моя не замедлит обнаружиться, если только держать со мной ухо востро, и многое такое в этом же логическом роде. Вы были со мною удивительно осторожны. Давеча, до болезни вашей,

разве я не видел, как у вас дрогнули губки-то,— в инциденте с ван-диковским костюмом? Вы вообразили, что напали на след. О, если бы я мог рассчитывать на большую догадливость!

— Если б вы хотели большей догадливости, вы не стали бы заметать следы,— ответил я медленно, силясь поймать в темных провалах его исчезающие глаза. Ястребцов откинул голову и страшно расхохотался; несколько мгновений в комнате только и звучал этот треск его хохота, похожий на разрывные бумажные хлопушки. Теперь свет падал прямо ему в лицо, и я увидел умный и печальный взгляд, неподвижный на кривляющемся лице.

— Заметаю следы... О-о-о! Но неужели же вы до сих пор не поняли, что я вообще не оставляю следов? Поймите хоть сейчас: я не оставляю следов!

— То есть как это?

— Фигурально, господин психиатр, фигурально, не вздумайте ходить по дорожкам, где я прошел,— наподобие майнридовского следопыта. Тело-то у меня пока еще есть все-таки. И вот подобным младенцам да сентиментальным ханжам, вроде вашего профессора, поручается лечение человеческой души! О, вспомните наш дорожный разговор. Как много я вам сказал, какую нить дал в руки — и все для того, чтобы вы караулили меня из-за дверей!

— Мне почудилось, что вы лгали.

— Ага! Простым людям лучше не вдаваться в сложности,— они перебросят мяч через забор. Напрасно вы мудрили, доктор. Я не солгал вам ни единым словом, и вы были бы в выигрыше, если б вникли в мои слова.

— Но тогда это поправимо.

— Что ж, давайте попробуем. Для того я и пришел к вам, милейший Сергей Иванович. Дело-то ведь со мной усложнилось, страшно усложнилось. Пока вы ловили меня в щелку — я сам себя поймал застрявшим в открытых дверях. Помните вы мой страх импульса? Да? Ну, а теперь страх удесятерился. Я открыл... я открыл, что душе моей не опасен или вернее уже не опасен никакой импульс. Тсс! Не перебивайте! Не возитесь со своим одеялом, потому что всякий звук действует на

меня отвратительно. Лучше старайтесь понять, что я говорю.

Он замолк, принял свою сиротливую позу и, засутулившись, тихонько, словно сам с собой, начал говорить снова:

— Импульс! Но это все-таки оплодотворение, завязь. Что-то должно блеснуть со стороны, уцепиться за душу и начать в ней пусть уродливую и дьявольскую, но ведь все-таки формовку! Формовку! Всякая мания — узел. Она берет вихри вашей души и сочетает их в определенную комбинацию. Ужас в том, что в меня ничто не попадает. Ужас в том, что я перестал быть способным к формовке. Мания или импульс недоступны для меня не менее, чем привязанность или привычки! Заметили вы эту странность: я не умею приобретать привычек? Я испугался моего безвластия над собственной душой, как будто это последнее несчастье. Но это не последнее! Не только я, но и мир над нею безвластен.

— Объяснитесь точнее. Ведь не имеете же вы в виду случай душевной абулии? [1]

Ястребцов схватил себя за волосы с жестом немножко утрированного отчаяния:

— Вы безнадежный педант, вы книжник, доктор! Бросьте же, наконец, эти наивные термины. Неужели вы полагаете, что я стал бы говорить с вами, если б нуждался в терминологии? Положение мое трагично. Душевная моя жизнь, если только то, что происходит во мне, может быть названо жизнью,— не приобретает психической плоти. Я не уязвим ни чувством, ни эмоцией, ни образом; ничего связного во мне не возникает. Между моею душой и окружающим остались лишь органы восприятия, и они работают, но материал их застревает во мне, не оформляясь. Вот и все. Яснее сказать не могу.

— Итак, вы утверждаете нечто, совершенно противоположное прежним вашим мыслям. Неужели вы определили свое состояние за эти два месяца?

Он пожал плечами.

---

[1] *Абулия* — безволие, неумение принять решенье. Медицинский термин.

— Легче всего находить противоположности! Будь это не так, я, может быть, и повозился бы сам с собой. Но когда это бросается вам в глаза... Впрочем, мне помогла случайность.

— Случайность?

— Да. Надеюсь, вы понимаете, что все эти годы я усиленно избегал общения с людьми из боязни импульсии. Избегал так строго, что даже не мог заметить, способен ли я к общению. Но тут, в санатории, у вас все зиждется на совместном творчестве. Пригляделся я к ним и решил испытать на себе действие чужой энтелехии [1]. Ну...

— Ну?

— И ничего не вышло. Я непроницаем ни для кого. Ни одна энтелехия не оказала на меня никакого действия. Повторяю опять, я воспринимал лишь психические состояния, а не личность, их выражающую. Всякое общение походило для меня на воздух, выпускаемый в воздух. Ровно ничего не возникало. Ха-ха-ха! Поэты, воспевающие слияние душ! Спириты, вытягивающие душу из оболочек! Богословы, именующие ее христианской! Хотел бы я, чтоб они увидели и поняли эту пресловутую душу, как я! О, да водород индивидуальней, чем она. У водорода по крайней мере способность к соединению. Надо было одеть ее, закабалить, закрепостить, нерасторжимо связать с чем-то... С чем? рецепт для меня утерян... чтоб возник человек. Взгляните, доктор, что значит дать ей свободу,— той, кого принято возносить в рай из бренного тела...

— Вы пытались любить?

— Наивно. Чем любить? Что любить? Говорю вам, я доступен лишь току ощущений, и только.

— Хорошо. Вы недавно сказали, что видите в этом последнее несчастье. Значит, есть в вас некто, называющий несчастье и чувствующий его?

— Есть некто.

— Ну так переселяйтесь скорей туда, в этого некто, и действуйте его именем.

---

[1] *Энтелехия* — аристотелевское понятие активной души, граничащей с человеческим разумом. Термин, вошедший на Западе в современную философию.

— Голубчик, я так и сделал. Но я похож на осажденную крепость или на последнюю крысу в трюме. Некто все уменьшается и уменьшается. Душа заволакивает его со всех сторон. У него нет союзника. О, если бы этого некто полюбил и увидел человек! Если б он нашел свое отражение в чужом сердце! Если бы любовь взяла его на свою цепь! Вы так еще молоды, доктор, вы, быть может, еще только наживаете, а не проживаете свою судьбу... И мне хочется тысячу раз повторить вам этот завет, по-жоржзандовски: chacun doit être aimé pour valoir quelque chose! [1]

Он скрестил руки с видом проповедника и продолжал:

— Да, судьба есть нечто вроде капитала. Сперва мы наживаем ее, а потом проживаем. Никто никогда не разберет, где кончается для нас первое и начинается второе. Спешите же, спешите запастись дорогим для вас сердцем, чтоб укрепить свою судьбу на луче любви. Не бойтесь ничьей инертности, не соединяйтесь с противником, чтоб убедить себя, что вы ее недостойны. Наши противники — это инерция чужих помыслов. Все убеждения, все заповеди, все правила — такая инерция не нашего, не нами вызванного движения. Зачем вливать в них жизнь, соединяя с ними свою свободную волю? Вы видите, что чего-нибудь нет... и вам кажется, что этого не должно быть. Ваш мозг выискивает оправдательные мотивы вашей волевой бездейственности. О, ложь, ложь, что этого не должно быть! Вас понукает инерция событий. Победите ее личной инициативой, имейте воли настолько, чтоб создать свою инициативу! Дальнейшее будет легко, поверьте мне. Ведь ваше усилие тоже получит свою инерцию и будет отстаивать себя уже вместе с вами!

Он встал, прошелся по комнате и... вдруг неслышно вышел. Этот внезапный выход испугал меня сильней, чем его появление. Я привстал с постели, крича громким голосом. Я звал Семенова, Зарубина, служанку мою Байдемат, хотя отлично знал, что никто из них

[1] Каждый должен быть любим, чтоб чего-нибудь стоить *(франц.)*.

меня не слышит. Я дошел до хрипоты, но никто не отзывался. Тогда, забыв о своем состоянии, я вскочил с постели Голова кружилась от слабости, ноги подгибались, и меня качало из стороны в сторону, как на борту парохода. Тем не менее я добрался до двери, раскрыл ее и крикнул еще раз вниз, в освещенный пролет лестницы:

— Эй, кто-нибудь!

Раздались быстрые шаги, и Хансен взбежал наверх. Он был в праздничном гороховом костюмчике с галстуком, и первое, что я уловил, это нежная струйка духов Маро́. Боль стеснила мне сердце.

— Хансен, здесь был сейчас Ястребцов...

— Не слыхал никого.

— Да, да, был и ушел. Надо пойти в санаторию и передать это Карлу Францевичу. И сказать, что Ястребцов был в странном состоянии. Завтра я сам передам подробности, но сейчас, прошу вас, сбегайте и скажите это.

— Хорошо. Внизу Маро́. Я передам это через нее, можно?

Кивнув, я вошел в комнату и кинулся на постель. Хансен тихо притворил дверь, и сапоги его застучали по лестнице. Правда, второпях, но все-таки он назвал ее «Маро́». И при этом остался спокойным. А меня до утра теперь будет преследовать «инерция» этого голоса и тона и внушать мне, что они близки. Полно, да так ли это? Почему я дам влиять на себя при помощи какой-то интонации? Вздор.

Приняв этот благой вывод, я решительно начал укладываться спать, как вдруг странная мысль остановила меня: Ястребцов пришел говорить о себе и кончил разговор на мне. Где и когда он свернул?

Глава девятнадцатая

О ДВУХ НЕВОЗМОЖНЫХ ЛЮБВЯХ

Проснувшись на другое утро, я был почти здоров, оделся и прибрал комнату. Смутное воспоминание о вчерашнем беспокоило меня. Если б я когда-нибудь

страдал галлюцинациями, я подумал бы, что Ястребцов мне приснился, до того нелеп был его приход и разговор. Но он не приснился.

Не успел я прибрать комнату и позавтракать, как Фёрстер постучал в дверь. Он вошел, улыбаясь милой своей улыбкой, собравшей бесчисленные морщины вокруг его глаз, и тотчас же рассеял все мои сомнения:

— Что говорил вам Павел Петрович? Мы не задерживали его, решив, что, быть может, это к чему-нибудь приведет.

Я передал ему наш разговор. Впечатление у меня осталось такое, будто откровенность Ястребцова была предназначена для меня лично и каждое его слово было преднамеренно с начала и до конца.

— Так-то так,— задумчиво ответил Фёрстер,— возможно, что наступил ваш черед испытать таинственное ястребцовское воздействие. Но тут есть еще одно важное обстоятельство...

— Какое?

— Не похожи его речи на выдумку. Скажу вам все, что думаю, Сергей Иванович. И вы и я одинаково боимся фантастики, но не надлежит нам прятать от нее голову под крыло, если уж она возникла в нашем поле зрения. Рассмотрим факты. Не производит ли Ястребцов на вас впечатление двойственное?

— Пожалуй.

— А характер этой двойственности не похож ли на движение луча при переходе из одной среды в другую? Поймите меня хорошенько: его поступки, слова, речи, выходя из него — ну, скажем, по прямой линии,— внезапно преломляются, меняют направление и, как-то этак искривившись, попадают вбок, на слушателя. Он начинает непосредственно с себя, со своих личных состояний и кончает непременно состояниями другого, называет ли он его, или не называет. Так ведь?

— Я думал об этом еще вчера.

— Превосходно. Мы можем предположить, что такова его тактика. Но зачем? С какой целью приехать в лечебницу и мутить больных? — согласитесь, это задача не человеческая. Когда ж ее перенесли и на врачей — она становится странным сумасшествием. Я скло

ней думать, что Ястребцов не преднамерен или, если хотите, не виноват.

— Но тогда болен?

— Сказать это трудно. Мне ясно одно: мы должны ухватиться за его двойственность. Он начинает искренне. Все, что он говорит о своей болезни, замечательно предметно и точно. Это не похоже на сочинение,— ведь такого из головы не сочинить. Но где-то, в какой-то точке искренность его пресекается. Будто посторонний вырывает вожжи у него из рук и начинает гнать лошадей в другую сторону.

— Да, да!

— И эта сторона — заметьте себе — всякий раз не индивидуальна, не лична. Она... она, думается мне, вовсе и не ястребцовская, а чужая. Она похожа на основное психическое состояние того, кто говорит в данную минуту с Ястребцовым. Помните, вы однажды выразились аналогично: «Ястребцов усугубляет в каждом его индивидуальный соблазн». Усугубляет, а не создает!

Я невольно повесил голову. Фёрстер внимательно взглянул на меня и продолжал:

— Спрашивается теперь, кто или что вырывает у него из рук вожжи? И есть ли у этого «некоего» своя злая воля?

— Карл Францевич!

— Мой мальчик, да ведь надо же привести все в ясность. Я убежден, что злой воли нет и даже «некоего» нет. Ибо тогда налицо было бы нечто его собственное. А происходит лишь такая внутренняя драма: до известного момента Ястребцов действует от себя; он говорит и чувствует вполне искренно, непосредственно, убежденный, что никакой человек, никакое явление не могут оказать на него ни малейшего влияния. А на самом-то деле именно в эти минуты весь его аппарат восприятия, незаметно для него, окрашивается в цвет, в настроенье, в душевную тональность, что ли, того человека, с которым он разговаривает. Иначе сказать, не «полная невосприимчивость» к внешнему миру, как он сам думает, а полная, абсолютная восприимчивость, как у художника, что ли, наделенного ненормальной чувствительностью, отзывчивостью...

— Но ведь у него, Карл Францевич, эта восприимчивость есть нечто вредное, злое, разрушительное! А как же великие творцы искусства? Гении человечества?

— У них эта ненормальная, бессознательная восприимчивость организована талантом, способностью воплощения. Они не отдаются ей на растерзанье. Они воспроизводят то, что воспринимают. А в случае с Ястребцовым отсутствует талант. И это очень страшно. Очень страшно, когда такая впечатляемость ничем не организована, а ей все-таки, все-таки нужно выйти наружу, излиться...

Он говорил уже не мне, а как бы про себя, тихо и словно думая вслух. И оба мы вздрогнули от неожиданности, когда дверь шумно раскрылась и в комнату заглянул Зарубин:

— Барышня и профессор! Новость! Отец Леонид приехал. У него-таки вышли неприятности из-за Лапушкина: сана лишают.

Выговорив эти слова, Зарубин исчез. Карл Францевич встал. Он погладил меня по плечу с отцовской лаской и, обещав вернуться и ко мне и к нашей беседе, поспешил вслед за ним.

Но обещание ему не пришлось сдержать вплоть до самого вечера. Я знал, что день у нас в санатории выдался хлопотливый. Внизу без конца стучали двери, то у Семенова, то у Валерьяна Николаевича. Ко мне на короткую минутку заглянула сестра. Все были заняты, и я терпеливо сидел на постели, поджидая своего часа. Мысли мои не отрывались от Ястребцова. Простые слова Фёрстера, как всегда, вернули меня к сознанию своей профессии, к необходимости врачебно помочь Ястребцову; заставили даже как-то опять устыдиться за свое отвлеченное философствованье... И все-таки, вопреки всему, потребность понять Ястребцова именно как проблему, очень близкую, задевающую чем-то меня самого и мои мысли о жизни, оказалась сейчас сильнее этой простой профессиональной обязанности врача по отношению к больному. Нельзя лечить, не поняв,— а как понять Ястребцова? Что он такое?

Впервые мне предстала вся безнадежность этой попытки: до конца определить, что же такое человек. Но

Вдруг смешная в своей простоте мысль осенила меня: наука распознает предмет по его действиям,— а разве действенное выявление человека не в судьбе человеческой? Судьба! Вот единственный ключ к тайне личности. Я опять прилег и стал думать.

Но, во-первых, мы ничего не знаем и о судьбе. Вот как по-разному понимают ее, например, трагик и драматург. Для трагика судьба валится откуда-то сверху — предопределение, рок, фатум. Чем был виноват Эдип? А он погиб. Для драматурга судьба — это характер; у него злые творят зло и пожинают зло, добрые творят добро; судьбы ревнивца, скупого, дурака, мошенника, кроткого, правдивого — все вытекают из свойств их характеров; человек носит судьбу в себе самом и никуда от нее не скроется. Для социолога судьба — это положенье в обществе; у дворянина, чиновника, купца, священника, крестьянина — судьбы определяются их сословием, профессией, они зависят от внешних условий; меняя эти условия, можно сознательно менять и направлять людские судьбы. Итак — рок, характер, общественное положенье. Ястребцов — доцент экспериментальной психологии, интеллигент. Налицо профессия, сословие — и он жалуется, что у него нет судьбы. Это не то, что народ называет «не судьба» — как у меня... Мысли мои начали путаться. Странно, что Ястребцов пришел ко мне, когда я тосковал по Маро́. Кто это сказал: «Он усугубляет в каждом его индивидуальный соблазн»?

Значит, все его слова об инерции, о борьбе за любимое сердце, о преодолении чувства невозможности,— все они были лишь эхом того, что дремало в моем сознании. Не он,— я, я сам породил эти слова. И это был мой соблазн?

И правда, в самом тайном уголку моего существа тлела надежда завоевать Маро́. В надежде этой, такой естественной, конечно, не было никакого греха, кроме одного-единственного — прегрешения против правды. Не потому вовсе, что я не достоин Маро́, не от лени, не от бездействия,— но кто-то во мне сознавал, что Маро́ для меня невозможна. Этот кто-то был, пожалуй, степенью моей любви к ней. И сознание наложило запрет;

никакое событие не могло бы его снять! Когда человеку, опытно познавшему что-нибудь, силятся внушить нечто противоположное, он может ответить только одним: я знаю, знаю, что это так. И я знал, что Маро́ не может полюбить меня; если б не знал этого, события были бы вольны подчиниться моей воле.

Почему я это знал? Моя любовь к Маро́, открывшаяся внезапно и сквозь влюбленность, не была ни помрачнением, ни обычной влюбленностью. Первое дыхание ее принесло боль,— совсем такую, какую приносит познание. Мне открылось бытие этой темноглазой девушки с болезненно-нежным ртом во всей его священной глубине, как иногда переживаешь свое собственное бытие. Я увидел в ней такое же стремление к долгу и хотение счастья, как в себе; увидел в ней борение между тем и другим, жестокий нравственный конфликт, понятный и близкий моему духу; веру, похожую на мою; интимный культ чистоты, совпадающий с моим собственным. Когда мы бывали вместе, все личные темы моего духа небывало оживлялись и обострялись, точно она принимала в них участие; наше общение всегда было творческим; мысли встречались на полпути. Короче сказать, в ней я познал второе бытие с тою же исключительной интенсивностью, с какою познавал свое собственное. И это познание — любовь (не знаю, как лучше назвать!) — и открыло мне глаза на невозможность обладания ею. Каждое направление ее воли было ясно мне, как если б оно исходило от меня; в ней я переживал любовь к Хансену, как в себе — любовь к ней. И в том и в другом я постигал неизбежное... А теперь, наперекор ясности моего сознания, из темных душевных глубин возникли соблазны.

Ястребцов говорил об инерции... Не загипнотизирован ли я инерцией любви Маро́ к Хансену? Не отсюда ли черпаю свою теорию о невозможности? Соблазн копошился, ища помощи у смутного волнения крови, у образов, приводимых памятью, у эмоций, загораживающих зрение духа. Я тосковал до самого вечера, измученный потоком своих мыслей.

Когда, наконец, расцвела наверху лампочка, я дождался посетителей.

Это были Дунька и Варвара Ильинишна. Они походили на беспорядок, на спертый воздух, остатки обеда в тарелке; загнали меня в спальню, проветрили и вычистили комнату. Когда я получил разрешение выглянуть, комната совсем преобразилась. Стол они выдвинули на середину, покрыв его чистой окатертью, постель убрали с дивана.

— Погодите немножко, голубчик мой, Сергей Иванович,— сказала добрая профессорша,— мы на вас виды имеем. Конференцию хотим устроить.

— Слава богу! Я одичал тут без людей.

— Придут отец Леонид, Карл Францевич и Маруша. И самовар сюда Дунька подаст. Отец Леонид к нам очень расположен, вот мы и задумали план, чтоб ему с Маро́ потолковать.

— Разве он знает!

— Да кто ж не знает? — вздохнула она горько.— Хорошо, что человек он такой, которому все можно доверить. Хоть бы удалось ему повлиять на Маро́. Вы ее увидите,— не пугайтесь! Такая стала, что и не узнаете, каменная словно. И плачем мы с ней обе по ночам, она у себя, а я тоже, за стенкой... Плакать — плачем, а на словах друг другу ничего не передаем. Со мной она еще туда-сюда, к отцу же прямо ненавистная стала, дерзости говорит.

— Не мучайте ее, это она от боли!

— Кто ж мучает, господь с вами... И понимаем мы все, что у нее на душе. Знает, ох, знает она, как ей поступить, и у отца в глазах свою же волю читает; оттого и восстает на него. Вы ей не выдайте, что я с вами говорю... Кажется, идут. Ну, дай бог!

В дверь легонько постучали. Это были отец Леонид, Фёрстер и фельдшер Семенов.

Пухленькое, веселое лицо батюшки с невозмутимым взглядом маленьких глазок было сейчас бледным и опавшим; возле губ легли две неврастенические складки; он похудел. Пожав мне руку и обстоятельно осведомившись о моем здоровье, он сел, вынул кипарисовую табакерку и стал крутить папироску. Когда процедура была закончена и папироска благополучно водво-

рена в левом углу рта, батюшка проговорил, упир... на «о».

— Вот новости какие в рассуждении о душевны... болезнях,— просто диву даюсь! Читаешь иной раз кни... ки и принимаешь за сочинительство, однако на сам... деле все житейское страшноватей книжек.

— Отец Леонид говорит о Ястребцове, я расска... ему,— вставил Фёрстер,— и представьте, он находи... что взгляд мой сам по себе не противоречит библии!

— На слова мои, Карл Францевич, не ссылайте...! Опасно, опасно. Есмь еретик, по указанию начальст...

— Ну, а все-таки, ведь вопрос о душе в теологии н... просто решается?

— Какой же это вопрос просто решается? Да еще и решаются ли они, вопросы-то? Сложность определе... ния есть, и всякое разноречие. Начать хоть с библии. Сказано: вдохнул творец жизнь, и стал человек душою. Обходились с сим текстом удовлетворительно до нового времени, пока не завелось недоумение. Теперь целая американская ересь есть, и у немцев с недавней поры произросла. Рассудили: как это «стал человек душой»? Душа-то, значит, простое жизненное начало, именно как бы закон жизни, одушевление материи, и никакого осо... бенного значения у нее нет. Зря, следовательно, говори... о воскресении души. Когда воскреснет, то уж, конечно, только не душа, а нечто другое. Душа только рождается и помирает.

— Есть такая ересь? Чья она, отец Леонид? — с удивлением спросил я. Батюшка улыбнулся кончиком глаз.

— Чья же, как не пасторская? Сочинитель ее некий пастор Руссель (батюшка выговаривал «пастóр»). Опять-таки, если обратимся к Новому завету, увидим двоякое истолкование души. Говорит господь: иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю; а иже погу... бит душу свою мене ради, сей спасет ю. Неужели тут про бессмертную часть нашу сказано? Никак, ибо так... завет божий, чтобы спасать ее, а не губить, беречь, и не терять. Но именно разумел господь под душою жи... ненное начало, ощущаемость нашу. В иных же мест... говорится о душе инако, с божественным значение...

Так и апостол Павел различал в человеке душевного и духовного. И первого ставил невысоко, подобно нашему временному и преходящему, как условие мира сего. Предмет этот спорен и многосмыслен.

— Ведь и у древних психея — начало жизни, дыхание. Совсем неустойчивый элемент! А вот устойчивое понятие у Аристотеля — энтелехия. Психическое исчезает со смертью, энтелехия бессмертна,— сказал Карл Францевич.

— Да-с, и древние, значит, различали? Не могу тут судить, не осведомлен. А расскажу вам про одного моего монаха знакомого, человек мыслей неожиданных. Он так, бывало, и говорит: душа, говорит, начало дыхательное, цветы — и те душу имеют, поелику дышат. И не должно, говорит, выражаться «дух захватывает» или «доскачу единым духом» и «дух тяжелый в комнате». Это все словесная путаница. А как же, спрашиваю я его, прикажешь выражаться? А выражаться, говорит, подобно «дых». Одно есть дух, а другое есть дых.

Варвара Ильинишна всплеснула руками. Она поглядела на нас бочком и, улыбаясь, произнесла:

— У меня уж дых захватывает от ваших речей!

Мы все рассмеялись, и не успел хохот наш отзвучать, как дверь отворилась и вошла Маро́. Она была немножко удивлена и раздосадована этим смехом. На ней было темное пальто и белый платочек, руки она держала в карманах. Лицо чуть-чуть побледнело, глаза запали, и выражение их было тоскливое, как у плененной птицы. Но, кроме этого, я не заметил в ней никакой особенной перемены, о которой упоминала профессорша.

— Сергей Иванович, здравствуйте,— сказала она коротко.— Рада, что вы поправились. Ну, я пришла, па. В чем дело?

— Сядь, дитя мое, и посиди с нами.

Маро́ пожала — по-ястребцовски — плечом, потом скинула пальто и села. Варвара Ильинишна налила ей чаю.

— У отца Леонида неприятности вышли,— сказал Фёрстер,— могут его из-за нас сана лишить. А все этот болтун Залихвастый.

— Он. Как вернулись мы в Сумы с похорон, так и распространился: дескать, самоубийцу похоронили и прославили, и у гроба его чудотворная сила обнаружилась... Оно и пошло, куда следует. Вреден человек, отчета себе в поступках не дающий. И не злой, да вредный.

— Значит, вы, отец Леонид, от нас уходите? — взволновавшись, спросила Маро́. Она отодвинула чай и сидела, опершись на локти.

— Определенно ничего и сам не знаю. А придется уйти — уйду. Много я об этом передумал, Марья Кирилловна. Ведь я вдов, один как перст,— жалеть некого. Совесть меня ни за что не укоряет. Конечно, и места жалко, и паству, и годы не такие, да и придирка ко мне пустяшная, выеденного яйца не стоит,— но вины за собой не вижу, значит и пострадать легко.

— Вон вы какой. А по-моему, уж страдать — так за вину.

— Спаситель наш разве за вину пострадал? — усмехнувшись, спросил батюшка. Хоть он, видимо, и решил принять испытание, но по лицу его было заметно, что не так-то это легко. Покраснев и расстроившись, он вынул большой клетчатый платок и стал усиленно сморкаться. Пухлые пальчики его слегка дрожали.

— Отец Леонид, Маруша, с тобой поговорить хочет. Насчет твоего дела...— робко и с видимым страхом произнесла Варвара Ильинишна.

— Насчет какого «моего дела»? — Маро́ нахмурилась и грозно взглянула на всех нас.

— Не нужно, барышня моя, сердиться. Разве чужие мы вам? Все тут свои люди, а я вас еще этакой видел, когда вы под стол гулять ходили. Теперь же, когда замуж выходите, мне ли не сделать вам напутствие?

— Замуж выхожу! — горько вырвалось у Маро́. Погодите, дайте ему развестись.

— Он, кажется, евангелического вероисповедания? Развод у них не долгий, тяп да ляп — и готово. Не то, что наша суконная волокита. Ну, а куда его первая жена пойдет? Слышно, с постели она не вставала?

Я видел побледневшее личико Маро́ и трепет опущенных век на ее глазах, и мне было жалко ее до боли

И посмотрел просительно на Варвару Ильинишну, и та сразу пришла на помощь:

— Августа Ивановна поправляется...

— Отец Леонид, вы умный и добрый! — прерывая мать, страстно воскликнула Маро́.— Почему вы не допускаете ошибок? Почему в вас нет любви к человеческой жизни настолько, чтоб хотеть исправить неверное? Сколько браков, похожих на простую случайность... И вы думаете закабалить человека в его ошибках и не дать ему никакой надежды на исправление зла?

Фёрстер, молчавший до сих пор, поднял голову. Он взглянул прямо на дочь, открытым, живым взглядом, как почти не глядел ей в глаза последнее время.

— Маруша, вовсе отец Леонид этого не думает, да и я, и мать, и все мы не думаем. Даю тебе слово, ты сама, одна только ты, мешаешь нам согласиться с тобой. Ты погляди на себя со стороны. Ты сейчас все время борешься, и тебе кажется — против нас, против нашего несогласия. Но пойми, нет никакого несогласия. Мы согласны. Мы ничего тебе не внушаем, не требуем, не насилуем, мы уважаем Хансена, он хороший, честный, обаятельный человек. Но ведь ты несчастна, Маро́. Не в нас препятствие, в тебе препятствие. Мы друзья тебе, давай разберемся разумно — в чем тут дело.

— Священника пригласили — воздействовать,— с искаженным лицом произнесла Маро́.— Согласны... Сами проверьте, сами посмотрите на себя со стороны. Батюшка, если так начать, конца не будет... Подчиняйся, смиряйся... Значит, всю пакость, какая есть в мире, принять как должное, неизбежное, значит — терпеть, и терпеть, и терпеть ради спасения души? Этого вы хотите?

Фельдшер Семенов, тихонько сидевший в своем углу, неожиданно заговорил. Он так редко вступал в общий разговор, что я взглянул на него даже с испугом, не зная, что может выйти из его участия в разговоре.

— Марья Карловна, барышня,— раздался его приятный, густой басок, такой спокойный, словно няня говорит ребенку,— ведь нынче война идет, время военное. В японскую в нашей деревне много семей врозь пошло.

Я так смотрю на положенье Хансена — нет его тя[illegible] лее. Родины они лишились, и как там ни говори — б[illegible] женцы они. Беженцев очень надо понять. У них толь[illegible] и осталось, что семья, им держаться друг за друга в[illegible] равно, что за надежду держаться — прошлое ворот[illegible] попрежнему зажить. Верьте мне, Хансену сейчас — н[illegible] с одной женой прощаться. Ему сердце рвать — от р[illegible] ного города, родной речи, да и старик, Ян Казимир[illegible] вич, ему вместо отца. Какая же тут пакость?

— Маруша это понимает, Тихоныч,— произнес[illegible] Варвара Ильинишна.— Она лучше нас понимает их п[illegible] ложенье.

— Лицемеры! — опять вырвалось у Маро́, но как [illegible] тоненько и надрывно.

— Почему? — спросил Фёрстер.— Или ты всерь[illegible] убеждена, что мы не хотим этого брака, потому что [illegible] рабочий? Ты всю жизнь провела с нами, отец и м[illegible] были перед тобой каждый день. Разве мы дали т[illegible] повод думать о нас так гадко? Или ты всерьез уверен[illegible] что мы стоим на церковной точке зрения, вообще пр[illegible] тив разводов? Отец твой, ты сама знаешь, неверующий. Я не против всякого развода вообще. Да, я хочу тебе счастья, хочу, чтоб нервы твои не надломились в д[illegible] дцать лет, хочу видеть тебя здоровой, ясной, идущ[illegible] прямым путем. Не хочу, чтоб ты разрушила счаст[illegible] другой женщины. За что ты бросаешь нам такой упре[illegible] В чем наше лицемерие?

— Тогда почему, почему вы все против?

— Отец тебе сказал, Маруша. Несчастлива ты, во[illegible] препятствие,— отозвалась Варвара Ильинишна.

Я слушал этот разговор в каком-то душевном о[illegible] пенении, словно он снился мне, а не происходил на [illegible] мом деле. Я испытывал острую, режущую боль за Мар[illegible] Мне казалось — со всех сторон в нее вонзаются но[illegible]

— Будь вы настоящие отец и мать,— вдруг сказа[illegible] она совершенно спокойным, недобрым, не своим го[illegible] сом,— вы сделали бы, как все родители делают, [illegible] могли бы мне оторвать его, приняли бы, укрыли, на[illegible] дили, устроили, вот вы что сделали бы. Вы бы уд[illegible] терили мои силы, а не перебивали мне каждый мой ш[illegible]

ослабляли меня. Все равно — уйду, уйду от всех , уйду с ним или без него...

И тут вдруг батюшка, молчавший до этой минуты, іиял пухлую ручку. Я видел, мельком глядя на него, он вряд ли и слышит эту прорвавшуюся, открытую, ізвестно куда ведущую словесную битву самых близ- друг другу людей; мысли его где-то совсем в сто- ie, о чем-то своем. Но тут он вдруг вспомнил собст- ную обиду, нанесенную ему бедной Маро́:

— Где ж это видели вы, что я смирение пропове- о? Если б я был такого взгляда, с меня теперь рясу снимали бы. Повинился бы перед начальством — и ю с концом. Но ты разумей, человек, где борьба, а и поборение. Кому бороться надо,— борись за пра- дело.

— Почему же вы знаете, что мне-то, мне побороть ю, а не бороться за любовь мою! — гневно вскри- а Маро́.— Мы жену его не бросим на улицу, мы... се обеспечим, все удобства ей создадим, каких она ерь не имеет... Мы это все обсудили давным-давно!

— Что же она, радуется? Или, может, ей удобств них ни колишеньки не надобно?

Маро́ подняла обе руки, словно защищаясь от удара, вдруг уронила их и, положив на них голову, зары- а громко, как плачут дети, с безутешным и без- жным отчаянием.

Глава двадцатая

БУМАГА ШЕВЕЛИТСЯ

Сердце мое сжалось. Я вскочил и кинулся к Маро́. меня предупредил Фёрстер.

— Маро́,— сказал он, нагнувшись к дочери и про- вая ей руки,— дитя мое!

— Па, ах, па...— она произнесла это сквозь боль, надежно, не находя других слов, и спрятала голову груди у отца.

Батюшка счел необходимым заглянуть для чего-то юю табакерку, а потом, убедившись в бесполезности

этого поступка, вынуть изо рта папиросу и глядеть на нее до тех пор, пока она не потухла. Фельдшер Сем... вышел тихонько из комнаты. Варвара Ильинишна спр... талась за самовар, сморкаясь что-то уж очень дол... смятый платочек. Даже мухи заползали по столу с самым конфиденциальным видом, удовлетворяясь ... шим способом передвижения и не делая взлетов на наши лица. И было вполне понятно, что я, самый по... ронний в этой конференции, тоже, как и фельдшер, ... шел на цыпочках и спрятался у себя в спальне. Т... кончился наш заговор против Маро́. По мнению Вар... вары Ильинишны, «необыкновенно удачно»,— так уд... но, что уж теперь она сама выберется на дорогу, и ... нужно ее, бедняжку, мучить ни единым взглядом и... намеком. Так шепнула она мне, заглянув в спальн..., когда Фёрстер отправился домой с Маро́ и с отцом Ле... нидом. Я видел, как она опять нерешительно взглянул... в мою сторону,— ей, видно, не хотелось оставлять ме... одного.

— Сергей Иванович, голубчик, я Дуню пришл... проветрить и подушки вам взбить!

— Спасибо, не беспокойтесь, Варвара Ильинишн...!

Но вместо Дуни ко мне совсем неожиданно загля... нул Зарубин. Лицо его было как-то странно пере... шено, словно в прерванной гримасе, и я не пон... сразу, злится он, огорчен или намерен расхохотат...

— Вы как себя чувствуете сейчас? — рассе... спросил он, даже и не поглядев на меня.— Говорит... можете?

А мне страстно хотелось поговорить с кем-нибу... Весь этот вечер я играл роль молчальника и весь ... вечер копились и копились во мне мысли и впечатле..., которым не было выхода. Я знал, что он сегодня де... рит, знал, что, видимо, воспользовавшись прихо... Фёрстера в санаторию, попросту сбежал на минутк... дежурства, но мне так страстно хотелось поговорить ... ним, что я не стал думать, почему и зачем он прибеж... ко мне.

— В самом настоящем настроенье,— лихорадочн... ответил я, садясь возле него.— Тут была конференци... Очень тяжело, драматично все выходит, и я не зна...

— Какая конференция? — перебил он меня, вдруг словно пробудившись от своих мыслей.

Я начал рассказывать ему все подряд, довольно бессвязно, перемешивая рассказ собственными выводами и рассуждениями.

— Значит, был Ястребцов? Потом профессор с отцом Леонидом? Карл Францевич как вам показался на сей раз?

И опять он перебил мои мысли чем-то своим, а я не понял и продолжал говорить:

— Происходила как будто хирургическая операция, и мы все ассистировали. Вы понимаете, как Маро́ за последнее время ушла в себя, ни с кем не делилась, озлобилась, ходила каменная... Вот это надо было взорвать в ней общими усилиями. В конце концов довели до слез, и это прорвало, это было спасение для нее. Даже наш фельдшер-молчальник заговорил. Но я не удовлетворен, Валерьян Николаевич. Мне кажется, мы сегодня просто насиловали судьбу двух людей, и кто вообще имеет право вмешиваться в чужую судьбу?

— Вы о чем, Сергей Иванович? — спросил вдруг Зарубин так рассеянно, что я понял — он совершенно меня не слушает, и откровенно рассердился.

— Ну, ну,— взглянув на меня, протянул он добродушно,—могу даже повторить, что вы сказали — хирургическая операция, прорвало, Тихоныч заговорил. Сергей Иванович, неприятности подошли, вот почему я к вам забежал.

— Неприятности? Еще что-нибудь?

— На сей раз не психологические, а самые настоящие. Получил из Питера письмо от одного благожелателя — сообщает, что готовится на нас целая облава. Приедет сюда на этих днях ревизия, но больше формально, потому что в сферах, кажется, уже все решено и нашего Карла Францевича снимут.

— Снимут? Карла Францевича? Да разве санатория не его рук дело? Ведь он хозяин!

— Во-первых, там какие-то акционеры сидят, капитал не его. Он сам у них на жалованье. А во-вторых, нынче не очень-то смотрят, кто создавал. Ликвидируют или реквизируют под госпиталь — вот и вся штука.

Я мигом забыл все свои переживанья.

— Боже мой! — вырвалось у меня.— Валерьян Николаевич, это ужас, это невозможно. Дело погибнет, дело какое!

— Будем бороться,— ответил Зарубин.— Я пока ему ни слова, и вы молчите, заранее не волнуйте. Ему к ревизии готовиться нечего, все у него открытое, всем и каждому видимое, а пожалуй Карл Францевич по присущей ему чистоплюйности еще хорошее припрячет...

Хорошее — это особая бескорыстность Фёрстера и его любовь к санатории. Хоть я и не был в курсе финансовой стороны, но знал от фельдшера, что Фёрстер много строил и ремонтировал на свой счет, частенько выплачивая и жалованье сезонным рабочим из собственного кармана. Зарубин, конечно, намекал на все эти факты.

— Бороться, бороться будем, но вы пока ни слова! А насчет операции — вы мнением местных жителей, горцев и прочих, когда-нибудь интересовались? Не интересовались, так спросите. Услышите неожиданное, Сергей Иванович.

И в то время как я под впечатлением новости о ревизии уже успел выбросить из головы все свои думы о Маро́ и Хансене, Зарубин, оказывается, отлично слышал меня и не пропустил слышанного мимо ушей.

— Поговорите с ними,— продолжал он, чуть понизив голос,— надо ведь к фактам со всех сторон подходить. Жители здешние, конечно, если вы их вызовете на откровенность, скажут, что наша барышня негоже себя повела, от живой жены мужа отбивает, закрутила голову рабочему человеку, не в свое общество полезла жениха ловить. Вот каков голос народа. Больно слышать? И мне больно. И все-таки, друг милый, это истина, такая же истина, как ваши психологические тонкости о неземной любви и о сродстве тонких душ,— только взятая с другой, житейской стороны. Нашей Марии Карловне эта истина невдомек, она ее не услышит и ей никто ее не перескажет. А за спиной все говорят, но без исключенья, и в том числе купец Мартирос. Это от себя не отбросишь. Это, Сергей Иванович, суд и осуждение.

Я представил себе, каким холодным ужасом наполнили бы эти слова бедную Маро́, если б она их услышала, какой грязью забросали бы ее чистое и невинное отношение к Хансену. И все-таки, все-таки... А Зарубин, словно угадав мои мысли, тем же тихим голосом прибавил:

— Все-таки полезно было бы ей услышать. Есть такой один момент в цепи наших поступков, когда человек, ежели он животное разумное, homo sapiens, вполне может остановить себя. Остановил развитие чувства — и факты пошли другой дорогой, уморил в себе червячка, не дал ему кушать, сдох червячок в зародыше, только и всего. А мы, видите ли, чуть червячок заведется, окружаем его поэзией, этаким ландшафтом, снеговыми вершинами, воображеньицем — еще бы, Гольбейн, Ван-Дик,— и непонимание его окружающей средой, монстры вместо семьи, теща баба-яга, жена — внутренний враг, и пошло, и пошло. Тут я с Карлюм Францевичем в корне расхожусь. Деликатничал до предела, предоставлял свободному теченью. А будь моя дочь — я бы отрезал ей всю правду по-мужицки, как она видится простым людям.

Я ничего не ответил ему. Он был и прав и глубоко, решительно, по-человечески неправ.

— Вообще, друг мой,— Зарубин встал и снова заговорил обычным голосом,— в сужденьях ваших о положении вещей я давно заметил один вопиющий пробел. Не сердитесь, но вы судите-рядите о людях, словно все они живут на манне небесной. Выпадает у вас как-то, что люди зарабатывают в поте лица хлеб свой насущный. А это ведь главное. Вы поглядите, как Хансен трудится. И как его жена трудилась, пока на ногах стояла. Простая, молоденькая работяга-бабенка, и был у них настоящий лад, как в нормальной семье. А спросите себя, разве в таком вопросе можно решать, не думая о хлебе насущном? Хансен своим жалованьем кормит четырех человек. Как он устроится, ежели разведется? Что будет делать его нынешняя семья? И умеет ли наша барышня по-настоящему, в поте лица, работать? Да еще угроза нависла — снимут нашего профессора...

Вошла Дуня, и Зарубин, кивнув мне, быстро удалился.

После нашего с ним разговора прошло несколько дней. Карантин мой кончился, август подходил к середине. Бледная и тихая, как тень, Маро́ сторонилась меня. Фёрстер лежал с сердечным припадком. Никто из нас так и не решился сказать ему о ревизии. Были и другие перемены.

С того времени, как тесть застал Хансена и Маро́ у озера, техник перестал таиться от семьи. Гуля, лежавшая в постели, отнеслась к событию с безучастной покорностью. Сперва она плакала тихонько в подушку, потом перестала и плакать и лежала день и ночь с полузакрытыми глазами, жалуясь на жесткость тюфяка. Это была ее единственная жалоба. Ей добыли высокий пуховик, мягкий и вздутый, как волны морские, перекрыли постель, и, когда она улеглась, словно окунулась в него, жалобы ее на несколько часов стихли. Но на другой же день, повернув безучастное лисье личико к матери, она закряхтела и застонала тихонько, с нескончаемой обидой, все на ту же тему: бокам больно, животу больно, пояснице больно и тюфяк жесткий.

«Бумажная ведьма» все не хотела верить в тяжелое положение дочки. Она каждый день топила печь и пекла сладкие пироги; она приносила Гуле кавказские лепешки из кукурузной муки, дикие яблоки, ягоды, орехи. С тихим упорством совала она ей тяжелую пищу, надеясь набить ее высохшее тельце до нормального человеческого объема. Это был своеобразный метод лечения, и старуха верила в него непоколебимо. Но Гуля с тоской отодвигала и пироги и лепешки, разгрызала слабою челюстью орех, чтоб выплюнуть зерно и скорлупку, и почти ничего не ела. Ей нестерпимо хотелось пить. Она пила медленно и подолгу, как лошадь.

Убедившись, наконец, в ее болезни, «бумажная ведьма» испугалась и осунулась. Черный страх томил ее по вечерам и ночью. Зять их бросает, дочь может умереть, дом далеко, вокруг враги и чужие. Она перестала браниться, не выходила дальше своего порога и, глядя вперед неподвижными, ничего не выражающими глазами, шептала что-то про себя. Беспокойство не давало ей

сосредоточиться ни на какой работе. Однажды, когда в тупом мозгу ее зародилась идея, на сцену, из дальнего угла комнаты, составлявшего что-то вроде пустого пространства меж сундуком и шкафом, был извлечен кашляющий старичок, серый от пыли и ожидания. Его усадили за стол, на котором оказался лист бумаги и допотопная чернильница в форме Вавилонской башни. Грызя ноготь и кашляя прямо на бумагу, старичок составил и написал длиннейшее послание, которое, по слову всезнайки Зарубина, начиналось обращением «Кохане родзино» [1] и было отослано прямехонько в город Пултуск, оккупированный немцами. Свершив это, несколько дней старуха была покойна.

А куда же исчез Хансен? Он связал свои пожитки в мешок, взял маленькую красную подушку без наволочки и перебрался на житье к фельдшеру Семенову.

Пока шли эти события медленным чередом во флигеле,— наверху готовились к спектаклю. В большую залу санатории больше не допускался никто, кроме участников. Студент Тихонов докончил свои декорации, и рабочие лесопилки укрепили их на эстраде. До второго сентября оставалось всего три недели.

Однажды я шел во флигель после утренней прогулки и наткнулся на крытую рессорную повозку, стоявшую возле лестницы. В повозку была впряжена унылая лошадь, лохматая, как собака, валявшаяся на сене. Высокий седой горец ходил возле, похлопывая кнутовищем. Удивленный, я остановился. Кто-то уезжал. Кто?

С лестницы мелкими шажками сошел тесть, неся две огромные ситцевые подушки. Он устроил подушки на сидении и снова поднялся. Потом были последовательно снесены вниз тюк с тряпьем, корзинка, старый самовар и медный таз внушительного размера. Когда вещи водворены были под сидением кучера, старик свел, точнее снес, вниз закутанное мумиеобразное существо с поникшей головой и слабыми, сонными ручками, висавшими по бокам. Маленькие тупые глазки встретились с моими глазами и ничего не выразили. Это была Гуля. Отец уложил ее на сидение, мать села рядом и

[1] Дорогой родственник (*польск.*).

охватила ее рукой. Кучер взгромоздился на свое место, подняв ноги выше головы, а лошадь, не внушавшая мне особенного доверия, вдруг дрыгнула всеми четырьмя ногами и понеслась вниз не без грации. Да что же это было за переселение? Тесть остался стоять на пороге, и я подошел к нему.

Пан доктор желает осведомиться, что это означает? Хорошо, он с удовольствием ответит на все вопросы, особенно если пан разрешит закурить папироску или, еще лучше, ссудит его таковой. Очень и премного благодарен пану. Да, он осиротел, решительно осиротел. Он остался в полном одиночестве и будет сам себе варить суп, чему он выучился, еще будучи на военной службе. Мало кто верит, что он, именно он, Ян Казимирович, был некогда лихим солдатом и даже отмечен своим начальством, но годы берут свое, и много ли таких старух, по которым узнаешь, что они были красавицами? Жена его тоже была в свое время красавицей, он познакомился с нею на вечеринке у лесничего, и после того долго плыло у него перед глазами сияние, как бывает, когда глядишь на солнце.

— Но куда все-таки они уехали? — снова спросил я, ошеломленный этим потоком красноречия. Старичок пожевал губами, покашлял и, наконец, ответствовал, что Гулю повезли в приемный покой для операции, и мать будет жить с ней, пока она не встанет.

Итак, Гулю решено оперировать. «Давно пора», — сказал я расходившемуся старичку, немедленно последовавшему за мною во флигель, качаясь на своих дугообразных ногах. Весь день он не отставал от меня, не отставал от Зарубина, не отставал от Семенова. Он сам наварил себе еду, накрошив в котелок неимоверное количество картошки и луку. Выхлебав эту бурду до половины, он не замедлил разогреть остальное на ужин и, удостоверившись, что я дома, пришел ко мне с двумя ложками и с приглашением разделить его трапезу. Я отказался. Тогда он «засеменил» вниз, как говаривал в шутку Зарубин, то есть отправился к Семенову. У фельдшера был Хансен. Не знаю, что произошло между зятем и тестем при мягком посредничестве нашего Сократа, но только спустя полчаса старичок на-

шел со своей крынкой, и она оказалась выеденной до дна, а обе ложки, болтавшиеся в ней, побывали, несомненно, в употреблении. Надо полагать, они обслуживали не один-единственный рот. Вслед за стариком вышел и Хансен, посвистывая. Он нес металлический чайник и направлялся на родничок.

Когда я сошел по лестнице, чтоб идти ужинать к Карлу Францевичу, глазам моим представилась необычайная картина. Двери «техниковой» комнаты стояли настежь, обнаруживая несомненное в ней запустение. Но на столе пошипывал кипящий чайник, стояли два пустых стакана да надрезанный серый хлеб. А за столом, в полном мире и согласии, кашляющий старичок и молчаливый Хансен с видимым интересом поигрывали в дурака. Наступило время и мне кашлянуть. Хансен поднял глаза, отложил карты и встал. Мы пожали друг другу руки, сердечно, как прежде. Он поглядел на меня своим добрым, углубленным взглядом и виновато сказал:

— Скучает старик. Не привык быть один.

— Хорошо, Филипп Филиппович, я передам Фёрстерам, что сегодня вы не придете.

Он кивнул головой и возвратился к столу. А я зашагал в профессорский домик и был удивлен еще одной неожиданностью. Столовая, ярко освещенная всеми пятью лампочками, выглядела, как встарь; на столе возвышалось целое блюдо горячих, пахнувших печкой, сухариков. Профессорша перемывала чашки, опять стараясь не шуметь,— а профессор сидел на своем любимом месте, немножко бледный и болезненный после сердечного припадка. В этом, конечно, не было еще ничего удивительного. Но, переводя глаза от профессора в сторону, можно было увидеть тоненькую фигурку в матроске, с темной пушистой головой, подпертой двумя неподвижными ручками. У фигурки веки были опущены, а губы равномерно двигались. Она читала вслух — и это-то и было самое удивительное. В довершение ко всему на соседнем стуле осанисто облизывалась кошка Пашка, а внизу лежал, уткнув морду в лапы, пес Цезарь.

Я остановился на пороге и улыбнулся. Неужели все

минет, как дурной сон, и, может быть, уже минуло, и мы заживем по-старому?

— Входите, голубчик Сергей Иванович, Маруш сделает остановку,— сказала мне Варвара Ильиничн Я вошел, и был усажен, и получил свою порцию ч и вкусных вещей. Маро́ продолжала читать по-англий ски. Это был один из ее любимых авторов — Шекспир Она дочитывала последнюю сцену из «Отелло». Гол ее был спокоен и ровен. Мне казалось, что ей при ятней читать сейчас по-английски, нежели по-русски она пряталась под чужую речь, и интонация ее бы замаскирована этими скользящими, мягкими словами Я стал слушать не без напряжения. Потом потер нить, остановился глазами на какой-то точке пове головы Маро́, задумался; покойно сделалось у меня н душе. И не знаю, сколько времени просидел бы я та отдаваясь убаюкивающему голосу, если б Маро́ не под няла ресницы и не встретилась с моим взглядом.

Острая жалость кольнула мне сердце. Под темными глазами ее были голубые круги, и оттого они стали п хожи на большие ночные фиалки. В их сумраке был боль, резкая, как крик. Ей, видимо, стоило труда н давать этой боли вырваться наружу. Она боролас с ней, душила ее, передвинула книжку, опустила ре ницы, поглядела, сколько осталось до конца. Ког снова стала читать, голос ее слегка дрогнул и стал мат вым. Фёрстер протянул руку, тихонько взял у не книгу и начал читать сам. И как читать! Холодок п шел у меня по спине. Передо мной был уже не профе сор Карл Францевич, с его спокойным и ровным голо сом, а царственный полководец-мавр в последню страшную минуту своей жизни, над трупом убитой и жены. Он не кричит, не стонет, не рвет волосы, он в тянулся во весь свой рост и говорит о себе, говорит та как не умеет сказать ни один актер, играющий Отел ло,— с предельной, великой ясностью самопознани

Soft you; a word or two before you go.
I have done the state some service, and they know't
No more of that. I pray you in your letters,
When you shall these unlucky deeds relate,

Speak of me as I am; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice: then must you speak
Of one that loved not wisely but too well;
Of one not easily jealous; but, being wrought,
Perplex'd in the extreme; of one whose hand,
Like the base Indian, threw a pearl away
Richer than all his tribe; of one whose subdued eyes,
Albeit unused to the melting mood,
Drop tears as fast as the Arabian trees
Their medicinal gum. Set you down this;
And say besides, that in Aleppo once,
Where a malignant and a turban'd Turk
Beat a Venetian and traduced the state,
I took by the throat the circumcised dog
And smote him, thus. (*Stabs himself.*) [1]

— Как он велик! — вырвалось у меня.

— Да,— сказал Фёрстер.— Это страшная семейная ›ама, страшнее ее в мировой литературе только исто- ия любви Лейли и Меджнун, описанная у одного из

---

[1] Привожу это место в прозаическом переводе:

Успокойтесь. Еще два слова, прежде чем вы уйдете.
Я оказал государству кое-какую услугу, и они это знают
Довольно об этом. Прошу вас в ваших письмах,
Где вы будете сообщать об этих несчастных событиях,
Говорите обо мне, как я есмь; ничего не преувеличивая,
Ничего не умаляя из недоброжелательства: тогда вы
должны будете сказать
О том, кто любил не разумно, но слишком сильно;
О том, кто не легко становился ревнив, но, вскипев,
Дошел до чрезмерности: о том, чья рука,
Подобно низкому индейцу, отшвырнула от себя алмаз,
Стоящий дороже, чем весь его клан; о том, чьи
ослабевшие глаза,
Хотя не привыкшие к мягкому настроению,
Так часто роняют слезы, как аравийское дерево
Свою лекарственную смолу. Напишите это;
И прибавьте, что однажды в Алеппо,
Когда зловредный турок в тюрбане
Ударил венецианца и поносил государство,
Я схватил за горло обрезанного пса
И покарал его, так.
(*Закалывает себя.*)

великой семерицы поэтов, у Низами Ганджинского. Каков характер — царственный, величавый, самоосознанный по-азиатски. Отелло играют на сцене, как стихийный, наивный характер. А он анализирует с бесподобной точностью. И посмотрите на одну деталь у Шекспира. Отелло у него не лишен некоторой важности, он знает, что он великий полководец. Два раза, как бы мимоходом, он говорит о своих заслугах перед Венецианской республикой. Но когда говорит! Посмотри, Маруша, первый акт, вторую сцену, разговор на улице с Яго и венецианцами, нашла? «Услуги, которые я оказал синьории...» И второй раз в предсмертном монологе: «Я оказал республике кое-какую услугу» — оба раза в связи с Дездемоной, словно прикрывая вину, оправдываясь...

— Вину? — переспросили мы оба с Маро́.

— Вину,— повторил Фёрстер.— Потому что чрезмерность любви — всегда вина, в чрезмерности — разрушение, гибель... Как сам он говорит об этом, как плачет! Меджнун не умел сказать так, хотя тоже загубил и погиб от чрезмерной любви, а Отелло умеет и говорит. «Отелло» да еще «Король Лир» — величайшие, мудрейшие созданья человеческого гения.

Маро́ встала и положила книжку на полку. Я видел, как глаза ее обратились на часы, а потом на дверь.

— Филипп Филиппович сегодня не придет,— сказал я, ни к кому не обращаясь.

— Ну, еще бы,— промолвил Фёрстер,— нынче повезли жену на операцию. Люблю Хансена за глубокий внутренний такт. Именно сегодня не следует проводить вечер с нами, а посидеть одному.

Я кивнул, умолчав о кашляющем старичке. Маро́ вернулась на свое место и продела руку сквозь сложенные руки отца. Бедная девочка тосковала; в ней появилась кроткая, надломленно-кроткая выжидательность, как у барашка, загнанного под топор. Эти глаза, молившие о пощаде, еще раз остановились на мне, когда, поужинав, я собрался уходить. Что сделать для вас, Маро́? И чем вам помочь? Не смея спросить этого, я стоял перед ней со шляпой в руке.

— Мамочка, я провожу Сергея Ивановича...

Бедная профессорша взглянула на мужа, но Фёрстер промолвил своим успокаивающим голосом:

— Иди, мое дитя, пройдись перед сном.

Как давно не ходили мы вместе с Маро́! Она идет рядом, молчаливая, со стиснутым ртом. Какое торжественное выражение муки и мужества на ее бледном прекрасном лбу! Я не знаю, о чем она думает и что она решила, но, смиряясь перед остротой ее горя, моя любовь забывает о своем. Вдруг наверху, в серебристой симфонии миров, возникло движение. Огромная голубая звезда, сорвавшись, потекла по небу с востока на запад. Я вскрикнул. Маро́ подняла глаза и успела увидеть ее потухание. Мы оба вспомнили о таком же вечере и такой же звезде.

Не доходя до флигеля, Маро́ остановилась и протянула мне руку.

— Спокойной ночи, Сергей Иванович, дальше я не пойду.

— Спокойной ночи и благослови вас бог, моя милая!

Несколько секунд я глядел ей вслед. Потом двинулся дальше. На ступеньках флигеля, свесив голову в руки, сидел Хансеи. Он так глубоко задумался, что вздрогнул при моем прикосновении. Лицо его было бледно и так же торжественно-скорбно, как только что виденное мною прекрасное лицо. Он спросил:

— Это вы, доктор? Вы одни?

— Да.

Глава двадцать первая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА

Все долгожданное в конце концов наступает,— но наступает, когда мы уже утомились. Так было и со вторым сентября. Вся санатория считала до него дни, начиная с сестер, любопытствующих о спектакле, и кончая поваром, мусью Жаном Кисточкиным, французом из Новонагаевки. Жан Кисточкин делал ко дню рождения профессора пирог, который он называл «го-

родом» и которого никто, кроме Маро и маленьки
горцев, не ел.

Но вот мы все переволновались и устали; повыби лись из обычного течения жизни; охладели к событиям от долгого напряжения. И тогда-то, чтоб подтвердить вышеизложенную аксиому, наступило второе сентября.

Проснувшись ранним утром, я первым делом по чувствовал, что не выспался, и, хитря сам с собой, за жмурил оба глаза. Но вставание было неизбежно, и хотя настроение мое не предвещало ничего доброго, я встал, оделся, поднял штору. Ну и погода! Сверху до низу все было окутано шершавыми слоями тумана, по хожими на перья ощипанной птицы. По этой пестряди носился, колыхая ее, ветер. Когда я вышел из дому, он с неистовой силой толкнул и повлек меня вниз, к род нику, по скользким осенним листьям. Много труда сто ило мне устоять и уберечь от него драгоценный сверток, спрятанный под пальто, и, победив его упорство, идти ему навстречу. Возле профессорского домика стояли верховые лошади, то и дело бившие землю копытами, ветер вздымал им хвосты и гривы наподобие вееров. Белая парусиновая занавеска на верхнем балкончике трепетала мелкой безостановочной дрожью, будто ле тела сквозь необозримые пространства, а не торчала все на тех же гвоздях.

Карла Францевича приехали поздравлять видные горцы. Ему привезли в подарок барашков и велико лепный серебряный пояс с кинжалом тончайшей ра боты, на какую способна только Азия. За столом сидел важный седобородый «хаджи», побывавший у святынь. Лицо его дышало царственной благосклонностью и благоволением, хотя сам он был по профессии пастухом. Движения его были церемонно вежливы и медленны. Профессорша угощала его знаменитым «чехир-мереки ром» собственного изделия, а хаджи ел и хвалил по горски. Зарубин перевел его фразу: «Все, что нацио нально,— хорошо». Надо полагать, в оригинале она звучала иначе: все, что изобретено народом и готовится по старинному правилу,— вкусно. Ведь и поварское искусство — искусство! Не обойтись ему без традиции и школы.

— А вот это индивидуально и невкусно, но только, ради создателя, не говорите Жану Кисточкину,— провозгласил Валерьян Николаевич, трагически вытягивая руку. Я посмотрел и — ахнул. На столе, занимая добрую его половину, возвышался «город». Был он расположен на доске и окружен бастионом из пряничного теста. В центре его сверкало озеро из лимонного желе. Вдоль узких улиц, вымощенных орехами, возвышались крохотные дома разного цвета, в зависимости и от изобретательности мусью Жана и от количества сортов муки. Окна их были из сахарного леденца, крыша покрыта рябиновым вареньем. В городе возвышался и собор, скорей готического, нежели византийского стиля, испещренный изюмом. Единственным обитателем этого города был сам мусью Жан. Он стоял у городских ворот в белом поварском одеянии, с миндалем вместо лица и со связкой поджаристых ключей в руках, одного с ним роста, и распространял вокруг себя запах мяты.

— Да,— сконфуженно произнес Фёрстер,— каждый год делает. Мы, из вежливости, стараемся укокошить этот град. А Кисточкин на следующий год, поощренный нами, закатывает его еще большего размера.

Он отломил один ключ и со вздохом съел его. Хаджи посмотрел, понял и улыбнулся. Но Маро́, всегдашняя защитница обиженных, отломила себе целый пряничный дом с садиком и стала серьезно прожевывать его под обеспокоенным взглядом матери. Настал черед и моему подарку. Я развернул сверток. В нем были две, довольно полные, коллекции, составленные мною с помощью счастливца Хансена: ботаническая и геологическая. Они ограничивались Ичхором, но зато все, что находилось на протяжении пяти верст вокруг, было в них собрано.

Сощурившись, Карл Францевич стал разглядывать мой подарок, но совершенно неожиданный успех имел он у хаджи Османа. Радостно рассмеявшись и залопотав что-то по-горски, хаджи вынимал камушки, называл их, щелкал языком, словом, выказывал живейшее участие. Даже Маро́, перегнувшись через плечо, потрогала веточку тисса и похвалила за сушку:

— У вас иглы не осыпаются,— молодец! А я хвою никак не могу сушить.

— Кипятите их несколько секунд на спиртовке,— поучил я ее, польщенный успехом и похвалой.

Затем последовали подарки домочадцев, прислуги и больных. Купец Мартирос прислал Фёрстеру ящик рахат-лукума, только что полученный им перевальным путем из Гудаут. Словом, все, что жили на Ичхоре, дали о себе знать. Все оказались в любви и согласии с профессорским домиком,— и на все эти знаки внимания Карл Францевич отвечал благодарностью человека, не знающего, за что его так любят. Каждый год повторялась процедура, а он переносил ее с робкой и сконфуженной уступчивостью, точно впервые. Под самый конец приношений, когда он, видимо, утомился и морщил лоб, пересиливая головную боль, Маро́ вынесла ему свой подарок — великолепные ночные туфли, вышитые на турецкий лад.

Когда, наконец, прошел торжественный санаторский обед и к трем часам сгустившиеся туманы погрузили нас в полную тьму, я увидел, что все устали, все переволновались, и распорядился вплоть до спектакля дать больным отдых. От пирогов, жареного изюму, ванили, взбитых сливок и прочих принадлежностей праздничного дня воздух был насыщен густым запахом, приторным и тяжелым. Столы в санатории и в профессорском домике вплотную заставлены были наготовленным, да так и не убирались. Мы с Маро́, большие сластены, ходили вокруг них, вздыхая: ничего-то не хочется, если всего так много! Лениво пощипывали мы корочки слоек, румяные углы и переплеты песочных пирогов, жареный миндаль с кренделей. Свет не был пущен, на лесопилке шла еще срочная «военная» работа. Утомленный Фёрстер ушел к себе вздремнуть, Варвара Ильинишна давным-давно, легши на диван, равномерно дышала, а мы трое — нарядный Хансен, Маро́ и я, усевшись рядком на широком подоконнике, беседовали шепотом. Каждый из нас знал, что нынче не нужно затрагивать серьезных вопросов, а быть словно дети в этом детски-сладком, пирожном запахе и говорить шепотом о пустяках. И Хансен и Маро́ улыбались. Я ду-

рачился «с грацией циркового слона», как похвально отозвалась Маро́.

— Послушайте, а что делает кашляющий старичок? — внезапно спросил я у Хансена.

— Кашляющий старичок?

— Ну да! — И я изобразил Яна Казимировича, нагнув голову и покашляв в ладошку. Хансен тревожно взглянул на Маро́.

— Старик дома. Один. Положил перед собой колоду карт и играет в пьяницы.

— Сам с собой? — спросила Маро́, подняв одну бровку, что служило у нее признаком крайнего недоумения.

— Сам с собой.

Я невольно оглянулся. Вокруг нас были два длинных стола, шкаф и полочки, уставленные вкусными вещами. Половина их пойдет в аул, но и другую половину никто не съест. А там сидит этакое покинутое существо в возрасте шекспировского «second childishness and mere oblivion»[1],— и отчего бы не утешить его лакомством?

— Скажите, Хансен, он и сегодня варил себе похлебку?

Хансен кивнул головой в ответ. Было темно, и все-таки я видел, как густо вспыхнули его щеки. Знаем, голубчик, кто разделяет кулинарные занятия кашляющего старца!

— Представьте себе, Маро́,— невинным тоном начал я, бормоча себе под нос, чтоб не разбудить профессоршу.— Бедняга сам стряпает нечто неописуемое. Для скорости он кипятит всю провизию в одной кастрюльке и питается синтетической похлебкой.

Маро́ засмеялась тихонько. Она поняла, куда я клонил. Сползти вниз, раздобыть на кухне у протестующей, но томной от пирогов Дуньки большую корзину и водворить на коленях у Хансена было делом одной минуты. А затем на сцену появились салфеточки, и наступила приятная часть работы. Я резал солидные куски от тортов и кренделей, Маро́ заворачивала их в салфетку и

---

[1] «Второго младенчества и рубежа забвения» *(англ.)*.

клала на дно корзины, Хансен неуверенно протестовал, всякий раз умоляющим голосом твердя: «Довольно!»

За пирогами последовал ящик пастилы. Потом коробка папирос, яблоки, и уже на самом верху, в виде неожиданного, но удачного экспромта, мы водворили огромный кусок индюшки.

— Нет, вы подумайте, как это остроумно! — восхищалась Маро́.— Он начнет с индюшки, а кончит пирогами!

Ни Хансен, ни я не посмели разочаровать ее в поглотительной способности кулинарного старца. Я лишь вскользь заметил, что при ясно выраженной наклонности к синтетизму он воспротивится всякой последовательности и, вероятно, сведет концы с концами, не прибегая к началу. Однако замечанье мое было вознаграждено негодующим взглядом.

На дворе было сыро и холодно. Пока мы дошли до флигеля, ветер двадцать раз осыпал нас листьями и забрызгивал дождевыми каплями. Наконец, показалось темное крыльцо. Хансен с корзинкой прошел вперед, мы тихонько следовали за ним и притаились в коридоре, тихие, как мыши.

Дверь была снова открыта настежь. Кашляющий старичок в бумазейной рубахе и в куцей шапчонке сидел у стола. При желтом свете свечи он играл в пьяницы. Бесконечная эта игра длилась, должно быть, уже долго, судя по обгорелой свече и нетерпеливому разговору старичка со своим невидимым противником. Старичок убеждал противника бросить артачиться, но противник отвечал старичку: а почему так? Старичок предсказывал ему полный проигрыш, а противник лукаво парировал: почему бы так? Старичок открывал крупную карту, и противник открывал крупную карту. Возникал «спор». И противник, выигрывал он или проигрывал, неизменно отвечал с полным своим хладнокровием: а почему бы так? Несмотря на такое самообладание, достойное живейшей симпатии, и несмотря на полное сходство противника с кашляющим старичком,— этот последний явно сочувствовал себе самому, а не своей проекции.

Хансен вошел и заставил двух игроков на мгновение слиться воедино. Хотя Маро́ и стояла за дверью, хотя в голосе Хансена и звучала принужденность, он все же назвал старика папашей, и в открытом взоре его засветилась честная доброта. Корзина произвела ошеломляющее действие. Старик, отощавший на синтетической похлебке, захотел немедленно рассмотреть все содержимое, сперва один раз, потом вторично. Он кряхтел, кашлял и, когда горло его освобождалось от занятия, позволял себе произносить независимые словечки, вроде: Э-ге! О-го! А-га!

Наконец, он уперся подбородком на дрожащие руки. Взгляд его стал задумчив и торжествен:

— Филипшек! — изрек он просительно,— половина туда, э-ге?

Хансен свесил голову. Туда обозначало приемный покой.

— Завтра, папаша,— ответил он, наконец.

Кашляющий старичок удовлетворился, вновь начал обзор и к неописуемому удовольствию Маро́ проявил разумную активность: он начал с индюшки.

Когда Хансен вышел к нам, улыбаясь со своим застенчивым видом, Маро́ неожиданно поглядела на него (странно поглядела) и сжала ему руку.

— Филипп, вы завтра снесете в больницу? Непременно снесите, не-е-пременно.

— Хорошо,— ответил Хансен. Тут мы простились. Он поспешил вниз, на лесопилку, пустить электричество; а мы поднялись к профессорскому домику. На вечере в санатории Хансен не должен был присутствовать — по личному и очень убедительному желанию Маро́.

— В конце концов,— сказала она по дороге, глядя прямо перед собой,— в конце концов это ведь все не плохо само по себе, н-не плохо, если не принимать во внимание моей... моей особы.

Загадочная эта фраза осталась без разъяснения. И тон не разъяснил ничего: его одинаково можно было счесть и глубокорадостным, и глубокоскорбным, и тем и другим сразу.

Дело приближалось к вечеру, и чем больше оно при-

ближалось, тем беспокойней становилось у меня ни
ше. В шесть часов Маро́ ушла к больным, пере
ваться. Уходя, она успела шепнуть мне, что спект
«вздор и пустяки» и что все пройдет благополучно.

Через час и мы с Фёрстером и профессоршей
правились в санаторку. Погода стала хуже. Тучи со
нились в одну густую, плотную массу, исходившую (
конечным дождем. Ветер улегся, но вместо него под
ла голову сырость, шамкавшая беззубым ртом у
под ногами, в ушах и над головой. Мы добрались
санатории обмокшие и иззябшие. Швейцар распра
на Варваре Ильинишне ее старомодное платье с х
стом, стряхнул с нас дождевые капли. Наконец, мы п
нялись по лестнице, и, с неприятным стеснением в г
ди, я вступил в залу.

Ничего необычайного в ней на первый взгляд
было. Сцена была устроена, как принято ее устраив
если не считать белого занавеса да белых шелко
колпачков на электрических лампах. Но такое нов
ство не показалось мне ни красивым, ни удачным. С
проникал сквозь белые шары тускло и мутно, и чем
лее казались наверху светящиеся цветы, тем пасмур
и темней человеческие лица внизу. Почти вся зала б
уже переполнена. Тут был налицо весь медицински
служебный персонал санатории; были немногие л
ники, жившие поблизости; была, наконец, боль
часть больных, не принявших участия в спектакле. I
приготовили нечто вроде ложи. Не успели мы т
усесться, как прозвенел тоненький серебристый ко
кольчик. Лампы наверху потускнели до половины.
навес стал раздвигаться.

Я вынул очки и пенсне и водрузил их одновреме
на нос, для бо́льшей остроты. Варвара Ильинишна г
няла руку со стареньким перламутровым бинокл
Фёрстер откинулся на спинку кресла и наблюдал из-
ресниц — за залой не меньше, нежели за сценой.

— Декадентщина,— пренебрежительно шепнул
лерьян Николаевич, упирая на букву «е». Он сидел
моей спиной.

Но я не мог бы назвать этого «декадентщиной».
редо мною на сцене был ряд зигзагообразных лестн

частью нарисованных, частью сколоченных из дерева. Шли они перекрещиваясь и переплетаясь друг с другом, но, видимо, без всякой архитектоники. Казалось, будто их наставили без разбору и без счету, стараясь заполнить пространство,— и все. На самой верхней площадке лестниц, помещенной в узле их, сидело фантастическое существо в маске. На нем был белый балахон, а маска — тоже белая, обшитая черными кружевами, с небольшим разрезом для глаз,— надета была вплотную. Узнать фигуру было невозможно. Вытянув худую руку, существо равномерным движением забрасывало вниз шнурок и тянуло его наверх.

Среди зрителей раздался смех. Тем временем из всех кулисных отверстий, похожих на щели, высыпали существа, совершенно так же одетые, как и верхнее. Они бегали, словно делали па,— слегка подпрыгивая на каждую ногу. Белые балахоны их шуршали и трепетали подобно облаку, черные кружева бились вокруг масок. Сперва в суете их ровно ничего нельзя было разобрать. Наконец, выяснилось, что цель их изловить верхнюю маску. Стали слышаться отдельные голоса: «Куда ты? дай сюда руку! взбирайтесь! вот дорога!» — и прочие отрывочные восклицания.

Верхняя маска продолжала сидеть на месте и играть со шнурком. Валерьян Николаевич, нагнувшись ко мне, «держит пари, что белоштанник наверху — Ткаченко». Белые существа стали карабкаться по лестницам, силясь пробраться кверху. Тут и выяснилось нелепое устройство лестниц. Оживленные бесчисленными карабкающимися фигурками, подчеркнувшими их направление и сквозистость, лестницы эти обнаружили свойство вести куда угодно, только не на верхнюю площадку. Фигурки лезли, падали, снова карабкались, переваливали всякие хребты, поднимались, спускались, словом, как шашки на шахматной доске, носились по плоскости, но ни одна из них не достигла верхней маски. Тогда страшное беспокойство охватило их. Они спустились вниз, сели в кучку и стали взволнованно шептаться. В хоре голосов нам слышались знакомые, но все же узнать кого-нибудь в этих одинаковых, одинаково движущихся и одинаково чувствующих суще-

ствах было немыслимо. Они обсуждали, как поймать «верхнее». По их мнению, поймать его было необходимо, иначе погибнут они сами, нижние. Кто-то из них предложил план разрушить все лестницы. План был принят. Пока нижние совещались, верхняя маска нагнула голову и вслушивалась. Услыша про лестницы, она затрясла рукавами, подняла плечи и — быстрее молнии юркнула вниз, в толпу нижних. Сделано это было так скоро, так ловко и так неожиданно для зрителей, что мы тотчас же потеряли ее из виду. Перед нами была теперь кучка одинаковых скачущих белых существ, и распознать среди них верхнее стало совсем невозможно. Балахоны подняли невероятный вой. Они скакали по всей сцене, как дикие, то сближаясь, то рассыпаясь по углам. Они отчаянно жестикулировали, вынюхивали, высматривали, заподозревалн друг друга, но метание ни к чему не приводило: верхняя маска смешалась с ними. Балахоны, наконец, признали это как ужасное несчастье, легли ничком, уткнув лица в рукава, и тут, надо признаться — очень во-время, задвинулся занавес. Пролог этой пьесы, носившей название «Что мне приснилось», был окончен.

— Символическая пьеса,— насмешливо изрек Валерьян Николаевич, когда осветилась зала,— жаль только, что у них нет суфлера, подсказывающего нам, зрителям, где надлежит плакать, а где смеяться.

Но Фёрстер сидел, нахмурившись. Я понял, что он отнесся к делу серьезнее, нежели Зарубин, и встал побродить по зале.

Целью моей было присмотреть за больными. В зале их было около тридцати человек. Они сидели на своих местах, оживленно переговариваясь. Некоторые, видимо, скучали. Барышня-морфинистка тотчас же ухватила меня за рукав:

— Не правда ли, доктор, как это страшно оригинально? Я все время воображаю, что сплю и вижу это во сне... Это так похоже, когда... когда...— экстатические зеленые глазки ее затуманились, но она сделала усилие и добавила спокойно,— когда все бывает возможно.

Сдержанней всех вели себя дачники. Один из них, городской учитель, осторожно ораторствовал в уголку на тему о «творчестве душевнобольных». Он смотрел на пьесу, как на сумасшествие, и был очень доволен и собою и пьесой.

Обойдя каждого из своих пациентов, я вернулся на свое место и еще раз перечитал афишку. В ней стояло следующее:

«ЧТО МНЕ СНИЛОСЬ»

Пьеса в трех действиях с прологом, сочиненная
П. П. Ястребцовым.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ПРОЛОГЕ

Верхняя маска.
Нижние маски.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ПЬЕСЕ

Убитый.
Жена убитого.
Судебный трибунал.
Первый друг убитого.
Шныряющий незнакомец.
Второй друг убитого.
Старуха.
Гости, сплетники, доброжелатели, дамы.

— Что-то мудрено! — со вздохом молвила Варвара Ильинишна, в свою очередь перечтя афишу.— И кто кого играет не обозначено. Даже сказать не могу, которая была Маруша из этих самых, из балахонщиков.

Я обернулся к профессору, чтоб поделиться с ним мыслями, но он приложил палец к губам и кивнул мне головой на сцену. При полном освещении занавес раздвинулся. Но лишь только он раздвинулся, все лампы в зале потухли, и загорелось ожерелье тайных лампочек, затянутых по стенам полотном. Впечатление было такое, будто вспыхнули стены. На эстраде — нечто вроде перекрестка с уходящей вдаль дорогой, скверно нарисованной. Голые деревья, покрытые неподвижным вороньем.

— Черепенников набивал! — комментирует на ухо Зарубин.

Слева, на белых тканях, лежит убитый. Вокруг не-го — алые пятна крови. Убитый одет в средневековый костюм, какой можно увидеть на старинных картинах: ноги в обтяжку, одна синяя, другая красная, башмаки без подошвы, вроде лайковых перчаток, с разрезом впереди и с остроконечными носками; камзол пелериной, перетянутый в талии; штаны в виде круглых буфов. Возле убитого жена с распущенными волосами и закрытым руками лицом.

Справа выходит первый, а слева второй друг убитого. Они церемонно кланяются друг другу. Жесты их изображают крайний испуг и ламентацию. Они изумлены. Они несчастны. Они совершенно не могут понять, почему жена убитого отказывается назвать имя убийцы. Надо во что бы то ни стало открыть его. Иначе падет тень на их доброе имя. Пока происходит диалог, сцена заполняется прохожими.

Глава двадцать вторая

ВОССТАНИЕ ДУШ

Прохожие двигаются некоторое время, совершая ряд бесцельных ритмических фигур. Потом, собираясь в кучки, начинают толковать об убийстве. Это случилось совершенно неожиданно. Никто из них не мог ничего предвидеть. Да и предвидеть — не значит предотвратить. Но, во всяком случае, теперь надо искать убийцу. Вы слышали, что сказал трибунал? Трибунал ищет убийцу среди здешних жителей. Тень падает на всех нас. Нужно во что бы то ни стало найти. Хорошо, тогда опять допросим жену. Но жена убитого ничего не отвечает. Почему она не отвечает? Неизвестно.

— Эй, жена убитого!

Молчание. Потом женская фигура медленно приподымается, спускает волосы себе на лицо, ломает руки, поворачивается спиною к зрителям и снова замирает.

— Здорово! — шепчет мне на ухо Зарубин.— Ве... Дальская! Сейчас видно актрису от головы до пят.

Некоторое время прохожие молчат. Потом среди них возникает нелепое движение, и они ходят друг возле друга наподобие фигур кадрили. В зрительном зале тщательно заглушаемый хохот: это смеются дачники. Пока они смеются, я делаю наблюдение: никто из играющих там, на сцене, не смотрит друг другу в глаза. Актеры подчеркивают эту особенность: ни один из них не встречается глазами и со зрителями. Они отводят взгляды с упорным, резким преувеличением, то выше головы человеческой, то ниже ее, косят то направо, то налево. Кое-кто из прохожих бродит с закрытыми или полузакрытыми глазами. Левая кулиса шевелится, и оттуда выходит судебиый трибунал. Двое слуг несут перед ним красный стол. Судьи одеты в красное. Стол ставят посреди сцены, и судьи, рядком, становятся за ним, сложив пальцы крест-накрест и не поднимая глаз. Стульев нет. Население всей страны призывается к помощи — пусть сообщит каждый, что знает об убийстве. Как, неужели никто ничего не знает? Выделяются из толпы два сплетника. Суетясь, они уверяют трибунал, что убитый и жена убитого жили очень скверно. Они почти не разговаривали. У них не было привычки здороваться утром и прощаться вечером. Один раз мы видели собственными глазами, как они проходили по этой дороге не рядом, а гуськом. Пусть подтвердят оба друга убитого! Но оба друга убитого ничего не знают. Они ничего не хотят подтвердить. Может быть, дорога была грязная или неудобная, и рядом пройти было невозможно. Пусть отвечает жена убитого — она присутствовала при убийстве. Пусть, наконец, она заговорит! Почему ей позволяют молчать?

Жена убитого медленно приподымается и тащится к трибуналу. Волосы свисают у нее на лицо, руками она бьет себя в грудь. Ей задают вопросы. Она молчит. Наконец, поднимает голову и делает отрицательный жест рукой. Трибунал и прохожие в видимом отчаянии. Занавес сдвигается, и мы снова в беловато-сером свете электричества.

— Сумасшествие, психоз! — сказал Зарубин, делая гримасу отвращения.— Вот вам пример, как уродцев

допускать к творчеству... Да ну их к шуту-лешему, конному и пешему. Не желаю смотреть!

— Стоп! Сидите, Валерьян Николаевич,— серьезно промолвил Фёрстер, кладя свою руку на руку младшего врача.— Пьеса вовсе не сумасшедшая и вовсе не глупая. В ней есть определенный психический замысел. Вы лучше глядите на сцену внимательней да старайтесь ее понять.

— Понять! В жизни моей не переваривал всех этих кубистов, футуристов и всяческих истов, а теперь понимать должен?

Мы успокоили расходившегося эскулапа и успели до начала второго действия обойти залу. Несмотря на заинтересованность «оригинальным сюжетом», пьеса вызвала в общем почти одинаковое чувство: чувство тошнотворности. Определяли это чувство и объясняли всячески. Один жаловался на систематическую нелепость движений, другой негодовал, зачем актеры умышленно косят и не глядят друг на друга, третьему все чудились неприятные «личные» намеки. Был, наконец, и обоснованный вывод: пьеса-де потому вызывает тошноту, что неестественна, а в своей неестественности строго последовательна. Видеть сон во сне — даже приятно, но видеть сон наяву — возбуждает понятное недомогание в бодрствующей психике и в мозгу. Мнение это принадлежало писателю Черепенникову. Даже барышня-морфинистка пожаловалась на головную боль. Сознаюсь, и у меня начинала побаливать голова. Но я объяснял это утомлением целого долгого дня. Между тем началось второе действие.

Декорации изменились. Перед нами были четыре колонны, расположенные так, что они образовывали ровный квадрат. За ними шли перспективы все тех же голых улиц с голыми деревьями. В квадрате, обрамленном колоннами с четырех сторон, собрались гости и дамы. Неподалеку от них, на выступе дороги, в прежней позе лежал убитый и сидела над ним жена.

Гости и дамы двигались, как в первом действии, с тою лишь разницею, что руками они проделывали больше фигур, нежели ногами. Они описывали ими плавные жесты в воздухе, напоминавшие взмах крыльев,

Все казались сильно удрученными. В углу, на корточках, сидели оба друга убитого с уныло-неподвижным видом. Но вот в толпу гостей ворвался человек с обыкновенными резкими движениями. Он был в черном пиджаке и штанах в полоску. На голове у него красовалось нечто вроде панамы. Он шнырял из угла в угол и на все смотрел самыми изумленными глазами, открытыми, насколько это дозволяли веки. Во все глаза смотрел он и на нас, на зрителей. Движения его были быстры и необдуманны. Несколько доброжелателей тотчас же, с трех сторон, устремились к шныряющему незнакомцу. Вероятно, он чужой в этой стране? Да, чужой и попал совершенно случайно, по одной из этих дорожек, и не знает теперь, как отсюда выбраться. Ему охотно покажут, как выбраться, но дают совет не смотреть никому в глаза. Почему? Потому что здесь такое правило, и он сделает лучше, если послушается. Но это нелепо, он хочет смотреть всем в глаза, он не сделал ничего дурного! Почему все от него отворачиваются? Доброжелатели грустно качают головами и советуют ему подчиниться общему правилу,— для своей же пользы. Шныряющий незнакомец немного напуган и немного раздосадован. Он нетерпеливо пожал плечами и, отойдя, прислонился к одной из колонн. Ему, видимо, не хотелось слушаться, но не хватало храбрости ослушаться. Он опускал глаза в землю, водил их по сторонам, но время от времени вскидывал и встречался взглядом с гуляющими.

Но вот слева вышла старуха, опираясь на палку, и прошла направо, мимо гостей. Она шла очень медленно и была перегнута от старости почти под прямой угол. Голова ее подбородком упиралась в набалдашник палки. Старуха была в сером тряпье, пятнистом на подоле, голова ее была повязана платком. Никто из гуляющих ее не заметил и не увидел. Когда она дошла до шныряющего незнакомца, тот нечаянно поднял глаза и посмотрел прямо на нее. Тогда старуха обернула свое лицо, и взгляды их встретились. Она была очень старая, испещренная морщинами; черная линия рта тянулась у нее от одного уха до другого. Поглядев на незна-

комца, она двинулась дальше и остановилась в правом углу, опустив голову на палку.

Шныряющий незнакомец страшно испугался. Он знаком подозвал к себе доброжелателей и зашептал им на ухо, что нашел убийцу. Этот убийца — старуха. Вон она стоит там в углу. Стоит только обернуться, и все они ее увидят. Но почему они не оборачиваются? Почему они ее не хватают, пока она не успела уйти? Доброжелатели скосили глаза и натянутым тоном отвечают, что ничего не слышат. Решительно ничего не понимают в его словах. Не знают, чего собственно он хочет. Один за другим, пряча руки за спину, они отходят от него вглубь комнаты. Но вот один доброжелатель возвращается, закрывает глаза и шепчет шныряющему незнакомцу:

— Не показывайте вида, что вы узнали... Иначе погибель!

Сказав это, доброжелатель бросился в толпу. Незнакомец стоит некоторое время неподвижно, весь — олицетворенный ужас. Он бормочет про себя, что ничего не знает и знать не хочет, а только ищет, какая дорога ведет из этой страны. Он совершенно не любит мешаться в чужие истории... Но тут, опасливо озираясь и стараясь убедиться, что про него уже забыли, он снова встречается глазами со старухой. Она стоит и глядит на него в упор. Незнакомец подавлен. Занавес сдвигается.

— А знатная старуха вышла из Ястребцова! И рот-то, рот! Чем они намалевали?

— Дали Маруше роль, чтоб ни слова не говорила. Хоть бы этой женой сделали, а то просто «дамой», могли бы и без нее обойтись.

Таковы были первые реплики Зарубина и Варвары Ильинишны. Но им не суждено было продолжаться, ибо третье действие сразу последовало за вторым.

Декорации на этот раз не изменились, только в пространстве между колоннами стоит стол трибунала. К судьям тащат шныряющего незнакомца, он сопротивляется. Наконец, запыхавшись и делая растерянные движения, он подходит к столу. Правда ли, что он мутил население этой страны необдуманными россказнями?

Неправда! Никаких россказней он себе не позволит. Он забрел в эти места нечаянно и не может найти обратной дороги. Два сплетника высовываются из толпы: нет, нет, он толковал про убийство! Он останавливал жителей этой страны и внушал им странные мысли! Шныряющий незнакомец делает гримасу, точно собирается укусить их. Лицо его дергается. Он переступает с ноги на ногу:

— Трусы! Дурачье! Никаких странных мыслей я не внушал, а что знаю, то знаю.

Возгласы в толпе: «Видите! видите!»

— Да-с, отлично знаю.

Судебный трибунал приглашает его объясниться. Доброжелатель делает ему предостерегающий знак рукой. Но шныряющий незнакомец уже не владеет собой. Он хорохорится и кричит визгливым голосом:

— Никого я не боюсь! Я гражданин свободной страны! Я утверждаю, что этого покойника убила старуха, вот кто!

Вся толпа, словно сговорившись, начинает двигаться, шептаться, проявлять крайние знаки невнимания. Даже сплетники делают вид, что ничего не слышали. Судьи стоят, низко опустив головы. Шныряющий незнакомец самодовольно оглядывает всех, но вдруг пугается, тоже опускает голову и начинает теребить пуговицу на куртке. Так длится минуты две. Наконец, судьи поднимают головы и равнодушным тоном говорят:

— Вы слышали, этот незнакомец признался в убийстве?

— Признался в убийстве.

Несколько человек молча подходят к нему. Шныряющий незнакомец вздрагивает. Он пытается бежать, но его хватают за руки. Он кричит:

— Я не убил! Я не убил!

Все так же молча тащат его к убитому. Жена убитого медленно встает, отводит глаза, падает снова на труп и скрывает лицо на груди мужа. Шныряющий незнакомец бледен, как смерть, ноги его подгибаются, он озирается вокруг, ища дорогу, наконец просит воды. Один из судей вынимает пистолет и подает ему. Незна-

комец берет его дрожащей рукой, приставляет к уху и застреливается. Занавес сдвигается, пьеса кончена.

К великому моему удовольствию, в зале раздались неистовые аплодисменты: это хлопали дачники. Они вскочили с мест, хлопали и вызывали автора, и этот здоровый, слегка насмешливый шум подействовал отрезвляюще на остальную часть публики. Фёрстер встал с места; лицо у него было утомленное и задумчивое. Он поручил Варваре Ильинишне немедленно же пригласить дачников к ужину в профессорский домик, мне — следить за порядком в зале, а сам с Валерьяном Николаевичем пошел за кулисы.

Был еще только девятый час. Коротенькая пьеса заняла не больше часа времени. Но у меня было чувство, точно она длилась вечность, так утомительно действовало ее однообразие. Хороший спектакль для душевнобольных, да еще в фёрстеровской санатории!

Наши больные, не участвовавшие в спектакле, разбрелись по разным углам. Пока прислуга выносила стулья и приводила залу в порядок, я направился к кучке, разговаривавшей самым оживленным образом. В центре ее был Черепенников. Он ораторствовал, ероша свой хохол на лбу, и казался крайне возбужденным.

— Помилуйте, вы проповедуете коллективный сомнамбулизм!

— Ничего подобного. Я только хочу возродить человечество. Но пусть мне объяснят, почему люди уже не веселы? Масса несчастна не менее нашего! Неужели вы не хотите понять моей простой мысли?

— В чем дело? — спросил я, подойдя к Черепенникову.

Писатель театрально пожал плечами, а слушатели его сразу замолкли. Мне явно не пожелали ответить. Я повторил свой вопрос и, снова не получив ответа, попросил больных разойтись по своим комнатам для принятого у нас в санатории отдыха перед ужином.

— Мы пробудем еще несколько минут вместе,— капризно промолвил Черепенников. Я настаивал. Тогда больные двинулись из залы с видом крайнего возмущения и досады. Не менее трудно было мне подействовать

на остальных больных. Все они находились в непонятном для меня возбуждении. Пьеса, видимо, не понравилась никому и никого особенно не задела. Я слышал о ней отзывы беглые, небрежные, снисходительные. Никто и не пытался осмыслить ее содержание. Но, несмотря на это, все говорили наперебой, все волновались, все потеряли хладнокровие; разговоры и крики пьесы не касались — они велись на посторонние темы.

Мирное благообразие нашей санаторки нарушилось. Чувствуя, что делаю бестактность, я попытался приказывать, но вышло еще хуже. Меня перестали стесняться. Ушедшие было больные снова вернулись в залу. Сестры, испугавшиеся этого беспричинного бунта, предложили мне «оставить их перебеситься», но я знал, как смотрел на такой выход Фёрстер.

«Если мы раз дадим перебеситься, то аффект повторится. Чтобы победить спазму, надо не дать ей совершиться»,— постоянно повторял он мне и Зарубину, удерживая больных иной раз от самых безобидных проявлений их болезней. Я напомнил об этом сестре и стал решительно требовать, чтоб больные разошлись. Не успел я кончить фразы, как из-за занавеса, со сцены, выглянула на меня белая маска и кто-то, в белом балахоне, спрыгнул к нам в залу. За ним последовал другой, третий. Маски хохотали. Больные собрались вокруг них, стараясь угадать, кто в них. Поднялась потеха. Белые балахоны носились по всей зале, отплясывая дикий танец. Со сцены вновь спрыгнуло несколько масок. Даже сестры приняли участие в погоне, и на некоторое время зала превратилась в маскарадную кутерьму. Недоставало лишь музыки. Шум, хохот и топот были так велики, что я зажал уши. Бедный фельдшер, красный от напряжения, бегал за балахонами, слезно моля их не мутить «публику». Но публика возмутилась в достаточной степени. Никто никого не слушал, никто никого не видел. Взъерошенный Черепенников, встав на стул, продолжал ораторствовать. Впервые он был взволнован не по книжному поводу.

Придя в совершенное отчаяние, я кинулся за кулисы. Но Фёрстер шел уже мне навстречу, с бледным лицом. Шум и суетня продолжались, переходя в свалку.

— Что делать, Карл Францевич? Ведь это сумасшествие!

— Немедленно распорядитесь, чтоб сняли белые колпачки с ламп. Так! А теперь дайте мне стул!

Пока сестры и прислуга, встав на столы, быстро снимали белые наколки с электрических фонарей, Фёрстер тоже вскочил на стул и громко крикнул. Яркожелтый свет блеснул на него и на беснующуюся толпу больных.

— Господа! Пора ужинать.

На минуту суетня стихла. Кое-кто, смущенный ярким светом и беспорядком собственной и чужой одежды, отошел из толпы в сторону. Сестры подходили к тихим больным с просьбой идти в свою комнату поправиться. Но ушли два-три человека, не больше. Остальные готовы были возобновить беспорядок, поощряемые хихиканьем белых балахонов. Не знаю, что было бы дальше, если б, «к нашему счастью», не случилось несчастья: в стеклянных дверях показалась внушительная фигура санаторского швейцара.

Швейцар был очень бледен. Он продирался к нам сквозь толпу с такою поспешностью, что не побоялся даже отстранить больных своими могучими локтями. Ныряя сквозь живую стену возбужденных людей и ничем не выказывая своего удивления, он достиг, наконец, открытой площадки, где стояли мы с Фёрстером. Профессор спрыгнул со стула. Приход швейцара был нарушением санаторских правил, не имевшим прецедентов.

— В чем дело?—отрывисто спросил у него Фёрстер.

— Барин, сейчас подъехал экипаж. Мне велено передать вам, что назначена ревизия санатории. Куда прикажете провести господина? Они весь вымокли.

— Какой господин?

— Ревизор, надо полагать. Из Петрограда.

— Хорошо. Проведите его ко мне в дом и скажите Варваре Ильинишне, чтоб обо всем позаботилась. Я приду сам через полчаса. Идите же.

Швейцар двинулся было назад, но вдруг остановился, посмотрел на профессора нерешительно и сказал, понизив голос:

— Осмелюсь доложить, барин... Господина этого я признал.

— Ну?

— Они будут тот самый, что раньше у нас служили, — Мстислав Ростиславович.

— А! — только выговорил Фёрстер. Он дал знак швейцару, чтоб тот поторопился, и, когда стеклянные двери заперлись, снова вскочил на стул. Больные были смущены и удивлены коротенькой сценкой со швейцаром. Кое-кто стоял возле нас и, должно быть, все слышал. Они притихли и успокоились, глядя на Фёрстера.

— Господа! — сказал он своим музыкальным голосом.— Сейчас я узнал, что в санатории назначена ревизия. Этот беспримерный и оскорбительный факт показывает, что ко мне относятся недоверчиво и дело мое хотят остановить. И в ту минуту, когда враждебный мне человек находится в стенах санатории, вы, мои гости и пациенты, изменяете мне. Мое дело — столь же и ваше дело. Я всю жизнь боролся за ваше здоровье,— поймите ответственность этой борьбы и помогите в ней, и не работайте на ее погибель!

— Стыдно, господа! Сию же минуту раздеваться!— крикнул скрипучий голос в толпе. Он принадлежал Ястребцову.

Больные опомнились. Не прошло и десяти минут, как зала была пуста, за исключением двух-трех дам, слезно просивших извинения у Карла Францевича. С волнением я ждал выхода из санатории. Но профессор отдал еще несколько распоряжений, и одно, в пользе которого я убеждался много-много раз потом — о теплой ванне для всех больных. В этой процедуре все действовало успокоительно еще задолго до самой ванны. Истопник, спокойный, русобородый, стал разносить вязанки сухих сосновых дров, и они падали с гулким стуком у каждой двери. Потом захлопали печные дверцы, потянуло горьким, таким домашним, успокаивающим дымком, понесся по коридорам аромат сосновых шишек. И медленно-медленно стало накапливаться тепло...

Фёрстер прошел и в столовую поглядеть, все ли готово к ужину. Прошел к больным, успокоить двумя сло-

вами переволновавшихся. Все приняло в санатории обычный вид. И только один Валерьян Николаевич сидел в директорском кабинете, подперев голову руками. Видом своим он напоминал нечто среднее между тигром и страусом. Он проклинал иродцев и «Мстиславку». Профессор счел за лучшее оставить его в этой промежуточной стадии и не водить к себе, где ему предстояло встретиться с «ревизором».

Глава двадцать третья

МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ

Мстислава Ростиславовича промочило до костей. Он ехал под проливным дождем от самого монастыря, что, разумеется, не повлияло на его настроение положительным образом. Облаченный в халат и туфли, с головой, взъерошенной там, где у него оставались волосы — а было это далеко не всюду,— с иззябшим красным носиком, явно страдающим насморком, он сидел за столом профессора, но не на кресле профессора, отодвинутом Варварой Ильинишной в сторону. Почтенная дама сидела тут же в полном безмолвии, предоставив хозяйские хлопоты Дуньке.

Мстислав Ростиславович старался принять аристократически-небрежный и в то же время даже слегка снисходительный вид. У него было круглое, старательно выбритое личико, с выпученными губками, цветом напоминавшими дождевых червей. Глазки его были снабжены мешочками, говорил он на букву «э», что считал английским, и когда говорил, обнаруживал искусственную челюсть. На мизинце его сверкал бриллиант.

Он поднялся при нашем входе и протянул нам руку с видом слегка обиженной благосклонности.

— Здрасте-э... сколько лет! Вы постарели. А это помощник? Слышал, встречал вашу матушку в обществе, передовая женщина. Тэк-с. Ну, я полагаю, на сегодня мы оставим дела. Охотно дам вам некоторое время на приведение... Хе-хе-хе!

— Позвольте мне прежде всего удостовериться, снабжены ли вы теми полномочиями, о которых сказали моему швейцару? — холодно произнес Фёрстер, едва касаясь протянутой ему руки. Красное личико Мстислава побагровело.

— Милсдарь!

— Но вы понимаете, что дела ведутся деловым образом... Ваши бумаги?

— Вы пожалеете, господин Фёрстер, вы пожалеете. Я принял мою миссию как человек, желающий, э-э-э, где можно, облегчить вашу участь, в пределах строгой лояльности. Но ваш непримиримый тон... Бумаги у моего камердинера, с вещами.

— Мамочка, я надеюсь, Мстиславу Ростиславовичу подали ужин и отвели комнату?

— Ужин подали, а насчет комнаты я, Карл Францевич, хотела распорядиться во флигеле. Не в кабинете же стелить...— жалобно вымолвила профессорша, дрожащими руками переставляя чашки и не глядя ни на кого из нас.

Я понял, что было у нее на сердце.

— Комнаты мои в полном распоряжении господина ревизующего,— сказал я как мог любезно.— Пусть он отправит туда своего слугу и устроится. Сам же я переночую здесь, если можно.

Так и порешили. Стараясь быть величественным и позволив себе два-три намека по поводу изобилия сластей на профессорском столе «в такое время, когда...», Мстислав удалился. Камердинер, рослый детина с лицом, выбритым, как у его барина, понес над ним зонтик.

Не успели они уйти, как в столовую почти вбежал Зарубин, окончательно выбравший между страусом и тигром в пользу последнего. Он огляделся и, увидев прибор, принадлежавший Мстиславке, и остатки ужина, и накрошенную горку хлеба, явно свидетельствовавшую о его несомненном пребывании, ибо Мстислав имел привычку крошить хлеб до бесконечности,— увидев все это, Валерьян Николаевич зарычал, покусился на стул, на жардиньерку и, наконец, опустив руки, остановился, подобно машине, паровая энергия которой

использована. Вслед за ним появилась и Марб, т... подошла к безмолвной Варваре Ильинишне и об... ее за шею.

Фёрстер ходил из угла в угол.

— Объявился он и тут же, при дачниках, стал го... ворить колкости. Спасибо, поняли все, каков гость, и, даже чаю не допивши, разошлись. Завтра по в... Ичхору пойдет...— начала отводить душу бедная пр... фессорша.

— А вы его принимайте, принимайте! — раздраж... но вскричал Зарубин.— Пусть бы он под дождем н... битке заночевал, вот что надо было сделать. Нагл... гадина! Иметь духу после таких мерзостей явиться ... молично!

Фёрстер прекратил ходьбу и посмотрел на него с п... чалью.

— Валерьян Николаевич, будет вам.

Зарубин утих.

Никто из нас не хотел ложиться спать; даже Мар... усевшись в уголок, молчаливо сидела с нами. Так мы ... просидели почти всю ночь, каждый со своими мысл... и планами. Фёрстер знал, что ждет его детище. Но ... не выговорил ни одной жалобы. Он все шагал из уг... в угол, пока не погнал нас решительно спать, а ... было почти на рассвете.

Весь следующий день шел дождь. Уже в девять ч... сов господин ревизор появился в кожаной куртке и г... рах. Он прикрепил к петлице дамскую золотую лорн... ку. Он чистейшим образом выбрился. Челюсть его св... кала эмалью, делая честь международному сослов... дантистов. Само собой разумеется, Зарубин, опять с... лавший уступку в пользу страуса, не шел с нами. Рев... зору «аккомпанировали», по зловещему остроуми... моего бедного коллеги, Фёрстер и я.

Карл Францевич водил его повсюду с непрониц... мым лицом. Он отвечал на вопросы, показывал кни... был спокоен и вежлив, но ни на мгновение не заб... своих директорских обязанностей. Как и раньше, к нему то и дело подходили сестры за справками; он время о... времени оставлял меня с Мстиславом и уходил к бол... ным.

Мстислав Ростиславович блаженствовал. Подлость в нем счастливейшим образом (разумеется, для него) соединялась с глупостью. Потому-то он не тяготился своей ролью и не слишком замечал нашу холодность. Он хотел быть довольным и был доволен. Он надеялся даже, что мы разделяем его восхищение самим собой или по крайней мере вполне согласны со справедливостью такого восхищения.

— Чем собственно вы занимаетесь теперь? — спросил его по дороге Фёрстер.

— Я? Банками, промышленностью, организацией тыла,— ответил Мстислав как бы рассеянно.— Мы все теперь стали патриотами. Э-э-э, вы не знакомы, кстати, с моим проектом нового печатного органа? Грандиозно. Могу, э-э-э, дать оттиск, и этому молодому человеку также. Впрочем, вас это вряд ли может заинтересовать, милейший профессор.

— Значнт, вы бросили невропатологию?

— Отнюдь. Но граждане своего отечества... как это сказано про поэта и возмущенную стихию? Сейчас, э-э-э, дела нужны, реальные дела, и уже после, после досуг для умственных профессий. Живой человек не в состоянии, э-э-э, сидеть на своем месте, когда горит дом.

— Но что же он должен делать? — спросил я, едва скрывая свое раздражение.

— Что-с? Идти в общественную жизнь так или иначе, э-э-э, так или иначе.

— А как?

— Молодой человек, вы невнимательны. Я сказал: идти в общественную жизнь. Это понятно, э-э-э, даже гимназисту.

— Как идти? — добивался я.

Мстислав замедлил ход, как бы для того, чтоб ярче выразить свое недоумение и неодобрение. Он заиграл лорнеткой, надул губки, сощурился, насупился.

— Общественная жизнь... (он неопределенно махнул ручкой в воздухе) многообразна. Она выражается, э-э-э... в коллективной работе на пользу целого. Например, комитеты, союзы, сообщества (он, видимо, обрадовался)... Именно, именно, сообщества. Люди должны соединяться.

— Но мы тут соединены и работаем коллективно на пользу целого! — ответил я.— Коллективы бывают разные. Например, коллектив ученых. Вы хотите, чтоб они сползли со своего места и государство одичало? Оно и так снимает с мест большинство. Пусть по крайней мере горсточка, которую оно не тронуло, честно исполняет свой долг.

Мстислав терпеть не мог спорить, когда с ним не соглашались, или, как он считал, «когда его не понимали». Он поднял брови с видом неоцененного превосходства и кротко, но твердо переменил тему; он пожелал интервьюировать больных.

Это было разрешено ему в полной мере. Истеричке и двух-трех новоприбывших Фёрстер трогать не позволил, они оставались в своих комнатах. К остальным Мстислав Ростиславович был немедленно допущен. Больные находились в мастерских, и мы прошли к ним туда. Признаюсь, я побаивался этого интервью после нежданной вчерашней катастрофы. С утра я был с Мстиславом и ничего не знал о настроении больных. Еще неприятней мне стало, когда в мастерских оказался Ястребцов, с папиросной меж черными зубами, элегантный, слегка насмешливый, занятый выпиливанием по дереву при живейшем участии барышни-морфинистки. Он поклонился нам с своего места, и умный, печальный взгляд его скользнул по Мстиславу.

Мстислав шел к больным, дрыгая ножками. Он был так толст, что лоснившиеся складки его кожаной куртки казались складками жира. Фёрстер, доведя его до мастерских, отправился вниз, а я принужден был остаться и присутствовать при интервью.

Но как мало еще знал я моего профессора и моих больных! То, чего с неустанным духовным воздействием добивался весь врачебный персонал; то, что было главнейшей задачей фёрстеровского метода и что вчера, казалось мне, надолго отдалилось вспышкой больных,— умение коллективно решать и действовать при способности противостоять стадным эмоциям,— налицо оказалось во всех санаторских пациентах. Как отвечали они Мстиславу! Я стоял, даже не улыбаясь, но внутри у меня все прыгало от торжества. Теперь я понял зна

чение маленькой вчерашней речи, обращенной Фёрстером к больным. До сих пор в нашей жизни не было факторов принудительных, исходящих не от нашей свободной воли. Больные оставались больными. Сейчас они почувствовали себя членами одного организма, бытие которого грозит прекратиться. Я слушал и никого не узнавал.

Неврастеники, апатики, гипертрофики и прочие «уродцы» с необычайным одушевлением отстаивали институт Фёрстера. Дамы распространялись о психологии, мужчины о принципах. Карла Францевича любили в санатории; но до какой степени его любили — это я узнал только сейчас.

О, да, да, все решительно довольны. Признаки улучшения в состоянии больных налицо. Никаких воздействий на них не оказывается. Обращение более чем корректное. Многие укрепили и выработали характер. Готовы к жизни. Почувствовали охоту к ней. Ни на какой другой метод они фёрстеровский не променяют. Лечились по нескольку лет у других профессоров, и ничего, кроме шарлатанства, не находят. Их задерживали, тянули с них деньги, и в результате никакой пользы не оказывалось. Фёрстер — человек идеи. Он никого не держит больше года, и посмотрите, как все здоровеют, как все здесь внутренно заняты, как успешно побеждают болезнь в такой короткий срок.

— Но, однако, я слышал, что некий Лапушкин покончил здесь самоубийством? — медленно спросил Мстислав.

Пациенты смутились было, но пациентки ни капли. Особенно энергично выступила Дальская.

— Помилуйте, он был застарелый эротоман! У него на голове волос не было (она покосилась на розовый череп Мстислава). В такие годы разве излечиваются?

— Но на похоронах было допущено даже, э-э-э, какое-то одобрение из уст, э-э-э, священнослужителя?

— Помилуйте, какое же одобрение? Батюшка пригласил нас молиться за его душу...

Так и не мог добиться Мстислав ничего, потребного

для его цели. Он уже повернулся, чтоб идти назад, пыря свои обтянутые ножки, словно на них были гетры, а петушиные перья, как вдруг взгляд его упал на Ястребцова.

— А вы, милсдарь, были все время, э-э-э, заняты и ничего мне не сказали.

— Мне нечего говорить,— сухо ответил Ястребцов, нагибая голову к дереву. В лице его была тревога. Он ни на кого не смотрел.

— Но, однако? Вы извините меня, если я вас беспокою...— и Мстислав расположился возле столика самым прочным образом, упершись в него локтями. Он заговорил о том о сем — вплоть до выпиливания по дереву. И первое время все шло благополучно. Ястребцов отвечал с неохотой, но добросовестно. Я заметил в нем необычную терпимость. Веки его дергались от раздражения, но он не сказал Мстиславу ни одного невежливого слова.

— Сохранилась ли, э-э, здесь этнографическая... этнографическая интимность, какую я наблюдал несколько лет назад?

— Этнографическая интимность? — Ястребцов поднял голову и вопросительно взглянул на Мстислава.

— Ну да, кумовство с кавказскими народностями.

— Право, не знаю... впрочем, я слышал (Ястребцов беспомощно оглянулся вокруг, и лицо его судорожно передернулось) еще по дороге сюда о патриархальной манере нашего профессора. Он по-своему духовно опекает горцев, дает советы, помогает, вразумляет... Дочь его ходит за больными детьми, электрическая станция его работает на весь аул.

— Ну, а пробовал ли профессор просвещать их, э-э-э... в духе православного исповедания?

— Да ведь он сам не православный, кажется! Нет, религии их он не касался. Он даже одного недовольного, Уздимбека или Уздимбея, снова примирил с его религией.

— Обратно в магометанство? Любопытнейшая, э-э, деталь.

Я взял было Ястребцова под руку и попытался вставить от себя слово, но Ястребцов судорожно выдернул

руку и продолжал говорить. Он рассказал о меланхолии Уздимбея, об его отказе совершать намаз, об его равнодушии к своим обязанностям; о том, как профессор устроил ему «живую притчу» и вразумил его, посоветовав «воздать честь Аллаху», и как после этого Уздимбей снова стал правоверным. Словом, весь рассказ бедного фельдшера, выслушанный мною из-за стены, был перевернут, переврал, использован губительнейшим для Фёрстера образом. Я стоял, чувствуя, что бледнею от гнева. Я энергично прервал Ястребцова и постарался описать факты в истинном их свете, но меня никто не слушал. Скрипучий голос Ястребцова перешел постепенно в хрип. И вдруг, как тогда у меня в комнате, он сразу замолк, повернулся и вышел от нас, автоматически шагая вперед.

Мстислав боялся чересчур выказать свою радость. Он покрутил пуговки, поиграл лорнеткой. Мы обошли еще несколько больных, но больше для виду. Приближался обеденный час. Мой спутник вышел из санатории, величественно приказал камердинеру готовить коляску и проследовал в профессорский домик.

А там все уже было готово к обеду. Варвара Ильинишна, скрепя сердце и, быть может, надеясь подействовать на Мстиславову совесть, принялась за хозяйские обязанности. Стол был сервирован празднично, Дунька надела кружевной чепчик. Когда мы появились в дверях, на стол была поставлена дымящаяся голубая миска с супом.

— Пожалуйте,— начала было профессорша.

Но Мстислав махнул ручкой и обвел всех глазами. Он торжествовал. Он уже не мог таить ликования, оно так и прыгало у него по всей физиономии, пробивалось из всех ее щелей.

— Merçi, не беспокойтесь! — начал он медленно.— Зачем столько беспокойства? Я должен, э-э, тотчас же ехать и поем в Сумах. Долг службы прежде всего. Уважаемый господин Фёрстер, я хочу поставить вас в ясность... э-э... всего случившегося.

Фёрстер вышел из своего уголка. Он не сел и не попросил сесть Мстислава.

— Д-дэ, к сожалению, факты неопровержимы I
уже целый год, как в сферах были озабочены неко-
рыми... некоторыми слухами о недостаточной ваш
лояльности. В настоящее время, вы понимаете, д
каждого из нас — предотвращать опасность. Я лич
э-э, всегда защищал вас, рискуя своей репутацией
триота, но, к сожалению, должен убедиться, что с
неправ, вполне неправ. Я отверг слухи и требовал ф
тов. И вот пришли факты, фактики, фактишки, нако
целая совокупность фактов. Рассмотрим их. Я патр
милсдарь. Я сознаю, что, когда мое отечество воюе
э-э, с полумесяцем у себя на юге, и с, э-э... с юнке
на западе, то всякое проявление внимания к мусу
манским народностям со стороны лица... не будем ск
вать фактов!.. лица германского происхождения д
жно быть оценено как предательство. Но предметно
предметность прежде всего! Я не хочу быть голосл
ным, я буду предметен. Разберем случай с горцем
димбеем. Человек переживает внутренний кризис.
явно... э-э... явно даже для посторонних, отстраняе
от обрядов своей веры, усомнившись, конечно, в их
лесообразности! Я враг духовных насилий. Но когда
ловек сам стучится в ворота... э... в ворота спасения
как православный и патриот, усмотрю в этом сими
указание, государственную задачу! Сегодня од
завтра другой! И что же делает единственное зд
лицо, призванное силой вещей к патриотическому
ступку, лицо, облеченное доверием, имеющее свя
Оно — я не могу удержаться от горького изумлении
оно вдруг говорит: воздай честь Аллаху! И это го
рит христианин, и в такую минуту, и усомнивше
душе!

Мстислав увлекся своим красноречием. Фёрстер с
шал безмолвно. Голубая миска стынула.

— Прискорбно, профессор, прискорбно, и я рад б
бы закрыть глаза и уши, чтоб не узнать этого. Н
дела ведутся деловым образом. Дела ведутся делов
образом! Я вынужден предупредить вас, что по окон
нии вашего дела в суде, ибо оно поведется судебн
порядком, вас, вероятно, сошлют. Семье вашей, н
надеяться, не придется страдать за вашу оплошнос

Я употреблю все свое влияние... О дальнейшем вы будете извещены.

Он сделал общий поклон и пластически повернулся к дверям, но выходу его слегка помешала кошка Пашка, застрявшая у него в ногах. Споткнувшись, вышел он, наконец, вон, сел в коляску и... но тут подскочил к нему Зарубин, выпустивший своего тигра наружу. Мстислав изменился в лице.

— Сволочь,— отчетливо проговорил мой коллега, глядя прямо на ревизора, и, размахнувшись, ударил его по лицу. Кучер тронул вожжи, как будто удовлетворившись означенной экзекуцией, и Мстислав скрылся из виду, прежде чем мог возвратить полученное.

А в столовой все еще царило безмолвие. Варвара Ильинишна, белее скатерти — новой скатерти, постланной для гостя,— глядела на мужа. Марò, неподвижная, стояла у печки. Лицо ее горело, как лицо отца. Она была уверена, что «па не допустит и победит». Фёрстер действительно не собирался «допустить».

— Мамочка, сядьте, кушайте! — сказал он, подходя к жене и дочери.

— А ты, голубчик?

— И я приду. Только сбегаю к больным...

— Карл Францевич, не будь Ястребцова, не нашел бы он ни одного фактика,— вырвалось у меня, наконец, с отчаянием.— Знал я, что он нас предаст, сочинит какую-нибудь гадость! — И я, в бессильной ненависти, рассказал ему все, слово в слово, что произошло в мастерских. К моему удивлению, Фёрстер побледнел и встревожился.

— Вы говорите, повернулся и ушел? Как тогда? И больше вы его не видели? Ах, боже мой, несчастный!

Он схватил шляпу с гвоздя.

— Сергей Иванович, идите, идите со мной! Мамочка, я сейчас, кушайте суп без меня!

И прежде чем я мог понять его беспокойство, он отправился в санаторию. «Несчастный, несчастный»,—повторял он по дороге сквозь зубы. Мы почти бежали, прошли переднюю и, узнав, что Ястребцов у себя, поднялись на третий этаж.

Глава двадцать четвертая

ЧЕЛОВЕК БЕЗ СУДЬБЫ

Дверь не была заперта. Ястребцов лежал у себя на диване, ничком, уткнув лицо в подушку; затылок и плечи его тряслись. Когда он поднял голову, я увидел, что лицо его перекошено, а глаза сухи. Он прикусил губу своими черными зубами и глядел на нас почти в беспамятстве.

Фёрстер подошел к нему, взял его за руку, сел рядом.

— Слушайте меня, Павел Петрович, вы слушаете? Поглядите на меня. Да. Вы не сделали ничего пагубного. И без вашего рассказа у него были готовы свидетельства. Участь моя была решена до его приезда сюда. Успокойтесь же. Придите в себя и успокойтесь.

Он глядел на него, не отводя глаз, со страшным внутренним напряжением. На лбу его вздулась голубая жилка.

Но Ястребцов механически, бессильным жестом, отводил его руку и продолжал трястись. Только зубы освободили прикушенную губу и отбивали теперь мелкую дробь.

— Ну, поднимите глаза. Успокойтесь. Павел Петрович, я пришел поговорить с вами, как друг ваш и доктор. Нет, нет, перестаньте огорчаться, вы не сделали никому никакого зла. Никому никакого.

Он минут пять уговаривал Ястребцова, как ребенка, детскими словами, глядя на него все с тем же напряжением. И вот мало-помалу лицо Ястребцова стало осмысленней, в глазах появилось движение, дрожь прекратилась. Он сел, как бы приходя в себя после обморока, обвел взглядом комнату, поднял руку и стиснул ею лоб. Но потом снова снял ее и положил в руку Фёрстера.

— Вы возвращаетесь к сознанию, отлично. Глядите, пожалуйста, мне в глаза, я хочу вам помочь. Мы будем сейчас долго говорить.

— Я никогда не лгал вам и... ему!— Ястребцов проговорил это глухо, с видимым усилием кивнув на меня.

— Да, да, Павел Петрович, вы никогда не лгали, когда вы — были вы... Не вздрагивайте. Я виноват пе-

ред вами, я с самого начала сделал ошибку: заподозрил вас. И пропустил столько драгоценных дней, когда мог бы помочь вам! Но теперь мы это исправим. Ведь вы хотите, чтоб мы это исправили?

— Если б у меня хватило сознания... чувства мужества .. я убил бы себя, как Лапушкин.

— Но мы вас вылечим. Все поправимо. Смотрите на меня. Пожалуйста, не сползайте с мысли, на которой сейчас остановились. Отвечайте мне на вопросы. Или нет, лучше я буду рассказывать вам, а вы подтверждайте или отрицайте. Так?

Ястребцов кивнул головой.

— Ну, я начинаю. Павел Петрович, вы не могли не заметить, может быть даже с детства, что вы медиумичны. Ведь так? Вас удивляла ваша понятливость. Вам ничего не стоило учить стихи наизусть, усваивать формулы, ряд понятий — и потом все очень скоро забывать. Вы умели быть остроумным, блестящим, гениальным перед тем, кто вас любит. Вы остро чувствовали антипатию и перед всяким, кто был нерасположен к вам, теряли выдержку, становились бездарны. Вы легко принимали участие в разговоре и горячились по чужому поводу, а потом сами бывали удивлены, зачем это проделали. Вы мгновенно чувствовали чужое настроение и легко схватывали чужие миросозерцания. Вы могли понять не только близкое, но и вражеское. Из себя самого вы умели конструировать целые системы. Вы любили мечтать. Сильные энтелехии оказывали на вас болезненное воздействие. Вы не знали, как вам вести себя с убежденным, с жуликом, с нахалом, лжецом. Вы часто уступали, даже глупому. Ход мыслей глупца был вам понятен, как ход мыслей умника, и казался непреодолимым. Вы страдали от неумения противодействовать и все чаще уходили в себя, чтоб отвести душу в писании, чтении или работе. Я перечисляю первое попавшееся, но этим черточкам нет конца. Это — симптомы души медиумичной.

Ястребцов кивнул.

— Были у вас начатки характера? Были, конечно, но вы их не развили. С медиумичной душой вы сочетали огромный ум Ваш ум не организаторский, но испытую-

щий. Вы обратили его на исследование собственной души. Вы набирали психический опыт ценою личных экспериментов. Вы обезличили себя самого, сделав свою душу ареной исследования. Постепенно вы отделили свои ощущения от воли. Проследим ваше пребывание у меня, можно?

Ястребцов снова кивнул. Он успокаивался под напряженным взглядом Фёрстера.

— Итак, Павел Петрович, вы приехали сюда. Ваша искренность была заподозрена — к несчастию; я и мои помощники не оказали вам творческой помощи. Вы были в среде людей, душевная жизнь которых искажена. Люди эти,— большинство их,— не имели сильных внутренних побуждений, и потому вы некоторое время чувствовали себя защищенным от чужих энтелехий. Но... на беду в среде больных были и здоровые: моя дочь, например. Она как раз переживала сильное внутреннее движение. Она любила и боролась между любовью и ее недолжностью. Ее энтелехия не могла не подействовать на вашу. И тут произошло событие в науке, подобное мимикрии: ваша психическая жизнь окрасилась ее цветом, и вы слили свое возбуждение с ее возбуждением. На языке Сергея Ивановича этот факт был определен так: «Ястребцов в каждом усугубляет его индивидуальный соблазн». Слушайте дальше и продолжайте смотреть мне в глаза. Когда вы заметили это, вы испугались. Вы остатком сознания боролись с этим. Но ваша психическая жизнь уже вышла из-под контроля вашего сознания и воли и была сильнее вас. Уже другие энтелехии начинают влиять на вас. Теперь это Лапушкин, вероятно не вполне справившийся со своей манией. Несчастный думает, что он здоров, и перестает таиться от людей. Он вступает в общение и с вами. И его мания немедленно заражает вашу психику. А заразившись, вы в свою очередь удесятеряете его соблазн. Не так ли? Лапушкин не может осилить врага, он кончает самоубийством. Невольный виновник, вы страдаете, насколько хватает сознания, и хотите уехать. Но страшно опять идти в жизнь навстречу здоровым, сильно действующим людям. И вы остаетесь тут, как в своем последнем прибежище.

Ястребцов низко опустил голову.

— Нет, нет, поднимите глаза. Вот так! После Лапушкина встречные влияния на вас артистки Дальской, Черепенникова. Желая спастись, вы бежите, наконец, к Сергею Ивановичу, чтоб в его спокойном обществе найти себя, отдохнуть, попросить помощи и поддержки. На что вам так нужен Сергей Иванович? Вы привыкли к нему обращаться,— потому что в нем нет ни сильных побуждений, ни сильных страстей. Он спокоен и благородно чувствует. Душа его не приносит вам вреда. И вот вы бежите к нему и делаетесь его жертвой: на ваше несчастье больной Сергей Иванович находится в душевном возбуждении. Его волнение влияет на вас, сбивает вас с толку, приплетается к вашей душе — и вы опять не в своей власти. Теперь вы страдаете еще глубже. Вы чувствуете, что ваша возбудимость душит вас. С нечеловеческой энергией держите вы ее на вожжах. Является Мстислав Ростиславович. Пронырливая и упорная душонка настраивает вашу душу соответственно — и беспомощно вы идете навстречу ее желаниям. Нет, нет, не Лапушкин, не Маро́, не я загублены вами, как можно со стороны подумать. Вы — наша жертва, вы жертва и Маро́, и Лапушкина, и Мстислава, и даже Сергея Ивановича. И моя, потому что я не понял вас сразу.

Фёрстер перевел дух, но продолжал неотступно глядеть на больного. Я стоял, совершенно ошеломленный этою речью. Из неподвижных глаз Ястребцова вытекли две тяжелые, одинокие слезы и, медленно пройдя путь свой по худым щекам, скатились ему на ворот.

— Судьба! — сказал он хриплым голосом.— Вы не знаете главного, самого страшного: у меня нет судьбы.

— Говорите. Я слушаю вас.

— У меня нет судьбы. Меняю пространство. Меняюсь во времени. Но индивидуально со мной ничего не случается, кроме смены воздействий. Я не приобретаю и не теряю. Не привязываюсь. Не ищу. Не могу получить. Не вижу. Только борюсь — сам с собой.

Наступило несколько минут молчания.

— Не могу жить! — снова захрипел Ястребцов, судорожно протягивая руки.— Не могу, поймите!

— Вот что,— задумчиво произнес Фёрстер, глядя на него попрежнему.— Вы не совсем себя знаете. Я напомню вам. Кто после пьесы, в зале, крикнул взбунтовавшимся больным «стыдно, господа»? Это крикнули вы. Почему? Ваше восприятие откликнулось на мою напряженную волю. Итак, вы отзываетесь на всякое побуждение. И вы можете принести огромную пользу, если начнете работать в согласованном коллективе, с людьми, сильными волей, направленной к добру и порядку

— Всюду, где люди,— беспорядок, зависть, соревнование, борьба самолюбий. Мною станет играть случай. Я беззащитен без характера.

— А коллектив детей?

— Коллектив детей!..— невольно воскликнули мы оба, и Ястребцов и я.

— Ну, вы были бы талантливым педагогом. У детей нет злой воли. Психея их слишком слаба, чтоб влиять. Они заражают нас только естественным, честным, чистым. Будьте почаще с детьми, и я ручаюсь вам, что постепенно вы укрепите характер. Я знаю человека ясного и сильного волей: у него есть своя школа — в лесу; для очень маленьких детей. Хотите поступить к нему помощником?

— Он не примет меня.

— Он примет вас, и я сегодня же напишу ему письмо. А теперь ложитесь спать. Не ешьте ничего. Вечером примите ванну. Дайте мне вашу руку, вот так.

Фёрстер крепко пожал Ястребцову руку, несколько секунд смотрел на него и, не сводя с него глаз, боком прошел к двери. Только когда мы спустились вниз, я увидел, как страшно измучен Фёрстер. Он был бледен и покрыт потом, даже губы у него побелели. Разговор с Ястребцовым занял полтора часа. Но, дойдя до профессорского домика, где заплаканные Марò и Варвара Ильинишна все не садились обедать, а Дунька десятый раз подогревала обед и лила водицы в сковороду «на подливку»,— придя туда, Фёрстер почувствовал себя дурно. Он опустился в кресло, жестом попросил нас есть без него и неподвижно просидел весь обед. Невесело и торопливо ели мы, обмениваясь лишь незначи

тельными словами. Наконец, эта мука была завершена тортом, до которого никто не дотронулся.

Я хотел было уйти к себе, но Фёрстер жестом остановил меня. Он был так слаб, что несколько раз вздохнул, прежде чем заговорить.

— Сергей Иванович, завтра у нас воскресенье. Передайте Зарубину, что послезавтра я выеду в Петербург. Санатория останется на вас обоих.

— Но вы нездоровы...— начал было я. Он слабо улыбнулся.

— Через три-четыре часа это пройдет. Вечером я напишу письмо для Ястребцова и на всякий случай вручу его вам.

Я подумал несколько секунд и нерешительно произнес:

— У моей матери большие связи. Если б это понадобилось...

— Это не понадобится. В России есть законы.

Я пожал его руку и вышел. А выходя, подумал, что открыл в моем трезвом патроне неожиданный запас наивности. Не это ли открытие переполнило меня удвоенным благоговением и нежностью?

Погода не изменилась. Все так же лежала серая слизь на горах, и под ногами гнили желтые листья. Было холодно, дул противный северо-восточный ветер. Тихонько добрел я до флигеля и тут наткнулся на кашляющего старичка. Я не видел его со вчерашнего дня. Должно быть, замена синтетической похлебки пошла ему впрок. Морщинистое лицо его сияло, узкие глазки, почти встречавшиеся у переносицы, сияли тоже. Из-под замасленной фетровой шляпы висели замасленные седые вихры. И длиннополый пиджак был чистехонек, словно его вычистили для большого праздника. Он дрожащей рукой приподнял шляпу и замахал ею, показывая мне что-то внизу, на шоссе.

Я остановился, глядя вниз. Что там такое? Там медленно двигались две женщины с большими узлами в руках. На мгновение горный выступ скрыл их. Но вот они свернули с шоссе на тропинку и стали подниматься к флигелю, время от времени останавливаясь и переводя дыхание. Наконец, когда кряхтение их достигло

моего слуха, я признал в низенькой фигурке «бумажную ведьму». Вслед за ней шла здоровая молодая женщина, не лишенная грации, в чистом белом платочке и с белыми руками, такими белыми, что их едва можно было отличить от узла. Она подняла голову, узнала меня и задорно засмеялась.

— Гуля! — вскричал я невольно.

— Эге! — торжествующим голосом подтвердил старичок.

Это действительно была Гуля. Ей сделали операцию, и теперь она возвращалась восвояси, отлежавшаяся, побелевшая, располневшая. Ее лисье личико приобрело оживленную и немного звериную прелесть. Она остановилась передо мной, улыбаясь от избытка жизнерадостности.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Августа Ивановна,— ответил я, едва приходя в себя,— очень рад, что вы, наконец, поправились.

— Да, уж теперь совсем! Тяжести таскаю.— Она хвастливо подняла свой узел, и рот ее заколыхался от смеха, обнажив два длинных, острых передних зуба.

Кашляющий старичок, суетившийся во весь диаметр своих дугообразных ножек, выхватил у нее узел, чмокнул ее в плечо, проделал то же самое со своей супругой и ринулся к лестнице. За ним пошла Гуля, спустив платочек на плечи и открыв свои рыжие косы. Но «бумажная ведьма» задержалась возле меня. Она перевела дыхание и устремила на меня свой птичий, ничего не выражающий взор.

— Пан доктор своими глазами видит, что все кончилось благоприятно. Пану доктору известно, сколько они перенесли. Но что было — то было, и не станут они трогать прошлого. Однако пусть теперь остерегаются. Теперь она сама знает, как ей поступить, если что-нибудь такое повторится. Ох, пусть это все хорошенько запомнят!

Она покивала внушительно головой и скрылась. Итак, ни она, ни Гуля ничего еще не знали! Хансен и не подумал сказать им о разводе. Но мог ли он предлагать развод умирающей женщине? Не ждал ли он,

как и мы все, быть может тайком от себя самого,— легкого выхода из всех затруднений? Но вот Гуля снова очутилась перед нами жива-живехонька, встала во весь рост, заняла свое место и оскалила хорошенькие лисьи зубки. Проблема опять не снята, и решение вопроса опять зависит от трех, а не от двух. Я горько усмехнулся цинизму своих мыслей. Мимо пробегала Байдемат с младенцем на спине. Я подумал секунду и поймал ее. Вырвав из блокнота листок, я уведомил Марò о выздоровлении и приходе Гули и о том, что она еще ничего не знает о разводе, и о том, что я иду на лесопилку к Хансену и прошу ее прийти поскорее туда на совещание.

— Ты понесешь это барышне Марии, да поскорее! Понимаешь?

Байдемат легонько повела плечом и скользнула по мне лукавым глазом. Свернув листок трубочкой, она сунула его в зубы, подбросила младенца повыше на затылок, уцепила его обеими руками за ноги и помчалась во весь дух. Я поспешил в другую сторону. Спускались сумерки, лязг пил становился медленней и тише; кое-кто из рабочих прекратил работу и сидел на бревне. Я поманил за собой Хансена и, когда мы дошли до желоба, остановился.

Хансен казался бледным и истощенным; от него опять пахло острой металлической пылью. Таким он был всякий раз после целого дня работы, в сумерках. Я кратко сообщил ему обо всем.

— Вы позвали сюда Марò? Но если за мною придут из дому?

— Скорей всего не придут! Они хотят, должно быть, устроить вам сюрприз. Но, во всяком случае, мы спрячемся за озеро.

— Хорошо,— ответил Хансен.

Минут пять мы поджидали Марò, и оба молчали. Наконец, наверху появилось светлое пятнышко, и Марò, в легком платьице и платке на плечах, спустилась к нам ни быстро, ни тихо, очень ровная, очень спокойная, со странным, неподвижным выражением на лице. Тогда мы втроем, как заговорщики, и все еще молча, пробрались под желобом к озеру, обошли его и спрятались в

беседку барбариса, яркорыжую от осени. Маро̀ плотнее закуталась в платок. Она озябла и дрожала. Я заговорил первый.

— Дело в том, Маро̀, что ему, на мой взгляд, следует перебраться из флигеля к вам. Тянуть это дольше невозможно. Если хотите, я беру на себя переговоры со старухой и с Гулей, и уж лучше им теперь не встречаться, вы согласны?

Маро̀ как-то странно поглядела на меня, потом на Хансена.

— Погодите,— сказала она ровным голосом и отвернулась. Руки ее лежали на коленях, посинев от холода. Веки слегка распухли — утром она плакала. Что у нее на душе — я разобрать не мог. Наконец, она снова повернула к нам спокойное лицо и произнесла:

— Мне кажется, им непременно нужно встретиться. Филипп, слышите? Пойдите сегодня к ней, и не нужно ничего пока говорить.

— Но тогда?.. Но где же ему ночевать? — довольно глупо вырвалось у меня. Маро̀ подняла на меня невинные глаза все с тем же странным, остановившимся взглядом

— У них.

Хансен завозился на своем бревнышке. Он протянул руки к Маро̀ и хотел взять ее пальцы в свои, но она судорожно их вырвала. Не ревновала ли она к Гуле? Что с ней происходит?

— Филипп, погодите немножко, не трогайте меня... Ах, погодите и подумайте. Ваша жена вернулась. Надо у нее спросить, захочет ли она вас отдать.

— Марья Карловна, у нас так не делается, и конечно она не захочет. Ведь я вам все говорил. Теперь вы начинаете сначала! — нетерпеливо вырвалось у Хансена.— Решать так решать. Или объявить все сразу, или...

— Или? — спросила Маро̀.

— Или оставить все попрежнему.

— Тогда оставим все попрежнему.— Она встала, повернулась и хотела идти. Я сидел, совершенно сбитый с толку.

— Марò! — воскликнул Хансен, кидаясь к ней.— Марò, вы сердиты на меня. Так нельзя ничего решать.

— Нет, я не сердита на вас.

— Ну, так дайте мне ваши руки!..— Он протянул к ней свои.

— Нет,—ответила она тихо. В голосе ее была странная матовость, делавшая его беззвучным.—Не трогайте меня. Сейчас это совсем не нужно. Филипп, пожалуйста, поймите меня по-настоящему. Очень важно, чтоб вы все поняли. Надо вам самому выпросить у жены согласие на развод, иначе мы не будем счастливы.

Хансен взглянул на нее, опустил руки и побледнел еще больше.

— Это значит, что нам надо попрощаться. Вы это сами знаете. Жена меня любит, насколько может любить, и по доброй воле не отпустит. Или, вы думаете, она все поймет и благословит?

— Филипп, Филипп,— шепнула Марò с болью.— Сколько раз мы говорили об этом и ссорились. Сколько раз мы оба сознавали, чтò надо сделать... И вот пришла минута. Неужели мы станем трусить и лицемерить?

Она подошла к бревну и села, уронив лицо в ладони.

— Вы корите меня, ну, а если бы я позвала вас сейчас к себе и решила одна,— были бы вы счастливы? Были мы счастливы эти дни? Я люблю вас больше жизни, вы знаете. Только этого, кажется, мало... Не глядите так! Вы жалеете меня, я жалею вас. Ну,— давайте перестанем жалеть,— и как тогда нужно будет решить?

Хансен опустился перед ней на колени и положил белокурую голову ей на руки. Она вздохнула тихонько и глядела на него сверху вниз:

— И этого сейчас не надо, нет. Ах, вы тогда не прогнали меня. Теперь это больнее. Ну, Филипп, посмотрите на меня. Филипп, самое дорогое, самое чудное — об одном думать одинаково. Дайте мне посмотреть на вас. Вы думаете сейчас так, как я? Да?

Он поднял голову, и они долго-долго глядели друг другу в глаза.

— Прощай,— медленно сказала Маро́, нагибаясь к его губам,— прощай, прощай! — Каждое слово точно выходило из страшной глубины, но голос ее был спокоен.— Будь радостен... Только, о, Филипп... не люби ее сразу. Н-не забывай...— Голос ее дрогнул, она отвернулась, оттолкнула его рукой и пошла наверх, в темноту.

Хансен остался лежать у бревна, спрятав голову в руки.

Глава двадцать пятая

ГОРЫ В СНЕГУ

Всю ночь бушевала буря. Я глядел в темноту, прислушиваясь к ее гулу. Мне не спалось. Но к утру сквозь щели ставен легли на полу золотистые прямоугольники: это наступил солнечный день, первый ясный день за целую неделю.

И какой же это был день! Ветер прогнал туманы, очистил небо и запорошил горы снегом по пояс. В воздухе стоял колючий холод. Скамьи, крыши и бревна были усеяны мельчайшей чешуей кристалликов, едва таявших от прикосновения. Иней покрыл и листья на дорожке, хрустевшие под ногами. Я вышел, вдыхая чистый, опрозрачненный воздух. В куртке жгло меня солнце, и, сбросив ее, я почувствовал колючую свежесть утра, пьянившую и гревшую своим холодом. Глазам было резко от головокружительной четкости. Горы в белых колпаках лежали взволнованными линиями на густоголубом фоне. А внизу, где голубел Ичхор, меня поразила новая симфония красок.

Берега Ичхора — лиственны. Пока мы переживали наши человеческие горести и перемены, деревья там, в лесу, тоже менялись. Медленно-медленно сходил их цвет, вымирали листья, редели макушки. Но поредевшие шапки еще остались, и сейчас, когда раздвинулся день и к нам хлынуло ослепительное солнце, я увидел долину, насыщенную золотом. Сквозное золото трепетало на легком ветру. Каждое дерево пожелтело по-своему, не было ни одной повторяющейся краски. Березы вызолотились до чистой пепельной желтизны, похожие на

головы деревенских ребят летом. Дуб заржавел и стоял в пятнах. Густокоричневый цвет был на липах, цвет столярного клея. И в шевелящихся оттенках этого золота, словно красные лужицы крови, трепетали кровавые заросли азалий, поднимая кверху свои листья-ложечки.

В профессорском домике укладывали чемоданы. Маро̀, стоя на коленях, клала в него одну за другой аккуратно завернутые вещи. Варвара Ильинишна штопала носки. Обе молчали. Маро̀ осунулась немного и гладко пригладила волосы, связав локоны на затылке. Она казалась, впрочем, спокойной, и только темные круги под глазами да сжатый рот напоминали о вчерашнем. Меня ей было неприятно видеть. Она едва протянула мне руку и снова занялась укладкой. Я это понял.

— Карл Францевич, вы скоро? — спросил я у Фёрстера, нагнувшегося в жилетке над саквояжем. Он выпрямился и снял пиджак с гвоздя.

— Да. Маро̀, где мой галстук?

Маро̀ подошла к дивану. Галстук оказался под кошкой Пашкой, преспокойно разлегшейся на нем всеми четырьмя лапами. Маро́ схватила ее за шиворот и сбросила на пол. Кошка мяукнула, подняла хвост трубой и в удивлении заходила вокруг ее ног.

— Уйди ты, брысь! — крикнула Маро̀ и оттолкнула ее ногой. В продолжение этой сценки Фёрстер глядел на дочь. Он ничего не сказал, но девушка встретила его взгляд и пожала плечами.

— На́ тебе галстук, па.

Фёрстер встряхнул галстук и сам завязал его. Мы вместе вышли.

— Горы-то, горы в снегу! — воскликнул он, снимая шляпу и глядя вперед, на белые гребни.— Можно ли тут соскучиться, Сергей Иванович! Каждый год дивлюсь таким дням и не могу привыкнуть. Что вы повесили голову, голубчик? Вам еще предстоит старость. Не смейтесь, это прекрасная штука. Только в старости и наслаждаешься хорошей погодой.

Он никогда не был так разговорчив. Потихоньку я поглядел на него. В выражении его лица была какая-то

странная, необычная удовлетворенность. И кожа его показалась мне прозрачной, как сегодняшний воздух. Каждая морщинка была видна на ней, и бесчисленные морщинки вокруг сияющих, молодых глаз. Он смеялся.

— Марò я возьму с собой и, может быть, там оставлю... на время. Ну, вот, мы пришли. Сегодня я распрощаюсь с больными и объявлю вас моим заместителем.

У дверей санаторки поджидал Зарубин. С тех пор, как тигру его удалось благополучно сорваться с цепи, Зарубин хранил неизменную улыбку. Он называл ее «улыбкой воспоминания». С такою улыбкой он пожал нам руки и тоже кивнул головой на горы. Даже швейцар вывесил свою канарейку, славившуюся хроническим недугом и потому лишь изредка хрипевшую вместо пения,— вывесил ее наружу и поздравил нас с хорошей погодкой.

Не улыбался один только я: уезжал мой Фёрстер, уезжала Марò. Что-то, похожее на слезы, стояло у меня в горле и мешало говорить. Поэтому я ограничивался односложными репликами.

Больше половины больных были уже здоровы, остальные чувствовали себя лучше; двух Фёрстер признал неизлечимыми, и мне было поручено отослать их с фельдшером в другую лечебницу. Мы обошли наших пациентов, и с каждым, останавливаясь, болтал Фёрстер так весело, как никогда раньше. Юмор его был мягок и затейлив и напоминал мне старомодный юмор англичан. Больные заразились его настроением. Все, кто мог смеяться, собрались вокруг него в маленькой гостиной. Он шутил. Говорил с ними о пьесе, о ревизоре, о будущем. Он подробно излагал им свои планы и вдруг, обернувшись ко мне, заметил:

— Вот если б каждый из людей работал в каких-нибудь учрежденьях и качество их зависело от приложенной ими энергии,— душевнострадающих на земле стало бы меньше. Чтоб вылечить себя — лучше всего бороться не за себя, а за что-нибудь другое.

— Как это, Карл Францевич? — вмешалась Дальская, примостившаяся к его креслу. Он взглянул на нее, улыбаясь.

— Помните сказку Андерсена про хромого мальчика? Нет? Ну, вот, лежит хромой мальчик на постели. Одна нога у него в параличе с самого детства, и он совсем не может ходить. Лежит он долго, несколько лет, облежался. Его лечат и не вылечивают. Кто-то подарил ему птичку. Он к этой птичке сильно привязался. Однажды родители поставили клетку с птичкой на комод и ушли из дому. Мальчик видит, как злая кошка подобралась к клетке и запустила в нее когти. Он стал кричать, швырять в нее подушкой, книгой, одеялом, перешвырял все, что у него было, но кошка снова подобралась к клетке. Тогда он забыл, что он хром, кинулся к клетке да так с птичкой, босой, и выбежал на улицу и с тех пор стал ходить. Вот и нужно нам почаще забывать, что мы хромы.

— Хорошо, у кого есть птичка,— задумчиво промолвила Дальская.

— Нет такой птички в России,— отозвался и Черешенников. Он поглядывал в свое пенсне чуть-чуть напыщенно.— Незачем нам вскакивать с постели.

— Вы думаете? Только в сказке птичка бывает дареная. В жизни люди ловят их сами. Поймайте себе птичку, и ваше дело в шляпе.

Тут Фёрстер взглянул на часы и кивком позвал меня за собой. Мы поднялись наверх, к Ястребцову. Карл Францевич передал ему приготовленное письмо, посоветовал не выходить из своей комнаты вплоть до отъезда, посидел с ним, успокоил его, описал лесную школу.

— Я подробно изложил ваше состояние. Первое время вы будете общаться с детьми лишь изредка и под наблюдением моего друга. Лучшее, что вы можете сделать,— не бояться ни за себя, ни за детей.

Потом он спустился в мастерские, осмотрел все работы, составил новые расписания на каждый день. Он зашел в музыкальную и отложил несколько партитур для нашего оркестра (маленького оркестра из больных), переговорил с каждой сестрой, с прислугой, с истопником. Он зашел и в душную оранжерею, где маленький садовник в очках выводил на воде чудовищные орхидеи. И ему задал работу. Вся санаторская жизнь, не исключая даже меню (ибо и пища не была

у нас случайной), распределилась им на месяц вперед. Нам, заместителям, оставалось лишь следить за стройностью ее течения. Но и этим Фёрстер не удовлетворился. Он зашел к себе в кабинет, сел за стол, придвинул огромный блокнот и стал записывать для нас новую программу.

— Сергей Иванович,— сказал он мне через плечо.— Идите к нам обедать, уж время. Да передайте Варваре Ильинишне, что я остаюсь тут, пусть она меня нынче не ждет.

Я поспешил исполнить его просьбу. События последних дней притупили и отодвинули мою боль. Но сегодня я не мог сдержать ее, и она вырвалась наружу. Мной овладело суетливое нетерпение, какое бывает перед отъездом, когда вещи сдвигаются с места, порядок нарушен, правила ослабели. В суете и в пыли сдвигаемых вещей, в столовой, где стол был накрыт лишь на одной половине, а на другой стояла корзиночка, я увидел темную голову и длинные хрупкие пальцы, лежавшие на ремнях,— и почувствовал, что Маро́ уезжает, что Маро́ уезжает завтра, что Маро́ уезжает, быть может, навеки и что самое светлое у меня — уже было в прошлом. В солнечном столбе с крутящимися пылинками грелся розовый куст камелии. Его отодвинули с обычного места к печке. Мне резнуло сердце чувство запустения и перемены. Я остановился на пороге, обводя комнату глазами, чтоб запомнить ее навсегда, с ее обитателями, еще не покинувшими ее стен.

— Карл Францевич не придет? — вздохнула Варвара Ильинишна. Впрочем, она была скорее довольна этим. Укладку перенесли сюда, а профессор не любит пыли.— Пообедаем наспех, зато к ужину все уберется.

— К ужину покормлю вас вкусно,— прибавила она, протягивая мне тарелку с супом,— а сейчас уж не взыщите.

Маро́ безучастно села за стол. Я сидел против нее, но не смел взглядывать на нее слишком часто; в разговор она почти не вмешивалась.

— Значит, и Марья Карловна едет,— сказал я, делая вид, что поглощен супом.

— Едет. У родных будет, там у нее бабка и дядя

семейный. Уж и представить себе не могу, как она удивится на столичные чудеса. Ты, Маруша, там с открытым ртом ходить будешь. А уж про театры, про музыку я и не говорю. Каких артистов там услышишь! Смотри, мне каждый день пиши.

Варвара Ильинишна делала вид, будто чрезвычайно рада отъезду Марȯ. Она с жаром расхваливала чудеса, которых вот уже двадцать пять лет не видела и не вспоминала. Она даже придавала тону своему оттенок добродушной зависти. А уголки рта у нее все-таки дергались, и я прекрасно видел, как она подносила к губам все одну и ту же ложку супа и тихонько опускала ее назад, в тарелку. Видела это и Марȯ. Вдруг она встала с места, подошла к матери и поцеловала ее в седую голову.

— Мамочка, я тебе буду все подробно описывать. Ты не думай, я... я очень рада, что еду.

После такого изъявления взаимной радости Варвара Ильинишна не отважилась больше говорить, а прибегла к носовому платку. Но Марȯ вышла как будто из своего безучастия. С долгим вниманием глядела она на мать, потом перевела глаза на меня и улыбнулась. Улыбка была успокаивающая; она говорила: «Что вы огорчаетесь? Или вы думаете, что я принимаю решения, не рассчитав своих сил?»

Ее лицо опять выглядело постаревшим; над правою бровью, от напряженного раздумья, вздулся холмик. Такою она внушала мне странное чувство, похожее на почтительность; я казался себе мальчишкой перед осознанной женскою силою, какая глядела из ее спокойных глаз. Не возлюбленной, а матерью хотелось бы мне иметь ее. И к чувству этому примешивалась новая боль: боль от сознания недоступности, невозможности ее для меня, все равно — какою, все равно — когда. Но сегодня я боролся с болью. Мне нужно было видеть Марȯ, быть с ней, запомнить ее, насладиться ее близостью несмотря ни на что. Старинные стенные часы показывали два. До прихода Фёрстера мне оставался только час. Или — если угодно — целый час! Обед был кончен, Варвара Ильинишна легла отдохнуть, Марȯ хотела остаться одна. Но я все-таки не ушел и примо-

стился в кресле, вынув для большей прочности свои пребывания портсигар и спички.

И она отгадала, должно быть, что делается во мне. Утром сердце ее было еще в том окаменении боли, когда хочется причинить ее другому; в такую минуту кошек Пашек бросают за шиворот на пол. Но сейчас боль перешла в другую, высшую стадию, когда с высоты ее озираешься вокруг, жалеешь жалеющих тебя и с холодною строгостью сознаешь свое безжелание как свою свободу. В такие минуты кошку Пашку оставляют на месте, глядят на нее углубленным взглядом донесшего свой крест человека и, может быть, гладят ее. И кошкою Пашкой на этот раз суждено было быть мне.

Марò пододвинула мне пепельницу, достала коробку шоколада и положила ее на стол. Села сама возле, опершись подбородком на скрещенные пальцы, и стала глядеть в окно, откуда врывались голубизна и глубина неба и золото уходящего солнца. Она даже заговорила первая, все не отводя взгляда от неба:

— Па меня беспокоит. Вы заметили, Сергей Иванович, какой он нынче странный?

— Он мне показался веселым.

— Ну да, но как-то особенно. Весь день он говорит, ко всем обращается, все хочет привести в порядок, даже с нашей Дунькой беседовал, обещал про ее жениха-солдата все разузнать, номер его полка взял. Он никогда так не суетится. Мне почему-то тревожно на сердце.

Странно, и я испытывал ту же тревогу от необычайной сегодняшней активности Фёрстера. Но ей об этом я ничего не сказал.

— Милая Марó, это он перед отъездом, а может быть и Мстислав на него повлиял. Он теперь в настроении борца.

— Может быть,— задумчиво ответила Марò.— Но все-таки это на него не похоже. Знаете, я на самом деле рада, что еду с ним. Отпустить его одного в таком состоянии было бы несчастьем. И мы с мамой с ума бы тут сошли от беспокойства.

— А вы мне напишете оттуда о нем? — спросил я, опустив голову.

— Хорошо. Но вы и так все будете знать от мамы. Вы теперь сидите с ней все вечера. Она, бедняжка, никогда одна не оставалась. И с Цезарем вы тоже гуляйте.

— Все буду делать,— ответил я торжественно, точно давал ей клятву. Какой в самом деле я мальчишка еще! По биению своего сердца я знал о ходе минут. Часы отбивали их более спокойно и более безжалостно. Из драгоценного часа прошли четверть часа, потом новые четверть часа. Мне вспомнилось, как я в раннем детстве говорил себе: вот наступит новое лето, и я буду вспоминать, как прошлым летом был отделен от этого лета целым годом, а теперь уже в нем; так я говорил сперва о лете, потом о классе, потом об окончании университета. Теперь я сидел и думал: завтра Маро̀ уже тут не будет, и я стану завидовать этой минуте. А минута протекает, ее не соберешь, не наполнишь и не удержишь, и в воспоминании, быть может, она будет цельнее и жизненнее, чем сейчас.

— Кушайте шоколад, Сергей Иванович, и не сидите понурившись,— сказала Маро̀ утешающим тоном. Она опустила пальцы в коробку и нашла там свой любимый пакетик «без начинки»; вытащила его, но тут нечаянно встретила мой взгляд. Переменив направление, тонкие пальчики положили шоколадку на стол, прямо перед моим носом, и Маро́ снова прибавила:

— Кушайте!

Мне хотелось плакать. Я взял шоколадку и нагнул к ней губы — не для еды. Я был глуп и эгоистичен в эту минуту. Возле меня сидела девушка, пережившая самую сильную муку, на какую способно женское сердце, и пережившая ее добровольно. А я не мог справиться с мгновенной вспышкой своего горя и вел себя, как ребенок. Еще раз она дала мне урок, и доброта ее тихонько указала мне, до чего я еще не дорос и куда надлежит мне расти. Она поглядела мне в глаза своим спокойным измученным взглядом и произнесла:

— Милый Сергей Иванович, никто не может дать— чего он не может дать, правда? Иначе я всем сердцем дала бы вам счастье, которого судьба не дала мне самой. Но еще слово-ложь возможно, а дело-ложь совсем невозможная вещь, и вы сами чувствуете это.

Я закрыл лицо руками и сидел неподвижно в своем кресле.

— Не мне вас сейчас утешать, голубчик. Но я вам скажу, как у меня самой на душе. Очень больно, это правда. Но когда закрываю глаза, говорю себе: кто же мне мешает любить? Если не бояться боли, то ведь все осталось, как есть, и тот, кого мы любим, и наше сердце, которое любит. Только любовь ищет себе другую форму. Сейчас еще очень больно... иной раз охоты нет нести... но будет легче, и я вижу, что мир углубился, что глубже хочется войти в него, внимательней быть, ко всем внимательней, к родным, к чужим, идти осторожней, чтоб никого не раздавить. Вот так будет и с вами.

Она коснулась рукой моих рук и разняла их. Я взглянул на нее сквозь слезы. Так дорога она мне была и слова ее в эту минуту, что я не мог говорить, не мог ей сказать «да» и не хотел поцеловать лежавшие передо мной пальцы. Я только чувствовал всем сердцем это «да» И правда, кто же мешает мне любить! Ведь она есть, и она есть, если даже уедет, и она есть, если даже умрет. Сквозь острую боль странный восторг расширил мне сердце.

Стукнула дверь. Драгоценный час истек! А я и позабыл считать его. Пришла покрасневшая от лежания Варвара Ильинишна, протерла глаза, поправила съехавшую со стола скатерть. Надо было готовить кофе. Она открыла шкаф и стала вынимать из него маленькие чашки.

— Сейчас Карл Францевич... да уж он тут, легок на помине! — радостно воскликнула она навстречу входившему мужу.

В столовую вошел Фёрстер. Он держал в руке шляпу и казался каким-то странным Светлая и небывало рассеянная улыбка блуждала у него по лицу. Он обвел нас взглядом, дошел до середины комнаты.

— Погода-то, погода какая для нашего отъезда! — проговорил он медленно. И вдруг как-то качнулся назад, сел в кресло и, смертельно побледнев, откинулся на его спинку. Шляпа вывалилась у него из рук, а руку он судорожно прижал к сердцу На лице у него осталась светлая улыбка

Глава двадцать шестая

ГДЕ РАССКАЗЧИК КЛАДЕТ ПЕРО

Фёрстер не уехал в Питер. Он уезжал туда, откуда никто не возвращается. Его перенесли на диван тут же, в столовой. Ночью он пришел в себя, как будто оправился, и несколько минут мы надеялись, что и этот припадок он перенесет, как прежние. Но сердечная деятельность у него слабела. Мы поддерживали ее всеми средствами и так дотянули до рассвета. Однако сознание его не покидало. В семь часов утра он сам выслушал свой пульс, улыбнулся, попросил поднять шторы и потушить электричество. Солнце только начинало выходить из-за гор, и над хребтами их, в чистом зеленоватом воздухе, виднелись лучи, словно острия спрятанной короны.

День был такой же, как вчера. Нам казалось, будто все длится этот один и тот же день, только затмившись на коротенький промежуток. Никто из нас не ложился, не выходил из комнаты и старался не думать, что может произойти через час. На окне стоял полураскрытый саквояж, а внизу чемодан, старательно упакованный вчера. Цезарь лежал за дверью; его не пускали в комнату; он долго скребся, потом лег, уткнул морду в лапы, носом в узкую щель, и так лежал неподвижно, покуда его не сгонял кто-нибудь. В санатории уже узнали о несчастии. Больные приходили справляться, и лишь просьба не тревожить Фёрстера действовала настолько, чтоб они не толпились перед профессорским домиком.

В восьмом часу показалось солнце, и Карл Францевич попросил раскрыть окно. Мы раскрыли окно. В комнату, пропитанную камфарой, заструился свежий холодок. Втроем,— Зарубин, фельдшер и я,— мы придвинули диван к окну. Там, на подоконнике, стояло лимонное деревце. Фёрстер показал на него рукой.

— Передвинуть?

— Нет.

— Убрать?

— Нет, вытрите пыль. Полейте лекарство... на стволе... там.

Я осмотрел деревце; на стволе были маленькие паразиты. Варвара Ильинишна убрала больное деревце и обещала тотчас же им заняться.

Ни она, ни Маро́ не плакали. Когда вчера с Фёрстером сделался сердечный припадок, мы все приняли это за смерть. В ту минуту Маро́ кинулась к нему, крича безумным голосом, и весь вечер плакала, сидя у его ног на постели. Сегодня она притихла, ходила за ним вместе с нами, улыбалась ему, не спускала с него глаз. И Варвара Ильинишна при нем казалась спокойной. Деревце она действительно снесла в кухню, обтерла и смазала лекарством, но тут не вытерпела, закрылась рукой и судорожно зарыдала.

— Голубчик ты мой... Господи... Господи! Милый ты мой... И что ж я теперь буду... что ж это...

Но когда оиа снова вышла к нам, лицо ее было спокойно и даже бодро. Фёрстер все глядел на нас внимательным прищуренным взглядом, как бы уговаривая не огорчаться. Он делал время от времени замечания, почему я не пил кофе, почему Маро́ не ложится отдохнуть, почему у Валерьяна Николаевича нос красный, почему Цезаря не пускают в комнату. Цезаря впустили. Он кинулся с визгом на диван, положил умную голову Фёрстеру на руки и неистово забил хвостом. И так как он все припадал к нему передними лапами и повизгивал, то пришлось его снова вывести и водворить в коридоре.

Так прошло еще два часа. Мы невольно обманывали себя и друг друга надеждой: а вдруг обойдется? Когда живое существо рядом с нами и дух его ясен,— трудно поверить в смерть.

— Маруша!

— Что па, родной мой?

— Подложи мне под голову еще подушку и сама сядь сюда.

Маро́ осторожно приподняла отца за плечи и прижалась щекой к его щеке. Подушка была положена, Фёрстер оперся на нее, а дочь уселась на скамеечке у изголовья.

— Мамочка, и ты тоже. Да не горюй, глупенькая, взгляни, небо-то какое.

Варвара Ильинишна не могла сдержаться и заплакала Плача и силясь улыбнуться, подошла она к мужу и тоже села рядом. Он протянул ей руку, она прикрыла ее своей мягкой, теплой рукой.

— И вы трое... поближе.

Ему хотелось говорить. Я сделал попытку остановить его, но он поглядел на меня смеющимся, вразумительным взглядом: сердце пока работает,— ведь не для лишнего безмолвного часа? Мы подошли и сели вокруг дивана. Я поместился, чтоб видеть его благородную голову и встречать хоть изредка его глаза,— в дальнем конце, у ног. Зарубин сел возле Марó, фельдшер на полу.

— Не бросайте санатории...— начал он. Говорил он одними губами, едва слышно, и все же ему было трудно, и дышал он часто и судорожно. При каждом его вздохе Марó вздрагивала и прижималась к его плечу.

— Боритесь всеми средствами. Если отберут, продолжайте дело, где можно. Стойте крепко за метод. Двух новых (он говорил о двух новоприбывших больных) держите здесь до последнего дня. Я записал лечение... там... Ястребцова в школу. Завещание у меня в шкафу. Будут неприятности — боритесь. Нельзя без борьбы. И бояться этого не нужно. Все достается в борьбе. Никто за нас ничего не сделает. Мы сами виноваты, что вокруг плохо. Охота не должна пропадать. Не вздумайте, Зарубин, отмахиваться. Ну! Полно вам. Чем хуже время, чем несчастней родина, тем упорней работайте над своим участком. Свое дело делайте. Ваш соблазн, голубчик,— брезгливость. Не отрицайте. Вас натошнит, вы повесите руки. Это не верно. Вы всегда жалейте... паразитов снимайте, а дерево лечите, а побрезгаете, одним деревцом меньше станет. И еще соблазн: себя самого брезгаете. А каждый хорош. Каждый — единственный. Извольте «иродцев» тоже любить. Без любви лечить нельзя.

Он перевел дыхание и улыбнулся. Ему хотелось высказаться до самого конца, а сердце мешало. Он попросил сделать впрыскивание, и мы снова оживили ему

сердце. Но он торопился расходовать и этот кусочек жизни.

— Ты, мой Тихоныч, не горюй. Тебе новая забота — жена моя и дочка. Береги их. Сергей Иванович, вам завещаю тетрадку. Возьмите из правого ящика, держите у себя — следствие начнется, все запечатают. Развивайте метод. Работайте дальше в том же духе. Но пусть вам истина дороже Платона... Ваш соблазн: менять не любите. Терять не любите. Что облюбовали, в том упираетесь. Это хорошо, но не до упрямства. Превыше всего любите истину. Поправлять не бойтесь, где найдете ошибку. Метод мой не совершенен. Ищите дальше. Догматов не сотворяй себе. Держите глаза открытыми... всякую минуту. Это важно. Особенно для нас. У нас всё любят, кроме истины. И радость — вам будет от этого. Еще другой соблазн: вы чистенький. Ужаснетесь, если согрешите. Не сможете сами себя простить. Затоскуете. Тогда вспомните, что я вам сказал на прощанье: что бы ты ни совершил, ты еси человек. Куда б ни упали, напомните себе, кто вы такой. Человек до конца не погибает, до конца не умирает. Всегда нечто останется. Поняли? Возносить себя грех, а унижать себя — еще больший. Вспоминайте это перед грехом, оно вас обяжет. Вспоминайте и после греха, оно вам поможет выкарабкаться... Ну, до свидания, милый, да не горюйте, все хорошо.

Он повернул голову к тихо плакавшей Варваре Ильинишне.

— Мамочка, а что я тебе скажу, слушай-ка... Ну полно тебе! Ты от горя возропщешь. Невдомек тебе будет, почему бог не пожалел. И так огорчишься, что станешь думать: да и есть ли он, бог-то? Уж, верно, и нет его вовсе! И как это сама себе скажешь, обернешься вокруг, на людей, и станет тебе их жалко, и себя жалко, и весь мир жалко, что живут — из сил выбиваются, всполошишься ты за весь мир, раскроешь сердце, да так оно громко обрадуется в тебе, и такая подымется в нем любовь, что ты в удивлении скажешь: вот он, бог-то, я его ищу, а он тут и сидит внутри...

— Это в тебе он сидит, милый ты мой, жизнь моя, — зарыдала Варвара Ильинишна, припав к его руке.

Дыхание больного делалось все тяжелее. Губы высохли, побелели, обтянулось лицо. Он с трудом перевел глаза к дочери.

— Марушка... ты подойди, дочка моя... поближе. Ты мне радость дала. Помни... я доволен тобой. Ищи такого счастья, чтоб не на чужой беде... Высокого... И суди себя высоким судом, девочка...

Он совсем побелел и склонил голову набок. Шепнул еще что-то, но последних слов его уже никто не расслышал. Жизнь оставляла его постепенно. Дыхание еще не ушло, сердце толкнулось, потом стало; он умер спокойно и незаметно, и когда нежданный ветер взметнул ему легонько волосы, он был уже мертв.

1916

ПЕРЕМЕНА

Быль

Памяти моей матери

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Об этом знают не только солдаты в окопах,— знают об этом и горожане в подвалах.

Глава первая

МЫ ПРОТИРАЕМ ГЛАЗА

С величайшей охотой и удовольствием, по самый кончик, вошли в февральскую революцию люди самые разнообразные: капиталисты, чиновники, губернаторы, полицеймейстеры, думские гласные, нотариусы и даже городовые. Это было сюрпризом, а сюрпризу все люди рады.

Столицы были к нему слегка подготовлены, но провинция пережила его словно снег на голову.

Из года в год в одноэтажных особнячках предместья Ростова, с лепными карнизами и приспущенными жалюзи на зеркальных окнах, жизнь текла привычным порядком. По вечерам, заполночь, сидели гости и играли в карты. Прислуга на кухне сквозь сон готовила, смотря по сезону, все тот же одинаковый ужин: осенью резались на закуску помидоры и огурцы, делалась «икра» из вареных баклажан, вынимался из банок плачущий белый, пахнущий остро сыр брынза, вспарывалось текущее жиром бронзовое брюхо шамайки; травки всех наименований и запахов, от укропа до белого испанского лука, клались отдельно, опрыснутые водой, на тарелку; и на печи, посыпанной крупным углем, подогревался бараний соус с бобами,— а босые ноги шелестели уже по красному деревянному полу на террасу, где накрывался стол, ставились свечи в стеклянных колпачках от

ветра и падали, ушибаясь о них, крупные пахучие жужелицы. Зимой и весною граненое стекло поблескивало в старинном трюмо, и чинный столовый стол заставлялся холодной закуской, а из темных буфетных комнат, где пахло мускатным орехом, гвоздикой, ванилью и пробками, выносились цветные графинчики.

Гости играли до ночи и ушли доигрывать в клуб, оставив спящую стоя прислугу подбирать со стола тарелки и засыпать солью красные винные пятна на скатерти. Хозяин утром вернулся домой с газетой в руках. Он прошел гостиную, кабинет, будуар, коридор, затянутый линолеумом; в спальню вошел не на цыпочках, жену за плечо взял без всякой осторожности и голоса не понизил до шепота, когда сказал так, что слышалось в коридоре:

— Вставай! В Петербурге революция, Николая убрали.

Потом самые разнообразные люди в Нахичевани-на-Дону поздравляли друг друга, мало понимая, почему они радуются. Потом город убрался, принарядился, школы распустили учеников, городская дума устроила заседание и под портретами государей читались вслух телеграммы об отречении голосами торжественными и полными, словно это было личным удовлетворением каждого из читающих.

Начались митинги, и легкость вхождения в революцию все продолжалась. Проступили отдельные Иваны Иванычи, избираемые в разных местах разными организациями. Иваны Иванычи вставали рано, не любили почесываться, в уборной газетами не зачитывались, после обеда не спали,— они «кипели в общественном котле». Им всегда было некогда, они поглядывали на часы, рядили извозчиков месячно, держали своих кучеров, как модные доктора, и не было случая, чтоб их не оказалось на заседании. Когда приходил час выборов, они выбирались автоматически, совсем так, как севший в вагон доезжает до станции, а начавший служить дослуживается до чина.

Проступили и Марьи Ивановны. Эти дамы любили вспоминать курсы Герье и Бестужева, когда-то прятали у себя нелегальную литературу, собирали деньги на

шлиссельбуржцев, а во время войны шили солдатам фуфайки. Каждая из них где-нибудь председательствовала. Они умели звонить в колокольчик и очень громко кричали: «Тише!» Им досталось целиком женское движение и митинги по женскому вопросу.

Митинг устроить — не шутка. Президиум (четыре дамы с колокольчиками) оповестил: ровно в восемь часов вечера в коммерческом училище. Говорить будут о женском вопросе. И собралось женщин видимо-невидимо, ровно к восьми часам вечера, со всех ростовских и нахичеванских окраин,— женщин в платочках и дырявых сапогах. Шли по снегу, по воде, по лужам, шли с грудными ребятами, кому не на кого было их оставить, шли версты и версты,— пришли, а президиума нет. Колокольчики стоят, но дамы опоздали, а в залу не вместить и одной десятой пришедших. Гул стоит от вопросов. Пришедшие хотят хлеба, не пшеничного, а духовного, по которому голодали года.

Но вот половина президиума приехала в фаэтоне. Толстая дама с фишю[1] на колыхающейся блузе, просвечивающей розовыми лентами бюстодержателя, всплывает на кафедру, машет платочком, кричит громко, хозяйственно, благотворительно: надо перенести митинг на воскресенье двенадцать часов, здесь потолки провалятся, с улицы ломятся толпы, нельзя, никак нельзя...

Духовного хлеба нет, голодные ропщут, им кажется, что над ними смеются. Они пришли со спичечной фабрики, с макаронной, с мыльного завода, с парамоновской мельницы, а оттуда, по грязи и талому снегу, версты и версты...

Вечером говорит утомленная Марья Ивановна Анне Ивановне в чинной столовой, когда спящая на ходу девка несет, роняя вилку на пол, приборы, а из кухни бьет запах подогреваемой бараньей ноги:

— Какая темнота! Сколько ненависти к интеллигенции. Забыто все, что мы отдали, чем пожертвовали! Они готовы избить нас или устроить погром,— вот увидите, начнут с евреев, а кончат интеллигенцией!

---

[1] *Фишю* — кружевное подобие галстучка *(франц.)*.

Но стадия Ивана Иваныча сменяется стадией Петра Петровича. Иван Иваныч стоит в зените. У Ивана Иваныча появился завистник. Почему, скажите, все ему да ему? Почему все его да его? Как будто нет лиц с высшим образованием, с общественным стажем? Снова политический митинг. На эстраде Иван Иванович рядом с Петром Петровичем. В зале — рабочие и солдаты.

— Товарищи! — кричит Петр Петрович.— Обратите внимание, комитет сам себя выбрал! Советую вам воспользоваться своими правами и переизбрать комитет на основах четыреххвостной формулы!

Шум. Иван Иванович, бледнея, вскакивает:

— Товарищи! Зала полна еще несознательных элементов. Среди нас есть провокаторы! Нельзя переизбрать комитет, не имея руководящего списка!..

Шум, свист.

— Он против четыреххвостной формýлы! — кричит кто-то, делая ударение на «му». Публика сбита с толку. Веселый человек в пиджаке, прячась за спины рабочих, пронзительно вопит:

— Иван Иванович — сука!

Иван Иванович потерял популярность. На эстраде утверждается Петр Петрович. А вечером у Петра Петровича ужин, скорый, на быструю руку, с государственной экономией времени. Два-три единомышленника, их жены, гимназист из комитета учащихся, старший приказчик — в виде демократического элемента... Жуют, стирая с усов капли сладкого соуса, подбирают с тарелки рыхлым куском белого хлеба; гимназист скоблит ножиком. Но Петр Петрович темнеет:

— Где графин? Почему вино в бутылке, а не в итальянском графине?

— Машу я выгнала нынче,— шепчет Анна Ивановна, сжимая отрыжку корсетом и пряча губы в салфетку,— Маша разбила, нахальная стала. Вообрази себе, ходит и спит. Я ей говорю, а она зевает.

— Ах, мерзавка! Итальянский графин! — Петр Петрович безутешен, настроение испорчено, графин был привезен из Милана..

Но что же чувствуют Маши, полуспящие от усталости, что чувствуют женщины со спичечной, мыльной,

парфюмерной, бумажной фабрик, машинисты и смазчики, шахтеры, солдаты, мусорщики, выгребальщики, те, что тянут вонючую кожу на кожевенной фабрике за городом, те, что моют вонючую шерсть на шерстомойке за городом, те, что тихо скользят по ночам на вонючих бочках в городе? Знают ли их Иван Иванович и Петр Петрович? Знают ли они Ивана Ивановича и Петра Петровича? И что им дала февральская революция?

Глава вторая

«ПРОБЛЕМА ТРУДА»

Не все интеллигенты подобны вышеописанным. На последней улице города, лицом в степь, стоит деревянный домик, крашенный в голубое с белым. Крыша у него треугольником, окна в одно стекло, во дворе голое тутовое дерево, колодец, куры и мостки через черные лужи, густые, как сапожный клей. Отсюда слышна виолончель, здесь живет Яков Львович, тоже интеллигент, когда-то магистр философии, а сейчас виолончелист городского симфонического оркестра.

Яков Львович не всегда бреется, он высоко поднимает воротник пиджака, а нечаянно взглянув на свои ногти, сконфуженно прячет руку в карман. От Якова Львовича пахнет луком,— так сдабривает ему каждый день водянистую похлебку без мяса мать Якова Львовича Василиса Игнатьевна. Мать — православная, русская, маленькая, в платочке. Самого же Якова Львовича в гимназии ругали жидом, а в университете — дружелюбно — семитом. У него длинный нос, бледные восковые ушные раковины, красноватые веки и в них небольшие робкие глаза, прячущиеся от чужого взгляда, как от удара. Яков Львович вышел в отца, провизора Мовшензона.

Для родного городка Яков Львович—неудачник. Из науки проку не вышло, отцовские деньги проел и пропил, не женился, не выбился в люди, ходит ободранный, сипло смычкастит себе что-то по струнам в дырке городского оркестра и не знается с приличною публикой.

Даже и на обед к городскому голове, куда приглашен был весь оркестр за исключением низших ударных, не позвали Якова Львовича.

Для себя самого Яков Львович — счастливец. Не только счастливец — блаженный. У него всегда хорошо на душе, так хорошо, что даже перед людьми ему совестно. Дождик идет, лужи чмокают, ветки вздрагивают, скрапывая капли,— и он, точно дерево, рад дождику, спешит на улицу, лысинкой намокает, губами бормочет — радуется. Сухая пыль столбом стоит, доводит до вычиха дворовую собаку, а он и тут рад, глядит на твердые круги облаков, выпукло стоящие на пыльном небе, и вспоминает Андреа Мантенью.

Яков Львович любит Россию. Он стоял рядовым с ружьем по колено в воде, защищая ее от немца, хотя в сердце его начертана была заповедь «не убий». Он по первому зову большевиков побежал из окопов брататься.

Офицер царской армии, университетский товарищ, сказал ему:

— Ты как семит не можешь понять позорности происходящего. Тебе не больно, когда рушится государственное единство, попирается национальная честь... Сын родины должен чувствовать, как хозяин. Будь ты хозяин, ты бы вместо братанья пошел и дал ему прикладом в морду. А ты семит и наемник. Тебе все равно.

— Послушайте, да чей же вы сын? — взволнованно говорил Яков Львович, порываясь объяснить ему.- Ведь это она же, мать ваша, сказала мудрейшие в мире слова, она посылает вас по-братски к брату! Таких слов еще никто в мире не произносил, а вы неразумно затыкаете уши, восстаете на мать. Посмотрите вокруг себя: над лицемерием, ложью, кровью, насилием, предательством — благословение папы, священников, пасторов, журналистов, ученых, и ни один не закричал: «Остановите безумие!» И вот Россия первая говорит, что нужно,— самое простое, самое понятное. А вам стыдно перед кардиналами и дипломатами за ее «необразованность»,— вы не сын. Так чувствуют лжесыновья, кретины!

— Так рассуждают жидо-масоны, у них свои

дипломатия, знаю! — в бешенстве кричит офицер, вспоминая, что носит погоны.

Сколько ран нанесено Якову Львовичу! Но что ему? К боли, кусающей сердце, он привык и не ропщет. Она только ширит сердце для радости, учит молчанью. И Яков Львович прячет небольшие робкие глаза в красноватые веки, сторонясь, как удара, враждебного взгляда.

Вместе с потоком серых шинелей, облепивших вагоны, свисавших с площадок, с крыш, с буферов и из окон, докатился и он до голубого с белым домика, снял обмотки с длинных и тощих ног, обмылся, отправился в город, на митинг. Долго ходил Яков Львович, слушал и волновался. Приходили в голову длинные речи, а говорить их — не то получается.

— Товарищ, вы бы попроще! И, знаете, уж очень как-то у вас все восторженно,— сказали ему в редакции, куда он принес заметку об организующей роли музыки.

Мысли верные, глубокие, мудрые — и никому не нужные. У Якова Львовича тетрадь в клеенчатом переплете, купленная когда-то у Мюра и Мерилиза. В нее он записал:

«Надо осознавать происходящее — вплоть до проблемы, сжимать свою мысль до формулы. Каждая крупица действительности сейчас показательна, как семяпочка. Это я называю конденсацией опыта».

— Яшенька, не заходил бы ты умом за разум, отдохнул бы,— советует мать, пришедшая от соседки.

Яков Львович записывает у себя:

«Мысль отдыхает, когда ей дана работа. Всякое следование фактов без передышки утомляет и раздражает».

— Я от Авдотьи Саркисовны,— твердит свое мать,— она говорит, что ты можешь получить сейчас хорошее место по городской милиции. Старых-то поснимали, новых ищут, которые с образованием. Жалование и положение. Без труда-то ведь не проживешь.

Яков Львович не слушает мать — его заннмает идея. Разве не сходятся все вопросы действительности, все ее беды у одной центральной проблемы? Труд — в этом все дело. Он раскрывает тетрадь и снова пишет:

«ПРОБЛЕМА ТРУДА

Ошибочно думать, что вопрос о труде разрешим в плоскости социальных отношений. Забывают о психологии труда. Если труд — обязательство, да еще тяжкое, да еще volens-nolens, то на такой почве ничего не построишь. Труд должен удовлетворять человека. Отсюда: он не смеет быть механичным. Не механично лишь творчество, и труд должен быть творческим. Но творческий труд не утомляет, не насилует, это не обуза, а счастье. Я могу работать творчески по 12—16 часов в сутки, и меня надо силком отрывать: сам не в силах остановиться. Отдыхаю — для него же. Утомляет меня не он, но, наоборот, невозможность ему отдаться, помеха, рассеяние. Неспособны к творческому труду только кретины (и чаще всего буржуазного класса). Разве для кретинов произошла революция, что в единицы меры всего человечества избирается самочувствие кретина?»

Стук в дверь — у Якова Львовича сосед, товарищ Васильев, слесарь царицынского завода и большевик. Небольшой, остроглазый, со впалою грудью, входит в комнату. Желтые пальцы с порыжелыми ногтями сыпают на мятую бумажку табак из жестянки, быстро скручивают, прихлопывают жестянку. Яков Львович дает прикурить.

— Я с митинга в городском саду. Бестолочь! Массы озлобляются. Видели вы последний номер «Известий»?

— Товарищ Васильев, выслушайте мою мысль, — берет Яков Львович клеенчатую тетрадку. Ему это кажется простым, как дневной свет.

— Кустарничество,—буркает Васильев,— мелкобуржуазная психология. Сводите вопрос с рельсов в тупик.

— Поймите же вы, это вечное! Не надо ваших терминов, они этого не покрывают,— всплескивает Яков Львович руками.

— Работаете на контрреволюцию, если хотите знать,— неуклонно твердит Васильев в клубах табачного дыма.

— На контрреволюцию? — встает Яков Львович. Солнце из низенького окошка падает на худое лицо с острым носом, черты его вытянулись, облагородились,

стали странно знакомыми; и глаза глядят широко, открыто, без робости.

— Посмотрите сюда, какой я контрреволюционер! Я больше пролетарий, чем вы, ничего у меня нет и ничто здесь не держит меня. Я люблю мысль революции, я за нее умру, не поморщившись. Или вы лучше меня видите ложь старого мира? Только я не желаю создавать на место нее новую ложь под другим названием. Я гляжу в корень, в первооснову, а вы мне отвечаете ходячими словечками, жупелами. Почему вы не хотите видеть мою правду, как я вижу вашу?

Васильев докурил папироску, он молчит, ему трудно найти слова. Потом говорит, и взлетает каждое слово, как ком земли из роющейся могилы: вот тебе, вот тебе, вот тебе...

— Все вы глядели до сих пор в корень. А что сделали? Кто в корень глядит, ничего не делает. Последняя ваша правда — оставить все, как оно есть, вот ваша правда. Вам кажется, что вы с нами, а все, что вы говорите, мог бы сказать любой буржуй и сделать выводы против нас. Нам эти слова ни к чему, они давно говорены, опорочены, от них ни пяди не изменилось. Да и зачем вам, скажите, идти к нам? Вы вот говорите, что пролетарий. Верно, только вы другой пролетарий. Вы такой пролетарий, которому и не нужно ничего, все у него уже внутри есть. Ну, признайтесь, на что вам революция? Вам, если хотите, и история не нужна, одной мысли довольно.

Яков Львович угас и сел снова.

— Странно, это очень верно, что вы говорите,— отвечает он Васильеву.— Я блаженствую, это да, если даже один огурец с хлебом Могу и без огурца. Но ведь и ваша цель — счастье человечества. Вы же не зря мечтаете о разрушении, вам надобно осчастливить. Почему вы смотрите на мое счастье как на минус?

— Поймите, оно бездейственно! Расстройство желудка у капиталиста нам выгодней, чем блаженство такого пролетария, как вы. Бездейственно, в этом вся штука.

Яков Львович и Васильев расстаются. Васильев идет «организовать недовольство масс», а Яков Львович, сжимая руками голову, до полуночи ходит по комнате.

Глава третья, отступительная

«ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ, СПАСЕННОМУ — РАЙ»

Февральская революция катится, она праздником ходит по городам и местечкам, она становится чем-то вроде модной этикетки «Трильби» на папиросах, печеньях, шоколадках, подтяжках. Пикник свободы с сардинками, булками, хлопаньем пробок, официантами в белых перчатках,— но, правда, отказывающимися брать на чай. Официанты как будто поступились привычками; хозяева — нет.

Война популярности не потеряла. Заглядываемся на союзников; комплименты нас очень обязывают: мы готовы на все, чтоб не разуверилось «общество». И разговор о «победном конце» не пресекся.

Но дамы из общества охвачены все же надеждой спасти сыновей, кончающих последние классы гимназии, лицея, классических интернатов. Обтягивая губами вуалетки, спускаются и поднимаются дамы по лестнице министерства народного просвещения в Петербурге. Какая свобода! Входи и выходи. Швейцар очень любезный, должно быть не самосознательный, а из хорошего дома. И наверху тощий, с лицом на английский манер, в хохолке, с золотыми часами браслеткой, чиновник сурово отказывает: «Ни для кого никаких отсрочек, мы защищаем родину!» Но вуалетки оттягиваются на лоб, пахнет пудрой, плачущие глаза прикрываются легким платочком, «если б вы знали... и, ах, как это жестоко!» Чиновник смягчен, обещает снестись с военным министерством... есть некоторая надежда...

Дамы порхают к выходу, сталкиваются, знакомятся:

— Вы откуда?

— Я из Ростова, а вы?

— Из Ярославля.

— Хлопотать об отсрочке?

— Да. Он обещал, не знаю уж, верить ли...

На стенах розовеют афиши: «Первый республиканский поэзоконцерт Игоря Северянина»... Пикник свободы с сардинками, булками, хлопаньем пробок все продолжается.

Но модная тема — Ленин, большевики.

— Требуют сепаратного мира, прекращения войны! Какая гнусность по отношению к России, к союзникам! Этого не простит им никто...— дамы наслушиваются модных споров в знакомых домах. Профессорские именитые семьи, солидные речи. Синтаксис даже такой, что нельзя не поверить:

— Разложение революции... колебание фронта... распад... и знаете — пролетариат тоже совсем недоволен. Я говорила со своей прачкой. Раньше они получали меньше, им дали прибавку, внушили требовать, они требовали — и ничего. И говорят, будто совсем напрасно их сбили с толку.

Знаменитый профессор читает: «Углубление революции как кризис общественного правосознания». В один вечер с Северянином. Но обе залы полны. Северянина слушают гимназисты, студенты, курсистки, приказчицы, инженеры, земгусары, кооператоры, дамы. И профессора слушают гимназисты, студенты, курсистки, приказчицы инженеры, земгусары, кооператоры, дамы. Профессор настаивает на том, чтобы не загубить «святое дело революции», и Северянин воспевает «шампанскую кровь революции».

Публика бешено аплодирует, она не желает, чтоб «погубили революцию», не желает, чтоб обнажились фронты, не желает, чтоб союзники были обижены, не желает вообще, чтобы что-нибудь изменилось.

— Пусть революция будет, как... революция. Как п р и л и ч н а я революция, faute de mieux [1],— соглашается жена сановника, только что получившая отсрочку для Вовы,— и пусть прекратят, наконец, эти разговоры про углубление, кому это нужно?

С Николаевского вокзала попрежнему отходят поезда. В них трудно попасть, это правда. Окна повыломаны, вагоны уравнены в правах, кондуктора бессильны сдержать бешенство огромной толпы, вне очереди, без билетов, теряя тюки, ребят, зонтики, мчащейся занять щель в забитом людьми вагоне. Но если у вас есть знакомство и связи, вы можете очень удобно устроиться.

---

[1] за неименением лучшего *(франц.)*.

На Минеральные едут все дамы с отсрочками и сыновьями, едут на отдых сестры милосердия из титулованных, едут все те, кто привык туда ездить из года в год.

На Минеральных — вакханалия цен. Лето 17-го года; произнесены слова о равенстве и братстве, в Москве и в Петербурге первые подземные толчки надвигающегося народного гнева,— а здесь переполнены дачи, комиссионер на вокзале говорит приезжающим и тем, кто неделю спит на вокзальном полу, прислонясь к неразвязанному портпледу:

— Как хотите, меньше четвертной в сутки ничего нельзя. Если угодно, койку в посторонней комнате, десять посуточно, это я могу.

Кисловодский парк полон туалетов, немного отсталых, это правда,— парижские моды пришли с опозданием. В курзале офицерство дает блестящий концерт в пользу Займа свободы — и на афише чета Мережковских, молодые публицисты, поэты, крупнейшие музыканты. Парадно звучит «Марсельеза», приподнятая из раковины курзала блестящим огромным симфоническим оркестром под магическим жезлом Рахманинова.

Ночь кавказская тепла, душна, пахнет близким дождем, духами, сигарой, тонким гастрономическим запахом с веранды буфета и розами. Пахнет горными травами, речкой, ольхою подальше. Электричество пачками бросает сияние вниз, и в каждом кружке его ослепительная возня ночных насекомых — бабочек, мошек, жучков, а внизу, в его свете, толчея дорогих туалетов, холеных мужчин, пропитанных дымом сигары, с лакированными проборами, дам в меховых накидках. Мелькают изящные ножки в ажурных чулках и миниатюрнейших туфельках.

Пикник свободы с ракетами, хлопаньем пробок, бравурными звуками парадно разыгрываемой «Марсельезы», с безупречными официантами, впрочем отказывающимися от чаевых (им проставляется в счет),— все идет как по-писаному.

Но локомотив, тонко свистя, тащит поезд дальше от модных мест, туда, где черты людей резче и определенней. Мы на дальней окраине России, в Закавказье. Еще тут хозяйничал дух Николая Николаевича, великого

князя. При нем революция сразу была одернута с тылу, за фалды редакторов. Когда все провинциальные газеты без страха и опасения перепечатывали петербургские телеграммы, в Тифлисе было глухо. О событиях пропечатали как о чем-то в скобках, значения не представляющем. Отказ Михаила был выставлен как простая любезность — церемонится, а народ будет снова просить, и тогда коронуют Михаила. Откажется снова по своей осторожности,— тогда коронуют Николая, великого князя. К нему уже силились было попасть в милость чиновники...

Газета так и писала: «Надо надеяться, что после всеподданнейших просьб Михаил согласится на царство». И революция вышла приличной,— faute de mieux.

А народ, невзирая на бегство с обоих фронтов, все еще призывался для защиты «святой революции» и Вовочек, получивших отсрочки.

Глава четвертая

ТОПОТ КОПЫТ

Анна Ивановна благополучно вернулась в Ростов. На звонок отворила племянница: Матреши уж час как нет дома — ушла на собранье прислуги говорить о своих беспокойствах и выставлять свои требованья.

— Вот новости — требованья! Жрут, пьют, на всем готовом, их одеваешь — требованья!

Анне Ивановне хочется всем рассказать, что говорят в Петербурге и на курортах, как поет Северянин о шампанской крови революции, как несомненно, документально доказано, что большевики приехали на немецкие деньги и теперь всех их рады бы отправить обратно, но немцы воспротивляются. Слышала она также про странную книгу, ходившую в рукописи по рукам. В этой книге одна хронология, числа и числа. Но хронологически точно доказано, что еще от библейских времен существовало еврейское общество, поставившее себе целью забрать власть над миром. У него были отделения в Сирии и в Македонии и во всех городах. Оно

собирает налоги со всех евреев, будто бы на социализм. И хронологически точно показано, в котором году должен быть избран на престол еврейский царь...

Но Матреша не возвращается, приходится самой, не отдохнув с дороги, готовить чай. Ноябрьские сумерки падают быстро, дворник в ведре несет уголь,— топить угловую и ванную. Анна Ивановна серебряными ложечками звякает в буфетной о новый сервиз, говоря с гувернанткой Тамары:

— Главное же, Адельгейда Стефановна, не мечтайте о Москве! Москвы нет, выбросьте это окончательно из головы. Я вам должна сказать, что антисемитизм некультурен, и я всегда против того, чтоб Тамара в гимназии позволяла себе замечания насчет евреек. Но все-таки мы не умнее же Шопенгауэра или там Достоевского! Я говорила с профессорами. Многие держатся мнения, что есть что-то такое антипатичное, особенно, знаете, в массе. Отдельные есть очень славные люди, например доктор Геллер. Но в Москве, в Москве все иллюзии падают, это что-то неописуемое. Черту оседлости сняли, и они, вы подумайте, не в Волоколамск, не в Вологду или куда-нибудь в Вышний Волочок, а непременно в Москву. На улицах, на трамваях, в театрах, даже, смешно сказать, на церковных папертях одни евреи, еврейки, и на каждом шагу вас в Москве останавливают: «Как, пожалуйста, пройти на Кузнецкий мост?» Кузнецкого моста не знают! В Москве!

— Merkwürdig! [1] — супит Адельгейда Стефановна выцветшие брови; руки у нее трясутся от старости, рассыпая сахарный песок.

Уже на вазочки выложено абрикосовое варенье (варилось при помощи извести, по рецепту, каждый круглый абрикос лежит совершенно целый, просвечивая золотом и стекловидным сиропом). Из жестянок ссыпаны сухарики на сливочном масле с ванилью. Электрический чайник кипит.

Дамы давно уже приняли — каждая — чашку и, не торопясь, медленно покусывают сухарики, положив рядом с собой на столе черные шелковые сумочки, ра...

---

[1] Удивительно! *(нем.)*

лично расшитые бисеринками; из сумочек пахнет духами.

Вдруг — переполох. Из коридора в столовую, стуча гвоздистыми башмаками, вбегает Матреша, как была, с улицы, в большом шерстяном платке, лицо круглое, оторопело-сияющее.

— Что такое? В чем дело?

— Сказывают, большевики идуть... Казаков семь тыщ, большевиков четыреста человек, видима-невидима, с Балабановской рощи. Которые на митингу ходили, своими глазами видели, а на нашем доме, Анна Ивановна, барыня, пулемет поставють. Всех, говорять, которые к центре, тех, говорять, ближе к черте города из помещениев выселять будют...

— Будют, будют, говори толком! Откуда ты взяла? Кто это тебе сказал?

Дамы вскочили с мест, обступили Матрешу.

— Анна Ивановна, это же ужасно, если пулемет! У вас брат — член Совета депутатов, позвоните по телефону!

— Да телефон, кажется, не работает...

— Адельгейда Стефановна, Адельгейда Стефановна, позвоните, пожалуйста, Ивану Ивановичу по телефону... Thelephonieren Sie, bitte! [1]

— Ja, aber der Thelephon ist verdorben! [2]

— Я побегу домой. Скажите, милая, на улицах не стреляют?

— Что вы, Марья Семеновна, куда вы побежите в такую темноту. Погодите, допьем чай и выйдем вместе.

— Какой тут чай! У меня квартира пустая, на английском замке, еще обокрадут.

— Ну, как хотите, если не боитесь.

— Чего же бояться? Матреша может меня проводить.

— Нет, Марья Семеновна, я Матрешу отпустить не могу, она должна быть дома, должна. Она слышала, знает в чем дело, в случае, если придут, вы понимаете, она с ними объяснится. Вот, если хотите, попросите Адельгейду Стефановну.

---

[1] Протелефонируйте, пожалуйста *(нем.)*.
[2] Да, но телефон испорчен! *(нем.)*.

И после просьбы ветхая немка трясущимися от старости руками надевает заштопанный во многих местах кавказский башлык и семенит в калошах, заложенных бумажками, по мокрым плитам, вослед за поспешающей дамой, провожая ее домой.

Вечер сгустился в ночь, крупные капли шуршат по кое-где еще не опавшей жесткой и шершавой от старости листве, прелым пахнет под ногами. Иван Иванович из клуба забегает к сестре.

— Что же происходит? Ради бога!

— Пустяки! Опять большевистская авантюра! Им мало, видишь ли, июльского урока. Ходят слухи, будто опять выступили, изнасиловали целый батальон...

— Что ты, как батальон?

— Ну да, женский, который у Зимнего дворца. Потом Зимний дворец разграбили дочиста, сняли гобелены и нашили себе портянок. А у нас в Совете большевики радуются: «Поддержим питерских товарищей»

— Господи, да что же это такое?

— Не волнуйся, казаки близко, у нас не допустят

Ночь снова разжижилась в ясный сухой день, ветреный и холодный. И глядят, глядят из окон недоуменные очи, одни с испугом, другие с вопросом, с надеждой, люди притихли, опали, как тесто на остуженных дрожжах, съежились, сковались волнением.

К полудню по площади, мимо собора, промчались казаки, пригнувшись к седлам, с винтовками за плечами, процокали конские копыта по камням, уже высохшим от вчерашнего дождика, уже опыленным. За ними помчался ветер, крутя осенние рыжие, черные, красные листья, вздымая осеннюю жесткую, крупную пыль. Вслед за ветром прокаркали галки, перелетая по телеграфным столбам и полуголым деревьям.

— С двенадцатой линии выселить всех вплоть до двадцатой и двадцать четвертой, очистить Соборную.

Кто-то издал приказ, кто-то разнес его по обитателям, и все, кому надо было узнать, узнали. Новые беженцы, новые волны людей, с подушками, тачками, курами в клетках, визжащими поросятами, влекомыми веревочкой за ногу и упирающимися в ноги бегущих. Шубы, шапки, шинели, поддевки, картузники, шляп-

ники, папашники — с дамскими шляпками и платочками и даже простоволосыми перемешались.

— Вот дожили! То было принимали беженцев с Западного и Восточного фронтов и расселяли их в домах, что похуже, по двенадцати душ в одну комнату, да с города получали на ремонт, а теперь и сами, здорово живешь, побежали.

— И еще побежишь! Нынче с юга на север, а завтра с севера к югу, по компасу...

— Нашли время для шуток!

На площади против собора стоит особняк с пятью окнами на Соборную, в два этажа. Наверху контора нотариуса, и внизу до четырех открыто парадное, впуская клиентов и холод. Туда, выбирая места, где посуше, и прячась в приподнятый воротничок коричневого с обнажившейся ниткой на засаленных перегибах пальто, шел Яков Львович.

Надо было стучать — контора закрыта по случаю политических осложнений. На стук открыла веснушчатая гимназистка с короткими волосами, как у мальчика.

— Яков Львович! — И вверх по лестнице: — Мамочка, Яков Львович пришел!

Наверху, рядом с приемной и комнатами для клерков, где чинно, в футлярах стоят ремингтоны и ундервуды, а по стенам светложелтого дерева высокие шкафчики с ящиками по алфавиту, была еще одна полутемная комната, где жила переписчица, вдова, с двумя дочерьми-гимназистками, близорукая и с ревматизмом суставов. Там на полу помещалось три тюфяка, на столе же на керосинке подогревался вчерашний суп. Вдова обрадовалась Якову Львовичу, налила ему супу.

— Садитесь, расскажите, что такое творится по улицам?

— Вам бы тоже не мешало куда-нибудь с Лилей и Кусей побезопасней. Шли бы сегодня к нам.

— Ни за что! — вскрикнули Лиля и Куся.

Они поглядели разом на площадь, — там пробегали новые толпы беженцев, спотыкаясь о застревающих под ногами, влекомых веревочкой за ногу, поросят. Лиля и Куся любили события. Они были крайними ле-

выми и, если б позволила мама, пошли бы хоть и красногвардейцы!

С керосинки снята кастрюля. На ней теперь чайник эмалированный, скоро уже закипит. Вдова расставила чашки, Лиле и Кусе их собственные, Якову Львовичу свою кружку, а себе посудинку Чичкина от простокваши,— чашек гостям не хватало. В жестянке варенья коричневый сахар, порубленный на кусочки,— конфеты домашнего приготовления, называемые вдовой «крем брюле».

Совсем было принялись за чай. В окна видно, что площадь вдруг опустела. Откуда-то из-за угла, дробно стуча сапогами, прошел отряд желто-серых шинелей и остановился совещаясь. Лиля и Куся глядели во все глаза, шинели взглянули в их сторону, разделились на группы и один за другим, молчаливо стуча каблуками по камням, подкидывая на плечи винтовки, пересекли площадь.

— Мамочка, стучат!

Вдова идет отворять, сопровождаемая Яковом Львовичем. Лиля и Куся за нею. Сняли засов и цепочку:

— Кто там?

В переднюю один за другим молчаливо вошло несколько вооруженных. Не отвечая вдове, поднимаются по лестнице. Двое остались внизу — сторожить.

Наверху остановились:

— Оружие есть? Не прячете ли офицеров и казаков?

— Оружия нет, и никого не прячем. Вот единственный мужчина Яков Львович, в гости пришел.

— Покажите документы.

Яков Львович достал из внутреннего кармана свой паспорт грязного вида: «Магистр историко-философских наук Яков Львович Мовшензон». Прочитали, вернули.

— Что там наверху?

Не дожидаясь ответа, один из пришедших по лесенке стал взбираться наверх, в открытую чердачную дырку.

Там шарахнулись голуби.

— Кто там?

— Голуби, товарищ.

Лиля и Куся отвечают наперегонки. Вонзились глазами, как пиявками, неотрывно в лица пришедших. Они

ще из рабочих, лет по семнадцати, по восемнадцати, винтовки надели, должно быть, впервые, лица юные, суровые, строже, чем надобно. Многим из них суждено было быть через несколько дней зарубленными в Балашовской роще казаками.

— Город в наших руках, товарищ? — выпалила вдруг Куся, не удержавшись.

— Чего выскакиваешь? — шепчет ей Лиля.

— Город в руках Совета,—отвечает безусый,—предполагается на завтра выступление. Вы соберитесь отсюда, тут будут обстреливать. Дом мы займем под пулеметную команду.

— А нельзя ли тоже остаться?

— Что ж, можно; только при каждом выстреле надо ложиться на пол.

— Лиля, Куся, вы с ума посходили,— вырвалось у мамы,— мы соберемся, товарищи, только уж вы тут не дайте разорять.

— Не тронем, не беспокойтесь!

Спустя четверть часа вдова с базарной корзинкой, Лиля и Куся с подушками, а Яков Львович с ручным чемоданом пробегают по темной безлюдной площади, торопясь в ту же сторону, куда проструились давеча беженцы. В дороге убеждает их Яков Львович идти прямо к нему, но вдова беспокоится, слишком далеко. Им тут по пути у богатого родственника, домовладельца,— ближе к вещам и квартире.

Вечером нет электричества. Улицы черны. Безмолвны притушенные кинематографы, больницы, театры; только аптекарь в белом переднике, как ни в чем не бывало, стоит над весами и банками, приготовляя лекарства.

В доме богатого родственника заняты залы, ванная, девичья, бельевая, буфетная и летняя кухня. Беженцы, знакомые и чужие, заполнили комнаты, наскоро перекусывают из корзинок захваченной от обеда стряпней и, готовясь к ночевке, вынимают платки и подушки.

Родственник, старообрядец с серебряными очками на носу, в мягких, шитых руками домашних, шлепанцах, ходит по дому и всякому соболезнует от сердца. Жена, свояченицы угощают вдову с гимназистками

сытным ужином. Хорошие люди, а все-таки с ними не близко.

— Я говорил, что этим кончится. Бескровных революций не бывает,— шамкает старообрядец,— погодите, еще не то увидим. Жид сядет на престол.

— Оставьте, пожалуйста! — вспыхивает учитель гимназии.— Евреи тут ни при чем. Если б не разогнали Учредительное собрание, не загубили святое дело революции...

— Это и есть революция! — не выдерживает Куся

— Молчи, пожалуйста,— говорит ей тетка.

— Если б не дали беспрепятственно вести безумную крайнюю проповедь, республиканский строй в России окреп бы и привился. Мы видим примеры из истории...

Разговор переходит на примеры.

Керосиновая лампа мигает, свет ущербляется. Далеко, откуда-то с Дона, внезапно слышен шум от снаряда — гулкий и широко раскатывающийся.

— Тушите свет! Спать ложитесь!

И разно думающие, разно чувствующие люди склоняются,— каждый на приготовленный сверток.

Глава пятая

ПУЛИ ПОЮТ

Как они поют в воздухе, как они часто стрекочут, словно горох, по мостовой, по стеклу, отскакивая и позаясь, как стоиет в воздухе — з-з-з — стезя от зловещего их полета, об этом знают не только солдаты в окопах, знают об этом и горожане в подвалах.

Но чего не знают солдаты,— это нежности к пулям в подростках, не убежденных примерами из истории. Целый день идет перестрелка по главной улице, целый день верещит, словно ярмарочная стуколка, пулемет с высокого дома на площади, не попадая. Сыплются пули о стены, залетают в районы, где прячутся беженцы, входят в стекло и расплющиваются в подоконнике.

— Пулька, смотри, опять пулька! — кричит Куся,

подбирая теплую штучку.— Спрячу на память, подарю Якову Львовичу!..

— Прочь от окон,— раздраженно кричит старообрядец,— чему радуетесь? Людей бьют, а вы рады, как собачата.

Лиля и Куся радуются. Они не слушают старших. В полдень, когда перестрелка утихла, Куся выглядывает из полуоткрытых ворот. Домовая охрана поставила там семинариста с армянским, несвоевременно густо обросшим лицом,— стоять три часа, сжимая ружье монтекристо. Куся глядит на торопливо бегущих солдат и кричит им вдогонку:

— Товарищи, как дела?

Забегает красногвардеец напиться. От него Куся знает все новости. Казаки идут от Черкасска, а им будет с севера тоже подмога. Иначе не выдержать, казаков численно больше.

— Держитесь,— шепчет Куся, впиваясь в него горящими, пьяными от революции глазами...

С Дона на барже поставили пушку большевики-моряки, навели и обстреливают. Ухнул первый снаряд, вышел новый приказ,— от кого неизвестно:

«С линий первой и по одиннадцатую, с улиц Степной, Луговой, Береговой и Колодезной всем перебираться повыше, к собору, и прятаться там по подвалам».

Под пулями обезумевшие толпы новых беженцев ринулись на исходе дня расквартировываться повыше, и снова кудахчут оторопелые куры и пронзительным, острым, как уксус, визжаньем сопротивляются поросята сжимающей их за ногу и куда-то волочащей веревке. Подвалы переполнены, хозяев не спрашивают, лезут, где есть калитка, а заперта — стучат остервенело, пугая домовую охрану:

— Пустите, взломаем, пустите!

Но вот расселись по новым местам. Верхние этажи опустели. Снаружи захлопнуты и спущены жалюзи, внутри окна заставлены ставнями, свету никто не зажигает. В подвалах, вповалку, дыша друг на друга учащенным дыханием, прячутся люди, ругаются, молятся богу, советуют друг другу успокоиться и не волноваться. Но дети... смеются. Их одернут, они замолк-

нут — и расхохочутся. Им не смешно,— им до судорог весело от пьяной радости революции, им бы хотелось повыбежать, быть лазутчиками, барабанщиками, ... пать пули, носить патронташи, выслеживать казаков, пробираться сквозь цепь и торопить подкрепление... А есть и такие между ребят, кто вслед за родителями мечтают побить большевиков и прогарцевать вместе с казаками на казачьих лошадках важною рысью вдоль по Садовой, ко дворцу атамана...

И со Степной, где живет Яков Львович, дошли вести: там разорвался снаряд, кого-то убило. Скоро пришла еще одна весть: убило мать Якова Львовича. Плакала в этот вечер вдова и не удержалась, сказала Ку...

— Вот видишь, а тебе бы все радоваться.

К вечеру пули усилились, сыпались словно горох, а над ними стоял непрекращающийся гул от разрывов снарядов: бум, бум, бум... Беженцы затыкали уши руками, держали детей на коленях, ни глотка не могли проглотить от тошного страха кто за себя, кто за близкого, кто за имущество. Но наутро вдруг стало тихо, как после землетрясенья.

В ворота спокойно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и степенно сказала домовой охране — студенту, стоявшему за учредилку:

— Большаков-то выкурили. Чисто.

Вышли, еще не веря и протирая глаза, отсидевшиеся из подвалов, покупали бутылками молоко и расспрашивали подробности. В открытые ворота уже видно было, как проскакало с десяток казаков по улице, мрачно обмеривая обывателей взглядами.

Начались обыски по квартирам. Искали рабочих, оружие, красногвардейцев. Брали же деньги, вино, кто и шубу снимал или брюки с вешалки,— что поближе висело. Обыватели кланялись, клялись, что и не думали, чисты, как перед богом.

На площади перед собором — казачья стоянка. Фыркают лошади, приподымая хвосты и навалив груды навоза, переступают копытами с места на место. Седла с навьюченным фуражом им нагрели вспотевшие спины. Винтовки перевязаны в кучку, штыками кверху, и прислонены к ограде собора. На самой паперти ра...

вели костер, кипятят свои чайники, охлаждаемые ветром и снегом. Снег падает легкий и мелкий; влетает пыльцою в рот при разговоре, а под ногами не набирается вовсе.

В городе вышли газеты. Город стал — город казачий. Казаки приказывают, казаки хозяйничают, и городская дума с достоинством выступила: «Так же нельзя. Мы очень рады казакам, мы очень им благодарны за доблестное очищенье, но город — он город свой собственный, а не казачий. В городе есть думские гласные, есть, наконец, члены управы, письмоводители, городской голова, и что же им делать?»

Но казаки не слушают, каждый казачествует, как ему любо́, ссылаясь на атамана, властителя края: быть теперь Дону под атаманом!

А газеты пишут про историю, этнографию, биографию, фольклор и мифологию казачества, делают ссылки и справки, очень захваливают и надеются на преуспеяние края. Подхвачена журналистами и крылатая мысль о Вандее.

Между тем на Степной, со стороны последней, тридцать второй линии видели люди:

Гнали казаки перед собою рабочих. Рабочие были обезоружены, в разодранных шапках и шубах, с них поснимали что было получше. Когда останавливались, били прикладами в спину. Их загоняли в Балабановскую рощу. Там издевались: закручивали, как канаты, им руки друг с дружкой, выворачивали суставы, перешибали коленные чашечки, резали уши. Стреляли по ним напоследок, и, говорят, было трупов нагромождено с целую гору. Снег вокруг стаял, собаки ходили к Балабановской роще и выли.

Глава шестая

«ПРАВОПОРЯДОК»

У Якова Львовича в домике только три комнаты. Каждая напоминает другую. Кровати вдоль стен, по четыре подушки на каждой, ломберный столик в углу, под иконой; на нем полотенце, расшитое крестиками,

красными и синими, а на полотенце высокая, на подставке, лампадка; рядом коробочка с поплавками, бутылка с деревянным маслом и щипчики. Но Василисы Игнатьевны нет, и не заправляются больше лампа... Стулья дубовые, старинной работы, с клопиными г... дами в щелях за спинками. Обои набухли и ... усеяны точками,— в них ходят, должно быть, кло... ные полчища, шпаримые кипятком по пятницам, пе... баней. На этажерках оставшиеся от продажи кни... фармацевтические и философские, в них никогда не заглядывала Василиса Игнатьевна. Зато на комоде хранятся облапленные детскими липкими лапками кни... «Золотой библиотеки», когда-то подаренные мальчи... Яше. Их Василиса Игнатьевна берегла и соседкам ... лилась, что передаст их только внуку, а чужим — ни ... что. «Макс и Мориц, или похождения двух шалуно... ценились особенно.

Все это стало пылиться с тех пор, как снесли Василису Игнатьевну сперва в больницу, а потом и на кладбище. Яков Львович остался один. Про жильца ни соседи не знали, ни он никому из соседей ни слова.

Жилец, товарищ Васильев, жил в третьей комнате, а с победой казаков перебрался в чуланчик, где у Василисы Игнатьевны раньше висели перец и красные луковицы на бечевке и сушилось белье. Сюда носил ему Яков Львович хлеб, огурцы, табак да газеты.

Товарищ Васильев просил все донские газеты, какие выходили по области, попросил он и карту, которую изучал, посыпая пеплом с цыгарки, днем у маленького окошка на столе, а вечером на полу при свете огарка.

К Якову Львовичу заходили уже из участка справляться: кто у него жил, и не живет ли еще. Яков Львович ответил, что жил электромонтер и перебрался на службу в Ростов или в Новочеркасск, сам не знает.

— Я вам говорю, со стороны Таганрога идет огромное подкрепление нашим! — утверждал товарищ Васильев, протыкая кружок на карте обкусанной спичкой и указывая направление порыжелым ногтем на протабаченном пальце.— Мы в начале гражданской войны

октябрьский переворот прошел повсеместно. Нет логики в том, чтоб на Дону удержалось казачество.

— Послушайте,— отвечал Яков Львович,— на кого же нам надеяться? В городе ничтожный процент сочувствующих, и разгромлены, перебиты, разогнаны лучшие силы рабочих. А вне города — это Вандея.

— Бросьте! Мы надеемся только на логику. События идут своим ходом, и нет логики в том, чтоб их тормозили. Нельзя удержать ребенка во чреве матери после положенного природой,— хотя б ей родить пришлось вне всяких культурных и прочих условий, на извозчике или в степи.

Товарищ Васильев почти убеждал Якова Львовича. И он надевал старую фетровую шляпу с прощипанными краями, плотней поднимал воротник пальто и уходил побродить по городу, приглядеться к тому, что наделал наступивший декабрь с людьми и политикой.

На улицах мокро и липко, снег бьет отсыревшими хлопьями. Фонари не горят — забастовка. Не дзенькает, покачиваясь и проходя своим ходом, трамвай. Гимназисты собрались перед бильярдной грека Маврокалиди, задевают прохожих, высвистывают «Боже, царя храни», это из записавшихся в добровольческую дружину. Им выдали на руки жалованье — вперед. Они ходят по разным кофейням и бильярдным; у некоторых ружья, у других револьверы.

Марья Семеновна получила из Новочеркасской гимназии торопливое письмо от сына и плакала, показывая родным и знакомым: подумайте, начальница, не спросясь у родителей, записала его в добровольческую дружину! Как она смеет, ему бы кончать, а тут еще не окрепший, не выросший, шестнадцати лет и с распухшими гландами,— погонят на холод, он и стрелять не умеет.

— Хороша добровольческая! — удивляются гости.— Вот так добровольно...

Другие советуют им быть потише: в соседней комнате разместились казаки. Хорунжий любит подслушивать, чуть что — придирается, может устроить неприятности. И Марья Семеновна умолкает со вздохом.

Казаки стоят у неё две недели, стоят и у Анны И... новны, и у Анны Петровны, у доктора Геллера тоже, их кормят за милую душу, для них достают старейшие вина из погреба, предназначавшиеся для болезней желудка у самых почтенных членов семьи,— дедушки, бабушки и двоюродной тетки, собиравшейся написать завещанье.

Вдова с Лилей и Кусей опять перебралась к себе, в комнату рядом с помещениями для клерков, ундервудов и ремингтонов. Яков Львович зашел к ней и застал Кусю в слезах, жестоко избитую, с разорванным черным передником на гимназическом платье.

— Вот, не угодно ли полюбоваться? В гимназии разукрасили.

— Как это могло случиться?

— Очень просто, сцепилась с буржуйкой,— в сердцах отвечает вдова,— чего ради теперь вылезать? Делу не поможешь, а себе наживешь одни неприятности. Из гимназии выгонят.

— Пусть-ка попробуют! — сжимается Куся.— Это я ее выгоню, вот подожди! У ней брат во время войны с немцами сидел дома как ни в чем не бывало и пиры задавал,— они взятками откупались, я знаю, она сама говорила! А сейчас вдруг объявился — казачий офицер! Это он-то казачий офицер! Понимаешь, записался в казачье сословие, чтоб воевать с большевиками.

— А тебе какое дело?

— Противно. Фу, хуже гадины нет! Пусть не смеют тогда говорить об отечестве, патриотизме друг с дружкой, а пусть говорят о своих капиталах, поместьях, бриллиантах и фабриках!

— Браво, Куся,— сказал Яков Львович и в душе изумился: Куся помогла ему уяснить то, что сухо твердил общими фразами товарищ Васильев, уставший от митингов,— суть в классовом самосознанье!

— Обратите внимание,— вступилась вдова,— как нынче дети разделились и отбились от рук. Молодежь — та скорей благоразумна, не так, как в мои времена, от мобилизаций стараются как-нибудь освободиться, политика им мешает, все носятся с чистым искусством. А от четырнадцати по семнадцать словно

сдурели, лезут на стену из-за политики, того и гляди сцепятся, где ни встретятся.

Но что же Иван Иванович и Петр Петрович? Оба они чрезвычайно обеспокоены усиленьем казачества и зависимостью муниципалитета. Правда, Каледин показывает себя либеральным. Он не отрицает, конечно, что февральская революция совершилась. Его об этом проинтервьюировала печать, и он ясно ответил, что «не отрицает». Однакоже в городе повальные обыски, частые аресты. В городе до сих пор расквартировано огромное количество казаков, объедающих, притесняющих горожан. Муниципалитет совершенно стеснен военной казачьей властью. Он не приказывает, а позволяет приказывать посторонним для города людям. Где же здесь либерализм?

Иван-Ивановича и Петр-Петровича калединцы не уважают, не ставят и в грош. Собрания воспрещаются, выступления воспрещаются,— благородные, трезвые и умеренные выступления воспрещаются. Это очень несправедливо и неблагоразумно. Остаются, впрочем, дни рождения, именины, двунадесятые праздники и канун наступающего 1918 года. И в городе то у одного, то у другого ужин с попойкой.

Съезжаются поздно. Покуда хватает вешалок — вешают на них шубы; потом шубы складываются друг на дружку на сундуках и на стульях. Сперва — чайный стол. Между чаем и ужином барышни пробуют клавиши, долго отнекиваются хрипотой и простудой, потом пропоют что-нибудь из «Пиковой дамы» или из «Рафаэля» Аренского. После хозяин отводит гостя к двум-трем столикам, приготовленным для железки, и предлагает им «резаться», а хозяйка советует не садиться до ужина. Ужин один и тот же у всех: закуска, осетр провансаль или салат оливье, индейка жареная, мороженое и фрукты. Играют до трех-четырех, пьют не переставая, а кто не играет — флиртует. Утеснившись по-двое, по-трое на мягких диванах, преувеличивая опьянение, устраивают заговоры любви, подмигивают на мужей и на жен, те грозят им пальцами, поднимая глаза от трефовых десяток, а на рассвете Матреша бежит за извозчиком.

Кому негде кутить, тот может вдоволь раздумы... над историей и над примерами. Улицы — раннее сред... невековье. Света нет. Керосину достать могут р... одни спекулянты. Денег не платят: боны[1] уж перест... ходить, а романовских денег не сыщешь, они устр... ляются отовсюду за голенища казаков, в расплату ... масло и за муку. У кого же находится мелочь, тот ... правляется в церковь, при входе снимает шапку и б... гочестиво крестится, потом покупает у сторожа свечку в поминовенье усопших и сквозь ряды молящихся н... правляется к образу.

Но там, потолкавшись, свечки отнюдь не засве... вает перед угодником, а отправляет ее в брючный к... ман, шепча, если он верующий: «Прости меня, боже» — и быстро торопится к выходу, минуя опрашивающий и подозрительный взгляд церковного сторожа: продажа церковных свечей навынос запрещена.

Дома при восковой свечке торопятся проглоти... ужин, раздеться и лечь, а любитель чтения, положи... книгу на стол перед собою, глазами читает, зубами р... жевывает, а руками расстегивает жилетные пуговицы или же, сгибая коленку под подбородок, стаскивает с... поги.

Окрик хозяйки:

— Не жги зря свечу! Чего копаешься?

И любитель чтения виновато захлопывает книгу.

Глава седьмая

ПЕРЕВОРОТ

Порядок, можно сказать, окончательно восстановле...

Мало-помалу остановились трамваи, водопровод не работает, почта не ходит, железные дороги стоят, на полотне набежали друг на дружку вагоны в три ряда, как бусы на шее цыганки. Подвоз продуктов совсем прекратился. Место на карте «Ростов — Нахичевань»

---

[1] Имеются в виду боны временного правительства, замени... шие деньги.

стало пустым местом; ни оттуда в мир не доходит вестей, ни туда из мира не доходит вестей. Даже сами казаки не знают, что будет дальше.

Товарищ Васильев попросил у Якова Львовича паспорт:

— Вы сидите, вам тут документы не понадобятся, я же с вашим паспортом проберусь в Таганрогский округ, где собираются наши.

Яков Львович отдал ему паспорт и на ночь остался один.

Но не успел заснуть, как прикладом к нему постучали. Вспыхнула точка фонарика, направленная ему на лицо. Перерыты все книги, наволочки и косынки в комодах, вспороты тюфяки и подушки, два одеяла прихвачены,— пригодятся в зимнее время. Якову Львовичу велено идти без разговора вперед, в комендатуру: документов нет, значит сжег, верно военнообязанный. Впрочем, там разберут.

Яков Львович пошел, окруженный казаками. В комендатуре, за канцелярией, в комнате с решетчатыми окошками было еще несколько арестованных, в том числе Петр Петрович.

Петр Петрович видел Якова Львовича в оркестре, где тот смычкастил по струнам виолончели чуть ли не каждый вечер, покуда был свет. Он протянул ему руку как знакомому.

— Я в совершенном недоумении — что за нелепость, меня арестовывать! — сказал он преувеличенно громко.— Я боролся как ответственное лицо с заразою большевизма, приветствовал освободившее нас казачество, ратовал за укрепление в стратегическом отношении нашего города, у меня сын — доброволец!

— А вы осторожней,— сказал ему кто-то из арестованных,— большевики-то ведь близко. Как бы вам из-под казацкой нагайки не перейти в большевистский застенок!

Петр Петрович умолк, точно нырнул марионеткой под сцену, одернутый вниз за веревочку.

Наутро со стороны Ростова раздались выстрелы.

Допрашивали всех бестолково и спешно. Петр Пет-

рович был тотчас же выпущен. Якова Львовича препро водили в тюрьму за неименьем документов.

Дома Анна Ивановна ждала в истерическом нетерпенье:

— Петя, все забирают из сейфов бриллианты и деньги из банка; пришла телеграмма, что застрелился Каледин и войсковое правительство сложило свои полномочия. Я собрала, что могла. Ехать надо через Батайскую на Кубань. Некогда соображать, все готово.

Анна Ивановна, и Анна Петровна, и Марья Семеновна, и доктор Геллер с семьей, и еще сотня-другая председательствовавших, митинговавших, ратовавших за братство и равенство и аплодировавших казакам, с вещами, баулами, кожаными чемоданчиками, залепленными печатями заграничных таможен, устремились из города на Кубань, чрез прорыв большевистского фронта, кольцом окружившего город. Задыхаясь от страха, дамы впадали в истерику в санках; кучера, оборачиваясь, убеждали не шибко кричать, чтобы как-нибудь не навлечь большака, а мужчины, от жен зара жаясь, с трясущимися губами, кричали с истерикой в голосе:

— Не визжи, черт тебя побери, будь ты проклята! И без тебя тяжело!

Самыми тихими были дети до пятилетнего возраста.

Что же казаки? Как это они обманули надежды всех, кто «в стратегическом отношении» стоял за укрепление фронта? А казаки... кто их поймет! Одни, отстреливаясь, отступали от большевиков, шаг за шагом покрывая трупами степь. Другие с оружием и со знаменами переходили к большевикам и сдавались:

— Товарищи, больше не можем. Тошно служить генеральским последышам против Советов. И мы ведь из безземельных. Чего там, и мы за Советы!

Все малочисленнее круги отступающих, все многочисленнее отряды переходящих. Но отступавшим уже отступать было некуда. Их зарубали по улицам, перестреливали по углам, вытаскивали из подъездов.

Снова зазюзюкали в воздухе, не спрашивая дороги, шальные пульки. Приказов о переселении никто не и

дал, но жители, как услышали трескотню пулемета, полезли, крестясь, в подвалы, на знакомое место.

В домах, где не успели бежать, дрожащие руки срывали погоны с шинелей гимназистиков, тех, что пели «Боже, царя храни». Матери прятали сыновей по чердакам и под юбки. Безусые гимназисты, охваченные тошнотворным страхом, дрожали. Матреша их выдаст! Давно уж она большевичка! Барыня валится в ноги Матреше:

— Матреша, голубушка, ради Христа!

— Что вы, барыня, нешто я иуда-предатель... Пустите, чего дерганули за юбку, да ну вас, ей-богу.

Но барыня обезумела, летит по лестнице, закрывает засовами двери, задвигает задвижки и болты, вверх бежит, ружье вырывая у сына. Приклад зацепился — по дому разнесся звук выстрела.

— Боже мой, боже мой, боже мой, что я наделала! Васенька, Васенька!

Внизу стучат. Здесь стреляли. Дом оцепляют. Тук-тук-тук...

— Не открывайте!

— Да вы с ума сошли! — вопит сосед на площадке.— Из-за вас перестреляют весь дом, подожгут всех жильцов! Оттолкните ее, и конец!

Дверь взламывают, и врываются красноармейцы.

— Кто тут стрелял?

Обыск с этажа на этаж, с лестницы на лестницу.

— Матреша, голубчик, родная!

Матреша, плечом передернув, идет к себе в кухню и переставляет кастрюли. Но молчанье ее бесполезно. Уже в соседней квартире № 4 красноармейцам шепнула Людмила Борисовна, старый друг гимназистовой матери, запрятавшая под прическу два бриллианта по десять карат:

— Ищите не здесь, а напротив...

Красноармейцы снова врываются шарить у обезумевшей матери в спальне. За умывальником, для чего-то привстав на цыпочки, руки по швам, не дыша, стоит и зажмурился гимназистик.

— Вот он, кадет! — закричал красноармеец.

— Васенька, Васенька...

Но сострадательный рок закрыл ей память и сердце прикладом ружья, предназначавшимся сыну. Она потеряла сознанье.

Бой идет на улицах врукопашную. Пули зюзюкают, пролетая над головами. Жители, спрятавшись в задние комнаты, затыкая уши руками, держат детей меж коленками, не могут глотка проглотить от тошного страха,— кто за себя, кто за близких, кто за имущество.

Но наутро вдруг стало тихо, как после землетрясенья. В ворота спокойно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и степенно сказала жильцам, подошедшим из кухонь:

— Казаков-то выкурили. Чисто.

Вышли оторопелые люди, протирая глаза и робко заглядывая за ворота.

А там уже людно. Соборная площадь залита рабочими, красноармейцами, городской беднотой. Лица сияют, красное знамя взвилось у дверей комендатуры, перед участками, перед думой. Мальчишки-газетчики, торговки подсолнухами, подметальщицы снега, трамвайные кондуктора, почтальоны безбоязненно ходят по улицам, на их улице праздник, да и все улицы стали ихними!

А Куся, напрыгавшись и наметавшись по площади, красная от мороза и от возбуждения, шепчет матери на ухо прыгающими от смеха и гнева губами:

— Нет, мамочка, нет, ты подумай только! Сейчас Людмила Борисовна в рваном платочке и в чьих-то мужских сапогах, будто баба, ходит по улице и изображает из себя пролетария. Я сзади иду и слышу, как она говорит: «Товарищ военный, только прочней укрепитесь и не допустите, чтоб в городе грабили!» А сама норовила сбежать на Кубань, сундуков, сундуков наготовила! Ах она, врунья.

И Куся сжимает шершавенькие кулачки.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

В эти дни ворон каркал о погибели русских.

Глава восьмая

ПРАЗДНИЧНАЯ

За Нахичеванью[1], в армянской деревне, расположился штаб Сиверса и принимал делегации. Сиверс был вежлив, просил, кто приходит, садиться и каждого слушал.

Тихо и празднично в городе. Ходят, постукивая по подмерзшей февральской дорожке, патрули, перекликаются. На базарах стоит запустенье,— ни мяса, ни рыбы, ни хлеба. Крестьяне попрятались и не подвозят продуктов.

То и дело к ревкому на полном ходу подлетают велосипедисты, огибая в воздухе ногу дугою, прыгают наземь и оправляют тужурку. За столиком в канцелярии девушка в шапке ушастой, с каштановым локоном за ухом и карандашом меж обрубками пальцев: двух пальцев у ней не хватает на правой руке. Но эти обрубки умеют и курок надавить, и молниеносно свернуть папироску, не просыпав табак, и пристукнуть карандашом по столу в продолжение чьей-нибудь речи.

---

[1] *Нахичевань-на-Дону* — в прошлом город в Ростовском округе Области Войска Донского. Сейчас Пролетарский район г. Ростова-на-Дону.

Из заплеванной канцелярии, где наштукатуренные стоят у правой и левой стены с согнутой в колене ногой, проступившей из складок, безносые кариатиды, прошел товарищ Васильев к себе в кабинет. Он осунулся, потемнел, на шее намотан зеленый гарусный шарфик, и не приказывает, а шепчет — схватил ларингит, ночуя в степях под шинелькой.

Фронт вытягивает, как огонь языки, свои острые шупальцы то туда, то сюда, пробует, прядает. Там отступит, здесь вклинится слишком далеко. У пришедших с ним вместе — заботы по горло: напоить, накормить, разместить свою армию, наладить транспорт и связь. А в городе обезоружить и истребить притаившихся белых. И после затишья и праздника начались обыски, профильтровали тюрьму.

Вышел тогда из тюрьмы и на солнце взглянул Яков Львович. Было ему радостно, словно под сердцем ворочался голубь и гулькал. Ничего не хотелось, а тумбы и камни, разбитые стекла зеркальных витрин, водосточные трубы, сосульки, подтаявшие на решетке соборного сквера, проходившие люди — все казалось милым и собственным.

Как хозяину, думалось: вот бы тут гололедицу посыпать песочком, чтоб дети не падали, а у булочной вставить окно. И когда у себя на квартире он нашел трех красноармейцев, ломавших комод на дрова и с красными лицами пекших на печке оладьи, на сковородку наливая из чайника постное масло, он этому не удивился. Поздоровался, снял пальто, объяснил, что пришел из тюрьмы.

— Вы из наших, товарищ? — спросили, черпая жидкое тесто из глиняной миски и бросая его на сковородку, где оно, зашипев, подрумянивалось и укреплялось пахучей пышкой.— Так пойдите в ревком, зарегистрируйтесь. Соль у вас где?

Яков Львович снял с полки жестянку, где хранилась сероватая соль, и подал товарищам. Те очистили стол, пригласили садиться и дружно, вместе с Яковом Львовичем, ели румяные пышки из пресного теста, посыпая их солью. Потом закурили махорку.

В ревкоме на Якова Львовича подозрительно глянула девушка в шапке ушастой. Она уже собирала бумаги и прятала их в клеенчатый самодельный портфель, а карандаш, перо и чернила, выдвинув ящик стола, размещала внутри и готовилась запереть. На стене остановившиеся часы показывали без четверти девять. Но на руке у нее намигали швейцарские часики без минуты четыре. Красногвардейцы в дверях, звякая об пол, уже забирали винтовки.

— Позвольте, товарищ, но где же документы?

Яков Львович, торопясь, повторил:

— Я же сказал, что отдал их товарищу, чтоб облегчить ему бегство.

— Нам этого мало. Возьмите бумажку в домовом комитете или в милиции.

— Домовой комитет и не подозревал, что я отдал документы. Он может только засвидетельствовать, кто я такой.

— Вот и доставьте мне это свидетельство. Выходите, товарищ. Вы видите, я кончаю работу.

Яков Львович, повернувшись, направился к выходу.

Девушка молниеносно скрутила себе папироску и, нащелкав обрубком раз пять зажигалку, закурила и крикнула вслед:

— Послушайте, стойте-ка! Вы не сказали, какому товарищу ссудили документы.

— Я ссудил их товарищу Васильеву,— ответил Яков Львович, грустя об ее недоверии.

Усмешка сверкнула в стальных глазах девушки. Она поглядела на двух красноармейцев, и те усмехнулись ответно.

— Что ж, если вы утверждаете, это можно проверить. Задержите товарища,— весело и уже посрамив в своих мыслях неведомого самозванца, крикнула она к дверям. Красноармейцы сомкнулись у входа.

А из кабинета в шинельке и в низко надвинутой кожаной кепке, с портфелем подмышкой уже выходил товарищ Васильев.

— Товарищ Васильев! — окликнула девушка.

Но уже Яков Львович и Васильев увидали друг друга.

Товарищ Васильев рукой с протабаченным паль схватился за теплую руку Якова Львовича и — что вало с ним редко — светло улыбнулся.

— Я без голоса, ларингит,— он показал себе па цем на горло.— Спасибо! К вам с документом два ходили, но не могли разыскать. Идемте со мной на сок. Вы же, товарищ Маруся, напишите ему все, нужно.

— Я печать заперла,— проворчала товарищ М руся, сожалея в душе, что не выпал ей подвиг обн жить белогвардейца. Но стол тем не менее отпе ключиком и из ящика вынула листик белой бум перо и чернила. Яков Львович продиктовал ей ответ вопросы, печать она грела дыханьем с минуту и, конец, надавила на угол бумажки. Все было в поряд

Втроем они вместе пошли к дому с колоннами, на втором этаже в чьей-то спальне с персидским к ром, наследив на пороге снежком и засыпав окурк мраморный умывальник, помещался товарищ Василь Внизу, в том же доме, жила и товарищ Маруся. Им дали на круглый без скатерти столик с китайской заикой три полных тарелки армянского вкусного с с ушками, посыпанного сухим чебрецом вместо пе и называемого по-татарски «хашик-берек».

Яков Львович рассказал обо всем, что слыша тюрьме, о последних днях перед переворотом. Товар Васильев ел и изредка шепотом, с хриплым дыхань расспрашивал. Подшутил над тетрадкой: «Все запи ваете кустарные наблюдения?»

Был он прежний — и все-таки переменился. Вп глаза, сухим и острым блеском блестевшие в щел Грудь опустилась, и плечи стали острее и выше. В поте слышалась властная нота, и глаза уходили запно от собеседников глубоко к себе, и на тонкие гу тогда набежит торопливость: так выглядят губы, ко человек отвечает другому: «Мне некогда».

— Будет ли мир? — не сдержавшись, спросил Я Львович.— Мира ждут люди и камни, товарищ сильев! Довольно уж крови. Взгляните, как сумер голубеют за окнами, а по карнизу вьют лапками голу Взгляните на огонечки на улице, на шар золоти

с кислотами, что засиял там, в аптечном окне. Тесен мир и единственна жизнь, дорогая для каждого. Дайте людям порадоваться, завоевали — и баста!

— Завоевали? Неужто? Не в вашем ли сердце, где все так прекрасно устроено? — шепчет с усмешкой товарищ Васильев.— Почитайте-ка завтра газету!

— А я люблю военное дело,— вмешалась товарищ Маруся,— все равно без войны не обойдешься. Пасифизм — чепуха.

Товарищ Васильев рыжим ногтем на протабаченном пальце провел по прозрачной бумажке. Отрывая по сгибу, отделил он бумажный квадратик, насыпал табак, свертел папироску и, послюнявив губами, заклеил. Яков Львович дал ему закурить, и товарищ Васильев, хрипло кашлянув, затянулся.

Глава девятая

СМЕТАНО...

Века навалили суглинок на туф, туф на гранит, а гранит на залежи гнейса,— и вышли пласты геологические.

Года навели улыбку на губы лакея, сутулость на спину раба и холеный зобок под кашне у бездельника,— и возник обывательский навык.

Стали видеть вещи устойчивые по Эвклиду: кратчайшая линия меж двумя точками — это прямая. Дом Степаниды Орловой — это есть ее собственность. И кто умер — того отпевают.

Но в учительской комнате третьей гимназии, где учились Куся и Лиля, давно уже дразнили коллеги Пузатикова, математика, что Эвклид провалился. А в городе вышли «Известия» со стихами и прозой, шрифтом прежней газеты, размером ее и на той же бумаге, с приказами о домах, в том числе и о доме Орловой: он, как и прочие, муниципализировался, и квартирантам вносить надлежало квартирную плату не Степаниде Орловой, а городу. И, наконец, по Садовой и по Соборной прошли, чередуя усталые плечи под злыми углами гро-

бов, люди в красноармейских шинелях; они хоронили покойника не отпевая.

И пошли по городу слухи: все теперь будет по-новому. Опись людей для начала: кто, откуда, какого занятия, имеет ли капитал и семейство; потом опись женщин, замужних и незамужних; первых оставить на месте впредь до распоряжения, а незамужних приписать к одиноким мужчинам с гражданскою целью: издан приказ о введении гражданского брака. Холостяки ужасались.

Появились мальчишки с ведрами и кистями, а подмышкой с пачками объявлений. Красными от мороза руками они макали кисти в ведра, мазали стены, заборы, высокие круглые тумбы, перепрыгивали с ноги на ногу и сдували с кончика носа холодную каплю, за неимением носового платка и обремененностью пальцев; и на стены, заборы, высокие круглые тумбы наклеивали постановления. Каждое было за номером, с двумя подписями. Постановлений в день выходило по нескольку.

С сумерек и до утра, не потухая, горела зеленая лампа во втором этаже дома с колоннами, где помещался товарищ Васильев. Сам он вечером и среди ночи принимал по делам, но говорил только шепотом, указывая на горло: простуда. Когда не было посетителей, шагал взад и вперед, временами ссыпая табак из жестянки на смятую бумажонку и сворачивая папироску. Шагая, диктовал сиплым шепотом, часто дышал; продиктованное перечитывал.

Фронт передвигался. Войска уходили. Людей не хватало. Постановления не исполнялись.

В «Известиях»,— так думали обыватели,— сидел упразднитель. Хватался за все: нынче одно упразднит, а завтра другое. Добрались до орфографии, до средней школы, до университета, из банка забрали наличность, богачей обложили большими налогами. Какие-то люди убили профессора Колли.

А упразднитель хватался опять за одно, за другое. Упразднена уже собственность, право иметь больше чем столько-то денег наличными, сословный суд, прокуроры, сословие присяжных поверенных. Один за дру-

гим взрыхлялись лопатой пласты и выбрасывались. Людей не хватало, упразднитель писал на бумажках с печатями: вызвать икса такого-то, вызвать игрека иксовича, вызвать граждан таких-то. Именитые адвокаты, член суда и нотариус, пофыркивая, пришли по бумажке. Упразднитель просил их взять на себя реформу гражданского суда по новым советским законам. Именитые граждане, пофыркивая, отказались.

В газетах уже веяли темные слухи и телеграммы о вспыхнувшей снова войне: немцы давили на русских. Был подписан мир в Бресте, а немцы, под предлогом очистки и определенья границ, наступали,— уже подходили к Одессе. С Украины шли гайдамаки, под Новочеркасском зашевелились казаки.

Нежданно-негаданно вдруг разразилась пальба. Анархисты восстали. Обстреляли штаб, убили и ранили многих, завладели двумя домами, а после были разбиты. Потом, успокоившись, отпечатали номер газеты «Черное знамя».

— Наша беда не в том, что мы имеем военные задачи: наступать всякий может. Беда наша в том, что мы наступаем реорганизуя. Мы должны перестраивать на скорую руку, без людей, с мошенниками и саботажниками, на завоеванном месте, на клочке, который, может быть, завтра от нас будет вырван!

Так признался усталый Васильев Якову Львовичу поздно вечером, когда тот забрел на зеленую лампу

Суета перестройки вершилась при тайном злорадстве врагов и явной поживе неунывающих приспособленцев.

Ветер февральский рвет, посыпая снежком, постановление на круглом столбе: *«Реформа нотариата»*. В домике с ундервудами и ремингтонами, где жила переписчица, шумно. Нотариат упразднен, вместо него нотариальные камеры, где будут записывать браки, рождения и смерти. Старый нотариус, покачав бородой на машинки и вешалки, вышел; его уж не пустят обратно. Машинки и вешалки взяты по описи в камеры младшими клерками. Младший помощник нотариуса, с кожурой от подсолнухов между гнилыми зубами, по фамилии Пальчик, стал товарищем Пальчиком. Съез-

дил в ревком, утвердился и занят реформой. Товарищу Пальчику много работы: составить подробную смету. Товарищем Пальчиком разграфлена уже бумага на столбцы и колонки и обозначено, кто какой получает оклад от правительства,— первым долгом он сам как заведующий; вторым долгом он лично как стряпчий, третьим долгом он же, сверхштатно, как представитель от камеры, на разъезды и прочие нужды. Дальше идут, понижаясь, по порядку все клерки, вдова-переписчица и сторожиха. Товарищу Пальчику понадобился кабинет, и вдове-переписчице велено в двадцать четыре часа переселиться, куда пожелает.

Вздыхая, связала вдова три узла и на казенной подводе перевезла их в подвальчик, снятый в трехэтажном дворце Степаниды Орловой.

В Ростове двумя-тремя юношами сорганизован комитет по охране искусства. Застучали машинки, отпечатывая бумажки на осмотр, на ревизию, на реквизицию. Опустевшие особняки снова ожили. В них захаживают, поворачивая книги, вазы, картины, собранья фарфора, заглядывая сбоку, сзади и наизнанку, определяют, классифицируют, вспоминая уроки истории по древней Греции и каталоги Третьяковки. Собрано все на подводы, подводы поехали, но по дороге исчезло немало. Ругался военный начальник, требовал объяснения, ему объясняли, показывая ордера. Ордера были в порядке: с печатью, за отношением. Были они внесены под номерами и в получении их расписались. Но вещи исчезли.

— Все это мелочь и чепуха! — горячилась фигурка в коричневом платье с коротенькими волосами. Бледное личико с веснушками возле носа сияло. Это Кусе рассказывал Яков Львович, что в городе бестолочь, что так нельзя, что это выходит не большевизм, а юмористика, и Куся ему возражала с горячностью:

— Все это мелочь и чепуха! Надо ведь с чего-нибудь начать, а они откудова знают, с чего? Пускай себе хоть кверху ногами. Эка беда, две-три чашки покрали с подводы. Вы лучше подумайте, ведь они помогают сдвинуть с места весь мир, может сами не знают, а помогают!

Куся пришла к Якову Львовичу не для бесед, а по делу. Она принесла приглашение от комиссара финансов и наробраза, товарища Дунаевского, на заседание. Приглашены представители музыки, живописи и литературы. Куся — от комитета учащихся. Надо сорганизовываться, и наконец-то для Якова Львовича будет работа.

Тихи улицы в сумерках, покуда пешечком пробираются Куся и Яков Львович из Нахичевани в Ростов. Последние дни марта, а ударил мороз. Так скрепил, так стянул, что дыхание виснет на бородатых прохожих сосульками, а у Якова Львовича застревает в ноздрях колючею льдинкой.

Одинокий фонарь от мороза — в тумане. От прохожих летят облачка, словно все закурили. И клубисто дышит трамвай, как животное, стоящий на запасном пути с печуркой внутри для кондукторов и метельщиков, чтоб отогревались до смены.

А по дороге в Ростов, подняв голову, смотрит Яков Львович на окошко с зеленой лампой. Там, сжав губами потухшую папироску и обмотав гарусным шарфиком больное горло, все ходит и ходит товарищ Васильев. Он не диктует. Между бровями тяжелая складка. Доктор сказал ему утром, что у него не простуда и не ларингит, а горловая чахотка. Но товарищ Васильев думает не о том. Он думает о наступлении немцев и о восстании казаков под Новочеркасском.

Глава десятая

...ДА НЕ СШИТО

В особняке на Пушкинской улице жил-был некогда Петр Петрович, пока не бежал на Кубань.

В особняке на Пушкинской улице — столовая красного дерева, стены выложены изразцом цвета вымытых фикусов, и такого же цвета, глазурованной зелени, нюрнбергская печка с сиденьем.

В особняке на Пушкинской улице Дунаевский, комиссар наробраза и наркомфина, созвал совещанье.

Перед входом два рослых красноармейца с винтовками просмотрели внимательно повестки Куси и Якова Львовича и, посторонившись, пустили их. Внутри уже было полно.

Не сразу в накуренной комнате можно людей разглядеть. Посреди, у стола, опершись подбородком на руку и коленкой упершись на стул, не сидел, а стоял утомившийся днем от сидения комиссар Дунаевский.

Это был небольшой человек, женски-пышный в плечах и у бедер, с лицом, словно снятым с камеи: тяжелый, орлиный нос, умный лоб, небольшие глаза под пенсне, выдающиеся, очень острые губы, по-птичьи. Вид значительный и якобинский, как шепнула горячая Куся...

Где Дунаевский теперь? Где другие, работавшие в суматохе и в хаосе, в первые дни революции, когда не видать было шагу вперед и шли наугад и на смерть горячие, лучшие люди? Дунаевский расстрелян. Расстреляны и другие. И ты, никогда не видавший ни личного счастья, ни сытости, ни удовольствий, ни отдыха, маленький, бледный горбун, под шинелькою в снежной степи потерявший последнее — скудную кроху здоровья!

Вокруг Дунаевского, ближе к столу, разместился отряд меньшевичек, готовых к сражению. Меньшевичку опытный глаз тотчас отличит от большевички. Меньшевичка куда фанатичней. Одета хорошо, непременно в пенсне, с черепаховым гребнем в прическе, держит себя солидно,— и придерется, так не отстанет, словно инструмент «кусачки», вцепившийся в гвоздик. Меньшевичка еще не услышит, уже критикует; рот раскрыть не успеет сосед, а она уже резким фальцетиком, словно пилою по жилке взад-вперед перепиливает слабое место противника,— ничего не оставит, утешится, разомкнет ридикюльчик, вынет платок и взмахнет над припудренным носом.

Дальше, за ними, сидели поддевки, шинели, пиджаки, студенческий китель. Помалкивали. Когда приходилось вступать в разговор, предварительно сильно прокашливали запершившее горло. Среди них размещались и говоруны, по-партизански, но без успеха вы-

скакивавшие на меньшевичек. Темой служила инструкция, приводимая ниже:

«Ввиду огромной важности воспитания и обучения детей для подготовки будущих граждан — строителей социалистической советской республики и ввиду того, что учащие всех типов школ неоднократно организованным путем (учительские союзы, собрания) определенно враждебно относились к советской власти, почему является крайне необходимым самым решительным образом сломить этот особого вида саботаж интеллигенции, для чего создать на самых широких демократических началах орган, который бы следил и направлял деятельность учащих, а именно: при каждом учебном заведении создается школьный совет с таким расчетом, чтобы учащих в совете было не более одной трети всего состава его. В школьный совет, кроме учащих, входят: три представителя от родителей и три члена от левых социалистов или лиц по рекомендации местной или ближайшей к поселению из указанных выше партий, а в крайнем случае по назначению местного Совета казачьих, крестьянских и рабочих депутатов из среды граждан».

Орфография (новая) колола глаза, с непривычки казалась таинственной смесью болгарского с канцелярским. На инструкцию все нападали. Но меньшевички напали отдельно: не на нее, а на принцип: «Зачем приставлять к учительскому совету лишь левых социалистов, а не социалистов вообще?» И, дружно разжав свои челюсти, все вместе (а было их девять) вцепились в несчастную фразу, словно инструмент «кусачки» в шляпку гвоздя.

Встал Яков Львович, неожиданно для себя. Он искал и не находил подходящее слово,— в воздухе было другое.

— Товарищи, вы только что завоевали область, еще не учли и не проверили отношение учительства, а сразу вооружаете его против себя. Такая инструкция вызовет ненависть в самом доброжелательном. Зачем это? Ведь работать-то с ними придется. Людей и так мало. Заставьте их служить себе, а не вредить. Кто, выводя верхового коня из конюшни и седлая для дальней поездки,

в зубы ему кладет не мундштук, а раскаленные прутья?

— Замолчите,— одернул его за полу расползающегося пальто молодой чернокудрый художник, сидевший на полукруглом сиденье нюрнбергской печки и грызший орехи,— сейчас не время, им не до этого!

И действительно, было не время. На Якова Львовича и не взглянули, лишь Дунаевский блеснул в него умным и знающим взглядом из-под тяжеловатых век, но не объяснил ничего. Заговорили опять и вконец осудили инструкцию, порешив на местах руководствоваться другой, еще более резкой. Избрали комиссию для ее составления.

Художник все продолжал грызть орехи, разжевывая их, как ребенок. И, поглядев на него, опечалился Яков Львович: ему показалось, что в молодом и красивом лице нарочно, для безопасности, было разлито больше наивности, чем полагалось по возрасту.

— Вот они, люди. Не нравится, а не вмешаются. Всяк убежден, что все равно ничего не добьется. А когда выйдет дело готовым, из рук вон плохим, ни на что не пригодным, у всякого голос появится со стороны, как из зрительной залы. Всякий тотчас осудит!

Это говорил, возвращаясь домой и обмерзшие пальцы в рукава забирая, Яков Львович закутанной Кусе. У той из-под шали блестели лукаво глаза, а рот она замотала, оставив лишь нос для дыханья. Но не удержалась, спустила размокший от ротика теплый платок под согревшийся подбородок и возразила:

— Какой вы! Сейчас разве строится? Это потом будет строиться, а сейчас революция. Что с того, что учительство еще не высказывается? В Москве было против и тут будет против. Лучше сразу сказать: «мы враги», чем возиться и время потратить.

— Молодчага вы, Куся,— сказал Яков Львович серьезно,— вам шестнадцатый год, а логике учите лучше профессора. Только разные мы. Я не знаю, мой друг, может быть новый мир из таких, как вы, народится, но мы разные, и мне грустно. Всем сердцем желаю удачи большевикам, но многого не понимаю. Да и вам непонятно, о чем я.

— Очень даже понятно, если б захотела понять. Только сама не хочу. Если сидеть-понимать, как вы, так ничего и не сделаешь.

— А разве лучше делать вслепую?

— Не вслепую! Партия скажет, куда.

Куся уже свила себе гнездышко в революции. Она ходила на митинги, слушала разных ораторов — Коллонтай, матроса Баткина, студента Сырцова, товарища Жука. В доме Орловой происходили партийные заседания. Молодой член партии, студент-первокурсник Десницын, был с ней знаком и ссужал ее книжками.

Пуще сдавливало дыханье от мартовского мороза. Трещали на перекрестках костры, раздуваемые милиционерами. Огонь забирал заиндевевшие сучья, плакали сучья, оттаивая, и шипели, как шпаримые тараканы; дым не хотел подниматься, побитый морозом.

Они добрались до трехэтажного дома купчихи Орловой и, зайдя за ворота, спустились по ступенькам в подвальный этаж. На стук отворила Лиля, тринадцатилетняя, в вязаной кофточке, и торопливо сказала:

— Куся, мама больна. Бок простудила, температура. А отопление так и не действует!

В доме купчихи Орловой — центральное отопление. Только странно,— общественные учреждения, что в левом корпусе, согреваются, а где жильцы, в правом корпусе, туда не доходит тепло. Повыше, у Фроловых, замерзла вода в умывальнике. У них примерзают от стужи пальцы к железному крану. День и ночь горит керосинка,— смрадно, и денег без счету уходит на керосин, а все не теплее.

Яков Львович вошел в холодную комнату, где на лавке, под шубами, шалями и суконной кавказскою скатертью, тряслась от озноба вдова-переписчица.

— Голубчик, похлопочите,— произнесла она навстречу гостю.— Девочки мои бедные с ног сбились. Сходите завтра к хозяйке!

Яков Львович знал, где квартирует хозяйка, и обещал. Куся сняла для него чайник с керосинки и налила ему чаю.

Степанида Георгиевна Орлова была богатой купчихой. Отец, когда-то лабазный мальчишка, позднее

лабазник, потом фабрикант, умер, оставив ей лавку, дом и мыльную фабрику. Степанида Георгиевна замуж не вышла. В спальне под образами держала приходо-расходную книжку и счеты. Лицо имела широкое, ноздреватое после оспы, распаренное, как у прачки, и руку подавала не прямо, а горсточкой. Платье пахло демикотоном. После переворота Степанида Георгиевна поселилась у себя в дворницкой, выселив дворника в летнюю кухню, и жаловалась на разоренье. Там и застал ее утром Яков Львович, но не одну, а с товарищем Пальчиком, что-то укладывавшим в портфель. Он, впрочем, уже уходил, озирался, где шапка, и левой рукою полез в рукавицу.

— Ну-с, всего! — обнажил он гнилые зубы с кожурой от подсолнухов.— Бумагу припрячьте подальше!

Степанида Орлова, когда он ушел, взяла со стола гербовую бумагу и сложила ее пополам.

— Одно разоренье,— присядьте, пожалуйста,— эти самые купчие. Кабы не большевики, стала бы я еще недвижимую покупать! Мало переплатила крючкам этим!

Яков Львович слушал недоумевая. Степанида Орлова знавала его покойную мать, Василису Игнатьевну, и смотрела на Якова Львовича, как на знакомого.

— Какая купчая?

— Ну да нешто не слышали? Дом я купила у аптекаря Палкина, тот, что с фасадом на двадцать девятую линию. Староват, а ничего, доходный. Деньги-то ведь тёперь не продержишь, опасно. И зарывать не расчету нет. А дома подешевели, как помидоры, ей-богу!

И засмеялась купчиха Орлова девичьим смешком без натуги, без хитрости. Вытаращил на нее Яков Львович глаза.

— Позвольте! Да как же! Муниципализированный дом?

— Ну, какой ни на есть. Дешевому товару в зубы не смотрят. Чего удивились?

— И нотариат упразднен! Какая же купчая?

— Самая настоящая, на гербовой по оплате. Нет, уж вы в деле немного и смыслите, Яков Львович, так не антересуйтесь. И языком лишнего не говорите между

чужими. Я ведь с вами, как с сыном покойницы Василисы Игнатьевны, откровенна.

Руки развел Яков Львович и на минуту забыл, зачем пришел. Но, вспомнив, заторопился.

— Да, вот что, Степанида Георгиевна. Я пришел насчет жильцов правого корпуса. Не знаете, не испорчено ли у вас отопление? К ним не доходит тепло. Там вода в ведрах замерзла. Пожалуйста, Степанида Георгиевна, распорядитесь.

— Да что вы, голубчик! Дом-то не мой теперь, а городского хозяйства. Вы бы к городу и обратились. Я-то при чем? Сама, видите, в дворницкой.

— Как же не ваш, если покупаете новый? — не удержался Яков Львович.

Улыбнулась купчиха. Видно, в добрый час он попал к ней! Улыбка купчихи Орловой важная штука,— девическая, без хитрости, без натуги, только оспинки сморщились, набежав друг на друга на упругих, как у японской бульдожки, щеках. Улыбнулась, ударила звонко по ляжкам всплеснувшими ручками.

— А и хитрый же вы, даром, что тише воды, ниже травы. Ну, если жильцам добра желаете, так передайте: плату пускай за нонешний месяц вносят не городу, поняли? Ведь не внесли еще?

— Кажется, не внесли.

— Пусть занесут мне сюды на недельке, я дам расписку. Кто еще там уследит за их платой. А я, как хозяйка, за все отвечаю. Сами ко мне по каждому пустяку забегаете. Нынче одно, завтра другое. Конечно, сама понимаю, морозы — сладко ли? Тепло я пущу, а вы насчет платы не позабудьте.

— Не позабуду,— ответил Яков Львович и вышел.

Дворнику Степанида Орлова, зазвав к себе, слово-другое сказала.

Дворник, в ведерко воды накачав, неспешной походкой пошел в отделенье, где топка. Сколько возился и что он там делал, не знаю. Выйдя, опять не спеша, запер он топку на ключ и ключ отдал купчихе Орловой, а та его положила под образа, за ширинку, рядом с приходо-расходною книжкой и Новым заветом.

А по трубе, повинуясь физическому закону, потекло, прогоняя зашедшую стужу, победительное тепло к людям и всем делам их. Оно дотекло до подвала правого корпуса, и Лиля, пощупав трубу, закричала, как сумасшедшая:

— Мама, Куся, хозяйка тепло пустила!

Шел Яков Львович по улице мимо тумбы, заборов и стен, где еще красовалось постановление за номером и подписями *«Реформа нотариата»,* шел и думал:

«Сметано, да не сшито!»

Глава одиннадцатая

ЛИКВИДАЦИОННАЯ

Контора газеты была и останется только конторой газеты. Корректорша Поликсена, сидевшая при царе за ночной корректурой, при Керенском, при казаках,— сидит и при большевиках. Забрав типографию, помещенье, запасы бумаги, большевики вместе с ними забрали контору и корректоршу Поликсену. Только там, где был раньше «Приазовский край», теперь поместились «Известия». Но корректорша Поликсена с платочком на плечиках и булочками на ужин, завернутыми в корректуру и лежащими в муфте,— пожимает плечами: «Подумаешь! Мы и сами без новой орфографии постоянно писали не «Пріазовский край», а «Приазовский край»; бывало, спрашивают, почему, а мы себе пишем и только».

Действительно, со дня основания газеты, лет этак за тридцать, писалось вещим издателем не «Пріазовскій», а «Приазовский». В конторе, уплачивая Якову Львовичу по тарифу за столько-то строк, шепнули:

— Вы не подписывайтесь под статьями. Слухи ходят... Положенье непрочно.

А уж что скажут в конторе, за выплатой по тарифу, тому доверяйте.

Фронт распластался на разные стороны, фронт вытягивает, как огонь языки, свои острые щупальцы то туда, то сюда, пробует, прядает. Там отступит, здесь

вклинится слишком далеко. Но обрубают могучие щупальцы фронта. Немцы подходят все ближе, взяли Харьков, идут на Ростов. С ними на русскую землю, насилуя русскую волю и разрушая Советы, идут офицеры, не немцы, а русские. Те самые, что в немцев стреляли и не хотели брататься. Теперь побратались.

С Украины идут гайдамаки, приплясывают,— усы отпустили такой закорюкой, что совсем иллюстрация к Гоголю, и треплются по весенней степной мокроте шаровары, как юбки, на бойких плясучих лошадках. А мрачные, приученные к смерти корниловцы чистят где-то в степи, совсем недалеко, винтовки, тяготясь идти с немцами и настреливаясь на город откуда-то сбоку.

В Баку же татары, восстав, режут армян днем и ночью. Пылают армянские села. А сами армяне, где могут, днем и ночью режут татар. Поезда не пускаются дальше Петровска.

Заметался осколочек фронта, оторвавшись в Ростове. Уж он обескровлен. Занят товарищ Васильев. Голосу нет,— часто и тяжко дыша, закашливается, обматывая зеленым гарусным шарфиком горло. Уже не шепчет, а пишет. Поманит к себе протабаченным пальцем, нажмет карандашик, вырвет листок из блокнота, и уже побежала бумажка, разнося приказанье. Даже к рассвету не гаснет зеленая лампа во втором этаже белого дома с колоннами.

Обнадеженные прежде времени под Новочеркасском, восстали казаки. Так летит воронье к еще не умершему воину, кружится, падает, снова взлетит, высматривая хищным оком, откуда бы вырвать кусочек. Но воин не умер. Собрав распыленные части, большевики отогнали казаков. Били в Новочеркасске, холодным штыком добивали, шпарили жаркими пульками, пульверизировали дымом, картечью и кровью. Жарко и мокро дышалось на улицах Новочеркасска.

А на Дону не спеша завозился апрель, выколачивая вместе с кучами снега морозы. Снег осел, а морозы упали. Солнышко припекло по улицам, раззадоривая воробьев. И зеленою шерсткой озимков, как кошечка шубкой, потягиваясь, проснулась весна.

По новому стилю готовились к празднику Первого мая. Но праздник сорвался. Первого мая, как ястреб, над Темерником закружился немецкий аэроплан и сбросил бомбу.

Уже гайдамаки с колоннами немцев двинулись к городу. Уже застреляли откуда-то сбоку корниловцы, в город ворвались, ринулись на штыки, думая, что гайдамаки подходят. Но большевики окружили ворвавшихся. Один за другим корниловцы были обезоружены и перебиты.

Вновь зазюзюкали в городе, разносясь со змеиным шипеньем, пульки. Страх сковал челюсти. Старики молодели от страха. К ночи в саду или темном подвале прокапывали дыру и зарывали длинные тюбики рублей, скатанных вместе, обручальные кольца, столовое серебро или, кто побогаче,— червонцы. Когда-нибудь внуки искать будут клады — много кладов сейчас позакопано на Руси!

Ночью спали одетыми, вздрагивали, чуть сосед шевельнется, ждали обысков и при стуке крестились, словно в поле на молонью. А в Ростове неведомым юношей, именовавшим себя «старым литератором», как ни в чем не бывало собран, проредактирован, прорекламирован, отпечатан и пущен в продажу журнальчик «Искусство».

Товарищ Васильев ругался, бессильно стуча кулаком по канцелярскому столику. Он ругался беззвучно и выплевывал посиневшей губой на платок темнокрасные сгустки. Шепотом, от одного к другому, из дому в дом переходило, что немцы уже в Таганроге.

В апрельское утро для населения был напечатан декрет о понижении цен на продукты,— продовольственные в два раза, а прочие в пять. Купцы прочитали и крякнули, а крякнув, перемигнулись. И в ответ на декрет взвыли в хвостах перед лавками обыватели,— товар-то ведь поднялся вдвое!

— Покупайте, покудова есть! А не то подохнете с голоду! — говорили купцы, утешая. И запуганные, одурелые люди платили.

Там и сям проскакали, стегая лошадку, милиционеры с винтовками. Там и сям пристрелили купца для

острастки. Но купец не смутился. Он, что метеоролог, по воздуху чует погоду.

А тем временем, порождаемые междувластием, одурелостью, паникой и суматохой, самозванцы с револьвером у пояса и декретом в руках на подводах въезжали к купчинам.

— Читал? А это видал? — и с декретом показывается револьверное дуло.— Ну-тка за добросовестную расплату в пять раз дешевле тысячу двести аршин того шелка, а теперь двести фунтиков гарусу да шестьсот пар чулочков. Что еще? Дамский зонтик? Клади-тка и сто пятьдесят дамских зонтиков для родных и знакомых.

Двадцать пятого старого стиля истекал ультиматум, поставленный немцами и гайдамаками большевикам. Большевики отказались очистить Ростов. И тотчас же с утра задымился огонь дальнобойных.

Взрыв, как от страшного выстрела, раздался на площади. С шумом обрушился, рассыпаясь, как веер, на радиусы осиновых досок, базарный ларек. Затопали, шлепая в лужу, случайные люди, мечась в подворотню. «Бум-бум» уж стояло над городом сплошным грохотаньем орудий. Шел дождь. С окраин ринулись беженцы, толкая друг друга, роняя детей и ругаясь неистовой бранью. Подвалы, свои и чужие, в одно мгновенье забиты людьми. А по воздуху стоном бегут, догоняя друг друга, снаряды и разрываются возле самого уха, близехонько. Окна трясутся, танцуя стеклянные трели. Их не заставили ставнями в спешке, и окна, трясясь, звонко лопаются, рассыпаются, словно смехом, осколками. Тррах — торопится где-то ядро. Бумм — вслед за ним поспевает граната. Трах, городу крах, крах, тррах! Немцы не скупятся, артиллеристы играют.

А по подвалам сидят, обезумевши, беженцы, затыкают уши руками, держат детей на коленях, бледнеют от тошного страха, кто за себя, кто за близких, а кто за имущество.

Но часам к четырем вдруг сразу утихло, как после землетрясенья. В ворота степенно вошла молочница,

баба Лукерья, с ведром молока и спокойно сказала жильцам, подошедшим из кухонь:

— Большаков-то выкурили. Чисто.

А на Батайск отступили остатки гибнущих красных. Стойко дрались за каждую пядь. Трупами покрывали весеннюю степь и валились с десятками ран друг на друга, живыми курганами. В воздух текли от них струйки дыханья и пара: то в холод апрельского вечера теплая кровь испарялась.

Глава двенадцатая

НЕМЦЫ

Ты продаешь сейчас библию, напечатанную Гуттенбергом, немецкий народ!

Увезли твои древности богатые иностранцы. Скупили дома твои за бесценок богатые иностранцы. Хлеб твой едят и пьют твое пиво, глядят на актеров твоих и отели твои наводняют богатые иностранцы. В Руре на горло твое наступил французский каблук, и хряснуло горло. Обезлюдели, парализованы, остановились заводы. Руки, прославленные в работе, бездействуют. Где твоя слава?

Но униженному руку протянут с Востока. Там, над кремлевской твердыней, вьется красное знамя Советов. Коммуна — друг униженных. И она говорит им: вы потеряли, но не всё потеряли. Вы сохранили себя. Лучшее в мире сокровище — правда. Правдиво сознаться себе в том, что есть, в том, что было, и в том, что должно быть по совести,— вот великое наше богатство. С ним вступает народ в неподвластные хищникам дали, в крепкостенную, высокобашенную, золотую страну — в грядущую эру.

И правдивой да будет рука, что опишет тебя и полки твои, зарубавшие большевиков по наёму за хлеб гайдамачий в угольном Донецком бассейне. Ты шел туда в мае — апреле девятьсот восемнадцатого, богатого бедами, года, как ныне французы идут в твой угольный Рурский бассейн!

* * *

Выползли из подвалов оторопелые люди; не евши, не пивши с утра, поспешили к калиткам, ловят прохожих, спрашивают,— те кивают на площадь.

А на площади людно. Подошвой стучат по неровным булыжникам улиц, в серых касках, подтянуты как на картинке,— немцы.

— Немцы! Вот тебе раз! — вздохнула на улице прачка. И не понимала, а все же вздохнулось. Сердечная вспомнила, как отпевала солдатика-мужа, погибшего на Мазурских болотах, а сын был в красноармейцах.

За колонной солдат, припадая к улице задом, как скачущие кенгуру, прогромыхали и скрылися пушки.

За пушками, удивляя невиданным блеском, алюминиевыми кастрюлями, кружками, чайниками и прочей посудой, проехала ровным аллюром походная кухня.

Офицеры и унтеры в темнозеленых перчатках, в мундирах защитного цвета и в гетрах,— «баварской и вюртембергской ландсверских дивизий»,— шли сбоку, по тротуарам, сверяя ряды проходящих. Были они белокуры, с выпученными глазами, с красноватыми лицами и на висках — с узелками набухших артерий.

Остановившись перед собором, часть их сделала под козырек и по знаку офицера промаршировала в соседнюю улицу. Часть их стала, перебирая ногами, как на ученье, и готовясь куда-то свернуть. Другие же, сразу сбросив строгую выправку и симметрию наруша, принялись укреплять пулемет, задом к церкви, а носом на улицу, и, разобрав походную кухню, расположились стоянкой.

Живо хворост собрали, штыки завязали и вздули огонь рядовые. Живо ссыпали кофе в кофейники с закипевшей водой и из банок достали сухарики, сахар, консервы, шоколад и сгущенные сливки. Пили немцы из кружек, прикусывая и не глядя по сторонам. Казались они дагомейцами [1], привезенными целой деревней в зоо-

---

[1] *Дагомейцы* — народность в Африке. До революции дагомейцев привозили цирковые антрепренеры и показывали в цирке.

логический сад, для того чтоб кухарить и кушать на глазах любопытных.

А вокруг-то! Все повысыпали поглазеть на диковинных немцев. Бабы, старые и молодые, в платочках, платках и косынках, гимназисты, учителя семинарии, математик Пузатиков с дочкой, поп Артем с попадьей, Степанида Орлова, купчиха, Пальчик, ставший опять просто Пальчиком, но повышенный в чине нотариусом, за то, что тихонько отдал ему вешалки (ремингтон же припрятал); Людмила Борисовна — в черной шелковой шляпе, щегольских башмачках из шевро и в весеннем костюме, френчи, смокинги, венские демисезоны с отвороченными над суконным штиблетом заграничными брюками — видно, не заяц один по Дарвину шкуру меняет: белый зимой и при первой траве — буроватый!

А вечер на редкость весенний. Пахнут липы пахучими почками; стрельчатые, как ресницы, листочки акаций развертываются, сирень зацвела. Солнце село, но небо голубое, прозрачное, с реющей птицей и редкими белыми тучками.

Взволнованы барышни — много им будет занятий! Взволнованы матери — можно списаться с родными, узнать, где Анна Ивановна, Анна Петровна и Марья Семеновна, где доктор Геллер с женой, увезли ль бриллианты и повидались ли с Кокочкой, адъютантом у генерала Безвойского. Взволнован папаша — ведь дума-то будет, как раньше, и будет управа!

Немецкие унтеры и офицеры в зеленых перчатках, в мундирах защитного цвета, шаркали и улыбались, знакомясь с девицами. А те приглашали немецкими фразами, заученными в гимназии у херр Вейденбах, выкушать чашечку чаю. Офицеры, благодаря, улыбались, но с чувством достоинства проходили в открытые настежь парадные.

Буржуазия ждала их.

— Какая? — спросит наивный.

Та самая. Та, что в начале войны, брызгая пеной, кричала о подлости, низости, тупости немцев. Та, что изменниками называла издавших указ о братанье. Та, что упорно, с документами и доказательствами, уверяла, будто Ленин придуман на немецкие деньги. Та, нако

нец, что видела в Бресте конец государства российского.

Особняки запылали свечами и лампочками Белоснежные скатерти вынуты из сундуков и расстелены. Электрический чайник кипит, и кипит самовар, а в буфетной из банок, завязанных собственноручно, с хитрыми узелками, чтоб девки не крали, достается варенье. В граненые вазочки накладываются абрикосы, кизил, и айва, и клубника виктория, пахнущая ванилью. С пасхой совпало, вот счастье-то! На улице бились и резались, а в особняках все сделано к пасхе, что нужно: раздобренные куличи, пожелтевшие от шафрана, с изюмом и миндалями; творожная белая пасха с цукатом; ветчинный огромнейший окорок, выбранный у колбасника прямо с веревки по давнему и священному праву и собственноручно в печи запеченный; индейка,— пушисты, как пухлая вата, молочные ломти индейки, нарезанные у грудинки! И много другого. Графинчики тоже не будут отсутствовать, все в свое время.

Много бежало ее из особняков — буржуазии. Много осталось ее в особняках — буржуазии. Упразднитель в «Известиях» бился месяц и два, упразднял то одно, то другое,— орфографию, сословье присяжных поверенных, собственность, право иметь больше чем столько-то денег наличными, но упраздняемое, как журавли по весне, возвращалось.

Офицеры входили, расстегивая перчатки. Ослепленные светом и белоснежною скатертью с яствами, улыбались. Самодовольно — одни, а другие — насмешливо. За столом легким звоном звенели чайные ложки о блюдечки и о стаканы, передавались тарелки, просили попробовать то одного, то другого. Офицеры расселись не по-указанному, а по-немецки, меж дамами, чередуясь,— мужчина и женщина. И это понравилось очень хозяйке, стянувшей корсетом грудобрюшную полость, повесившей в уши два солитера и говорившей сквозь губы, их едва разжимая, чтоб не выдать искусственной челюсти.

Хозяин заговорил об ужасах большевизма и благодарил с теплотой и сердечностью германскую армию.

Гинденбург у себя никогда не стерпел бы того, что наша военная власть не истребила тотчас силой оружия! Мы некультурны. Мы позволяем какой-то шайке бандитов, невежественной и столько же смыслящей в Марксе, сколько свинья в математике, захватить власть и полгода дурачить Европу. Посмотрели бы вы, что у нас тут творилось! Я сам знаю Маркса, я читал Менгера...

Но разговор о марксизме офицеры не поддержали, они пожимали плечами. И сдержанно говорили, что идут добровольцами (с улыбкой, подмигивая: добровольцами, император не вмешивается!) с целью лишь очищения. и определения границ по Брестскому миру. И, кроме того, гайдамаки, угнетенная нация. Гайдамаки за очищение Донской области обещали им семьдесят пять процентов всего урожая.

— Своего?

— Нет, донского. Очистим область — и получаем.

Но есть могучее средство развязать языки, это средство найдено Ноем. Пьет хозяин, с приятной улыбкой культурного человека. Пьет хозяйка, потягивая своим зубы, чтоб не выдать искусственной челюсти, пьют дамы и офицеры. Порозовели, повеселели. Младший, фон Фукен, стеснявшийся при ротмистре, уж выдал на ухо даме:

— Наш путь через Кавказ, Закавказье и Малую Азию в Индию. Мы завоюем Кавказ, Закавказье и Малую Азию только попутно, задача же — в Индии. Индию надо отбить в отмщение разбойникам англичанам!

— Индию,— подхватили другие.

— Индию,— протянул и хозяин почтительно, в глубине души страстно желая, чтобы немцы остались навеки в Ростове и жили бы и наводили порядок,— чинно и мирно.

А был он не кто иной, как наш старый знакомец Иван Иванович, не успевший бежать на Кубань. Да, Иван Иванович пережил большевистские страсти и гордился: он не какой-нибудь эмигрант, Петр Петрович, он все видел, все знает и все пережил самолично. Он готов написать мемуары, разумеется не в России, а ле-

том, в Висбадене где-нибудь. Но Иван Иванович уж не тот, он разочаровался в парламентаризме. Мы некультурны, нам нужно твердую власть, хотя бы немецкую...

В кухне же, у кухарки Агаши, собралось свое общество: столяр Осип Шкапчик, военнопленный из чехословаков, обжившийся дворником и столяром в этом доме, два немецких баварских солдата, Аксютка и Люба, крестьянские девушки на услужении.

Осип Шкапчик служил переводчиком. Солдат угощали. Те ели и нехотя говорили: хлеб нужен им. Из-за хлеба и наступают. Теперь, говорят, будут брать Ставропольскую губернию, тоже хлебную. Сахару вот привезли из Украины. Не купите ль? Продают по дешевой цене, сто рублей за мешок. Воевать надоело.

Глава тринадцатая

ОЧИЩЕНИЕ ОБЛАСТИ

Кольцом окружили большевиков под Батайском. С каждым днем, словно от взмаха косы над степною травою, ложатся ряды их. Но теснее сжимаются те, что остались, и теснее зубы сжимают: такие недешево стоят! Душу за душу, смерть за смерть,— обессиленными руками сыплют порох, забивают патроны, наводят могучую пушку. Тррах — отстреливаются большевики.

В Ростове гранатами уничтожены Парамонова верфь, мореходное училище и пострадали дома. Их измором берут, смыкают железною цепью, но, голодные, истощенные, из-за груды убитых, как за стеной баррикады, отстреливаются большевики. Там, под Батайском, лягут они до последнего. Там, под Батайском, трупов будет лежать на степи, как птиц перед отлетом. И в городе говорят: если трупы не уберут до разлива, надо ждать небывалых еще на Дону эпидемий,— ведь разлившийся Дон их неминуемо смоет.

Так полегло под Батайском красное войско. И рапсоды о нем, если только не вымрут рапсоды, когда-нибудь сложат счастливым потомкам былину.

Между тем обыватели по Ростову разгуливают, утешаясь порядком. Два коменданта у них, полковник Фром для Ростова, а для Нахичевани стройный и рыжеусый в краснооколышевой фуражке господин лейтенант фон Валькер.

Фром и фон Валькер вывесили объявление, чтоб немедленно, в тот же час, торговки подсолнухами ликвидировали свои предприятия. Чтоб отныне они на углах с корзинками свежеподжаренных подсолнухов, также и семечек тыквенных и арбузных, стаканчиками продаваемых, не сидели. И чтоб обыватели подсолнухами между зубами не щелкали, их не выплевывали и по улицам не сорили. А кто насорит — оштрафуют.

Вслед за этим Фром и фон Валькер опять объявили, что по улицам можно ходить лишь до одиннадцати и три четверти, но ни на секунду не позже. А до одиннадцати и три четверти ходи сколько хочешь.

В тот год, восемнадцатый, был урожай на родильниц. Бывало, по улице идя, встречаешь беременных чаще, чем прежде. И про указ номер два разузнав, всполошились родильницы, перепугались. Природа-то ведь своевольна! Что, если захочешь родить среди ночи, как проехать в больницу или в клинику? Хорошо, коль в одиннадцать тридцать, а если позже? И с тяжкой заботой, не сговорясь, но сплошной вереницей потянулись родильницы в комендатуру.

Был полковник Фром по фамилии и по характеру благочестивым. Много видел он очередей, наблюдал и явления природы — метеоры, затменья, полет саранчи, сбор какао, частью в натуре, а частью в кинематографе, но такого не видел. И бесстрашный на поприще брани, полковник душою смутился.

— Was wollen die Damen? [1] — спросил он, склоняясь к своему адъютанту. Тот вызвал Осипа Шкапчика, переводчика. Был Осип Шкапчик, столяр, за знакомство с русскою речью и понимание местного быта, определен переводчиком в комендатуру.

Осип Шкапчик, не мысля дурного, поглядел на толпу из родильниц. Потом деловито у крайней осведомился:

[1] Что угодно дамам? (*нем.*)

— Сто волюете у комендантен?

Так и так, говорят ему дамы, на предмет родов без препятствий разрешенье ночного хожденья, ибо часто приходится ночью ездить в клинику или в родилку.

— Понималь,— им сказал Осип Шкапчик и ответил полковнику Фрому, что для нужды родов очень часто по ночам им приходится ездить.

— Gut! [1] — тотчас же промолвил полковник.— Напишите им каждой, что надо!

И родильница каждая вышла, унося в ридикюле документ:

«Würt. Landver, regiment № 216, Batallion 11.

Der Inhaber ds. hat als Arzt das Recht auch nach 11 Nachts auf der Strasse zu Sein» [2].

А в частной беседе полковник Фром молвил задумчиво: «Странные люди. Вот, например, у них в городе все акушерки сами беременны и, представьте себе, в одно время рожают».

Полковник Фром уважаем управой и думой. Он в присутственные часы присутствует и принимает. А лейтенанта фон Валькера полюбили дамы и барышни — он в неприсутственные часы знакомится и гуляет. Часто краснооколышевую фуражку над свежим лицом с рыжеватыми усиками можно увидеть на улицах, в скверах или в клубном саду. Лейтенант фон Валькер, любитель прогулок, доступен.

На другое же утро — жив курилка!—вышел и «Приазовский». Корректорша Поликсена над ночной корректурой пожимала плечами: «Шуму-то, шуму! И чего они? Все равно ведь «и» с точкой не ставят, а попрежнему пишут не «Пріазовскій», а «Приазовский». Уж помолчали бы!»

Шуму же было немало. Рычала передовица, свистел маленький фельетон, кусались известия с мест (сфабрикованные тут же на месте), стонал большой фельетон, тромбонила хроника и оглушительно били трещотками телеграммы: «победоносно... центростремительно... цер-

---

[1] Хорошо *(нем.)*.

[2] «Вюртембергский пехотный полк № 216, батальон 11. Предъявитель сего имеет право как врач быть на улице и позднее 11 часов ночи *(нем.)*.

ковный благовест... твердый порядок... святые тради ции...» А в передовице проклятие осквернителям ру ской земли, извергам и душегубам — большевикам Кто-то из доброхотцев, на радостях стиль перепутав, взвился соловьем: победоносным германским войскам защитникам правого дела, он желал от души горячей победы и войны до конца над варварами-большевиками

Транспорт налаживался. Уходили вагоны.

По дворам, по колам — с карандашиком, по волост ным управлениям — с бумажками, а по пажитям с морскими биноклями ходили люди в мундирах. Предпи сывали — сеять. Винтовка-надсмотрщик в спину дулом смотрела тому, кто не сеял.

По закромам и по ссыпкам гуляли толковые люди, им пальца в рот не клади. Чистых семьдесят пять про центов со всего урожая принадлежит им по праву, но когда-то он будет!

Выколачивались казачьи задворки. Казались задвор ками, а чихали мукой. Выколачивались казачьи ко лодцы — смотрели колодцами, а плескали зерном И транспорт налаживался. Уходили вагоны. Туда, куда следует, по назначению.

— Между нами,— шипел богатейший казак, дум ский гласный, пайщик газеты,— немцы здорово нас вы колачивают. Присосались, как пиявки.

— Но они очистили область! — наставительно мол вил другой, чье имущество было в кредитках далекого верного банка и в бриллиантах недалекой, но верной супруги.

— Даже слишком! — буркнул казак. Он прослыл с тех пор либералом.

Обыски, аресты шли тихонько и незаметно. Плакали жены рабочих — опять вздорожала мука. С ума сой дешь! Жалованья не платят, а хлеб что ни день то до роже. Хоть соси свою руку.

Плакали даже в станицах — так обесхлебеть и раньше не приходилось.

Волком смотрели и обыватели, кто победнее. В го роде, на базарах, стоит запустенье: ни хлеба, ни рыбы, ни мяса. Крестьяне попрятались и не подвозят про дуктов.

Глава четырнадцатая

ЛИХОЛЕТЬЕ

В эти дни ворон каркал
о погибели русских.

На Украине выбран гетманом Скоропадский, помещик. Выбирал же его император Вильгельм.

Стала Украина державой с германской ориентацией. И Скоропадский ездил к Вильгельму в Берлин на поклон. Кавказ отделился, распался на государства. Каждое стало управляться по-своему, каждое слало гонцов то в Англию, то во Францию, то к Вильгельму с просьбой принять всепокорнейше ориентацию.

А в Мурманске высадились французы и англичане.

В Великороссии, сердце Советской России, восстали эсеры. Из-за угла убивали. Снимали с поста тех, кто крепкой рукой держал еще ключ государства.

В эти дни ворон каркал
о погибели русских.

Были раздавлены на Дону лучшие силы рабочих. Если и не потухла надежда на помощь советского центра, то ушла так глубоко, что люди не видели этой надежды в голодных зрачках пролетария.

Урожай поднялся, налился, был собран и вывезен. Фельдъегеря, приезжая на юг из Берлина, оттуда чулки привозили знакомым девицам, духи и перчатки. Открылась в Ростове и книготорговля. Книги были в пестрых обложках с поясками заглавий о войне, об армии, о гегемонии над миром.

Подняли голову местные монархисты.

Родзянко и Савинков где-то стряпали соус из русского зайца.

Союз Михаила-архангела стал перышки чистить в ангельских крыльях, готовясь к погрому.

Толстые няни Володимирской, Тульской, Калужской губерний,— одна говорила на «о», другая тулячила, третья калужила,— сидя в клубном саду, где в песочке пасомые ими ребята резвились, беседовали шепоточком:

— Слышали, милые?

— Нет, а чего тако?

— В Сибири-то, где наш царь-батюшка... Слышь,

один из охранщиков был с ним лютее всех, гонял милостивца, как скотину, да... Только гонит он это государя прикладом-то в спину, ко всенощной в церкву под воскресенье, ну и видит: из церкви-то, милые вы мои, в белой перевязи на руке со святыми дарами идет сам Христос, провалиться мне, завтра чаю не пить. Подошел к государю и таконько ласково да уветливо: «Терпи, говорит, до конца, мой мученик»,— и дал ему святых тайн приобщиться. Вот ей-бо! Что ж вы, милые, думаете? Охранщик-то красногвардеец как побежит, да как побежит, и ну всем рассказывать. Его в сумасшедший дом, а он сбег, его на фронт, а он и оттеда сбег и все-то рассказывает, все рассказывает. Сейчас, милые вы мои, по Расеи ходит и все рассказывает, верно я вам говорю...

— Охо-тко!

Няни шепчутся, воздыхают. Няни привыкли в чистенькой детской под образами вприкуску пить чай. С няней не всякий поспорит! Она барыне на барина, барина на барыню. А выгонишь, няньки-то свой профсоюз, как масоны, имеют, наскажут такого, что после — убейте — ни одна не пойдет к вам на службу...

В Нахичевани перед собором, лицо приподняв и растопырив руки, как на кадрили, стоял памятник Екатерины. Монумент был из бронзы. Год назад рабочие дружной толпой собрались вокруг монумента, снесли его наземь с подставки, а после убрали. Подставка осталась пустою. Промолчали художники,— пусть снимают из рук вон плохую бронзу!

Но год прошел, и наутро в окно увидали жильцы Степаниды Орловой, как шли, под начальством немецких солдат, рабочие, шли и на веревках что-то тащили. Рабочие были безмолвны.

Командовали солдаты: «Mehr Rechts!» [1]

Переводил Осип Шкапчик: правейте!

Но рабочие праветь не хотели и слева, погнув о решетку нос и два пальчика Екатерины, растопыренные, как на кадрили,— без возгласов, в мертвом молчанье подняли тяжелую ношу, и на гранитной подставке был бронзовый идол поставлен.

---

[1] Правее! *(нем.)*

— So! [1] — одобрили немцы.

Мальчишки-газетчики, отовсюду сбежавшись на площадь, гоготали.

— Не ори, дурачье,— сказал им суровый рабочий.

Шумен Ростов. Продают — покупают. Город живет хмельною и гнусною жизнью. Ходят по улице с папироской у краешка рта спекулянты, краешком глаза посматривают. Каждая будка печет пирожки с мясом, с рисом, с капустой, с вареньем, каждый угол занят девицею с вафлями, каждой вафле есть покупатель. Мальчишки свистят, торгуя ирисом, во рту побывавшим для блеска. Открылись пивные — продают двухпроцентное пиво.

Ликуют гробокопатели — много могильщикам дела! Русская смерть утомилась, русская смерть переела за бранными брашнами под Батайском и Новочеркасском. Ей на смену пришла испанская мирная смерть.

Через границы и таможни, легкими пальчиками приподняв бахрому болеро, протанцевала она по средней Европе и села над Доном.

Гибли люди по-новому: по-испански.

Чихали сначала. Кашель на них нападал. Растирали грудь скипидаром. Дышалось с присвистом; грипп, дело пустое: аспирин, вот и все. Но наутро лежал человек, скованный мрачной тоской.

— Отчаяние, меланхолия,—говорили домашние доктору.

Плакал больной, кашляя сухо:

— Я умру, я предчувствую!

Врач отвечал:

— Испанка, берегите его от простуды.

Сильные выздоравливали.

Хилые умирали.

И мерли без счету: работник, не желавший в постели терять драгоценное время; детишки, беременные, роженицы и кормившие грудью.

В эти дни ворон каркал
о погибели русских.

---

[1] Так! (*нем.*)

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

> Плачут в тоске умирающие на кристалле Эвклида...

Глава пятнадцатая, лирическая

ПЛАЧ ПО ЭВКЛИДОВУ МИРУ

Страшно видеть тебя лицом к лицу, Перемена!

Обживаются люди на короткой веревочке времени, данной им в руки. Обойдут по веревочке от зари до заката короткий кусочек пространства, данный им под ноги. Всё увидят, запомнят, в связь приведут, каждой вещи дадут свое имя. И между ними и между вещами ляжет выравненная дорожка, из конца в конец выхоженная своим поколеньем. Ей имя — привычка.

Станет тогда человек ходить по дорогам привычки. И нетрудно ногам, ступившим на эти дороги: вкось или прямо, назад иль вперед, а уж они доведут человека до знакомого места.

Только бывает, что вырвет веревочку распределитель времен из рук поколенья. Тогда из-под ног поколения выпорхнет птицей пространство. Остановится человек, потрясенный: не узнает ни пути, ни предметов. Боится шагнуть, а уже к нему тяжкой походкой, чоботами мужицкими хряско давя что попало, руками бока подпирая, дыша смертоносным дыханьем, чуждая, страшная, многоóчитая, как вызвездивший небосклон, чреватая новым, подошла — Перемена. Неотвратима, как

смерть: ее, если хочешь, прими, если хочешь, отвергни,— все равно не избегнешь.

И, как смерть, лишь тому, кто доверится ей, заглянув в многоочитый взор,— она сладостную, сокровенную радость подарит и на смертные веки его положит нежную руку. Перемена, освободительница всех скорбящих!

Каждому, кто под небом живет, дано пережить не однажды предчувствие смерти. Опархивает оно, словно бабочкины крыла, ваш лоб в иные минуты. И певцу твоему, Перемена, тронул волосы тот холодок.

Встало сердце, холодом сжатое, как привидение в саване, как мороз, проходящий по коже. Все вспомнило сразу: созревания вещих любвей, опавших до срока; закипания крови, другой никогда не зажегшей; мудрую нежность, источившуюся на бесплодных; погоню за призраками,— и за тобою, последний, ты, с седыми бровями и невеселым пристальным взглядом, отчим с гор Прикарпатских, колдун, так сладко любимый!..

Пусть же холодом вечной утраты наполнится песня. Не тебе, Перемена, чье могущество славлю, а уходящему на закат Эвклидову миру будет плач мой.

Прямолинейный! Древний для нас и короткий, как вздох, перед будущим, ты кончаешься, мир Эвклида! Пляшет в безумии, хмелем венчаясь, Европа, порфироносная блудница. Пустые глазницы ее наплывающей ночи не видят.

Боги уходят, дома свои завещая искусству.

Так некогда вышел Олимп, плащ Аполлона вручив актеру и ритору; а за кулисами маски остались, грим и котурны... Мы за кулисами уже подбираем и вас, византийские маски! Строгие лики, источенные самоистребленьем, мертвые косточки, лак, пропитавший доску кипариса, смуглые зерна смолы, сожигаемые в тяжелых кадильницах, темное золото риз, наброшенных на Тебя и надломивших Тебя, Лилия Галилеи!

Другими дорогами поведет Перемена.

Прямолинейный! Ты, кто навек разлучил две параллельных, кто мечту о несбыточном, о неслиянном, об одиноком зажег в симметрии земного кристалла, про-

странство наполнил тоской Кампанеллы о заполнимости; ты, кто бросил физикам слово об ужасе пустоты, horror vacui[1],— ты при смерти, мир Эвклида! Кристалл искривился. Улыбка тронула губы рассчитанного симметрией пространства. И улыбка убила твою прямизну,— завертелись отсветы ее, искажая законы. Две параллельные встретились. Из улыбки, убившей тебя, родилась геодета.

Плачут в тоске умирающие на кристалле Эвклида.

Плачьте же, плачьте, оплакивайте уходящее! Но всеми слезами вам не наполнить завещанной трещины меж прямизною сознанья и ложью и кривью действительности, дети Эвклидовой логики! Посторонитесь теперь: к нам входит кривая. Мост между должным и данным, быть может, построит она, дочь улыбки, соединительница, геодета.

Глава шестнадцатая

ВЫШИТЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Душно становится жить на тесной земле в иные минуты. Все передумано, перепробовано, грозит повтореньем. Возраст-гримировальщик карандашиком складочки чертит возле рта, возле носа. Тронет точку, опустит углы, и видишь, что человек все изведал, устал, окопался, как хищная ласка, в своем одиночестве, - проходи себе мимо. И для новой надежды на чудо, для счастья приберегает зевоту.

Душно дышать меж вышитыми подушечками у вдовы профессора Шульца, Матильды Андревны. Вход в квартиру был через стеклянный фонарь, где не звякал звонок, обмотанный мягкою тряпкой (от нервов Матильды Андревны), а только шипел, содрогаясь. На шип бежала прислуга.

Чехлы не снимались в квартире ни зимою, ни летом; но поверх них набросала хозяйка искусной рукою цветные подушечки: одна вышита гладью, другая на пяль-

---

[1] Ужас пустоты (*лат.*).

цах ковровою вышивкой; третья вовсе не вышита, а просто пуховая в шелку, с футляром из кружев; четвертую разрисовал по атласу художник; пятая собрана из малороссийской ширинки, и сколько еще мягких, круглых, квадратных, прямоугольных, пухлых, как муфты, и плюшевых плоских подушек!

В них, утопая локтями и слабыми спинами, сидели: хозяйка, сановитая немка, с тюрингенским певучим акцентом, новый ее постоялец, доктор Яммерлинг, уполномоченный от «Кельнской газеты», и дочь ее, Геничка Шульц, двадцатипятилетняя.

Доктор Яммерлинг был католиком. Бритый, с ямочкой на подбородке, с коротким прямым, над верхней губой приподнятым носом, с бесполым и чувственным ртом, от бритвы запекшимся язвочками в тонких и острых углах, с прямыми бровями над узкозрачковым взглядом кошачьим.

Доктор Яммерлинг говорил о Европе. Голос его звучал глуховато:

— Мы накануне больших событий, фрау Шульц. Католической церкви сейчас, как никогда, надлежит стать матерью христианского мира.

— Что же вы станете делать с протестантами и с англиканцами? — спросила фрау Шульц, сановитая немка, любившая спорить.

— Вы затронули важный вопрос. Но, видите ли, папа думает (между нами, конечно), и его святейшество прав безусловно, что когда будет поставлен на карту принцип культуры; когда мы вплотную приблизимся к моменту раздела на своих и чужих, христиане сомкнутся, и отпадут их взаимные расхожденья.

— Как же вы представляете себе будущее? — спросила красивая Геня, взглянув Яммерлингу на губы.

— Гегемонией папства над всей европейской культурой,— ответил католик, сухими губами, как червячком, извившись в улыбке над деснами.— В этом смысле мы должны даже радоваться русскому большевизму. Он наивен. Своею наивностью он замахнулся наотмашь и многих перепугал. Государство и собственность, иерархизм людских отношений, наука, искусство и право — все, устрашившись, прибегнет к ограде цер-

ковной. Ибо лишь внутренняя организация может Европу спасти от угрозы Интернационала.

— Значит, опять в подчинение к авторитету? Жечь еретиков, запрещать развиваться наукам,— средние века, аскетизм, монастыри, сочинения ad gloriam Dei?[1]

— И могучий расцвет нашей пластики. Да. Что же тут страшного в аскетизме? Почитайте-ка Фрейда. Сублимированный в могучие тиски неудовлетворенного творчества, пол, как электричество, двинет культуру опять к формованью, к дивному кружеву спекулятивного мышленья, к песне и к музыке. Лучше ведь два три стиха гениальных, чем пара-другая ребят со вздутыми с голоду на рахитичных ногах животами. Как вы думаете, фрейлен Геня?

Но Геня думала молча. Красивыми серыми с поволокой глазами глядела она на нервные пальцы руки своей, полировавшей о светлую юбку миндалевидные ногти.

За Геню ответила мать, сановитая немка:

— Вы очень односторонни, херр Яммерлинг. Вам кажется, будто в культуре борются только две силы, а я так думаю, что есть ведь и третья сила, разумно умеренная, та, что зовется прогрессом.

— Одна из масок великого оборотня, семитизма! — воскликнул католик.— Идея прогресса чужда арийскому духу! В мире есть лишь авторитет и добровольное подчинение, то есть церковь. Или же авторитет и насилие, то есть опять-таки церковь. Все остальное — миражи.

Дверь открылась, и Машенька, горничная в белом чепчике, спросила хозяйку:

— Матильда Андревна, где прикажете накрывать, в столовой или в гостиной на круглый стол?

— Погоди, я сама все устрою.

И фрау Шульц, извинившись, пошла, сановитая немка, плывущей походкой за Машей. Дверь закрылась. Смолкли шаги. Геня все продолжала сидеть, полируя миндалевидные ногти.

Доктор Яммерлинг, оглянувшись, подсел к ней.

---

[1] Во славу божию (*лат.*).

— Вы не сердитесь на меня за вчерашнее? — произнес он шепчущим голосом.

— Не сержусь, но...— Геня порывисто прислонилась к плечу Яммерлинга. И от нее к нему перебежало жаркое веянье жизни, а от него к ней переползло холодное пламя чувственности. Он взял ее руку, разжал и, лаская, провел по ладони.

. . . .

Перешли из гостиной в столовую слишком тихая Геничка и преувеличенно разговорчивый Яммерлинг. Сели не рядом, а в отдалении друг от друга и тотчас же заняли руки игрой в бахроме от салфеток, перестановкой бесцельной тарелок, вилок и ложек.

Матильда Андревна открыла все окна и подняла полотняную штору, скрывавшую дверь на балкон. В комнату сухо повеяло душной июльскою ночью.

Глава семнадцатая

ПОЛИТИКА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Подними голову и гляди на бесчисленные миры над тобой.

Ты — песчинка. Ты, как тысячи пчел, переполняющих улей, носишь с собой тысячи планов организации мира. Улей гудит, пчела за пчелой вылетает, смена мыслей строит строжайшее зданье науки, где все соответствует опыту, а меж тем заменяется новым в положенный срок. Охотник за истиной, открывающий цепь соответствий, ты обречен на него, на соответствие: разве не ты фокус все той же вселенной?

Так думал Яков Львович июльскою ночью, присев на скамейку городского бульвара. Он похудел и осунулся, веки, совсем восковые, лежали на отяжелевших от созерцанья глазах: долго, закинув голову, отражали глаза катившиеся меж ветвями широким потоком миры,— и устали. Он расстегнул воротник, прислонился к спинке скамейки.

Внизу, под ногами, шелестели изредка листья, не в пору упавшие с веток. Ветер лежал низко и, повора-

чиваясь на другой бок, дышал жаром отяжелевшего дня меж ногами редких прохожих. Встанет, покружится, шурша листьями, бросит горстью сухой и щебневой пыли в лицо замечтавшемуся, побежит полосой, закачав фонарем залитое пространство взад-вперед, то туша язычок фонаря, то его раздувая, а после вдруг сгинет, и нет его. Сухо, душно, нечем дышать.

Задев Якова Львовича платьем, прошла одинокая женщина. От платья ее потянуло пылью и гарью.

Одиночество торжественным сонмом звезд, расширяющихся в усталых глазах, как предметы перед засыпающим человеком, сонное, светлое, оплывало сознанье...

Вдруг кто-то сказал перед ним по-немецки, сквозь зубы говоря с собой:

— Schon wieder! [1]

И в шепоте Якову Львовичу послышался старый знакомый; он вскрикнул:

— Доктор Яммерлинг!

Спичка чиркнула, свет прошел по фигуре под деревом, привставшей со скамейки бульвара.

— Херр Мовшензон, поразительно!

Два старых соседа за столом табльдота в пансионе города Мюнхена, два бывших товарища по книге и выпивке, пораженные, остановились друг перед другом.

— Вот кого не ожидал я повстречать ночью в России! Вы на военной службе? Пришли с оккупантами?

— Я корреспондент.

Доктор Яммерлинг что-то хотел прибавить, но внезапно осекся. Он вышел согреть перед сном торопливой прогулкой холодную кровь, дать успокоиться пальцам, как паутиной, опутанным привычно-ползучими ласками. Он знал, что оставленная среди душных подушек, волнуясь, ждет его Геня, ненасытно наивная и не догадавшаяся еще о том, что она недовольна. И мысли его были смутны.

Стоявший сейчас перед ним Яков Львович тоже устал. От недоедания и от бессонницы все время шумело в ушах у него, отдаваясь в мозгу комариною пес-

---

[1] *Уже опять! (нем.)*

ней. Кровь била в них слабо, и от слабости сладко покруживалась голова. Истощенному Якову Львовичу хотелось заснуть, укачавшись от звезд; и, глаза от них отрывая, он думал, что это звезды жужжат, заплыв ему в вены. Тысячелетняя нежность, с какою еврей глядит на вселенную, к тысячелетней отверженности, налегшей на плечи, прибавилась и стиснула сердце.

— Пойдемте пройдемся.

Так они шли, разговаривая, около часу.

Меж Ростовом и Нахичеванью дорога идет по степи. Слева скверы, летом пыльные, с киосками лимонада, сладких стручков и липкой паточной карамели в бумажках. Днем и вечером в них толпятся солдаты, шарманщики, франтоватые люди прилавка. По воскресеньям усердно гудит здесь марш «Шуми, Марица» и вальс «Дунайские волны». На запрещенье не глядя, налускано семечек по дорожкам несчетно, и дождь их сыплется, как из крана, из неутомимых ртов днем и ночью, заменяя скучную надобность речи.

Справа лежит дважды сжатая степь, уходя к полотну железной дороги. Исчертили ее колеи проезжих дорожек. Пылится она постоянно взметаемой из-под колес белой пылью, трещинами покрывается к осени, как сосок у небрежной кормилицы, и не дает ни влаги, ни тени.

Нет спасенья от духоты июльскою ночью! В Темернике над черной, миазмами полною лужей стиснутые друг ко дружке закопченные стены домишек задыхаются от жары и от страшных вздохов близкой гостьи: холеры.

Напрасно измученные работницы, с трудом укачав грудного, изъеденного комарами и мухами и лежащего, обессилев, в поту на серой простынке, открывают, что могут: дверь, окошко, печную заслонку. Воздух не хочет течь. Влаги у неба нет. Задыхается, иссыхая заразой, Темерницкая лужа.

А у соседа за стенкой топтанье: сосед бежит, что ни миг, в отхожее место. Потом и бегать не стал, рыгает и стонет. Кричит надрывно жена над ним:

— Жрал огурцы, окаянный! Говорила я тебе, о господи, мука моя...

Отвечает муж между стоном:

— Замолчи ты, что-нибудь жрать-то ведь надо!

Назавтра свезут его, как и другого и третьего, из Темерника, дышащего смрадною лужей, в холерный барак, а оттуда в могилу.

— Видите вы все это? — обводит перед Яммерлингом рукой Яков Львович.— Тут живут высшие создания природы, люди, наделенные разумом. Но у них нет даже силы на похоть, доступную зверю. Изглоданные, как ребра домов после пожара, слабые, словно травы по ветру, с истощенными своими детенышами у иссякших грудей, проходят они по жизни поденщиками, погоняемые кнутом. Они умирают раньше, чем поняли, что могли бы жить лучше. Я вас спрашиваю, это ли идеал вашей церкви?

Яммерлинг с насмешкой ответил:

— Удивительно любите вы и подобные вам сводить спор на мелочи. Причем тут идеал церкви? Только вы взбадриваете их, заставляете всем, что у них есть, жертвовать будущему, а устроить их лучше не можете и не умеете. Мы же даем им высшее утешение, ту бодрость, при которой идут они своею дорогой, с ней примиренные, и получают максимум им доступного счастья.

Яков Львович взглянул ему, при мерцании звезд, в глаза, узкозрачковые, зеленые, как у кошки: изжит идеализм христианства!

— Вот что скажу я вам, доктор Яммерлинг,— помолчав, сказал Яков Львович,— если б даже слова эти не были бредом, ни один из прекраснейших детей человеческих, кто вдохновением двигает жизнь, не согласился бы на это. Он бы ответил: пусть лучше будет проклято мое вдохновение, если мы неравны и я заранее осужден быть всем, а он — ничем. Посмотрите-ка, не вы, не я, не нам подобные средние люди, а цветы человечества, самые лучшие, самые мудрые, алкали о справедливости. Это вам не убедительно? Вы не хотите приспособлять свою душу к законодательной совести гения?

— Нет, положительно, вы семит. Только униженному выгодна эта вечная апелляция к совести,— с раздражением ответил католик.

Он разгорячился от ходьбы и спора. То и другое он делал искусственно, как моцион. Кровь побежала быстрее по жилам, пальцы согрела, выжала капельки пота на бритые щеки духота тяжелеющей ночи. С подделкой под жизненность, живо, как мальчик, он остановил Якова Львовича на тротуаре, торопливо пожав ему руку.

— Пора, не то попадем на ночевку в комендатуру!

И, повернувшись, он зашагал к Нахичевани, туда, где в душных подушках, горячая, сильная, на цыпочках перейдя спальню спящей Матильды Андревны, поджидала его, терзаясь течением времени, красивая Геня.

И снова ночь, раскаленная, как деревенская банька, без росы, без капли крупного дождика из нависшей тучи, тяжкая, иссушающая.

И снова ласки, одни и те же, холодно расчетливые, с перебоямн отдыха, чтобы дать набраться по капле скудеющей крови к паутиной опутанным пальцам. И думает Геня с шевелящимся ужасом в нетерпеливом, стыдом обожженном сердце: «Это... вот такое... любовь?»

Улыбается чей-то рот, червяком извиваясь над деснами. Улыбаются чьи-то пустые глазницы. Корчатся крылья огромной летучей мыши, перепончато опрокинутые над миром. Душно дышит отравою умирающий, но дни его сочтены.

Он бессилен дать семя.

Глава восемнадцатая

СТЕПНАЯ СУХОТКА

Цык-цык-цык-цык —

заводит кузнечик музыку по шероховатым кочкам земли на убранном поле. Не всякий пойдет сюда босиком, да и в сапогах: земля оседает, оставшиеся колосья пребольно вонзаются в пятку или зайдут под подошву, неровные шрамы земли удесятеряют дорогу. Вольно кузнечику одному: цыкает, благословляя безводье.

Вот уже месяц, как не идет дождь. Станицы молотят хлеба. Каждое утро на высоких повозках свозят с бахчей ребята арбузы и дыни. Казачки, повязанные по

самую бровь, сидя в кружок на земле с детьми и соседками, длинною палкой колотят по чашкам подсолнухов, наваленных перед ними целою грудой. Чашки полны почерневших семян. Ребятишки грызут их сладкую мягкую корку. А поколотят палкой по чашке — и сыплются семечки прямо на землю, выскакивая все сразу и на земле бурея от пыли.

Домовитые старухи варят из гущи спелых арбузов черную жижу: будет она по зиме к чаю идти вместо сахара.

А старики возятся с желтою жижей навоза: наваливают его перед домом, уплотняя лопатой, бьют по нем спинкой лопатной, обрызгивая проходящую курицу, и растет вперемешку с соломой навозная куча,— понаделают из нее кизяку для топлива.

Носится в воздухе белая пыль молотящегося зерна. В ноздри заходит, в уши, на шею под воротник. Как у персика, лег ее пухлый налет на круглые щеки.

Но со степи приносит ветер нехорошие запахи, а из города привозит казак нехорошие вести. Фельдшер обходит станицу, расклеивая объявление:

НЕ ПЕЙТЕ СЫРОЙ ВОДЫ!
НЕ ЕШЬТЕ СЫРЫХ ОВОЩЕЙ!
ПЕРЕД ЕДОЙ МОЙТЕ РУКИ!
ИСТРЕБЛЯЙТЕ МУХ!

Истребишь их! У казачки Арины поедом едят мухи умирающего ребенка. Мрет ребенок от живота: что ни съест — вырывает. Жарко ему, голенький на клеенке, со вздутым, как резиновый шар, животом, с тоненькими, словно ленточки, ножками, ручками, лежит и помирает. Где ж тут мух отогнать от младенчика в рабочую пору, когда бабьих рук на всякое дело не напасешься. И мухи знай залепляют глазенки, ползают по лицу, по ноздрям, по слюнке, бегущей на подбородок, гнездятся под шейкой не много не мало — десятками. Моргает дитя, раскрывая большие грустные глазки. Мухи взлетят и снова садятся, липкими ползунами обхаживая беззащитное личико. И глаза, загноившиеся в углах мушиною слизью, смотрят с кроткою стариков-

скою мудростью и с безысходным терпеньем. Маленький, зря ты вышел из материнской утробы!

— Волчья утроба! — сердитый фельдшер сказал, наклонясь над ребенком.— Ведь первенький он у тебя, постыдилась бы! Чего суешь ему жеваный хлеб, когда говорю: кислого молока давай. Воспаление прямой кишки у него, тебе говорю или нет?

Но не отвечает Арина, да как грохнет ухватом в печь, ажно горшки затряслись и посуда на полках отозвалась — затеренькала. Высохла у Арины душа, высохло сердце. Выплакала глаза.

А из степи в станицу доносятся нехорошие запахи. И из города привозит казак нехорошие вести: бараки тут, на восьмой версте, стали строить. Городские-то, слышь, переполнены, фельдшеров не хватает.

На барках по тихому Дону подвозят к Ростову арбузы. В этом году урожай: политая кровью земля словно ощерилась невиданным многоплодьем. С бахчей не собрать мелких дынь, полосатых арбузов и тыкву. Только цветом не вышли и формой: в иные года народится арбуз, как точеный, раскидистый, плотный, с малым желтеньким пятнышком на отлежалой щеке. Такой арбуз покупайте без пробы — ломти в нем лягут складками алого бархата, а семечки, черные и лакированные, как пуговицы на сапожках. Нынче же вышел арбуз поздреватый, длинноголовый и мелкий; цветом внутри бледнорозовый, соком несладкий; дыни загнили с боков, посреди не дозревши, а тыква пошла с пупырями.

Много товару идет на барках по Дону. Дешев товар, последнему нищему по карману. Возле тумбы, заклеенной белыми объявлениями о холере, выгружают арбузы и продают по десяткам.

На пристанях работают батраки, загорелые люди: грузят, чинят мостки, смолят лодки, волокут двадцатипудовые бочки. Дальше, на Парамоновой верфи, сотнями бегают муконоши. С мельницы прибегают засыпанные мукой, белобровые бабы,— и все покупают арбузы.

По жаре, над распаренным Доном, подсыхающим у берегов, вьются тучи комариков и другой мошкары. Налетят, облепят, кожа чешется до царапин; комарики мелкокрылые жалят нещадно. По жаре, над распарен-

ными стеклеющими радужной плесенью лужицами, от дыхают рабочие. Скинут рубахи, ноги в воду, ножами взрежут арбуз и едят его. Длинноголовый арбуз внутри розов, соком несладок, голода не утоляет. Горит у рабо чего горло от сухости, от арбузного сока, пить бы его, пока не наполнишь утробы. А на жарком солнце, как из очага палящем, вдруг почувствует полуголый рабо чий — холодок. Пробежит холодок по спинному хребту и екнет под сердцем. Сухостью обожжет гортань по следний прикусок арбуза,— и уже валится корка из рук, мутно перед глазами, тошно под ложечкой, острая сосет тоска, словно вгрызлась во внутренности волчица, и закричать бы от тоски на весь мир, закупоренный под колпаком духоты.

— Ты чего?

— Напиться пойду.

Встал рабочий, пошел неверной походкой и вдруг побежал за насыпь из бревен, где мальчишки устроили себе склад жестянок, обрывков каната и полусгнивших кадушек...

Повыше, к Нахичевани, идут огороды. Здесь коопе ратив «Мысль и хозяйство» устроил учительские трех аршинные грядки. Каждый арендовал себе несколько и работал с семейством. Математик Пузатиков в жаркое утро, с женою и дочкой, здесь тоже копает картошку. Сапоги математик Пузатиков пожалел — снял их. Греют голую пятку теплые ломти земли. Лопата рабо тала долго, с толстого педагога лил пот, на лысине вы ступавший крупными каплями; капли, сливаясь, бе жали к глазницам и текли ручейками вдоль носа, от куда и смахивались энергичною тряской на землю. По том, оставив лопату, математик рыл картошку руками.

После заката, с мешками на таре, везомой прислу гой, шли Пузатиковы домой, шли и беседовали о вздо рожанье продуктов. Как вдруг у педагога внезапно сотряслись друг о дружку зубы, стукнувшись в ознобе и прикусивши язык. В страхе он сел перед аптекой на тумбу.

Раскаленная мостовая еще пышет зноем. Небо ка жется затянутым пылью. С тротуаров вечерний ветер сносил шумной стаей невыметенный сор — бумажки,

окурки. Испуганная жена математика побежала в аптеку. И уже сипло стуча потертой резиной по камням, без рессор, похожая на свалочный ящик, подъезжала к аптеке карета.

А когда повезут вас в карете скорой помощи, что передумаете вы в дороге? Сухо вам, сухо в горле и в мыслях. Жжет вас. Нехорошо сжавшемуся от сухотного страха бедному сердцу. Что вы видели на земле, что знаете и куда повезут напоследок тощие кони, которым на уши наденут бахрому и пышные перья? Пыльно накроет балдахин колесницу. Будут кони коситься, шагом ступая, на колыхание траурных перьев. И не крикнет покойник, встав со смертного ложа: «Други, сухо мне! Сухо, как ржавчина, шевелится мысль в пересохшем мозгу. Помогите! В юности я уповал на чистую радость. К зрелым годам послужил похотливой скверне. Все торопливей жизнь, все пестрее дни, я растерял себя по мелочам, не нахожу, не помню. Кто сей, кто был мной? Душно, сухотно, рассыпаюсь, соберите меня!»

Но разве есть на земле друг? Разве есть любовь?

— Эй ты, придержи, куды едешь, видишь — дорога занята!

Видит Пузатиков-математик из окна остановившейся кареты, что мимо, по Софиевской улице, везут гробы на подводах. Много гробов, по десятку на каждой, простые, из осиновых досок, некрашеные; дегтем проставлены на них имена. За подводами провожатых не видно, а возница сильно пьян, красен лицом, со вздернутым носом, без памяти перебирает вожжами.

— Нно!

Не сладко ему везти такую поклажу.

Глава девятнадцатая

«ВСЕВЕСЕЛОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ»

Приказ гарнизону Новочеркасска за номером восемьдесят от третьего сентября, параграф второй.

«Из донесений коменданта усматриваю, что из числа офицеров, задерживаемых в городе в нетрезвом

виде, большинство приходится на долю находящихся на излечении в лазаретах. Больные офицеры в лазаретах пользуются неограниченными отпусками во всякое время... Приказываю прекратить это безобразие, а кого поймают в нетрезвом виде,— на фронт.

Начальник гарнизона Новочеркасска
генерал-майор *Родионов*.

Что за странности в нашем городе Новочеркасске? Город чистенький, черепичный. Смеются бульварчики, палисадники, ярко вычищенные главки собора. Столица Всевеликого Войска Донского — магазины полны, в гимназиях учатся, лихо гарцуют казаки перед дворцом атамана. А на стенах что ни день налепляют победоносную оперативную сводку.

И все-таки,— что за странности в нашем городе Новочеркасске? Словно бой происходит не на полях, а на улицах, что ни день приводят больных офицеров в больницы с отпускными листами. Больницы особенные — веселые, беленькие; сестрицы в них, словно цветы на окошке, день-деньской в ряд сидят на подоконниках в белых халатиках, загофрированные, улыбающиеся, с глазами в глубоких синих кругах, как у фиалок над черными чашечками,— должно быть, от тяжкой работы. И губки припухли у сестриц, словно покусаны комарами. На улицах непочтительны к бедным сестрицам прохожие, так и сторонятся, как от паршивой собаки. И говорят, будто беленькая наколочка, красный крест на руке и пышная пелеринка над грудью стали модной одеждой: по вечерам, когда над кинотеатром завертится колесо электрических лампочек, появляются в этих наколках и пелеринках разные странные женщины, привлеченные модой.

— Видно, в моде у нас милосердие,— говорят горожане.

А странности в городе Новочеркасске такие: привезут, значит, офицеров в палату, где сестрицы и медицинский персонал, в числе, по-военному увеличенном, их встретят, зарегистрируют и положат на койку. А он глядь-поглядь уж вскочил, ногу в галифе или бридж,

похожий на юбку и занесенный к нам англичанами, да и был таков. Ищи, лови его!

В Новочеркасске много улиц и много на улицах разных дверей, где за каждою можно найти бильярдную, ресторан и кофейню. Офицер, как пришел, сел и требует:

— Эй, подать мне того-сего! Поворачивайся, я тебя!

И подают половые, шуршащие, как тараканы, подошвами по обшарканным комнатам, все, что нужно.

Офицер выпил раз и другой, он куражится, у офицера компания: всем известно, что доблестные защитники чести казачества от заразы большевиков и от жидо-масонов спасают Россию. Пей, герой, заглушай видение пьяной смерти в пустынных лагунах твоей затопленной памяти: нет там ни бога, ни черта, ни завтра и ни вчера, а только сегодня. Зуд в зубах от вина, от табаку, от дурного желудка, от чьих-то покусанных комарами и на лету взятых в плен липких губок. Зуд на теле, под чесучовым бельем. Гуляй, герой, пока не свалишься, защищая честь родины, в сифилисе под забором.

Однако открыты двери бильярдных и ресторанов не одним офицерам. Много есть именитых граждан с деньгами в кармане. Входит в двери сам Истуканов, купец первой гильдии, богатейший мужчина. Он ведет с собой дамочку, не жену, а другую. Дамочка прыскает, как из пульверизатора, глазками направо, налево; ножки идут, заносясь одна на другую, словно все дело дамской походки шагнуть правой на левое место, а левой направо. Переплетаются ножки, регулируемые всем телом и тою дамскою частью, что соответствует хвосту канарейки. Легкое зрелище, головоломное.

Сели напротив военной компании. Слово за слово. Дамский клювик в рюмочку деликатно, по-птичьи. Истуканов же тянет, как подобает мужчине. Разгорячились, перемигиваются, офицер в компании тост произносит. Что-то кому-то как будто бы показалось (так потом вычитали в протоколе, не больше) —

бац! — стреляет герой, защитник отечества.

Икнул Истуканов от страха. Полетели стаканы. Сдернута скатерть.

— Мерзавец-авва-ва — я защитник!

— Прохвост тыловой!

Бац!

Ранили Истуканова в ногу повыше колена. Нехорошее происшествие для хозяина бильярдной. Офицер и компания в комендатуре, власти заняты протоколом И писарь, чей почерк похож на брызги из-под таратайки, инвалид германской войны, человек горячего духа, в сотый раз повторяет помощнику коменданта

— Хушь бы выработали вы печатную форму на машинке, а не то ведь руку собьешь, отписывая одинакие вещи.

А странности города Новочеркасска перебросились в самый Ростов. Стыдно сказать, угрожают они городскому трамваю.

Кому мешает трамвай? Он ходит по рельсам. На углах останавливается, совершая пищеваренье: выпустить лишнюю публику с передней площадки и снова наполнить утробу публикой с задней площадки. Дело простое, ясное. Так вот нет же! Вскакивает офицер, вопреки положенью, через переднюю, прыгает с задней, разворачивая трамваю утробу.

Этого мало. Едут в трамвае по собственной надобности рядовые казаки. Помнят они, если возрастом молоды, революцию и разные вольности; а старики, поместясь на скамейке, с седыми бровями, нависшими, как карнизы над окнами, вспоминают походы. И офицер, входя, рукою в перчатке тронул фуражку. Не ответил казак, зажмурены у старика под седыми бровями глаза, подремывает. Офицер толк в плечо старика:

— Во фронт! Как смел, ррзавец! В комендатуру за неотдание чести!

Разбуженный обозлился: молод больно кричать на седого, молоко не обсохло. Так вот нет же, не отдам тебе чести, да и все. Притулился казак, будто снова заснул.

Офицер останавливает трамвай. Офицер в возбуждении требует ареста казака, то и дело выхватывая из кобуры нарядный револьвер. У офицера дергаются посинелые щеки: мы жизнь отдаем, а тут в тылу распол-

зается злая зараза, большевизм на каждом углу, в каждом солдате. Дерзкие, неучтивые, непослушные, из-за угла предадут, подведут, чуть только дай им возможность, в спину нож всадят,— обезвреживайте их, ищите, уничтожайте!

Дергается офицер от давящей душу обиды. Ходят на нем галифе или бридж, занесенный из Англии, прыгают губы от крика. Пожалейте его, дошел человек до крайней минуты. Нет у него в душе ни бога, ни черта, ни завтра и ни вчера, укорачивается его сегодня, жалок он, загнанный в пустоту,— и не на чем отдохнуть в душе от судорожной краткосрочности.

Всевеликое Войско обеспокоено истерикой офицеров. Есть у Войска свой соловей, сладкий Краснов, атаман. И Краснов увещевает в газете:

«Отдание воинской чести есть акт вежливости. Дети мои, сыновья тихого Дона! Отдавайте честь молодые старым и старые молодым. За последнее время участились случаи, когда офицеры в грубой форме наскакивают на старых казаков. Не годится это, нехорошо, не в духе слова Христова. Помните, все мы братья. А если тебе не отдали, ты возьми да и сам отдай!»

Так учил Краснов, сладкогласый, красно говорящий. Читали его приказы в Ростове и Новочеркасске, хваля за литературную форму. И обыватели, наглядевшись на новый порядок, покачивали головами, пустив крылатое слово:

— Какое там Всевеликое! —
Всевеселое Войско Донское!

Глава двадцатая

ВЕРТОПРАХИ

Завертелись дни и события. Большевики отступают. Юг России организуется в Юго-Восточный союз. Дон, Терек, Кубань и юго-восток покумились, с Украиной горячая дружба. А Украина толстеет: смотрит умильно на Крым, и Крым загляделся ей в рот, как галушка.

В парадном мундире со всеми регалиями к пану гетману в Киев приезжал генерал Черячукин для вручения ясновельможному пану верительных грамот. Договор подписали, узы дружбы скрепили между Украиной и Доном и за завтраком обменялись речами. Низко кланялся генерал Черячукин от тихого Дона. Благодарствовал ясновельможный от самостийной Украины. Пили оба малороссийскую запеканку и, усы вытирая, осанились перед дулом фотографического аппарата.

А на юге своим чередом, мобилизуя запечного инвалида и ускоренного гимназиста, себе на уме, вырастал и укреплялся Деникин. Росли по стенам оперативные сводки. И думали обыватели, утомленные сводками: вот меняются времена! То политическая экономия да сходки, а то неэкономная политика да сводки. Экономничать, точно, у нас не умели: фронтов было от пяти до шести, что ни станица, то фронт. И с каждого сводка. Потом шли сводки Добровольческой армии, потом Малороссии, Терека и кубанских отрядов. Каждый имел свой штаб. В штабе хлеба даром не кушали, отрабатывали на бумажках. Бумажки печатались, писаря наслаждались.

И направо-налево говорили газеты о генерале Деникине как о спасителе.

Только в Новочеркасске, где выходила газета Всевеликого Войска Донского, заговорили другое. В «Донских ведомостях», за подписями начальников, появились приказы, возбуждавшие смуту. Обыватель читал, что «на нашей донской земле ходят отряды, провозглашающие разные вещи. Пусть знает каждый донец, старый и молодой, что войсковое правительство тут ни при чем и слагает с себя ответственность за политические уклоны Добровольческой армии. Разделяя с нею главную цель, очищение земли русской от мерзости большевизма, оно, однако, расходится с нею по многим вопросам».

В Новочеркасске собрался парламент — Большой Войсковой круг. Сердится Круг, отмахиваясь от добровольцев, казачьею речью клеймит возвращенье царизма. Мы ли, кричит, не терпели от царя и его при-

хлебателей, нас ли они не обманывали, завлекая посулами и гоня воевать со студентами на перекрестках? Не от царя ли и стала срамною кличка «казак»?

Сердится Круг, бородами мотают казаки, словно в рот им, против их воли, напихали чего-то невкусного.

А на юге, знай себе мобилизуя запечного инвалида и ускоренного гимназиста и на казачий характер внимания не обращая, духом своим возрастал и укреплялся Деникин.

Пошло ходить по городам и местечкам призывное слово «Единая Неделимая», «Великая Русь». Пошли ходить по родным и знакомым, ища квартиру и продовольствие, тучами понахлынувшие беженцы из Советской России.

— У вас-то тут, милые вы мои, а у нас-то там, милые вы мои...— посыпалось в каждом доме, как бисер.

Со скорым поездом, окруженный семьей и друзьями, в английском пальто, чисто выбритый, воротился Петр Петрович в особняк на Пушкинской улице. Много было побито в особняке стекол и стульев, срезана кожа с диванов, вывезены картины и книги. Но не пал духом Петр Петрович, получивший важный портфель у Деникина. Племянник, жена его, теща, кузен и старший приказчик — все получили места с хорошим казенным окладом.

Не во сне и не в сказке воротилось двадцатое. Стали в ряд, одно за другим, министерства. По ступеням, рукою раскачивая на ходу, пробегают чиновники. Даже угри на носу у них, отошедшие за революцию,— восстановились. Даже запах в углу, где на вешалке вешает сторож одежду, стал чинуший, заедлый, такой, как при Гоголе в департаменте. И появились старушки с просьбами о пенсии.

Много в больших городах живет различного люду. Каждый имеет родственников, а те роднятся с другими. Вместе с детьми от жены берут тестя и тещу, а через мужа к жене переходят свекор и свекровь. Каждого надо устроить, того на казенную службу, этому место, третьему то и другое, чтоб избавиться от военщины, четвертому, медику, вместо тифозного похлопотать в хирургический лазарет из боязни заразы,— словом, дел

на семь дней недели. И выходит, что город опутывается, как телефонною сетью, незримою нитью, именуемой «связью». Эта связь тоже позванивает куда нужно и когда нужно. Связь плотно обтягивает учреждения. Связи заняты тем, что готовят людей еще задолго до того, как они пригодятся. Так и сидели, как птицы у продавца на шесточках, приготовленные во благовременье люди. Было у них, как у других, две ноги, две руки, голова и все остальное. Посадите их — сидут. И рассаживали незримые связи постепенно во все уголки, куда требовался человек, в министерство, на кухню, при штабе, в лазарет, в канцелярию, в совет обороны, в отдел пропаганды и в тыловые военные части — крендельковых людишек, испеченных домашнею печью. Крендельковые люди, ручки, ножки держа наготове, фалдой взмахивали, галифе расправляли, торсом гнулись, куда надлежало, и изящно садились. А уж сидут — попробуйте снять их. Вся покрылась страна учреждениями с крендельковым миндально-изюмистым людом.

В министерствах запахло духами. Дамы, падкие на миндаль, стали часто пощипывать из крендельков министерских,— там заденут, тут ковырнут. Называлось это влияньем. Анна Ивановна, Марья Семеновна и Анна Петровна открыли салоны.

Хмурятся самостийники, поглядывая друг на друга. Бородами мотают, как будто им в рот напихали, против их воли, чего-то невкусного. Но уже, прокатившись по югу и Юго-Восточный союз усеяв воззваниями Единой и Неделимой, без отдыху мобилизуя запечного инвалида и ускоренного гимназиста, целясь оком из-под опущенных век на учителей и учащихся, развернулся Деникин.

Он стоит ногами на крендельковых людишках,— нет их вернее для неподвижного дела,— и разворачивает на фронте отряды отчаянных, поливая их хмелем. Пьют герои в тылу, на фронтовика напирая. Пьет фронтовик, иссохший от ярости: один у него, потерявшего родину и сражающегося за пустые погоны, за ночевку в разграбленном доме с сестрицей на тюфяке, за сыпь под чесучовой рубашкой, за бессмысленность выбора,

за роковую ошибку в важнейшую минуту столетья,— один завет: месть! Отомстить пьяно, удушливо, зубами, ногтями, заразой, бешеными зрачками, пулями, пушками, огнем, ураганом перекипающей ненависти жиду, большевику, комиссару. Впиваются, как бешеные собаки, юнкера и казачьи офицеры в попавших им пленных. Кожу сдирают с живых, ошпаривают кипятком, колют острым кинжалом пупок не раз и не два, десятки раз, наслаждаясь корчей живого. Потом под ногти вколачивают дощечки и гвозди.

Казак на фронтах Чирская, Пятиизбенская, Голубинская обезумел. Собственных сыновей и сродственников из малоземельных, перешедших к большевикам, полосуют казаки в полоску: лентами режет их штык, рубит фаршем, клочья мяса с кожей и волосом прилипают на платье. Вой стоит не человечий — звериный над казачьим становьем. И оперативная сводка доносит: пленных нет, все перебиты.

Вой доносится до городов, где пируют, валясь под столы, тыловые.

— Слышали,— шепотом передают горожане,— посадили на кол комиссара; говорят, корчился на колу, как червяк, сам себе внутренности разрывал: и помер не сразу, а так через сутки.

В Новочеркасске, столице Войска Донского, идут заседания Круга.

Большой круг бурлит политической нервною жизнью. Надо ему управиться с краем, пройтись по браздам управления сохою парламентской, сговориться, послушать правых и левых. Подсиживает атамана Краснова генерал Богаевский; Большой круг и сам не прочь подсидеть атамана, да выгоден сладкоголосый Единой и Неделимой,— берегут его.

И что же делать другого Большому кругу, когда в Ростове и Новочеркасске, за дамскими плечиками, что клопов за обоями: понасело их видимо-невидимо, вертопрахов миндальных; что же делать Большому кругу, как не вертеться в вермишели вопросов, не слишком горячих? Например, в вопросе о п р а х е.

Да, спасая тыловых вертопрахов, множатся у Войска Донского прахи героев. Куда девать их? Край при-

вык к годовщинам, к орденам, к славному имени на могильной плите, на знамени полковом, одним словом к истории. Исторический прах не должен погибнуть бесследно.

Жарко спорят на заседании Большого круга. Разбирают проект по увековечению павших.

— В списке прахов нет Чернецова, первого партизана, полковника! — надрываются с места. Зал гудит И взволнован докладчик безвыходностью положения

— Поймите же, за полгода Дон обогатился бесчисленными героями, сподобившимися венца. Прах всех перенести в собор невозможно. Надо избранных, по чину и званию наивысших...

— Все прахи достойны! — бешено требует зал, теша склонность свою к демократическому уравнению.

Постановляет Войсковой круг:

все прахи, невзирая на чин и на звание, будь то генерал иль хорунжий, уравниваются в правах.

А почитывая постановление, ногами на крендельковых людишках, не подвижниках, но зато неподвижных, руками в карманах английского бриджа, из-под опущенных век нацеливаясь на новые мобилизации, враскидку растет полегоньку над самостийниками «главнокомандующий».

Глава двадцать первая

ОРАТОР И ОРАТАЙ, ЧТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

Когда, через десятилетия, досужий историк займется походом Деникина и русской Вандеей, не проглядит он редкого дара донцов — красноречия.

Была у начальства одна только форма для печатного слова: приказ. По сю пору приказы изготовлялись приказными и считались казенной бумагой. А известно, что у казенной бумаги нет сердца и высушен синтаксис у нее, как гербарий. И вот, неожиданно для обывателей, загорелись перья начальственные вдохновеньем. Каждый начальник, усевшись за письменный стол, у плеча своего почувствовал музу. Эта лукавая и сокра

щенная в штате богиня (зане замолчали писатели и поэты) пристрастилась к военным.

Первым был ею обласкан храбрый вояка, гроза донских сотников, Фицхелауров, казачий Петрарка.

Вышел приказ, удививший читателей. Он начинался:

«Снова солнце поет-заливается над донскими степями! Братья казаки, враг подходил к нам огромными скопищами, но не дал господь совершиться злу. Над степным ковылем, над простором родимым я с доблестным войском в девять дней отогнал его и очистил наш край!

Фицхелауров».

Был приказ напечатан в «Донских ведомостях» 27 августа. Полковники и генералы отдались влиянью «Петрарки». Забряцали не шпорами — струнами в казенных приказах. Пошли описания природы, молитвы, теплые слезы, воспоминания детства.

Забыт был и сдан в архив маленький фельетон. Большой фельетон, спокойно живший в подвале, был выселен в двадцать четыре часа из подвала газеты, где расквартировались приказы. Приказы писались не сотнями, а несчетно. Канцеляристы, приказные крысы, обижались на нумерацию. Писарь у коменданта, чей почерк похож на брызги из-под таратайки, инвалид германской войны, человек горячего духа, не вытерпел, попросил перевода. «Лучше ж я,— так он сказал, не сморгнув, в лицо коменданту,— лучше ж я поступлю банщиком, тереть мочалкою спины».

Но всех генералов и даже грозу храбрых сотников, Фицхелаурова, донского Петрарку, в красноречии затмил атаман Всевеликого Войска Краснов, красно говорящий. Приказы его повторялись на улицах Новочеркасска и даже Ростова. Какой-нибудь еретик, правда, душил себя хохотом, затыкая платок меж зубами, когда повторял приказ в присутственном месте. Но давно уж известно, что еретиками бывают от зависти.

И процвело на Дону сладкогласие — духовному сану в убыток.

Пока же начальники, в теплоте соревнуясь, резви-

лись приказами, старый казак почесывал поясницу. Вынес он на себе немало сражений. Мобилизовали седого за неблагонадежностью молодежи казачьей. Заставили слезть с печи и попробовать пороху, вместо пирога с потрохами. А за верную службу, за очищение области от банд большевистских да за расправу над сборищем каинов, в том числе и своих сынов, обещали ораторы седоусому много земли — всю землю богатых помещиков, пайщиков, вкладчиков, разных тит председателей, у которых земли по тысяче десятин и поболе. Эту самую землю давно приглядели казаки. Так бы и взять ее, мать честную, под озимя мужицкой толковой запашкой.

И оратай ждет, что обещано. Память его крепка, как орех у кокоса. Не разгрызешь ее никаким красноречием, не перешибешь ни камнем, ни словом.

Ждет оратай и, наконец, в нетерпении сердца, засылает своих делегатов на Большой войсковой круг.

— Что это? — говорит Кругу Пшеничнов, крутой казак из станицы Луганской.— Где земля? Мы кровь проливали. Мы порешили бесповоротно взять землю.

— Какая земля? — разводит руками Леонов, богатейший казак, красноречивый оратор.— Сыновья тихого Дона, братья казаки, свободную землю отдали б мы вам без единого слова и без утайки. Да нет ее, такой земли. Святыня же собственности не должна быть нарушена. Учитесь, братья казаки, у французской революции, именуемой всенародно великой. Великая была, а собственности на землю не тронула. Почитайте брошюры, обострите ваш разум...

— Долой! — кричат в зале оратаи, разозлившись на сладко-певучих ораторов.— Долой, не заговаривайте зубы, землю давайте!

Кружится Круг, как заколдованный. Резолюции об отчуждении частных земель принимает. Примечания о справедливой расценке и выкупе их у владельцев выслушивает. Речи обдумывает. Речи снова заводит. Не щадит ни сил, ни здоровья, ни казенного хлеба.

Трудится Круг, но заколдовано место. И, глядишь, каждый день на первой странице «Донских ведомостей» печатается жирным шрифтом:

«Большой войсковой круг

извещает всех владельцев земли, что в наступившем 1918/19 сельскохозяйственном году они спокойно могут заниматься на принадлежащих им землях полевым хозяйством, так как никаких мероприятий, могущих в какой-либо мере воспрепятствовать использованию ими своих земель в текущем сельскохозяйственном году, принято не будет».

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

И музыка, музыка, музыка при[й]дет по всем улицам мира...

Глава двадцать вторая

ТЕТУШКА И ПЛЕМЯННИКИ

Хозяйка-история немцев смахнула со сцены, как после обеда хлебные крошки со скатерти. Немцы на долго выбыли из игры: пробил их час вступить в элевзинский искус [1].

Америка, Англия, Франция, как на балу, распорядители международной политики с белыми бантиками на рукаве сюртука дипломатов. Дéла им не обобраться. Ведь делать-то надо не что-нибудь, а все, что захочешь. И, вспомнив о лозунгах полной победы над гидрою милитаризма, о разоружении Европы, о праве народностей, стали они поспешно пускать по морям ежей-броненосцев, а по небу змеями аэропланы. Перья же их заскрипели над военным бюджетом.

Но гостем меж победителями, пировавшими тризну войны, вошло и село бесславие. Так после ливня иной раз не станет свежее, а потекут из ям выгребных нехорошие запахи. Зловонием понесло из всех ям, развороченных ливнем войны. И от зловония застрелился и

[1] *Элевзинский искус* — древнегреческие элевзинские таинства проводили человека через различные искусы.

ученый международного права, оставив записку, что не над чем больше работать.

Тогда появились во всей своей силе усталые люди.

У каждого, кто имел до войны хоть какое-нибудь, передовицей газеты воспитанное, убеждение, война засыпала сумраком сердце. И скрепилось бездумной усталостью, как последним цементом, прошлое, чтоб удержаться еще хоть на локоть человеческой жизни.

По хозяйским владеньям, как кредиторы, заездили делегации англичан и французов. К одному — любезно, как в гости, лишь изредка залезая в карман за счетною книжкой. К другому — без разговоров, с хорошим взводом колониального войска. Очень любезно и снисходительно, в белоснежных манишках, посетили французы и англичане Россию. В то время Россия для них находилась на юге. Встречены были союзники в Новороссийске с хлопаньем пробок и проследовали для речей и банкетов в Екатеринодар.

Главнокомандующий, как воспитанный человек, целовал у тетушки руку. Много имела в России Антанта племянников. Каждый верил, что добрая тетя простит грехи молодости, щедро даст из бумажника, подарит солдатиков, ружья, патроны и порох.

Людмила Борисовна, чей муж состоял при союзнической делегации представителем комитета торговли, получила задание. И тотчас же Людмила Борисовна пригласила к себе молодого поручика Жмынского. Поручик прославился тем, что писал стихи под переводы Бодлера. Он выдавал себя твердо за старого кокаиниста и по утрам пил уксус, смотря с неприязнью на розовые, полнокровные щеки, отраженные зеркалом.

— Я понимаю,— тотчас же сказал Людмиле Борисовне Жмынский, голос понизив,— совершенно конфиденциально. Широкий общественный орган с англо-русскою ориентацией и большим рекламным отделом. Это можно. Я использую все свои связи. Знаменитый писатель Плетушкин — мой друг по гимназии, поэт Жарьковсюкин — товарищ по фронту. Художник Ослов и Саламандров, ваятель, на «ты» со мной. Если угодно, я в первый же день составлю редакцию и соберу материал на полгода!

Но Людмила Борисовна с опасеньем заметила, что имена эти ей неизвестны.

— Вот если бы Дорошевич или Аверченко, или хоть Амфитеатров, это я понимаю. А то какой-то Плетушкин!

— Людмила Борисовна! — изумился обиженный Жмынский.— «Какой-то Плетушкин!» Да он классик новейший; спросите, если не верите, у министра донского искусства, полковника Жабрина. У него, я вам доложу, есть сочинение «Полет двух дирижаблей», к сожаленью, не конченное, так ведь это сплошной нюанс! Каждое слово там намекает на что-нибудь... Ну, конечно, не для широкой публики. Там, например, шоп ротный выставлен в виде болотной лягушки. А Жарь вовсюкин? А вы смотрели в местном музее на выставке бюст мадам Котиковой, что изваял Саламандров? Бог с вами, вы отстаете от века!

— Может быть, может быть, но только надо, чтоб все-таки вы нашли имена.

— Странно! Да я, простите, только и делаю, что перечисляю вам имена: Плетушкин — раз; Жарьво всюкин — два; Ослов — три и, наконец, Саламандров — четыре. Я вдобавок из скромности не упоминаю своей поэмы «Зеленая гибель»,— там осталось два-три куплета черкнуть, чепуха, работы на понедельник.

— Поймите же, Жмынский, если б зависело от меня... Я подставное лицо. Наконец, они вправе же требовать, давая английские фунты.

— Дорогая! — Жмынский припал, послюнив ее, к ручке Людмилы Борисовны.— Дорогая, не беспокойтесь! Я не мальчик, я учитываю все обстоятельства, ведь недаром же вы оказали этой рыцарской крепости (он постучал себя в лоб) такое доверие... Верьте мне, будет общественное событие, соберу самый цвет, пустим рекламу в газетах... Ерунда, мне не в первый раз, работы на понедельник!

И с фунтами в карманах, растопыренный в бедрах моднейшими галифе, вроде бабочки южной catocala nupta[1], вспорхнул упоенный поручик с гобеленовых кресел.

---

[1] Латинское название бабочки.

Потрудился до пота: нелегкое дело создать общественный орган! Говоря между нами, писатели адски завистливы. У каждого самомненье; кого ни спроси, читает себя лишь, а прочих ругает бездарностью. Нужен ум и тактичность поручика Жмынского, чтоб у каждого выудить материал, не обидя другого. Да зато уж и сделано дело! Каждый думает, что получит по высочайшей расценке, сверх тарифа, каждый связан страшною клятвой молчать об этом сопернику. А газеты печатают о выходе в свет в скором будущем журнала «Честь и доблесть России», с участием знаменитых писателей и художников, с добавлением их фотографий, автографов и автопризнаний. Сам Плетушкин дал ряд отрывков из современной сатиры «Полет двух дирижаблей», поручик Жмынский дал «Зеленую гибель» с «окончанием следует», поэт Жарьвовсюкин обещал три сонета о Дмитрии Самозванце, профессор Булыжник — «Экономические перспективы России при содействии англорусского капитала», мичман Чеббс — «Дарданеллы и персидская нефть». Передовица без подписи будет составлена свыше.

У Людмилы Борисовны что ни день заседание.

Жмынский в чести. Он прославлен. Жена атамана ему поручила наладить в Новочеркасске издательство. Он выбран помощником консультанта в бюро по переизданию учебников для высшей технической школы, он рецензирует отдел беллетристики местной газетки. На каждое дело сговорчивый Жмынский согласен:

— Чепуха! Работы на понедельник, не больше!

Посмотрели б его, когда, выпрямив, словно крылья catocala nupta, свои галифе, ноги несколько врозь, стан с наклоном, блокнот на ладони, слюнявя свой крохотный, в футляре серебряном, формы ключа карандашик, поручик впивается в вас, собирая для «Чести и доблести» информацию.

— А что вам известно насчет московской Чеки?

— Ох, голубчик, не спрашивайте! Тетка покойного зятя подруги моей, что бежала с артистом Давай-Невернуйским, сидела два месяца за подозрение в сочувствии. Так она говорит, что одному старичку академику, вдруг упавшему в обморок на допросе, сделали

с помощью собственных палачей, под видом хирургов, какой-то... как бишь его? позвоночный прокол и выкачивали у безвинного старца жидкость из мозга!

— Ого! Какая утонченность! Пытка Октава Мирбо!

И поручик в отделе

«ИЗ СОВЕТСКОГО АДА»

проставил:

«Палачи не довольствуются простым лишением жизни! Они впиваются в жертву, они ее мучат, высасывают, обескровливают. Последнее изобретение их дьявольской хитрости — это хирургический шприц, который они втыкают в чувствительнейшую часть нашего организма, в позвоночник, и выкачивают из наших представителей науки мозговую жидкость в тщетной попытке превратить таким способом всю русскую интеллигенцию в пассивное стадо кретинов. До такого садизма не додумался даже Октав Мирбо в своем знаменитом «Саду пыток». Доколе, доколе??»

Колоссальный успех информации превзошел ожидания.

— После этого,— так сказал меньшевик, заведующий потребительской лавкой, сыну Владимиру, гимназисту пятого класса,— после этого, если ты все попрежнему тяготеешь к фракции большевиков, я должен признать тебя лишенным морального чувства.

— После этого,— так сказала жена доктора Геллера, возвратившегося с семейством обратно,— после этого я могу объяснить себе, как это мы, православные, доходим до еврейских погромов!

Она была выкрещена перед самой войною.

— Но, Роза...— пролепетал доктор Геллер смущенно,— это ведь, гм... хирургический поясничный прокол! Ординарная вещь в медицине...

Жена доктора оглянулась, не слышит ли мужа прислуга, хлопнула дверью, блеснула сжигающим взглядом,— и вслед за молнией грянул гром:

— Молчи, низкий варвар, вивисектор, садист, фанатик идеи, молчи, пока я не ушла от тебя вместе с Рюриком, Глебом и Машей!

Рюрик, Маша и Глеб были дети разгневанной дамы.

Поручик Жмынский прославлен. В Новочеркасске, у министра донского искусства, полковника Жабрина, идут репетиции оперы, музыка Жабрина, текст поручика Жмынского, под названием «Горгона». Комитетские дамы акварелью рисуют афиши. Художник Ослов ко дню представления прислал свой портрет, а Саламандров, ваятель,— автограф. То и другое разыграно будет в пользу дамского комитета. Литература, общественность, даже наука, в чем нельзя сомневаться, объединились с небывалым подъемом. И недаром русский писатель, неоклассик Плетушкин, в знаменитом своем «Полете двух дирижаблей» воскликнул:

«Торопись, Антанта! Близок день, когда взмоет наш дирижабль над Успенским собором! Если хочешь и ты пировать праздник всемирной культуры, то выложи напрямик: где твоя лепта?»

Выкладывали англичане охотно фунты стерлингов. Записывала приход Людмила Борисовна. Шли донскими бумажками фунты к поручику Жмынскому, а от него простыми записочками с обещанием денег достигали они знаменитых писателей Жарьвовсюкина и Плетушкина.

— Прижимист ты, Жмынский! Плати, брат, по уговору!

— Да кабы не я, черт, ты так и сидел бы в станице Хоперской. По-настоящему не я вам, а вы мне должны бы платить!

Кривят Плетушкин и Жарьвовсюкин юные губы. Чешут в затылке:

— Прохвост ты!

А молодая мисс Мабль Эверест, рыжекудрая, в синей вуальке, журналистка «Бостонских известий», объезжавшая юг «когда-то великой России», щуря серые глазки направо-налево, записывала, не смущаясь, в походную книжку:

«Ненависть русских к авантюре германских шпионов, посланных из Берлина в Москву под видом большевиков, достигает внушительной формы. Все выдающиеся люди искусств и мысли, как, например, гуманист, поборник Толстого, писатель Плетушкин, открыто стоят

за Деникина. Свергнуть красных при первой попытке поможет сам русский народ. Урожай был недурен. Запасы пшеницы у русских неисчерпаемы».

Глава двадцать третья

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ШКУРНАЯ

Перекрутились на карусели всадники-месяцы, погоняя лошадок. И снова остановились на осени. Знакомая сердцу стоянка!

Свесили, сплакивая дождевую слезу, свои ветки деревья, понурились на поперечных столбах телеграфные проволоки, в шесть часов вечера в окнах забрезжили зори «Осрама» [1], наливаясь, как брюшко комариное кровью, густым электрическим соком.

Тянет в осенние дни на зори «Осрама». Вычищен у швейцара военного клуба мундир, а вешалка вся увешена фуражками и дождевым макинтошем. Бойко встречает швейцар запоздалых гостей, обещая их платью сохранность без номерочка. Гости сморкаются, вытирая усы, влажные от дождя, и, пряча руку назад, в карман галифе, военной походкой, подрагивая в коленях, поднимаются по ковровым широким ступеням наверх, в освещенные клубные залы.

Сюда гостеприимно сзываются граждане, рекомендованные членами клуба. Из буфета пахнет телячьей котлеткой, анчоусами и подливкой, настоенной на кипятке в сковородках, где жарилось мясо,— французским поваром Полем. Поль нет-нет и выйдет из кухни, присматривая, как подают и все ли довольны.

Нарядные столики заняты. Дожидаясь, топчутся, блестя лакированными сапогами, офицеры в дверях, под яркими люстрами. Посасывают гнилыми зубами английские трубки. На столиках все, как в довоенное время: севший закладывает за воротник угол крахмальной салфетки, оттопырившейся на нем, как манишка. В зеркалах по бокам он видит свое отражение. Прибор подогрет и греет холодные пальцы; вазочка слева

---

[1] *«Осрам»* — дореволюционная марка электроламп.

многоэтажна, как гиацинт, на каждой площадке отмечена нужным пирожным, миндальным, песочным с клубникой, «наполеоном», легким, как пачка у балерины. В углу за разными баночками с горчицей, соей и перцем — бутылки бургундского и портер, заменяющий пиво.

Лакей уже вырос. Как каменное изваяние, стоит он, держа наготове листок, исписанный Полем. Здесь есть ужин из пяти блюд и блюда́ à la carte[1], есть русская водка с закуской, есть шведский поднос à la fourchette[2] и блины в неурочное время.

— Я вам скажу,— наклоняется к севшему комендант полковник Авдеев,— этот Поль не имеет себе конкурентов. Возьмите навагу,— простая, грубая рыба на зимнее время. Навага, когда вам дают ее дома, непременно попахивает чем-то, я бы сказал рыбожабристым, даже просасывать ее у головы и под жаброй противно; ковырнешь, где мясисто, и отодвинешь. А у Поля не то. У Поля, я доложу вам, навага затмит молодую стерлядку. Он мочит ее в молоке, отжимает, окутывает сухарем на сметане, жарит не на плите, а каким-то секретным манером — планшетка на переплете, и все это крутится вокруг очага, минуты две — и готово. Такую навагу, когда вам ее с лимончиком, головка в папиросной бумаге кудряшками, не то что скушать, поцеловать не откажешься. Аромат — уах! — мягкость, нежность,— бывало, в Славянском базаре, в Москве, не ел подобной форели!

Официант в продолжение речи — как каменное изваяние. И заказывают, посоветовавшись, два человека, военный и штатский, русскую водку с закуской, заливное, тетерку и пудинг.

Штатский, с крахмальной салфеткой, заткнутой за воротник, маленький, юркий, с томно-восточными глазками, ласков: он ожидает подряда. Военный, честный вояка, с усами, стоячими, как у пумы, отрыжки не прячет, салфетки не развернул, провансаль ножом подбирает. Он охотник поговорить за хорошею выпивкой

---

[1] По выбору в меню *(франц.)*.
[2] Закуска стоя, на выбор *(франц.)*.

— У меня этих самых катаров никогда никаких. Французская кухня — так давайте французскую. А нет, могу и по-нашему, по-военному, из походного вместе с солдатом. И, доложу вам, походные щи имеют особенное преимущество, если хлебать их с воображением. В котел вы опустите ложку и не знаете, что выйдет, тут и этакая из требухи желтая пипочка, помидор, боб, кусок солонины, капустная шейка непроваренная, твердоватая, и много всякой приправы. Я солдат, как детей, баловал. Всякий раз из котла похлебаю, а они «рады стараться, вашблагородие», жулики. Чувствуют! Да, тарелка не то, что котел. Тут вам фантазии нет, все на донышке. Кха!

И, откашлявшись, комендант закусил рюмку водки маслиной, проколотой вилкой.

— Однакоже,— начал сосед, сощуря томно-восточные глазки. Он был расстроен упорством кулинарных сюжетов,— однакож чревоугодие в известное время дает себя знать, как, например, ожирением. И по отношению к дамскому полу объедаться имеет свой минус, если верить научным писателям. Мужчина неполный, как говорят у нас по-русски, поджаристый, дольше всех сохраняет примененье способности.

Официант, отогнув калачом левую руку, нес закрытое блюдо. Говор шел, как шум прибоя, от столиков, пронзаемый острыми всплесками цитры. Дамский румынский оркестр восседал на эстраде, смуглыми пальцами гуляя по цитрам. Все в казакинах, с разрезными нагрудниками, в черных в обтяжку рейтузах, в сапогах с позументами и в фуражке на дамской прическе.

Официант приподнял крышку блюда, и ноздри втянули нежно-горький запах тетерки. В фарфоровой вазочке поданы брусника в меду, соус из тертых каштанов и нежинский мелкий огурчик.

— Кто там, братец, у вас в колончатой комнате? — осведомился полковник.— Двери заперты, а подается?

— Их превосходительство генерал Шкуро кутит с компанией бакинских приезжих.

— А! Шкуро! Мы, пожалуй, поев, перейдем с вами пить в эту комнату, Каспарьянц. Что вы скажете?

Тон был начальственный, и армянин улыбнулся томно-восточными глазками, предвидя затраты.

В колончатой комнате некогда губернатор принимал атамана. Меж зеркалами в простенке, окруженный гирляндами штукатурных гроздей и листьев, висел во весь рост портрет Николая второго. Подоконники были из отполированной яшмы. Позолоченные ножки и ручки у стильных диванов и кресел, гобеленом обитых, блестели сквозь дым от сигары.

Шкуро, с отрядом головорезов Кисловодск защищавший и недавно произведенный, сидел меж бакинскими дамами. У одной нежнорозовый цвет щеки, похожей на персик, оттенялся красивою черною родинкой. Черные брови, над переносицей слившись, делали даму похожей на персиянку. Она говорила с акцентом, сверкая бриллиантами в розовых ушках... Другая, жена англичанина с нобелевских промыслов, белокурые косы коронкой на голове заложивши, молчала; ей непонятна была быстрая русская речь. Изредка знатная дама, опрошенная соседом, рот разжимала и с различными интонациями провозглашала: «Oh! Oh! Oh!»

То выше, то ниже.

И вскрик этот юркий гвардеец, на ухо даме соседней, называл «трубным гласом».

Сам англичанин, невысокого роста и толстый, трубкой дымил, не шевеля и мизинцем. Справа, слева, спереди, сзади именитые гости наперебой поднимали шипучие тосты.

Развалился Шкуро, ковыряя в зубах. Скатерть в пятнах от пролитого вина, опрокинутых рюмок, раздавленных фруктов. Кто-то из адъютантов, наевшийся до тошноты, не примиряется с сытостью и доедает икру с лимоном и луком зеленым, ковыряя в ней вилкой. Другой, придвинув жестянку омаров, глядит на нее неотступно: покушать бы, да нет места, душа не приемлет.

— Мы приветствуем, мы... мы... мы...— замыкает тост председатель, кивая лакею. Тот из кадки со льдом вынимает новую длинногорлышевую бутылку. Хлоп! И шипит золотая струя по бокалам.

— Тише, слово берет фабрикант Гудаутов, тише, слушайте!

— Мы...— мычит небольшой человек, мелкозубый, с седеющей бровью. Посмотреть на него сзади — просто почтовый чиновник, спереди — из просителей, а не то репетитор уроков. А вот нет, он ворочает тысячами рабочих и миллионами ассигновок, на весь юг прославлен богатством:

— Мы должны компенсировать...

— Проще!..— рявкает адъютант.

— Мы должны посодействовать... Если дорого нам сохранить наш Юг от заразы, укрепить тыл и, так сказать, обеспечить промышленность от разорения в интересах России и экономической культуры, учтем нашу встречу сегодня, передадим в распоряжение генерала Шкуро соединенными силами сумму, необходимую...

— Урра! Подписной лист!

По рукам побежала бумажка. Икая, подписался один на круглую сумму. Другой, чтоб не отстать, сумму с хвостиком, третий не хуже.

— Вот, генерал,— говорил Гудаутов,— извольте принять от российской промышленности, от купечества истинно русского, от почтительных коммерсантов из армян и татар, в пользу русской культуры за незабываемые победоносные ваши заслуги...

— Браво! — крикнула зала.

Комендант с Каспарьянцем приютились на мягком диване, возле стола со льдистою кадкой.

Осоловел адъютант. Как пришитые пуговицы из стекла, стали глаза. Склонив голову, без улыбки, молчаливо он положил руку соседке своей на колени. Та сбросила руку. Снова рука, подобно стрелке магнита, потянулась к пышным коленям. Оглянувшись по сторонам, дама вспыхнула, отвела надоедливую руку, наклонилась к ее обладателю с отрезвляющей речью. Но как ни в чем не бывало, не моргая тяжелыми веками, оттопырив рот, весь в икре, адъютант шарил пальцами все в одном направленье.

Зашептались мужчины. Фабрикант подозвал человека. Подмигнув своим женам, мужья указали на двери. Встали дамы, окутали белоснежные плечи в на-

кидки. Незаметно, одна за другой, дамы вышли, и уже заревела в темном провале подъезда сирена автомобиля. А на опустелых местах размещались, рассыпая гортанные звуки, с хохотком, с прибаутками, ёжа плечики, топоча каблучками, звякая пуговицами и позументами, черноокие дамы,— приглашенный румынский оркестр. И к адъютанту, коробкой омаров прельщенная, быстро подсела, сверкая зубами и раздвинув рейтузы, в обтяжку, арфистка.

Но в остеклелых, как пуговицы, глазах адъютанта мелькнуло тяжелое недоумение. Рука, направляющаяся все туда же, вдруг ударила по столу: задребезжали стаканы.

— Н-не хоч-чу! — шевеля языком, как стопудовою тяжестью, произнес адъютант, глядя розовыми от налившейся крови глазами.— П-почему бр-рюки, н-не юбка? Долой!

Снова мужчины, говоря меж собой, указали глазами на двери. Капельдинеры с деликатной речью, под тайным предлогом, за локотки и подмышки повели адъютанта. Ноги не шли. В диванной, где гости курили, он тотчас заснул, стошнив себе на подушку.

А комендант, попивая шампанское, говорил все тому же соседу:

— Ты, Каспарьянц, инородец. Что сей такое? С твоего позволенья сказать — паразит насекомый. На него сапогом наступили — и нет его. А если, как истинно русский, я оказываю доверие, ты становишься человек.

— Значит, надеяться мне, полковник, на ваши слова?

— Дважды не повторяю. Вон гляди, видишь, рыженький, мурло в поту, румынке смотрит за лифчик? Из писателей, а захочу — выселю в двадцать четыре часа за кордон,— вот и вся недолга.

Лакеи тем временем очищали столы, выносили их в общую залу и вносили бесшумно на смену им ломберные, с мелком на сукне и резиновой губкой.

Шкуро, сделав в воздухе по-генеральски рукой, уехал, но свиту оставил. Свите стали, усевшись за зеленым сукном, проигрывать именитые гости, бакинцы. И до осеннего невеселого утра, как призраки, в свете

«Осрама» за зелеными столиками, указательный палец в мелу, люди резались в карты, вскрывая колоды, подаваемые до дурноты утомленным лакеем.

Глава двадцать четвертая

УТРО ПРОФЕССОРА БУЛЫЖНИКА

Рыженький, что смотрел румынке за лифчик, выпил последнюю каплю из последней бутылки.

С ним, бессмысленно улыбаясь и карандашиком чиркая по испачканной скатерти, бледный, с намокшими в жилках висками, не слушая сам себя, бормотал профессор Булыжник. Важный пост у профессора, он служит великому делу. Одни разъездные для целей его пропаганды могли бы покрыть бюджет губернской республики. Впрочем, они покрывают и бюджет супруги профессора, живущей под Константинополем, в Золотом Роге, на даче.

— Интеллигенция...— бормочет профессор.— Интеллигенция выдержала испытанье. Придите ко мне из советской России все... ик... истязуемые и обремененные, и аз успокою вас. Есть у нас... ик... назначенье для каждого, жалованье, командировочные, чаевые, то есть чаемые... для надобностей пропаганды.

— Молчите,— шепчет рыжий сердито,— всему есть мера. Шестой час утра, спать пора. Я должен быть завтра в Новочеркасске.

Оба под руку по опустелым, коврами затянутым лестницам, наклоняясь друг к дружке наподобие циркуля, раздвинутого в сорокапятиградусный угол, сошли и сели на дрожки.

Каждому, кто заснул, отпустив побродить свою душу по нетленным пажитям сна, где пасется душа по сладчайшему клеверу, воспоминанью о том, что было и будет,— каждому, кто заснул, предстоит свое пробужденье.

Один, отходя от нетленного мира, тупо моргает, силясь сознать кто он есть, что ему делать и как его имя и отчество. Такой человек начинает свой день с раздра-

жения. Все не по нем, и лучше бы выругаться, чтоб выплюнуть ближнему прямо в лицо накопившийся в горле комок недовольства, а потом успокоиться и в чувстве вины найти побужденье для дела.

Другой в неге сердца вскочил, осторожно встречая заботы, расчетливый на слова, скрытно-радостный, прячущий тенью век постороннюю миру улыбку. Он бережлив до заката, растрачивая понемножку нетленное веянье сна. Такой человек — гражданин двуединого мира. Сторонитесь его. Он не отдаст себя честной земною отдачей ни жене, ни ребенку, ни другу. Болью вас одарит, ревнивым томленьем, а сам пронесет под светом трезвого солнца счастливое одиночество.

Третий же, пробудясь, первым долгом нашаривает портсигар с зажигалкой. А когда затянулся, дымком скверный запах во рту истребляя, взял часы со стола и привычным движеньем их за мушку стал заводить,— тррик, тррик, тррик, нагоняя им силу. От такого в миру происходит покойный порядок.

Профессору, жившему в бельэтаже гостиницы «Мавританской», за толстыми пыльными бархатными занавесками не брезжило утро. Его сапоги коридорный давно уж довел до белого блеска; девушка в чепчике, пробегая по коридору с подносом, несколько раз за ручку бралась, но дверь была заперта. И в приемной профессора, за министерскими коридорами, в здании наискосок от гостиницы, поджидали, нервно позевывая, интеллигенты.

Лишь отоспав свое время, профессор проснулся. Методически вытянул волосатую руку за портсигаром, подбавил фитиль в зажигалке, закурил и не спеша стал одеваться. Тем временем коридорный принес ему теплой воды в умывальник и поднял тяжелые шторы.

Плохая погода! В осеннее утро пригорюнилась крыша, осыпанная желтолистьем. Скучно в проголье ветвей бродит ветер, распахивая, как полы халата, пространства. Неутешительная погода. Несут профессору почту.

Вот уже он умыт, одет и причесан. Парикмахер прошелся по седеющей колкой щетине. На подносе паром исходит, дожидаясь, стакан чистейшего мокко.

Профессор к комфорту не слишком привычен, он любит напоминать, что прошел тяжелую школу. И профессору, прежде чем вырваться из советской России, пришлось посидеть, как другим, на супе из воблы. Что нужды до маленьких неприятностей? Застегнувшись до подбородка, голову кверху, руки в карманы,— неприятности надобно несть по-спартански. Все дело в страдальце народе: «Только-только дохнула струя освежающей вольности, только-только вышли и мы на арену свободного демократизма,— как кучка предателей, полуграмотных многознаек с типичной славянской наглостью захлопнула клапан свободы. И неужели интеллигенция не покажет себя героиней? Нам нужны борцы! Мы их принимаем с почетом. Художники, музыканты, актеры, писатели — все, в ком честь не утрачена, идите работать в наш лагерь!»

Подобною рокотливою речью, произнесенною с европейской корректностью, профессор гремел на концертах. И утром, за подкрепляющим мокко, он повторял мимоходом горячие фразы, готовя свое выступленье. Хвалили его красноречие. И верили те, кому выбор был или на фронт, или в отдел пропаганды, что выбор их волен.

— Святыню демократизма,— бормочет в седые усы, разворачивая газету,— брум... брум... мы не выдадим...

А в газете на первой странице:

«ПО ПРИКАЗУ ЗА НОМЕРОМ 118
БЫЛИ ПОДВЕРГНУТЫ ТЕЛЕСНОМУ НАКАЗАНИЮ:

Рядовой Ушаков, 25 ударов — за неотдание чести.

Рядовой Иван Гуля, 30 ударов — за самовольную отлучку.

Рабочий Шведченко, 50 ударов — за подстрекательство к неповиновению.

Рядовой Тайкунен Олаф, 50 ударов — за хранение листовки, без указания источника ее распространения.

Рядовой Мироянц Аршак, 25 ударов — за неотдание чести.

Рядовой Казанчук Тарас, 30 ударов — за самовольную отлучку...»

...Привычно скользят глаза по первой странице газеты. Перечислению конца нет. Лист поворачивается, пепел стряхивается концом пальца на блюдце.

«Мы не выдадим на растерзание святыню демократизма, мы — аванпост будущей русской свободы»,— додумывает профессор свое выступление на концерте.

Глава двадцать пятая

МИТИНГ

По слякоти шла, выбирая места, где посуше, фигурка в платке. Мы с ней расстались давно, и она, за магическим кругом повествовательной речи, проделывала от себя свою логику жизни: сжимала в бессилье ручонки, упорствовала, норовила пробиться сквозь стену.

Кусю выбросили из гимназии. Защитник ее, математик Пузатиков, умер. Вдова-переписчица все же ходила к директору, кланялась:

— Нынче как же без образования? Дороги закрыты, а она девочка скорая, схватывает на лету, книги так и глотает. Куда ж ей?

Но директор назвал вдову-переписчицу теткой.

— Вы, тетка, следили бы, чтоб не сбивалась девчонка. Против нее восстают одноклассницы, доходило до драки. Мы беспощадно искореняем политику. Учите ее ремеслу, да смотрите, чтоб эта девица не довела вас до тюремной решетки.

— Благодарю за совет,— сказала сурово вдова и ушла, не оглядываясь, с яростным сердцем.

А Куся утешила мать, чем могла: урок раздобыла — немецкий язык раз в неделю долговязому телеграфисту. И бегала по вечерам в дырявых ботинках за Темерник, на окраину Ростова — там собирались товарищи.

За Темерником на окраине, носом в железнодорожную насыпь, стоял деревянный домишко. Щели, забитые паклей, все же сквозили. Жил там Тишин Степан Григорьевич, отставной управский курьер, а потом типографский наборщик. Как ослабели глаза у Степана

Григорьевича, стал он ходить по хуторам книгоношей. Не выручал и на хлеб: хутора покупали разве что календарь да открытку с лазоревым голубем, в клюве несущим конверт. И пришлось Степану Григорьевичу примириться с даровым куском хлеба. Жена, помоложе его, и дочь от первого брака служили на фабрике — одна в конторе, другая коробочницей в отделенье. Кормили его. Полуслепой, с голубым, слишком сияющим взором, седенький, старенький, был он начитанным стариком и мудреным.

Водился же не со старыми, а с молодежью. Дочь, как со службы вернется, читала ему ежедневно газету. Тишин выслушает и загорится ответить. Бывало, при лампе нетвердой рукой нанесет свой ответ на бумагу, глядя поверх ее. Строчки кривы, буквы враскидку.

— Разберут ли? — сомнительно спрашивает.

— Разберут,— отвечают ему, чтоб утешить.

А он пишет и пишет.

И часто в старом конверте со штемпелем городской ростовской управы получали сотрудники «Приазовского края» длиннейшие письма. Неразборчивые, перепутанные, как на китайской картинке, буквы шли вверх и вниз не по строчкам. Смеялись сотрудники, не умели прочесть смешную бумажку. Так бросают иной раз зерно в написанном слове, и летит оно с ворохом вымысла городской ежедневною пылью мимо тысячи глаз и ушей, пока не уляжется где-нибудь, зацепившись за землю. Облежится, набухнет, чреватое жизнью, просунется ножками в почву, а головкою к солнцу. И уже зацветает росток, в свою очередь дальнюю землю обсеменяя по ветру.

Суждено было лучшим мыслям Степана Григорьевича многократно лежать погребенными в редакционной корзине. Голова с сильным лбом, крепко выдавшимся над седыми бровями, широкодумная, ясная, думала в одиночку. Но бойкий мальчишка, составлявший обзор иностранной печати, бегал за помощью к Якову Львовичу; однажды и он получил таинственный серый конверт и ради курьеза понес его по знакомым.

Яков Львович при лампе разобрался в каракулях. Издалека, не по адресу, крючками, похожими на иеро-

глифы, летело к нему на серо-грязной бумаге близкое слово. Вычитав адрес, пошел он к Степану Григорьевичу на дом.

Как надобно людям общенье! Друг другу они нужнее, чем хлеб в иные минуты. Целые залежи тем отмирают в нас от неразделенности, и без друга стоит человек, как куст, на корню усыхая. Когда же раздастся вблизи знакомое слово, душа встрепенется, еще вчера сухостой, а нынче, как померанец, засыпана цветом. Забьются в тебе от общенья родниковые речи. И говоришь в удивленье: опустошало меня, как саранча, одиночество!

— Нужны, нужны, родимый, человек человеку,— сказал старик Тишин,— погляди-тко, в природе разная сила, газовая иль там металлическая, тягу имеет к себе подобной. Так неужто наш разум в тяготенье уступит металлу? Я вот слеп, сижу тут калекой, а летучею мыслью проницаю большие пространства. Зашлю свое слово на писчей бумажке, да и думаю: нет резону, чтоб против целой природы сила пытливой мысли не притянула другую.

— Откуда у вас эта вера в грядущее, Степан Григорьич?

— А ты попробуй-ка жить лицом к восходу, как цветенье и травка. Дождь ли, облачно ли, а уж злак божий знает: встанет солнце не иначе, как с востока. Молодежь — она так и живет: по ней, как по конпасу, виден путь исторический.

Обрадовался старик собеседнику, разговорился. До самого вечера сидели они у окошка. А вечером понабралось в светелку с предосторожностями горячего люду: студентов Варшавского, а ныне Донского университета [1], железнодорожников, девочек с курсов и с фабрики, партийных людей, в подполье отсиживавших промежуток своих поражений. Было чтенье, потом разговоры. Яков Львович узнал о гибели Дунаевского, о смерти Васильева, в морозных степях под шинелькой наспавшего себе горловую чахотку. Был у Якова Льво-

[1] Во время первой империалистической войны 1914 года Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону.

вича теперь угол, куда уходил он от осенней бессмыслицы жизни.

Вот туда поздним вечером, кутаясь в шаль и выбирая места, где посуше, и торопилась подросшая Куся.

Много было в светелке народу, на этот раз больше, чем прежде. Выходя на крыльцо покурить, каждый зорко выглядывал в осеннем тумане иных следопытов, нежелательных для собранья. Но место глухое, за железнодорожною насыпью, мокрое, мрачное, служит хорошим убежищем, не навлекая ничьих подозрений.

Кусю встретил студент-первокурсник Десницын, недавно вернувшийся в город и теперь ведший тайно работу средь студенческих организаций. Дело было сегодня серьезное, требовало обсуждения. Вокруг стола закипела беседа.

— Вам хорошо говорить, товарищ Десницын,— ораторствовал небольшой полный студент, снискавший себе популярность,— вы ничего не теряете. Я же считаю, что всякое выступление сейчас бессмыслица, если не тупость. Студенчество хочет учиться; в нем преобладают кадеты, солидный процент монархистов. Такого студенчества, как у нас, Россия не помнит. Не то что забастовать, а попробуйте только созвать их на сходку.

— Тем более,— начал Десницын,— такую мертвую массу расшевелить можно только событием. Помилуйте, мы студенты, мы единая корпорация на весь мир, и нашего брата, студента, избили в Киеве шомполами до бесчувствия; и мы это знаем, снесем и будем молчать! Русский студент, когда же бывало, чтоб ходил ты с плевком на лице и все, кому только не лень, плевотину твою созерцали?

— Гнусный факт,— вступилась курсистка с кудрявой рыжей косою,— будет позором, если донское студенчество не отзовется. В Харькове, в Киеве был слышен голос студента по этому поводу.

— Ревекка Борисовна, вот бы вам и попробовать выступить,—ехидно воззрился полный студент. На шее его, как у лысого какаду, прыгал шариком розовый зобик.

— Не отказываюсь,— сухо сказала курсистка.

Куся подсела к ней, обняв ее нежно за талию.

— Спасибо за мужество, товарищ Ревекка,— через

стол протянул ей руку Десницын,— поверьте мне, чем бессмысленней вот такие попытки с точки зрения часа, тем больше в них яркого смысла для будущего. Если бы наши коллеги в мрачную пору реакции слушали вот таких, как милейший Виктор Иваныч (он бровью повел в сторону полного оппонента), то мы не имели бы воспитательной силы традиций. Грош цена демонстрации, когда масса уже победила, когда каждый Виктор Иваныч безопасно может окраситься в защитный цвет революции.

— Это личный выпад, я протестую! — крикнул, запрыгав зобиком, полнокровный студент в возмущении.— Если товарищ Десницын не возьмет все обратно, я покидаю собранье!

— Идите за нами, а не за кадетами, и я скажу, что ошибся.

Пожимая плечами, с недовольным лицом, оппонент подчинился решенью.

Долго, за ночь, сидели в беседе горячие люди. Решено было завтра в двенадцать созвать в самой обширной аудитории сходку. Ревекка Борисовна выступит с речью. Курсистка, блокнот отогнув, задумчиво вслушивалась в то, что вокруг говорилось, и набрасывала конспект своей речи. И Куся проникнет на сходку. То-то радости для нее! Кумачом разгорелись под светлой косицею ушки.

Долго, за ночь, когда уж беседа умолкла, сидело собранье. Разбирали заветные книжки, привезенные из советской России. И взволнованным голосом, останавливаясь, чтоб взглянуть на Степана Григорьича, читал Яков Львович «Россию и интеллигенцию» Блока. Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова «Двенадцати» Блока, встало собранье, потрясенное острым волненьем. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, он, как верная стрелка барометра, падает, падает к «буре», орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий,— с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце.

— Блок-то! Блок-то!

— И они там на севере, учителя, доктора, адвокаты, писатели, не научились от этого, не доверились совести лучшего!

Позднeй парниковые юноши, вскормленные Пролеткультом, отвергали «Двенадцать». Но те, кто пронес одиноко на юге России, средь опустошительной клеветы и полного мрака, свое упрямое сердце, знают, как помогли им «Двенадцать». Искрой, зажегшейся от одного до другого, радугой, поясом вставшей от неба до неба, были «Двенадцать», сказавшие сердцу:

«Не бойся, ты право! Любовь перешла к тем, кого именуют насильниками. В этом порукой тебе неподкупный русский поэт...»

Шли в темноте; близко друг к другу прижавшись, взволнованные Ревекка и Куся.

— Ах, как прекрасно, как радостно! — Куся шепнула соседке: — Знаешь, я чувствую, что скоро весь мир станет советским. Вот попомни меня, поймут и один за другим, наперегонки, заторопятся люди устраивать революцию. И музыка, музыка, музыка, пройдет по всем улицам мира, а я стану тогда барабанщиком и пойду отбивать перемену: трам-тарарам, просыпайтесь! Играю тебе зорю утреннюю, Человечество!

— Молчи, не то попадемся,— шепнула Ревекка.— Ох, вот за такие минуты не жалко и жизни! Даже думаешь иной раз, если долго чувствовать, сердце не выдержит, разорвется!

— Ривочка, я маме сказала, что буду у вас ночевать. А ты не забудь, что обещала провести меня завтра на сходку.

— Успокойся, не позабуду!

Родители курсистки Ревекки были ремесленниками. Ютились они, где еврейская беднота, на невзрачной Колодезной улице. Вход к ним был со двора и в первый этаж с подворотни. Жили они чуть побогаче соседей. Сын-часовщик помогал, дочь старшая шила наряды в магазин Удалова-Ипатова, а Ревекка давала уроки.

В комнате, за столом, под электрической лампочкой, ужинала семья, не дождавшись Ревекки.

— А, пришла, наконец, садись, садись, и Кусе будет местечко.

Ласковый, важный, седой как лунь патриарх потеснился с благосклонной улыбкой, посадив к себе Кусю. И мать, еврейка с острым, нуждой изнуренным лицом, худая, как жердь, наложила ей рыбы с салатом. Кусю любили в семье за бесхитростность.

— Редкий христианин, сколь он ни ласков с тобой, станет есть у еврея, как у своих, с аппетитом. Это ты знай, мать, и, Ривка, запомни, чтоб не запутаться с гоем. А девочка Куся, благослови ее Ягве, ест наш кусок небрезгливо,— так не раз говорил патриарх, садясь, помолившись, за ужин.

Кончили, руки умыли и разошлись на ночлег. Куся с Ревеккой вместе легли и долго еще молодыми, заглушенными голосами о всемирном советском перевороте шептались.

Ранним утром еще темно на улицах и в квартире. Медленно начинается день привычными звуками. Вот застучал по соседству колодкой сапожник. Полилась из крана вода, скрипнули резко ворота. Старьевщик, сиплым голосом выкликая товар, прошел по дворам, и хозяйки несли ему собранные пустые бутылки.

Невзрачное утро, а все-таки утро. И босоногая детвора, гортанно горланя, съев кто луковку с солью, кто хлеб, а кто побогаче—лепешку, бежит, как на лужайку, в грязные недра двора, заводить беспечные игры.

Куся с Ревеккой вышли из дому без четверти девять, чтоб Ревекка успела сходку наладить и подготовить свое выступление. Белая девушка, веснушчатая, с серым, ясным, неробеющим взглядом, шла, как стройная лебедь, подобрав кудрявую косу. Вышла Ревекка в отца, патриарха: лишнего не болтала, сказанного держалась. Нежно поглядывали на Ревекку приказчики торговых рядов, где подержанным платьем торгуют. Не одна беспокойная мать засылала к родителям сватов. Но Ревеккина мать отвечала: учится девушка, ученая будет, нам не до сватов.

Все утро по коридорам университета осторожно шмыгала Куся. Как бы хотелось ей тоже учиться тут, вместе с другими! Лаборатория, библиотека, курилка! А на стенах бесконечные схемы, таблицы, под стеклянными крышками гербарии, бабочки, чучела. Физический

кабинет, а за ним светлый круг аудитории, а в полураскрытую дверь видны головы, одна над другой рядами, русые, черные, девичьи, стриженые... Ох, учиться бы с ними! Посмотреть, что там дальше!

Но дальше Куся заглянуть не успела. Кто-то, пройдя, потянул ее за руку. Зазвенел звонок. Звонко сказали:

— Товарищи, собирайся в аудиторию номер восемь!

И пошло, и пошло. Благоговейно втиснулась Куся в шумящую клетку. На кафедре Виктор Иваныч, за ним кто-то еще и Ревекка. Будет митинг. Волнуются головы полукругом над нею, черные, русые, белые, мужские и девичьи.

Виктор Иваныч что-то сказал тихим голосом, кашлянул и стушевался. Ясная, плавно, как лебедь, выступила Ревекка.

Речь она повела о доброй славе студентов, о том, что в самые черные годы гражданское мужество было у них и не было страха; о том, что не боялись попасть из заветного храма науки в архангельскую и вологодскую ссылку. «Мы были совестью общества»,— говорила она. Общество, мнительное и запуганное, пробуждалось от спячки студентами, их бунтами и сходками. Там-то и там было сделано неправое дело. Узнало студенчество — и тотчас на неправое дело протест, организованный отклик. «А ныне,— так кончила речь свою девушка,— творятся открыто бесчинства. Реакция правит безумную оргию, засекает рабочих. И дошло до того, что в Киеве шомполами избили студента. Можно ли перенести это молча? В Харькове и Киеве студенты сбирались на сходку, выносили протест. Не следует разве и нам отметить позорное дело трехдневною забастовкой?»

Разно ответили в зале на страстную речь: одних она потрясла, других испугала.

— Помилуйте,— шептались в углу возле Куси,— какого-нибудь инородца избили, а нам бастовать? И так мы с трудом отвоевываем возможность учиться; чуть что, нас погонят на фронт, времена неспокойные. Да, может быть, это и слух один, пущенный большевистским шпионом.

— Бастовать! — кричали другие.— Позорно! Сегодня в Киеве, завтра в Ростове! Покажем, что мы корпорация, что мы существуем.

Чем дальше волнуется зал, тем Кусе яснее: сходка проваливается. Уже многие под шумок, забрав свои шапки и книжки, шмыг в боковые проходы; за ними другие. Тщетно силится кто-то с эстрады остановить их: уходящих снизу не видно.

Забастовщиков меньше и меньше. Глядя, как тают ряды их, остальные встревожены.

— Товарищи, как это так? — кричат они на эстраду.— Не подводите нас, это уж выйдет предательство, нам не создать забастовки наличными силами. Или отложим, пока большинства не добьемся, или признаем, что забастовке не время.

— Позорный Донской университет, не забудут тебе этой сходки товарищи! — крикнула Куся тоненьким голосом, вскочив на скамью.— Ты сборище юнкеров, не студентов!

— Держите ее, кто такая, как смеет!

Крики усилились. Кусю притиснули. Пробравшись к подруге, Ревекка ее увела, уговаривая успокоиться.

— Тут ничего не поделаешь,— шепнула она,— толпа — особенный зверь. Есть минуты, когда ты чувствуешь, что он собрался в комок и у него единое сердце. А в другие минуты ясно тебе, что он расползается, как солитер, кольцо от колечка. Тут уж надо признать поражение.

— Я бы их, я бы их! — Куся сжимала ручонки.— Мерзкие трусы!

В дверях они обе столкнулись с поспешно идущим, воротник от пальто приподняв, Виктор Иванычем.

— А, мадмазель,— улыбнулся он беззастенчиво,— ну что, кто из нас был вчера прав, вы или я? Успокойтесь, плюньте на них, я знаю студенчество лучше, чем вы, я это предвидел. Не надо было лезть на рожон в этой среде, вот и все.

Ни Ревекка, ни Куся не захотели ответить.

А на улице серое утро ослепительным днем заменилось.

Осенние рыжие листья пачками пальмовыми за-

сияли под солнцем. Небо было резко прозрачное, густой синевы, как акварель Каналетто. И смытые дождиком, чистый гранит обнажая, мелко смеялись под солнцем круглокаменные мостовые.

— Подожди,— промолвила Куся, захлебнувшись от солнца,— подожди, эти жалкие люди еще поймут. Тогда они от стыда сгорят, вспомнив сегодняшний день. И вот увидишь, скоро весь мир станет советским. Все страны наперегонки заторопятся заводить у себя революцию! И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, а я стану тогда барабанщиком и пойду отбивать перемену: трам-тарарам, просыпайтесь! Зорю утреннюю я играю тебе, Человечество!

Глава двадцать шестая

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

В градоначальстве хмурили брови, говоря о брожении студентов. Сорвалась забастовка, а вдруг состоялась бы? И где же? В центре Добровольческой армии, где населенье благословляет спасителей. Недостаточно, значит, отеческое попеченье, незорки глаза у того, у кого следует.

Тот, кому следует, привычной дорогой пошел выполнять порученье. Выходя из ворот градоначальства, с виду он был независим и литературен. Мягкая шляпа не по-казенному ползла на затылок. Волосы, вьющиеся не по-казенному, спускались на плечи. Глаза смотрели открыто. Во многих домах принимали его за писателя и проповедника из народа.

— Дома, дома, пожалуйста,— сказали ему приветливым голосом за парадною дверью, куда он звонил. Загремела цепочка, дверь открыта, и независимый с рассеянным взглядом российского идеалиста, поднялся по лестнице. В движеньях его была задушевная мягкость.

Гость, подобный ему, не в тягость хозяину, хотя б и пришел в неурочное время. Гость, подобный ему, хоть и не носит подарков, не приглашает ответно к обеду и ужину, да зато и не скажет вредного слова, не испортит

вам настроения. Он знает, где у вас самое слабое место. К слабому месту подходит он осторожно, на цыпочках. Вам в разговоре неоднократно обмолвится, что не след такой тонкой и благородной душе зарывать себя в мертвой провинции. Ваше печение превознесет над печением Варвары Петровны. У Коли найдет изумительный профиль, а у Манечки, барабанящей на фортепьяно, блестящую технику... Гость такой не скупится на время и не щадит ни себя, ни ушей своих.

— Манечка, перестань, ты надоела Константин Константиновичу!

— Что вы! Оставьте ее, она играет, как ангел. Уверяю вас, я эту девочку мог бы слушать весь день.

И ладонь на глаза положив, а другою рукой меланхолически такт отбивая, странный гость отдает перепонки свои растерзанью.

Но лучше всего он бывает в те дни, когда ссорятся перед ним хозяева дома. Обласканный ими, он в доме свой человек. И частенько темные тучи, дождавшись его, вдруг обрушиваются на весь дом облегчающим ливнем Ссоры бывают двоякие: мужа с женой и родителей с детками. В первом случае видеть отрадно, как приветливый гость, защищая того и другого, убеждает обоих в правоте обоюдной. Во втором же — мягкою речью он детям внушает уважение к старшим, этих миленьких ангелов против себя ничуть не настроя.

— Сил больше нет, Константин Константинович, вы свой человек, вы ведь знаете, это изверг упрямый, как вот эта стена, самодур. Он бы рад уморить меня!

— Ай-яй-яй, как вы сами перед собой притворяетесь злою! Вы же внутренно духом скорбите сейчас за него, и, как будто я вас не знаю, чудесная вы душа, готовы первая протянуть ему руку.

— Черта с два! Так я и взял протянутую в виде милости руку! Набросилась чуть свет ни с того ни с сего, позорит при детях,— пусть просит прощенья!

— Ай-яй-яй, кричите, а у самих под усами улыбка. Юморист вы, ей-богу. Записывать ваши словечки, так не хуже Аверченки. Ну, признайтесь открыто, вы пошутили... Друзья мои милые, люди вы наилучшие в мире, будет вам. Улыбнитесь! Вот так-то.

И, супругов сведя, долго еще Константин Константинович покуривает табак и смеется от чистого сердца. Да, это вам гость, от которого дому лишь прибыль.

Вот и нынче, с сердечной веселостью он целует ручку хозяйке:

— Поправились! Цвет лица, как у Юноны... А детки здоровы? Что Виктор Иваныч, бедняжка, уж начал бегать по лекциям?

— Садитесь, садитесь, Константин Константинович, будем пить кофе. Дети в гимназии. Манечка насморк схватила... А вот Виктор,— Виктор опять бесконечно меня беспокоит.

— В чем дело, хорошая моя? Что затеял наш годеамус?

— Витя, иди сюда! Пусть он сам все расскажет.

В столовую вошел хмурый, еще не побрившийся Виктор Иваныч, застегивая на ходу студенческий китель.

— Здравствуйте. Мамаша опять распустила язык. Ничего такого особенного, возня со всякими делами. Я, мамаша, кофе без молока буду.

— Опять черное кофе с утра! И без того нервы у тебя так и ходят. Виктор наш, Константин Константинович, на беду свою пользуется слишком большой популярностью. Студенты ему доверяют...

— Не без основания, конечно.

— Так-то так, да самому Виктору от этого мало хорошего. Вместо учения изволь там суетиться по всякому поводу, рисковать своей шкурой, бегать на сходки...

— Сходки? Кстати, Аглая Карповна, был я вчера у знакомых, и мне говорили, что ходит слух о возможности ареста каких-то студентов. Я надеюсь, Виктор Иваныч, вы не замешаны в этом. Вчера будто было какое-то антиправительственное выступленье...

— Кто вам сказал? Какой арест? — всполошился Виктор Иваныч.

— Не волнуйтесь, голубчик, вас это, разумеется, не коснется. Вы же всегда были благоразумны! Арест главарей вчерашнего выступленья. Говорят, их никак не могут дознаться.

— А что с ними будет?

— Очевидно, их мобилизуют для немедленной отправки на фронт. Так по крайней мере я слышал.

— И поделом! — вскрикнула Аглая Карповна резко.— Что за низость мутить молодежь, когда наш фронт героически борется для спасенья России. Как будто нельзя потерпеть как-нибудь год, пока не очистят Великороссию. Уж эти мне голоштанные бунтари, учиться им лень — вот и бунтуют!..

— Мамаша, да помолчи ты! Я сам был... То есть я сам сидел на эстраде в числе участников... Константин Константинович, умоляю вас, это серьезно?

— Серьезно, родной мой. Вы испугали меня. Неужели вы были вчера на эстраде?

— В том-то и дело... ах, черт! Ни за что ни про что... Вот история. И ведь так я и думал, что это нам даром не обойдется...

— Так зачем же?

— Что зачем? Разве я идиот? Разве я им целый день не долбил, что это колоссальная глупость? Я начисто отказался... О, черт бы побрал ее, эта дура тут сунулась...

— И, наверно, жидовка какая-нибудь!

— Мамаша, вы меня раздражаете, я стакан разобью,— крикнул диким голосом Виктор Иваныч,— и без вас можно с ума сойти!

— Да что вы волнуетесь, Виктор Иваныч? Вы говорите «она»... Значит, курсистка. Ну и слава богу, жертвой меньше. Валите-ка все на нее, ведь курсистку на фронт не пошлют.

— Да на что мне валить? Вот придумали! Вам каждый студент подтвердит, что она вылезла против моих же советов. Я бесился, моя репутация может заверить вас в этом. Чем же я виноват, если навязывают мне дурацкие авантюры!

— А кто она такая?

— Ревекка Борисовна, математичка. Упряма, как столб, сколько ни спорь с ней, ни на ноготь от своего не отступится.

— Ревекка Борисовна, а как дальше? — И приветливый гость занес фамилию в книжку.— Я, кажется, где-то встречался с ней.

— Рыжая, веснушчатая, на колонну похожа. Руку пожмет вам, так съежишься, сильная, как мужички.

— Да, вот ведь история... Волнуется молодежь. Ах, годеамус, годеамус мой милый, неисправимый!

И, против обыкновения, хозяев не слишком утешив, встал Константин Константинович, рассеянно улыбнулся, попрощался и вышел. Спускаясь по лестнице, подмигнул своему отражению в зеркале: да, брат такой-сякой, если б знали они, с кем...

Наверху же, из-за стола не вставая, сидели по-прежнему Виктор Иваныч с мамашей.

— Этот ваш Константин Константинович — хитрый пес, уж очень он все выспрашивает, да вынюхивает, да записывает,— переборщил!

— А тебе что за дело,— ответила, чашки перемывая, мамаша.— Ты свое слово сказал в нужный час и помалкивай. С такими людьми надо жить в дружбе. И напрасно ты, Витя, не сообщил ему между словами адрес этой Ревекки.

— Отстань! — С сердцем стул отодвинув, сын вышел на кухню побриться.

Между тем Константин Константинович, задумчивый, волоокий, с волосами по плечи, путь свой держал не домой, а во дворец градоначальника Гракова.

Глава двадцать седьмая

ГРАДОНАЧАЛЬНИК ГРАКОВ

Градоначальник Граков во время Деникина был большой фигурой. Красноречие донцов не давало градоначальнику ни сна, ни покою.

— Воображают,— говорил он,— что пописывают изрядно. А на деле ни тебе ерудиция, ни тебе елоквенция. Вместо же этого одна ерундистика и чепухенция! Эх, взял бы перо да показал бы писакам, как можно пройтись по-печатному. Затрещали бы у меня казачьи башки, как под саблей.

— Что ж, ваше превосходительство, останавливаетесь? Дерганите их,— говорили ему сослуживцы,—

ваше дело начальственное, что ни прикажете, напечатают, да еще на первой странице.

— Знаю сам, напечатают. Да завистлив народ, особенно к чистому русскому имени. Пойдут говорить... А я, признаться, не люблю за спиной разговоров.

— Что вы, что вы, кто же осмелится-то!

— И осмелятся. Народ нынче вышел зазорный, родной матери юбку подымут...

— А вы, ваше превосходительство, в форме приказов.

— Приказами, ха-ха-ха, вроде этих донецких? Это можно. У меня в канцелярии пишут, поди, каждый день по приказу. А ну-ка, попробую я по-своему, по-простецки, истинной русской речью. Заполнили у нас, мои милые, эсперантисты газету. Книга, которая нынче печатается, черт ее разбери что за книга. По букве судя, будто русская, даже иной раз духовная, про бога и черта. А как начнешь читать — эсперанто, убейте меня, эсперанто. Слова такие неласковые, пятиаршинные: антропософия, мораториум, рентгенизация; прочтешь, так словно пальцем в печенку тебя. А газеты и того хуже. Как-то я подзанялся статистикой у себя в кабинете, со старшиной дворянского клуба, Воейковым Люди оба начитанные, с образованием. Ну и высчитали, что у нас на всю империю русских газет, кроме «Нового времени», нет: все издаются сплошным инородцем. Вот каково было дело до революции. Судите же, что стало ныне!

— Так вы бы решились, ваш-превосходительство, в форме приказов!

И Граков решился.

Вышел как-то, с чеченцем-охранником в двух шагах от себя, прогуляться по улицам, отечески поглядеть на осеннюю просинь да спознать в бакалейных, какова нынче будет икорка, и удивился: прямо против него, из подъезда гостиницы «Мавританской» глядел на него человек не последней наружности. Глядел вот так просто и прямо, как смотрят иной раз убитые зайцы, висящие за хвосты в зеленных, или кролики на прилавке — ничуть не смущаясь, пристально, как го-

ворится, с апломбом. Конечно, был генерал в своем инкогнитном виде и даже чеченца пустил за собой в отдалении, но у него на лице есть же нечто! К тому же был вывешен в фотографии Овчаренко его портрет поясной со всеми регалиями. Как же можно этак уставиться на генерала посреди улицы? Отвел градоначальник глаза, размышляет:

«Кто бы такой? Из себя благородный и не шпафирка. Близорук я, а вижу, что на плечах николаевская шинель. Бакенбарды... Скажите, пожалуйста, в России живем, а тоже отпускает иной английские бакенбарды неведомо с какой стати. Погляжу вдругорядь».

Поднял глаза — тьфу! Как бомбометатель или переодетый Бакунин, глядит на него из подъезда гостиницы «Мавританской» в упор внушительный и не последнего вида мужчина. Грудь колесом, как лошадиные бедра, два-три ордена (не разберешь издали), пышнейшие баки и этакий бычий взгляд, круглоглазый, остервенело-спокойный. Не гипнотизер ли заезжий из Константинополя, как-нибудь примостившийся к транспорту пуговиц для Добровольческой армии?

Градоначальник, мановеньем бровей наведя на лицо начальственный окрик, перешел тротуар и на ходу мимо подъезда гостиницы «Мавританской» отрывисто бросил:

— Кто таков?

— Проходи,— спокойно ответил неизвестный мужчина,— чего лупишь глаза? Много вас тут цельный день охаживают подъезды.

— Ваш-прывосходительства, ваш-прывосходительства,— шепнул чеченец градоначальнику, стремительно его догоняя.— Этта швыцар, швыцар гостиницы, прастой швыцар.

Успокоился градоначальник, размотал с шеи гарусный шарф, отдышался. И тут, поблизости от бакалейных рядов, осенило его вдохновенье. Даже в пальцах зуд побежал, как от мелкого клопика. Оборотился градоначальник и быстро, с военною выправкой, зашагал назад во дворец.

— Неси мне,— сказал он слуге,— перо и чернила!

На следующий день газетчики, выбегая с пачкою

теплых газет, кричали надрывно: «Приказ градоначальника Гракова о швейцарах»!

Так начинался приказ:

«ШВЕЙЦАРЫ!

Я вашу братию знаю. Вы там стоите себе при дверях, норовя содрать чаевые. Я понимаю, что без чаевых вашему брату скука собачья. Однако кто вас поставил в такое при дверях положение? Кому обязаны всем? — Городу и городскому начальству. Поэтому требую раз навсегда: швейцар, сократи свою независимость. Если ты грамотен —читай ежесуточно постановления и следи при дверях, кто оные нарушает. Неграмотен — проси грамотного разок-другой прочесть тебе вслух. Такой манеркой у нас заведется лишний порядок на улицах, а порядком, всем известно, нас бог обидел.

Градоначальник *Граков*».

Выход в литературу градоначальника Гракова вызвал смятение. Заскрежетали донцы: не усидел, позавидовал! Петушились в канцелярии: пусть теперь сам потрудится над городскими приказами. Волненье пошло в зеленных, бакалейных и рыбных рядах, собрали между собой, поднесли открыто, с подъезда, икону Георгия Победоносца, повергающего дракона, а со двора на кухню доставили аккуратное подношенье, первый сорт, упаковка без скупости, в ящиках.

— Отец родной,— сказал бакалейщик Терентьев,— не оставь. Нонче, сказывают, ты всем велишь законы читать, а иначе штрафуют. Прикажи бога молить... Чтоб у меня да когда-нибудь тухлый товар! Да нешто я родителев моих обесславлю? С восемьдесят шестого годика фирму имеем. Чтоб мне на том свете без языка ходить.

— Хорошо, хорошо, иди себе, не волнуйся,— милостиво отпустил его градоначальник, супруге своей, распаковывавшей подношенье, с улыбкой промолвив:

— Чудно устроен русский человек! Воистину, пупочка, за границей русского человека не поймут. Я на швейцаров, а они, что ни скажи, сейчас на себя принимают.

— Святая наивность! — умилилась градоначальница, сортируя закуску.

Весь этот день был у градоначальника вроде масленицы. Поданы были, во-первых, не по сезону блины с таким балыком, что сам войсковой старшина дикой дивизии, знаменитый вояка Икаев, языком сделал во рту на манер перепелки. Во-вторых, закатила градоначальница после блинов стерляжью уху; тут уж Икаев, войсковой старшина, курлыкнул, как дятел. Только малость подпортила настроение сходка студентов.

— Эх,— говорил после обеда, ковыряя в зубах гусиною зубочисткой, градоначальник,— добр я, славен я, никому, даже ворогу, не желаю чумы или там нехорошей французской болезни. А вот этому, кто подзюзюкивает мою молодежь на зазорное дело, честное слово, не пожалел бы распороть поперек тула шов, да вложить в нутро бак с бензином, да пустить в него после зажженною спичкой. Лютость во мне на него, как бывает иной раз на блошку. Блошку, если изловишь, ты смочи для начала слюной ее, чтоб она чуточку обмерла, а потом жги ее прямо на спичке. Ну, доложу вам, и разбухает же блошка, что ни на есть самомалейшая! И откуда такой брюханчук из нее, и как лопнет: тр-рап!

— Что это ты за ужасы после обеда рассказываешь? Слушать противно.

— Я говорю, моя милая, к слову. Так вот так бы, Икаев, мы с тобой возбудителя забастовок, ась?

— Кха-кха-кха! — залился ястребиною трелью Икаев.

А в дверях в это время, как доверенное лицо, без доклада, с задушевною милой улыбкой, волоокий, задумчивый, волоса по плечам, Константин Константинович.

— А, милейший, почуял стерлядку? Опоздал, брат. Ну, не кисни, там тебя вдоволь накормят, не бойся, все оставлено по нумерации. Говори, какие дела?

— Что предложено было мне вашим превосходительством к исполнению, то и сделано неукоснительно. Хотя очень труден мой долг, и если принять во вниманье малейший риск, возбуждение чьей-нибудь подозрительности...

— Ну, пошел! Перед нами не пой. Свои люди. Цену товара, не дураки, понимаем. Кто же этот перевертун митинговый?

— В том-то и дело, ваше превосходительство, что на сей раз предмет деликатный,— не он, а она, курсистка Ревекка Борисовна...

— Ревекка?.. Ох, удружил, ох-хо-хо-хо, удружил, охо-хо, не позабуду, спасибо! Вот так центр тяжести! Вот так открытие, Икаев, а?

— Кха-кха-кха,— загромыхал орлиным клекотом войсковой старшина.

— Нет, право, Петенька, ты после обеда себе прямо-таки надсаживаешь пищеваренье. Разве нельзя то же самое выразить в покойной, гигиенической форме?

— И выражу, если хочешь. Вот что: веди ты его в буфетную да скажи, чтоб его накормили, начиная с закуски. Ты же, друг Икаев, дело свое понимаешь. Смекай: донское студенчество верноподданное, то бишь патриотическое, в отношении политики никогда никаких. А если иной раз заводятся всякие там говоруши, так они инородческие, и мы их железной рукой. Дурную траву из поля вон, понял?

— Экх,— вырвалось у Икаева, как плевок молодого верблюда.

И уже, вдохновившись от крепкой сигары и хорошего бенедиктина, почувствовал градоначальник прилив вдохновенья. Жестом позвал он слугу, и тот принес ему столик, перо и чернильницу.

«ПРИКАЗ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ГРАКОВА»

Дернул Икаев его за рукав: красные в веках обращались глаза, не моргая. От старшины пахло крепкою спиртной накачкой.

— Арэстуишь? — спросил он, вытянув губы, как коршун.

— Дам приказ об аресте. Ты его с дикой дивизией приведешь в исполненье, ограждая арестованную от возмущенной толпы, понимаешь? Ну, и доставь ты ее по начальству, в Новочеркасск, там разберут, что с ней делать. Только смотри у меня! Я тебя знаю! Ты не

юрист, а дело свое понимаешь. Но чтоб ни-ни-ни-ни, ни волоска!

— Карашо.

И опять наклонился над белой бумагой градоначальник. Сладкое пробежало по жилам, от бренных забот уводящее, вдохновенье. Слова полились на бумагу:

«Ревекка Боруховна! Нам все известно. С какой стати взбрело вам мутить честную русскую молодежь? Какое вам, подумаешь, дело, что где-то там в Киеве с каким-то студентом что-то случилось? А если в Новой Зеландии с кем-нибудь неправильно обойдутся, так вы и в Новую Зеландию смотаетесь? Нет, сердобольная моя, у нас на этот счет закон писан короткий. Евреи, уймите свою молодежь!

Ростовский на Дону
Градоначальник *Граков*».

Вечером этого дня... впрочем, о вечере ниже.

А на утро другого дня газетчики, выбегая с пачкою теплых газет, кричали надрывно:

— Приказ градоначальника Гракова о Ревекке Боруховне!

— Приказ градоначальника Гракова о Ревекке Боруховне!

Глава двадцать восьмая

СМЕРТЬ РЕВЕККИ

У старой еврейки, с заостренным заботой лицом, Ревеккиной матери, был заповедный сундук. В этот сундук она складывала из году в год приданое дочери: ленточку, пару чулок фильдекосовых, розовые, обшитые шелком резинки, штуку белья, дюжину пуговиц, косынку. Так набиралось от скудного сбереженья добро. И в день субботний, из синагоги вернувшись, любила она сундук раскрывать на досуге.

Были при этом соседки. Заходили и те, кто прочил Ревекку в невестки. Разглядывали добро, перебирая руками. И многими вздохами делились между собою, женскими вздохами, непонятными для мужчины.

Вышло так и сегодня. Патриарх, очки на носу, с огромнейшим фолиантом примостился у лампы. Губы шептали слова, а пальцем левой руки бродил он, себе помогая, по строчкам справа налево. Высокое благодушие на лице патриарха: сегодня в семье не услышит никто от него тяжелого слова.

Соседкам легко. Без страха сыплют они, как горох, гортанные речи. Как ни бедна мать Ревекки, а каждый, сердцем живой, найдет по соседству другого, себя победнее. Нашла и она победнее себя отдаленную родственницу с сыном-калекой. Им мать Ревекки приберегала кусок и на праздник пекла для калеки любимое блюдо, сияя от гордости: дар беднейшему — бедных богатство.

И сегодня, гостей угощая, что-то слишком разговорились уста ее, наперекор осторожному разуму. Сын-часовщик принес в подарок Ревекке золотую часовую цепочку. Вынув ее из бумажки, соседки ощупывали каждое на цепочке колечко, смотрели, щуря глаза, на пломбу, все ли в порядке.

— Хорошие у вас дети, Фанни Марковна,— говорили соседки,— красивые, умные, с малых лет зарабатывают. Характером не горячие. Ривочка, что ни скажи, никогда не рассердится, объяснит терпеливо, словно маленькому ребенку.

— Ох, хорошие,— ответила мать,— дай бог всякому таких детей, как мои. Счастлив тот будет, кому достанется Рива. Учится днем, учится вечером, придут к ней товарищи, между собой говорят, как по книге, а гордости в ней меньше, чем в пятилетней девчонке. Такая простая да милая, что стыдно перед ней даже скверному пьянице, сыну старого Мойши; и тот, как ни пьян, проходя, улыбнется ей да поклонится.

— Благословенье вам, Фанни Марковна, такие дети. То-то, должно быть, и выпадет случай для Ривочки! Не миновать вам хорошего зятя. Может быть, доктор посватается или присяжный поверенный...

— О женихах и не думаем. Рива хочет курсы кончать. Вот какая она: покажешь ей что-нибудь из приданого, засмеется, скажет: «Что ж, мамочка, если это вас радует, так и я рада»,— и забудет, как будто не видела. Эта цепочка чистого золота, хорошей работы —

подарок богатый — для нее все равно что горстка изюму.

И как будто в ответ, дверь отворив, вошла с прогулки Ревекка. По-отцовски приветливо с каждым она поздоровалась, женщин целуя, мужчинам руку протягивая. А на цепочку взглянув, головой покачала кудрявой:

— Ох, уж этот мне Сима! Сколько ни говоришь ему, непременно поступит по-своему.

Живо припрятала мать цепочку в сундук, самовар углем доложила, сбегала посмотреть, все ли на кухне готово.

— Отец, иди ужинать!

И патриарх, на зов ее поднимаясь, снял осторожно очки, их в футляр положил и закладкой книгу отметил. Но только уселись за стол, как в сенях застучали.

— Кто там?

— Отворите!

Испуганно отворила дверь на незнакомый окрик хозяйка.

В комнату один за другим вошли косматые люди. Были они высокие, черные, с глазами, как уголья, в белых папахах. Были надеты на них черкески, разубранные серебром, а у пояса револьверы. Огляделись, шапок не сняли, и патриарху один из них бросил в лицо развернутую бумажку.

— Читай! Где женщина по имени Ревекка?

Обыск и арест! Перепуганные, с побелевшими лицами, одна за другой соседки набилися в кухню; их домой не пустили, обыскав жестоко, по телу, и забрав, что нашли, до последней полушки. Сундук заповедный вмиг перерыт, распотрошен, белье скомкано, порвано. Пропала цепочка. Но до цепочки ли? Воет, с силой к Реввеке припав, обезумевшая еврейка.

— Ривочка, да куда же тебя? За что тебя?

— Не знаю, мама, не плачьте, все выяснится,— твердит ей дочь терпеливо.

А патриарх, глядя перед собой голубыми глазами, белый как лунь, во весь рост выпрямился на пороге.

— Куда ведете вы дочь мою?— сказал он черкесам.

— Куда надо,— ответили те, старика с порога тол-

кая. Но силен старик, прирос к порогу, остерегающе поднял правую руку. Схватили черкесы Ревекку, отрывая ее от кричащей еврейки, и потащили из комнаты, а старика обступила ватага косматых, револьверными ручками нанося ему в спину и грудь удар за ударом.

Опустела квартира. Избитый лежит патриарх, томится от неотмщенной обиды, от оскверненного дня. Голосит на лохмотьях еврейка, Рахили подобная, и не хочет утешиться, ибо нету Ревекки. Голосит бедная родственница, обнимая несчастную.

Смотрит в мутные стекла ночь, не тронут заботливый ужин Куда идти, кому жаловаться еврейскому бедняку? Кто станет с ним говорить? Нет обиде конца, горю — исхода, терпи, терпи, терпи до судного часа!..

Не всякому неприглядна степная осенняя ночь, когда ломит кости от сырости. Горит огнями в осеннюю ночь под Новочеркасском генеральская ставка. Здесь хозяйничает сегодня войсковой старшина, вояка Икаев. Прохаживается по ставке, руки в карманы; ноздри дрожат, как у хищника от запаха крови.

«Переели, перепились офицеры, нет забавы орлам моим,— думает старшина,— погибает клинок от ржавчины, если долго бездействует».

А что проку в близости города? Все дамочки из румынского перебывали в ставке, светские женщины на автомобиле с мужьями наезжали сюда; слухи о войсковом старшине и дикой дивизии держат в поту обывателя, каждому хочется хоть в полглаза увидеть чудеса, о которых рассказывают под шумок друг дружке на ухо. Но чудес очень мало. Поводит Икаев кровью налитым белком. Такому, как он, вспарывать брюхо пристало, идти на охоту за пленником, волоча его долго по горным стремнинам за собой на аркане. Или, сняв с него скальп, к седлу его крепко подвесить, так, чтоб при скачке над крупом коня вздымались кровавые волосы. А тут изволь сечь труса или пугать деревенского жителя, летя на косматых лошадках в облаву, и поджигать за измену паршивенькие деревушки. Карательной называют дивизию диких чеченцев.

Ревекку допрашивали поздно ночью, на Ростовском вокзале. Допрашивал смуглый брюнет, сверкая зубами в очень алых губах и пристально глядя на девушку. Каждый ответ ее он принимал как шутливый и подмигивал ей: мол-де вы и я, между нами, конечно, оба знаем правду, но будем молчать. Так мучил он долго Ревекку.

Девушка знала, что проступок ее невелик. В сердце ее было спокойствие, мысли направлены только на то, чтобы не выдать кого из кружка Степана Григорьевича.

— В каких отношениях вы со студентом по имени Виктор Иванович?

— Не знаю такого,— отвечает Ревекка.

— Не знаете? Жаль, ему будет грустно. А он-то вас знает очень и очень хорошо,— подмигнул брюнет, глазами сказав ей: «Не бойся, мы все знаем, но будем, как камень».

И чем дальше допрос шел, тем томительней становилось Ревекке. Ясный ум ее не усматривал связи в допросе. Она чувствовала, что в конце концов брюнету до того, что она говорит, мало дела. Но тогда почему ее не отпускают домой или не отсылают в тюрьму?

— Вы не курите? — снова спрашивает брюнет, протягивая портсигар.

— Нет, не курю. Прошу вас, кончайте допрос.

Но улыбается тот, поглядев на часы:

— Еще сорок минут. Потерпите. Мы собственно с вами время проводим и не так еще скоро расстанемся.

Покорилась Ревекка, села в кресло, задумалась. Время проводим! Ей стало ясно, что весь допрос, несерьезный, рассеянный, был только «препровождением времени». Но что значит это? Зачем она на вокзале? Что ждет ее? Тут впервые Ревекка почувствовала холодок.

Секретарь, дописав протокол, протянул его девушке. Это был наспех составленный из полуслов, искаженный, бессмысленный бред полусонного человека. Напрягая внимание, она прочитала бумажку, исправила кое-где, не вызывая протеста, и подписалась. Сорок минут ис-

текли, наконец. Брюнет, оставив солдата у двери, вышел и через минуту вернулся: он проглотил у буфета несколько рюмок.

— Ну-с,— развязно сказал он, обдавая Ревекку спиртным дыханьем,— если вам надо поправиться или там разное дамское дело, идите вот с этим телохранителем в уборную первого класса. Через десять минут отходит наш поезд.

— Поезд? — вскрикнула девушка.— Куда вы везете меня?

— Мне приказано лично доставить вас в Новочеркасск.

И, не слушая ничего, он взял фуражку, портфель и кивнул головой солдату. Тот подошел к девушке, стуча об пол винтовкой.

Через десять минут они оба сидели в двухместном купе скорого поезда. Солдат расположился в проходе. Брюнет курил и курил одну за другой папиросы, не глядя на девушку. И Ревекка, отодвинувшись на самый кончик дивана, закрыла глаза и притворилась заснувшей.

Дон, дон, дон — третий звонок. Тр-р-р — свисток, и в ответ свист паровоза, широко протяжный. Воздуху всеми легкими паровоз набирает перед тем, как помчаться. Потянулся, захрустели могучие кости, хряснули, как у подагрика, суставы длинного тела, и уже под ногами у едущих, мягко двигаясь, забежали бесконечные ноги вагонов. Наперегонки, наперегонки, раз-два и раз-два— торопится поезд. Хорошо нежной качке отдаться тому, кто едет по собственной воле!..

Что это? Вздрогнув, открыла Ревекка глаза от леденящего ужаса. Над ней побелевший, узкий взгляд нагнувшегося человека. Изо рта его бьет в нее запах крепкого спирта. Руки нашаривают по жакетке, схватились за пуговицу, за воротник. Рванулась Ревекка.

— Как вы смеете? Прочь от меня!

— Ого, вы потише! Что за тон, душечка? Я обязан вас обыскать, не прячете ли оружие или отраву.

Ревекка толкнула его и кинулась к двери. Дергает ручку, стучит, но напрасно. Дверь заперта, стука не слышно. Тук-тук-тук—семенят быстробегие ноги вагона.

— Рассудите,— сказал брюнет и, покачиваясь, подошел к ней поближе,— мы здесь заперты с глазу на глаз на час времени. Вы, как большевичка, плюете на предрассудки. В этом вопросе я одобряю... Разумно. Отчего б не доставить нам, без этих капризов и разных дамских затычек, по-товарищески, удовольствие? А? Обоюдно, я вам, а вы мне.

Ревекка молчала. Собрав свои мысли, обдумывала она, что ей делать. Из-под ресниц, косым незамеченным взглядом скользнула к окну — занавеска не спущена, стекло не двойное. Скоро станция. Лучше всего молчать и выиграть время.

— Обдумайте... А пока разрешите, я с обыском. Без предвзятости, честное слово. Терпеть не могу брать женщину, как датского дога, сахар совать, заговаривать и другое тому подобное. Я сердитых женщин терпеть не могу. Я люблю, чтобы ласковые, быстренькие, как фокстерьерчики, сами руку лизали... Не толкайтесь, зачем же, я деликатно.

С отвращением, стиснув зубы до скрипа, отводила Ревекка гулявшие по карманам ее паскудные руки. Но не выдержала, закричала отчаянно, вырвалась и с размаху кулаком разбила окно. Стекло — драгоценность, орудие самозащиты!

В руке, изрезанной до крови, зажала она священный осколок. Спокойная, лебединая плавность, куда ты девалась? Как безумная, сверкая глазами, стояла Ревекка в ореоле рыжих кудрей.

— Подходите теперь, мерзавец, посмейте! — кричала она чужим самой себе голосом.

— Ведьма! — рявкнул брюнет и, быстро нагнувшись, схватил ее за ноги, крепко стиснув руками.

Но Ревекка вцепилась в ненавистный затылок. Осколком стекла она резала вздутую шею, кусала зубами тужурку. В окне замелькали фонари, освещенные окна, поезд замедлил ход — станция.

— Ну, подожди! — крикнул, выпрямившись и кулаком ударив Ревекку, брюнет.— Я покажу тебе, гадина, потаскуха! Ты деликатного обращения не хочешь, так получишь другое. Думаешь, много с тобой церемоний? В ставку тебя, к дикой дивизии сейчас по-

везу, рыжая кошка. Небось надеешься на тюрьму? Надейся, надейся!

Он постучал, и солдат тотчас вошел к ним.

— Охраняй ее пуще глаза,— сипло выкрикнул офицер и, фуражку забрав, удалился. Сел солдат молчаливо на место.

Дверь осталась открытой. В окно сквозь дыру дул яростный ветер осенний, пропитанный дождем. Броситься вниз, доломав остальное? Но тяжко лежит на ней неподвижное око солдата. Стиснула руки Ревекка, сочившиеся теплой кровью. Поводила, как львица, глазами. Уже не думала жалкими, благополучными мыслями: «За что, за какую вину?» Знала: нет спасенья, произвол, насилие, ужас. И мать последнего мужества, благодатная ненависть, поила ее своей спасительной силой.

«Низкие, у!» — казалось, что ненависть гонит ногти из пальцев, ускоряя их рост, зубы делает острыми, точит, как стрелы, зрачки, отравляя их ядом проклятия; и, готовя ее на последнюю битву, приподымает толчками сердце, как для полета...

Горит огнями в осеннюю ночь под Новочеркасском генеральская ставка.

Ходит большими шагами, руки в карманы, войсковой старшина. Кутят орлы его, дикой дивизии нынче пригнали баранов для шашлыка. Под навесом жарят куски, нанизав их на вертел. Повар дивизионный, грузин, известнейший мастер поварского искусства, покрикивает на помощников. Возле лужайки, на скамьях, лежат бурдюки, просмоленные крепко. Много их, больше, чем убитых баранов. И, кружки нацеживая из бурдюков, пьют, в ожидании мяса, солдаты. У столовой музыканты завели гортанную песню. Воет маленький в дудку, визжа пронзительным визгом, бьет другой в барабан, а третий на струнах выводит: черт разберет, что за музыка, дикая, цепкая. Уцепилась крючком за тебя, как удочка, и, разрывая сердце, тянет, тянет, тянет в томлении душу.

— И-ах! — не выдержал, выскочил кто-то из-за стола, подбоченился, вышел вприсядку.

— Ийя! — завертелся другой, выбрасывая, как без-

умный, колено. По кругу, волчком, осою жужжащей, за ним третий, четвертый и пятый. Первый, кто бросился в летающую лезгинку, руки вскинул, ногу выставил, павой поплыл. И опять подбоченился, каблуком отбивает.

— И-ах! — кричит душа, мало ей, выхватил револьвер из-за пояса первый танцор. Бац-бац-бац,— выстрелил в воздух. И затрещали, как орехи в зубах великана, частые выстрелы.

— Мясо несут!

А к мясу корзинами фрукты. И бурчит в бурдюках, как в чьем-то голодном желудке, выпускаемая струя. Течет коньяк, как водица.

Рев сирены... В свете багровом от факелов — электрический свет автомобильного глаза. Ставка. Доложить старшине войсковому Икаеву: согласно распоряжению доставлена арестованная политическая преступница.

В гул азиатского пира, со связанными руками, перед белком, налившимся кровью, старшины войскового Икаева, проходит Ревекка.

— Позвольте доложить,— торопится кто-то,— преступница покушалась вдобавок на убийство, стеклом ранила в голову следователя Заримана, учинила буйство и пыталась бежать.

— Карашо,— промолвил Икаев.

Ночь течет. Совещается старшина с Зариманом.

— Не далась, чертовка,— мямлит следователь,— и вообще, по-моему, с ней канителиться нечего. Руки развязаны. Вы всегда можете сослаться на покушенье к убийству, я забинтую затылок.

— Кров кыпит у дывизии,— соглашается старшина.

А на лужайке костер развели, через огонь проносятся по команде. Все безумней дудит музыкант, все быстрее дробь у того, кто бьет в барабан, и рассыпаются струны под руками у третьего, струнника.

— Ийях! — гуляет душа, кочуя по телу. Ноги, руки взлетают, чертя, как планеты, узоры. Губы в вине над острыми, словно у волка, зубами. Не смеется танцор, он скалится, приподняв над острою челюстью тонкую с черным усом губу.

Короток суд. Политическая преступница, обвиняемая в подстрекательстве молодежи, покусилась на убийство следователя Заримана и во время своей доставки на место суда дважды учиняла бунт и попытку к бегству, вследствие чего приговорена к ста ударам нагайки.

Нагайка! Свистела она, прорезывая осеннюю ночь, у костра, в руках пировавших танцоров. Каждый танцор захотел покормить ее телом преступницы. И голодная, взалкав, трепетала в стальных кулаках, ожидая кормленья, нагайка.

Привязали Ревекку к скамейке, оголив ее. Рот окровавлен у ней от глубоких укусов. Извивается, норовя укусить, и безумные, не моргая, глаза извергают проклятья. Не страшно Ревекке, не больно: мать последнего мужества, великая ненависть, кормит ее своей спасительной силой.

И с языка у Ревекки слетают пронзительные слова:

— Убийцы, погибнете, сгинете, как собаки, сотрется с лица земли след ваш, а имена, как песок, засыплет проклятье!

По очереди наслаждаются, свистя нагайкой.

Но жутко им от проклятий, и суеверно косится каждый на тень свою. Странно им, что не дрожит распростертое тело, не бьется. И, лютея час от часу, долго еще нагайкой хлещут по мертвой.

Глава двадцать девятая

ШКОЛА ПРОПАГАНДЫ

— Организация,— говорит профессор Булыжник в интимном кругу,— мать всякого дела. Я недаром прошел немецкую школу. Хотите выиграть дело — организуйте правильный штат, лучше больше, чем меньше, составьте подробную смету, лучше крупную, нежели мелкую, учредите при этом две контрольных комиссии, увеличив их добросовестность постоянным окладом,— и вы на пути к одержанию победы.

Золотыми словами своими профессор Булыжник стяжал популярность. Что слова — золотые, знало об этом казначейство Добровольческой армии. И что

слово может стать золотом, убедились ораторы и писатели, притянутые в отдел пропаганды.

— Учитесь, друзья мои,—говорил им маститый профессор,— учитесь у заклятых врагов, как Петр Великий учился у шведов. Вы знаете, что привело к революции? Прокламации, ловко составленные листовки, летучки, воззвания. Спросите-ка у любого купца, он вам скажет, что сущность торгового дела в рекламе.

— Так, по-вашему, революция осуществилась благодаря удачной рекламе?

— Несомненно. Это дело рассчитано было на многолетия, с риском. И упорство рекламы привело, наконец, к убеждению, что революция неизбежна.

Забегали молодые писатели и старые публицисты по разным архивам любителей, доставали из библиотек «Былое», «Исторический вестник», «Колокол» Герцена, разыскивали прокламации, изучали их стиль и словесный порядок. Ослов же, художник, с собратьями сидел над мюнхенским «Симплициссимусом» [1], набрасывая всевозможные карикатуры.

Во всех городах открылись лавочки пропаганды. По всем городам заездили антрепренеры, подыскивая подходящих людей для публичных концерт-агитаций. В центральном же помещении отдела, на обширном дворе, обучался отряд новобранцев. Ему говорили:

— Как выйдете из дому, прежде всего оглядитесь. А как оглянетесь, отметьте себе, не видно ли где человека нетрезвой наружности, шибко худого, походка с раскачкой, желательно без руки или с проломленным носом. Такой человек для нашего дела находка. Сейчас же к нему. Ты, говорите ему, из красных. Он станет отнекиваться. Нет нужды, твердите: из красных. Возьмите под арест. Наддайте хорошего жару, но с присмотром, не то он проломит себе остальное, да и помрет нашему делу в убыток. Проморив с две недели, пустите к нему совопросника, можно с бутылкой. «Так и так, ты бы лучше признался, что удрал из-под красных за жестокое обращенье, был истязуем в Чеке, получил

---

[1] *«Симплициссимус»* — известный немецкий сатирический журнал.

разрыв сухожилья, и показать можешь под православной присягою, каковы большевистские тайны. Тебе за это простят и даже отчислят награду». Двести против одной, что арестованный согласится и в ножки поклонится. Это задание номер первый, под названием «свидетельства очевидцев». Дело пустое и легкое!

И, когда новобранцы постигнут задание, им дается второе:

— Теперь, братцы, помните: ум хорошо, а два лучше. Взявшись за руки, остановитесь на улице и твердите друг дружке. «Нет ли, брат, у тебя донских денег?» И если случатся в том месте прохожие, твердите пошибче: «Нет ли, брат, у тебя донских денег?» Один пускай улыбнется с хитринкой и ответит: «Есть-то есть, только нужны самому, не обхитришь». Тогда вы искательно обратитесь к прохожему· не согласен ли тот обменять на английские фунты или французские франки донские кредитки? Удивится, конечно, прохожий, заподозрит, а вы приставайте, давайте все больше и больше. Тут пусть мимо пройдет третий из вашего брата и, как честный благожелатель, шепнет прохожему: «Не продавайте! Донские деньги в цене, большевики доживают последние дни, и донские кредитки, по всей вероятности, будут объявлены европейской валютой!» Этак сделать приходится не раз и не два, а с полсотни разов, да пройтись по базарам с тою же речью. Нужды нет, если и скупите где кредитку, заплатив за нее английским фунтом. Через неделю поднимется в обывателе крепкое настроение.

И это заданье исполнив, рекрут обучается третьему, самому сложному Берет он простейший и ординарнейший лист бумаги. Берет чернила, перо, плюет себе на руки (благочестивое правило, чтоб вышло не зря, без охулки) и пишет длинными торопливыми буквами:

«Тов. такой-то!

Сколько раз я тебе говорил, что ты погубишь все наше дело?! Зачем не уничтожил расписку амстердамской почтовой конторы? Я всю ночь сидел, обдумывая план реабилитации,— ничего не вышло. Черт тебя дернул! Прикажи, чтоб аэроплан № 3 был всегда наготове

у Иверских ворот. Я уже написал в Цюрих насчет квартиры. Запасись паспортом».

Написав, зовет он парнишку и говорит ему: «Ваня, я обещал тебе сделать кораблик, вот посмотри». И делает из бумажки кораблик, потом петушка, а после солонку. Наигравшись, парнишка привяжет при вас веревочку к бумажке и будет с ней бегать по комнатам, давая мурлышке занятье. Мурлышка бумажку процапает, понадкусит. После рекрут отымет бумажку и, полив на нее ложкой варенье, положит под муху. Муха обшмыгает бумажонку, поставит несколько точек. Тогда остается лишь утоптать ее сапогом после хорошей прогулки. В таком виде бумажка становится важная штука — документ. Теперь внимание! До сих пор забава была, а сейчас экзамен на зрелость. Взяв дохлого голубя, наденьте ему мешочек на шею, а в мешок положите бумажку, вперемежку с землею. Сунув за пазуху голубя, возьмите ружье монтекристо, удостоверенье от градоначальника, что имеете право на производство охоты в Балабановской роще, и в базарный день идите себе на Соборную площадь. Мирно идите, с бабами разговаривая, луская семечки, почесывая в голове. Народу тьма-тьмущая. Вдруг, расталкивая ротозеев, по площади мчится рекрут номер два, ваш подручный. Кричит:

— Братцы, гляньте, на небе-то голубь! Почтовый голубь с сумою, зовите милицию, пожарных, собаку-ищейку!

Переполох на базаре, глядят, опрокинув затылки, бабы, дети, мальчишки, мужики прямо в небо. Тут вы хвать монтекристо, стреляйте холостыми зарядами — бац-бац! Смятение: ой, батюшки! ой, отцы небесные, убили, убили! И в суматохе, из-за пазухи вынув мертвого голубя, во всю мочь бросайте его туда, где народу погуще, бабам на волосы. Орите сочно, с надсадой:

— Дуры! Расступись! Политическое дело! Я стрелял в почтового голубя, пусть доставят меня по начальству.

Свистки, полицейские, топот, ругательства, давка. Голубь пойман.

— Родимые, голубок!

— Мертвенький, и у его ридикульчик на шее!

— Расступитесь, отдать вещественное доказательство по начальству. Ты, паря, как смел стрелять? А не хочешь ли полгода отсидки?

— Извините, господин полицейский. Вот мое законное удостоверение на производство охоты. А кроме того, почтовый голубь есть «хвакт политический». Прошу вас на месте составить протокол с приложением свидетельской подписи.

— Н-ну! Уж и не знаю, верить ли, однако весь город свидетели. Непостижимое происшествие! — говорит, весь в поту, редактор местной газетки.— Пойман голубь и при нем собственноручный документ огромной политической важности!

Дальше следует передовица:

«Мы запрашиваем амстердамскую почтовую контору: что ей известно о настоящем случае?»

Начало положено, всяк теперь дело докончит.

Профессор Булыжник за ужином метким примером иллюстрирует методы пропаганды и в присутствии градоначальника Гракова, поручика Жмынского, коменданта Авдеева, дам-патронесс и министра донского искусства с бокалом речь произносит:

— Непобедима теперь Добровольческая дружина! Скоро, скоро мы вступим, друзья мои, верной ногой в первопрестольную! С такой постановкою дела, можно сказать, ничего нам не страшно!

— Ешь, пей, веселись! — воскликнул Жмынский игриво.— Иными словами, тыл укреплен, фронт продвигается, обыватель может спокойно нести сбережения в банк. Да здравствует главнокомандующий!

Тост был подхвачен.

Глава тридцатая

КУДА МОЖНО ДОЙТИ ПО БУЛЫЖНИКУ

Пируют в тылу, валясь под столы, тыловые. Льется вино из удельного[1] склада нещадно. Весело на душе обывателя, шумно на улицах города... Скоро, скоро!

---

[1] Вино из удельных имений Романовых.

А команда, обученная на центральном дворе, входит во вкус чем дальше, тем больше.

— Организация, я вам доложу, это первое дело,— говорит молодчик другому.— К примеру, ежели вас посылают на фронт для военной корреспонденции, так неужто вам ехать? Под дождем, в такую-то слякоть, сыпняком заболеть от солдата? Очень нужно. Поймите, нужна информация, а не ваша простуда. Тут умному человеку и показать, пошло ль впрок учение. А изготовить у себя на дому информацию, имея немецкую карту нашей области, дело пустое. Тут ошибся разве на одну приблизительную, не более.

И той же дорогой пошли дорогие разведчики, засылаемые вглубь страны, где сидят еще красные. У пограничных пикетов Добровольческой армии есть хорошие вина, зарыты консервные банки. Умеют лихие дружинники превесело дуться в картишки. Сходятся к ним все люди солидные, тé, что при деньгах. У одного— контрабандный товар, другой перемахивал через границу беглеца и беспаспортника, третий попросту вспарывает у случайных убитых карманы, четвертый шпионствует за приличную мзду и нашим и вашим. Веселый народ, образованный и с деньгами. С ними выпить одно удовольствие, а захотят, так найдется для них поблизости и подходящая дама.

Вместо опасного продвижения вглубь страны, сиди себе с ними да выслушивай разные речи. Пьешь, закусываешь, перебросишься с ними в картишки, глядь — и выудил информацию, все, что нужно. А иной, твое дело смекнув, и продаст тебе, хотя не за дешево, все же дешевле, чем свое беспокойство, все первые сведения.

Проще того дело делается агитатором деревенским. Встал он поздно у себя на дому, шторки на окнах спущены до самого низу. На случай звонка отвечает слуга Федосей, из казаков:

— Нетути барина, они на паганду в деревню уехали. А когда воротятся, не знаем.

Встанет барин во втором часу дня, не позднее. Тотчас же несут ему соды — проветрить губы от выпивки. Помывшись, одевшись, напьется он кофе, подзакусит,

малость хлопнет из рюмочки для поддержания духа. Зовет Федосея:

— Ты вот что... Ведь ты казак из станицы Цымлянской?

— Так точно.

— Ну что, брат, скажи-ка ты мне, разве при большевиках вас не грабили, не увозили пшеницы?

— Облагали, точно, а при немце и того хуже.

— Нет, ты молчи про немца. Я тебе дело говорю. Ты скажи, ведь при нас-то, при белых, лучше стало? Сообрази.

— И то, должно́, лучше.

— Я вот, например, ничего для тебя не жалею. На, допей водку.

— Премного вашей милости.

И пишет в докладе:

«Станица Цымлянская.

Встречен казаками очень приветливо, особенно старыми. Разговорился. Отвечают охотно. Как дети, жалуются на обиды. При разговоре о большевиках сжимают кулаки: хлеб до последнего зернышка подчистили, звери. Это врезалось в память, и станица знает теперь лучше всякой пропаганды, кто ей друг, кто ей враг. Провожали с иконой до самой околицы».

Правда, последнюю фразу написал уж под пьяную руку, распив вторую бутылку. Но, отрезвившись, исправил.

Работа покончена, и как хороши вечера агитатора! При спущенных шторах соберутся друзья, немного числом, зато самые близкие, благонадежные. Сбегает Федосей в клуб, к повару Полю, за порцией лучшего ужина, хлопнут, взрываясь, бутылки. Расставлены столики, приготовлен мелок, и девственный пояс с колоды срывают привычные руки. Колода для правильного мужчины в наш век желанней, чем женщина. Играет тобой до потери всего твоего состоянья, голову кружит, пьянит козырями и нежданной взаимностью, а покоя тебе не убавит: как сидел, так и сидишь себе в кресле без малейшего сдвига. Спокойное дело!

И чем дальше шли дни, тем увереннней становилось на сердце у обывателя. Правда, ходили какие-то слухи, распространяемые с ехидством, главным образом телеграфно-почтовым мелкотравчатым чиновьем, об уничтожении армий Колчака и Юденича и о том, что на Южный фронт брошены большевиками огромные силы, но обыватель себе настроенья не портил.

Массивней, чем столбы из базальта, казалось правительство Единой и Неделимой. Давно уже был разработан проект о том, кому и на каком посту быть в завоеванной белокаменной. Москвичи съезжались в Ростов, готовясь вступить во владенье утраченными квартирами и жестоко отмстить вероломным кухаркам. «Сперва пойдет фронт, а мы на повозках и броневиках вслед за ним».

Дни идут. Запаздывает наступленье, к досаде нетерпеливых. Клич «На Москву» под шумок спекулянт, нажившийся прочно, уже сравнивает с арией «Мы бежим» из «Вампуки». А пропаганда летит от края до края, похваляясь своими победами.

Главнокомандующий, поставивший под ружье все казачество и городского мужчину в возрасте от внука до деда, из-под век нацеливается на своих крендельковых людишек, министерства наполнивших. Крендельковые люди, однако, затвердели, как старое тесто. Неожиданно пробудилась в них светлая память. Каждый вспомнил, что кровь проливал и брюки просиживал на службе Единой. Каждый вспомнил, что есть у него на Дону большое поместье, у этого сто десятин, а у другого тыща и боле. Отобраны земли в февральскую революцию, и Войсковой круг их не вернул настоящим хозяевам. Пора бы уже Добровольческой армии наградить своих верных сынов и вспомнить их жертвы.

Тузы, положившие в дело немалые деньги, открывавшие на свой счет лазареты, обмундировавшие целые роты, купцы, не щадившие для Деникина ни икон, ни молитв, ни товара, помещики, ставшие ныне министрами, все возвысили голос:

— Пора приступить к справедливой земельной реформе! Правда, мы отстояли передачу земель частных собственников донскому казачеству. Но этого мало!

Надо на деле Европе и русскому люду увидеть, что мы истинные правовые устои приносим, а не хаос подачек неразумному стаду. Чья земля, пусть тому и вернется. Отдавать же ее, потакать большевистским замашкам, разводить либеральные тонкости — значит дело губить и в противоречии путаться. Да и кресгьянам нужна не земля, а отеческое попечение.

Вспомнил профессор Булыжник про заповедь демократизма, смутился.

— Нет,— говорит,— не делайте этой ошибки. Вооружите вы против себя народную массу!

— Что вы, помилуйте,— отвечают Булыжнику,— масса давно уж перевоспитана вами. Разве отчеты отдела не говорят о чувствах казаков? Разве весь Юг не охвачен крепкою тягою к Добровольческой армии, к ее священным заветам и молодецким победам? Будет вам!

И, вдохновившись своими речами, горячие, пылкие, обступили Деникина крендельковые люди.

— Время, отец! Мы идем ведь с тобой на Москву, не шантрапа мы какая-нибудь, а сановные, знатные люди. Не ты ли давал обещанья? Не мы ли служили верой и правдой? Прикажи возвратить нам исконные, наши собственные русские земли.

Много миндальных людишек у главнокомандующего! Взгляд не охватит — направо, налево, спереди, сзади, целая армия. Их нельзя не потешить! И с высоты кремлевских святынь уж предчувствуя смотр своей армии, генерал отдался соблазну:

— Дать им указ о возвращении земель их прежним владельцам!

Дан был указ о возвращении земель их прежним владельцам.

Указ был прочитан в станицах при зловещем молчанье.

Указ пробежал по притихшим войскам, как полоска прожектора, вызывая в озаренном лице зловещую ясность.

На каждого собственника сотни безземельных казаков. На каждый револьвер сотни казачьих винтовок. Пошли, согласно приказу, завоевывать первопрестольную.

Снова ночь. Наступает зима, но не мерзнут на ули-

цах лужи. Четко играет, гуляя по цитрам рассыпчатой трелью, румынский оркестр в зале военного клуба. Столики заняты. Толпятся в дверях, дожидаясь, блестящие адъютанты. Поручик Жмынский, усы вытирая салфеткой, прожевывал ароматный кусок карачаевского барашка. Повар Поль в белом фартуке, черноусый, глазами навыкат, вышел из кухни взглянуть, как подается и все ли довольны.

— Да-с, доложу я вам,— звучно твердит, наклоняясь к поручику Жмынскому, полковник Авдеев, честный вояка.— Вы вот хвалите здешний шашлык, а я скажу: нет лучше блюда, нежели как навага фри у повара Поля. Тут он поистине себе не знает соперников. И что такое навага? Простая, грубая рыба на зимнее время. Навага, когда вам дают ее дома, непременно попахивает чем-то, я бы сказал, рыбо-жабристым, даже просасывать ее у головы и под жаброй противно. Ковырнешь, где мясисто, и отодвинешь. А у Поля не то! У Поля, скажу вам, навага затмит молодую стерлядку. Он ее для начала окунет в молоко, выжмет, выкатает в сухаре со сметаной...

— Господа офицеры! — кто-то крикнул в дверях взволнованным голосом.

Наступило молчанье.

— Господа офицеры! Прекратите еду. Наша армия отступает к Ростову.

И тотчас же, не поняв громовые слова, в затишье входя, как в проход, открытый толпою, рассыпчатой трелью вспорхнул румынский оркестр.

Глава тридцать первая

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Было же это, как во дни Ноя.

Ели и пили, женились и выходили замуж, а нашел потоп и поглотил всех. Так и нынче каждый застигнут часом расплаты за очередною нуждою: один на улице, в конторе, в торговле, другой за столом, третий в постели с женою. Заметались богатые люди, забирая запасы.

Как перед взглядом змеиным, оцепенели на миг

учреждения перед приказом об эвакуации. Чтоб минуту спустя в лихорадочной спешке, через глубокие впадины луж, под саваном сырости, в темноте, мокроте и топоте разгоряченных коней, тянуться, колесами застревая в ухабах, по бесконечным околицам.

И весь день, с утра и до вечера, опустошались дома, выворачивая свои внутренности. С лестниц, с подъездов, из настежь открытых парадных бросались узлы на подводы, люди сбегали, неся мешки и корзины.

И все текли, толкая друг друга, старый и малый, как черные бусинки, посыпавшиеся с разорванной нитки; слетая с нитки, каждый подскакивал рядом с соседом и, место свое потеряв, казался другому куда утеснительней, куда мешковатей, чем раньше. Напирая на локоть, ненавидел стоящего рядом. И было охвачено сердце у каждого слепотою бесстыдства: лишь бы спастись самому, а там хоть земля не вертися.

Одна за другой, одна за другой, лошадиным копытом непролазные лужи, как стекло, разбивая, ползут из Ростова подводы. Ругаются дико возницы, хлещут вожжой, торопливо протаптывают сапогами клейкую землю.

Эвакуация! Слово, похожее на протяжный вопль в горах пастушьей свирели. И на свирель, позванивая, ползут шершавые козы, покидающие с неохотой кочевье.

— Эвакуация! Но скажите, пожалуйста, что же случилось? Еще вчера мы видели в клубе весь штаб, никто ни звука об опасности положения. Быть может, паника преувеличена, слух не проверен?

— Помилуйте, да какое там преувеличенье! Выйдите из дому, содом и гоморра! Бегут, как безумные, без спросу, без всяких инструкций. Солдаты начали грабить винные склады...

Жутко под арками оголенных ветвей на встревоженных улицах, в темноте ниспадающей ночи. Ветер сосет и без конца теребит тишину, как собака голодная кость. Уши взвинчены его неотступным глоданьем.

А на мосту, под Батайском, грудились люди, лошади: подводы, колеса задрав, налезли одна на другую, вой стоит от непрерывного крику, последнему первых не видно, а первые, отупев от отчаянья, кричат на последних:

— Куда лезете? Не напирайте! Вы давите нас!

Людмила Борисовна успела на этот раз вывезти все свои сундуки. Под непроницаемой тьмой, на крытой подводе, сжав руки, сидит она между ними немеющим призраком. Под глазами опухли мешочки, нежданно состарив ее,—такая сидит непохожая старая женщина с отвислой губою. За ней на подводах, спасая десятками лошадей добро, торопятся богачи Кулаковы. Адъютант, кутивший в компании богатых бакинцев, прыгнул в коляску к жене командира, фартуком кожаным застегнулся, по горло в нем спрятался и, задыхаясь, шепчет ей о погибели армии. Едут в казенных подводах дамы, родственники, знакомые родственников, сослуживцы знакомых.

Неистовой бранью ругаются задержанные войска. Проехать нельзя! Десятком верст протянулся обоз крендельковых людишек, тех, кого защищали войска, отступающих с сундуками, добром, золотою «наличностью», серебром, скатанным трубками в ковриках, родными и близкими. И мост протянулся над черным, скользким, бездонным Доном, мост под Батайском. Остановилось движение, запружены узкие деревянные доски; подводы, колеса задрав, налезли одна на другую, вой стоит от непрерывного крику, последнему первых не видно, а первые, отупев от отчаянья, кричат на последних:

— Нам некуда, не напирайте, спасите!

Там, впереди, в лихорадочной спешке доканчивают офицеры последнее дело: у голодного автомобиля, оставшегося без бензина, выламывают дорогие заграничные части. Молотом их разбивают, приводя машину в негодность: нет у России нужных частей, не достанется большевику ни одной здоровой машины! Тяжко хрипя, инвалиды-автомобили один за другим, как ослепленные твари, сбиты в канаву и стынут в ней помертвелою грудой.

Но в суматохе из города дан приказ отступающей части казачьей: идти на Батайск.

Взбешенные задержкой, пригнувшись к седлу, левой рукой сжав поводья, а правою с гиканьем занеся над собою нагайку, шпорят казаки коней и черной мохнатою массой летят на обоз. Кровью налились глаза, още-

тинились бороды, брови дыбом стоят. Как безумные, землю взрывают косматые кони.

Шарахнулись в сторону одна за другою подводы, сползли сундуки. Тр-рах, тр-рах — как всточка, переломились оглобли. С моста в черный, скользкий, бездонный Дон падают, перекувыркиваясь, вещи, лошади, люди, возы. Вой стоит на мосту под Батайском нечеловечий, звериный...

В городе расквартированы по горожанам юнкера из оставшейся части. Юные мальчики с безусыми лицами перед хозяйкой бодрятся: попрежнему молодцевато щелкают шпорами, а уходя побродить, оставляют на письменном столике развернутые тетради. Полюбопытствуйте, хозяева дома, полюбопытствуй, хозяйка, взгляни в них. Ты тоже когда-то в ногах у себя, претерпев родильные муки, ощутила впервые трепетанье других, слабых, легоньких ножек и глядела в глаза бытию чрез окно материнского лона. Где твой первенец? Эти мальчики — тоже первенцы, рожденные женщиной. Пожалей ее: кратким был век их, но долгим ужас конца.

В тетрадях вели юнкера свой дневник. Сколько таких дневников разбросано по России! Описывали они душевные тяготы по Пшибышевскому, нехитрую жизнь, безденежье, слухи из штаба. Оплакивали коварство Нади иль Мани; ни чувства, ни мысли о будущем, и чем дальше страницы, тем пошлее они и ничтожней.

Юнкера ходили справляться, скоро ль их двинут. В городе же, обезлюдевшем, опустевшем, как улей от пчел, не знали начальники плана передвижений, давали, меняли приказы, запутывали своих подчиненных.

И при первом артиллерийском обстреле побежали последние, не дожидаясь приказа. Качались на перекрестках повешенные с прибитыми надписями: «Вор и дезертир», высовывали раздутые языки убегавшим, чернели проклеванными вороньем провалами глаз. Под виселицей подвывали собаки.

До тридцати пяти лет поголовная мобилизация. С тридцати пяти до восьмидесяти погнали гуртом за заставу, били прикладами, велели идти рыть окопы. Тюрьмы распущены за недостатком охраны, уголовные разбежались.

Уходя же, войска угоняли с собой первых встречных, бросая их потерявшими разум, тифозными или замерзшими по пути своего отступления.

Так было в тот день; и тогда пережил человек себя самого без остатка: как будто, шагнув, он поднял ногу над пропастью и увидел, что рухнет.

Красные снова приблизились к городу, не партизанским отрядом, а регулярною армией. Сыплются пули, наполняя жужжанием воздух. Обыватели, как услышали выстрелы, полезли каждый, крестясь, на знакомое место. Опустели дома, переполнены погреба и подвалы. Страх сводит челюсти, от тошнотворного страха язык разбухает во рту, как морская медуза. Еле ворочается, выговаривая слова; и пухнет, падая, сердце.

Стоном бегут, догоняя друг друга, снаряды и разрываются возле самого уха, близехонько. Окна трясутся, танцуя стеклянные трели. Их не заставили ставнями в спешке, и окна, трясясь, звонко лопаются, рассыпаются, словно смехом, осколками. Тр-рах! — торопится где-то ядро. Бум-м! — вслед за ним поспевает граната. Трах! городу крах, кр-рах, тр-р-рах! Пушки не скупятся, артиллеристы играют.

А по подвалам сидят, обезумевши, беженцы, затыкают уши руками, держат детей на коленях, бледнеют от тошного страха, кто за себя, кто за близких, а кто за имущество. Но под самое утро вдруг сразу все стихло, как после землетрясенья. В ворота степенно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и спокойно сказала жильцам, выползавшим на воздух:

— Белых-то выкурили. Чисто.

Недаром муза трагедии пела городу ночью декабрьской! Жутко на улицах, спотыкаются кони у красных, молчаливо въезжающих стройной, суровой цепью, в шинелях защитного цвета, в богатырских, по рисунку художника, шлемах. Из-под руки зорким взглядом высматривает красный взвод опустелые улицы. На перекрестках качаются, вороньем осыпаны черным, повешенные, с оскаленной весело челюстью. Смеются повешенные, таращa пустые глазницы, высовывают языки.

Ни души на пустынных улицах, ни души у ворот, и никто не засмотрится в окна. Жутко на улицах, пря-

чутся по подворотням неизжитые призраки ночи. И осторожно, шаг за шагом, без шума, без музыки, молчаливо-суровые, с четкими профилями под богатырскими шлемами, с красной звездою на лбу, углубляются в улицы всадники.

Глава тридцать вторая
и последняя

Вычищен город от белых до последнего белогвардейца; одно за другим возвращаются учреждения. Уже разместился на месте штаб телеграфной команды, автомобиль с политкомами и военные части вернулись, и, подводу ведя за подводой, на старое место въезжают весельчаки-фуражиры.

Совет заработал, взвив красное знамя. Оклеены стены воззваниями. Докатился до юга России плакат с цветною картинкой, с неутомимым стихом, подписанным «Демьян Бедный»,— новым для юга России поэтом. Тысячами плакат запестрел на стенах и на тумбах. И, подходя, обыватель почитывает веселые строчки о генерале, попе и помещике, понемногу от ужаса, как от стужи, отогреваясь в улыбке.

Не сразу признаешь в тоненькой, вытянувшейся, как березка, с бледным, серьезным лицом под каштановым взлетом волос, заведующей в наробразе отделом, девочку Кусю. Выросла Куся за месяцы и недели, как за долгие годы.

Не сразу признаешь и в новом организаторе местной биржи труда Якова Львовича. Занятый от зари до зари, он вечером, едва доберется до койки, засыпает как мертвый.

Все ожило в городе. Словно распахнуты двери в необъятную ширь горизонта, словно начата песня звонким голосом запевалы, и не предвидится ей конца — входит в душу сознанье наступающей жизни.

Жить, чтоб делать, чтоб познавать, чтоб бороться. Жить, чтоб взошли на земле семена окрыленной мечты человечества о справедливости. Жить, чтоб своими руками, из камня и стали, строить то, что мерещилось в думах, записано в книгах. Как в храм бесконечных воз-

можностей стал входить человек, возвращаясь к себе самому, гражданину нового мира.

Все ожило в городе. Нет только тех, кто погиб, борясь за победу. Не сидит под зеленою лампой товарищ Васильев, не откроет собранье в высоких стенах наробраза комиссар Дунаевский, не раздастся по улицам города легкая поступь Ревекки. Тысячами смыты мутной волной еще не замерзшего Дона погибшие большевики темерницких окраин, в сырую землю зарыты расстрелянные в Балабановской роще. Офицерская пуля убила и друга девочки Куси, студента Десницына.

В серое, снежное утро молодежь хоронила студента.

В серое, снежное утро задвигались тучами тóлпы, на духовых заиграл прощальную песню оркестр. Неся на плечах своих гроб, шла молодежь, чередуясь, до самой могилы.

Когда же в открытую яму посыпались первые комья и больно ударил нам в уши шершавый стук хлопьев земных о гробовую доску,— молвила Куся над нею дрогнувшим голосом:

— Спи славной смертью борца, погибший товарищ! Умер наш друг, но не станем провожать его плачем. Он был большевик, он нам завещал вечную веру в борьбу. Станем, как он, чистые сердцем, друзья мои! Неутомимо поборемся за Коммунизм на земле!

А тем временем серое утро ослепительным днем заменилось. Пачками пальмовых листьев засияли ледяные сосульки. И, скатаны снегом, гладко смеясь под полозьями, во все стороны, как провода, понеслись первопутки.

Скоро, скоро все страны станут свободными! И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, с барабанщиками, отбивающими Перемену:

Зóрю утреннюю мы играем
тебе, Человечество!

1923



ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

Путем зерна, Галка, Грибы, Морозно.— Относятся к ранним поэтическим опытам М. Шагинян. Стихотворения были опубликованы в первом сборнике ее стихов «Первые встречи», М. 1909.

Полнолуние, Чеченка, Лодочник, На подоконнике, Флейта, К Армении.— Написаны за период с 1911 по октябрь 1912. Вошли во второй сборник стихотворений М. Шагинян — «Orientalia», вышедший в книгоиздательстве «Альциона» в 1913 году. Сборник переиздавался несколько раз. В 1913 появились первое и второе издания, в 1915 в том же издательстве «Альциона» — третье. В послеоктябрьский период сборник «Orientalia» выходил в 1918, в 1921 и 1922 годах. Начиная с третьего издания М. Шагинян неизменно дополняла сборник «Orientalia» новыми стихами.

Шесть перечисленных выше стихотворений входили также в собрание сочинений М. Шагинян, выпущенное Государственным издательством «Художественная литература» в 1935 году.

Завязь.— Написано в 1914 году. Впервые опубликовано в журнале «Северные записки», 1915, № 7—8, в цикле, озаглавленном «Три Orientalia: Завязь, Прощание, Псалом». Цикл этот вошел в в 3-е издание сборника «Orientalia», а также в том 1 собрания сочинений 1903—1933, ГИХЛ, 1935.

Ода времени, Комета, Memento mori.— Написаны в разные годы: первое — в 1915, второе — в 1916, третье — 19 сентября 1921 года. Все стихотворения вошли в состав сборника «Orientalia» начиная с 5-го издания (изд. З. И. Гржебина, Петербург — Берлин, 1921). Были включены также в собрание сочинений, ГИХЛ, 1935.

Ованес Туманян. Скорбь соловья.— Впервые опубликовано в в книге «Антология армянской поэзии», ГИХЛ, М. 1940.

Низами Гянджеви. Сокровищница тайн (отрывки).— Переводы из Низами являются частью большой исследовательской работы М. Шагинян по изучению творчества великого азербайджанского поэта-гуманиста. Над переводом поэмы «Сокровищница тайн» писательница работала начиная с 1940 года. Впервые отдельной книгой перевод поэмы вышел в 1947 году («Сокровищница тайн», Академия наук Аз. ССР, Институт литературы им. Низами, Баку).

РАССКАЗЫ

Голова Медузы.— Рассказ впервые опубликован в 1915 году в журнале «Голос жизни», № 19. Входил затем в сборник «Избранные рассказы», «Прибой», 1927 и в собрания сочинений писательницы, публиковавшиеся в 1929, 1933 и 1935 годах.

Стихотворение.— Впервые рассказ был напечатан в газете «Речь» от 20 декабря 1915 года. Входил в состав всех собраний сочинений М. Шагинян.

Коринфский канал.— Рассказ датируется 1919 годом. Сама М. Шагинян указывает: «Коринфский канал», «Темная комната», «Единственный», «Где я?» писались в первые годы революции, на Дону...» Рассказ впервые появился на страницах журнала «Петербург», № 1 за 1921 год. «Коринфский канал» вошел в сборник «Избранные рассказы», «Прибой», 1927. Позднее издавался во всех собраниях сочинений писательницы.

Темная комната, Единственный.— Написаны в 1919 году. Опубликованы в сборнике «Избранные рассказы», «Прибой», 1927, затем вошли в состав собраний сочинений М. Шагинян.

Агитвагон.— Написан в самый разгар работы над романом «Перемена» — 26 и 27 июня 1923 года. В том же году был опубликован в журнале «Красная нива», № 38. Входил в ряд сборников — «Приключение дамы из общества», 1925, изд. «Земля и фабрика»; «Три станка», 1926, изд. «Огонек»; «Избранные рассказы», 1927, изд. «Прибой», а также в собрании сочинений писательницы. В 1931 году был издан отдельной книжкой издательством «Молодая гвардия». Переиздавался и в послевоенный период.

Волшебный дом.— Впервые напечатан в журнале «Петроград», № 1, 1923 г. Вошел в сборники: «Три станка», изд. «Огонек», 1926; «Избранные рассказы», изд. «Прибой», 1927, и во все собрания сочинений писательницы.

Прыжок.— Рассказ написан 18 февраля 1926 года. Был опубликован в газете «Бакинский рабочий» от 26 февраля 1926 года

и в том же году появился в еженедельном журнале «Экран», № 40, издававшемся «Рабочей газетой». «Прыжок» вошел во все собрания сочинений писательницы.

О собаке, не узнавшей хозяина.— Рассказ возник на основе жизненного факта, занесенного писательницей в дневник 23 февраля 1926 года. Опубликован он был в журнале «Экран», № 30 за 1926 год. Входил в сборники: «Избранные рассказы», изд. «Прибой», 1927; «Восточные рассказы», изд. «Огонек», 1928, и в собрания сочинений писательницы.

Качество продукции.— Входит в цикл «Текстильных рассказов», работу над которым М. Шагинян начала в январе 1925 года, поставив перед собой цель дать в 1925 году «Очерки текстильной промышленности». В конце 1925 года М. Шагинян записывает в дневнике: «С утра уезжала на фабрики, возвращалась к ночи. Изучены быт, производство, общественные отношения...» По собственному определению, М. Шагинян выступала «в качестве производственника, статистика, историографа».

На основе собранного писательницей материала возникли очерки «Невская нитка» и «Фабрика Торнтон», а также рассказы «Три станка» и «Качество продукции» — все они были затем объединены М. Шагинян под общим заголовком «Текстильные рассказы».

Рассказ «Качество продукции» включался в сборники «Три станка», изд. «Огонек», 1926; «Избранные рассказы», изд. «Прибой», 1927, и в собрания сочинений.

Три станка.— Рассказ возник на основе записи впечатлений писательницы от делегатского собрания на одной из ленинградских текстильных фабрик. Запись была сделана 17 февраля 1925 года, а рассказ написан ровно через год — 17 февраля 1926 года. Рассказ появился 15 марта того же года в газете «Бакинский рабочий». Позднее входил в сборники: «Три станка», изд. «Огонек», 1926; «Избранные рассказы», изд. «Прибой», 1927, и в собрания сочинений.

Вахо.— Опубликован впервые в 1927 году в № 10 журнала «Новый мир». Затем вошел в сборник «Восточные рассказы», изд. «Огонек», 1928, и в собрания сочинений 1929 и 1933 годов.

Как я была инструктором ткацкого дела.— Очерк написан в начале 1922 года, в период работы над романом «Перемена». М. Шагинян считает его «первым своим настоящим очерком». С подзаголовком «Правдивый рассказ» он был опубликован в журнале «Новая Россия», № 2 за 1922 год. «С этого месяца и

года,— говорит писательница,— я датирую начало своей работы в жанре очерка». Позднее М. Шагинян включила этот очерк в цикл «Текстильные рассказы», вводя его последовательно во все собрания сочинений.

СВОЯ СУДЬБА
Роман

Написан в 1916 году. Отрывок из него под названием «Не гляди на грех» был опубликован в газете «Кавказское слово» 25 декабря 1916 года. Печататься роман начал в 1918 году в журнале «Вестник Европы», редактором которого был Дм. Овсянико-Куликовский, высоко оценивший это произведение молодой писательницы. Появились в печати, однако, только первые шесть глав («Вестник Европы», № 1—4, 1918), так как журнал вскоре перестал существовать. Полностью «Своя судьба» была опубликована лишь в 1923 году в изд. Л. Д. Френкеля. Затем в 1928 — «Издательством писателей в Ленинграде». Роман вошел в том III собрания сочинений, предпринятого издательством «Прибой» в 1929 году.

ПЕРЕМЕНА
Роман

Начат был писательницей в Петрограде во второй половине 1922 года. Приступив к работе над романом, Шагинян внимательно изучает свои дневники периода 1917—1920 годов. «Перемену» она рассматривает как «первую свою настоящую реалистическую вещь о гражданской войне». Публикация «Перемены» началась еще до окончания работы над романом (был закончен 27 августа 1923 года). Она печаталась частями в журнале «Красная новь»: в № 6 за 1922 год, №№ 2, 4 и 6 за 1923 год. В последующие годы «Перемена» неоднократно перерабатывалась для новых изданий. В 1949 году роман вошел в юбилейную серию «Библиотека избранных произведений советской литературы 1917—1947 гг.».

СОДЕРЖАНИЕ

Мариэтта Шагинян. Критико-биографический очерк *Л. Скорино* 5

Два слова от автора 51

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

Стихотворения *(1906—1921)*

Путем зерна 55

Галка 56

Грибы 57

Морозно 59

Полнолуние 60

Чеченка 61

Лодочник 63

На подоконнике 65

Флейта 66

К Армении 67

Завязь 68

Ода времени 69

Комета 72

Memento mori 74

Переводы *(1940—1941)*

Ованес Туманян. Скорбь соловья 75

Низами Гянджеви. Сокровищница тайн (*Отрывки*) 77

РАССКАЗЫ

Голова медузы 97

Стихотворение 105

Коринфский канал 114
Темная комната 127
Единственный 135
Агитвагон 150
Волшебный дом 166
Прыжок 177
О собаке, не узнавшей хозяина 183
Качество продукции 188
Три станка 193
Вахо 199
Как я была инструктором ткацкого дела. *Очерк* . . 213
СВОЯ СУДЬБА. *Роман* 227
ПЕРЕМЕНА. *Быль* 501
Примечания 651

Редактор *Э. Бабаян*
Оформление художника *Н. Кравченко*
Худож. редактор *Л. Калитовская*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *В. Покровская*

Сдано в набор 5/III 56 г. Подписано к печати 11/VII 56 г. А08267.
Бумага 84×108[1]/[32]—20,5 печ. =33,62 усл. печ. л. 30,99 уч.-изд. л.+
2 вкл. = 31,09 л. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1499. Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

